В·КАВЕРИН

2

В·КАВЕРИН

2



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

В·КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

В. КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ХУДОЖНИК НЕИЗВЕСТЕН

РОМАН

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

РОМАН

НОЧНОЙ СТОРОЖ

ПОВЕСТЬ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

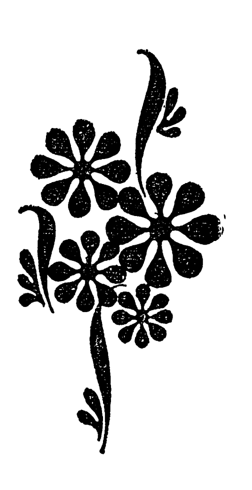
Р2
К13

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

К $\frac{70302\text{-}151}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200

ХУДОЖНИК НЕИЗВЕСТЕН

РОМАН



Посвящается
Лидии Тыняновой

И они подивились уму и безумию этого человека.

Сервантес. Остроумно-изобретательный идальго Дон-Кихот Ламанчский

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ. «ЗА КОГО ТЫ ГОЛОСУЕШЬ, УЧИТЕЛЬ!»

1

Вор, гулявший по Гостиному двору, остановился у окна ювелирного магазина, наблюдая за курчавым томным купцом, который стоял за прилавком, как кукла в паноптикуме,— самодовольный, бледный, с золотым медальоном в руке, далеко высунувшейся из тугой манжеты: «Я бы хотел его убить, а лавку ограбить».

Шли, подталкивая друг друга, полотеры и несли ведра на швабрах,— это были запачканные охрой знамена их ремесла.

Девицы соскочили с трамвая, хохоча, переглянувшись с матросом, прыгнувшим вслед за ними в толпу.

Узкоплечий, прямой человек в высокой шляпе проехал на извозчике, лицемерно улыбаясь, держа на коленях портфель.

Проститутка бережно вела пьяного за угол, где нищие стояли на блестящих, грязных камнях.

Архимедов остановился и стукнул палкой о камень.

— За вора, за девиц, за неблагодарный труд полотеров, за этого лицемера, который проехал, держа на коленях портфель, за девку отвечаешь ты,— строго сказал он.

Архимедов выглядел очень странным в своем длинном пальто, в кепочке, в очках, на которых блестели дождевые капли.

— Ты думаешь, стало быть, что я ведаю административным отделом Губисполкома?

Силуэт Шпекторова прошел в темном стекле магазина, перерезанный шторой, рассыпавшийся на отраженья голов

и плеч, шагающих отдельно и оставивших далеко за собой то удлиняющиеся, то укорачивающиеся ноги.

— Я думаю об отставании морали от техники,— сказал Архимедов,— о том, что личное достоинство...

Смешанный звон голосов и посуды прервал его. Человек с лопаткой штукатура вышел из распахнувшейся двери. Туманный кадр пивной на мгновенье отразился в очках Архимедова, протянувшиеся к бокалам руки, нервничающий у телефона силуэт, остановленный бег полового с раскачивающимся подносом,— все черты виденья, похожего на прерванный сон. Женщина в платочке вышла вслед за штукатуром из пивной.

— Пойдем домой, Ваня.

Он откашлянулся и плюнул ей в лицо.

— О том, что личное достоинство должно быть существенным компонентом социализма,— докончил Архимедов.— Взгляни!

Он указал на витрину кино: грустное лицо Елизаветы Бергнер смотрело из полуоткрытой дверцы автомобиля, отраженного в накатанном шинами, лоснящемся асфальте.

Огни горели.

Высокий в цилиндре и плаще уходил от нее, не оглядываясь.

— Этот автомобиль — он решает наш спор о Западе. Это по нему скучают конструктивисты, открывшие новое западничество на советском Востоке. Они не понимают, что, сделанный нашими руками, он станет живым укором за этого штукатура, который плюнул женщине в лицо.

Шпекторов, прищурясь, рассматривал марку на автомобиле Елизаветы Бергнер.

— Машина для кино, «Испана-Суиза»,— сказал он.— Она бы развалилась на наших дорогах. Мы будем строить НАМИ.

(Это был Лондон. Лил дождь. Блестели макинтоши. Вторые актеры шли парами, тесно прижавшись друг к другу. Очерченный туманом нимб светился вокруг фонаря.)

— Не берусь рассудить тебя с конструктивистами. Но я согласен с ними, что Запад для нас — это ящик с инструментами, без которых нельзя построить даже дощатый сарай, не только социализм. Ты говоришь...

— Я говорю об иллюзиях,— сказал Архимедов.— Ящик с инструментами — этого мало для того, чтобы начать новую эру. В пятнадцатом веке ни одна мастерская не могла

принять подмастерья раньше, чем он принесет присягу в том, что будет честно заниматься своим делом согласно уставу и целям государства. Тогдашние текстильщики публично сжигали сукна, к которым был подмешан волос. Мастера, неверно отмеривавшие вино, сбрасывались с крыш в помойные ямы. Декрет о трудовой морали — попробуй представить себе, что он будет принят на очередной сессии ЦИКа.

Он показал на жактовский щит, висевший на воротах дома.

— Опиши мне этот щит с вещественной стороны,— сказал он.

Шпекторов стал на цыпочки, закинув голову, придерживая фуражку.

— Мастика, краска, дерево и металл.

— Теперь с логической,— предложил Архимедов.

— Винтовка, пропеллер, звезда, шестеренка, лента с надписью, серп и молот.

— Теперь с телеологической.

— Один из видов пропаганды оборонительной тактики Союза Советских Социалистических Республик,— не задумываясь, отвечал Шпекторов.

Архимедов тер очки о рукав пальто.

— Мне тяжело смотреть на этот щит,— сказал он наконец.— Он безобразен. Скульптору, который слепил его, следует вынести общественное порицание. И не только за то, что он плохо исполнил свою работу, смешав гербы ремесла с эмблемами власти, но за то, что он не понимает связи между личным достоинством и ответственностью за труд. Ты скажешь — романтика! Я не отменяю этого слова. У него есть свои заслуги. Когда-то русские называли романом подвешенное на цепях окованное бревно, которым били по городским укреплениям. Роман был тогда тараном. Потом он опустился. Он стал книгой. А теперь пора вернуть ему первоначальное значение. Романтика! Поверь мне, что это стенобойное орудие еще может пригодиться для борьбы с падением чести, лицемерием, подлостью и скукой.

Шпекторов стоял, положив руки на перила Лебяжьего моста. Его тень, падая с перил, колыхалась на рыжей воде. Рябь несла ее к берегу. Он стоял широкоплечий, спокойный, с ясным лицом.

— Я понял тебя,— сказал он.— Ты хочешь доказать, что, воздействуя на природу, человек воздействует на са-

мого себя. Но это уже было сказано Марксом. Ты утверждаешь, что принципы нашего поведения, по сравнению с ростом производительных сил, изменяются недостаточно быстро. Если я верно понял тебя, ты утверждаешь, что отношение к труду и друг к другу улучшается медленнее, чем растет техника, и тем самым задерживает этот рост. Иными словами — что мертвый инвентарь социализма растет быстрее живого. Я согласен с тобой. Но и это не ново. Знаешь ли, кто писал об этом? Ленин!..

— Иллюзии? — Это слово было произнесено, когда, миновав мост, они шли вдоль Марсова поля.— Я бы согласился с тобой, если бы из этой штуки можно было добывать хотя бы дубильные вещества, которые до сих пор приходится ввозить из-за границы...

— Мораль? — Они огибали клуб Электротока.— У меня нет времени, чтобы задуматься над этим словом. Я занят. Я строю социализм. Но если бы мне пришлось выбирать между штанами и твоим пониманием морали, я бы выбрал штаны. Наша мораль — это мораль сотворения мира.— Они подошли к дому и поднялись по лестнице.— И ни штукатуры, плюющие женам в лицо, ни проститутки, ни лицемеры...

Он не кончил: дверь распахнулась — высокая женщина, черноволосая, с неподвижным лицом, стояла на пороге.

— Что же мне делать с молоком? — спросила она и горестно всплеснула руками.— Он больше не хочет сосать. Он требует мяса.

2

— Дай ему мяса,— сказал Архимедов.

Он поднял с пола погремушку, рогатого льва, и принялся оглушительно звенеть над остолбеневшим ребенком.

Комната была грязновата, пол не мыли уже, должно быть, с полгода. Еще покачиваясь, стояла колыбель, стол был усеян обрывками бумаги, как мертвыми бабочками; они сидели на кровати, на стульях, на полу. Прислонившись к стене, стоял в углу мольберт, такой пыльный, что на нем можно было писать пальцем, да и было намазано какое-то слово. Рыжая рвань висела на окне вместо занавески, а подоконник был весь в разноцветных пятнах и запятых и, должно быть, заменял палитру. Комната была бедна и театральна.

Шпекторов сел на стул верхом.

— Вот она, твоя романтика,— насмешливо пробормотал он.

Архимедов бренчал. Очень серьезный, он прислушивался к звону с задумчивостью любящих музыку животных. Капли сохли на его очках. Забыв о ребенке, он бренчал для самого себя.

— Ты шутишь над историей,— сказал он.— Когда-то ей удалось простую палку превратить в посох пророков, а посох — в императорский жезл. Кто знает, быть может, и эта игрушка будет когда-нибудь символом государственной власти!

Ребенок лежал на столе, розовый, толстый, плешивый. Он закричал.

— Взгляни, он с тобой не согласен,— сказал Шпекторов.

— А ты?

— Я? Я думаю, что история — это мы. А мы не нуждаемся ни в иллюзиях, ни в игрушках.

Эсфирь таскала ребенка по комнате. Ее платье колыхалось в такт с движениями тела.

Спите, куклы, ночь давно
Занавесила окно.
На печи спит Васька-кот,
По селу медведь идет,
Он на липовой ноге,
На березовой клюке.
Смотрит он во все углы
И скрипит «скирлы-скирлы».

— Ты внушаешь ему ложные идеи,— прислушавшись, сказал Архимедов.

Она продолжала петь, сердито качнув головой, показывая, чтобы он говорил тише.

— Ты внушаешь ему ложные идеи,— шепотом повторил Архимедов.

Шпекторов, смеясь, взял его под руку.

— Пойдем ко мне, здесь мы мешаем,— сказал он.

Шпекторов жил за стеной, и в его комнате все было другим, даже пол и стены. Она была узкая, светлая, с высоким белым бордюром, переходящим в меловую высоту потолка.

На одной стене висела длинная турецкая трубка, на другой — изогнутый нож с арабским «Нет бога, кроме бога» вдоль желобчатого лезвия, а под ножом — старин-

ный охотничий рог, оправленный в кудрявое серебро персов.

Все это было вывезено из Туркменистана, на память о гражданской войне. Желтой, как масло, шторой было задернуто окно, и стоял низкий ковровый диван, а на письменном столе все было разложено аккуратно, удобно. Идея отрицания случайности — вот чем был проникнут этот письменный стол. Это было жилище человека самоуверенного, честолюбивого, уважающего себя. И длинноногого — маленький не согласился бы на бордюр.

Шпекторов повернул выключатель.

— Я понял наконец, почему мы не можем сговориться,— сказал он.— Тезис личной судьбы — вот что ты не хочешь учесть в своих рассуждениях. На протяжении всех культур — греческой, египетской, европейской — он казался вынесенным за скобки, свободным от законов истории. Мы тратим все силы, чтобы ввести его в эти скобки. Романтика? Выражаясь твоим языком, это псевдоним фанфар, о которых мечтают маленькие Бонапарты! Смотри, ты поскользнешься на этой мысли! Я был бы рад, если бы мне удалось заставить тебя...

Шпекторов открыл окно: толстый, похожий на медведя человек с зонтиком и в калошах ходил по двору.

За стеной Эсфирь шепотом допевала песню. Она умолкла на миг, потом снова запела:

Он на липовой ноге,
На березовой клюке.

Медведь — тот самый, на липовой ноге,— ходил по двору. Он взволнованно размахивал лапами. Потом нахлобучил шляпу и встал посреди двора, закинув морду вверх. Нет, он был не на липовой ноге; он был с зонтиком и в калошах.

— Эй, что вам нужно?

Человек вздрогнул.

Он выбросил на землю камешки, которыми собирался напомнить о себе, и отряхнул руки.

Упрямо мотнув головой, он снова принялся тыкаться носом из угла в угол.

Всех в охапку заберет,
Всех в берлогу унесет...—

пела Эсфирь.

С ребенком на руках она внезапно появилась на пороге.

— Это ко мне,— сказала она скороговоркой и продолжала петь: — Это Танькин жених.

Архимедов кивнул головой.

— Кто это Танька? — шепотом спросил у него Шпекторов.

Мы с ним Таньку увезем,
Увезем ее тайком...—

пела Эсфирь.

Она ушла, качая ребенка, положившего кулачок на ее лицо.

— Твоя жена, очевидно, задумала вмешаться в уголовное дело,— с интересом разглядывая Танькиного жениха, сказал Шпекторов.

Архимедов равнодушно пожал плечами.

Уложив наконец ребенка, Эсфирь в прозе объяснила свои намерения.

— Танька — это моя подруга по институту. Они хотят жениться, а им не дают. От половины восьмого до девяти ее родители скрываются у родственников от налогов. Мы нагрянем на квартиру, уложим вещи и увезем ее с собой.

— Это было принято у древлян,— заметил Архимедов.

Она ушла и минуту спустя вернулась, застегивая пальто.

— А потом я должна явиться к родителям и объявить, что больше они ее никогда не увидят.

Огромная тень металась по двору. Танькин жених не находил себе места.

— Ну, что же, поезжай,— серьезно сказал Архимедов.

Она задумчиво поцеловала его.

— Присмотри за Фердинандом.

Архимедов закрыл за ней и вернулся.

— Уничтожение права на машинальное существование,— сказал он и сел на письменный стол,— я согласен с тобой. С этого стоило бы начать новое летосчисление. Но как это сделать? Тебе кажется, что для этого нужно приговорить иллюзии к высшей мере наказания. А я думаю, что для этого во всех вузах нужно учредить кафедру иллюзий.

Шпекторов смотрел в окно: Танькин жених схватил Эсфирь в охапку и потащил к воротам. Их ждала пролет-

ка. Лошадь цокала копытами о камни. Шпекторов опустил штору.

— А, ты возвращаешься к иллюзиям? И не боишься, что я сейчас скажу о штанах? Знаешь, я начинаю жалеть, что ты не родился двумя столетиями раньше. Робеспьер поручил бы тебе организовать процессию в честь верховного существа. Ты проповедовал бы помощь несчастным, уважение к слабым и борьбу с жестокосердием. Ты ходил бы в голубом фраке, с букетом в руках.

Он рассмеялся.

— Фрак и букет! Вот что ты предлагаешь включить в пятилетний план!

Архимедов встал.

Розовощекий, с льняной головой, он стоял перед ним так, как будто и точно был облачен в голубой фрак Робеспьера.

— Я прекращаю этот спор,— сказал он и ушел. И вернулся минуту спустя со спящим Фердинандом на руках.

— Прощай. Пора перейти к делу.

Шпекторов заботливо подоткнул одеяльце.

— Куда ты собрался, чудак? — спросил он.— Куда ты хочешь тащить грудного младенца, которого тебе поручили беречь как зеницу ока?

Одеяльце покрыло Фердинанда с головой. Он сонно шевелил губами. Архимедов поцеловал его в лоб.

— Бунтовщики определяют картину мира,— сказал он торжественно,— а против лицемерия, бесчестия, подлости и скуки нужно бороться с ребенком на руках. Он поможет мне. Он докажет, что победителями будут наши дети.

3

Скажи, суровый известняк!

Хлебников

Пекари начинали ночную работу.

Усталые музыканты возвращались домой с инструментами в черных чехлах.

Заблудившиеся трамваи шли не по своим путям.

Три рупора, размещенных в разных местах, три раза сказали «до свидания» и три раза — «заземлите антенну». На фондовой бирже это было сказано Кваренги и Росси. Кваренги сурово молчал, Росси снисходительно улыбался.

Белая ночь вошла в социалистический город. Как бледный чертеж, едва наметивший осуществление давно задуманного целого, он был пуст.

За торжественно-хмурым Исаакием встал покатый гранитный утес, на котором, вздернув коня на дыбы, Медный всадник простирал вперед тяжелую зеленую руку.

С набережной Невы на него почтительно смотрел Архимедов.

— Взгляни,— сказал он младенцу и осторожно стянул с его лица одеяло.— Вот человек, который задумался над твоей судьбой. В споре, который начался с его появлением, он был бы на моей стороне.

Недоуменно вскинув брови, младенец спал.

Архимедов покачал его и перешел дорогу.

— Шкипер,— сказал он.— Распорядитель людей, поднявший на дыбы Россию. Ветер дует тебе в глаза во время наших наводнений. Осенью на тебя падает дождь, зимой на твоем лице проступает иней. Ты видишь скольжение и смену людей, и история ночует рядом с твоим пьедесталом. Скажи мне, кто из нас прав? За кого ты голосуешь, учитель?

Ребенок проснулся от этой речи, произнесенной полным голосом, с уверенностью в немедленном ответе.

— В Риме, чтобы узнать судьбу, раскрывали Сивиллины книги,— продолжал он,— в Делосе следили за шелестом лавра. Я обращаюсь не к оракулу — к единомышленнику, который старше и опытнее, чем я! Я знаю, что если бы камни могли говорить, ты был бы их представителем в Областном комитете. Скажи мне, кто из нас прав? За кого ты голосуешь, учитель?

Петр молчал. Неподвижна была его голова с нахмуренным лбом, с глазами ящерицы, смело и слепо обращенными на Запад.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ. ФИЗИКА НРАВОВ

1

С Александром Шпекторовым я дружен еще с гимназических лет — наши старшие братья были товарищами по классу.

В город, где я родился и вырос, он приехал девятилет-

ним мальчиком, грустным, с острым носиком, с испуганным рыженьким хохолком.

Я, помнится, вел себя покровительственно.

— Вот это аптека,— объяснял я ему,— это просто дом. Вот там растут деревья, они называются березы. А вот это газетчик, он продает газеты.

Шпекторов робко слушал.

В ту пору в городе только что проведена была конка, и я предложил прокатиться на ней с тайной мыслью поразить воображение провинциала.

Мы сели. С нами был Шпекторов-старший.

Клячонки, дряхлые, на дрожащих ногах, тронулись под воинственный окрик кучера, который был с ног до головы завернут в какой-то удивительный, сшитый по мысли самого губернатора, армяк.

Тронулись,— и Шпекторов облился слезами. Он заплакал тихонько, но отчаянно, слезы так и прыснули из глаз, хохолок задрожал.

Я удивился.

— Что с ним?

— Трусишка! Он упасть боится. Петухов боится, грозы,— с презрением сказал Шпекторов-старший.— Он один раз у себя на подушке таракана увидал, так потом целую неделю спал с мамой. В комнату боялся войти.

Мы не слезли с конки, потому что билеты были уже взяты до самой бойни и обратно. Но всю дорогу Шпекторов плакал, трясся, стучал зубами, и я напрасно хвастался немецкой кирхой, напрасно пугал его ужасами боевых столкновений между учениками приготовительного класса.

Домой я вернулся очень довольный собой.

— В нашем классе такой сопляк и трех бы дней не просидел,— сказал я няньке,— у нас, брат, кастетами дерутся.

Но осенью Шпекторов явился именно в наш класс.

Нагло свистя сквозь выбитый зуб, заложив руки в карманы, он прошел между партами, не обращая ни малейшего внимания на насмешливые вопросы, которыми, по обычаю, осыпали новичка.

Он выбрал самую последнюю парту, пристанище второгодников и «камчадалов», и, единственный из всего класса, не встал, когда вошел учитель. Хмурый, решительный сидел он во время первого урока и все трогал пальцами крошечный нос. Хохолок был уже не испуганный, на-

против, хвастливый, и по этому хохолку видно было, что и сам Шпекторов отчаянный хвастун и забияка.

Таков он и был.

Тихий немец, по фамилии Лютер, учился в нашем классе. С детства приученный своим отцом говорить по-латыни, он был ничем не замечателен, кроме фамилии да высокого роста.

Едва дождавшись конца урока, Шпекторов пошел к нему. Он шел медленно и по дороге часто моргал от презрения.

Без всякой причины толкнув немца плечом в живот, он встал перед ним и задрал голову вверх.

Лютер пренебрежительно посмотрел на него.

Тогда, скосившись, встав на цыпочки, закусив губу, Шпекторов молча двинул его по шее.

И немец вдруг упал.

Вытянувшись, закостенев, упал он на пол, а Шпекторов, маленький, строгий, не спеша прошелся вокруг него, посвистывая сквозь выбитый зуб.

Это было началом периода буйств.

В гимназии, где учителя, приходя на урок, вычесывали блох на классный журнал, а ученики, свято храня обычаи бурсы, травили учителей хлопушками и нюхательным табаком, он решался на такие шалости, что в конце концов от него отступились самые отчаянные из камчадалов.

Во втором классе он принес на урок истории револьвер системы Лефоше и при словах: «Александр же Македонский решился идти в долину Ганга» — выстрелил в потолок. (С историком, почтенным, дебелым, сделался сердечный припадок. Кадет по убеждениям, он вообразил, что выстрел предназначался ему.) Шпекторова не выгнали вон. Но три воскресенья он просидел в карцере на хлебе и воде. Он распевал Мальбрука, вырезал на подоконнике несложный гимназический лексикон и в конце концов был пойман классным наставником на том, что курил в печку, и притом не табак, а мох.

Но все это и в сравнение не шло с другими его шалостями, отчаянными и смешными.

У знаменитого своей скупостью инспектора Лбова он с двумя товарищами стащил шубу и, продав ее на толкучке, накормил и напоил на вырученные деньги городских босяков, с которыми был очень дружен.

Учредив в шестом классе сенат, он добился смертного

приговора над сыном местного городского головы, который ходил в гимназию в мундирчике с серебряными галунами. Галуны были срезаны, мундирчик содран заодно со штанами, сын городского головы взят за ноги и брошен в реку. По счастью, он умел плавать...

2

Так прошел еще год. Шпекторов мрачнел; на уроках он появлялся все реже. Мы жили на одном дворе, и мне случалось, отправляясь ранним утром в гимназию, встречать Шпекторова возвращающимся домой.

Но была во всем этом одна черта, о которой нельзя не упомянуть.

— Я изучал себя,— сказал он мне однажды,— и решил, что подлец. Хочешь, докажу фактически?

— Докажи,— отвечал я с интересом.

— У меня, как ты знаешь, есть мать,— начал Шпекторов,— и вот вчера она захворала. Как любящий сын, я немедленно же продал букинисту историю Платóнова за девяносто копеек и пошел в аптеку. Но тут мне встретился один знакомый индивидуум и предложил сыграть партию на бильярде. Мы играли с часа до семи, и сперва я выиграл у него около четырех рублей, а потом проиграл около двух, словом, у меня осталось два рубля семьдесят пять копеек. А потом мы пошли в «Бристоль», съели там какие-то телячьи ножки и выпили полбутылки коньяку. Словом, как сказал апостол Павел, «не подумайте худого, три подводных камня». Доказал?

— Доказал,— согласился я.

— Ну, вот видишь,— пробормотал Шпекторов,— я же тебе говорил.

Это было сказано немного грустно, но без малейшего раскаянья. Он не раскаивался. Он изучал себя с истинным хладнокровием естествоиспытателя, отнюдь не теряющегося перед непонятными явлениями природы. А так как он был прирожденный материалист, никогда не видевший существенной разницы между человеческим мышлением и горением обыкновенной электрической лампы, он вскоре решил, что изучать себя нельзя, не изучив раньше явлений материального мира.

Это произошло, кажется, в шестом классе.

Подражая нашим старшим братьям, мы читали в ту

пору Леонида Андреева, и доклады о том, прав ли был Иуда Искариот и что сделал бы на его месте докладчик, выслушивались с глубоким интересом.

И вот однажды вечером, когда мой друг Алька Куусинен убеждал нас (с горячностью, далеко не свойственной его сородичам), что Иуда был, конечно, прав, в комнату вошел Шпекторов.

— Я за алгеброй, ты обещал,— тихо сказал он хозяину комнаты.

Тот молча подал книгу.

Шпекторов открыл ее и задумчиво перевернул несколько страниц.

Все молчали, чтение прервалось, когда он вошел.

С некоторой стеснительностью, которой никто из нас не поверил, он поднял глаза на Альку, ответившего ему сердитым взглядом.

— Ну, что же ты не читаешь?

Квадратный, с финскими светлыми волосами, с грузными повадками кузнеца, Алька захлопнул свою тетрадку и встал.

— Тебе это не интересно,— грубо сказал он.

Шпекторов опустил глаза, ноздри раздулись.

Он неловко засмеялся и вышел.

В чулане, под лестницей, он засел с этого дня среди книг, колб, реторт и горелок.

Изобретая знаменитую катушку Румкорфа, он часами наматывал на нее тонкие шелковые струны, он построил динамо-машину, и целые сады минералов выросли вокруг на проволоках, посаженных в высокие банки.

Это была химия, физика, все, что угодно,— и он имел смелость открыто заявлять, что придает своим занятиям бо́льшую цену, нежели вопросу о предательстве Иуды Искариота...

Перемена эта была так странна, так сомнительна, что мы долго не доверяли ей.

Но время шло, а он все сидел да сидел в своей лаборатории, и уж физик стал прислушиваться к его ответам, далеко выходившим за скромные границы гимназических курсов.

Повзрослевший, вежливый, задумчивый, появлялся Шпекторов в классе, и все уже думать забыли о том, что́ это был за отчаянный шалун, лентяй и задира.

Куда там! Его теперь уважали. Он был загадочен, непонятен.

Особенно загадочным казался он епархиалкам, которые все хотели выйти за него замуж. У него был великолепный прямой лоб с высокими надбровными дугами, круглый, нежный подбородок, а глаза твердые, серые. И ничего удивительного не было в том, что девицы бегали сторожить его после окончания уроков и начинали хохотать и толкаться, когда он показывался в дверях. А он шел в грязной короткой шинели, в фуражке, надвинутой на глаза, и тихонько пел низким голосом басовые партии различных военных маршей.

Не то чтобы он не замечал их или был так уж к ним равнодушен! Но он не любил — эта черта осталась у него и по сей день — разом заниматься несколькими делами. Девицами он интересовался раньше, до физики. А теперь он интересуется физикой, а до девиц ему и дела нет. И он запирался в своем чулане, стараясь не часто вставать со стула (потому что трудно было встать и не сбросить при этом с полки бутыль с каким-нибудь вонючим составом), и сидел там до поздней ночи.

3

И вдруг он снова преобразился.

Однажды утром — это произошло в седьмом классе, когда в садах и на реке мы жали руки гимназисткам и в лодку старались сесть так, чтобы удобнее было целоваться,— окно его чуланчика распахнулось.

Шарообразная бутыль, вроде тех, что стоят в аптеках на окнах, вылетела на двор и со звоном разбилась о камни.

Колбы были выброшены вслед за ней.

Смеющееся лицо мелькнуло среди стеклянных трубок, которые он поднял перед собой и держал мгновенье, любуясь игрой солнца, вдруг рассыпавшегося в его руках множеством зайчиков и бликов.

Потом и трубки отправились вслед за колбами.

Посвистывая, расставив локти, лукаво косясь на преображенный чулан, Шпекторов сел за стол, и маленькая серая книжка появилась в его руках. Он бережно посмотрел на нее...

На следующий день после разрушения лаборатории я встретил его в Ботаническом саду с белокурой перезрелой девушкой, о которой в городе говорили шепотом: «эс-эрка». Она и была эсерка.

Он шел широкоплечий, веселый, в распахнутой шинели, и фуражка уже не была надвинута на глаза, а сидела на самой макушке, как птица, готовая улететь. Уже невероятным казалось, что два года он просидел под лестницей, наращивая на проволоку соль.

Раскинув большие руки, он энергично спорил со своей спутницей — приземистой, кривоногой, с грубым, упрямым носом, и слово «террор», как сорванный лист, кружащийся, относимый ветром, но все же медленно опускавшийся вниз, вдруг легло передо мной.

Это было за год до революции — и больше он не менялся.

Таким же, с ясной речью, с большими руками, он явился ко мне в Москву, когда, осторожно разнимая на части хозяйскую мебель, я пытался обогреть танцевальную залу, любезно предоставленную в мое распоряжение голодным и холодным девятнадцатым годом.

Я обернулся на хохот: усталый солдат, заиндевевший, дымящийся паром, стоял на пороге.

Целую ночь мы провели у «буржуйки», перебирая друзей, перебивая друг друга, хохоча, потому что все казалось гораздо смешней, чем было на самом деле, а потом я притащил лошадиную ляжку, которая была моим единственным достоянием, и мы жарили ее на огне, как ирокезы, приносящие жертву Великому духу дикарей.

Шпекторов так и не разделся, его эшелон уходил поутру.

В шишаке, в шинели, ремни крест-накрест пересекали грудь, он грел руки, красноватый огонь освещал его снизу, эхо отдавалось в пустых углах танцевальной залы. Ночные переправы, одиночество часовых, бессонница под телегой в степи, грозная паника отступлений,— он перебивал себя, начинал сызнова и вновь перебивал, и все запомнилось, как книга, которая была прочтена в детстве, и до сих пор помнишь, в каком она была переплете, как пахли на сгибе ее страницы, какого цвета был корешок.

4

Замечали ли вы, с какой настойчивостью возрасты преследуют человека?

Один рождается стариком, в другом до старости чувствуются едва уловимые признаки детства...

Шпекторов жил семнадцатилетним, у него даже усы не росли что-то очень долго. Он был человек, в сущности говоря, отчаянный, хоть и притворявшийся весьма ровным и хладнокровным. Только самых близких его друзей не могли бы обмануть это ясное лицо и уверенная речь, в которой мелькала подчас мальчишеская ирония гимназиста.

Ясность — вот что было для него важнее всего.

Это не была, однако, школьная ясность людей, повторяющих чужие зады. Она у него была своя, немного наглая, честолюбивая, хорошо вооруженная ясность...

Таким я вновь встретил его, когда рыбы, оглушенные кронштадтскими пушками, всплывали в прорубях и чернелись под тоненькой кромкой льда. Неподвижные, сонные лежали они, и можно было брать их руками.

В студенческой коммуне, в Лесном, он сидел, широко расставив ноги, взявшись руками за доску некрашеного стола, а по другую сторону сидел его старший брат, маленький, с коротенькими ручками и большими стоячими ушами. Шпекторов отправлялся добровольцем под Кронштадт, а старший брат из принципа старался не отговаривать его от этой затеи.

Это ему плохо удавалось, потому что он любил Шпекторова и очень волновался за него.

— Я тебя не отговариваю,— сказал он наконец,— но только помни, что, если мать умрет, не кто иной, как ты будешь виноват в этом. Я тебя не отговариваю, но, по-моему, только неблагодарная сволочь может решиться стрелять в людей, которые на всех фронтах были самой надежной опорой. Я тебя не отговариваю, что ж, иди, если хочешь, но только не забывай, пожалуйста, что ты не только сволочь, но и дурак.

Он трясся от волнения и злости.

Шпекторов встал. Со всей вежливостью человека, принимающего на себя ответственность за историю, он взял брата за штаны и поднял вверх, потрясая им, как подушкой.

— Чистоплюй! — сказал он, глядя в упор на барахтавшегося под потолком брата.— Ты смеешь меня упрекать! Стыдись, ты когда-то был человеком.

Он обернулся к нам.

— Товарищи, нужно его проучить! — сказал он весело.— Голосуйте, я подчинюсь большинству. Первое: за штаны подвесить его к потолку. Кто за?

Коммуна единодушно голосовала против.

— Ну, что ж с ним делать? — задумчиво спросил Шпекторов.— Застрелить?

Левой рукой он расстегнул задний карман брюк, и револьвер лег, поблескивая, рядом с хлебом, разрезанным по числу членов коммуны на равные доли. Брат задрыгал.

— Против,— объявила коммуна.

— Ну, черт с ним. Я положу его под стол,— сказал Шпекторов.

И брат сидел под столом тихий, совсем тихий, и больше уж ничего не говорил. Скрестив ноги, как турок, сидел он, и только изредка вылезали на божий свет огромные стоячие уши...

5

С тех пор прошло девять лет, и профессии разлучили нас.

Я занялся лингвистикой, литературой, он поступил в Институт путей сообщения, окончил его и стал одним из немногих у нас знатоков дорожных машин.

Но все же раз в год, после многократных телефонных звонков, мы встречаемся, чтобы рассказать о своих служебных, семейных, личных делах, пожаловаться на усталость (жалуюсь я), сообщить друг другу свои соображения по поводу налета на Аркос (1927), захвата Китайско-восточной железной дороги (1929).

Однажды он познакомил меня со своим соседом, мешковатым, молчаливым, в очках.

Мне запомнилась фамилия. Оттенок семинарской важности чувствовался в ней.

Он и был важен.

За весь вечер он сказал только две или три незначительные фразы.

У него было простое русское лицо с тупым носом, с румянцем во всю щеку...

Никто из нас не знает заранее, какие слова, движения, признаки вещей придется впоследствии проверять на очных ставках между действительностью и представлением.

Чутье материала — больше нечем руководствоваться тому, кто берется за наше неблагодарное ремесло.

И оно подчас изменяет, это чутье, оно ошибается, оно, не задумываясь, проходит мимо того, что достойно наблюдения и изучения...

Так, проглядев Алексея Архимедова в тот вечер, когда я встретился с ним впервые, я напрасно старался потом возобновить в памяти первый черновик этого человека.

6

Напрасно! Он неизменно появлялся передо мной таким, каким я встретил его подле Медного всадника: в длинном расстегнутом пальто, в потертой темно-коричневой паре, с палкой в руке, и венценосная слепая голова смотрит в сторону, не слыша и не желая слышать:

— Кто из нас прав? За кого ты голосуешь, учитель?

Архимедов, впрочем, вел себя так, как будто голова ответила ему.

С упрямой задумчивостью стоял он, облокотясь на ограду, и у него было напряженное, прислушивающееся лицо. Он слушал...

А ребенок спал на скамейке, и чепчик лихо сидел на его голове, придавая ему бесшабашный вид. Ему было на все наплевать. Он сердито чмокал губами.

Я подошел, не зная, с чего начать разговор.

— Вы не узнаете меня?

— Узнаю,— сказал Архимедов.

Он взял ребенка на руки и стал качать. Это было не очень похоже на плавное покачиванье мальпоста или няньки. Он качал его с такой силой, что стоило, казалось, только разжать руки, чтобы Фердинанд долетел до кривой мусульманской луны, висевшей над Адмиралтейским шпилем.

— Странно видеть ночью на улице такого малыша,— сказал я со всей вежливостью, на которую был способен,— должно быть, из гостей?

— Нет,— сказал Архимедов,— из дому.

Он вдруг улыбнулся.

— Вы смотрите на меня, как на Мухаммеда, только что сбежавшего из Мекки в Медину. У него было больше сторонников, чем у меня. У меня пока что только один.— Он подбородком указал на ребенка.— Или вы думаете, что с этой ночи начнется новая эра?

Это было сказано с иронией.

Я сказал ему, что у меня нет никаких оснований предполагать, что с этой ночи начнется новая эра. Каждому

школьнику известно, что она уже началась с появления Ленина на броневике у Финляндского вокзала.

— Кроме того, вы не похожи на пророка. У вас нет уверенности, что в Мекке вас ждут с нетерпением.

Он рассмеялся, немного приоткрыв рот. У него был негромкий, сдержанный смех осторожного человека.

— Меня никто не ждет,— сказал он.— Быт против меня, и я освободился от него сегодня в половине двенадцатого ночи. Борьбу за существование я начинаю сначала.

Я взглянул на ребенка, не зная, что ответить на весь этот вздор. Мне помогли часы; один сильный удар и три еле слышных — было три четверти второго.

И еще раньше, чем они кончили бить, Фердинанд заревел.

Мне часто случалось слышать, как плачут дети. Но такого отчаянного, разбойничьего, самозабвенного рева я еще никогда не слыхал. Фердинанд скосился, у него было набрякшее генеральское лицо. Хмуро сморщив нос, он ревел с упоением и все пронзительнее, все громче.

Архимедов сунул свободную руку куда-то в одеяло, пощупал пеленку и, точно обжегшись, выдернул руку назад.

— Ах, вот в чем дело,— сказал он, смутившись (но и в самом смущении сохраняя оттенок важности).— Он, кажется...

Ночь была свежая, и я сказал Архимедову, что его единственный сторонник легко может простудиться.

— Пойдемте ко мне. Моя жена еще не забыла, как это делается, она его перепеленает.

Архимедов еще раз пощупал пеленку.

— Просто страшно сказать, что там творится,— пробормотал он.— Жаль, что он еще такой маленький; мне почему-то казалось, что он уже умеет проситься.

И он звонко поцеловал сына.

7

Я разбудил жену.

Когда, с пеленками в руках, она появилась в столовой, Архимедов смутился. Кланяясь, он, как мальчик, пристукнул каблуками и сказал: «С доброй ночью». Жена улыбнулась. Тогда он растерялся. Это было страшно.

Другой на его месте пошутил бы над своей обмолвкой или сделал бы что-нибудь, чтобы утаить неловкость.

Он не шутил. Опустив голову, расставив ноги, он прислонился к стене, и пот ровными крупными каплями выходил на лоб из-под волос. Он не владел свободой обращенья или не хотел притворяться.

Мы сели за стол, и я предложил ему чаю.

Он пил, по временам оглядываясь на жену, возившуюся с Фердинандом, опрокинувшим ногой коробку с тальком, засунувшим в рот кисть от дивана и как-то очень быстро совершившим множество разных проступков, с которыми она не могла справиться, забыв за пять лет привычки и шалости грудных.

— Вы сказали, что быт против вас,— сказал я Архимедову и показал головой на ребенка,— а сами взяли да и унесли его с собой.

Он пил чай с деревянной важностью крестьян.

— Я взял с собою только то, что еще можно исправить,— сказал он неторопливо.

Я наблюдал его с той редкой ясностью переутомленного сознания, которое иногда приходит ночью, после тяжелого дня. Почти всегда она грозит бессонницей, но сегодня я был рад ей.

Чай был выпит.

Мы остались одни. Фердинанд, умытый и перепеленутый, спал в кресле, повернутый лицом к стене.

8

Я так и не уловил в ту ночь, как связывались его неторопливые движения, его манера слушать с приподнятой речью, подчас величественной, подчас звучавшей пусто и гулко.

У него были движения молчаливого человека.

Он слушал так, как будто сам был скуп на слова.

Лежа (после разговора с ним) в темноте с открытыми глазами и размышляя о нем, я понял, что важность, степенность были в равной степени свойственны и его движениям, и его речи.

Я представил себе этот спор со Шпекторовым, уверенным преобразователем мира. Три фразы:

1. «В туманном кадре пивной на мгновенье отразились протянутые к бокалам руки, нервничающий у телефо-

на силуэт — все черты виденья, похожего на прерванный сон».

2. «Мне тяжело смотреть на этот щит» и

3. «Отношение человека к труду будет таким же, как матери к сыну»,— приснились мне, и я записал их тогда же сонной рукой на проклятой, все время сползавшей вниз простыне.

Третья показалась мне (и кажется до сих пор) воспоминанием.

Но я сам слышал ее от него, когда он рассказывал о последних минутах спора.

Новые предметы и примеры, кроме щита на воротах, честности страсбургских мастеров, автомобиля Елизаветы Бергнер, вошли в его рассказ.

Он называл мораль «физикой нравов».

«В Цюрихе провинившегося хлебника носили по городу в корзине, привешенной к шесту, а потом окунали в лужу! В Базеле отрубали хвост у семги, которую не успевали продать в течение рыночного дня!»

Кто бы мог угадать пылкость за такой заурядной внешностью полурусского-полуфинна?

Я засыпал.

Я думал о том, что эта фраза о пылкости никуда не войдет. Он был не пылок, нет!

Я вспоминал, засыпая: мужествен, мудр, сосредоточен...

Я засыпал.

Я начинал думать сначала.

Толстый хлебник в корзине, подвешенной к шесту, вдруг представился мне.

Корзина качалась над толпой разгневанных и смеющихся женщин.

Он был в берете, в камзоле, с круглыми набитыми плечами.

Он плакал.

Он кричал, что во всем виноват подмастерье.

Его окунали.

Я очнулся от забытья, которым обычно оканчивалась моя бессонница.

Наступало утро, похожее на зимний полдень. Висела вдоль окна упавшая проволока антенны, покачиваемая ветром.

Глуховатый голос вдруг запел где-то, и я прислушивался несколько секунд, не догадываясь, что это поет Архимедов. Он пел:

Корова спит,
Лошадь спит,
Дерево спит,
Ворона спит,
И ты тоже спи, спи, спи...

Кошка спит,
Обезьяна спит,
Антилопа спит,
Кресло спит,
И ты тоже спи, спи, спи...

Я представил себе его плечи, сгорбившиеся над ребенком.

Казалось, он пел не для того, чтобы укачать сына. Но, без конца перечисляя спящих животных, а потом людей, профессии, минералы, он как бы убеждал самого себя, что бодрствует только он один.

Весь мир спал, кроме него:

Плотник спит,
Рубанок спит,
Лампа спит,
Ворона спит,
И ты тоже спи, спи, спи...

А утром, поздно поднявшись с постели, я не нашел его. В восьмом часу утра он разбудил домашнюю работницу и попросил ее закрыть за ним дверь. Он ушел, не сказав ни слова. Когда она рассказывала мне об этом, у нее голос задрожал от слез: «Да как же, сумасшедший, с ребенком, деваться некуда».

Садясь за стол в библиотеке Пушкинского дома, я вспомнил наконец фразу, закончившую наш ночной разговор.

Вот она: «Акции правды и честности, с одной стороны, и лжи, с другой, то падают, то поднимаются в истории. Когда класс овладевает властью и заявляет, что будущее принадлежит ему, он поднимает акции правды. Когда он клонится к упадку, он, запутавшийся в делах банкрот, поднимает акции лицемерия, подлости и скуки».

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ. В ТЮЗЕ

1

Я был увлечен в ту пору работой над некоторыми спорными вопросами журналистики тридцатых годов, и заметки о встрече с Архимедовым были отложены надолго.

Совсем другой человек занимал меня — желчный европеец, скептический иезуит, несчастный и одинокий, ненавидимый многими, враждовавший со всеми, не любимый никем.

Я говорю о Сенковском.

Целые дни я проводил в архивах, читая — запоздалый следователь — письма, подчас не прочтенные даже теми, кому они были адресованы, дневники, мемуары, доносы, продиктованные завистью, честолюбием, честью, бесчестьем, страхом.

Я возвращался домой, утомленный не столько самой работой, сколько сознанием невозможности помочь одному, остановить от подлости другого.

О, если бы я мог вмешаться в эту борьбу демонов николаевской эпохи, окончившуюся за шестьдесят лет до моего рождения!

Держа в руках бумаги, погубившие ученую карьеру моего журналиста, я испытывал глубокое желание поехать к нему на дом, чтобы предупредить о предательстве друзей, о вероломной преданности врагов.

Даты останавливали меня на подъезде Пушкинского дома. «Не стоит спешить. Остановись, посоветуйся с нами. Нам нужно тебе что-то сказать...»

Я шел домой и весь вечер жаловался жене на необратимость времени.

— Он был бы другим. Я бы рассказал ему о том, что его ожидает.

2

Шпекторов оторвал меня от этих занятий. Однажды вечером я нашел его у себя в кабинете.

Он был в крагах, с папиросой во рту. Книга Хлебникова, которую он взял у меня со стола, была раскрыта на «Ночи в окопах». Он читал, раскачиваясь на носках, насмешливо улыбаясь.

Уже войдя и протянув ему руку, я заметил, что он ждал меня не один.

Как ширмой, закрытая распахнувшейся дверью, в углу, в кресле, сидела женщина. Я не знал или не узнал ее.

Он захлопнул дверь.

— Эсфирь,— сказал он кратко.

Не улыбаясь, она крепко пожала мне руку.

Мы сели.

Я еще раз взглянул на нее. «Должно быть, вот такие,— подумалось мне,— в дни гибели Иерусалима пророчествовали на ступенях храма!»

— Можно без предисловий? — Шпекторов встал, подвинул стул и поставил на него ногу.— Мы пришли к тебе поговорить об одном человеке, который сошел с ума или притворяется сумасшедшим.

Женщина выпрямилась, опершись на ручки кресла. Я понял, что она хочет что-то сказать. Шпекторов обернулся к ней.

— Условимся,— сказал он спокойно,— я даю текст. Ты сделаешь примечания.

Я подивился величественной простоте, с которой она опустила голову в ответ на это предложение.

— История началась с того,— сказал Шпекторов,— что мы гуляли по Литейному и разговаривали о морали...

Его рассказ был не похож на полуфантастическое состязание идей, о котором говорил Архимедов.

Сличив впоследствии оба варианта, я понял, что Архимедов... Он не лгал! Но на прошлое он смотрел как на черновик. С душевной ясностью человека, свободного от сожалений, он вмешивался в прошлое, придавая новый смысл тому, что ничего не значило в действительности, для него уже не существовавшей.

Рассказ Шпекторова был, напротив, точен, и для филолога (я — филолог) не было никаких сомнений в том, который из них следует считать более достоверным. Но мне показалось немного странным, что о семейной жизни Архимедова, которая, кажется, вовсе и не должна была меня интересовать, упоминалось в этом рассказе довольно часто.

Он кончил, попросив воды.

— Но позволь,— у меня не хватило смелости задать этот вопрос самому Архимедову,— что же, в конце концов, мешало ему, оставаясь дома, проповедовать свои воззрения? .

Не отрываясь от стакана, он досадливо поднял брови. Я понял, что не следовало упоминать об этом в присутствии...

Она смотрела прямо перед собой черными, ровными глазами.

Все молчали несколько секунд.

Потом она сказала с эпической простотой, напомнившей мне Книгу Судей.

— Ему мешала я.

3

И вот мы услышали пылкую речь, которая была тем страннее, чем неподвижнее было ее лицо с мелкой плойкой волос над решительным, низким лбом.

— Я, я одна виновата во всем! Он кашлял. Он ходил в рваных носках! Никто о нем не заботился, когда он ходил голодный. Он прав, я хочу увидеть его, чтобы сказать, что он прав! Я думала только о себе. Разве я не будила его по ночам, когда плакал ребенок?

Это было не очень похоже на любовь. «Я хочу видеть его, чтобы сказать, что он прав». Раскаянье — пожалуй, к речи ее лучше подошло бы это слово.

— Разве он ушел бы от меня, если бы я заботилась о нем так же, как в первые годы? Разве тогда я уходила с утра до вечера? Разве, возвращаясь домой, он должен был сам готовить себе обеды? Разве тогда я лгала ему? Разве...

Шпекторов сердито вскинул брови.

— Никому не интересно.

Он сказал это, мне подумалось, с внутренним беспокойством, но у него были широкие, спокойные плечи, ясный лоб,— и я решил, что ошибся.

— С лирикой, кажется, покончено?

Эсфирь сидела, опустив голову, пальцами сжимая виски. Мне было жаль ее. Я постарался глазами внушить Шпекторову, что нельзя же так обращаться с женщиной, только что брошенной мужем.

— Чушь! Все дело в том, что я нашел его. С двумя или тремя такими же чудаками его видели... Где, как ты думаешь?

Я размышлял несколько мгновений.

— В ночлежном доме?

— Нет.

— В Эрмитаже?

— Нет,— сказал Шпекторов,— в ТЮЗе. Он засел в ТЮЗе, в Театре юных зрителей. Там его штаб.

Я был поражен. Самые странные предположения, разбитые наголову, отступали перед необъяснимой линией поведения этого человека.

— Нельзя отказать ему в последовательности,— сказал Шпекторов, смеясь.— Он никогда не рассчитывал на успех своего учения среди взрослых. Он всегда рассчитывал привлечь на свою сторону детей.

Я представил себе Архимедова, мешковатого, розовощекого, с высокой речью, убеждающего школьников в том, что личное достоинство должно быть существенным компонентом социализма...

Женщина встала, и вновь я увидел ее грозный и печальный лоб, прямой нос дочерей Ливана и высокую женственную шею, которую Библия решилась бы, может быть, сравнить с башней из слоновой кости.

— Я прошу вас поехать к нему со мной.

— Меня?

Этой просьбы я не ожидал.

Я только что собирался произнести небольшую речь в защиту Архимедова, рассказать о нашей встрече у Медного всадника, сделать несколько успокоительных предположений. Мне казалось, что Шпекторов, именно в этом отношении, рассчитывал на мою помощь.

— Меня? Но ведь я же почти не знаком с ним. Мы виделись только два или три раза. Он спустит меня с лестницы — и будет совершенно прав.

Рука, которой она опиралась на стол, слегка дрожала.

— Мне больше некого просить.

Я посмотрел на Шпекторова.

— А ты?

— Ну, меня-то уж, без сомненья, спустит!

Я не знал, на что решиться. Я представлял себе разговор с Архимедовым, которого я убеждаю вернуться к жене: «Вы не захотите губить женщину, которая любит вас! Взгляните на ребенка. Он тянется к матери», и т. д. Какая чушь! Я был готов отказаться.

Но заметки о ночной встрече с Архимедовым, погребенные под грудой архивных дел тридцатых годов, снова возникли передо мной, со всем соблазном ремесла, по которому я скучал последние дни, сам себе в этом не признаваясь.

Я вспомнил, где лежит моя записная книжка. Я мысленно уже перелистывал ее, обдумывая детали, записывая новые наблюдения, стараясь заключить в план беглую игру воспоминаний...

Я решил поехать.

Я люблю ТЮЗ. Ни в каком другом театре я не видел, как актер, которому роль продиктовала вопрос: «Куда же пошел этот низкий человек, так жестоко обращающийся со своим ребенком?» — услышал бы в ответ: «Налево, он спрятался за этот дом», или: «Да не туда же, там тебя убьют, прыгай вниз, мы спрячем тебя под скамейкой».

Это зрители, безмятежно относящиеся ко времени, вмешиваются в пьесу, считая ее личным делом.

Взрослые, которым приходится играть в этом театре детей, принуждены заглянуть в прошлое и вспомнить время, когда они были искренними и думали, что таков весь мир.

И тогда, становясь детьми, они возвращаются в круг бескорыстия и благородства, и притворство спадает с них, как кожа со змеи, меняющей кожу.

«Но не только это,— думал я, хватаясь за ремень в переполненном трамвае,— привлекало Архимедова в ТЮЗ».

И я вспомнил его слова о том, что у мусульманского пророка было больше сторонников, чем у него. У него только один. Он подбородком указал на ребенка. Его армия — дети.

«Но не только это,— я начинал думать сызнова, машинально следя за своим отражением, бегущим вдоль улиц в трамвайном стекле,— не только это привлекло Архимедова в ТЮЗ. В этом театре играют честь, самоотверженность, воинствующую доброту — все, что он хотел бы видеть не только на сцене».

Готические кубики Тиля Уленшпигеля вспомнились мне.

«Пойте, свистящие свирели, гнусящие волынки, барабаны, гремящие о славе! Да здравствуют гёзы!»

Уленшпигель (в знак клятвы поднимая секиру): «Пепел Клааса стучит в мое сердце».

Я взглянул на мою спутницу, не проронившую за все время пути ни слова.

«Но не только это привлекло Архимедова в ТЮЗ. Он должен был встретить там...»

Мы сошли на углу Моховой.

«Он должен был встретить там,— я нашел наконец эту мысль, поднимаясь по лестнице ТЮЗа,— людей, которые носили провинившегося хлебника в корзине, подвешенной к шесту, носили по средневековым городам, а потом окунали в лужу».

5

Вокруг будущей Индии возились плотники, устраивая, чтобы она вертелась.

Эсфирь спросила у одного из них, где найти Визеля, заведующего монтировочной частью. Плотник указал рукой узкий проход между слоном, уронившим хобот, и Буддой с золотыми запястьями, с наивными глазами.

Здесь были темнота и дверь, очерченная с четырех сторон желтыми полосками электрического света.

Первое, что я увидел, распахнув ее, был Фердинанд. Он ползал по полу, играя рогатой головой быка. Я перешагнул через него, уступая дорогу матери, бросившейся вперед с протянутыми руками.

Архимедов, сидевший за столом, поднял вверх спокойное, свежее лицо. Я не заметил никакого удивления. Он встал, взял свой стул и подал его жене.

— Очень хорошо, что ты пришла,— он сказал это так, как будто они только час тому назад расстались,— мне нужно поговорить с тобой. Посиди немного, мы скоро кончим.

Он пошел обратно, не узнав меня. Не было причин предполагать, что он не поздоровался нарочно.

Длинноногий человек в блузе вскочил при его приближении и почтительно предложил свой стул. Таков был первый последователь нового учителя нравов — длинноногий, растерянный, голубоглазый. Второй был Жаба.

6

Каждый, кто в начале двадцатых годов учился в Ленинградском университете, знает Жабу.

Толстый и шумный, он целыми днями шатался по коридору и спорил. Я любил слушать его. Врожденный лингвист, смотрящий на все глазами своей науки, он спорил только о словах. Подобно детям, для которых называние мира подчас является объяснением его, он не мирился с тем, что общий разум уже назвал предметы и назначил им известное место в общей системе понятий. Утверждая, что имена вещей были продиктованы не разумом, но живым впечатлением, он переименовывал мир с такой же легкостью, как женщины переставляют мебель. Имена жили в его представлении отдельно от вещей — и не менее действительной жизнью.

Он был легкий, ленивый, любивший петь или бормотать. Я помню, как, зайдя к нему однажды, я нашел его лежащим на полу, на спине, на полуизодранной «Правде».

Печь топилась, он грел толстые ступни.

Огромный мешок с сахаром стоял подле него по левую руку, а по правую — чайник с водой, и он ел сахар, с хрустом, как сухари. А вокруг там и сям сидели серые крылышки газетной бумаги. Он отрывал от газеты по кусочку, прочитывал и бросал прочь. Когда я вошел, он с кряхтеньем доставал фельетон, застрявший где-то под поясницей.

— Я лежу здесь со вчерашнего дня,— сказал он мне,— и ем сахар; это очень полезно, и врачи утверждают даже, что он вполне может заменить все другие продукты питания. И я прочитал все, кроме этого проклятого фельетона, который застрял у меня под задом. Помоги мне достать его, милый, а я в благодарность расскажу тебе об одном замечательном открытии, о котором ты можешь, при желании, написать отличную книгу с предисловием академика Марра.

Он был пьян.

Открытие касалось театрального языка...

— Почему фарс? — восторженно спросил Жаба.— А почему не скукобой? И не спектакль, а созерцины. Смотри, насколько лучше: «Я был на созерцинах!»

Университета он так, кажется, и не кончил. На последнем курсе он вдруг открыл в себе непреодолимую склонность к живописи и бросил лингвистику несмотря на то, что профессора предсказывали ему блестящую научную карьеру. Мне не случалось видеть его картин, но я слыхал стороной, что они были из рук вон плохи. В ТЮЗе он работал макетчиком.

7

Казалось, только теперь Архимедов признал во мне своего знакомца.

— И вы возьмите стул,— сказал он голосом, не выражавшим ни радости, ни недовольства.

Я был здесь лишний.

Рыжий юноша смотрел на меня, плохо скрывая досаду, гримасничая, стуча пальцами по трости Архимедова, зажатой в коленях.

Жаба, всегда шумно приветствовавший меня, внимательно рассматривал брошенную Фердинандом голову быка, сделанную вовсе не для того, чтобы смотреть на нее вблизи.

Я был здесь лишний. Нетрудно было догадаться об этом. Тем не менее я сел и огляделся...

Гимназические тирады Шиллера — вот что прежде всего приходит мне в голову, когда я вспоминаю архимедовский штаб. Это была комната театральных вещей, деревянного и картонного хозяйства, лишенного профессиональной важности традиционных кулис. Стояли какие-то ромбы, на полу были свалены плоские деревянные прямоугольники, подобные картам, которыми играл Гаргантюа. Реквизит фокусников, раджей, отважных советских мальчиков, разбойников, гёзов лежал здесь, не задумываясь над смещением законов времени и пространства.

Мысль о том, что все эти легкие куски картона и полотна напоминают детство, игрушки и особенно прикосновение дерева к телу, когда где-то у верстака в детстве я трогал рукой его свежераспиленную поверхность, была последней, заслуживающей упоминания.

Потом Жаба встал из-за стола, толстый, с глоткой и жестами Дантона. Он произнес речь против художников-декламаторов и художников-дипломатов.

Они виноваты в том, что к каждому цвету примешивается теперь оттенок уличной пыли. Они забыли, что, с точки зрения воспроизведения действительности, самой совершенной картиной было бы оконное стекло. Они не понимают, что нельзя нарушать плоскость холста, стены или бумаги иллюзиями еще какого-то пространства, пресловутыми «далями» линейной перспективы.

Жаба не был ни декламатором, ни дипломатом.

Поэтому я с трудом припоминаю его длинное путаное нападение на всю современную русскую живопись, от супрематистов до АХРа.

Это не было атакой опытного полемиста, владеющего голосом и словом. Он повторялся, он был слишком ленив. Мне казалось иногда, что он говорил нарочно страшным голосом, бу-бу-бу, как в бочку, как пугают детей.

Три риторических вопроса, один лучше другого, закончили его оглушительную речь.

— Не думаете ли вы, что цвет уличной пыли является серьезным поводом для падения честности, личного достоинства, доверия друг к другу? Что девять десятых подло-

стей не были бы совершены, если бы торцы, например, были раскрашены в разных кварталах по-разному, а улицы по цвету отличались одна от другой?

(Я представил себе Университетскую набережную, перекрашенную в сиреневые и желтые цвета, и Неву, текущую в фиолетовых берегах.)

Жаба взял со стола кусочек картона. Я пригляделся: это был усеянный разноцветными кружками табель-календарь пятидневки.

— Не думаете ли вы (так был начат второй вопрос), что, если дни уже различаются по цветам, стало быть, через два-три года по цветам будет различаться все трудовое население Союза? Цвет дня отдыха станет признаком человека!

«Это предсказание,— подумал я,— похоже на одну из сказок Шахразады о том, как рыбак вытащил из пруда белую, красную, желтую и голубую рыбу. И белая оказалась заколдованным мусульманином, желтая — евреем, голубая — христианином, а красная — магом. Красные были магами и во времена Шахразады».

— Не думаете ли вы,— продолжал Жаба,— что мы должны уже теперь, не дожидаясь, когда подхалимы, у которых, скажем, зеленый выходной день, начнут перекрашивать в зеленый цвет свои дома, свою мебель, своих жен и детей, предложить правительству...

Он запнулся на этом слове, потом окончил, устало вытирая рот:

— ...перекрасить мир!

Архимедов слушал его, как посла дружественной державы.

Я следил за ним. Несколько раз он с любовью оглянулся на жену и сына, уснувшего на ее коленях. Они встретились взглядами — и она сжалась, опустила плечи. Я не мог рассмотреть ее лица: она сидела в тени; видны были только коричневые и розовые пятна ее юбки, которые казались теперь черными и серыми.

В коротких, ясных и немного грустных словах он сделал выводы из путаной речи Жабы.

— В жизни и так очень много вещей, с помощью которых можно обманывать друг друга. Искусство не принадлежит к их числу... Вы правы, утверждая, что закон, написанный плохим языком, уже таит в себе все возможности беззакония. Это относится и к законам искусства... Я понял вашу мысль о братстве поэзии, живописи и поли-

тики. Но мне кажется преждевременным ваш проект. Власть стала теперь ученым хранителем страны, но все же, боюсь, она не согласится с вами. Перекрасить мир? — Он без малейшей иронии повторил эту фразу: — Зачем, если он и без того раскрашен в такие удивительные цвета, которые не снились лучшим из наших живописцев?

Задумчивый, упрямый, он встал и пошел по комнате.

Длинноногий юноша — это был Визель — не сводил с него огромных голубых глаз, в которых я увидел почти испугавшее меня обожание и верность.

«Нет, не Жаба,— подумалось мне,— этот длинноногий — вот кто будет его учеником и другом».

Архимедов остановился перед тазом для варенья, очень странным среди крашеного легкого дерева и полотна. Пышное перо украшало таз. Он висел на стене начищенный, заранее гулкий.

— Что это?

— Головной убор Дон-Кихота,— громко сказал Визель. Он выбежал и вернулся, держа в одной руке противень — щит и в другой — копье, которое было ухватом.— Его копье и щит!

В эту минуту я впервые почувствовал, что все это какая-то игра, полудетская, полутеатральная и получившая право на серьезное значение лишь благодаря тому, что молчаливая женщина с ребенком на руках была ее свидетельницей, вольной или невольной.

Не тот, кто сполна расплачивается за свои слова и поступки, нет, розовощекий юноша стоял передо мной и тихонько, задумчиво стучал пальцами в таз.

Он вдруг надел его.

Звон смолкал на его голове.

Одной рукой он взял противень, другой — ухват.

«А может быть,— подумалось мне,— я напрасно искал черты преобразователя в этом советском Дон-Кихоте?»

Казалось, он угадал эту мысль.

С внезапным отвращением он сбросил с головы таз и швырнул на стол вооружение.

— Непохоже,— сказал он,— он сражался с иллюзиями во имя благородства, а мы сражаемся за благородство во имя...

Он приостановился.

— Во имя? — переспросил я.

— Во имя искусства.

Отвечая, он перевел на меня глаза, как будто увидев меня впервые. Вновь я почувствовал себя неловко. Миссия моя оказалась ненужной... Ненужной ли?

Не поднимая глаз, сидела в углу Эсфирь, положив ладонь на спящего ребенка. Она была спокойна. Но иногда неподвижность поднималась, как занавес, и открывалось взволнованное лицо женщины, быть может решающейся на серьезный шаг. То вызов проходил по лицу, то отчаянье, то сознание вины. А потом занавес падал, и вот уже снова вне подозрений были ее молчаливость и бледность.

Я не знал, на что решиться. Что ж, теперь начать с ним разговор? Я медлил. Но оставаться здесь дольше, не объяснив причины своего появления, наконец показалось мне невозможным.

Я встал и подошел к Архимедову.

— Мне нужно поговорить с вами.

Должно быть, это было сказано взволнованным голосом (я действительно волновался), потому что он посмотрел на меня очень внимательно и с интересом. Потом распахнул дверь и пропустил меня вперед. Мы вышли в монтировочный зал.

— Вы должны заранее извинить меня за этот разговор,— сказал я,— я приехал по просьбе вашей жены.

Мы стояли возле трехколесного велосипеда с тощей конской головой вместо руля, и, продолжая говорить, я понял, что это голова Росинанта. С ухватом в одной руке и противнем в другой советский Дон-Кихот представился мне верхом на этом велосипеде.

Я вдруг рассердился на него.

— Поверьте, что я не стал бы вмешиваться в ваши семейные дела, они меня отнюдь не занимают. И я не затеял бы этого разговора, если бы ваша жена и ваш друг...

Он слушал меня — равнодушно? с волнением? Ничего нельзя было прочесть на неподвижном, ясном лице. Потом он ответил с трудом:

— Ладно, оставим это.

Визель вырос за его спиной, костлявый, с грозным лошадиным лицом.

Он появился вовремя. Я решительно не знал, что мне делать с этим странным ответом.

Мы постояли несколько мгновений молча.

— До свиданья,— сказал я наконец.

Архимедов протянул мне твердую руку. Я ушел...

8

На верхней галерее, закрытой щитами, Визель догнал меня, заблудившегося среди фанерных перегородок, разделявших театр на куски разноцветных пространств.

— Я провожу вас.

Мы спустились вниз, и он остановился в раздевальне, засунув руки в карманы штанов. Пиджак распахнулся. На левом лацкане был приколот контур лошади, опирающейся передними ногами на три сплетенные буквы. Я вгляделся: у лошади была кудрявая грива, хвост завивался. Она была горбатая, с торжественными глазами.

— Что это?

— Гуингнгм.

Я смутно припомнил, что этим именем Свифт называл мудрых лошадей, идеал злопамятного англичанина в чучельном халате цареубийцы.

— Это что же, профсоюз гуингнгмов? — спросил я.— Если вспомнить некоторые обычаи, которые Свифт приписывал своим лошадям, навряд ли этот профсоюз пользуется равноправием. Ведь это профсоюзный значок, не так ли?

Визель рассмеялся.

— Это государственный герб,— высоким мальчишеским голосом сказал он.

— Вы хотите сказать, что живете в стране, придуманной Свифтом?

Взметнувшись на лестницу, которая вела к открытой двери с силуэтом женщины, склонившейся над письменным столом, Визель поднял вверх узкую руку.

— Свифт растерялся бы в моей стране,— пылко сказал он,— в ней свои законы времени и пространства! Как в империи Карла Великого, в ней никогда не заходит солнце.

Он взглянул на меня со всем презрением, на которое был способен рыжий. Я понял наконец, на что он похож — на штатив...

На углу Симеоновской и Литейного я сел в трамвай.

Я уже знал, что вовсе не гуингнгм был прицеплен к лацкану его пиджака, а Конек-Горбунок, который был знаком ТЮЗа. Конек-Горбунок был нарисован и над кассой, и над подъездом, и на синенькой книжке о ТЮЗе, которая (вспомнил я) как-то попалась мне на глаза в книжном магазине. Так, значит, вот что это была за страна, в кото-

рой никогда не заходит солнце! Это театр. Ну, что ж, рыжий прав...

Трамвай был полон. Я ехал, машинально переставляя буквы в названиях пьес и кинокартин. Потом поднял голову вверх: качающиеся кожаные петли и узкие зеленые стекла, открывающиеся только летом, снова вернули мне мысль: «И тогда, становясь детьми, взрослые вступают в круг бескорыстия и благородства, и притворство просто спадает с них, как кожа с змеи, меняющей кожу».

ВСТРЕЧА ЧЕТВЕРТАЯ. РАСЧЕТ НА РОМАНТИКУ

1

Если нажать пальцем на яблоко глаза, раздвоится все, что он видит перед собой, и колеблющийся двойник отойдет вниз, напоминая детство, когда сомнение в неоспоримой реальности мира уводило мысль в геометрическую сущность вещей.

Нажмите — и рисунки Филонова, на которых вы видите лица, пересеченные плоскостью, и одна часть темнее и меньше другой, а глаз с высоко взлетевшей бровью смотрит куда-то в угол, откуда его изгнала тушь, станут ясны для вас.

Таким наутро представился мне вечер в ТЮЗе. Каждое слово и движение как бы прятались за собственный двойник, который я видел сдвинутым зрением, сдвинутым еще неизвестными мне самому страницами этой книги.

Вот почему через две-три недели я стоял в незнакомой прихожей, и Жаба шел мне навстречу с дружески протянутой рукой. Мы поздоровались, а потом он стал как-то топтаться на одном месте, и лицо у него было такое, как будто я свалился как снег на голову,— а между тем я созвонился с ним накануне. Он схватил меня за рукав, потащил к себе, и тут объяснилась причина его смятения. Прекрасная, здоровая женщина стояла посредине комнаты, а у ее ног с восточной важностью сидел на горшке Фердинанд.

Его нетрудно было узнать. Он был непохож на других годовалых. Дитя-делец, солидный потомок эпохи бури и натиска, он даже и на горшке держал себя с достоинством,

взвешивая каждое из немногих движений, которыми он располагал. Известное наставление детских врачей о вреде раннего употребления ночного горшка смутно вспомнилось мне, и я немедленно же высказал его, немного перепутав сроки.

— Что вы делаете? — сказал я женщине, едва только закрыл за собой дверь.— Ребенка только что отняли от груди, а вы уже сажаете его на горшок? Ведь у него горб начнет расти, разве можно!

Слова эти произвели сильнейшее действие на Жабу. Насупившись, он раза два обошел младенца, а потом двинулся прямо на женщину, вовсе не в шутку грозя ей толстым кулаком.

— Я тебе говорил, что на горшок еще нельзя! — сказал он сквозь зубы.— Я сам буду стирать пеленки. Сними его с горшка, дрянь!

Женщина заплакала.

— Она кормила его до года,— сказала она сквозь слезы,— я смотрела Жука «Мать и дитя», там сказано, что с семи месяцев уже можно сажать. Ты думаешь, мне трудно пеленку выстирать? Дурак!

Между тем Фердинанд сделал свое дело и встал. Он едва покинул пеленки и был такого маленького роста, что меньше просто нельзя было вообразить себе человеческое существо.

— Мы недавно поженились,— смущенно сказал Жаба,— и вот Архимедовы подкинули нам с Танькой этого детеныша. Собственно, я сам настоял. Они очень ссорятся последнее время.

Я взглянул на Жабу, потом на его жену, которая, покраснев, наклонилась над Фердинандом с большим куском ваты в руке (а почтенный ребенок терпеливо подчинялся насилию),— и странная фигура человека-медведя, промелькнувшая в первых главах этой повести, вдруг стала понятной мне. Это был не кто иной, как Жаба, а Танька — это и была та самая Танька, которую нужно было украсть, покамест ее мать и отец скрывались у родственников от налогов.

«Ну, такую стоило красть»,— подумалось мне. Она возилась с Фердинандом, раскрасневшаяся, смешная, и вьющаяся прядь волос была заложена за детское, трогательное ухо.

2

Все комнаты Жабы (а он менял их каждый год) были очень похожи одна на другую. Я уже говорил где-то, что он был толстяк, а толстяки и дети все устраивают по-своему.

Но эта комната была совсем иная. Для него теперь неважно было, что он толстяк. Он пренебрегал этим. Для него важно было теперь, что он художник; это было видно во всем: с нарочитой небрежностью были брошены на подоконник кисти, какие-то очень профессиональные запачканные щиты стояли в углу, мольберт был огромный, тяжелый. А между тем художник он был плохой, и стоило только раз взглянуть на его картины, с подчеркнутой асимметричностью развешанные здесь и там, чтобы сказать, что они решительно никуда не годятся.

Я остановился перед одной из них, изображавшей пивную (Жаба мне сказал, что это пивная, сам я не догадался бы, без сомнения): сонная морда лежала на столе, а рядом с ней стоял бокал, в котором плавала еще одна морда, поменьше. Та, что поменьше, была, пожалуй, и недурна и даже напоминала чем-то самого художника, но вся картина так плоха, что уж лучше было бы, пожалуй, употребить холст на другое дело. Граненые цветные квадратики шли по ней туда и сюда, до самой рамы, в левом верхнем углу был приклеен номер шестьдесят четыре, и Жаба объявил, что этот номер играет в общей композиции очень важную роль. Я не возражал.

Все другие полотна были еще хуже «Пивной». Но среди рисунков один показался мне занятным: солдат в рваной шинели стоял навытяжку перед штабом богов. Здесь был и Христос, сухощавый, решительный, в офицерских галифе, с подстриженными по-английски усами, и смуглый Магомет, в котором чувствовался высокомерный воин Востока, и льстивый косоглазый Будда. Правда, все это напоминало известные рисунки Георга Гросса.

— Послушай,— спросил я, когда больше уже нечего было показывать,— а что за человек Архимедов?

Я знал, что Жаба — человек увлекающийся или даже враль. Но это был враль с безошибочным вкусом. Еще в университетские времена, когда, бывало, заходила речь о какой-нибудь новой книге, никто никогда не осмеливался оспаривать его вздорных и остроумных мнений. Потому я был очень удивлен, когда, с той минуты, как я произнес

имя «Архимедов», он просто забыл о своих картинах, как будто ни одна из них не висела на стенах его мастерской.

— Архимедов — это не просто человек,— сказал он серьезно.— Это художник, и нам всем до него как до неба.

— Ты, может быть, не о том Архимедове говоришь?

— Я говорю о папаше вот этого хулигана,— сказал Жаба и показал на Фердинанда, который, сидя на столе, сосал ногу с довольно мрачным видом.— Об Алексее Архимедове. Великий художник.

Он вдруг надулся, побагровел и забегал по мастерской, трогая руками все, что ему попадалось, и сейчас же отталкивая прочь.

— Ты еще не видел ни одного мазка, а уже улыбаешься? — спросил он сердито.— Чего ты смеешься? Все смеются, когда я говорю, что Архимедов гениален!

— Где же можно видеть его работы?

Жаба отдувался.

— Нигде,— еще сердито сказал он.— Он никому не показывает их. И не продает. Он завещал их пролетариату.

— Но ты видел их, не правда ли?

3

— Видел,— сказал Жаба, и у него стало нежное лицо,— и знаешь, что это такое? Это и есть новое зрение, то самое, о котором вот уже пятьдесят лет говорят все художники от мала до велика. Это искусство человека, который ничего не боится. То, что другим кажется детским, банальным, смешным, для него самое важное. Это единственный художник нашего времени, который не боится морали.

(Над недопитым стаканом чая, в ночной столовой, Архимедов вдруг появился в этих словах, рассказывающий, важный.)

— Мораль? — переспросил я.

— Мораль внимания и доверия,— медленно сказал Жаба.— Внимания к тому, что кажется всем другим не заслуживающим внимания, и доверия друг к другу. Но вот уже год, как он бросил работать.

— Почему?

Жаба вдруг прервал свой бег по мастерской. Он сел за стол и между ладоней поместил толстые щеки. Он был теперь похож на бабу. Он вздохнул.

— Танька, я хочу есть,— сказал он.

Танька не слышала. Бормоча: «Ты плякал, плякал, мамынька, у, ты мой хороший, а где это у нас попка», она сладострастно завертывала иронически улыбавшегося Фердинанда в простынку.

— Танька, я хочу есть,— робко повторил Жаба.

— Опять?

— Ничего не «опять»,— обидчиво сказал Жаба,— мы когда обедали — в четыре? Ну, а теперь половина седьмого.

Танька села. У нее был такой растерянный вид, что я немедленно же стал доказывать Жабе, что обжорство вредно для него, что он может умереть от удара.

— Он целый день просит есть! — сказала Танька и молитвенно сложила ладони.— Целый день, с самого утра и до поздней ночи.

Жаба шевельнул ноздрями.

— Ты, кажется, что-то жарила? — сказал он.— Ну, ладно, я подожду. О чем мы говорили? Ах, да, об Архимедове. Ты спросил меня, почему он бросил работать... Милый мой, это не очень простой вопрос. Есть художники, которым сейчас легко работать. Это счастливцы, уверенные в том, что время работает на них. Легкой рукой они берут все, что ни придется, потому что в их хозяйстве все кажется своевременным и нужным. Среди них есть почтенные люди, в которых необыкновенно сильно развит инстинкт самосохранения. А есть и мальчики, которые пришли, когда обед был уже съеден...— Он покосился на жену.— Вот, милый мой! Старики, открывшие секрет самосохранения, и мальчики, которые не очень огорчились, что, когда они пришли, обед был уже съеден. Но живопись настоящая, единственная, которая нужна своему времени,— она обходится без тех и без других. Это дело страшное, безжалостное, с удачами и неудачами, с восстаниями против учителей, с настоящими сражениями, в которых гибнут не только холсты, но и люди. Это борьба за глаз, за честность глаза, который не подчиняется ни законам, ни запрещениям. Это дело такое, что нужно идти на голод, на холод и на издевательство. Нужно спрятать честолюбие в карман или зажать в зубах и, если нет полотна, рисовать на собственной простыне. И работать, даже если твой лучший друг и брат скажет тебе, что ты занимаешься вздором.— Жаба взял меня за пуговицу.— Вот ты ничего не понимаешь в живописи (я невольно кивнул головой), но и ты засмеялся, когда я сказал, что Архимедов — гени-

альный художник. Когда-то Гогена приходилось показывать в стеклянных витринах, потому что зрители плевали на его благополучные декорации. На Архимедова не станут плевать, он понятен даже детям, а взрослые говорят, что он просто не умеет рисовать. Но уж лучше бы плевали.— Он говорил все быстрее и быстрее.— Он живет только одним — глубокой уверенностью в том, что новое зрение, ради которого он существует, нужно своему времени, что он открыл его не напрасно. А время идет! И картины висят на стенках и скучают, потому что никто не смотрит на них. И человек, нарисовавший их, тоже начинает скучать, потому что время идет и картины висят на стенках, и еще потому, что, по-видимому, нужно умереть для того, чтобы тебя открыли. Вот тогда-то он и начинает требовать, чтобы каждый был честен в своем деле, как он честен в своем. Он бросает работу. И мораль, которая была нужна ему для профессии, сама становится профессиональным делом. Он начинает мотаться и говорить глупости, и его нужно беречь, потому что он еще вернется к работе, и тогда этот вздор окажется рисунками и картинами, в которых будет ясно доказано, что он был прав.

Жаба замолчал. Отдуваясь, важно выпятив губы, он пошел к старинному резному бюро (в котором он хранил и книги, и грязное белье и которое, меняя комнаты, таскал с собой) и достал из кармана ключ. Доска упала, он выдвинул ящик. С маленьким кусочком картона он вернулся ко мне, я взглянул на этот картон, и все возражения вылетели у меня из головы.

Это был эскиз театрального костюма. На картоне был нарисован фрак...

4

Когда-то мне казалось, что живопись — это воспроизведение снов, которые пропадают бесследно, если их забыть, а между тем так много душевной силы тратится на то, чтобы их увидеть. Так, в 1919 году в Москве я встретил свой сон, нарисованный Ван-Гогом. Это было так, как если бы моя тень сказала мне: «Не я твоя тень, а ты — моя».

Потом другая мысль заслонила эти детские впечатления, и я решил, что живопись — это природа, притворившаяся мертвой. Хитрая, она не желает гибнуть раньше, чем человек не воспроизведет ее, и тогда она станет су-

ществовать в другом, быть может более совершенном, виде.

Но и эта мысль была оставлена мной, когда я впервые увидел Татлина, угадавшего, казалось, какие-то последние слова, которые лишь с таким трудом мы ловим в их слабых ежедневных отражениях. Тогда другое значение живописи стало ясным для меня. Я понял, что это искусство, которое вправе решиться даже на предсказание в истории. Самая страшная, последняя смелость — все нужно ей для того, чтобы, миновав десятки ступеней, необходимых для неповоротливого ума, угадать существенные черты грядущих событий.

Рисунок, который показал мне Жаба, был из породы таких вещей. Подобно тому, как в стихотворении Мандельштама:

...вывеска, изображая брюки,
Понятье нам дает о человеке,—

фрак этот сам по себе уже был человеком. И не только человеком. Черты террора были в этих высокомерно срезанных фалдах, плечи вздернуты вверх; прищуренные, как глаза, смотрели на меня в упор аскетические лацканы революционера.

— Это фрак Робеспьера,— сказал Жаба,— и это было сделано шутя, в десять минут, не прерывая разговора. Ага, ты больше не смеешься?

Я не смеялся. Все, над чем я недоумевал, все, что в Архимедове казалось мне надуманным и странным, вдруг объяснилось с такой простотой, что я невольно растерялся, представив себе на мгновение, что Жаба прав, считая его гениальным...

5

Фердинанд все время болтал что-то на своем оглушительном языке, и Жаба, огорчившись в конце концов, пошел к нему и наклонился над корзиной, заменявшей младенцу колыбель.

— Ну, зачем ты кричишь? — спросил он кротко.— Ты не согласен со мной, что твой отец гениальный художник? — Жаба обернулся ко мне.— Вот, кстати, одно из его безумств. Ты знаешь, каким образом этот бедный малыш получил такое длинное немецкое имя?

Я сказал, что не знаю.

— На второй день после его рождения я пошел в клинику проведать Эсфирь,— сказал Жаба и положил в рот кусочек черствой булки, который он нашел на окне.— Роды были трудные, кроме того, для нее самой было как-то странно, что она взяла да и родила, и действительно, на нее это было не очень похоже; словом, я просидел у нее полчаса, и за это время мы не сказали ни одного слова. А потом пришел Архимедов. Тогда я в первый раз увидел его. На нем был старомодный пиджак с круглыми углами, брюки со штрипками, жилет в полоску, застегивающийся до самой шеи. Жилет был бархатный, и на нем болтались брелоки. Это была сама провинция девяностых годов, с разговорами о деле Дрейфуса, с любительскими спектаклями, с вольнопожарными обществами, с балами-маскарадами, на которых первый приз присуждался за либеральный костюм, намекавший на шалости вице-губернаторской жены. В руке он держал цветы и сейчас же, как вошел, отдал их Эсфири. Он поздравил ее, даже поцеловал и больше уже не обращал на нее никакого внимания. Сын занимал его. Он подошел к нему и снял очки. Потом вдруг вытащил из кармана штук двадцать осьмушек нарезанной бумаги и положил их в носовой платок. Как ты думаешь, что это было? — Жаба захохотал.— Имена! Он хотел, чтобы мальчик сам назвал себя, без помощи посторонних. И знаешь, у мальчика было ясное лицо администратора, когда Архимедов подставил ему платок. Он вытащил сразу три имени — Гулливера, Фердинанда и Ваську.

Жаба остановился. Едва он назвал эти имена, как Танька, разжигавшая за ширмами примус, так и покатилась со смеху.

— Не слушайте его, он все врет, он каждый раз по-другому рассказывает,— крикнула она, и я увидел сквозь створки, немного разошедшиеся на петлях, краешек кофточки, горящую спичку, прядь волос, заложенную за розовое ухо.

— Честное слово, все правда! — поспешно сказал Жаба.— Три имени — Гулливер, Фердинанд и Васька. И тогда Архимедов сказал длинную речь, в которой утверждал, что только арабы носят так много имен. «Не жадничай, удовлетворись одним! Ты — не араб! Сын славянина и еврейки, ты рожден под советским гербом!..» Пришлось трижды менять пеленки, прежде чем мальчик высказал свое мнение. Он чихнул в конце концов и поднял вверх кулак.— Жаба вдруг снял с носа невидимые очки

и принялся тереть их о рукав пиджака. Он был нисколько не похож на Архимедова, но этот жест и голос, вдруг ставший размышляющим и низким, живо напомнили мне его сдержанный и важный облик.— Взгляните на этот кулак,— голосом Архимедова сказал Жаба,— это знак Рот-Фронта. Он хочет, чтобы его назвали Фердинандом. Предлагая это имя, я имел в виду Фердинанда Лассаля...

— Послушай,— сказал я.— А ведь это не его ребенок!

Сам не знаю, почему я произнес эту фразу. Фердинанд в чепчике набекрень лежал поперек своей корзины. Он был похож... Впрочем, это было призрачное, едва заметное сходство.

Жаба выразительно посмотрел на меня, потом засвистал.

— Э, брат, да ты, кажется, суешь нос в чужие дела. Что за вздор, почему ты решил, что это не его ребенок?

— А просто так,— сказал я.— Подумалось, да и только.

ВСТРЕЧА ПЯТАЯ. РОМАНТИКА РАСЧЕТА

1

Я закончил наконец свою книгу о журналисте Сепковском, так и не сумев остановить его от низостей, предотвратить его неудачи, предупредить о том, что его ожидает.

Но зато я почти плакал над его последними письмами, которые писал он уже одиноким, обманутым самим собою: так много приходило в голову аналогий — печальных и незаконных.

Через силу я дописывал эту книгу, город застилал мне глаза, я почти не понимал простой человеческой речи.

Дописал и уехал и очнулся лишь среди серовато-зеленых холмов Мцхеты, где так явствен разрез времени, бегущий от монастыря (смуглый старик, забытый людьми и смертью, бродит там среди могильных плит и ставит свечи во здравие туристов) по долинам, оттерпевшим гуннов, татар, персов, вниз к ЗАГЭСу, каменному, ясному, отказавшемуся подражать беспорядку гор.

Я прожил под Мцхетой только несколько дней, но уж и там мне стало казаться, что нет на свете таких людей, как Архимедов, что мои заметки о нем не стоят даже

бумаги, на которой они написаны. «Его нет,— сказал я себе,— и то, что я написал,— это была не повесть, это был год, который прошел и больше не вернется. Это была усталость. Это был сонный разговор с самим собой, когда, утомленный возней со скучной подлостью одних, с печальным лицемерием других, ты пробегал по листкам пожелтевших от времени писем, по страницам старинных журналов, по улицам, торопясь домой из архивов и книгохранилищ...»

Шпекторов звал меня к себе. Еще в Ленинграде я получил от него письмо, в котором каждый полушутливый вопрос, даже если он касался моих личных и литературных дел, был, кажется, адресован кому-то другому. Мы никогда не переписывались раньше. В постскриптуме он спрашивал об Эсфири.

2

Он работал в Сальских степях, в одном из крупных совхозов. Но, отправляясь к нему, я честно старался уверить себя, что вовсе не профессиональные цели заставили меня так быстро решиться на эту поездку. Под Мцхетой я отдохнул, очнулся, и мне просто казалось, что поездка в места, лишенные иллюзий, поможет мне яснее увидеть границу между мечтаниями и бытом, без которой очень трудно работать и жить.

Я слез с грузовика возле трехэтажного дома с вертикальными пролетами из стекла, с квадратными коробками балконов.

Узкоплечий человек с добрым утиным носом встретился мне на лестнице. Он был в спадающих коломянковых штанах, и курчавая растительность семита вилась кольцами на плоской груди. Я спросил у него, где живет Шпекторов. Он схватил меня за руку и потащил наверх.

3

Неподвижная, сухая жара стояла в этой комнате, несмотря на ранний час и на распахнутые настежь окна. Географические карты валялись здесь и там, стол был завален книгами, хлебом, табаком, а в углу стояло удивительное сооружение из обручей и мокрой простыни, кото-

рым можно было обмахиваться с помощью длинной веревки. Из четырех коек, стоявших вдоль стен, я мигом нашел ту, на которой спал Шпекторов,— и вовсе не потому, что над ней висела его турецкая трубка. Койка была длинная, аккуратная и, должно быть, жесткая. Ровной складкой было загнуто зеленое мохнатое одеяло, подушка лежала ясная, как день.

А посредине комнаты стоял сам Шпекторов, обтираясь мокрым полотенцем. Голый, он был похож на великолепных индейцев Купера, тех самых, широкогрудых, мускулистых, у которых длинные черные волосы, свисающие на лоб, а говорят они голосом низким, гортанным.

Мы обнялись.

— Вот ты какой стал,— сказал я ему с изумлением,— смотри пожалуйста, как изменился. Да я бы тебя и не узнал, честное слово. Много работаешь, что ли?

Шпекторов не успел ответить. Утконос в коломянковых штанах вырвал у него из рук полотенце и двинулся к нам.

— Он работает? — переспросил он.— Он работает, как лошадь, днем и ночью. Он думает, что у него четыре руки и четыре ноги. Его можно видеть и на главном хуторе, и на участке одновременно. Он работает! Ему нужно было сделать за последнюю декаду двадцать километров дороги, он сделал тридцать два. Нет? Не тридцать два?

— Иля, подите к черту,— сказал Шпекторов и отмахнулся от полотенца, которое, как мокрая белая птица, летало вокруг него.— Все это вздор. Я устал от жары. Вчера было сорок восемь в тени, а работать пришлось на солнце.— Он посмотрел на часы.— Подтяните-ка лучше ваши штаны и пойдемте с нами пить чай.

— Я уже пил,— сердито сказал полуголый...

4

Мы вышли на площадь. Она была белая и большая. Почерневший от времени и дождя, накинутый на шесты, тент стоял посредине ее, а вокруг маленькие деревца, привязанные к палкам, тянулись, как наказанные дети. Это был парк, и две девочки с косичками сидели в его воображаемой тени. Шпекторов ласково кивнул им, они разом вскочили и присели. Обе были в бантиках и ленточках, а

в руках держали толстые мужские носки и клубки штопальных ниток.

— Немочки,— сказал Шпекторов,— дочки одного инструктора по комбайнам.

Я оглянулся: девочки штопали носки. Как будто переплет «Золотой библиотеки» был вписан в эту скупую площадь с катающимися шарами пыли. Они были кадром Старой Германии, показанным на фоне грязного тента, под которым сидели ни на кого не похожие люди этих мест. Одни были в пастушечьих соломенных шляпах, с цветным ободком, другие — в кепи с длиннейшими козырьками, похожими на клюв пеликана, почти все — в комбинезонах, синих и серых, а на спине у некоторых были написаны названия фирмы: «Adwance Rumely» или «Holt». Они сидели за длинными столами на скамейках, пили чай и жрали хлеб, нарезанный толстыми ломтями. Лица у них были обветренные, загорелые, а у некоторых почти страшные от усталости и пыли. На русских мужиков эти люди были гораздо меньше похожи, чем на конквистадоров, с помощью которых Фердинанд Кортец подчинил Мексику власти испанского короля. Завоеватели, привыкшие к испытаниям трудного, но верного похода, они сидели под грязным тентом, пили свой чай и ели свой хлеб.

И Шпекторов стоял между ними в клетчатых галифе, в полотняных сапогах, веселый и простой, как дерево, которое тут же и выросло и никуда отсюда не хочет уходить. Должно быть, все знали и любили его, потому что едва он появился под тентом, как двое крепко сбитых парней подсели к нему и поставили перед ним кружку с пивом, а потом подсели еще двое, и он говорил со всеми сразу и с каждым в отдельности. Я очень жалею, что не записал этого разговора. Но он шел о каких-то здешних, особенных вещах, нигде в мире не существовавших, кроме как под этим тентом, на этой белой площади, по которой, как детские мячи, каталась толстая пыль,— и многое осталось для меня непонятным.

Я не понял, например, почему все закричали: «А вот и компот из гадюк!», когда загорелый, голый до пояса человек, с трубкой в зубах, появился в столовой. Не обращая никакого внимания на это приветствие, он протиснулся между столами и подсел к нам.

— Тося, дайте мне самый холодный пива из этот бак, тот, который снизу есть,— сказал он девушке, принесшей нам хлеб и чай.

Шпекторов ласково хлопнул его по плечу.

— Знакомься,— сказал он мне,— Джино Фанти, механик.

Я следил за девушкой, разносившей чай, и поэтому не прислушивался к тому, о чем, пыхтя трубкой, говорил итальянец. А девушка была хороша. Брови у нее были дугой, глаза матовые, скромные, и она ходила между столами тонкая и легкая, как птица...

5

Я ничего не понял из разговора, начавшегося между Шпекторовым и людьми в грязных комбинезонах, и был очень рад, когда Джино Фанти предложил мне пройтись по зерносовхозу.

— Если «а» больше «б» и «б» больше «с», так скорость равна двум километрам в день...— передразнил он Шпекторова, чертившего на столе схему своих конструкций.— Это не очень вежливо зазвать свой лучший друг к черта на куличек и угощать его такая скучная штука... А, вы уже засмотрелись на наши девочка,— говорил он, когда мы проходили мимо машинного парка и я невольно обратил внимание на ноги, торчавшие под одним из комбайнов,— это очень хороший девушка, зовут Ариша. Раньше она был шофер, но, к несчастью, ей понадобился нашатырный спирт, и она влетел в аптека на автомобиле. Пришлось сделать ее комбайнером. А на комбайне уж не так легко въехать в аптека.

Я посмотрел на ноги с уважением...

— ...Да, мне очень жаль, что он собрался уехать,— говорил он про Шпекторова, когда, вдоволь нагулявшись по Главной улице, мы направились к белым пирамидам палаток, стоявшим в степи за зерносовхозом.— С кем я буду ругаться, когда он уедет? Но это хорошо, пускай едет, ему нужно отдохнуть, он слишком много работает последний время.

— Да, у него очень усталый вид,— сказал я,— мне кажется, он работает больше, чем может.

— Больше, чем может, и еще два раза,— загадочно сказал Джино,— и эти два идут на то, чтобы не очень думать насчет свой личный дел...

6

Институт механизации сельского хозяйства был расположен в семи гессенских палатках, до которых мы добрались наконец. Студенты в пеликаньих кепи сидели здесь, низко склонясь над бумагами, разложенными на длинных столах. Четырехугольная, исчерченная цифрами доска была прислонена к шесту, подпиравшему полотняные своды, и маленький лохматый человечек бегал перед ней, размахивая мелом. Он был весь перепачкан мелом — и лицо, и локти, и спина; и мне странной показалась внимательная неподвижность, с которой студенты слушали его отрывистую картавую речь. Здесь было душно и полутемно, совсем маленькие окна были вставлены в наклонные полотнища, и самый воздух стоял неподвижный, прислушиваясь к страстным крикам человека, бегавшего перед аспидной доской. Трудно было представить себе, что за шаткими стенами этой аудитории лежит большая и трудная степь и солнце стоит над ней, как часовой; комбайны ходят в солнечной пыли, штурвальные стоят на мостиках в плотных панцирях грязи...

Пересохший земляной пол, как бумага, шуршал под ногами, когда мы уходили из палатки. Во вторую и в третью мы только заглянули сквозь раздвинутую холстину входа, а потом пошли за водой,— я давно уже ходил с высунутым языком, как собака. Два бородатых мужика, один в валенках, другой босой, сидели подле бака с водой и играли в карты. Это были вузовские сторожа.

— Ты дурак, Василий Семенов, три раза,— сказал первый, в валенках, у которого был дикий нос.

— Ну, ладно, ладно, сдавай, да намажь пальцы салом! — отвечал второй.

7

Так мы с Джино бродили по главному хутору, и он все показывал мне и объяснял, и из всех его объяснений у меня в памяти осталось только одно:

— Компот из гадюк? Это Шпекторов первый стал звать меня «компот из гадюк». Мы с ним были на один участок, он делал там свой дорога. И вот этот дорога шел через курган, а на курган валялось очень много змей. Это был гадюк, такой змей, который глотает целый теленок. Они вытянулись, как струна, когда увидели трактор, и зашипели

так, что сердце у меня упало на пятки. А! Они стояли — и ни с места, только раскрыли пасть и ждали нас как болван, пока мы не раздавили их всех к чертова бабушка. Тогда мне стало очень жалко, что пропало так много хороший, вкусный мясо, и я сказал Шпекторов, что из этот гадюк можно сделать такой компот, что все облизались бы и попросили бы по два порции на брата. Он очень смеялся, и с тех пор каждый день просил Тося подать мпе два порции компот из гадюк...

Мы нашли Шпекторова в столовой. Шотландка, залитая маслом, блестевшая, как рыбья чешуя, была распахнута на груди, у него было счастливое, грязное лицо, и я понял, что испытание грейдеров окончилось его победой.

— Я доказал им, что при дифференциации задания скорость увеличивается вдвое,— объяснил он.— Ты понимаешь, раньше говорилось: один отряд на такой-то скорости должен сделать за день два километра...

— Ну, началось,— сказал Джино и вдруг поймал за рукав утконоса в коломянковых штанах, пролетевшего мимо с кружкой пива в одной руке и с какими-то синими билетиками в другой.

— Что это, ты, кажется, опять таскаешься с пивом? Ты тут сопьешься, и что я потом скажу твоя мама? Садись сюда, вот тебе стул,— он посадил утконоса на стул,— и расскажи нам какой-то веселый штука, а то этот Шпекторов очень надоел со своя грейдерная дорога.

Шпекторов рассмеялся чистосердечно, от души, и вдруг снова стал гимназистом: таким сидел он передо мной, когда, удрав однажды с урока закона божьего, мы выкурили в Ботаническом саду по нашей первой папиросе.

— Ты знаешь, что это за человек? — спросил он меня и ласково похлопал утконоса по плечу.— Это безумец, добившийся того, что к осени все дома зерносовхоза будут окрашены в разные цвета, начиная с цвета этих помидоров и кончая цветом его собственного утиного носа. Он думает, видишь ли, что серый цвет является серьезным поводом для падения честности и доверия друг к другу. Он, видишь ли, уверен, что мы добьемся не тридцати пяти, а восьмидесяти пяти центнеров на гектар, если телеграфные столбы в разных участках будут окрашены по-разному и комбайны будут отличаться один от другого по цвету.

— Шпекторов, поди ты к черту,— сказал безумец добродушно.— Это не я так думаю, а Институт рационализации труда. И не так, а совсем по-другому.

От смущенья он отхлебнул сразу полкружки пива, и Джино долго бил его ладонью по спине.

— Приезжайте к нам в Ленинград, и я познакомлю вас с людьми, которые уже давно предлагают перекрасить мир,— сказал я, когда представитель Института рационализации труда прочухался настолько, что мог уже понимать человеческую речь.— Они думают, что девять десятых преступлений не было бы совершено, если бы каждый кирпич, из которого строится дом, отличался от другого по цвету. Ты догадываешься,— спросил я Шпекторова,— о ком я говорю?

Шпекторов медленно откидывался назад. Он не смотрел на меня. У него было сумрачное лицо, и разговор этот вряд ли был ему приятен. Впрочем, он ответил равнодушно:

— А! Ну, это ведь, кажется, совсем другое дело...

8

Шел второй час ночи, когда мы остались наконец одни, в маленькой кухне (здесь было прохладнее, чем в комнатах раскалившегося за день железобетонного дома Госстроя). Мы лежали на полу, подбросив под себя пальто и одеяла. Все слышен был ровный прибой катерпиллера, добывавшего воду, вдруг начинался на постройках невнятный, быстрый шум, что-то ссыпали, а иногда слышалось печальное бормотанье воды, бегущей по трубам, где-то под полом, под нами.

Шпекторов лежал, заложив руки под голову, подогнув колени, и голубоватый свет не то луны, не то фонаря на лесах водонапорной башни падал на умный профиль с насмешливой линией рта.

Он был легок и язвителен в эту ночь — легкостью очень утомленного человека, язвительностью, в которой мелькало подчас глубокое душевное недовольство, быть может то самое, на которое намекал мне Джино: «Не очень думать насчет свой личный дел».

Мы говорили о дорогах, о том, что дороги меняют людей, а потом об этом мальчике из Института труда. А потом я рассказал ему, как мы с Эсфирью ездили в ТЮЗ, и все, чему был свидетелем в тот вечер.

— Ты поручил мне заведомо безнадежное дело. Я уговаривал Архимедова вернуться к жене, которую он и не думал бросать. Скажи, а ты знал о том, что он художник?

Шпекторов уставился в потолок.

— Да, он, кажется, одно время учился рисовать,— сказал он небрежно,— впрочем, за те два года, что я с ним знаком, он переменил десятка два профессий, не меньше. Одно время он был, например, аптекарским учеником.

— Ты шутишь!

— Ничуть. Еще до приезда в Ленинград он у себя на родине сдал экзамен на аптекарского ученика. Я думаю, что именно это его и погубило.

— Что же именно?

— Этот экзамен,— серьезно сказал Шпекторов.— Ты понимаешь, оказалось, что в двадцатом веке, в Союзе Советских Социалистических Республик, в эпоху диктатуры пролетариата, есть еще люди, которые говорят по-латыни. Для такого человека, как Архимедов, это должно было иметь глубокое значение. Немедленно же он вообразил себя живущим в средние века и на третью неделю службы послал в бюро Всемедиксантруд обширный проект, в котором предлагал учредить особый цех аптекарей. В качестве герба он рекомендовал, кажется, зубную щетку.

Я развел руками.

— Ей-богу же, не пойму, когда ты правду говоришь, когда врешь!

— Все правда, до последнего слова,— смеясь, сказал Шпекторов.— Ну, может быть, не зубную щетку, что-нибудь другое, эсмархову кружку, например. Но слушай дальше. Из аптеки он поступил в Древтрест, потом делопроизводителем в губернский суд. И вот за что его выгнали из суда: шел процесс двух торговцев, поссорившихся из-за того, что один, воспользовавшись сходством фамилий, получил за другого по векселям на крупную сумму. И вот, улучив минуту, когда суд шел совещаться, Архимедов встал и предложил торговцам окончить дело единоборством. «Я слышал,— сказал он,— что этот способ решения запутанных дел был принят в некоторых странах. Мы сделали бы, поверьте, все, что от нас зависит, если бы в точности знали, на чье имя были в действительности выданы спорные векселя. Но в результате судопроизводства это, как видите, так и осталось неизвестным. Итак, не стесняясь, хватайтесь за ножи и торопитесь закончить это дело, потому что суд сейчас вернется».

Разумеется, Шпекторов шутил. И очень зло, потому что не так уж трудно было представить себе Архимедова произносящим в суде такую речь.

— После этого он поступил еще куда-то, потом куда-то еще и, наконец, уже никуда. Покинул сей суетный свет, снял комнату на чердаке и предался размышлениям.

Я слушал, стараясь вернуть в границы подлинности рассказ, полусерьезный, полушутливый.

— На чердаке,— повторил Шпекторов и подчеркнул это слово,— вот, должно быть, тогда-то он и открыл в себе гения по рисовальной части. В других условиях это было бы еще полбеды. Но так как он жил на чердаке, да еще к тому же от времени до времени голодал, гений этот стал обрастать разными горестными размышлениями, главным образом насчет морали. Аптека и чердак — вот ключ ко всей этой философии.

Ключ показался мне неверным. Аптека — может быть! Аптека с детства казалась мне фантастическим местом. Шары в окнах, латынь — все это верно. Загадочная важность аптекарей, среди которых особенно много евреев-чудаков, с почтенной старинной традицией сумасшествий, переходящих из одного поколения в другое. Но чердак! Философы давно слезли с чердака, и с тех пор там никто не живет, кроме одичавших кошек...

9

Шпекторов давно уже спал, а я еще ворочался с боку на бок, все не мог уснуть. То постель казалась мне жестка, то распахнутое настежь окно скрипело петлями под ветром. Я встал наконец и привязал сломанный шпингалет к ножке кухонного стола. Я по-другому сложил пальто Шпекторова, служившее мне постелью. А потом я улегся с твердым намерением непременно уснуть и пролежал еще два часа с открытыми глазами. День проходил передо мной, жаркий и полный значения, медленный и требующий отчета, и только теперь я начинал смутно догадываться, что это был не простой день. Знакомое чувство ночных воспоминаний уже пришло ко мне, и вновь я говорил с Джино, и вновь сидел в душной полотняной аудитории Института механизации, маленький человек бегал перед аспидной доской, и студенты, которым было труднее, чем мне, когда я был студентом, напряженно слушали его картавую речь. «Эти люди и места, которые ты видел сегодня,— сказал я себе,— этот город молодых, страна, в которой дома растут быстрее, чем хлеб, она сегодня о многом говорила с тобой. Прислушайся, тебе только двадцать семь,

и историю ты еще не перестал замечать. Подумай над этим, ведь ты еще молод!»

Я догадался наконец, почему я не мог уснуть. Подушка была низка — вот в чем дело! И так и этак укладывал я ее, и взбивал, и ставил на угол — все она мне казалась низка.

Тогда я встал и отправился в комнату за тючком, в котором было все мое походное снаряжение. Здесь были храп и духота, луна лежала на полу, все спали голые, и у волосатого представителя Института труда был вид оратора, уснувшего на самой пылкой фразе.

Я нашел тючок, прихватил по дороге пиджак Шпекторова, висевший на гвозде подле двери, и вернулся на кухню.

Тючок был уже уложен, постель, в которую был включен пиджак, готова к новым реформам, когда я вдруг выронил откуда-то четырехугольный кусочек картона. Это была фотографическая карточка. Я подошел к окну, и мне показалось знакомым печальное и надменное лицо. Черные мелко-кудрявые косы спускались с плеч, узкая челка падала на решительный лоб, тюлевый шарф, чем-то напоминавший фату, был завязан узлом на груди.

Я хотел уже положить карточку обратно, когда, блеснув против света, передо мной открылись тонкие чернильные линии на темном фоне фотографической пленки.

Упрекая себя за любопытство («ну вот, ты уже начал вмешиваться в чужие дела, да еще к тому же и личные дела, которыми вовсе уж не следует интересоваться»), я тем не менее прочел эти шесть слов, написанных уверенной и твердой рукой: «Не забывай, что я люблю тебя. *Эсфирь*».

ВСТРЕЧА ШЕСТАЯ. МЫ ПРОСИМ ДОВЕРИЯ

1

Случалось ли вам видеть когда-нибудь, как один человек (есть у меня такой приятель) на улице хватает за рукав другого, которого он видит первый раз в жизни, долго всматривается в него, сдвинув брови, и наконец говорит, отрицательно качая головой: «Не узнаю».

Так я, по возвращении в Ленинград, встретился со своей записной книжкой.

Разница была лишь в том, что я действительно думал, что знаю ее, а она оказалась пезнакомой.

Два месяца я провел в реальном мире, среди людей, которые не теряли времени на отвлеченные размышления о морали и не придавали цвету своих штанов решающего значения. Простая и великолепная уверенность в правоте своего дела была их единственной философией.

Так разителен был контраст между ними и тем, что занимало меня до поездки, что я не стал бы, разумеется, продолжать эту повесть, если бы случай не столкнул меня с людьми, которые досказали ее за меня. Свидетели того, что случилось с моими героями, они просто лишили меня слова, и книга дописалась сама собой. Подобно зоологу, восстанавливающему по одной кости внешность исчезнувшего животного, мне оставалось только связать разорвавшиеся концы этой истории, для того чтобы представить себе и читателям все, что перешагнуло границу моих наблюдений.

Свидетелем этой главы был доктор Веселаго.

Я давно знаю этого человека. Он большой, белокурый, и, встречаясь с ним, я завидую душевной ясности северного человека, встречающегося со смертью, как со старым уважаемым гостем, другом отца.

2

Он рассказал мне со всей лапидарпостью, которую я, к сожалению, не в силах сохранить, что, возвращаясь после какого-то утомительного заседания домой, он соскочил с трамвая у Публичной библиотеки и, обогнув театр, прошел по направлению к улице Росси.

Шел двенадцатый час, когда возвращающиеся из театров утраивают движение Ленинграда.

Поэтому он не обратил внимания на толпу, собравшуюся в проезде по левую руку от театра.

Но вскоре два конных милиционера появились из-за угла, оттесняя зевак крупами своих коней. Тогда любопытство победило усталость, и доктор перешел дорогу.

Придерживая кобуру, милиционер встал на колени перед люком. Крышка отскочила.

— Эй, есть тут кто?

Мужчина в кожухе, должно быть дворник, стоял подле него с веревкой в руках.

— Позволь-ка я, товарищ,— сказал он и перекинул веревку через плечо.

Доктор обошел верхового и заглянул в люк — темно и тихо.

— Вылезай, стрелять буду! — кричал милиционер.

— Так они тебе и отзовутся,— сказали в толпе.

— А я бы их всех убила,— со злобой объявила востроносая женщина в потрепанном макинтоше,— на прошлой неделе прямо из рук сумочку вырвали.

Дворник медленно влезал в дыру. Он зачем-то обмотался веревкой, подтянул голенища. Он исчезал, начиная с ног.

— Разойдись,— кричали конные.

Толпа все прибывала.

Дворник исчез, потом выскочил обратно.

— Идут!

Милиционер поправил кобуру, подтянул ее поближе.

Слабый свет перерезал круглое темное отверстие тепловой трубы. Маленькая рука легла на обод, и мальчишка лет четырнадцати, с погасшим карманным фонарем, появился на тротуаре.

Доктор хорошо разглядел его. Он был длиннорукий, рыжий, с впалой грудью и нежным лицом.

Он положил фонарик в карман и подошел — не к дворнику, не к милиционеру, но к штатскому в клетчатой кепке, который скромно стоял в стороне, заложив руки в карманы своего стандартного пальто.

— Ну, что ж, выселяешь?

— Выселяем, выселяем,— быстро сказал штатский. Он оглянулся на толпу, стеснительно улыбаясь.

Мальчишка взялся рукой за сердце. Без шапки, в рваном пиджаке, он стоял, мрачно преодолевая дурноту.

— Выселяете, сволочи? — снова спросил он сквозь зубы.— Сами в квартирках с занавесочками засели, а нам в трубах не даете жить?

Он прыгнул в люк.

Скромный в штатском все улыбался. Конные кричали. Все напряженно смотрели на выходное отверстие трубы: темно и тихо.

— Вылезай, слышь, хуже будет,— закричал вдруг дворник.

Тогда из трубы показался пожилой беспризорный в пенсне. Он был грустен и тих. В руках он держал бумагу. Университетский значок был приколот к отвороту пальто.

— Это что у вас? — показав на бумагу, коротко спросил штатский.

— Мандат.

В толпе захохотали.

— Я являюсь представителем ста тридцати четырех граждан Союза, проживающих в теплофикационных трубах на улице Росси,— сказал беспризорный.— Они поручили мне передать вам следующее: не желая оставаться в стороне от стихийного энтузиазма масс, охватывающего мало-помалу все стороны жизни, беспризорные подчиняются приказу о выселении. Но выехать они могут не раньше, как через три дня. Напоминая, что даже своих классовых врагов Откомхоз предупреждает о выселении за две недели, беспризорные надеются, что просьба их не будет отклонена. Вместе с тем они торжественно обещают, что за эти три дня в районе от Публичной библиотеки до Апраксина дворца не пропадет ни одного предмета — роскоши ли, широкого ли потребления, принадлежащего частному лицу или, равным образом, государству.

Доктор Веселаго клялся, что речь эта была произнесена без малейшей иронии. Она была втрое длиннее и, по его словам, с цитатами из Гегеля.

Несмотря на цитаты, штатский слушал речь равнодушно.

— Патрикеев, они покуда с той стороны уйдут,— не дождавшись конца, сказал он конному, и тот поскакал вдоль тротуара, крича на прохожих.

Беспризорный побледнел. Тонкой дрожащей рукой он поправил пенсне.

— Мы просим доверия,— возразил он.

Штатский показал на него глазами. Подошел милиционер и стал щупать карманы.

— Оружия ищет,— с жалостью сказали в толпе.

Тогда появился человек, которого доктор Веселаго сравнил одновременно и с монахом, и с якобинцем.

— Он был в каком-то старомодном пиджаке,— сказал доктор,— в очках. Судя по движениям, можно было дать ему лет сорок, судя по манере говорить — семнадцать. Несмотря на то, что одет он был более чем скромно, я с первого взгляда принял его за иностранца...

Этот человек прошел сквозь толпу — перед ним расступались.

Он поднял руку.

С плотно поджатыми губами, в очках, которые блестели

ироническим светом, он стоял на мостовой, и твердая рука была поставлена, как парус, с раскрытой ладонью и пальцами, побелевшими на сгибах.

Все молчали. С перекрестка доносилось разбегающееся гудение трамвая.

— Что вы делаете? — вежливо спросил штатский.

Не опуская руки, человек в старомодном пиджаке медленно обернулся. У него был суровый, спокойный голос, и он сказал так, как будто это было понятно без объяснения:

— Я? Голосую за доверие!

Он взглянул на милиционера, еще шарившего в карманах беспризорного с университетским значком.

— Отпусти его,— сказал он.— Он дал тебе слово. Или ты не доверяешь ему, потому что вместе с крысами он живет в тепловой трубе? Ты все еще не доверяешь бедным? Или ты думаешь, что революция не нуждается в благородстве?

Штатский внимательно слушал его.

— Виноват...

Еще один беспризорный, косой, в висячих штанах, вылез из люка и тихонько прикорнул подле ног своего соседа.

За ним, пугливо оглянувшись, высунул голову третий.

— Сто тридцать четыре человека просят доверия у республики бедных,— и вы берете на себя смелость им отказать. Сто тридцать четыре человека, живущих вместе с крысами в трубе, дают вам честное слово,— и вы...

Один за другим беспризорные выходили из люка. Уж целая толпа, оттеснившая зевак, стояла за спиной этого человека.

Это было явлением почти театральным.

Старики в отрепьях, бледные девочки с накрашенными губами, аристократы шпаны, которых легко было узнать по лоснящемуся клоку волос, круто зачесанному на лоб...

Здесь был знаменитый нищий, тот самый, что кончал свои просьбы словами: «И не думайте, гражда́не, что так легко и приятно просить *мне* у вас», и другой — почтенный, длинноволосый, тихий, в котелке и рыжем пальто.

И, как крысолов, уводящий из города крыс, стоял перед ними Архимедов.

«В старомодном пиджаке с круглыми углами,— вспомнилось мне,— в бархатном полосатом жилете, застегивающемся у самой шеи. Провинциал, привыкший к узким ули-

цам, где слышен собственный голос. Художник, переоценивший силу собственных размышлений, но, быть может, по праву считающий себя гениальным...»

— Ну, его и задержали,— неожиданно закончил доктор.

— Кого?

— Но, боже мой! Да этого чудака! Или вы думаете, что в наше время можно безнаказанно нести такую чушь в двух шагах от проспекта Двадцать пятого Октября и улицы Третьего июля?

3

Первой мыслью моей было зайти к Шпекторову (он должен был вернуться на днях), чтобы посоветоваться с ним о судьбе человека, в котором он принимал участие — вольно или невольно. Но я передумал. «А что, если он знает об этом? — спросил я себя.— Или более того, считает, что Архимедова уже давно пора арестовать за его вздорные речи?»

Я решил отправиться к Визелю, в ТЮЗ.

И, по странному совпадению обстоятельств времени и места, я встретился в ТЮЗе с такими вещами, которые снова убедили меня в том, что я еще очень мало знаю о личных делах моих друзей и участников этой книги.

Началось с того, что у меня появилась вторая тень...

Прошло время, когда, доверяясь воображению, я писал рассказы о том, как лейпцигские студенты менялись своими тенями и подмастерья, отправляясь в путешествие, свои отраженья в зеркалах оставляли невестам на память. Теперь никто не мог бы убедить меня, что у человека без всякой причины может возникнуть еще одна тень, кроме той, что полагалась ему от рождения.

Меж тем она появилась, когда я был в пяти — десяти минутах от ТЮЗа. Широкоплечая, она вдруг заскользила передо мной по торцам, и я привычно следовал за ней до тех пор, покамест не нашел глазами другую, которая, уже без сомнения, была моей.

Я обернулся — и знакомое лицо с насмешливой резкой линией рта мелькнуло под низко надвинутым козырьком мохнатой клетчатой кепки.

Это был Шпекторов. Я негромко окликнул его.

Но он быстро прошел мимо, распахнул дверь, мелькнул где-то в стеклах, и лестница была уже пуста, когда я поднимался по ней, недоуменно пожимая плечами.

4

Визеля я нашел в маленькой фанерной комнате, одной из тех, что выходят в монтировочный зал ТЮЗа. Макеты старых и новых постановок стояли на полках вдоль желтых стен, на столе лежал плакат под названием «Краткое содержание первого акта пьесы «Гражданин Дарней».

Он был свежевычерчен, еще не просохла тушь, и Визель, заросший, в расстегнутой синей блузе (рыжие волосы росли у него на груди), выводил кисточкой последние небрежные, похожие на клинопись буквы.

...Жена виноторговца Дефарж записывает в своем вязанье преступление старого маркиза и отмечает приметы его шпиона...

Он облегченно вздохнул, волнистой линией подчеркнул последнюю строчку, осторожно снял со стола плакат и положил на его место свернутый в трубку лист ватманской бумаги. Худые лопатки двигались под синей блузой, он медленно развертывал лист.

Это был странный рисунок: в разных направлениях шли линии, согнутые, как натянутый лук, и везде были окна, двери и окна, и даже на небе была нарисована дверь.

Это была городская площадь, опоясанная домами, в которых только опытный глаз мог бы, пожалуй, угадать длинные пилястры, остроконечные арки, стрельчатые дуги готического средневековья.

Но полно, были ли это дома? Сквозь стены я отчетливо видел волнистую линию реки, а улицы, с раскачивающейся перспективой фонарей, шли выше окон и водосточных труб; вдали вставало утыканное черточками, добродушное солнце детских рисунков.

— Что вы рисуете?

— Марсово поле.

Я посмотрел на клоунский клок волос, торчавший на его голове, как петушиный гребень.

— Только что проезжал мимо Марсова поля: уверяю вас, ни малейшего сходства.

Он выпрямился, сложил на груди руки. Он презирал меня — это было ясно.

— Марсово поле,— сказал он ворчливо и высокомерно,— станет таким, когда кирпич будет подвергнут изгнанию и его заменит стекло, не наше, глиняное, а другое, которое научились делать из дерева англичане; когда искусство правильного чередования вещества и пустоты

вновь станет законом для зодчества; когда готические здания будут казаться кубиками, сложенными под руководством няньки... Вы ищете сходства с настоящим. А мы — с будущим. Марсово поле будет таким. Оно нарисовано здесь совершенно точно.

Голос Архимедова был слышен в этих фразах.

Но Визель был суетлив; он не знал, что делать со своими руками. Он кричал, торопился, не видел себя.

А его учитель был неторопливый, величественный, и плавное спокойствие движений придавало самому его молчанию убедительность сосредоточенной речи.

5

— Послушайте,— сказал я, наскучив всем этим наконец,— а вы знаете, что Архимедов арестован?

Он выронил кисть, и она забрызгала его синие штаны, прозодежду театральных рабочих. Он медленно вытер краску и сел, опустив голову, расставив костлявые ноги.

«Штатив»,— вспомнилось мне. Но теперь это был сломанный штатив.

Не припомню, в эту ли минуту или несколько раньше я почувствовал с раздражением, что все это происходит как бы нарочно: поза Визеля, сидевшего на столе так, что даже его худые лопатки выражали задумчивость, смешанную с отчаянием, показалась мне придуманной, театральной.

Так уже было со мной в тот вечер, когда я взял на себя смелость явиться в ТЮЗ, чтобы поговорить с Архимедовым о его семейных делах.

Но тогда сидела в углу молчаливая женщина, одинокая, от которой ушел муж. И ребенок, живой среди актеров, ползал у ее ног.

— Где его жена? Я бы хотел поговорить с ней.

— В костюмерной.

Я встал и двинулся к двери.

Визель уже стоял на пороге, в длинных висячих штанах, с встревоженным лицом, более чем когда-либо напоминавшим морду коня.

— Она ничего не знает.

— Но ведь он пропал три дня тому назад. Неужели она даже не беспокоится о его исчезновении?

Визель стянул с себя блузу. У него была худая шея с

огромным кадыком. Он был похож на портного-неудачника из андерсеновских сказок.

— Случается, что его по неделям не бывает дома.

— Где же он пропадает?

Визель подозрительно взглянул на меня.

Он переодевался, был теперь без штанов, и необыкновенно худая нога болталась, закинутая на ручку кресла.

— Не знаю...

Мы шли по коридорам декораций, стоявших вдоль стен монтировочной части, и смеющиеся синеблузые люди, таскавшие откуда-то бутафорский хлам, окликали Визеля ежеминутно.

В этот вечер в ТЮЗе собирали утиль. Два огромных ящика, стоявшие посредине залы, были уже до краев наполнены отслужившими свое время предметами театрального реквизита.

Я приметил в одном из них множество кукол, но не придал этому, разумеется, никакого значения. Равнодушный, я прошел мимо них, не догадываясь о том, какую существенную роль в жизни моего спутника (который шел впереди меня, вздернув хмурые острые плечи) сыграют впоследствии эти печальные петрушки, сидевшие повесив нос вокруг пробитого барабана.

6

Маленькая фанерная дверь приоткрылась, и я увидел Эсфирь.

Она сидела, опустив на колени костюм, упавший цветными пятнами на ее скромное серое платье швеи.

Она, должно быть, устала, задумалась, и рука с блеснувшим на среднем пальце наперстком, как чужая, лежала на краешке желтого стола.

Такой же легко было вообразить ее и ночью, когда театр смолкает и нет вокруг никого, кто мог бы спросить ее, о чем она задумалась, и понял бы, не дождавшись ответа, что одиночество ее тяготит.

Я хотел войти. Визель взял меня за руку.

— Мне жаль ее,— сказал он негромко.

— И мне.

Мы помолчали. Эсфирь шевельнулась, костюм упал с колен, она медленно подняла его и вновь принялась за шитье.

Все же я, должно быть, вошел бы в костюмерную, но

моя вторая тень, та самая, в существование которой я не верил, вдруг пронеслась где-то между гроздьями театральных костюмов, и я опустил руку, уже готовую распахнуть дверь...

Это был голос умного человека, голос, знакомый с гимназии, с детства...

— Ты знаешь, что для тебя и того, кто дорог тебе, я сделаю все, что в моих силах. Кроме того, что ты сама никогда не потребуешь от меня.

Не знаю, слышал ли эту фразу Визель.

Он стоял, выпрямившись, и я подумал, взглянув на него, что он знает, должно быть, втрое больше меня о некоторых вещах, до которых, в сущности говоря, мне нет никакого дела...

— Я не требую, я прошу.

Говорят, что у тяжелобольных незадолго до смерти бывает Гиппократово лицо,— когда потемневшие черты его кажутся высеченной из камня маской. Я не видел теперь ее лица. Но это был Гиппократов голос.

— Зачем тебе нужен этот человек? Для раскаянья? Хочешь, я напишу ему, что это наш ребенок?

Я сделал шаг в сторону от фанерной двери. Но Визель? Визель и не думал уходить. Засунув руки в карманы, свалив голову набок, он стоял, задумчиво вытянув губы.

— Ты не знаешь его. Ты в него не веришь. Если я уйду, ему будет еще тяжелее. Я должна беречь его. Я останусь с ним. Я не могу иначе.

Потом наступило молчание. Потом тот же голос, усталый и ласковый, сказал медленно, но как будто разбирая в сумерках знакомый, но позабытый почерк:

— А помнишь, ты смеялся надо мной, когда я говорила, что не уйду от него, даже если полюблю другого. Вот видишь, ты мне не верил...

— Мне кажется, что она уже знает об этом,— шепотом сказал я Визелю,— но даже если и нет, не все ли равно? Ведь она ничем не может нам помочь.

...Садясь на извозчика, я ждал, что Визель скажет адрес. Должно быть, Визель, в свою очередь, ждал, что это сделаю я.

Поэтому извозчик, потряхивая вожжами, дважды спросил: «Куда ехать-то?», прежде чем мы оба, в один голос, сказали ему адрес...

«...А помнишь, ты смеялся надо мной...» Эта фраза вернулась ко мне, когда мы переезжали Фонтанку. Как буд-

то я вновь приоткрыл маленькую фанерную дверь и женщина с печальным и надменным лицом сидела передо мной, опустив на колени цветную ткань. Должно быть, вот так же она сидит по ночам, когда театр смолкает, или бродит, молчаливая, с поджатыми губами, по легким лестницам, заходит в гулкий зрительный зал.

«...Даже если полюблю другого...» Я взглянул на Визеля, сидевшего в пролетке очень прямо. У него были горестные выпученные глаза, унылый нос — и я ни о чем не спросил.

Но фраза все не оставляла меня. Уж и набережную мы миновали, и пересекли проспект 25 Октября, а она все повторялась в уме, все начиналась сначала.

Извозчик остановился у подъезда. Визель, встревоженный, нахохлившийся, встал в очередь у справочного бюро, а я все слышал ее — «...вот видишь, а ты мне не верил...».

Согнувшись вдвое, Визель сунул голову в узкое окошечко справочного бюро.

Он спрашивал всем телом — ногами, плечами и, главное, лопатками, необыкновенную выразительность которых я невольно оценил еще раз.

Когда он обернулся, петушиный гребень, как солдат на карауле, стоял на его голове, и огромные удивленные глаза искали меня с такой отчаянной радостью, что я только спросил его: «Когда?», и он закричал оглушительно:

— Час тому назад его выгнали вон!..

7

Никогда еще трамваи не шли так медленно, как в этот день,— или это мне только казалось? У Лебяжьего моста вдруг погас свет, и мы простояли с четверть часа, мрачно прислушиваясь к голосам, которые с неожиданной смелостью укоряли начальство.

Обогнув Марсово поле, мы снова застряли: от нас и до самой площади Революции вытянулась длиннейшая лента трамваев, и соскучившиеся пассажиры бродили кучками вокруг своих вагонов, вяло переругиваясь с вожатыми и кондукторами.

Не сговариваясь, мы с Визелем соскочили с площадки. Нахлобучив на уши кепку, он шагал, думая о чем-то своем и не обращая на меня ни малейшего внимания. Он, кажется, просто забыл обо мне и уже бубнил что-то себе под нос, помахивая в такт шагам костлявой, вылезшей из об-

шлага рукой. Пока мы поднимались на мост Равенства, мне еще удавалось кое-как идти вровень с ним, на спуске я уже бежал со всех ног.

И вот, проходя мимо мечети,— голубой купол ее надувался и оплывал, а минареты стояли как верные солдаты ислама,— я услышал, как почтенная женщина, которую вел навстречу нам юноша в коротеньком пиджачке, сказала ему с любопытством:

— А, должно быть, все-таки страшно было, если завязала глаза.

Эти люди были уже далеко за спиной, а фраза только теперь добрела до сознания. Она была медленная и чем-то важная для меня, да и для Визеля, который, услышав ее, зашагал еще быстрее.

Мы перебежали дорогу: стрелочница, милиционер и еще кто-то сошлись на углу, и те же слова: «...платком, чтобы не страшно, завязала платком» — бродили от одного к другому.

Еще издалека я увидел толпу перед гнутым, крытым подъездом. Визель врезался в нее, все расступились.

Маленький негр в барашковой шапке,— я сразу понял, что это врач,— расстегивал кнопки на прилипшей кофточке Эсфири. Она лежала на мостовой, немного раздвинув деревянные ноги, платок сдвинулся, и глаза были открыты. Лицо, всегда такое замкнутое, было открыто теперь, как будто занавес был сдернут с него близостью смерти. Лицо было задумчивое, простое.

— Подумать только, с пятого этажа,— говорили вокруг,— и глаза завязала...

Негр поднялся с колен, сердито сдвинув толстые курчавые брови.

Стесняясь смерти, все отступили прочь.

8

Юноша, начитавшийся Эдгара По и каждую бочку принимавший за бочку Амонтильядо, когда-то я старательно изучал унылые кабаки Ленинграда.

Это было восемь лет назад, и с тех пор все стало другим, все изменилось.

За круглыми столиками, над тусклыми бутылками, сидели совсем другие люди — невеселые пьяницы эпохи реконструкции страны.

Я взглянул на человека с треугольной страшной бородой, читавшего газету. Январь не дал перелома, в Гамбурге баррикады, папа проклинает нас. Ломовик в брезентовой куртке слушал его, и низколобое лицо отражалось на стене, мокрой от дыханья и пáра.

Финн, в кожаной шапке, сидел за соседним столом и уверял соседа, что только в Финляндии умеют варить настоящее пиво.

Работник прилавка угощал портером маленькую девку с кровавым ртом, державшую кружку обеими руками, как пили Нибелунги и пьют обезьяны.

И очень тихо было в пивной. Стояли каменные столики на выгнутых железных ножках, качался желтый абажур. Муха слетала с него и садилась. Стоял на прилавке стеклянный колпак, под которым вздрагивал от стука двери студень.

Это и был тот памятный вечер, когда я встретил наконец Архимедова. Уже три месяца минуло после похорон Эсфири, и я не видел с тех пор никого из героев и свидетелей этой книги. Визель, которому я звонил иногда по телефону, бурчал дерзости в ответ на мои вопросы. Шпекторов вновь уехал в Сальские степи и, без сомнения, с намерением уклонился перед отъездом от встречи со мной. Как-то я зашел к Жабе, и сердитая беззубая старуха объявила мне, что никого нет, ни хозяина ее, ни хозяйки, а где они, на даче или в другом месте,— этого я так и не понял.

— Уехавши,— сказала она,— и мальчика увезли.

Сам себе не признаваясь, я искал Архимедова. Не для того он был нужен мне, чтобы закончить эту книгу,— я писал другую. Но чувство смутной виновности перед ним, словно я мог чем-нибудь помочь ему и не помог, преследовало меня. Его неудачи были неудачами его искусства, они могли легко случиться с любым из нас — из людей, вверяющих себя этому трудному и неблагодарному делу. Я должен был сделать что-то для него, а что́ — я и сам не знал. И вот мы встретились наконец в этой унылой пивной...

9

Он сидел вытянув ноги, закинув голову на спинку стула. Так страшно он изменился, так был непохож на самого себя, что я долго колебался, прежде чем сказал

себе: «Да, это он!» Без сомнения, я не узнал бы его, если бы не помнил, каков он был на похоронах жены. Должно быть, какая-то новая линия его жизни, новый возраст начался с этого дня. Худощавый человек сидел передо мной, и у него был высокий лоб с огромными надбровными дугами, впалые щеки, очки казались узкими — старинными, не закрывая глубоких глазниц, и тоненькие китайские кисточки усов свисали на усталый рот.

Он смотрел в потолок. Что он видел там? Я проследил за его взглядом: спектр лучей скользил по потолку — темно-красный, красный, желтый, зеленый, голубой, синий.

«Цвета, которые будут последним неравенством людей...»

Но мне не хотелось смеяться над ним, хотя это было очень просто. С важной задумчивостью он сидел среди человеческой рвани; бутылка портера стояла перед ним полупустая, и на солнечный спектр он смотрел, как на постаревшего друга.

Но продавец поднял крышку стеклянного колпака, стоявшего на прилавке, и радуга исчезла.

Тогда Архимедов вздохнул и встал. Кепка лежала на соседнем стуле. Он надел ее и вышел.

И все проводили его с изумлением — остановившийся с подносом в руках половой, тихий страшный человек с треугольной бородой, финн, говоривший что-то «эйола, эйола»,— его льняные волосики торчали из-под кожаной шапки.

— Какой народ пошел, беда,— страстно сказал девке работник прилавка. Девка капнула соусом на стол, подбежал половой и подтер пятно хлебом...

10

Снег был синий, голубой, черный. Ломовики — величавые — ехали, стоя на передках. И проспект Карла Либкнехта, преображенный первым снегопадом, уже возвращал себе черты осенней улицы, свойственные ему в любое время года.

Час был именно тот, который внушил кубистам пренебрежение к естественной перспективе вещей. Час был вечерний, но такой, как будто задумчивость позволила ему пройти незамеченным для людей, которые говорили

здесь и там, в подъездах, в трамваях, в экипажах, в домах: «Смотри-ка, уже стемнело. А кажется, еще только что был день».

Мы завернули на улицу Красных Зорь, и Архимедов остановился у окна Губмедснабторга.

Огни горели в окне. Женщина на плакате появлялась, расплывчатая, пересеченная туманными полосами теней и света, и медленно плыла вдоль, с каждым мгновением становясь яснее.

Величавая, с неподвижным младенцем на руках, она плыла как живая картина, и вот туманный свет уже проходил через нее, меняя цвета, она была уже матовой, расплывчатой и, наконец, исчезала...

Я стоял в стороне и все не решался подойти к Архимедову,— я смутно чувствовал, что не безделье, не отдых заставляют его бродить по грязным улицам Петроградской стороны в этот сумеречный час.

Мы двинулись дальше, я — в двадцати шагах от его расплывающейся тени. Он шел, опустив голову, подбрасывая ногами медно-желтые листья, которыми была усеяна улица Красных Зорь.

Зажглись фонари — и все переменилось. Тускло блеснули рельсы, и радиостанция, которая была чередованием проволоки и пустоты на потемневшем небе, вдруг встала по правую руку от нас.

Он замедлил шаги, и я чуть не налетел на него. Он стоял на углу Лопухинской и смотрел на людей, поджидавших трамвай. Взглянул и я — и тотчас же понял, что привлекло его внимание. Битюги с мохнатыми ногами только что протащили вдоль трамвайного пути невысокую грузную кладь, и с одной из подвод на рельсы упало несколько больших кусков булыжника и гранита. Они упали не на ту линию, по которой должен был прийти трамвай, которого ждали эти люди, и никто поэтому не тронулся с места.

Без сомнения, это была не только усталость (хотя у многих из них были очень утомленные лица), но равнодушие людей, еще не владеющих заботой друг о друге.

И вдруг маленькая девочка выступила вперед и перешла пути. Она повернула голову, и скромная деловитость детей сказалась на загорелом лице. Все молча следили за ней. Она наклонилась и взялась за один из камней.

Тогда добродушный дядя в косоворотке, с портфелем двинулся к ней, сказавши «эх» и поглядывая все же, не

видны ли огни его трамвая; впрочем, он тотчас же вернулся обратно, увидев, что помощь его была уже не нужна.

Архимедов перебежал дорогу навстречу девочке, оттаскивавшей в сторону один из больших камней. Он схватил ее под мышки и поднял вверх.

Она смотрела на него, робко втянув голову в плечи, не уверенная, должно быть, можно ли без разрешения убирать камни, лежащие поперек трамвайного пути.

И я слышал, как он сказал, целуя ее в лоб:

— Это о тебе сказано, что победителями будут наши дети!

Потом он осторожно опустил ее на землю, и камни, как из пращи, стали лететь в сторону из его медленных рук...

11

Я следил за ним уже около часа, и ритм преследования начинал укачивать меня. Это было похоже на сон, в котором бежишь по прямой линии до белого полотна обрывающегося пространства. По прямой линии, между длинных стен коридора, в белое полотно экрана, бежишь, добежал, и сон начинается снова.

Каждые десять — пятнадцать минут я давал себе слово, что, дойдя до ближайшего угла, я поверну обратно.

Я дразнил самого себя невозможностью покинуть этого человека.

Но вот он опять замедлил шаги...

Это была каморка сапожника; хозяин ее сидел на низеньком стуле, и перевернутый туфель был зажат между худых колен.

Лампочка, висевшая над доской с инструментами, с обрезками кожи, освещала лишь центр мастерской, конусом срезая углы, в которых, почти неразличимые, двигались темно-белые пятна лиц.

Архимедов стоял неподалеку, с непонятным вниманием вглядываясь в крест-накрест перечеркнутое переплетом окно.

Сапожник вынул работу из колен и швырнул ее куда-то в угол, за узкие пределы света.

Толкнув лампочку плечом, он встал и вышел, и куски комнаты, выхватываемые раскачивающимся светом, вдруг объяснили мне настойчивое упрямство Архимедова.

«Вот что заставляет его бродить в этот сумеречный час по грязным улицам Петроградской стороны,— сказал я

себе.— Вот что заставило его провести столько времени перед окном аптекарского магазина. Вот что искал он на усеянной медными и рыжими листьями улице Красных Зорь, последней, на которой еще была осень. Вот почему он стоит теперь перед раскачивающейся перспективой этого окна, напоминающего работы Утрилло. Он ищет цвета́. Он не в силах забыть свое дело!»

Я хотел было уже подойти к нему,— мне все теперь было ясно. Но лампочка качнулась туда и назад, и вдруг я увидел женщину, которая металась на сбитой, измятой постели, неестественно закинув голову, быстро дыша,— разноцветным лоскутным одеялом был прикрыт ее огромный живот...

Но лампочка уже шла назад.

Когда, качаясь, как стрелка весов, она вернулась снова, я увидел старуху, стоявшую в ногах постели, и успел разглядеть ее плоский рот и аккуратные дуги желто-седых волос.

Я понял значение этой сцены, лишь когда под трижды возвратившимся светом вновь увидел эту старуху, протянувшую руки, закатывающую рукава над застывшим в судорожном движении телом. Страшная своею степенностью, она что-то делала с ним...

Но все более короткий путь проходила раскачивающаяся лампочка. Уже не видны были ни постель, ни старуха. Еще мгновенье — и низкий стол со всем беспорядком ремесла, с обрезками подошв, с ножами, обмотанными, вместо рукояти, куском кожи, установился под конусом неподвижного света.

Я взглянул на Архимедова.

Без сомненья, он видел больше меня, потому что долго еще стоял, слегка прикрыв ладонью глаза, приподняв плечи...

12

Мы были на Александровском проспекте, просторном и светлом, как будто ночь здесь прошла незамеченной и вечер подал руку октябрьскому утру.

Я больше не уговаривал себя оставить это преследование.

Я был спокоен и шел, не думая ни о чем, отстранив размышления, чувствуя ту остроту впечатлений, когда,

кажется, достаточно бросить только один взгляд на человека, чтобы узнать историю многих лет его жизни.

Все же, должно быть, я очень устал, потому что несколько раз в продолжение этого вечера мне мерещилось, что еще кто-то, кроме меня, взял на себя обязанность, странную и беспокойную, следить за художником, обозревавшим город с величавым изумлением, подобным, быть может, изумлению Данте перед мрачными сновидениями, в которых блуждало его мстительное воображение...

13

...В углу высокий бритый старик устало прислонялся к стене, и печальная маска его лица белела под почерневшей иконой, с выступающим золотым венчиком и поджатыми губами страстотерпца.

Церковь была полна, и я с трудом следил за Архимедовым, который медленно шел среди неподвижных людей с благочестиво брошенными вниз руками.

Он остановился и прислушался.

Прислушался и я — но ничего не было слышно под темными сводами церкви, кроме молитвы, которая казалась лишь равномерным бормотаньем, изредка прерываемым певучим возгласом: «господи помилуй», заставлявшим, как ветер, падать на грудь обнаженные головы прихожан.

И невозмутимый высокий голос дьякона был сонным заместителем тишины.

Я потерял Архимедова в толпе, потом нашел снова. Опустив голову, глядя поверх очков, он стоял неподалеку от аналоя, вынесенного по случаю венчания на середину церкви, но я напрасно старался разглядеть его лицо при разбросанном свете паникадил, сотни раз повторенном в желтом и зеленом металле церковного убранства.

Мужчина и женщина стояли перед аналоем, он — длинноносый, хилый, важный не по летам, она — грузная, с тяжелым лицом и сонными повадками рыбы.

Над ними держали венцы.

Что-то сказал и вдруг грозно запел поп, одетый в гремящие латы греческих королей, и равнодушный хор голосов подтвердил его сердитое наставление.

Мне подумалось, что где-то я уже видел этих неподвижных людей, застывших в позах нетерпения, усталости, благочестия: одних — с глазами, возведенными горе, других — погруженных в размышления о заботах земли. И я вспомнил о фигурах бродячего паноптикума, который случилось мне посетить только однажды, и все-таки он долго потом преследовал меня виденьем остановленного чувства.

Я вспомнил девицу в белом домино, которая шла среди монахинь, и естественная желтизна воска была цветом ее лица. Великий пóстриг!

Джек-потрошитель стоял рядом с ней, нарядный, с неожиданно добродушным лицом, и черная шелковая лента была, как у Пушкина, обмотана вокруг его шеи.

Смертельно раненный французский солдат еще бежал, зажимая ладонью рану, и кровь, которая была краснее, чем кровь, проступало между раздвинутых пальцев.

Мысль о праве вещественного мира на свободную волю была тогда любимым моим сюжетом. Первое, трудное движение превращенной материи — дрожь мрамора, волнение карт, страшное пробуждение металла,— я писал об этом в рассказах, в пьесах, в стихах. Я заставлял памятники сожалеть об изменах друзей.

А теперь мне хотелось превратить в печальный воск паноптикума всех, кто стоял вокруг меня на каменных квадратиках церкви. И священник остался бы возле аналоя с открытым ртом, с упавшими на лоб космами медных волос. И все так же стоял бы под почерневшей иконой высокий бритый старик. И дьякон, превращенный в воск, все так же пел бы свое «господи помилуй».

И воск, оставшийся воском, все так же дымился бы в руках.

И зевака будущего, важный, с задумчивыми повадками любителя высоких размышлений, бродил бы здесь среди неверующих и верующих кукол...

Но он уже бродил среди них.

Я не поверил глазам: слегка повернув голову вбок, как это делают близорукие, когда потеряют очки, Архимедов медленно шел по узкому коридору расступившихся перед ним прихожан.

У него был солидный вид,— это меня изумило.

Казалось, сама забота вела его за собой.

Он медленно поднялся по лестнице, ведущей на клирос.

Священника, опередившего его, он отвел левой рукой.

Он остановился у решетчатых золотых ворот, и силуэт его плеч врезался в темную живопись «Преображения господня».

Блеснули очки...

14

Мы стояли на Ждановском мосту. Освещенный лед стадиона был ясно виден отсюда, конькобежцы скользили парами, а там удалой бегун заносил тонкую ногу в трико и, вдруг присев на другом конце катка, опускал ее на лед движеньем танцора.

Архимедов обернулся. Так много времени прошло с тех пор, как я сказал ему о ночном разуме фантастов и дневном — строителей мира, что первые слова его показались мне началом нового спора:

— Меня занимают дела земли... Меня занимает это состязание с небом!

(Не прошло и часа, как, сброшенный с клироса, он лишь каким-то чудесным случаем спасся от расправы толпы, вовсе не склонной выслушивать речь против торжественного лицемерия церкви.)

— Оставим небо,— сказал я,— займемся землею.

— Я помню великий анабазис вещей,— сказал Архимедов.— Вы видели, как отступали книги? Как мебель покидала города? Как старые письма убивали без промаха — и были уничтожены наконец, справедливо сочтенные предательством умерших или позабытых друзей? Как человек, лишенный всего, что мешало ему размышлять, остался наедине с моралью,— и оба были с пулеметными лентами через плечо.

Чем-то привлекательны были мне эти пылкие фразы, так странно сочетавшиеся с обдуманными движениями, исполненными театральной важности и высокомерия одиноких людей.

— Недавно я видел, как убивают. Как был скучен этот обряд! Кто-то ударил женщину ножом, и она упала с пролетки. И вся косность быта была в дрожащей челюсти убийцы... Но рождение, которое я видел сегодня, было еще скучнее смерти. Повивальная бабка стояла над матерью, страшная старуха, с маленькой плоской головой змеи. Как под ветром, раскачивался свет. Спеленутый, спал в

корзине ребенок с усталым лицом мудреца. Отец тачал сапоги. И я увидел, как тридцать лет назад мать этого отца лежала на той же постели, и та же старуха стояла над ней, свет качался, и отец отца тачал сапоги и, спеленутый, спал в корзине отец... Но вы же весь вечер шли за мной следом! Разве вам не пришла в голову эта мысль?

Он продолжал говорить, не заметив или не пожелав заметить, как я был поражен последними словами.

«Что должен был он подумать обо мне?»

Краска бросилась в лицо, и несколько минут я не слышал, не понимал, о чем говорит он, закинув круглую голову с высоким лбом вольнодумца.

— ...Их водили вокруг аналоя, и мальчик спотыкался, а баба тащила его к брачной постели за рукав парадного пиджака. Поп ревел. Стеариновые цветочки качались над могучей грудью старозаветных шлюх, и я подумал о том, что не машину, а зеркало времени следовало бы изобрести мудрецам...

— ...Я думал о том, сколько крови будут стоить человечеству эти цветочки, и запах ладана, и блеск свечей, отраженных в церковной ветоши, и «господи помилуй!» — дьячка.

— ...Я думал о курганах, которые будут насыпаны руками побежденных и срыты руками суровых победителей, и о городах, которые будут построены на месте этих курганов.

— ...О городах, где каменщики будут цитировать Овидия...

— ...Где на протянувшего руку будут глядеть с изумлением потому, что когда-то протягивали руку для того, чтобы показать, что она безоружна.

— ...Где труд станет доблестью, а библией новых людей — доверие.

— ...Где слово откажется служить для бесчестных целей, и язык верных своему слову будет непохож на язык хитрецов.

— ...Где не будет золота, возвратившегося в горы и реки.

— ...Где горы ненужных вещей, которыми так дорожат люди, станут игрушками смеющихся над ними детей.

— ...Где орудие труда будет вручаться человеку так, как посвященному в рыцари когда-то вручали меч.

— ...Где няньки будущего будут укачивать своих питомцев сказками о дне, который был воскресеньем.

ВСТРЕЧА СЕДЬМАЯ. ТЕАТР

1

Ни слова в этот вечер не было сказано о смерти Эсфири. Но ее печальное предсказание: «Если я уйду, ему будет еще тяжелее»,— все время шло по его следам.

Должно быть, не один горький час провел он — не один, потому что все слова, которые не были сказаны в этот вечер, были сказаны об Эсфири. Не знаю, рассказал бы он мне о причинах ее самоубийства, если бы у меня хватило смелости нарушить наш молчаливый сговор. Месяц спустя я случайно попал в ТЮЗ, и тогда «Повесть о двух городах» Чарльза Диккенса, как вымысел, поправляющий ошибки истории, подарила мне несколько смутных догадок.

2

У меня есть племянницы — одна рассеянная и восторженная, другая рассудительная и аккуратная,— и обе потребовали от меня, чтобы я пошел с ними в ТЮЗ, когда роман этот был переделан в пьесу под названием «Гражданин Дарней».

Взрослые чувствуют себя в ТЮЗе так: им очень интересно смотреть спектакль, но они стесняются и спрашивают детей с покровительственным видом, как будто это пустяки в сравнении с тем, что им приходится видеть: «Ну что, понравилось?»

Я не спросил. У меня оказалось достаточно мужества самому себе признаться, что пьесу «Гражданин Дарней» я смотрел с глубоким интересом.

Это был интерес узнаванья себя ребенком, впервые посетившим театр, когда необычным кажется даже то, что все сидят в темноте и чего-то ждут, и вот занавес накручивается на палку.

Тень первого посещения театра отбрасывается взрослым, явившимся в ТЮЗ.

За ним приходит детство, берет его за руку и говорит: «Вот сколько времени прошло с тех пор, как ты первый раз вошел в театр, и свет погас, и провинциальный занавес с обрубком бога на спиленной сосне в первый раз

поднялся перед тобой. Ты был тогда в штанишках и чулках, огромный герб ученика приготовительного класса торчал на васильковой шапке, новой, с кантами и лакированным козырьком. А теперь ты большой, у тебя есть дочь, и пальцы у нее запачканы в чернилах, и повесть, которую ты хотел назвать «Прощанье с юностью», неоконченная, лежит на твоем столе...»

Племянницы разом дернули меня, одна за правую, другая за левую руку, я поднял голову,— будущие якобинцы из предместья Сент-Антуан уже стояли на авансцене.

«— Жак, ты слышишь?

— Я слышу, Жак».

Разумеется, Диккенс не узнал бы своего романа в пьесе, разыгранной в тот день на сцене ТЮЗа.

Истории Сидни Картона было уделено очень мало места, и он сам ничем не напоминал ленивого, неряшливого джентльмена, который в первой половине романа сидит, заложив руки в карманы, откинувшись на спинку кресла, уставившись в потолок, а во второй, воспользовавшись сходством своим с Чарльзом Дарнеем, отправляется вместо него на гильотину.

На сцене ТЮЗа Сидни был большой, с ясным лицом, широкоплечий, и к французской революции относился с бо́льшей симпатией, чем это полагалось англичанину, да еще к тому же адвокату королевского суда.

Он был совсем другой, и я долго не мог понять, почему же он все-таки нравится мне, несмотря на обманутые ожидания.

Я понял это лишь в конце второго действия, когда он появился на галерее (висела клетка с птичкой, стояли зеленые цветы, это был Лондон, в то время как внизу только что опустело предместье Сент-Антуан и умолкли крики: «Патриоты, к оружию!»),— появился и сел у камина, усталый, не очень молодой.

И угли осветили его спокойный профиль, с высоким лбом и насмешливой линией рта.

«Клянусь, сэр, это несравненно легче понять, чем объяснить».

И это было именно так.

Легче было понять, чем объяснить, почему, увидев Сидни Картона в его белых чулках — Сидни Картона, блуждающего по парижским улицам и уже решившего, ради счастья Люси Дарней, отправиться на гильотину, я представил себе Шпекторова — и не таким, каков он был

всегда, но каким он был, когда мы остались в маленькой кухне совхозного общежития и он говорил о чем-то с усталой иронией, отбрасывавшей тень неудачи на печальное и язвительное лицо. А потом я вспомнил прибой катерпиллера, и окно, мешавшее уснуть, и карточку, на которой были написаны простые слова: «Не забывай, что я люблю тебя. *Эсфирь*». Нет, я не хотел вспоминать о том, чему с намерением уделил так мало места в этой книге. Во всем был виноват актер, игравший «адвоката королевского суда».

Брошенный в антракте племянницами на произвол судьбы, я бродил по лестнице в фойе и притворялся, что чувствую себя как дома среди детей, степенных, нарядных, важных,— и мог бы отличить среди них лишь неуклюжих девочек переходного возраста.

Я ли виноват в том, что, интересуясь совсем другими вещами, я постоянно натыкался на историю личных отношений, которую должен был обходить, да и обходил. Не писать же в самом деле о том, как он любил ее и она любила его и как чудак, которого занимало совсем другое, мешал им любить друг друга!

«Он мешал им любить друг друга»,— это думал уже не я, кто-то другой (я мирил племянниц, высказывавших прямо противоположные суждения о дальнейшей судьбе гражданина Дарнея); но если это так, если действительно д р у г д р у г а, зачем же Шпекторов приезжал ко мне с ней, почему же он делал все, чтобы вернуть ее мужу? «...Клянусь, сэр, это легче понять, чем объяснить».

Я уже сидел на своем месте, свет был погашен, шум утихал, в вечернем Париже крестьянин бродил под окнами аристократа, а я все возился с этой фразой, уже подернутой забвением, полуживой-полумертвой, но все еще не желавшей меня покидать:

«Клянусь, сэр, это несравненно легче понять, чем объяснить...»

И лишь когда люди в толстых красных шапках окружили гражданина Дарнея и хромой якобинец, пробираясь к нему, погрозил костылем и крикнул, что он — эмигрант и жизнь его принадлежит народу,— я с искренним увлечением принялся смотреть пьесу, не думая больше ни о чем.

И она тотчас же вернула меня к размышлениям.

...Люси Дарней сидела в маленькой комнате между

пилястрами, и клетчатая тень транспаранта, как игрушечные солдатики, перестраивалась на стене за ее спиной.

Она изменилась и побледнела с той минуты, как впервые появилась на сцене — голубоглазая, золотокудрая, с соломенной шляпкой в руке; теперь она была строгая, в скромном сером платье, и достаточно было взглянуть на нее только один раз, чтобы убедиться в том, что она поджидает известий об арестованном муже.

Лестницы, площадь, галерея, навесы — везде, где только что шумел политический клуб и сигнальный трехсвечник возвещал о появлении друзей, везде было темно и тихо.

Она была одна и сидела задумавшись, опустив на колени шитье, и рука с блеснувшим на пальце наперстком, как чужая, лежала на краешке желтого стола.

3

Знаете ли вы, что такое возвращение времени?

Это когда среди разговора или даже в одиночестве вы вдруг начинаете прислушиваться к себе со странным чувством человека, вступающего в новый круг своей жизни.

«Мне кажется, что это было со мной однажды»,— говорите вы, и все соглашаются, припоминая, что это как-то случалось и с ними. И вы долго потом бережете это чувство, быть может потому, что оно кажется границей, которую время проводит между возрастами человека,— а возрастов ведь гораздо больше, чем детство, юность, зрелость и старость. Врачи называют это явлением ложной памяти. Но это совсем другое. Это мотор времени перестает стучать, и оно бесшумно спускается вниз планирующим спуском.

4

Я почувствовал это, когда взглянул на маленькую белую руку швеи, лежащую на краешке стола.

И прежде чем на пороге комнаты появился Сидни Картон, я уже знал, что он появится, и знал, что он скажет ей, большой, ясный человек, который еще не научился произносить такие слова:

«О миссис Дарней, я готов сделать для вас все, что в моих силах, я готов отдать жизнь свою за тех, кто дорог вам!»

«Нет, не чудак, которого занимало совсем другое, мешал им,— сказал я самому себе и снова вспомнил простую надпись на портрете Эсфири,— им мешало раскаяние. Она решила остаться с Архимедовым до тех пор, пока не перестала бы чувствовать себя перед ним виноватой. Раскаяние да еще, быть может, смутное сознание того, что он человек необыкновенный...»

Женщины с темно-малиновыми вязаньями ждали суда на галерее, той самой, что была Англией второго акта.

Почти все они были симпатичные, многие очень хорошенькие, и ни одна не походила на зловещих патриоток Диккенса, вязальными спицами считавших головы аристократов.

Да и члены Трибунала были добродушные люди. Между ними не было Жака Третьего, того самого, который «все потирал руки, а потом проводил одной из них по губам, как будто хотел чего-то, только не воды и питья».

— Эмигрант Эвремонд, называемый Дарней. Аристократ. Один из семьи тиранов. Подозревается как враг Республики. Как пользовавшийся своими привилегиями для угнетения народа, объявлен вне закона.

Этот гражданин Дарней предстал перед судом Революционного Трибунала.

Шепот преданности и восторга прокатился по театру, когда он закинул голову и сложил руки на груди.

— Я жду вопросов Трибунала.

И обе племянницы заплакали горько, навзрыд, когда, отказавшись от объяснений, он предоставил свою судьбу справедливости истинных республиканцев.

ВСТРЕЧА ВОСЬМАЯ. ТЫ ПОТЕРЯЛ ЛИЦО

1

Минуло целых полгода с тех пор, как на Ждановском мосту я выслушал речь о городах, в которых няньки будущего будут укачивать своих питомцев сказками о дне, который был воскресеньем,— и двадцать шесть воскресений прошло над изучением людей и книг.

Подчас мне случалось, перебирая бумаги, встречать заметки, относящиеся к Шпекторову, Архимедову, Эсфири. Однажды я нашел план и был поражен, убедившись

в том, что эта книга представлялась мне хладнокровным состязанием между «расчетом на романтику» и «романтикой расчета», а о моем участии в этом состязании должна была свидетельствовать лишь фамилия автора на титульном листе.

Дважды я прочитал этот план, а потом положил его в самый дальний угол моего письменного стола,— мне показалось, что моя юность, та самая, полузабытая, легкая, которая когда-то ходила на университетские лекции, закутавшись в длинный рыцарский плащ, глядит на меня из беспорядочных строк.

Так в третий раз я простился с мыслью написать эту книгу,— и, без сомнения, так и не написал бы ее, если бы не прочитал однажды на витрине Дома печати о том, что такого-то числа в такой-то группе состоится лекция Жабы под названием «Бюрократизация языка».

Как, Жаба, тот самый, который живопись считал своим единственным призванием, который предлагал объявить войну художникам-декламаторам и художникам-дипломатам,— Жаба вернулся к лингвистике? Жаба, который, раз начав фразу, уже не мог без посторонней помощи довести ее до конца, читает лекции в Доме печати?

Но все же то был тот самый Жаба, и я тотчас же узнал его, едва он появился на эстраде...

Нет, он не предлагал объявить республику в опасности на том основании, что законы пишутся плохим языком, а плохо написанный закон таит в себе все возможности беззакония!

Коротко и ясно изложил он свои доводы против языковых штампов и неточного употребления слов.

— Мертвые идеи суть те,— сказал он,— которые являются в изящном одеянье.

Я следил за ним с любопытством. Куда там, это был совсем другой человек — ни величественности, ни беспорядка!

Он был в аккуратной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком, и самодовольство мелькало на полном лице, когда ему удавалось с ловкостью закончить фразу.

Серьезная девица сидела рядом со мной и записывала лекцию в синюю ученическую тетрадку. Она была стриженая, в юнгштурмовке, уши торчали, как паруса, она слушала внимательно, строго.

Неподалеку сидела еще одна девица с тетрадкой в руках и тоже записывала и была такая же аккуратная, серь-

езная. И скука была в зале, аккуратная, серьезная и страшная скука. Скучали, казалось, даже амуры, переделанные идейным художником в октябрят.

Быть может, почувствовав это, лектор попытался несколько оживить аудиторию двумя-тремя забавными примерами бюрократизации языка.

— «С одной стороны, я был вынужден констатировать заход солнца,— привел он начало студенческого сочинения,— с другой — не мог не признать захода луны. Тем не менее остатки ночи изживались».

Кроме него, никто не улыбнулся. Девица перевернула страницу и записала, поправив упавшую прядь волос: «Остатки ночи изживались».

И когда уже совсем ясно стало, что ничего не выйдет из этой лекции, лектор вытер лоб платком и соскочил с эстрады.

Я подошел к нему. Мы поздоровались,— он со мной немного более сдержанно, чем я с ним,— и отправились в буфет.

— А ты изменился,— сказал я, следя, как удобно устраивался он на стуле, как мешал ложечкой чай, косясь на пирожные, стоявшие между нами.

— В самом деле? Давно ли?

— Да вот с тех пор, как я тебя в последний раз видел.

— Когда же это?

— Прошлой весной,— сказал я,— когда ты был художником. Помнишь, ты еще говорил тогда, что нужно спрятать честолюбие в карман или зажать в зубах и быть готовым ко всему — к холоду, голоду и к издевательству. Кроме того, ты, помнится, собирался, в случае если не будет денег на полотно, рисовать на собственных простынях.

Жаба поставил стакан, развел руками.

— Это был не я,— сказал он весело.— Не может быть, чтобы человек, всю жизнь воевавший против риторики, выражался так высокопарно!

— Было время, когда ты выражался высокопарно!

Он согласился, все еще улыбаясь.

— Было.

— И оно окончилось не так уж давно?

— Совсем недавно. Можно совершенно точно определить месяц, день и даже час, когда это случилось. В октябре месяце, седьмого числа, между одиннадцатью и часом ночи.

2

В октябре месяце, седьмого числа, между одиннадцатью и часом ночи, он сидел в бутафорской мастерской ТЮЗа и изучал трехмачтовую шхуну, искусно сделанную Виделем для одной из очередных постановок.

И он, и Архимедов в ту пору торчали в ТЮЗе день и ночь, и нужно было обладать пылким гостеприимством Визеля, чтобы не обмолвиться о своих неудобствах ни словом. Он, Жаба, на ночь уходил домой, Архимедов, случалось, оставался в театре и на ночь. И в тот вечер все было так же, как всегда. Визель принес им чаю и сухарей, потом куда-то исчез, и они остались вдвоем. С чашкой в руках Архимедов ходил из угла в угол и все спорил со своими воображаемыми врагами, а Жаба рассматривал шхуну. Действительно, шхуна была хороша, с марселями, брамселями, фок-мачтами, рангоутом и спардеком. На реях сидели негры, белозубые, с вылупленными глазами, оттопыренными губами. И Архимедов все ходил из угла в угол и все говорил, а он, Жаба, слушал и не слушал. Именно в этот вечер он впервые подумал о том, что Архимедову со своими идеями нечего делать.

— Ему нечего было с ними делать,— сказал Жаба и, ложечкой вытащив из стакана лимон, стал сосать его с наслаждением.— Он задыхался в них. Его уже трудно было слушать. Быть может, догадываясь об этом, он в шутку все время обращался со своей речью к куклам, висящим на веревках вдоль стен...

Он говорил с доктором Мазь-Перемазь, которого Визель сделал старым хвастуном, знающим цену деньгам и людям. Доктор висел, выставив вперед нижнюю губу, как бы говоря: «Н-ну, в чем дело?»

Он говорил с гробовщиком в цилиндре, который был длинный, вежливый, в черных перчатках, с лицемерной внешностью человека, считающего печаль профессиональной чертой.

Он говорил со скрягой, с цыганом, с Петрушкой.

— И знаешь ли,— продолжал Жаба,— у меня было такое впечатление, что куклы отлично понимали его. Доктор Мазь-Перемазь, например, слушал его с видом скуч-

ного превосходства, как тяжелого больного, которому нечем заплатить... Но самым внимательным слушателем было чучело рыбака из пьесы «Тиль Уленшпигель». Каждый день мы с Архимедовым приходили в театр, и каждый день он вступал с этим чучелом в длиннейший разговор. Он очень вежливо обходился с ним, здоровался, прощался и неизменно желал ему доброй ночи, когда укладывался спать на свою постель, которую Визель смастерил ему из какого-то отслужившего реквизита. И в этот вечер он тоже говорил с ним, а потом погладил по голове и задумался. И знаешь, мне стало вдруг так жалко его, что я чуть не заплакал. Он стоял такой тихий, похудевший, в затрепанном пиджаке, и синяки под глазами. Фламандская сказка о сатане и художнике, который продал ему свою тень, вспомнилась мне, и я совсем уже было собрался рассказать ее Архимедову, как вдруг кто-то заорал за стеной, потом затопал ногами и снова заорал. Голос Визеля послышался мне, и я решил, что это Визель ругается с рабочими, убиравшими сцену после вечернего спектакля и неосторожно обошедшимися с какой-нибудь хрупкой бутафорией. И верно, это был Визель. В синей толстовке он вылетел откуда-то из лабиринта декораций. Он стучал ногами и орал: «К черту, не позволю!», и в руках у него был дуэльный пистолет, знаешь, такой старинный, с круглой рукояткой и длинным дулом. И он держал его за дуло длинной рукой, и морда у него была тоже длинная, вытянутая от злости, и казалась еще длинней под гривой волос, вставших дыбом на голове. Он не узнал меня, отмахнулся, потом схватил за рукав и потащил за собой.

3

Последнее пирожное было съедено, когда Жаба добрался до этого места, перевалив через десятка два разных занятных историй, рассказанных подробно, но не имевших ни малейшего отношения к делу. Пирожные были съедены, и Жаба самолично отправился к стойке и долго торчал там, обсуждая про себя различные сорта, которые, впрочем, очень мало отличались один от другого.

— Итак,— сказал я, когда он вернулся,— Визель схватил тебя за рукав и потащил за собой.

Жаба отправил в рот кусок «наполеона».

— Да,— сказал он.— Он был похож при этом на лошадь. Я не успел и опомниться, как он захлопнул дверь

и повернул ключ. Потом приставил к двери стул, сел на него и расставил ноги...

Так он сидел, широко раскрыв глаза, прислушиваясь к чему-то и напоминая Жабе чеховского гимназиста — «Монтигомо Ястребиный Коготь». Потом сказал тихо:

— Они взяли нового бутафора и требуют, чтобы я сдал ему свою мастерскую.

Архимедов еще раз погладил чучело по голове, потом подошел к Визелю с таким видом, как будто и его собирался погладить.

— В чем же вы провинились? — ласково спросил он.

Визель вскочил и швырнул свой пистолет об пол.

— Я сдал в утиль все старые куклы!

— Почему?

— Потому что они были вредителями!

Он выгнул узкую грудь, взмахнул руками.

— Их сделал мерзавец! Я страдал, когда они появлялись на сцене. У них были большие челюсти, бездарные лица! Это были не куклы, это были мерзавцы! Мастер, который сделал их,— он ничего не понимает, мерзавец!

И уже неясно было, кому кричал он «мерзавец, мерзавец!» — мастеру ли, куклам ли или тому человеку, который оглушительно стучал в дверь бутафорской мастерской и требовал, чтобы ее немедленно отворили:

— Визель, да отворите же, поговорим спокойно!

Визель встал на пороге, заслоняя собой человека, сказавшего: «Поговорим спокойно». Он уперся руками в косяки и встал, как крест, вытянувшись, низко опустив голову, так что видна стала его узкая мальчишеская шея.

— В пятнадцатом веке,— сказал он звонко,— по статуту страсбургского цеха виноделов, мастера, неверно отмеривавшие вино, сбрасывались с крыши в помойные ямы. Тогдашние текстильщики публично сжигали сукно, в которое был подмешан волос. Эти куклы были сделаны неверно,— звонко сказал он.— Они были бы другими, если бы каждый из нас, приступая к работе, давал присягу в том, что будет добросовестно заниматься своим делом. И вы должны быть благодарны мне, что я сдал этих мерзавцев в утиль, а не сжег публично где-нибудь на Марсовом поле.

Человек, сказавший: «Поговорим спокойно», начал говорить спокойно.

— Визель, вы сумасброд,— сказал он ласково,— мы живем не в пятнадцатом веке. В пятнадцатом веке не со-

бирали утиль, а если и собирали, так, наверное, не было таких бутафоров. Поэтому я уверен, что вы сделали это случайно...

— Я сделал это нарочно!

— Ну, если вы сделали это нарочно,— под левой рукой Визеля мелькнули и тотчас же скрылись пухлые губы, кадык,— так мы подадим на вас в суд.

Визель отвернулся от него; он смотрел в сторону, вдоль левой руки, волосы упали ему на лоб. У него было бледное, прекрасное лицо с раздутым носом и взлетающими к небу бровями.

— Нет,— сказал он мечтательно,— нет, я не подал бы на вас в суд. Но я заставил бы вас нести черный штандарт на празднике Первого мая.

И он захлопнул дверь.

Бутафорская комната была отделена от монтировочной тонкой дощатой перегородкой, и, найдя в ней щель, Жаба убедился, что, кроме человека, которому Первого мая предстояло нести черный штандарт, в бутафорскую ломятся еще по меньшей мере трое.

Пышные генеральские баки украшали одного из них, другой был отдаленно похож на английского премьера Макдональда, а третий, могучий, грудь колесом, стоял перед запертой дверью, задумчиво лаская усы.

Жаба обернулся.

— Взгляните-ка, а ведь ваш администратор уже успел мобилизовать резервы. Армия утроилась и, по всем признакам, готовится к наступлению.

Визель влип в щель.

— Это кассир, суфлер и билетеры! Мы не сдадимся, к черту. К черту, пускай вызывают милиционеров!..

Петли скрипели, дощатая дверь перестраивалась, приняв ромбовидную форму.

Как ящик, вскрывалась она под ударами, и в проломах уже мелькали генеральские баки, усы, могучая грудь.

Жаба швырнул в эту грудь огурцом из папье-маше.

— Вы не находите, милый друг,— сказал он Визелю,— что нам не мешало бы обеспечить себе отступление? Природное местоположение нашей крепости вряд ли позволит нам выдержать длительную осаду.

Ничего не ответив, Визель полез под стол и появился вновь, прижав к себе ведро с белой глиной. Перевернув ведро, он ударил ногой по дну, выбил глину вон, а потом

снял с полок краски и с аккуратностью, которая была почти страшна в этом человеке, начал выливать их в ведро.

Он вылил их все, одну за другой — фиолетовую, голубую, марс, сепию просто и сепию мертвой головы, кобальт, индиго, ультрамарин — и то, что получилось, бережно поднял и поставил перед собой на стол.

Только теперь слова «не мешало бы обеспечить себе отступление» добрались, спотыкаясь, до его помутившегося сознания.

— Отступать? — переспросил он, грозно болтая в ведре сломанной деревянной шпагой.— Чтобы отступить, нужно пройти сквозь стену!

— Ты знаешь, я сам себе не верю,— продолжал Жаба.— Но история с самого начала пошла так, как будто дело было вовсе не в куклах, которые этот балда сдал в утиль, что, разумеется, было просто глупо. История пошла так, как будто мы дрались не из-за кукол! Черт побери, у меня прямо в глазах помутилось, когда я услышал эти слова: «...нужно пройти сквозь стену». Я только спросил: «Сквозь которую?» И Визель, пятясь задом, не спуская глаз с перекосившейся двери, добрался до стены и постучал в нее ногой. Тогда, не говоря ни слова, я снял пиджак и засучил рукава. Плотничий молоток валялся на полу, я подобрал его, влез на стул...

Жаба замолчал. Должно быть, он не очень хорошо помнил, что произошло после того, как он влез на стул, потому что он довольно долго мямлил, прежде чем снова взяться за свой рассказ.

— Я подобрал с пола плотничий молоток,— сказал он наконец,— понимаешь, такой раздвоенный, с длинной ручкой... Подобрал и вскочил на стул. Нет, не на стул, помнится, а на табурет. Знаешь, в такие минуты очень запоминаются мелочи. Этот табурет, например, у меня как живой перед глазами. Он был весь испачкан краской, и в средине такая подковообразная дыра, так им можно было при желании бить, как булавой. И вот я схватил этот табурет... я влез на табурет и ахнул молотком по стене.

Он вдруг побагровел, потом радостно захохотал и схватил меня за руку.

— Я пробил ее, как бумагу!

Он пробил ее, а потом отодрал кусок верхней планки и, схватившись руками за конец доски, торчавшей из-под лучинок, упал с табурета на пол. Обнявшись с доской, он лежал на полу, а Визель бегал вокруг него и все выбрасывал вперед длинные руки. Дверь сорвалась наконец с петель. Протирая глаза, засыпанные известковой пылью, Жа́ба встал на колени. Три человека появились на пороге. Визель подошел к ним и радостно выплеснул на них ведро с краской. Они стояли рыжие, тихие. Потом побежали вниз.

Раздирая дранку, дробя штукатурку, раздвигая доски, Жаба первый прошел сквозь стену.

За ним Архимедов, вскинув голову, отстранил от себя цепкие полоски лучин, задевавших за платье.

И, наконец, Визель, который прикрывал отступление, бомбардируя неприятелей кусками гипса и глины, мотками проволоки, банками из-под красок, кружками, крынками, бутылками, куклами, которые почему-то еще не были сданы в утиль.

— Вни́з по лестнице,— быстрым шепотом сказал Визель,— сюда! Сюда! Мы пройдем под сценой...

Пробираясь в темноте вдоль деревянных пещер, пыльных и сухих, вдоль крысиных ходов и переходов, Жаба слышал над головой гуденье, бормотанье, хмурые угрозы, печальные ссылки на закон.

Это маленький администратор, доказывая, что бунт учинен лицом свободной профессии, побуждал свою армию к немедленному наступлению...

Узкая дверца приоткрылась, Архимедов (он шел впереди) исчез в ней, низко наклонив голову, и где-то внизу в складках портьеры прошли его плечи.

— А теперь наверх!

Это были хоры монтировочной части, отведенные для хранения декораций и громоздкого реквизита.

Здесь, опустив курчавые гривы, стояли под потолком двуногие кони.

Застыв в неподвижной игре вещей, Будда загадочно косился в бронзовое зеркало, и свечи в человеческий рост стояли перед ним вверх ногами.

Золоченая лодка плыла по воздуху, чуть покачивались картонные колпаки колоколов.

Огромные игрушки висели на блоках над монтировочной частью...

А вдоль срезанных под углом фанерных стен лежали на широких полках узкие пистолеты якобинцев, длинные копья и короткие кинжалы ландскнехтов, секиры фламандцев, остроносые шлемы с опускающимися забралами, топоры, сабли, панцири, пики, алебарды,— весь арсенал романтики, от рыцарских турниров до гражданской войны.

И Визель, как молодой бог войны, стоял среди этого арсенала.

— Теперь мы будем наступать,— крикнул он и повел вокруг себя рукой,— мы обойдем их с тыла, разобьем и прогоним. Весь театр будет в наших руках.

И он трижды повторил эту фразу:

— Война началась! Война началась! Война началась!

Наклонив голову — так низки были своды — держась за перекладины, которыми были они пересечены, Жаба перешел помост и заглянул вниз.

Администратор, суфлер, билетеры толпились подле бутафорской мастерской. Сверху они казались очень смешными, самодовольными, сердитыми, с маленькими толстыми головками — такими бывают отражения в вогнутых зеркалах. Их было уже много; казалось, весь зал был полон ими; они стучали сапогами, хвастались, подбодряли друг друга. Жаба показал им нос. Они завыли.

И вдруг узкая фигура в развевающейся синей блузе встала рядом с ним и тоже завыла, как собака, а потом вынула из кармана перочинный ножик, задергалась на одном месте и ринулась с помоста вниз. Это Визель перешел в наступление.

Длинные ноги его метнулись где-то под куполом Вестминстерского аббатства.

Он пронесся вдоль золоченой лодки, оттолкнулся от трона, перелетел через китайские фонари. Он сидел верхом на двуногом коне и пилил ножом какую-то веревку.

Жаба еще раз взглянул вниз и понял: администраторы суетились теперь прямо под декорациями и реквизитом, притянутым на блоках к потолку.

— Друг мой, да вы спятили, что ли?

Визель ничего не ответил. Он пилил и пел. И Жаба, прислушавшись, вспомнил гимназию, не шестой, не пя-

тый, нет — второй класс, когда смертельно хотелось убежать от классного наставника в пампасы.

Визель пел:

Пятнадцать человек на ящике мертвеца.
Ио-хо-хо и бутылка рома!

Веревка оборвалась, помост заскрипел, как плот, выплывающий в бурю. И кони, величаво задрав кверху свои золотогривые морды, рухнули вниз.

За ними троны, колокола, купола и свечи.

Жаба ахнул, взглянув на Визеля.

Раскачиваясь на одной руке, Визель висел где-то в пролетах, торжествующий, узкоплечий, страшный.

Внизу неприятели выбирались из-под разбитого реквизита и, ругаясь, бежали на хоры.

5

Они бежали на хоры по лестнице слева и по лестнице справа, маленький администратор сердито картавил, могучий билетер шагал через ступеньку, угрожающе лаская усы.

Жаба обернулся и, найдя Архимедова (чуть повернувшего голову в ответ на его оглушительный голос), вынул из кармана носовой платок.

— Окружены со всех сторон,— крикнул он и взмахнул платком, как белым флагом,— отступать некуда! Или предложить мир, или сдаться!

Архимедов молча перевел глаза на Визеля, который уже шел к нему, шагая по воздуху с веселым бешенством акробатов.

Он возвращался как победитель, и молчаливый рапорт, который он отдал Архимедову, наклонив голову, глядя прямо в лицо ему с нежностью, с преданностью, с обожанием, был таков, что Жаба умолк и тихонько спрятал свой носовой платок в карман.

— Мы будем защищаться,— шепотом сказал Визель.— Мы встретим их с оружием в руках.

Он шагнул к полкам, на которых лежало оружие, сбросил дротики, отодвинул в сторону алебарды и пики. Он вернулся со шпагой — длинной шпагой, темной стали, с полукруглой чашкой вместо гарды обыкновенных шпаг; и бант, синий с розовым, был завязан вокруг рукояти...

— Возьмите! — сказал он Архимедову и сунул ему в руки эту шпагу.

И Архимедов взял ее и, пройдя под низкими сводами хоров, остановился на первой ступеньке лестницы, расставив ноги, скосив глаза.

Он слушал...

— Тогда-то я и вспомнил этот сон,— сказал Жаба.— Сон, который накануне мне рассказал Архимедов.

6

Ему приснилось, что он идет по турецкому городу, на улицах — шали, ковры, и персы сидят на плоских крышах, крича ему:

— Ты потерял лицо!

Женщина, круглоглазая, тонкобровая, видит его из окна и смеется, прикусив зубами чадру:

— Ты потерял лицо!

Он опускается вниз и поднимается вверх, становится все страшнее, и продавец воды, идущий впереди него, продавец в бараньей шапке, которого почему-то нельзя обогнать, оборачивается и говорит:

— По воле аллаха ты потерял лицо!

Переулки вьются, поднимаются по лестницам в дома, заходят в гости к сапожнику, вода сбегает с горы.

«Это Тегеран,— думает он.— Это Персия. Восток. Мне тоже нужно надеть чуваки и баранью шапку. Я перс».

Спит на базаре старик в рваном чекмене, опустив на грудь стриженую седую голову. Он будит его, они заходят в вонючую лавку; кожи висят на веревках, пугливо косится кот.

Старик выносит шлем, копье и щит.

— Ради моей головы и твоей смерти,— говорит он и протягивает шлем,— надень это, и ты будешь красив, как луна, когда она появляется, и солнце, когда оно засияет.

Конь входит в лавку, на нем покрывало до земли, шелковое покрывало паладинов.

Архимедов надевает шлем, опускает забрало.

Он скачет все быстрее и быстрее, все выше и выше, по воздуху, по холмам, дышать все легче,— высота, свежесть, простор.

— И, наконец,— Москва, Тверская.

Он скачет по Тверской, конь горячится, потом смеется, он бьет его, все расступаются, бегут.

С копьем наперевес он выезжает на площадь.

Тихо. Ночь. Цокают о камни копыта.

Высокая женщина, гладковолосая, в длинном платье, встречает его у подножья гранитной трехгранной иглы.

Он мчится к ней, задыхаясь от неожиданности, высоко над головой вскинув щит.

Он приносит ей клятву.

— В несчастье и счастье, в сраженье и покое, страдая и радуясь, свидетельствуя и доверяя, убивая врагов и выбирая друзей, во сне и бодрствуя, принося клятву и принимая клятву,— разве я не помнил о тебе? Разве я не был тебе верен?

Она опускает каменную голову, грозно смотрит открытыми слепыми глазами.

Она говорит, с трудом раздвигая губы:

— Но разве ты не потерял лица?

И забрало само поднимается вверх, и он видит в одной руке противень, в другой ухват, и конь его на трех колесах, тощий, с задранным мочальным хвостом, и не шлем, а таз для варенья торчит на голове, начищенный, гулкий, с петушиным пером...

— Наутро он спросил меня, есть ли в персидском языке такое выражение — потерять лицо. Я пообещал ему навести справку у одного из знакомых иранистов.

— Ну, и что же?

— Есть. «Руйат гом карди» — ты потерял лицо. Это значит — потерпеть поражение, покрыть себя и весь свой род позором. Так говорят полководцу, проигравшему бой, послу, не выполнившему поручение шаха.

— Итак,— сказал я,— Архимедов взял в руки шпагу.

7

Он взял в руки шпагу и, пройдя под низкими сводами хоров, остановился на первой ступеньке лестницы, расставив ноги, скосив глаза. Он прислушивался: со всех сторон шел мерный стук переставляемых ног — с Востока, Запада, Севера и Юга.

И театр повторял их отголоски в пустотах декораций, лестниц, коридоров, залов.

Шла армия.

Казалось, где-то уже возникал пронзительный свист флейт, били палочки в телячью кожу барабанов.

И все более гулкими становились шаги, все отчетливее, все точнее.

Шла армия.

И вот, расправив плечи, вытянув вперед руку со шпагой, Архимедов пошел ей навстречу.

Теперь он наступал — один, но так, как если бы все рыцари всех широт шли за ним, крича «Радость» и звеня оружием.

И вдруг он остановился, шпага дрогнула, он опустил шпагу.

Широкоплечий человек стоял перед ним, раскинув большие руки, вежливый человек, с ясным лицом, с уверенными повадками распорядителя людей и дел... Это было так, как если бы актер, который по ходу пьесы должен был умереть, вдруг выпал бы из роли, пробил кулаком декорацию и сказал: «Я живой и больше не играю».

Он не играл. Раздвинув билетеров, он стоял, покачиваясь на носках, и каждой вещи вокруг себя он вручал обратно ее очертания.

И армии не было, а это были его шаги — шаги большого человека, сотни раз повторенные в гулких пространствах театра. И не пылкий рыжий бог войны, а просто выгнанный со службы бутафор сидел на ступеньках, пригорюнившись, и думал, что завтра его выгонят за ночной разбой из профессионального союза.

Не было ни сновидений, ни фантасмагорий.

Был штатский человек в потертой темно-коричневой паре, и в руке он держал зачем-то шпагу, которая была годна теперь лишь для того, чтобы мешать ею уголья в печке.

И вокруг него — пустота.

8

Когда я был студентом, я слышал от Жабы еще более невероятные рассказы. Толстяки любят врать. Я помню, как он рассказал мне однажды длиннейшую историю о бездетном токаре, который под старость решил выточить себе сына из венгерского дуба. И выточил, и мальчик вырос, и никто не замечал, что он деревянный.

Он начал клясться, когда я усомнился в некоторых деталях странной истории, рассказанной мне в Доме печати. Я молча выслушал эти клятвы, а потом прочитал ему одну строфу из детского стихотворения Хармса:

— А вы знаете, что у,
А вы знаете, что па,
А вы знаете, что пы,
Что у папы моего было сорок сыновей,
Было сорок здоровенных,
И не двадцать,
И не тридцать.
Ровно сорок сыновей?
— Ну, ну, ну, ну?
Врешь, врешь, врешь, врешь!
Еще двадцать, еще тридцать, ну еще туда-сюда,
А уж сорок, ровно сорок,— это просто ерунда.

— Еще куклы, которые Визель сдал в утиль за то, что они показались ему вредителями, еще Архимедов со шпагой в руке, сражающийся против билетеров, ну, еще туда-сюда,— сказал я Жабе.— Но эта стена, которую ты пробил, как бумагу,— это уже просто ерунда.

Жаба засмеялся.

— Честное слово, все правда,— сказал он торжественно.— Все правда, до самого последнего слова. Я, собственно, не пробил ее, а вскрыл, именно вскрыл, как ящик. Она была фанерная. Даже не стена, собственно, а перегородка. Знаешь, эти щиты, их можно отдирать руками...

Он слушал себя с удивлением.

Но была в этом вздорном рассказе одна вещь, которую выдумать, кажется, невозможно. «По каким же удивительным законам строится ложь,— подумалось мне,— если, возведенная в систему, она невольно приходит к истине, которая ей неизвестна?»

Этой истиной была встреча между Шпекторовым и Архимедовым, последняя встреча и большой разговор, «такой,— сказал Жаба,— как будто и не было никогда женщины, которую они оба любили, как будто не люди стояли друг против друга, а два разума.

— Помнится, ты хотел перестроить мир, переназвать вещи,— будто бы спросил Шпекторов,— ну, как, удалось?

И Архимедов отвечал:

— Я хотел сделать труд доблестью, радостью — усталость.

— Ты? — будто бы спросил тогда Шпекторов.— Ты — книга, которую читали в детстве наши старшие братья, ты этого хотел? Я помню ее. Ты был изображен на обложке в панцире, в латах. Средневековье, которое теперь предлагаешь включить в пятилетний план.

И вот Архимедов поднял на него усталые задумчивые глаза.

— Ну, что ж, средневековье,— будто бы сказал он,— разве мы не вправе брать от любой эпохи то, что может нам пригодиться? Разве история не предоставила нам этот выбор?

Тогда Шпекторов рассмеялся и встал перед ним, раскинув большие руки.

— Она предоставила нам только один выбор — выиграть или проиграть,— будто бы сказал он.— И каждый день мы выбираем первое. Мы, играющие большую игру. Поставь же в угол свою шпагу, отдай ее актерам или детям. Иди запишись на бирже труда, ты ведь, кажется, когда-то служил в аптеке. Пользуйся выходными днями, учись рисовать. Может быть, придет время, когда мы позовем тебя раскрасить наши знамена...»

9

Прошло еще полгода. Шпекторов позвонил мне и приехал, чтобы поговорить об одном «на редкость бессмысленном», как он выразился, деле.

В прихожей было полутемно. Но когда мы вошли в кабинет, я заметил, как изменился он, похудел и как бледен. Лицо заострилось, вертикальные морщины встали над переносицей. Усталый, не очень молодой, он вошел, бросился в шведское кресло, и солнце поползло к нему, отсвечивая в слепой отмели стекла.

— Можно без предисловий? — спросил он и, вздохнув, вытянулся в кресле.— Через полчаса в Отделе опеки начнется заседание. Темный случай, видишь ли! Я не женат, и они сомневаются, будет ли ему у меня лучше, чем у Алексея. Но, знаешь ли, я думаю, что у меня ему будет лучше. Я пригласил свою мать, и она будет возиться с ним днем и ночью... А ты нужен мне как свидетель!

Я развел руками.

— А нельзя ли все-таки с предисловием? Потому что я ничего не понял. Какой Алексей? Какое заседание в Отделе опеки? Неужели над тобой уже хотят учредить опеку? По какому делу я нужен тебе как свидетель? И с кем собирается возиться твоя мать не только днем, но и ночью?

Он слушал меня и качался в кресле. Кресло скрипело.

— Сегодня ночью у меня первый раз в жизни была мигрень,— сказал он.— Бабская штука, а? Боюсь, что при-

дется уехать куда-нибудь отдохнуть на две недели. Вот.— Он остановил кресло и бросил передо мной на стол несколько бумаг.— Прочти, и ты сразу поймешь, в чем дело.

Я прочел:

«В Отдел опеки

Я, нижеподписавшийся, гр-н Шпекторов, Александр Львович, настоящим заявляю, что с согласия гр-на Архимедова, Алексея Кирилловича, желаю усыновить его сына, Фердинанда, полутора лет. Прошу присвоить ребенку отчество и фамилию усыновителя».

Я перелистал остальные бумаги: это были справки о социальном положении, о заработке, о составе семьи.

— А ты нужен мне как свидетель,— устало повторил Шпекторов,— ты поедешь со мной и скажешь, что я беру его, потому что у него умерла мать... Ну да, умерла мать, которая была... Которую я очень хорошо знал, и вот теперь из уважения к ее памяти... Или, лучше, просто подтверди, что у меня ему будет лучше, чем у отца.

Он с размаху произнес последнее слово.

— Ну, а Архимедов-то согласен?

Шпекторов положил руки в карманы, скрестив ноги, уставился в потолок.

— Ему все равно,— сказал он, помолчав.— Он на все согласен.

10

Мы спустились по лестнице и как раз подоспели к трамваю. Я так и не спросил у него, что значат эти слова, в которых мне почудились сразу и холодность, и сожаление,— я был уверен, что в ответ он заговорит о другом.

На голову выше всех, он стоял в трамвайной тесноте, взявшись рукой за петлю, и лицо его, бледный очерк которого нёсся в окне, по деревьям и стенам домов, было внимательным и серьезным.

«Он стал другим,— подумалось мне.— Не так язвителен, не так уж ясно все для него, как бывало. Усталость? Ну, что ж, пожалуй, он справится с нею. Она ему не к лицу, она в его планы не входит. Сама история взяла на себя труд разработать эти планы, а ведь он никогда не позволит себе уклониться от ее суровых приказаний. Как старшая сестра, она ведет его хозяйство, следит за его

делами, журит его, когда он не один возвращается домой... Впрочем, теперь он будет возвращаться один. Мать переехала к нему, чтобы ухаживать за ребенком... А тот, который с такой трогательной неловкостью качал его подле Медного всадника; тот, который говорил, что быт против него, и он унес с собой только то, что еще можно исправить; тот, который хотел сделать труд доблестью, радостью — усталость?»

Я потянул Шпекторова за рукав.

— Один человек, которого ты, кажется, не знаешь,— сказал я ему, стараясь преодолеть нарастающее жужжание трамвая,— рассказывал мне, что в октябре месяце у тебя с Архимедовым было какое-то столкновение в ТЮЗе. Какой-то большой разговор с цитатами из Дон-Кихота. И что будто бы он встретил тебя со шпагой в руке, а ты, как библейский пророк, превратил эту шпагу в палку?

Шпекторов отпустил петлю и обернулся ко мне.

— В октябре? — переспросил он, припоминая.— В октябре я искал его по всему городу и действительно нашел наконец в ТЮЗе. Но в тот день там был какой-то отчаянный скандал — кажется, бутафор сошел с ума и его ловили, потому что боялись, что он подожжет театр. Я отыскал Архимедова где-то на хорах, но мне не удалось в этой суматохе сказать ему ни одного слова.

11

Из всех государственных учреждений в Ленинграде Отдел опеки производит самое тягостное впечатление. Он грязен и мрачен. Смутное чувство неуверенности охватывает посетителя, едва он открывает дверь в узкий, пересеченный барьерами вестибюль. Путаница подстерегает его еще у подъезда. Она начинается с загадочного разговора между ним и хмурым инвалидом, который почему-то отказывается принять пальто. Она поднимается с ним по лестнице, она бродит за ним из одной канцелярии в другую. Соединившись с головной болью, она на ощупь распахивает перед ним выходную дверь, когда, не добившись толку, он возвращается обратно и хмурый инвалид швыряет ему чужие калоши...

Шпекторов разделся быстрее меня и, предоставив мне получать номерок, торопливо отошел от барьера. Я задержался, сражаясь с кашне. Когда оно было побеждено на-

конец и инвалид повесил его, как разбойника, на колышки шаткой стойки, Шпекторов был уже на лестнице, между первой и второй площадкой. Он стоял, прислонившись к перилам, и разговаривал с каким-то длиннополым субъектом в нахлобученной кепке, из-под которой торчали бесцветные клочья волос.

Я положил номерок в карман, прошелся по вестибюлю. Он все говорил. Мельком взглянув на лицо его собеседника, я прошел мимо них, а потом остановился на второй площадке и издали показал Шпекторову часы. Тогда он подозвал меня.

— Ты что ж это, не узнаешь?

Прищурясь, длиннополый поднял на меня близорукие голубые глаза. Он смотрел искоса, с недоверием. Я протянул руку. Тогда жалкая важность вдруг прошла по бесцветному лицу, как бы запыленному под грязной паутиной бороды и усов. Он вскинул голову и сунул мне два пальца. Я узнал — это был Архимедов. И это было так страшно, что все слова вылетели у меня из головы, я ничего не сказал и молча пошел по лестнице вслед за ним.

12

Да и о чем же было говорить? Все было ясно и просто. И не так уж неожиданно, как показалось с первого взгляда. Он был без очков,— почему-то именно это так подчеркивало перемену,— и шел нетвердо, лунатической походкой человека, которому все равно куда идти. На поворотах Шпекторов осторожно брал его за локоть.

Мы поднялись на пятый этаж и долго плутали по грязным, но монументальным лабиринтам. Низкие, как таксы, скамейки стояли вдоль стен. Шпекторов усадил нас на одну из них, а сам исчез за дверью, увешанной скучными угрозами канцеляристов.

Мы остались одни.

Не поднимая глаз, Архимедов сидел, сунув между колен длинные худые руки.

С папкой под мышкой, с папироской во рту, величественная машинистка прошла мимо нас,— он искоса поглядел ей вслед и снова опустил глаза.

Сил у меня не было заговорить с этим человеком, перешагнуть через все, что так страшно изменило его, притвориться, что ничего не случилось. «Ему теперь все равно,— вспомнилось мне.— Он на все согласен».

Да, он был согласен на все. Черная, как земля, рубаха виднелась под распахнувшимся пальто, он поминутно почесывался, ерзал спиной, и едкий запах пота и грязного белья шел от него...

Дважды собирался я обратиться к нему с простыми словами, которыми обычно начинается разговор,— и не мог. Я встал наконец и подошел к окну: двое молодчиков с опасностью для жизни укрепляли антенну на крыше соседнего дома,— и я с насильственным интересом наблюдал за их рискованной затеей, пока Шпекторов не вернулся.

13

Никакого заседания не было, а просто двое канцелярских служащих сидели за столом, над которым висела надпись «Делопроизводитель», и читали бумаги. Впрочем, читал только один, молодой, с приплюснутым носом, с плотным лоснящимся пробором, читал и передавал соседу — мохнатому старичку, как будто застрявшему в этой комнате с шестидесятых годов прошлого века, а тот просматривал и надевал скрепки. А мы ждали.

— Который свидетель? — спросил наконец старичок.

Я подошел. Он поднял дряблый нос. Детский бантик был завязан вокруг шеи, и вся мебель канцелярии вверх ногами отражалась в очках.

— Заполните анкету.

Не особенно заботясь о точности, я написал свое имя, отчество, фамилию, определил, как умел, социальное положение, удостоверил, что ни до, ни после семнадцатого года не занимался торговлей, не пользовался наемным трудом.

— Свидетельство о смерти жены? — равнодушно спросил молодой.

Мне показалось, что Архимедов, стоявший подле меня с таким отрешенным видом, что даже птицы, водись они в Отделе опеки, не побоялись бы сесть на его плечи, вздрогнул при этом вопросе и сделал такое движение, как будто хотел уйти.

— Представлено,— певуче сказал старичок.

Молодой вынул из кармана платок. Он высморкался — с явным уважением к себе, к своему носу, к своему носовому платку.

— Свидетель, вам известны мотивы усыновления?

Я отвечал, что мотивы известны.

— Можете ли вы подтвердить, что, будучи усыновлен гражданином Шпекторовым, ребенок попадет в лучшие условия?

Я отвечал, что в этом не может быть никаких сомнений.

— В семейно-бытовом отношении?

Я отвечал, что хотя усыновитель и холост, но так как он, заботясь о ребенке, пригласил к себе мать, надо думать, что и с этой стороны все обстоит вполне благополучно.

— В отношении социальной среды?

Я мельком взглянул на Архимедова; с нелепой важностью, с глубоким равнодушием ко всему на свете он стоял, заложив руки за спину, бродя рассеянным взглядом по облупленным стенам Отдела опеки.

— Да, и в этом отношении...— сказал я негромко.

Делопроизводитель снова полез за носовым платком.

— Согласие отца. — спросил он.

Архимедов поднял голову и сделал шаг к столу. Он оглянулся на меня, и вдруг я понял, что это была вовсе не рассеянность, что он все слышал и каждое мое слово оценил как свидетельство собственного падения. Волнение прошло по лицу, губы дрогнули и сжались. Должно быть, ему немалых усилий стоило сесть к столу и взять в руки перо.

14

Так вот наконец эта встреча, которую Жаба угадал, невольно следуя еще не открытым законам вранья! Что ж, пожалуй, он был прав, придавая ей символическое значение. Но как она была непохожа на то, что он мне рассказал. Она была тихая, простая. И загадочных шагов не было слышно за стенами Отдела опеки, гулких шагов, которые шли с Востока, Севера, Запада и Юга! И не было разговора со старинной книгой, которую мы читали в детстве, высокого разговора о доблести, о труде, о праве на существование.

Разговор был другой, очень ясный.

В заношенном белье, в длиннополом пальто, сутулый, заросший оборванец сидел за канцелярским столом и писал под диктовку бумагу, в которой отрекался от последнего, что у него оставалось,— от сына.

И шпаги не было. Запачканная чернилами ручка торчала в его слабых пальцах, он писал детским почерком и после каждого слова поднимал на Шпекторова близорукие голубые глаза,— Шпекторов диктовал бумагу.

— Настоящим заявляю, что отказываюсь от всех прав, присвоенных мне по закону как отцу вышеупомянутого ребенка,— диктовал Шпекторов.

— ...ребенка,— шевелил губами Архимедов.

— ...А после наступления совершеннолетия обязуюсь не предъявлять к нему никаких требований...

— ...никаких требований,— шепотом повторял Архимедов.

— А все права и обязанности, доселе присвоенные мне, как отцу вышеупомянутого ребенка...

— ...ребенка,— снова сказал Архимедов.

— Передаю всецело и безоговорочно и по доброй воле...

— ...по доброй воле,— послушно повторил Архимедов.

И отчаянье вдруг свело его небритый рот.

ЭПИЛОГ

> Это сквозь живопись прошла буря.
>
> *Хлебников*

Она лежит, сломав руки, полная теней. Как невод, они опутывают весь перекресток. Они качаются на присевших домах, в перекошенных ромбах окон. В пустынных перспективах пригорода они проходят с угрюмой важностью одиноких. Они падают на платок, сдвинувшийся при падении с глаз, на закушенные от усилий губы.

Час сумеречный. Снег синий, голубой, белый.

Горбоносый доктор идет к ней, с досадой оттопырив губы, и шляпа подпрыгивает на курчавых, упругих пружинах волос. Чужие люди стоят вокруг, в застывших позах любопытства, равнодушия, страха, а некоторые — с поднятой рукой,— как страшные дураки персидских живописцев. Все смотрят на нее. Она лежит, пересеченная туманными полосами теней и света. Подняв красную палку, милиционер едет к ней на кособокой пролетке; у лошадей — круглые, удивленные лица.

И все смотрят на нее. Полные безразличного любопытства, пятна групта смотрят на нее из сломанных окон, а

старуха, с плоской головой змеи,— из полуоткрытой двери подвала. Едва намеченная черным, маленькая холодная девка с поджатым ртом заглядывает в ее глаза, гадая судьбу на их стеклянной глазури. Важный, в измятом котелке, стоит в толпе нищий с большим детским глазом. Все смотрят на нее.

А она лежит такая, как будто это был полет, а не падение, и она не разбилась, а умерла от высоты. И кажется, что последний близкий человек только что повернул за угол — и скрылся...

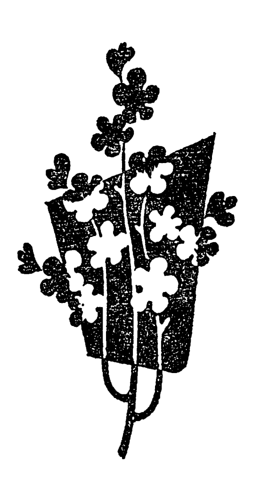
...Это могло удаться лишь тому, кто со всей свободой гениального дарования перешагнул через осторожность и скованность живописи, которая так отдалилась от людей. Смешение высокого строя с мелочами, обыденных подробностей с глубоким чувством времени — этому нельзя научиться ни у живых мастеров, ни у мертвых. Только зрение художника, смело опирающееся на то, что все другие считают случайным или банальным, могло решиться на такое возвращение к детской природе вещей. Наряду с бессознательной силой изображения здесь видны ум и память — страшная память, основанная, быть может, на ясных представлениях о том, что проходит перед глазами человека, летящего вниз с пятого этажа. Нужно было разбиться насмерть, чтобы написать эту вещь...

Цвета: светло-зеленый, черный, глубокий синий. Кое-где, очевидно с намерением, оставлен грунт. Фигуры выписаны отрывистыми мазками. Картон — что придает отпечаток некоторой деревянности в фактуре. Масло. 80 $\times$ 120. Художник неизвестен.

1931

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

РОМАН



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Все что угодно можно найти в Ветошном ряду — морские инструменты, которыми пользовался, может быть, сам Крузенштерн, лакированные шкатулки с потайными ящичками, продавленные цилиндры, сломанные будильники и очень много старинных фотографий, с которых глядят на вас мужчины в маленьких канотье и женщины в буфах и криполинах, улыбающиеся с кокетством, нимало не изменившимся с девяностых годов прошлого века. Встречаются и книги — иногда заслуживающие внимания, но главным образом разрозненный «Вестник иностранной литературы».

В картузе и переделанной форменной шинели стоит за прилавком старый букинист. Не только службу в сенате, но даже тайные склонности, забытые с восемнадцатого года, можно угадать по его лицу. Взгляд, которым он встречает покупателя, безразличен. Движение, которым он раскроет перед ним книгу, неторопливое, равнодушное. Все это, разумеется, одно притворство. Редко где умеют так взвесить со всех сторон человека, как в Ветошном ряду Ситного рынка.

Настоящих любителей старой книги в Ленинграде не так много. По самой манере, с которой такой человек погладит корешок, подержит в пальцах страницу, по нарочитой небрежности, с которой берется в руки редкое издание, букинист сейчас же оценит покупателя и решит, стоит ли начинать с ним особый, доверительный разговор.

Но о чем говорить? Откуда возьмется в этой лавочке редкая книга? Найдутся редкие книги, и есть о чем гово-

рить. Здесь торгуют одним товаром, а продают совсем другой.

Вот почему далеко не с каждым покупателем затевают такой разговор. Десять лет революции приучили к осторожности, и хотя не было (и нет) ничего преступного или запрещенного в торговле редкими изданиями и рукописями знаменитых людей, беседа, если в покупателе не угадают истинного коллекционера, не состоится, и он пройдет мимо того, что разыскивает, быть может, целые годы.

В апреле 1927 года в одну из таких лавок вошел и приостановился, ожидая вопроса, покупатель. Вопроса не последовало. Антиквар (в Ветошном ряду все называли себя антикварами), который в эту минуту завязывал в клеенку ценный товар, чтобы унести его домой на ночь, только мельком взглянул и молча продолжал свое дело.

Покупатель был в желтом кожаном пальто и мягкой шляпе, высокого роста, держался прямо, с выправкой почти военной. Лицо вежливое, холодные глаза, плоские, осторожные губы. Портфель держал под локтем, трость в той же руке.

— Мне сказали, что вы покупаете старинные рукописи.

Антиквар взял с прилавка очки, надел их и неторопливо оглядел вошедшего с головы до ног.

— А какие у вас рукописи?

Посетитель расстегнул портфель и достал небольшой, в четверть, листок голубоватой, просвечивающей бумаги. Листок был исписан короткими строчками, много раз перечеркнутыми, профиль в колпаке нарисован в разных местах среди начатых и брошенных вариантов.

Если верно, что в почерке, как в характере, есть неизменные привычки, которым человек повинуется инстинктивно и против которых сама воля бессильна,— по этому почерку можно было угадать такую свободу, законченность и простоту, которые были забыты уже во второй четверти прошлого столетия. Это был почерк энергически-сильный, лишенный снисходительности, полный смысла и в то же время интимный и небрежный, как разговор с самим собой или с близким другом,— почерк, который целая армия текстологов изучает вот уже около ста лет, сличая каждую букву, взвешивая каждое зачеркнутое слово и торжествуя, когда удается наконец прочесть то, что прочесть казалось невозможным. Словом, это был почерк, который заставил антиквара вспотеть от волнения и одно-

временно прикинуться таким равнодушным, что посетитель, нетерпеливо следивший за ним, с досадой поднял брови.

— Воспроизведено-с,— вздохнув, сказал антиквар, когда листок был рассмотрен со всех сторон и на свет и против света и наконец спокойно положен на прилавок.

— Воспроизведено, да только совсем не то,— возразил посетитель,— этот вариант никогда не был издан.

Хотя на ощупь никак нельзя было узнать, издан вариант или нет, антиквар снова взял листок и с минуту держал его в узловатых пальцах. Брови двигались, он думал.

— Нет-с, был издан,— сказал он,— это вариант известный.

Вместо ответа посетитель вынул из портфеля несколько книг и одну за другой раскрыл их на закладках.

— Сравните!

Но антиквар не стал сравнивать. Положив листок на ладонь, он взглянул на него со стороны.

— Его ли это рука?

— Его рука.

— Ой ли? — по-стариковски сказал антиквар.— А если нет? Знаете ли что, оставьте этот листок мне, я тут кое с кем посоветуюсь, а завтра зайдите.

— Нет, я не могу оставить.

Антиквар замолчал. Он с первого взгляда увидел, что и рука *его,* и вариант неизвестный.

— Сколько просите? — уже другим, деревянным голосом спросил он.

— Шестьсот рублей.

И они уставились друг на друга: старик — хмуро, изпод желтых, седых бровей, а Неворожин — холодно улыбаясь.

Новый покупатель вошел в лавку, пожилой, в обвислом пальто, с брезгливым, сероватым лицом. Очевидно, в этой лавке он был завсегдатаем, потому что антиквар выбежал к нему, старомодно кланяясь, и сейчас же стал показывать книги.

— Вот-с, Николай Дмитриевич, а у меня для вас новость: «Журнал для милых»...

Раздумывая, Неворожин прислушивался к разговору. Была минута, когда он уже сделал шаг к выходу, потом вернулся.

Без сомнения, он очень нуждался в деньгах, потому

что цена за этот листок — шестьсот рублей — была небольшая.

— Пожалуйста, кончите сначала со мной,— сказал он антиквару.

Тот подошел.

— Берите за пятьсот.

Листок, исписанный знаменитой рукой, лежал между ними. Только на одну секунду антиквар с жадностью взглянул на него из-под очков. «Мало спросил»,— подумал Неворожин.

— Не могу. Двести рублей — пожалуйста!

Машинально перелистав несколько страниц, второй посетитель вдруг закрыл книгу и тоже скосился на листок. Потом подошел поближе.

— Можно посмотреть?

— Нет, нельзя...— И Неворожин закрыл листок ладонью.— Четыреста,— одними губами сказал он антиквару.

Старик вынул бумажник. Со всей нерешительностью скупца, которому трудно расстаться с деньгами, как бы ни было выгодно дело, он долго мусолил пятерки и тройки, а второй посетитель все не отходил от прилавка, как будто стараясь сквозь ладонь рассмотреть рукопись знаменитого человека.

— Двести,— сосчитал наконец антиквар и бережно спрятал бумажник.

Ничего не ответив, Неворожин взял листок и стал открывать портфель. Должно быть, замок был неисправен, потому что портфель расстегнулся не сразу.

— Ну ладно, двести пятьдесят! Куда же вы?

Неворожин вышел из лавки и остановился в двух шагах. С минуту он раздумывал, жестко поджав губы, потом пошел и скрылся в толкучке, начинавшейся сразу за Ветошным рядом.

Антиквар хмуро смотрел ему вслед.

— Что он предлагал? — жадно спросил пожилой посетитель.

Бормоча что-то, старик переправлял деньги с прилавка в бумажник.

— Вы отобрали книги, Николай Дмитриевич? — сказал он, как бы не расслышав вопроса.— У меня из карикатур еще Лебедева есть один альбом и Щедровский. Если нужно, могу завтра же принести, они у меня на дому.

— Что он предлагал вам? Автограф? Чей?
— Пушкина,— нехотя пробормотал букинист.
— Какого Пушкина? Василия?
— Нет, Александра...

Он не успел окончить «Сергеевича», как старик повернулся и почти бегом вышел из лавки.

Он бы догнал Неворожина, обойдя Ветошный ряд вдоль каменного здания рынка. Но он пошел наперерез и сейчас же запутался среди ларьков, лотков и баб, продававших шипящую колбасу прямо с жаровен.

2

В тот самый вечер, когда в Ветошном ряду Ситного рынка торговали пушкинскую рукопись, студент второго курса Ленинградского университета Трубачевский поднимался по одной из лестниц огромного дома № 26/28 по Кировскому проспекту,— тогда он еще назывался улицей Красных зорь. Он не в первый раз был в этом доме, занимающем целый квартал, но долго бродил по маленьким дворам, прежде чем нашел подъезд, который был ему нужен.

На белой узкой дощечке он прочитал номер квартиры Бауэра, и во рту вдруг пересохло. Он поправил галстук и одернул пиджак, сшитый не без щегольства, хотя и сидевший на нем довольно плохо.

Трубачевский был худой и длинный юноша, лет двадцати, с журавлиными ногами, острым носом и хохолком на затылке. Его нескладность особенно проявлялась, когда он вдруг начинал рассеянно таращить глаза, думая, по-видимому, о том, что еще не приходило в голову никому на свете. У него были серые мечтательные глаза; вероятно, поэтому товарищи по курсу подозревали, что втайне он пишет стихи. Они ошибались — он писал прозу.

Едва поднял он руку, чтобы позвонить, как дверь распахнулась, кто-то вылетел на площадку и столкнулся с ним впопыхах. Минуту оба молчали, дверь оставалась открытой, какой-то высокого роста человек выглядывал на лестницу, за ним виднелись другие двери, в полутемную столовую, где только стол был ярко освещен под низким зеленым абажуром.

Потом Трубачевский растерянно посмотрел и увидел перед собой маленькую девушку в белом берете. Больше

он ничего не заметил, потому что девушка громко рассмеялась, он отскочил и ударился головой о стену. Она говорила что-то, но он совсем потерялся и ничего не слышал. Ей пришлось дважды повторить вопрос, пока он наконец разобрал.

— Вы к кому? К Сергею Ивановичу?

— Я к профессору Бауэру,— пробормотал Трубачевский.

— Папа, к тебе,— сказала девушка, обернувшись к высокому человеку, который стоял в дверях, довольно сердито поглядывая на эту сцену, только глаза как будто немного смеялись.

Потом она исчезла, и Трубачевский остался наедине с ее папой. Папа помолчал, потом, качнув головой, пригласил зайти.

— Экзаменоваться? — спросил он сурово.

— Нет,— ответил Трубачевский.

Он сунул руку в карман. Письма не было. Перепугавшись, стал обшаривать карманы, и письмо нашлось. Нетвердой рукой он протянул его Бауэру. Тот разорвал конверт и взглянул на подпись.

— Ну-с, зайдите,— сказал он и повел Трубачевского в кабинет. Посадил его на диван, а сам сел в откидывающееся шведское кресло по ту сторону огромного письменного стола.

Читая письмо, он качался нарочно, чтобы кресло скрипело. Почему-то это успокоило Трубачевского, и он стал исподтишка, хотя и с полным вниманием, разглядывать знаменитого человека.

Все-таки очень трудно было поверить, что это и есть тот самый Бауэр, историк, член Академии наук, который написал все свои толстые книги и портрет которого висел в университетской библиотеке.

Между тем у Бауэра была внешность именно знаменитого человека.

Он был такого роста, что и сидя казался очень высоким, хотя немного горбился по привычке, в которой сказывались долгие годы, проведенные в писании и чтении. Лицо суровое, залысый лоб, но глаза насмешливые и, если бы не усталость, совсем молодые.

Трубачевский сидел на краешке дивана, робко поджав ноги, и смотрел на Бауэра, как дети на фокусника, которому ничего не стоит бросить в шляпу носовой платок и вытащить живого зайца.

Он шел сюда, подозревая чудеса. Все заранее казалось ему необыкновенным.

Бауэр положил письмо на стол.

— Вот вы какой... отчаянный,— сказал он серьезно,— наукой хотите заниматься, да еще какой. Историей. А почему не математикой? Займитесь-ка лучше математикой, с них все-таки меньше спрашивают, чем с нас, грешных.

— Нет, я твердо решил посвятить себя истории,— надувшись сказал Трубачевский.

— Твердо? — повторил Бауэр.— Ну, коли твердо, что же с вами поделаешь!.. А ведь такого как будто и факультета нет. Вот Александр Петрович пишет, что вы студент и у него занимаетесь. А где же вы у него занимаетесь?

— Я в университете, на отделении истории материальной культуры.

— Так. Стало быть, история. Ну, а знаете ли вы, что это значит — заниматься историей? Вы, должно быть, думаете, что это значит — выписки делать, а потом собственные сочинения писать. Про Шлецера слышали?

— Шлецер — знаменитый историк, родился в тысяча семьсот тридцать пятом году, умер... умер...— пробормотал Трубачевский.

Бауэр сердито взглянул на него.

— Ну да, он родился,— утвердительно объявил он,— и впоследствии действительно умер. Сколько вам лет?

— Двадцать... то есть скоро двадцать.

— Немало,— сказал Бауэр,— немало... Заниматься историей,— повторил он сурово,— это значит решиться на особенную жизнь, весьма нелегкую в любое время, а тем более в наше. Если вы, принимая подобное решение, думаете главным образом о себе — лучше не беритесь, потому что напрасно потеряете время. Славы это вам особой не принесет, а удовольствие вы будете находить разве только в самих ваших занятиях. Что же касается занятий, так состоять они будут не только в чтении книг или там документов. Состоять они будут...

Он замолчал и стал задумчиво гладить усы, висячие, с проседью. Прошла минута, другая.

— Исторические законы...— подождав еще немного, сдавленным голосом сказал Трубачевский.

Бауэр сердито поднял брови.

— Вот вы какой, видите, уж и законы...— сказал он ворчливо.— Стихи пишете?

— Н-нет,— промямлил Трубачевский.

— Напрасно. Вам бы стихи писать, вы, как видно, юноша с воображением. Или по меньшей мере критикой новейшей литературы заниматься. А история — это дело серьезное, это не какое-нибудь там тру-ля-ля.

— Нет, я твердо решил... Именно историей,— еще раз заявил Трубачевский и покраснел, даже вспотел от волнения.

Бауэр засмеялся — одними глазами,— и вдруг стал похож на старого доброго еврея.

— Ну ладно, ладно,— с удовольствием сказал он,— решили так решили. Не мне, дорогой мой, отговаривать вас от этого решения. Я и сам примерно в ваши годы засел в архивы да в библиотеки — и не жалею. Что же, видно, уж такая у нас с вами судьба. Только позвольте мне надеяться, что и вы никогда об этом решении не пожалеете.

Он снова взял со стола письмо.

— Александр Петрович пишет, что вы у него в семинарии хороший реферат о Бестужеве-Рюмине прочитали. Ну-с, если вы преимущественнс этой эпохой интересуетесь,— кажется, могу быть вам полезен. А что касается платной работы...

Он пожал плечами.

— Уж не знаю, как быть. Не думаю, что могли бы вы справиться с этим делом. Пройдемте-ка вот сюда.

Он встал и открыл дверь в соседнюю комнату. Трубачевский прошел первым и приостановился. Бауэр ласково подтолкнул его в спину.

— Это мой архив,— сказал он, как говорят о детях.

Комната была небольшая, но светлая, с двумя окнами, выходящими па улицу Красных зорь. Высокая стеклянная дверь вела на балкон. Мебели почти не было, только несколько узеньких, наглухо закрытых бюро стояли вдоль стены да в углу перед диваном помещался круглый стол на трех золоченых грифах, и на нем лежали в беспорядке журналы, книги.

Несколько рисунков пером, очень хороших, висели на стенах между бюро, и над диваном — карикатура: еще молодой, тощий Бауэр в ермолке, с висячими унылыми усами, сердито запахивал халат.

Трубачевский огляделся с разочарованием. Чудес не было. Пожалуй, можно было подумать, что в этой комнате первая попавшаяся на глаза книга читалась чаще, чем пыльные архивные документы.

Бауэр подошел к одному бюро, откинул доску, заглянул в ящик.

— Как вас зовут? — спросил он, доставая из ящика папку.

— Коля.

— Значит, Николай. А по отчеству?

— Николай Леонтьевич,— с неожиданной важностью отвечал Трубачевский.

Бауэр улыбнулся.

— Садитесь-ка вот сюда,— сказал он и посадил его за стол перед диваном, а сам встал рядом и развязал папку.— Это, изволите видеть, бумаги декабриста Охотникова. Слыхали?

— Да, из Союза благоденствия, он в двадцать третьем году умер,— робко сказал Трубачевский и опять покраснел.

Но Бауэру даже как будто нравилось, что он ежеминутно краснеет.

— Да, в двадцать третьем году; но при каких обстоятельствах! Мало оснований предполагать, что он умер естественной смертью. Дело в том, что он предупрежден был об аресте. Ну-с, а времени, чтобы сжечь бумаги, оставалось мало. Вот он тогда взял да и умер. Но прежде чем умереть, все скрепы в своих бумагах разорвал, а листы перепутал.

И Бауэр положил на папку большую белую руку.

— Это, надо сказать, удалось ему проделать с необыкновенной основательностью. Бумаги были перемешаны так, что даже такой первоклассный следователь, как Николай Первый, разобраться в них не сумел. Так они и были запечатаны,— он показал Трубачевскому следы разломанных сургучных печатей,— и пролежали в таком виде до самой революции, а после революции попали в Пушкинский дом. Да. Ну, не один человек ломал себе голову над этим делом! Покойный Жигалев долго не отставал, нет-нет да сунет нос, сидит и листает. Однажды объявил даже, что разобрал, и предложил издать, но на поверку оказалось, что ничего не разобрал, об издании и речи быть не может. Очень уж заманчиво было... Ну-с, а теперь, как видите, и я принялся за эту затею. С обязательством прочитать архив в два года взял на дом и тоже вот в свободное время сижу и листаю. Задача тут, изволите видеть, оказалась двойная: сперва нужно понять тот порядок, в котором историки, работающие над архивом,

перекладывали бумаги, то есть, иными словами, вернуть архив в тот самый вид, в котором он был после смерти Охотникова запечатан. Ну-с, а уж потом надо поискать тот порядок, в котором перемешал свои бумаги и сам Охотников. Правда, все эти порядки так между собой перепутались, что иной раз и не разберешь, что к чему. Но все же... но все же,— повторил Бауэр с удовольствием,— кое-что удалось. Некоторые первостепенной важности документы уже подобраны, а часть переписки даже уже и к печати готова.

Он вернулся к бюро и достал еще одну папку, на которой по голубой бумаге было написано крупно «Переписка» и внизу — даты.

— Вот об этом деле я и говорил с Александром Петровичем. Только я его просил толкового человека прислать. А про вас и не знаю, какой вы — толковый или нет?

Он замолчал, ожидая ответа, потом спохватился.

— То есть я хочу сказать, сможете ли вы помочь мне в такой работе? Правда, законов вы тут никаких не откроете, но обращаться с историческими документами научитесь. А это не мало. Это, изволите видеть, такая вещь, без которой лучше и не браться за исторические занятия.

— Я согласен,— упавшим голосом сказал Трубачевский и испуганно уставился на него.

И Бауэр тоже уставился, очень внимательно и серьезно, как будто увидел его впервые.

— Так. Ну, а терпения хватит?

— Думаю, что хватит,— напряженно улыбаясь, пробормотал Трубачевский.

Они помолчали немного. Бауэр все не сводил с него внимательного, взвешивающего взгляда.

— Ну что же, попробуем,— сказал он наконец и, зайдя на минуту в кабинет, вернулся с ключом в руке.— Да, вот насчет платы забыл. Сорок рублей. Как это вас? Устроит?

Трубачевский хотел сказать, что устроит, но в горле у него пискнуло, и он только кивнул головой.

— А приходить лучше каждый день,— продолжал Бауэр.— Можете или как? У вас там, наверно, лекции читают?

— Если с утра, я могу каждый день приходить.

— Именно с утра. А теперь вот вам ключ.

Он открыл этим ключом вторую дверь и показал, куда она ведет.

— В коридор. А налево прихожая. А направо кухня.

Потом отдал ключ Трубачевскому, они вернулись в кабинет, и наступила неопределенная минута, когда неизвестно, кончен уже разговор или нет.

— А Александру Петровичу кланяйтесь,— сказал Бауэр, и Трубачевский понял, что разговор окончен. Он торопливо попрощался и, как будто спасаясь, ринулся к двери.— Постойте, я вас провожу,— усмехнувшись, сказал вслед ему Бауэр.

Они вышли из кабинета в столовую.

Какой-то человек пил чай за столом. Только стол был ярко освещен, в комнате полутемно, и, должно быть, поэтому лицо его было отчетливо обведено линиями света и тени. Ничего необыкновенного не было в этом лице, но Трубачевский, который все еще подозревал чудеса, почувствовал, что ожидания его начинают как будто сбываться.

В самом деле, лицо было сложное, обдуманное, как это бывает у людей, не согласившихся со своей внешностью и переделавших ее по-своему. Небольшой лоб казался большим благодаря тому, что белокурые, почти льняные волосы плотно зачесаны наверх. Короткие, едва заметные баки подстрижены углом, как в старину. Глаза смотрели холодно. В манере, с которой он поднял их, когда вошли Бауэр и Трубачевский, видно отличное умение владеть собой.

Он был хорошо одет — в светлом сером костюме, в вязаном заграничном жилете. Должно быть, ему было лет тридцать пять или немного больше.

Бауэр насупился, увидев его, и, проходя мимо, кивнул головой. Он в ответ поклонился очень почтительно, но свободно.

Тогда с какой-то неохотой Бауэр познакомил их. Трубачевский чуть слышно назвал свою фамилию, а тот отчетливо сказал:

— Неворожин,— и крепко пожал руку.

3

Перебирая в памяти свое посещение минуту за минутой, слово за словом, изучая ключ, который получил он от Бауэра, как будто этот ключ и был ключом к перепутанным бумагам декабриста Охотникова, вспоминая о Шлецере, краснея, утешаясь тем, что любой студент вел

бы себя точно так же на его месте, и еще пуще краснея, потому что кто-кто, а уж Карташихин, наверно, держал бы себя иначе, Трубачевский пролетел до самой мечети и только тут вспомнил, что собирался от Бауэра зайти к Карташихину, который жил в том же доме 26/28 по улице Красных зорь, только вход к нему был с угла Кронверкской и Пушкарской. Он ругнул себя и зашагал назад.

Трубачевский обогнал на лестнице какого-то гражданина и три раза успел позвонить, пока тот поднимался. Все не открывали. Он ждал, опершись на перила и рассеянно вытаращив глаза,— дурная привычка! Гражданин, которого он обогнал, подошел и хотел, кажется, что-то сказать, но раздумал.

— Матвей Ионыч, это вы? — сказал Трубачевский.— А я вас не узнал. Ванька дома?

Ничего не ответив, Матвей Ионыч открыл дверь. Они вошли, и Трубачевский мигом обежал всю квартиру.

— Никого! — объявил он, вернувшись.— Матвей Ионыч, поздравьте меня, я стал человеком свободной профессии. Каждый день буду ходить — угадайте, к кому?

Матвей Ионыч достал коробку с табаком и трубку.

— К профессору Бауэру! — заорал Трубачевский.— А вы знаете, кто такой Бауэр?

Матвей Ионыч немного сдвинул свои страшные, мохнатые брови, как будто стараясь вспомнить, кто такой Бауэр, но опять ничего не сказал. Он говорил редко и только в самых важных случаях, которых у него в жизни было немного. Так, на чествовании одного старейшего монтажника, получившего звание Героя Труда, он вдруг встал с рюмкой в руке и сказал громко: «Дорогой Петр Петрович...» И когда все оцепенели от изумления, только крикнул «ура» и сел па свое место.

Кто знает, был ли он так молчалив от природы или привычка к одиночеству — Матвей Ионыч четверть века провел на маяках — развила в нем эту черту с необыкновенной силой. Комната его, похожая на маячную башню, отличалась суровой чистотой; трудно было предположить, что в ней живет заядлый курильщик. Он и сам был чем-то похож на маяк: вокруг него всегда мерещилось неопределенное, но обширное пространство, по которому гуляет ветер и ходят волны. Маячные огни в годы его службы, делились на постоянный, постоянный с проблесками и проблесковый, и можно смело сказать, что эти различия вполне исчерпывали все особенности характера Матвея Ионы-

ча. Почти всегда он светился равномерным, спокойным, постоянным светом. Случалось, что свет этот прерывался проблесками — это значило, что Матвей Ионыч сердится или огорчен. Но когда постоянный свет через правильные промежутки заменялся полной темнотой, нетрудно было догадаться, что в жизни старшего мастера происходят чрезвычайные и весьма неприятные события. К счастью, проблесковый огонь зажигался редко.

По утрам он вставал в пять часов — примерно в то время, когда пора было гасить маяк,— и, раздевшись догола, обливался из шланга, который с большим искусством приладил к водопроводу. Зимой и летом он носил бушлат — и был в нем так страшен, что няньки пугали им детей, когда с трубкой, о которой он забывал только во время сна и еды, шагал по улице, горбясь, переваливаясь и оставляя за собой струйку дыма.

Между тем именно к детям он чувствовал особенную нежность. Он мог часами сидеть где-нибудь в саду и смотреть на детей. С детьми даже разговаривал иногда и вообще относился к ним с большим уважением...

— Дорогой мой, так нельзя, страна должна знать своих ученых,— сказал Трубачевский и хотел сесть на кровать, но Матвей Ионыч мигом подставил стул, на кровать он никому не позволял садиться.— Бауэр — это член Академии наук, и я буду ходить к нему каждый день. Мы будем вместе бумаги разбирать... Знаете чьи?

Матвей Ионыч открыл было рот, но, заметив, что Трубачевский уставился на него с удивлением, снова закрыл и вдруг выпустил огромный шар дыма.

— Бумаги Охотникова, черт возьми, их какие-то архивные крысы перепутали, и мы теперь будем раскладывать по порядку. Впрочем, сам Охотников тоже напутал. Когда арестовывали. Понимаете?

— Угу,— сказал наконец Матвей Ионыч.

— Ну да? — сейчас же недоверчиво возразил Трубачевский.— Да ведь вы же не знаете, Матвей Ионыч, что за человек был Охотников. Это был декабрист! — снова заорал он и взволнованно пробежался по комнате.— Мы его разложим по порядку и все объясним, потому что о нем никто еще толком ничего не знает.

Кажется, такое суровое отношение к историческому лицу немного удивило Матвея Ионыча.

— Нет, это невозможно, что вы ничего не знаете о декабристах,— сказал Трубачевский,— я вижу, что мне при-

дется взять на себя заботу о вашем образовании, Матвей Ионыч. Мы начнем...— Он задумался.— Ну, хотя бы с чьих-нибудь мемуаров. Будете читать?

— Угу,— пробормотал Матвей Ионыч.

— Вы будете работать под моим руководством,— с важностью продолжал Трубачевский и вдруг, передразнивая Бауэра, сурово повел головой, прошелся, заложив руки за спину, и в самом деле удивительно стал похож на него.— Правда, славы это вам особенной не принесет,— сказал он,— а удовольствие вы будете находить разве только в самих ваших занятиях. Но все же...— И постарался улыбнуться, как Бауэр, одними глазами.— Но все же...

Схватив из рук Матвея Ионыча трубку, он затянулся, поскорее выпустил дым, еще раз затянулся, потом отдал трубку и побежал в комнату Карташихина.

— Я ему записку оставлю!

Матвей Ионыч посмотрел вслед и улыбнулся. Должно быть, это редко случалось с ним, потому что лицо его съежилось в самых неожиданных местах — на висках и где-то под ушами. Двух зубов на нижней челюсти при этом случае не оказалось, и стало ясно, куда Матвей Ионыч вставляет свою трубку. Он вставил ее, и лицо сейчас же пришло в порядок, виски стали висками, уши — ушами.

Портрет отца висел над письменным столом в комнате Карташихина — полное лицо с крупными оспинами, с рассеянными и беспощадными глазами. Стол был завален книгами. Трубачевский открыл одну и перелистал. Это была «Биология войны», перевод с немецкого. Бросил и на свободном от книг краешке стола принялся писать записку.

«Где ты шляешься, уважаемый биолог войны?» — написал он и долго сидел задумавшись, обводя второй раз некоторые буквы, поправляя петли у «в», кружочки у «о» и «б». Потом написал быстро: «Можешь меня поздравить, я был у Бауэра, и он взял меня в секретари. Сорок целковых в месяц плюс хорошенькая дочка...»

Трубачевский бросил перо и потянулся, вспомнив, как он столкнулся с ней в дверях, как берет сбился набок и маленькое ухо выглянуло из-под волос.

«Что касается самого старика,— писал он дальше,— он с первого слова так меня огорошил, что я чуть не сыграл в ящик, как говорит уважаемый Матвей Ионыч, который тебе...»

— Матвей Ионыч, вы кланяетесь? — крикнул он и постучал в стену.

— Кому? — донеслось из соседней комнаты, и вдруг оказалось, что Матвей Ионыч говорит по-ярославски, на «о».

— Ваньке.

— Кланяюсь,— сказал Матвей Ионыч.

«...кланяется...— написал Трубачевский.

— А как вы кланяетесь, низко?

Матвей Ионыч посопел трубкой — что «да, низко». Подобно Паганини, который, играя на одной струне, сговорился с дочкой тюремщика о побеге, Матвей Ионыч при помощи своей трубки выражал и чувства, и мысли.

«...Низко,— написал Трубачевский.— Я рассказал ему о своих делах, и он обнаружил полное невежество по части истории декабристов. Так что придется нам с тобой взять на себя заботу о его воспитании. Ну, прощай, иду спать».

Он прикрепил записку к настольной лампе, погасил свет и с минуту постоял у окна, выходившего на серый каменный двор с маленьким садиком посредине. Мужчина и женщина шли по панели, стук их шагов раздавался ясно, как в пустом каменном здании.

— А на третье — мороженое! — услышал Трубачевский... и вдруг вспомнил того белобрысого, в сером костюме, который пил чай у Бауэра в столовой.

Как его, Неворожин? Почему Бауэр насупился, увидев его, а потом познакомил их так неохотно?

Автомобиль, сверкая лакированными крыльями, выехал из-под арки и свернул на Пушкарскую. Сторож-татарин захлопнул за ним ворота и лениво пошел назад. Потом знакомая плотная фигура в юнгштурмовке и кепке показалась в воротах, и Трубачевский, который уже собирался закрыть окно, лег животом на подоконник и крикнул:

— Ваня!

Карташихин поднял голову.

4

Матвей Ионыч уже давно спал, а они все еще говорили. Трубачевский сидел у стола и рисовал рожи. Карташихин лежал, закинув ноги на спинку кровати. Оба ку-

рили и уже успели так надымить, что лампа стояла в голубом светящемся круге. На дворе было тепло и тихо, дым не успевал уходить.

Трубачевский рассказал о Бауэре. Сорок целковых в месяц были взвешены и распределены — как будто они уже лежали в кармане.

— Позволь, а какая же дочка? — спросил Карташихин.— Машка?

— Не знаю. Хорошенькая.

— Ничего хорошенького... Толстая. Я ее знаю.

— Разве толстая? — с огорчением спросил Трубачевский.

Карташихин засмеялся.

— Мы с ней однажды подрались. Я изводил ее солнечными зайчиками, и она подговорила всех девочек на дворе объявить мне бойкот. Тогда она слегка смахивала на тумбу. Впрочем, это было давно. Значит, сорок целковых? Тебе везет. Это полторы стипендии.

— На стипендию у меня все равно никакой надежды. У нас на весь факультет каких-нибудь двадцать стипендий.

И Трубачевский стал ругать факультет. Математики занимаются математикой, физики — физикой, а мы только и делаем, что переезжаем. Даже восточники, которых всего десять студентов на двенадцать профессоров, сидят на своем месте, в маленьких аудиториях на третьем этаже, а у нас одна лекция читается где-нибудь на бывших Женских курсах, другая — в географическом кабинете.

— На днях сидим мы в одиннадцатой аудитории и ждем Гагина по общему языковедению. Вдруг — здравствуйте! — влетает Богданов и начинает читать свою этнографию. Да так быстро, что мы и опомниться не успели, как он уже половину лекции отхватил.

— А Гагин?

— Он со сторожами искал нас по всему университету... Нет, хвастать нечем! Кроме разве фотографа,— добавил он, рассмеявшись.— Фотограф — это, кажется, единственный человек, который всерьез интересуется нашими делами.

И он рассказал про фотографа: старая обезьяна в очках с огромным аппаратом. Повсюду он таскает за собой «лес», так что и на бывших Женских курсах студент может сниматься в «лесу», и везде развешивает плакат: «Профессорам скидка».

— Нет, ты хорошо делаешь, что подаешь на естественный. Там все по-другому.

— Да я еще никуда не подаю,— задумчиво сказал Карташихин.— Вот на Днепре собираются электрическую станцию строить. Возьму и поеду.

— Иди ты знаешь куда? — сказал Трубачевский.

Он нашел среди книг старый номер «Огонька» и теперь приделывал ко всем портретам усы и бородки. Один из снимков заинтересовал его: беленькая девушка в военной форме смеялась, подняв над головой ружье. Это была Вера Григорьева, выбившая четыреста очков из четырехсот возможных.

— Посмотри, хорошенькая.

Карташихин взглянул.

— Ничего особенного. Рыба.

— Врешь. И потом — четыреста из четырехсот! Рыбе не выбить.

Карташихин смотрел на портрет отца. Дым стоял перед ним голубой, освещенный снизу, и лицо казалось мягче, теплее. Матвей Ионыч рассказывал, что отец попадал в подброшенную монету.

— А мне нравится, когда женщины в военной форме,— сказал Трубачевский и покраснел,— или даже не в военной. Вожатые, телеграфистки. Я как-то из-за одной вожатой в гавань укатил. Засмотрелся.

И он вырезал Веру Григорьеву и написал на обороте: «Заслуженному профессору Медицинского института Ивану Всеволодовичу Карташихину от его единственной слушательницы».

Шел уже третий час, когда, наговорившись вдоволь, они вздумали отправиться гулять на Неву. Спать не хотелось. Карташихин взял ключ, набил папиросами карманы, и, на цыпочках пройдя мимо комнаты Матвея Ионыча, они спустились во двор. Ворота были закрыты.

— Давай сюда,— сказал Карташихин и легко перепрыгнул невысокий деревянный заборчик, отделявший двор от садика перед левым корпусом дома.

Они свернули по Пушкарской направо и вышли на улицу Красных зорь.

Она была пустая и тихая, сначала одна, а потом другая проехали пролетки, и еще долго слышен был мягкий стук копыт о торцы. Небо было темное, но такое просторное, большое! Лампочки покачивались на проводах, окру-

женные туманным голубоватым сиянием, как бывает только весной и только в Ленинграде.

Ночь ли была такая, но у обоих стало хорошо на душе, и они долго шли и молчали. Только раз Трубачевский сказал с нежностью:

— Хорошо! — И Карташихин кивнул головой.

Легкий ветер подул с Невы, оба приостановились разом и вздохнули полной грудью. Темная мечеть встала за голыми черными деревьями парка. Минареты были уже видны, начинало светать.

— А я бы не пошел,— сказал вдруг Карташихин.

— Куда?

— Да вот так, в секретари. А насчет Машки ты просто скотина. Увидел юбку — и пишешь плюс. А это минус.

— Почему минус?

И они заговорили о женщинах. Трубачевский утверждал, что так называемая любовь — не что иное, как инстинкт продолжения рода. Ни одно живое существо не тратит на эту музыку столько времени и энергии, как человек. Существуют, например, особи, которые всю жизнь занимаются ею и думают, что на белом свете нет ничего интереснее и важнее. Между тем любовь должна отнимать вдвое меньше времени, чем еда. Если мужская особь захочет написать женской любовное письмо или без серьезного повода позвонить к ней по телефону, следует немедленно обратиться в ближайшую амбулаторию. Пора наконец отменить это наследство средневековья.

— Словом, без черемухи,— с иронией сказал Карташихин.— А давно ли ты приставал ко мне со своим Сергеем Есениным?

— Позволь, при чем тут Есенин? — начал было Трубачевский и, замолчав, оглянулся.

На углу улицы Деревенской бедноты стоял автомобиль, пьяные голоса донеслись до студентов.

Потом дверца щелкнула, распахнулась, женщина мягко соскочила со ступеньки и пошла вдоль сквера к мечети.

— Варенька, вернитесь, мы больше не будем! — крикнули из автомобиля.

Ничего не отвечая, она быстро шла по панели, потом вдруг свернула на боковую дорожку.

— Варенька! — крикнули еще раз.

Она приостановилась, даже обернулась, и студенты, ко-

торые в эту минуту с другой стороны подходили к дорожке, услышали, как она начала что-то говорить и всхлипнула.

— О черт, что такое?..— пробормотал Трубачевский.

Один из сидевших в автомобиле выскочил, побежал за ней и догнал, когда она уже пересекала сквер.

— Варенька, честное слово, нехорошо, мы без вас не поедем!

Он хотел обнять ее за плечи, она оттолкнула его. Боа висело на одном плече, он бережно накинул его на другое.

— Вы все бездушные и негодяи, и я не хочу вас слушать, не хочу,— сказала она, с трудом удерживаясь, чтобы не заплакать.

— Варенька, не нужно, а то и я заплачу. Ну, хотите, я его убью? — сказал мужчина и, качнувшись, взял ее за руку.

— Нет, оставьте меня, я ничего не хочу, уйдите!

Студенты остановились в двух шагах от них, за поворотом дорожки.

Карташихин хотел пройти, Трубачевский удержал его. Было еще темно, но они стояли так близко, что хотя и не очень отчетливо, но видны были даже лица.

— Ну хорошо, вы не поедете. А я? Я останусь с вами,— сказал мужчина. Он сел на скамейку и потянул ее за рукав.— Варенька, а потом мосты разведут. Я не могу вас здесь одну оставить.

— Вы мне дерзостей наговорили.

— О черт! — снова пробормотал Трубачевский.

С некоторым трудом мужчина встал со скамейки.

— Ну, Варенька, полно,— пьяным и грустным голосом сказал он.— Ну, простите. И поедем.

Он взял ее за руку. Сопротивляясь, она сделала несколько шагов за ним.

Трубачевский запыхтел и вылетел из-за поворота.

— Черт возьми, она не хочет! Что вы к ней пристаете?

Не очень удивившись, мужчина посмотрел на него, потом придвинулся поближе. Лицо было бледное и потное, но красивое, шляпа откинута со лба.

— Ну вот, видите...— От него пахло вином, и он говорил, как будто не замечая Трубачевского.— Ну вот, видите, Варенька, я же говорил. Ну, пойдемте!

— Оставьте ее в покое! — вдруг бешено крикнул Трубачевский, обидевшись теперь уже не за женщину, а за

то, что этот субъект продолжал говорить с ней, не обращая на него никакого внимания.

— Ого,— протянул мужчина и засмеялся.— Ого! Варенька, еще раз — едете?

Трубачевский взглянул на нее. Она стояла, придерживая у подбородка боа, как будто раздумывая, и смотрела на него с любопытством.

— Нет, Дмитрий Сергеевич, я не пойду,— повторила она серьезно.— Вы напрасно беспокоитесь, со мной ничего не случится.

С пьяной иронией, но вежливо мужчина отвесил ей поклон.

— Ну, как угодно,— разводя руками, сказал он.— Застегните по меньшей мере пальто, вы простудитесь.

Вернувшись на панель, он крикнул что-то, и ему ответили из автомобиля, как в лесу:

— Ау!

Потом все стихло, и Трубачевский остался подле Вареньки, не зная, что нужно говорить в таких случаях и, главное, что делать. Она смотрела на него внимательно, серьезно и тоже молчала. Заложив руки в карманы пальто, Карташихин наблюдал за ними с таким насмешливо-равнодушным видом, как будто подобные происшествия случались с ним ежедневно.

Автомобиль обогнул сквер, и фары вдруг выхватили из темноты куски деревьев в парке, газетную будку и где-то далеко маленьких черных людей, переходивших дорогу.

Потом он завыл, уже въезжая на мост, и снова стало темно и тихо.

— Уехали.

— Уехали,— повторил Трубачевский.

— Ну и пускай. Я пешком дойду. А может быть, еще трамваи ходят?

— Скоро пойдут,— мрачно пробормотал Карташихин.

Она посмотрела на него с опаской.

— А вы меня не ограбите? Вы не бандиты?

— Я студент,— сказал Трубачевский,— а это мой товарищ Карташихин.

— Бывают и студенты бандиты.

Она засмеялась, вынула из сумочки платок и вытерла глаза. Одна слезинка еще задержалась в ямке около носа, она смахнула ее и сразу повеселела. Трубачевский смотрел на нее во все глаза — и недаром: она была такая большая

и красивая, с высокой грудью, прямая, что впору было заглядеться и не только Трубачевскому в его девятнадцать лет.

На ней было коротенькое, до колен, пальто с одной большой пуговицей и смешными раструбами на рукавах и шляпа с маленькими полями, изогнутая, чтобы закрыть виски. Большой, развившийся от сырости локон из-под шляпы опускался на лоб, она держала боа за хвост и смотрела на Трубачевского, улыбаясь. Смотрела не только глазами, а всем лицом и прямо в его лицо — так смело и просто, что Трубачевскому как-то и весело, и немного страшно стало.

— Ну, пошли?

Они миновали сквер, и весь мост открылся, длинный, горбатый, с двумя рядами фонарей, стоявших по сторонам, как огромные матовые канделябры.

Огни шевелились и плыли в темной серой воде. Так тихо было, что Карташихин, который шел немного поодаль, не слушая, о чем болтал Трубачевский, услышал плеск воды о камни. Как будто это уже было когда-то: вот так же он поднимался на мост, и огни в воде, и утро, и стены крепости как бы в дыму, и этот плеск, равномерный, сонный. Он позавидовал товарищу, который так смело говорил с незнакомой красивой женщиной, но сейчас же заглушил это чувство и начал размышлять холодно, ясно. Почему ему кажется, что все это уже было когда-то? Кажется, это называется явлением ложной памяти? Где он читал об этом? Ага, у Сеченова в «Рефлексах головного мозга». Гм, было когда-то. Но ведь не могло же все это быть точно таким же: и плеск, и огни, и крепость?

«Не когда-то, а только что, секунду назад,— подумал он и даже приостановился, такой верной показалась мысль.— Секунду назад, но при другом состоянии сознания. Что он за чушь несет?» — подумал он о Трубачевском.

С той же мыслью Трубачевский замолчал в эту минуту и взглянул на женщину, которая, размахивая сумочкой и откинув воротник пальто, шла рядом с ним. От нее пахло духами и немного вином, она внимательно слушала его, но, должно быть, скучала.

— Я вас боюсь,— не то с иронией, не то серьезно сказала она, когда он приостановился.— Такой молодой — и уже такой умный.

Вдруг осмелев, Трубачевский взял ее под локоть.

— Ого! — сказала она тихо и совсем как тот, с которым она ссорилась подле мечети.— Ого!

Она переложила сумочку, и Трубачевский почувствовал через широкий рукав пальто упругую, обтянутую шелком руку.

— А вот и извозчик.

Извозчик стоял неподалеку от Гения победы, то есть там, где никогда не стоят извозчики и где им даже запрещено стоять. Он спал, и лошадь тоже спала, но оба, услышав крик, открыли глаза.

— Извозчик, на Спасскую! Ну, до свидания, спасибо,— сказала она сердечно.— Мы еще встретимся, непременно, непременно.

Трубачевский с восторгом пожал ей руку. Она улыбнулась.

— А вы, должно быть, сердитесь на меня,— сказала она Карташихину так же сердечно, просто.— Ну, простите. И еще раз спасибо. Без вас я просто не знала бы, что делать.

Она запахнула пальто, села в пролетку, махнула рукой на прощанье, и длинный смешной раструб на рукаве закачался, как будто закивал головой.

Студенты повернули назад.

Было уже почти светло, и трамваи гулко звенели в улицах, еще пустых и сонных. Мост кончился, они свернули у памятника «Стерегущему» и пошли наперерез, парком Народного дома. Они шли молча, еще не очнувшись от этой встречи и перебирая: Карташихин — все, что не сказал, Трубачевский — все, что говорил и что она ему отвечала.

Сердитый старый инвалид в шубе, с железным прутиком в руке встретился им, они спросили, нет ли спичек, угостили его и закурили сами.

— Черт, какая женщина! — отчаянно затянувшись, сказал Трубачевский.

Карташихин шел, засунув руки в карман. Он был мрачен.

— Ничего особенного,— пробормотал он.

И вспомнил, как она стояла на дорожке, боа висело через плечо, как она всхлипнула и смотрела, не вытирая слез.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Врачи говорят, что возраст — это относительное понятие, что сердце может быть пятнадцати лет, а голова — двадцати пяти. Таков и был Трубачевский.

Он сам не знал, откуда взялась у него страсть к чтению. Мать его, женщина добрая, но упрямая, скрипачка, ученица Ауэра, с успехом выступавшая в свое время на концертных сценах, развелась с мужем и умерла где-то в Наугейме, когда Трубачевскому не минуло еще и десяти лет.

Отец был человеком аккуратным, расчетливым и необычайно унылым. Оркестровый музыкант, всю жизнь просидевший на одном месте — второй кларнет,— он с детства был одержим идеей порядка. Все происходившее в мире делилось в его глазах на две категории — порядка и беспорядка. Революция — это был беспорядок. Очереди, шум — беспорядок. Порядок был только в музыке, и то далеко не во всякой. Бетховен, Моцарт — это еще и был порядок. А дальше...— И он уныло махал рукой.

В сущности, это был тихий и нетребовательный человек. Но сознание, что во всем мире такой беспорядок, угнетало его. К старости он стал невозможен.

Наперекор всему, он пытался навести порядок в собственном доме. День должен был делиться на определенные отрезки времени, каждый из которых в точности повторял соответствующий отрезок предыдущего дня. Вещи (в частности, мебель) должны были занимать раз и навсегда отведенное им пространство. Ничего не получалось. Жена вставала с постели в два часа дня и каждый месяц переставляла мебель. Сын, на которого он очень рассчитывал, относился к удобствам жизни с необъяснимым презрением, читал лежа и вообще торопился. Куда, зачем? И почтенный кларнетист скорбно поднимал брови.

Кроме путеводителей по городу да календарей, он не держал в доме никаких книг, и Трубачевский со второго класса набросился на школьную библиотеку. В течение двух-трех лет он прочитал ее всю, начиная с Густава Эмара и кончая серьезными трудами по русской истории. Увлечение это пришло так рано, все было еще так шатко в нем, что книжная жизнь, у которой свои пристрастия и законы, разумеется, в сильной степени на него повлияла.

Он стал общителен, беспорядочен, пылок. В нем появились восторженность, приподнятость, склонность к преувеличениям. Он мог решиться на отчаянный шаг ради того, что другому показалось бы просто вздором.

Карташихин любил его, но относился как к младшему, хотя Трубачевский был старше на полтора года.

И Трубачевский молчаливо признавал это превосходство.

Он многое знал к тому времени, когда студентом второго курса явился к Бауэру и стал работать под его руководством, но познания эти были разбросаны, лишены ясности и исторической перспективы. Мысль его шла кружным путем. Он все понимал, но очень сложно, гораздо сложнее, чем это было на самом деле.

Он не задумывался над собой — и был в этом отношении полной противоположностью своему другу. Воображение, помогавшее Карташихину, мешало Трубачевскому, потому что это было не знавшее удержу воображение. Ему ничего не стоило вообразить себя командиром любой армии, политическим деятелем любого значения. Он произносил речи перед всеми большими сражениями и руководил всеми революционными заговорами, начиная с декабристов, которыми особенно увлекался.

Он был в большей мере поэтом, чем исследователем,— черта, которая едва ли могла помочь в том деле, которому с мальчишеским рвением он решил «посвятить свою жизнь», как объявил Бауэру.

2

Он отправлялся к Бауэру каждый день в десять часов утра. Усатая старуха, похожая на кота в сапогах, которую все в доме звали нянькой и только сам Бауэр — Анной Филипповной, отворяла дверь, он проходил в архив и усаживался за бумаги.

Незаметно для самого себя он стал интересоваться всем, что происходило в доме, и многое оказалось неожиданным для него, а многое даже необъяснимым.

Волей-неволей он прислушивался к случайным словам, к обрывкам встреч и разговоров, и вся квартира стала разделяться в его воображении на три части, которые он мысленно называл по-своему.

Слева была часть, которую он называл «у старика»,—

самая тихая, потому что это была комната Бауэра, а Бауэр работал молча. Только раз или два он вдруг тихонько запел, аккомпанируя себе прищелкиваньем пальцев, и Трубачевский узнал мотив. Это были «Два гренадера». Посетители редко бывали у него в те часы, когда Трубачевский работал в архиве, только изредка приходили с отчетами аспиранты.

С аспирантами Бауэр был сердито-вежлив, но проверкой отчета не довольствовался и вдруг начинал задавать вопросы довольно сложные и не имеющие никакого отношения к отчету. Либо он забывал, что к нему теперь ходят аспиранты, а не студенты, либо думал, что они все врут в своих отчетах.

Справа от архива была комната, которую Трубачевский называл «Машенькой Пикфорд». Машенькой — потому, что там жила дочка Бауэра, которую все в доме так называли. А Пикфорд — потому, что споры о знаменитой киноактрисе Мэри Пикфорд, которая в ту пору только что побывала в Москве, доносились до него почти ежедневно.

Время от времени эти споры прерывались зубрежкой, какой-то отчаянной, совершенно школьной. Зубрили в два, а то и в три голоса, и Трубачевский быстро научился отличать Машеньку от ее подруг,— подруги менялись. Предметы были большей частью технические — дифференциальные блоки, сопротивление материалов,— и он справедливо заключил, что дочка Бауэра учится в каком-то техническом вузе.

Однажды он встретил ее в коридоре, и она улыбнулась, но сейчас же сделала серьезное лицо и очень вежливо, даже церемонно кивнула, когда он поздоровался и уступил дорогу.

Другой раз она зашла к нему в архив с небольшой просьбой: никого, кроме Трубачевского, не было дома, и она тоже собралась уходить, так что, если придет Наташа — так звали одну из ее подруг,— не может ли он передать ей вот эту записку. Тут он разглядел ее как следует.

Волосы у нее были светлые, легкие, лицо еще сохранило детскую подвижность, еще можно было угадать, что в детстве она была толстой и смешливой. Она говорила быстро, спрашивала, не дожидаясь ответа,— и старый Бауэр вдруг показывался в ней и сейчас же пропадал, как не бывало. Трубачевский, поближе познакомившись с ней, понял, в чем сходство. Старик, о чем бы он ни говорил, слушал только самого себя, а собеседника уличал, хотя бы

тот с ним и соглашался. Машенька тоже уличала, только с той разницей, что отец делал это не очень-то заботясь о тонкостях и даже наоборот, совершенно беспощадно, а она — легко, добродушно.

Когда она ушла, Трубачевский не сразу вернулся к своим занятиям. Надувшись, он просидел с четверть часа неподвижно, вдруг закурил папиросу, потом испуганно погасил ее, вспомнив, что в архиве курить нельзя, и прошелся, грозно хмуря брови. Машенькина записка лежала на столе, он скосился на нее, взял в руки. Записка была сложена, как аптекарский порошок, почерк совершенно детский, и только одно слово — «Наташе». Он небрежно бросил ее и сел за работу. Но работа не очень-то шла в этот день...

Направо через коридор была комната, которую занимал сын Бауэра, Дмитрий.

Трубачевский работал у Бауэра уже третью неделю, но еще ни разу не встретился с ним. Однажды, закончив занятия и запирая архив, он увидел в дверях ванной комнаты высокую фигуру в ночной рубахе, с мохнатым полотенцем через плечо. Должно быть, у Дмитрия была ночная работа, он вставал поздно, в первом часу дня.

Но зато Трубачевский несколько раз встречал Неворожина и уже знал, что этот человек — приятель Дмитрия, бывает у него почти каждый день и часто остается ночевать. И Трубачевский почему-то решил, что они инженеры. Он был в этом совершенно уверен, хотя, кроме нескольких фраз, которые однажды до него долетели, не слышал от них ни слова.

— Это не честность, а недалекость,— сказал, приближаясь, голос, в котором он сейчас же угадал Неворожина.— Поверь, что, если бы меня оставили в безводной пустыне, я бы на другой же день раздобыл денег.

— Э, дорогой мой, дело не в деньгах...— И больше уже ничего не было слышно.

Без сомнения, он бы еще не скоро познакомился с Дмитрием Бауэром, но делу помогла Машенькина записка. Подруга не пришла, и записка осталась в архиве.

Раза два или три Трубачевский бросал ее под стол, но Анна Филипповна, прибирая комнату, всякий раз клала ее назад, считая, должно быть, что Машенькина записка имеет историческую ценность.

В конце концов это превратилось в какую-то игру. Уходя, он сбрасывал записку на пол, возвращаясь — находил

ее на прежнем месте. Это ему надоело в конце концов, и он решил, что самое лучшее — вернуть записку Машеньке.

Разумеется, можно было просто разорвать ее и бросить в корзину, но он почему-то решил вернуть.

Минута была выбрана неудачно. Подойдя к ее комнате, он услышал громкий разговор и приостановился, не зная, войти или вернуться. Потом постучал и вошел.

Неворожин сидел на диване; Машенька ходила по комнате вся красная; у окна, скрестив ноги и опустив голову, стоял ее брат.

И Трубачевский мигом узнал его: садик подле мечети, женщина, выскочившая из автомобиля, ночной разговор, в который он неожиданно вмешался. Красивое лицо под мягкой шляпой, откинутой со лба, представилось ему. Нет сомнений — Дмитрий Бауэр, вот с кем он тогда едва не подрался!

Но Дмитрий не узнал его. Он поднял голову и, думая о другом, посмотрел на него с рассеянным выражением.

У него были вьющиеся волосы, а в лице и движениях много мягкости, которая подчеркивалась сейчас еще тем, что он был заспанный, волосы спутаны и небрежно одет. Но глаза беспокойные, манера смотреть неприятная — не прямо в лицо, а в сторону, мимо...

Едва Трубачевский увидел этих людей, занятых каким-то важным для них разговором, как сейчас же подумал, что очень глупо являться к Машеньке с ее же собственной запиской. И Неворожин, и Дмитрий поймут это просто как предлог, чтобы ее увидеть.

Но было уже поздно. Натыкаясь на стулья, он боком подошел к Машеньке и подал записку. Она прочитала и подняла на него глаза.

— Ваша подруга не пришла,— сказал Трубачевский так громко, что Неворожин притворно вздрогнул и улыбнулся.— Помните, вы меня просили? Она не пришла.

Машенька не поняла.

— От Наташи? — спросила она и развернула записку.

— Да нет...— почему-то еще громче сказал Трубачевский.— Это вы написали и просили передать. А она не пришла.

Машенька поняла наконец, в чем дело.

— Ах, это моя записка! Да куда же вы уходите, подождите. Вы знакомы?

Неворожин поздоровался с ним, как с маленьким, не

вставая с дивана. С осторожной повадкой высоких людей Дмитрий протянул большую мягкую руку.

— Ага, ты даже не знаешь, кто это! — сказала Машенька.— Вот видишь, товарищ Трубачевский работает у нас три недели, бывает ежедневно, а ты даже не знал об этом. Признайся — не знал?

— Не знал,— согласился Дмитрий.

— И после этого ты будешь утверждать, что я не права?

— Буду.

— А ты знаешь, как это называется? Ханжеством,— с досадой объявила Машенька.

— Хуже,— сказал Неворожин.— Это называется недальновидностью.

Должно быть, в этом слове был для Дмитрия особенный смысл, потому что он взглянул на Неворожина как-то странно и побледнел. Он и без того был бледен, но теперь побледнел еще больше и стал косить. И Машенька, без сомнения, знала за ним эту черту, потому что вдруг испугалась и посмотрела на брата успокаивающими глазами.

На минуту все замолчали, потом Трубачевский пробормотал довольно некстати:

— Я, кажется, помешал?

— Да нет,— тоже пробормотала Машенька и махнула рукой с таким видом, что это, мол, не первый разговор и не последний.

Потом она проводила его до двери, простилась, и он ушел...

Таков был этот дом, в котором все казалось ему увлекательным и новым. Он наблюдал его только по утрам. Поэтому он долго не видел и не понимал того, что дом этот был неблагополучен, шаток, что семьи уже не было, что все жили по-разному и уже не очень понимали, хотя еще и любили друг друга.

3

Чтение архивных рукописей — дело, которое на первый взгляд кажется необычайно скучным. Самое слово «архив» вызывает представление о высоких старинных залах, в которых хранятся полусъеденные крысами документы, о стареньких архивариусах, которые горбятся за столами и переписывают отношения, с большим трудом

заставляя себя вместо «милостивый государь мой» написать «дорогой товарищ».

Все это, разумеется, вздор! Чтение рукописей — это увлекательное и азартное дело. Это сложная игра, в которой исследователь, вмешиваясь в чужую и далекую жизнь, открывает такие ее стороны, которые были скрыты от современников — с намерением или случайно. Это искусство, которое опирается более на чутье и талант, чем на правила или законы.

Вот запутанный, перемаранный черновик: слово нагромождено на слово, одна строка надписана над другой, и обе зачеркнуты, как бы в нерешительности или в волнении. Попробуйте уложить вставку в разорванный, перепутанный текст. В полном беспорядке лежат перед вами начатые и брошенные фразы, строки, в которых оставлены пробелы, условные, почти стенографические знаки, заменяющие слова.

Подите разберитесь во всей этой паутине тысячу раз зачеркнутых и восстановленных слов, во всех неясных мыслях, едва дошедших до бумаги!

Вот почему Пушкина научились читать с таким трудом, и лишь в последние годы. Его читали плохо до тех пор, пока не были поняты все возрасты этого почерка, все его радости и обиды...

Трубачевский знал уже почти все, что было напечатано об Охотникове, он выписал на карточки даже случайные упоминания о нем в мемуарах декабристов, исторических журналах, в научных трудах. Но в сравнении с бауэровским архивом сведений было так мало, что он вскоре бросил эти розыски и с головой ушел в чтение рукописных документов.

Первое время он совершенно растерялся среди оборванных на полуслове бумаг, среди писем, перепутанных со счетами из книжной лавки, среди случайных набросков, которые найдутся в любом личном архиве, а в этом были особенно разрозненны и бессвязны. Деловые бумаги были перемешаны с черновиками каких-то статей, страницы из дневника, заметки, письма были так бесконечно далеки друг от друга, что, если бы они не были написаны той же рукой, нельзя было бы вообразить, что они принадлежат одному человеку.

В таком-то рассыпанном виде предстала перед Трубачевским жизнь человека, которого он изучал: как будто шахматная партия была прервана ударом по доске, фигу-

ры смешаны и сбиты,— по случайно оставшимся ходам нужно восстановить положение.

Перепутаны были не только бумаги, но и годы: детство шло вслед за отрочеством, письма женщин (которые Трубачевский читал, разумеется, с особенным интересом) лежали между страницами, исписанными старательной детской рукой.

Хорошо было Бауэру, который так знал почерк Охотникова, что мог с одного взгляда определить, к какому времени относится автограф! Он как бы нюхал бумагу и смотрел на нее не в частности, а вообще, на всю сразу и, по своему обыкновению, через кулак, который приставлял к правому глазу, а потом, не задумываясь, говорил:

— Ну-с, между девятнадцатым и двадцать первым.

И через час находился десяток доводов, неопровержимо доказывавших, что автограф относится именно к этому времени, не раньше, не позже.

И бумаги девятнадцатого года отправлялись в папку девятнадцатого, а двадцать первого — в папку двадцать первого.

Сколько раз, запутавшись среди водяных знаков,— потому что кто же мог поручиться, что Охотников не писал на бумаге, которая была выпущена в продажу за двадцать лет до того, как он взял ее в руки,— сведя и отбросив десятки догадок, сотни предположений, Трубачевский готов был оставить работу.

Но ему уже трудно было представить себе, что однажды утром он проснется и не пойдет к Бауэрам, не будет работать в этой тихой, светлой комнате, и не он, а кто-то другой добьется успеха и первый в мире прочтет этот проклятый архив. Не он будет хвастать в университете высоким званием секретаря академика Бауэра, и не он будет получать сорок целковых в месяц за три часа ежедневной работы. Сорок целковых! Трубачевский вспоминал, как недоверчиво посмотрел на него отец, услышав о сорока целковых, и как — впервые за много лет — ухмыльнулся.

Ну нет, он добьется толку! Бумаги будут прочтены, даты открыты, лист будет следовать за листом в полном порядке.

И он нюхал бумагу и, как старик, с мрачным видом смотрел на нее через кулак. В конце концов ему удалось то, без чего все усилия были заранее обречены на неудачу: он понял почерк Охотникова, как начинаешь вдруг

понимать мелодию, знакомую с детства, комнату, в которой живешь годами.

Тогда дело пошло гораздо быстрее.

4

В середине августа он заболел и несколько дней провалялся в постели. Карташихин вместе с Матвеем Ионычем пришли проведать его и решили, что вздор, через три дня встанет. Старый механик на всякий случай принес лекарство, которое в годы его маячной службы помогало от всех болезней. Лекарство было куплено в аптеке Пеля на Васильевском острове лет пятнадцать тому назад.

Трубачевский открыл баночку и понюхал.

— Это — мазаться? — спросил он.

— Мазать грудь и внутрь,— кратко объявил Матвей Ионыч.

Сомнительно морщась, Трубачевский понюхал еще раз.

— Мажь его в мою голову,— приказал Карташихин.

Матвей Ионыч откинул рукава, запустил большой палец в банку и жестом приказал поднять рубаху.

— Иди ты знаешь куда...— сказал Трубачевский, но послушно поднял рубаху и лежал смирно, пока Матвей Ионыч мазал. А мазал он превосходно — страшными, желтыми от табака, деликатными пальцами.

— А внутрь не надо, еще подохнешь, пожалуй,— сказал Карташихин и сел к нему на кровать.— Послушай, ученый секретарь, что ж тебя не видать стало? Все старые бумаги переписываешь? А у меня новость. Подал в медицинский.

— Ну да? В ГИМЗ?

— Нет, в Женский медицинский.

— Врешь!

— Честное слово, в Женский. До сих пор почему-то переименовать не собрались.

— Стало быть, врач?

— А быть может, и не врач,— запел Карташихин.— В самом деле, и не врач. Безусловно, и не врач.

Трубачевский посмотрел на него.

— Ага, понимаю,— с расстановкой сказал он,— стало быть...

Но Карташихин не дал окончить:

— Матвей Ионыч, вы ему брюхо, брюхо...

— Брюхо нельзя, грудь.

И старинное лекарство отлично помогло. Температура упала на следующий день. Трубачевский встал желтый, с провалившимися глазами и сейчас же побежал звонить Бауэру по телефону.

Подошла Машенька, он сразу узнал ее голос и вдруг так растерялся, что не назвал ни ее, ни себя.

— Сергей Иванович вчера уехал,— ответила Машенька и прибавила: — В Москву. А кто спрашивает?

Без сомнения, она отлично знала, кто спрашивает, и нужно было сейчас же назвать себя и поговорить о чем-нибудь, но Трубачевский ничего не сказал; он тихонько повесил трубку и вернулся к себе.

Назавтра в десятом часу утра он отправился к Бауэрам. Анна Филипповна открыла дверь, и он, как всегда, подумал, что она удивительно похожа на кота в сапогах.

Потом он вошел в архив, и тут начались неожиданности.

Дмитрий Бауэр сидел спиной к нему с книгой в руках. Он был без пиджака, в туфлях на босу ногу,— видимо, только что поднялся с постели; мохнатое полотенце висело через плечо, подтяжки болтались.

Он сидел на столе, за которым обычно работал Трубачевский, а рядом в кресле спал, вытянув ноги и закинув голову, незнакомый длинный человек в чалме и халате.

Шторы в комнате были приспущены, но дверь на балкон открыта, и узкая полоса солнечного света падала прямо на толстогубое спящее лицо.

Круглый стол перед диваном, на котором лежали обычно оттиски и книги, был накрыт, скатерть полусдернута и залита вином. Видно было, что пили всю ночь: пустые бутылки валялись даже на бюро, в котором (Трубачевский это наверное знал) хранились пушкинские бумаги. Он сделал шаг и приостановился, не зная, что сказать. Дмитрий все читал.

— Здравствуйте! — растерянно сказал Трубачевский.

Дмитрий заложил пальцем страницу и соскочил со стола.

— Ах, это вы,— сказал он приветливо.— Что это, у вас свой ключ?

— Свой, мне Сергей Иванович дал.— Трубачевский нерешительно протянул руку. Дмитрий поспешно и дружески поздоровался с ним.

— Как вы похудели! — сказал он добродушно.— Больны были? Ведь вы, кажется, целую неделю не приходили?

Трубачевский хотел сказать, что не неделю, а только четыре дня, и не успел.

— А мы тут пока вашу территорию захватили. Дамы потребовали. Почему — неизвестно,— продолжал Дмитрий и смущенно посмотрел на человека, спящего в кресле.— Это — Тогаре,— объяснил он, заметив, что Трубачевский с удивлением уставился на полотенце, чалмой закрученное вокруг головы спящего.— Знаете, знаменитый укротитель? Он был Тогаре, а мы — львы.— И тронул Тогаре за плечо. Но тот и не пошевелился.— Черт знает, ерунда какая! — сказал Дмитрий, засмеялся и, вдруг бросив его, обратился к Трубачевскому с таким дружеским, веселым видом, что Трубачевский тоже сейчас же улыбнулся в ответ, все смущение его мигом исчезло.— Знаете что, а ведь Машка права,— сказал он,— это действительно глупо, что вы ходите к нам каждый день, а мы все еще незнакомы. Я даже не знаю, кто вы — студент или кто?

Он спросил это совершенно как старый Бауэр и стал очень похож на него, даже глаза засмеялись с добродушной иронией.

— Я на втором курсе,— отвечал Трубачевский, стараясь говорить с такой же непринужденностью и свободой, как Дмитрий, и краснея, потому что это нисколько ему не удавалось.

— Ах, уже на втором. В университете?

— Да.

Тогаре зарычал во сне, потом открыл один глаз и, подтянув упавший стул, положил на него длинные ноги. Дмитрий засмеялся.

— Се лев, а не собака,— сказал он.— Не подумайте, что и в самом деле укротитель. Киноактер, и хороший.

— И не актер, а помреж,— пробормотал спящий.

— Ах да, помреж! Ну, вставай, помреж, и помоги мне убрать комнату. Я бы няньку попросил,— улыбаясь, объяснил он Трубачевскому,— да боюсь, влетит.

Он стал прибирать комнату, и быстро, умело! Мигом стулья были вынесены в кабинет, бутылки собраны в кучу, тарелки составлены горкой; окурки и объедки он салфеткой смел со стола на газетную бумагу, а скатерть снял, стряхнул на балконе и, аккуратно сложив, перебросил через плечо.

— Опять заснул,— сказал он, остановившись перед своим приятелем, который все еще сидел в кресле, сонно оттопырив губы.— Вот прохвост! И ведь не так много вы-

пил, как... как я, например,— обратился он к Трубачевскому.— Вы не смотрите, что такая лошадь и нахальный вид. Он способный. Даже статью написал — о звуковом кино. Я читал, интересно.

— Я не написал, а я его изобрел,— пробормотал спящий.

— Ну, уж это ты врешь! Изобрели где-то в Америке, а у нас пока только один аппарат построили, и то, говорят, неудачно. Ну, вставай же наконец!

И с силой тряхнул его за плечи.

Спящий встал, скинул чалму — и оказался рыжим.

— Блажин, кинорежиссер,— великолепным басом сказал он и, запахнув халат, снисходительно протянул Трубачевскому руку.

Дмитрий подмигнул Трубачевскому и опять засмеялся.

— На, возьми-ка вот это, кинорежиссер,— он сунул ему в одну руку газету с объедками, в другую несколько бутылок.— И пошел вон, потому что мы здесь мешаем.

— Нет, что вы, пожалуйста,— сказал Трубачевский.— Ведь вы у себя дома.

— Ну, не очень-то у себя.

Дмитрий посмотрел вслед приятелю, который с надменно-флегматическим видом поджидал в дверях кабинета, и подошел к Трубачевскому поближе.

— Послушайте,— пробормотал он, и розовый оттенок появился на его лице — так краснеют бледные люди.— Послушайте, вы не скажете отцу? — спросил он и взял Трубачевского за руку повыше кисти.

— О чем?

— Да вот, что мы тут... Мне-то все равно,— поспешил он добавить,— а ему будет неприятно. Не скажете?

— Нет.

— Ну, смотрите же, я вам верю.

Он посмотрел Трубачевскому прямо в глаза и вышел.

Когда он ушел, Трубачевский еще некоторое время думал о нем. Как это всегда бывало после встречи с кем-нибудь, он в уме продолжал разговор, перебирал впечатления. Вот он, оказывается, какой! Приветливый, веселый. Он вспомнил, как Дмитрий вдруг сказал, что это ужасно глупо, что он ходит к ним каждый день, а они до сих пор незнакомы. И верно, глупо! А вот теперь они сблизятся, станут друзьями. И представил себе, как они идут по университетскому коридору, Дмитрий рядом с ним, такой простой, с вьющимися волосами, красивый, и говорят об

этой женщине в сквере, подле мечети. И Дмитрий рассказывает ему все, до последнего слова, а вокруг спрашивают, как будто небрежно: «С кем это Трубачевский?» И кто-нибудь отвечает: «Это сын академика Бауэра, Дмитрий...»

Потом он познакомит его с Карташихиным, они тоже станут друзьями. Хотя... И он призадумался, представив себе, как Дмитрий что-то говорит Карташихину, а тот слушает, поглядывая исподлобья и вставляя свои замечания с угрюмым и насмешливым видом.

«Нет, Ваньке он не понравится»,— решил он и посмотрел на часы.

Шел уже двенадцатый час, давно пора было приниматься за работу. Он сейчас же сел за стол — и вдруг вспомнил, как Дмитрий смутился и покраснел, когда просил не говорить старику об этой ночной попойке. Конечно, черт побери, он ничего не скажет! Подумаешь, беда — выпил с приятелем! А впрочем, должно быть, не в первый раз, если уж так отца боится.

Стараясь больше не думать об этом, Трубачевский разыскал автограф, который пытался прочесть еще до болезни, и, упершись кулаками в виски, стал с напряженным вниманием разбирать небрежно набросанные, выцветшие строки.

Но как будто все сговорились мешать ему в этот день. Едва успел он разобрать несколько слов, как раздался звонок. Он прислушался — никто не открывал. Снова позвонили, два раза подряд, очень нетерпеливо.

Он встал, но опять сел, потому что ему показалось, что послышались знакомые шаркающие шаги старухи по коридору. Нет, ничего. Позвонили снова — и он пошел открывать.

Почему-то он думал, что Машенька дома, и очень удивился, когда она вошла с жакеткой на руке и очень сердитая — должно быть, потому, что так долго не открывали.

— Господи, да что же это с нянькой? — сказала она, увидев, что двери ей открыл Трубачевский.

Трубачевский не знал, что с нянькой.

— Ее, наверно, удар хватил,— сказала Машенька и сразу забеспокоилась.— Подождите минутку, я сейчас.

Неясно было, чего ему, собственно, ждать, но он остался у выходных дверей, а потом медленно пошел по коридору. И вышло так, что к ней навстречу, потому что она только забежала на кухню и сейчас же вернулась.

— Нет, ничего особенного. Это просто...

Она не окончила, покраснела, немного прикусила губу, потом не выдержала и рассмеялась. Нянька была в уборной.

— Что это вы так похудели? Больны были?

— Четыре дня провалялся,— радостно сказал Трубачевский.

— Это вы звонили?

— Я.

— Я сразу узнала.

— По голосу? — спросил Трубачевский, как будто можно было еще как-чибудь узнать, а не только по голосу.

— А вы узнали?

— С первого слова.

— Так что же не сказали?

— Сам не знаю.

Они постояли немного, оглядывая друг друга, как дети, когда, знакомясь, они подходят боком и не знают, что сказать, пока взрослые не подскажут.

— Ну, надо идти; у меня еще чертежи не готовы, а завтра зачет,— сказала Машенька и не пошла, осталась, как будто поджидая, что он сейчас спросит, что за чертежи, по какому зачет.

Он понял это и сейчас же спросил.

И она стала рассказывать — очень живо и обо всем сразу: о том, что на первом курсе было очень легко, а теперь с каждым днем становится все труднее; что у них на отделении все очень славные, кроме какого-то Васьки Хладнева, который одно время был секретарем курса и страшно заважничал, а его взяли да и сняли; о том, что у нее самая близкая подруга — это Танька (и дальше уже все говорила: «Мы с Танькой»); о том, что у них началась практика на заводе и она не кто-нибудь, а слесарь второго разряда.

Потом они заговорили о театре, и Трубачевский объявил с важностью, что признает один только Вахтанговский театр.

— Вы видели «Турандот»? Не правда ли, гениально?

— Все говорят, что гениально,— сказала Машенька с огорчением,— а мне не понравилось, что актеры переодеваются на сцене. По-моему, это как шарады. Потом принц говорит «пока». Раз он принц, он должен и думать по-своему, а то какой же тогда это принц?

Трубачевский засмеялся. Она с испугом посмотрела на

него и тоже начала смеяться. Потом она опять вспомнила про чертежи и что завтра зачет — и простояла с Трубачевским еще минут двадцать.

Уже простившись, они прошли бок о бок несколько шагов, и Трубачевский собирался завернуть по коридору, когда дверь из столовой распахнулась, рыжий кинорежиссер вышел и уставился на Машеньку, раздув губы и сильно дыша носом.

Бог весть, когда успел он так нахлестаться, но его как будто ветром качало на длинных ногах. Глаза были туманные, задумчивые, волосы рыжими пружинами свисали на лоб. Радостно взмахнув руками, он шагнул к Машеньке и поздравил ее с Новым годом.

— Я знаю, что сегодня двадцать второе августа,— сказал он твердо,— и поздравляю заранее, чтобы не забыть.

Машенька отступила, и Трубачевский в первый раз увидел, как быстро может перемениться ее лицо: веселое выражение мигом исчезло, как не бывало, брови двинулись вверх, потом сошлись. С такой презрительной небрежностью посмотрела она на кинорежиссера, что даже Трубачевский слегка оробел.

Встав на цыпочки и притворяясь, что ничего не случилось, Блажин осторожно обогнул Машеньку и вышел сперва в прихожую, а потом и на улицу,— входная дверь хлопнула, и цепочка зазвенела, качаясь.

Машенька обернулась к Трубачевскому.

— Если бы вы знали, как он меня огорчает,— совсем по-дружески сказала она и вздохнула.

У Трубачевского было удивленное лицо, и она поспешила добавить:

— Вы думаете, этот рыжий? Нет, нет, я говорю про Диму. Он так переменился за последний год. А с тех пор как уехал отец...

Она сказала больше, чем хотела, или вспомнила, что говорит с человеком едва знакомым, и Трубачевский понял это, когда она вдруг потупилась и замолчала.

5

Прошло несколько дней, и старый Бауэр вернулся из Москвы. Он приехал утренним поездом, прошел к себе в кабинет, и Трубачевский услышал, как Машенька при-

мчалась к нему босиком, расцеловала, засыпала вопросами.

— А Дмитрий спит? — спросил он негромко.

Потом пошел в архив, Машенька — вместе с ним, но у дверей живо повернула назад, и где-то в портьере, за спиной отца, Трубачевский увидел ее в длинной, до пят, ночной рубашке — голубенькой, как у маленьких детей.

Да, старик выглядел неважно, а то и просто плохо! Глаза провалились, он пожелтел и горбился больше, чем обычно. Пока он просматривал разобранные без него документы, Трубачевский все собирался спросить, что с ним, но робел, потому что Бауэр молчал или говорил односложно: «Не думаю», «Надо проверить». Или сердито: «В указателях просмотрели?»

Но все же он решился наконец.

— Сергей Иваныч,— сказал он робко,— у вас какой-то вид нехороший. Или вы с дороги устали?

Бауэр поднял глаза.

— Живот,— отвечал он негромко.

Трубачевский удивился:

— Живот болит?

Бауэр кивнул.

— Может быть, доктора? — с огорчением спросил Трубачевский.

— Да нет, это сложнее,— отвечал Бауэр и, на минуту оставив бумаги, начал пальцами растирать лоб.— Это сложнее,— повторил он и больше ничего не стал объяснять.

Должно быть, и в самом деле это было сложнее, потому что на следующий день Машенька пришла в кабинет и целый час бранила отца за то, что он слишком много работает, не бережет себя, а лечится небрежно и не хочет поехать отдохнуть. Завтра же она пойдет в секцию научных работников и на сентябрь запишет его в Ессентуки.

Он все слушал, но, должно быть, не очень внимательно, потому что она в конце концов рассердилась и сказала, что это некультурно — не обращать на себя никакого внимания.

Тогда он негромко засмеялся.

— Большая дочка,— сказал он с ласковым удивлением,— совсем большая. Выросла, а я и не заметил!

Наконец сговорились: он будет работать меньше, а после обеда спать. Сколько? Час? Ладно, не меньше часа.

По утрам он будет писать свою книгу, а занятия в архиве перенесет на вечерние часы.

«Стало быть, мне придется ходить по вечерам»,— подумал Трубачевский и сейчас же услышал, как Бауэр за стеной сказал, что ведь тогда придется и Николая Леонтьевича перевести на вечерние часы, а Машенька объявила с горячностью, что да и что даже удобнее, если Николай Леонтьевич будет приходить, скажем, часов в пять и работать до половины девятого.

Почему удобнее — это было неясно. Трубачевскому было удобнее приходить именно по утрам, кроме того, он, собственно, ничем не мешал старику писать его книгу, но Машенька объявила, что удобнее, и Бауэр не возражал.

Он не возражал и против санатория. Что ж, можно поехать. Только не в сентябре, когда назначена сессия Академии наук, и не в Ессентуки. Он Ессентуки не любит: скука. Разве уж врачи будут настаивать, тогда придется поехать.

Так случилось, что уже на следующий день Трубачевский явился к Бауэру в шестом часу вечера. Это было не очень просто, университетские дела могли сильно пострадать: он почти не слушал лекций, но аккуратно посещал семинары, которые назначались как раз на вечерние часы. Зато дом Бауэров стал гораздо яснее для него.

С утра каждый человек в доме, никому не мешая, начинал жизнь по-своему: старик принимал аспирантов или сидел за своей книгой, Машенька занималась с подругами или убегала в институт. Анна Филипповна стучала посудой в кухне, в столовой. В жизни дома был известный порядок, и даже то, что Дмитрий встает во втором часу дня, никого, кажется, особенно не огорчало.

По вечерам все было по-другому: следы шаткости и неблагополучия были видны во всем — в слове, которое пропускалось или заменялось другим, в напряженной вежливости, которая была так странна между братом и сестрой, между отцом и сыном.

Однажды Трубачевский невольно подслушал разговор, который заставил его задуматься о многом.

Разговор был между Дмитрием и Неворожиным и начался издалека — от самых входных дверей.

Останавливаясь на каждом шагу, они шли по коридору, и Трубачевский долго не мог понять, почему они идут так медленно; потом догадался: оба были пьяны.

— Я хотел задать тебе один вопрос,— говорил Дмитрий.

— Да, пожалуйста,— вежливо отвечал Неворожин.

— Зачем ты проиграл революцию?

— Старо, старо,— сказал Неворожин.

— Ах, старо! Боже мой, старо.

— Ты не забывай переставлять ноги,— сказал Неворожин,— а то мы никогда не дойдем.

— А куда мы идем?

— В твою комнату.

— Дорогой мой, это только кажется. А на самом деле — знаешь куда?

— Да?

— К чертовой матери! — с глубоким убеждением сказал Дмитрий.— Я пью. Я был ученым. А теперь? Кто я теперь?

— Ты философ,— сказал Неворожин.

— А Казик?

— Какой Казик?

— Казик Щепкин, мой друг, пока наши отцы не подрались...

Через несколько дней Трубачевский узнал, что Казик — это Александр Николаевич Щепкин, доцент Женского медицинского института, физиолог.

По ходу занятий Трубачевскому часто приходилось прибегать к справочникам по истории декабристов. В этих справочниках почетное место занимали труды Николая Дмитриевича Щепкина; особенно много числилось за ним всякого рода публикаций по истории Южного общества, без которых обойтись было трудно, а иногда и совсем невозможно.

Но как только в разговорах с Бауэром Трубачевский ссылался на эти труды, у старика становилось отсутствующее выражение лица, как будто ни трудов этих, ни даже самого Щепкина никогда не было на свете.

Сам он вовсе не произносил этой фамилии; только один раз, когда Трубачевский рассказывал что-то насчет связи своего декабриста с масонами, спросил хмуро:

— Это вы где, у Щепкина прочитали?

Между тем в его библиотеке Трубачевский часто встречал книги Щепкина — и притом надписанные очень сердечно. Одна из книг была даже посвящена старику, а на другой — весьма известном труде о жизни и смерти Песте-

ля — было написапо на титульном листе: «Я счастлив, что могу назвать себя твоим другом».

Правда, обе книги были старые — одна четырнадцатого, другая восемнадцатого года,— но все же... стало быть, в восемнадцатом году они были еще в хороших отношениях?

Это было что-то вроде исторической задачи: по книгам Бауэра и Щепкина определить, когда старики разодрались, и так как Трубачевский успел уже кое-чему научиться в определении исторических дат, он решил ее очень просто.

Взяв одну из книжек Щепкина, вышедшую в 1922 году, он посмотрел именной указатель на букву «Б» и мигом нашел против фамилии Бауэр целый столбец ссылок.

«Стало быть, в двадцать втором году,— подумал он,— они еще были в хороших отношениях».

Потом он взял другую книгу Щепкина, напечатанную в 1925 году, и снова посмотрел ссылки на букву «Б». Кто угодно был здесь — и Багратион, и Барсуков, и Барклай-де-Толли,— но фамилии Бауэра он в указателе на этот раз не нашел.

Вот тогда они поссорились — между двадцать вторым и двадцать пятым годом!

Вскоре он определил эту дату еще точнее. Известная книга Бауэра «Южное общество», изданная Госиздатом в 1923 году, как-то попалась ему, и он немедленно просмотрел все ссылки на букву «Щ». Кто угодно был здесь — и Щеголев, и Щербаков, и Щербатов,— не было только Щепкина, хотя кто же, как не старик, должен был знать, что именно у Щепкина есть солидные труды по этому вопросу!

Так Трубачевский решил эту задачу: они поссорились в 1923 году — не раньше и не позже.

По той осторожности и неловкости, с которой у Бауэров избегали даже упоминаний о Щепкине, нетрудно было догадаться, что прежде эти семьи были очень дружны между собой. Это было видно именно потому, что сам Бауэр иначе относился к этой ссоре, чем его дети. Ссора, видимо, была только между стариками. Дети были в стороне или делали вид, что в стороне,— это, впрочем, далеко не одно и то же.

Потом Трубачевский узнал, что ссора была нешуточная, что продолжается она и по сей день. Узнал, что редкое заседание в Пушкинском доме проходит без выступ-

ления Щепкина против Бауэра и что выступает он с такой ненавистью, которую не может скрыть никакая академическая вежливость. Он узнал, что стоит Бауэру напечатать даже незначительную заметку, как сейчас же появляется ответ, исполненный необыкновенного ехидства, и что Щепкин последние годы совсем бросил заниматься наукой и только для того и живет, чтобы где бы то ни было и как бы то ни было уничтожать своего врага.

Закончив однажды свои занятия, Трубачевский прошел в прихожую, надел пальто, собрался уходить, и как раз позвонили по телефону. Он снял трубку. Незнакомый голос спросил Машеньку и сейчас же поправился — «Марию Сергеевну».

— Кто ее спрашивает?

— Э, не все ли равно! Скажите — старый знакомый.

Трубачевский сбросил пальто и отправился искать Машеньку. Искать, впрочем, не пришлось: он отлично знал, что и Машенька, и старик, и Дмитрий в столовой. Он постучал. Бауэр окликнул его.

— Что это вы всегда убегаете, и не знаешь когда? — сердито-ласково сказал он.— Невеста вас дома ждет или кто? Садитесь!

— Спасибо, Сергей Иванович,— пробормотал Трубачевский и пошел здороваться: за столом, кроме старика, сидели Дмитрий, Неворожин и старинный друг Бауэра, географ и путешественник, очень добродушный, с забавной двойной фамилией Опрындыш-Орзя.

Трубачевский по очереди обошел их, и все сошло более или менее благополучно. Только с Дмитрием он поздоровался как-то неуклюже, точно не знал, протянуть ему руку или нет,— полчаса назад они встретились мельком в коридоре. Вышло глупо, и Неворожин улыбнулся, остальные не подали виду.

Как всегда в такие минуты, Трубачевский даже не слышал, о чем шел разговор, и немного очувствовался, лишь когда увидел перед собой чай, хлебнул и ожегся.

— Что ж это вы без сахару? — спросил Бауэр.— Берите хлеб, пожалуйста. Вот там колбаса. Бутерброды.

Разговор шел о налете на Аркос и о разрыве англо-советских отношений — тема, в ту пору занимавшая всех,— и Бауэр говорил об этом с легкостью человека, чувствующего себя в истории как в своем доме.

— Не помню, кто мне рассказывал, что Чемберлен гордится тем, что он происходит от знаменитого пирата,—

говорил он.— Ведь это для английской аристократии характерно...

Но только успел он объяснить, почему, по его мнению, между пиратом и аристократом никогда не было особенной разницы, как Машенька вернулась. Она пришла красная, немного взволнованная и, едва усевшись за стол, сейчас же сказала:

— Знаете, кто звонил? Казик Щепкин!

Тут наступило молчание, которого она и сама, кажется, не ожидала. Старик медленно посмотрел на нее и так же медленно отвернулся. Дмитрий встрепенулся, открыл было рот, но ничего не сказал. Опрындыш-Орзя подождал немного и занялся чаем.

Уже упущена была минута, когда можно сказать что-нибудь или пошутить, и все сидели тихо, исподтишка косясь на старика.

И только Неворожин нисколько не смутился, а, напротив, с очевидным любопытством ожидал, чем кончится эта сцена.

Она ничем не кончилась.

Как ни в чем не бывало Бауэр взял бутерброд, откусил его, прожевал и снова заговорил о том, какие разбойники английские аристократы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Еще во время вступительных экзаменов, когда, ошалев от зубрежки, от комиссий, от слухов, будущие студенты носились из института в Наркомпрос, волнуясь и спеша, доучивая в трамваях последние страницы физики Хвольсона, и все это с той счастливой энергией, о которой вспоминаешь с удивлением,— еще в эти дни Карташихин подружился с Лукиным. С каждым днем он все больше дорожил этой дружбой.

Лукин ходил в высоких сапогах, в деревенском тулупе. Говорил он медленно, по-деревенски, так что среди быстрого говора горожан странно было слышать эту неторопливую, важную речь. Когда он экзаменовался по русскому языку, преподаватель, еще молодой и не забывший, должно быть, университетских лекций по диалектологии, сказал, прислушавшись:

— Среднее Поволжье, Симбирская или Саратовская губерния, сильное влияние чувашей.

Так оно и было. Лукин родился и вырос в одной из чувашских деревень под Симбирском. Это был человек задумчивый, непреклонный и важный. По тому, как он говорил, видно было, что его мысль не обгоняла речи. Он думал медленно, но, раз обдумав что-либо, больше к этому не возвращался.

С недоверчивостью, в которой сказывались долгие годы, проведенные в глухой деревне, он ходил по лестницам и коридорам института, молчал и приглядывался.

Та, деревенская, жизнь кончилась с тех пор, как он приехал в Ленинград, поступил в институт, стал слушать лекции, резать трупы, но все же и в мыслях, и в отношениях он все еще вспоминал ее, сравнивал, рассматривал — и не доверял.

Меньше всего он говорил о себе, так что Карташихин долго не знал, что его новый приятель — природный рыбак, и узнал случайно. В поисках анатомии Раубера они ходили как-то по проспекту Володарского, и Лукин остановился перед окном охотничьего магазина и долго неодобрительно рассматривал выставленные сети. Потом сказал:

— Такой мережей только бабочек ловить, а не рыбу.

Но однажды под утро, после утомительной ночи, когда латинские названия костей и связок стали уже перепутываться в голове и оказалось, что только что прочтенная страница забыта, Лукин заговорил о себе. Это было у Карташихина, на улице Красных зорь. Перекурив, перезубрив, они валетом лежали на кровати и старались заснуть. До первой лекции оставалось еще часа три, но оба устали так, что спать уже не могли, перехотели.

Долго они лежали молча, каждый думал о своих делах; потом Лукин спросил, чья это карточка над письменным столом.

— Отец,— сказал Карташихин.

— Жив?

— Нет, умер. А твой?

— Мой в двадцать первом году от голоду помер,— отвечал Лукин, и лицо у него стало сердитое и печальное.— Мы-то все лебеду тогда ели, кору,— добавил он погодя и уставился в потолок.— А он не ел, все о нас заботился, хватит ли нам. Вот и помер.

Они помолчали.

— А моего на гражданской войне убили,— сказал Карташихин.

Но приятель его не прислушался, не удивился. Он все смотрел и смотрел в потолок, и глаза у него стали тяжелые, злые.

— Все о нас заботился, что хватит ли нам,— повторил он.— Мать, бывало, скажет, чтобы мы не глядели, как он ест, да по углам нас и положит. А у меня братишка маленький был, так тот полежит, полежит, бывало, да и запищит: «Мама, я не гляжу». Она как заплачет!..

Карташихин хотел посмотреть на него и вдруг понял, что нельзя — замолчит.

— Как отец помер,— продолжал Лукин,— мать нас в воспитательный отдала. Не то что в воспитательный, а это в городе детей собирали, кто не мог прокормить. Американцы это, что ли, тогда устраивали? Только мы двое суток пожили, ночью грузовик подошел, нас всех туда поклали и повезли. Прямо на вокзал, в поезд — и на Дальний Восток. Два с половиной месяца ехали. Как станция, сейчас мужиков выкликать. Не нужно ли кому детей на какую работу — за конями ухаживать или там по дому чего. А нас трое было: я, да брат, четыре года моложе, да сестренка, полтора года старше. Вот мы до Иркутска доехали — сестренку и взяли. Потом под Читой меня взяли. А брат дальше поехал. Так я их больше и не видал...

Карташихин подбил подушку повыше и взглянул на приятеля: странно было видеть печальное выражение на этом большом лице с грубым лбом и вздернутым носом.

— А меня кузнец взял в подмогу,— продолжал Лукин.— Я тогда слабый был. Вот он дал мне скобу заклепать, а я и молоток в руке держать не могу. Обод велел отточить; я поточу немного — и дышу. Еще поточу — еще дышу. Он посмотрел и хотел меня выгнать, да баба не дала. Она и потом меня жалела. Бывало, меду бутылку притащит тайком, я ее всю и высосу. Четыре года у них прожил. Ну, а потом стал думать, как бы домой попасть. Кузнец мне два рубля дал, я и стал объявления в газете делать. А мать тогда в Казани жила, в прачках. Вот она прочитала и пишет, чтобы ехал я в деревню, к дяде Лукину Назару, а она после приедет. Я собрался, поехал. Долго ехал. Денег только до Томска хватило, а дальше — в ящике, знаешь, под международным. Приехал, прихожу в деревню, ищу дядю Лукина Назара. А ему не Лукин фамилия, а Колесов. Тетка-то была родная, а он не родной, вот

мать его по теткиной фамилии и написала. Пришел я к нему, спрашиваю, а он говорит: «Иди, я не Лукин, я — Колесов». Ну, пошел дальше. Вижу, мужики стоят, спрашивают: «Кто такой?» Я говорю: «Лукина ищу, Назара». Думали они, думали, что за Лукин, потом догадались и опять к Колесову посылают. Ну, взял он меня.

Лукин приподнялся и достал со стола папиросу. Руки так и ходили, когда он прикуривал. Он волновался.

— А когда отец-то помер, а мать от голода уехала в Казань ту, Колесов все наше хозяйство к себе забрал, до того, что даже яблони из сада к себе пересадил. Он сам крепкий мужик был, дом хороший, а выезд у них такой, что как запрягут пару да по деревне — только держись! Велосипед, граммофон был, два амбара. А когда я у них жил, так, бывало, как сядем за стол, тетка сейчас: «Колька, считай, сколько он ложек съест!» Меня по жнивью посылают, а лаптей не дают. Ходил я, ходил, потом невтерпеж стало. Вот я у него лапти и украл. Поймал он меня, отодрал и выгнал. И так, сволочь, про меня насказал, что от меня за три версты шарахаются. К рыбакам пошел — не принимают. Хотел в работники к чувашину одному наняться — не берет. Ну, что делать? Я пошел в баньку и лег. Так и пролежал четверо суток. Спасибо, ребята знакомые хлеба приносили. Я его с яблоками жрал. Оскомину набил, прямо с тех пор на яблоки смотреть не могу. А потом меня ребята к себе забрали, комсомольцы. Мать приехала, стали жить.

Он замолчал, потом сел на кровати.

— Девятый час, надо идти,— сказал он и начал складывать разбросанные на столе записи лекций.

— Нет, уж теперь досказывай,— потребовал Карташихин.

— Да чего ж досказывать? Потом все обратно пошло. Как стали кулаков прижимать — ну, тут мы с ними и посчитались. Я все в сельсовете говорил, чтобы расстреляли его, а мужики — нет, слишком круто будет. Круто не круто, а он пока спрятался, да и убежал. А как убежал — пожары начались. За месяц пожара четыре было. Ладно, думаю, надо последить. Мать ругается, боится, что убьют, а я себе похаживаю да посматриваю. И то сказать, по вечерам без нагана не выходили. Девки, так те над нами смеялись, что мы все дома сидим, на гулянки не ходим. Походил я этак дня два, вижу: к дому — а у него дом заколочен был — мальчишка его пробирается. Я за ним, а он — мыль,

да и убежал! Я тогда ребятам говорю, что надо наблюдение иметь, сгорит дом. А они говорят: не сгорит, и не такой он дурак, чтобы в деревню вернуться. Вдруг один раз приходим в ячейку, глядим — на! — на столе порошок лежит. Я даже, помню, посмеялся, говорю: «Признавайтесь, ребята, кто больной, кому это лекарство прописано?» Развернули, оказывается — письмо. И написано, что никому из нас живым не быть, троих живьем сожжет, а остальных застрелит. Ну, мы сейчас руку сличать. Двенадцать кулаков в нашей деревне, у всех сличили. У одного подошло. Стали тогда мы с ним говорить, а он глазами на подклеть показывает. Мы туда, смотрим — а там сам Колесов сидит. Даже затрясся. Ну, я ему: «Вылезайте, дядя Назар, с праздником». Взяли его, отправили в Казань. После выслали... А я в ячейку заявление подал,— неожиданно добавил Лукин,— чтобы на рабфак. Сперва — нипочем. Я и так, и сяк, говорю им: «Дурье, кончу доктором, к вам же назад приеду». Насилу отпустили. Вот так-то я сюда и явился.

Он прошелся по комнате, швырнул на пол погасшую папиросу и, подойдя к Карташихину, сильной рукой поднял его на постели.

— Ну, вставай, чудило! На химию мы с тобой уже опоздали...

2

Однажды поздним утром Карташихин проснулся с чувством усталости, но с ясной и легкой головой и несколько минут пролежал, вспоминая, что было вчера и почему ему весело. Семестр был кончен, последний зачет сдан,— ну и гоняла же его эта старая лысая скотина!

— Tuberculum pubicum,— вспомнил он и запел, зевая и потягиваясь.

Он вскочил, чтобы открыть форточку, и на минуту замер у окна: двор был белый, чистый, и везде снег, даже железные ворота были как будто сделаны из снега. На пустыре напротив мальчишки катались с горки — кто на санках, кто на лыжах, а кто и просто на той части тела, которая служит более для сиденья, чем для катанья. Они кричали, пар шел изо рта, и дворник-татарин стоял на панели, обняв метлу и дыша на замерзшие руки.

Зима! А он и не заметил.

Раздевшись догола, он окатился холодной, колкой водой

и сейчас же стал растирать мохнатой перчаткой покрасневшее мускулистое тело. Женщина в сквере подле мечети, та самая, которую они с Трубачевским провожали через мост, вспомнилась ему с такой живостью, что он даже удивился. «Как она смотрит — не глазами, а всем лицом, когда говорит,— подумал он и, продолжая вспоминать, машинально растирал ноги, живот и грудь, хотя давно уже был совсем сухой.— И как просто».

Он улыбнулся и покраснел, вспомнив ее пальто, коротенькое, с одной пуговицей, с рукавами раструбом, и ноги, прямые, высокие, в матовых чулках. И этот локон...

Локон был такой, что он бросил перчатку и взволнованно прошелся по ванной комнате. Это уж ему не понравилось, и он сейчас же нарочно стал думать о ней холодно, даже грубо.

И все прошло, когда он сделал гимнастику, а потом отправился на кухню разжигать примус.

Только что кончил он свой чай, как явился Лукин — в валенках, в полушубке, в огромной мохнатой шапке, и в комнате сразу запахло холодом и еще чем-то крепким и вкусным, не то хлебом, не то кожей.

— Решили в Петергоф,— объявил он,— дворцы смотреть, а потом на лыжах.

— А Хомутов?

— Будет ждать на вокзале.

Хомутов был медик второго курса и самый популярный человек во всем институте.

Маленький, черный и черноглазый, он появлялся на всех диспутах и повсюду ввязывался в споры. Все решительно он готов был не понять и ни с чем на свете не соглашался. Бывший беспризорник, в двенадцать лет исколесивший весь Советский Союз, он еще в 1923 году под прозвищем Ежик был отлично известен милиции — в равной мере московской и петроградской. В развалинах Литовского замка он устроил республику беспризорных и был полновластным ее вождем, пока после одной глубокой облавы не попал в колонию на озере Тургояк, на Урале. Дважды он убегал оттуда и вдруг явился добровольно и объявил, что кончено, больше не убежит! Что с ним произошло и почему он так переменился — об этом он никому не сказал ни слова. Но обещание свое сдержал, остался в колонии и стал помогать тамошней докторше, которая с самого первого дня, как он попал в Тургояк, заинтересовалась им и полюбила.

Он был мальчишески насмешлив, честолюбив, отличный товарищ и действительно похож на ежа, особенно когда в горячности спора поднимался на цыпочки и волосы, прямые и короткие, торчали во все стороны, как иглы. Оратор он был врожденный, но плохой.

На подъеме Балтийского вокзала он встретил Карташихина и Лукина и, погрозив им кулаком — до отхода поезда осталось три минуты,— побежал за билетами. Очередь у кассы была большая, но он как-то схитрил, получил вне очереди, и они поспели. Ругаясь и смеясь, они побежали за поездом и вскочили в последний вагон, догнав его у самого края платформы.

3

Дворец был почему-то закрыт, их не пустили, фонтаны в парке заколочены досками, и даже на знаменитом Самсоне стоял высокий скучный футляр с большой шапкой снега. И везде стояли такие же деревянные футляры, похожие на гробы, как будто прямо под открытым небом устроили бюро похоронных процессий. Только Гидры и Фантазии между лестницами были открыты, но и тех так странно преобразил снег, что они стали вовсе на себя не похожи. У них был не загадочно-веселый, как летом, а важно-унылый, безработный вид.

— Ну и к черту, пошли на лыжную! — объявил Хомутов.

День был непраздничный, лыжная станция пустовала. Три-четыре пальто висели в раздевалке, сонный сторож сидел у печки с кочергой на коленях.

Пахло хвоей и кожей — пьексы сохли в стороне на длинных подпорках, уложенных, как большое «П»,— и всем троим стало весело от этого запаха, и потому, что комнаты такие большие и светлые, и потому, что очереди нет, и, наконец, просто так, без всякой причины.

Не вставая со стула, сторож отобрал у них профсоюзные билеты и махнул рукой на пьексы:

— Выбирай!

Но это оказалось не так-то просто. Все подходящие пьексы, как это всегда бывает, оказались на одну ногу, а все неподходящие — в полном порядке. Потом пришлось долго выпрашивать у сторожа веревочку, потому что на пьексах Лукина один шнурок был короткий. Потом, когда

веревочка была выпрошена и продета, Лукин объявил, что он в пьексах не только на лыжах ходить, но и просто на полу стоять не может.

— Присадистые,— сердито сказал он и, скинув пьексы, потребовал назад свои валенки.

Потом оказалось, что ремни слишком просторны, палки коротки, лыжи смазаны не той мазью, которой их полагалось мазать, и так далее.

И вот наконец они выбрались со станции и бегом пошли вдоль Нижнего парка в Александрию.

Карташихин в этом году впервые стал на лыжи и первые два-три километра шел робко, думая о ногах, которые то разъезжались, то зацеплялись. Он шел русским шагом, крупным и плавным, и самое главное было — найти эту позабытую за лето плавность. Хомутов и Лукин ушли вперед, он находил и терял их среди белых, мохнатых от снега деревьев.

Небольшая горушка попалась на дороге, он попробовал подняться на нее елочкой, занося лыжи так, чтобы на снегу получался отпечаток елки,— и вышло, не упал.

— Молодец,— сказал он себе и, скатившись на дорогу, пустился догонять товарищей.

Часа полтора они катались с гор в Александрии, и потом решено было отправиться в Старый Петергоф — там в немецкой колонии жил какой-то знакомый Лукина, и ему хотелось с ним повидаться.

Проплутав с полчаса, они вышли на липовую аллею, ту самую, вдоль которой проложены к фонтанам огромные, еще петровские трубы, и пошли к Старому Петергофу. Косые параллельные тени лип, черные-пречерные на ослепительно-белом снегу, лежали поперек аллеи; они все время пересекали их, и солнце то закрывалось липами, то открывалось.

Потом аллея вдруг оборвалась возле розового, облупленного дома с заколоченными окнами, перед которыми было чистое, ровное место, должно быть, пруд. Они постояли немного перед огромным голым металлическим стариком, лежавшим среди кустов на каменном постаменте. Грудь у старика была пробита пулей, в ногах сидел маленький человечек.

— Надо думать, Зевс,— сказал Карташихин и глазами студента, только что сдавшего анатомию, оценил ширину груди и плеч и необычайную пропорцию корпуса, ног и таза.— Но каков должен быть мозг у такого человека!

— А каковы funiculus spermaticus! — прибавил Хомутов, и все расхохотались.

Они свернули направо, и Лукин, узнав у проезжего немца дорогу, отправился в колонию, а Карташихин с Хомутовым пошли дальше, условившись встретиться с ним на лыжной станции в четыре часа.

По крепкому, чуть похрустывающему насту они шли некоторое время молча, не торопясь и не меняя шага; потом какое-то здание на высокой, сверкающей от снега горе открылось из-за поворота дороги, и они побежали к нему наперегонки.

Хомутов сразу ушел вперед, Карташихин догнал, и минут десять они шли вровень, стараясь равномерно дышать и, как лошади, дымясь паром. Они были уже на середине подъема, когда у Карташихина вдруг соскочил ремень, одна лыжа вырвалась и побежала обратно. Он сел на другую и оглянулся: как будто обрадовавшись, что может наконец пойти, куда вздумается, лыжа мчалась вниз, подпрыгивая и норовя с дороги в кусты. Там она и застряла.

Ругаясь, Карташихин отправился за лыжей и, приладив ее, стал смотреть, куда ушел Хомутов.

Снег был такой сияющий, что глазам больно, и он довольно долго стоял, прикрыв их ладонью, пока рассмотрел на последнем крутом склоне маленькую черную фигурку.

— Эй, Мишка! — закричал он.

Но Мишка даже не обернулся.

— Вот черт!

Сердце у него стучало, пар замерз на спине, свитер встал дыбом, но он все-таки догнал Хомутова, и, добравшись до вершины, они пристроились между колоннами здания с подветренной стороны и стали палками сбивать лед с ремней и резины.

— Здорово, а?

— Здорово,— согласился Карташихин и стал смотреть вниз, присев на лыжи и обхватив колени руками.

Они поднимались с пологой стороны, там, где дорога заворачивала на гору большим плавным поворотом. На невысоких холмах, налево от дороги, видны были черные домики какой-то деревни.

По правую руку гора спускалась террасами, довольно крутыми, и купами шли по бокам кусты и небольшие деревья. Две статуи Александра Македонского, сдерживающего коней, такие же, как на мосту через Фонтанку, только поменьше и похуже, стояли на первой террасе, и на

Александрах были высокие шапки из снега, а кони тощие, с грустными мордами и засыпанными снегом ноздрями.

И все, если зажмуриться, а потом посмотреть сразу, одним взглядом, было синее или белое, потому что во всем, даже в этих статуях, участвовали каким-то образом снег и небо.

— Мишка,— сказал вдруг Карташихин,— ты когда-нибудь был влюблен?

Хомутов хотел ответить шуткой, но посмотрел на товарища и удержался.

— Нет, брат,— сказал он неожиданно грустно,— на этот счет дело обстоит у меня значительно проще.

Они помолчали.

— Смотри-ка, здесь, должно быть, когда-нибудь сад был,— сказал Карташихин, заметив, что кусты вдоль террас идут правильными рядами.

— Ясно, был! А слабо́ по таким трамплинам съехать?

— Морду обдерешь.

— А пари, что не обдеру.

Карташихин посмотрел еще раз.

— Обдерешь, милый, что я с тобой потом делать буду?

Вместо ответа Хомутов вскочил и взял палки. Должно быть, ему самому стало страшновато, потому что он постоял немного, похлопывая рукавицами и переваливаясь с лыжи на лыжу. И вдруг, подогнув колени, отвел палки назад, ухнул и полетел вниз.

Только на первой террасе он подскочил довольно высоко и неровно опустился на снег, на второй и третьей все сошло отлично, и он упал на бок, уже когда миновал все опасные места и шел по ровному, у подошвы, полю.

Карташихин крикнул ему и помахал. Хомутов крикнул и тоже помахал, и Карташихину показалось, что он кричит: «Не ехать, не надо».

— Дразнится, прохвост, что мне не съехать,— сказал Карташихин и поднялся на бугорок; два длинных, заблестевших на солнце следа шли до первой террасы, потом терялись, потом начинались снова.

Он присел, оттолкнулся и отвел палки назад.

Ух, как закололо щеки, ветер ударил прямо в глаза и засвистел, засвистел! Все полетело навстречу с такой быстротой, что у него ноги задрожали, но он устоял, только присел пониже. Первая терраса так и подкатилась, и он, с неожиданной плавностью опустившись на снег, понял, что это была она и что взял превосходно. Купы по бокам

мелькнули и пропали, он шел все быстрее. И вдруг тонкая тень — не то проволока, не то веревка, свисавшая с одного деревца и слегка приподнятая над снегом,— появилась перед ним, сперва где-то далеко, но сейчас же ближе и ближе. Секунда прошла или еще меньше, а она уже была под самыми его ногами. Он весь напрягся, инстинктивно выбросив вперед руки с палками, услышал крик и сам коротко и хрипло вскрикнул. Но тоненькая тень на снегу мелькнула и исчезла, а он все катился вниз, пошатываясь, и только лыжи, то правая, то левая, поочередно отнимались от снега...

— Нашли, черти, где полевой телефон проводить,— сказал он, когда все кончилось и он благополучно затормозил в десяти шагах от Хомутова.

Скинув лыжи, он сел, вытирая лоб и немного стыдясь, что так испугался. Хомутов посмотрел на него.

— Знаешь, когда мне на самом деле страшно стало? — отвечал он серьезно.— Когда ты руки выбросил и палки стал перед собой держать. Балда, если бы ты упал, ты бы палкой продырявил брюхо!

Солнце садилось, небо становилось мутней и белей, и снег посинел, когда они возвращались. Хомутов снова ушел вперед, и Карташихин не стал догонять: ему захотелось остаться одному среди этих заваленных, тяжелых и белых деревьев парка, в такой тишине, что слышен был только равномерный скрип его лыж. Это была такая тишина и чистота, что он как бы приостановился (хотя он все шел, только очень медленно) и прислушался к себе. Было что-то такое, о чем он забыл, но не так, как забываешь лицо или слово, а нарочно. «Как будто можно что-нибудь нарочно забыть»,— подумал он и сейчас же вспомнил.

«Ну, чего, чего привязалась, голубушка, проходи»,— мысленно сказал он, но она не ушла, осталась. И, сердясь на себя, он снова начал думать о ней. Опять он перебрал все, что было. Как он шел за ними по мосту и молчал, и даже, кажется, спать хотелось. Как Трубачевский взял ее под руку и она сказала: «Такой молодой и уже такой умный»,— и еще что-то...

— К черту, к черту,— сердито пробормотал он и, перейдя линию железной дороги, пошел по давешней липовой аллее. Длинное красное здание — должно быть, тир — открылось по левую руку, за ним аэродром. Полосатый хобот торчал по ветру, то надуваясь, то опадая; красноармеец стоял неподвижно в шишаке и огромной распахнутой

шубе. Карташихин прошел мимо и свернул с аллеи в поле — туда, где уже видны были здания Нового Петергофа.

«Такой, ясное дело, красавцы нужны, в шляпах.— Он не замечал, что идет все быстрее и быстрее.— А я тут ни при чем, и ерунда, просто устал немного, вот и лезет в голову этот вздор».

Но вздор все лез, пока он не рассердился и, стиснув зубы, не приказал себе перестать думать о ней.

Так, со стиснутыми зубами, он и подъехал к лыжной станции, где его уже ждали во дворе Хомутов и Лукин. Они сняли лыжи, отогрелись, расплатились и с ближайшим поездом вернулись назад.

4

Они приехали веселые и голодные и нанесли столько холода в квартиру, что Матвей Ионыч, который открыл дверь, сейчас же, ничего не сказав, накинул бушлат, а потом, подумав немного, даже надел его в рукава.

Лукина он и раньше знал, но Хомутова видел впервые и присматривался к нему с недоверием. Трубка его сопела выжидательно. Но когда он принес студентам масло и хлеб и Хомутов сказал: «Спасибо, папаша, есть,— и развернул пакет, а потом, ухмыльнувшись, добавил: — И это есть»,— и достал из кармана пальто бутылку водки, трубка засопела сердито.

Опять ничего не сказав, Матвей Ионыч принес пробочник и рюмки и стал помогать студентам хозяйничать: он отлично, тонко нарезал хлеб и колбасу, принес салфетку, накрыл на четыре прибора, как самая опытная хозяйка. Но трубка все сердилась — до тех пор, пока Карташихин, знавший все свойства этого инструмента, не предложил тост за «красного морского волка, который недаром проливал кровь на фронтах гражданской войны...». Все выпили, и трубка стала сопеть веселее.

Потом пришел Трубачевский.

Он не был свободен в этот день, но накануне старый Бауэр, посмотрев на него через кулак, объявил, что вид — плохой и чтобы он хоть в кинематограф пошел или куда там...

— Я в ваши годы таким послушником не был,— с обычным ласково-сердитым выражением сказал он.— Ну, занимался час в день или два. А после гулял. С девицами или с этими... с друзьями. А вы с утра до вечера...

Трубачевский немного огорчился, найдя у Карташихина двух новых, незнакомых ему людей. «Должно быть, медики»,— подумал он и стал приглядываться к ним с любопытством.

Лукин понравился ему: он был курносый, широколицый, плечи большие, немного сутулые, а руки просто медвежьи,— и все как будто из дерева вырублено, особенно волосы, свисавшие на лоб треугольными космами. «Как на деревянной скульптуре»,— подумал Трубачевский.

«А вот этот — обезьяна»,— решил он, глядя, как Хомутов сидит на стуле, поджав под себя ногу, и смеется, прикрывая рот маленькой красивой рукой.

Но это были медики, и он почему-то почувствовал к ним уважение.

Карташихин обрадовался ему, познакомил и усадил. Хотя он говорил немного громче и веселее только потому, что выпил лишнюю рюмку, Трубачевскому показалось, что он старается подчеркнуть, что рад ему; и старается именно потому, что Трубачевский пришел некстати.

Они говорили о каком-то Мухамедове, поместившем в стенной газете письмо под названием «Бюджет времени студента». Мухамедов утверждал, что для нормальной постановки учебного дела необходимо предоставить студенту возможность час в день «бросать на личную жизнь». Он ставил в пример самого себя и тут же доказывал, что так называемая любовь есть прямое отступление от исторического материализма.

— Я его знаю,— неторопливо сказал Лукин.— Он дурак.

— И сволочь,— добавил Карташихин.

— Нет, дорогие товарищи, дело гораздо проще,— возразил Хомутов,— у этого писателя отдельная комната. А вот каково, если в комнате пять человек? Что тогда с этим бюджетом делать?

— По очереди,— насмешливо предложил Карташихин.

Лукин посмотрел на него.

— Да так и делают,— неожиданно сказал он.— К одному придет — остальные выкатываются.

Матвей Ионыч, который теперь только собрался закусить, поднял руку с куском колбасы и прислушался.

— Так ведь это же совсем другое дело,— возразил Хомутов,— это уже не по бюджету, а просто из уважения к товарищу.

Матвей Ионыч тихонько положил колбасу назад. Брови

его дрогнули как бы от усилия понять что-то, он даже вынул трубку изо рта и хотел спросить...

— Слово предоставляется Матвею Ионычу,— громко и весело (Трубачевскому даже показалось, что слишком весело) закричал Карташихин.

Но Матвей Ионыч только махнул рукой.

— В ваше время небось другой бюджет времени был,— серьезно сказал Хомутов.— Зато у вас романтики быта не было. А у нас есть!

«Романтика быта» — так называлась статья, напечатанная в декабрьском номере одного из московских журналов. О ней говорили в ту пору на всех студенческих собраниях. Автор уверял, что после героических лет революции и гражданской войны молодежь переживает «похмелье будней» и что нужно найти новые пути «удовлетворения ее романтических потребностей». В качестве примера автор указывал на движение так называемых «Перелетных птиц», начавшееся еще в девятисотых годах среди немецкой учащейся молодежи. При помощи музыкальных упражнений, новой радикальной одежды и воздержания в пище движение «Перелетных птиц» вполне удовлетворяло тягу немецкого юношества к героическому образу жизни.

— Интересно знать,— смеясь, сказал Хомутов,— получают ли эти самые птицы стипендию? Если получают, так они смогут выполнить только один пункт своей программы: воздержание в пище. Я, например, прирожденный стипендиат — и поэтому на днях высчитал, каким количеством горячей воды можно заменить суточное питание. Оказалось — сорок ведер в день при ста градусах по Цельсию.

Трубачевский сидел и молчал.

Все, кажется, было на своем месте в этой комнате — и книжная полка над изголовьем, о которой Ванька всегда говорил, что она когда-нибудь пролетит мимо его головы на расстоянии в полтора миллиметра, и письменный стол, закапанный чернилами, и портрет доктора Карташихина над столом — словом, все, что он видел тысячу раз. А между тем что-то переменилось. Сердитый, с сердитым хохолком на макушке, Трубачевский молча слушал, как они говорили и смеялись, и уже успел рассеянно вытаращить глаза по своей привычке. Потом вдруг посмотрел на Карташихина как-то по-новому, со стороны, и друг его показался ему незнакомым. Карташихин сидел на столе, раскачивая стул ногами, с обветренным лицом, горевшим еще от цело-

го дня катанья на лыжах. Пиджак был накинут на одно плечо, ворот расстегнут, он стал грубее и проще.

— Ты что так долго не заходил? — спросил он, заметив, что Трубачевский смотрит на него и молчит.

— Работы много, все некогда,— отвечал Трубачевский и хотел рассказать, почему некогда, но Карташихин уже отвернулся и снова стал слушать Хомутова, который все ругал романтиков в жизни и в литературе.

— Нет, дорогие товарищи, при двадцати пяти рублях в месяц на это дело не остается ни времени, ни монеты. У меня есть знакомый студент, так тот ухитрился республиканскую получить — пятьдесят рублей, государственную — двадцать пять и профсоюзную — тридцать. Вот у этого и на романтику хватит!

— А по-моему,— вдруг сказал Трубачевский,— даже и на эти двадцать пять рублей далеко не все наши студенты имеют право.

Карташихин обернулся к нему с удивлением.

— Потому что либо стипендия — это вид социального обеспечения, и тогда всякий здоровый и честный человек должен от нее отказаться, либо это помощь, которую государство оказывает наиболее одаренным, и тогда нужно отнять эти двадцать пять рублей у девяти десятых студенчества и дать втрое больше тем, из которых может хоть какой-нибудь толк получиться.

— Ого,— сказал с удовольствием Хомутов, и глаза у него заблестели. Он даже руки потер, готовясь к спору.— Это кто же наиболее одаренный? Вы?

— А вы знаете, как это в логике называется? — высокомерно отвечал Трубачевский.— Argumentum ad hominem.

Но «argumentum ad hominem» не произвел на Хомутова особенного впечатления.

— Нет, не знаю, как в логике,— быстро сказал он.— Но именно логики-то, по-моему, тут и не хватает. Во-первых,— он загнул палец,— Советская власть нуждается не только в гениях, но и просто в хороших докторах, химиках, инженерах. Во-вторых, в социальном обеспечении для советского студента нет ничего позорного. В-третьих, несмотря на стипендию, огромное большинство студентов работает в порту или служит. В-четвертых, стипендию выдают у нас, как известно, по социальному признаку, и отказываться от нее могут только те, у кого богатая бабушка в запасе. В-пятых, эта теория...

Но тут Трубачевский перебил его и стал возражать — и сразу с таким раздражением, которое никак нельзя было объяснить иначе, как тем, что он сердится за что-то другое. Карташихин понял это и на полуслове оборвал спор.

— Товарищи, восьмой час,— сказал он.— Мы, кажется, собрались в театр.

Трубачевский угрюмо замолчал. Он сам не очень хорошо знал, почему так вспылил и так близко к сердцу принял этот вопрос о стипендии, которым десять минут назад совсем не интересовался.

«Чего я так обозлился? — немного успокоившись, подумал он, когда, простившись с Матвеем Ионычем, они по узким коридорам-дворам вышли на улицу Красных зорь и все показалось особенно отчетливо и свежо, как всегда бывает после накуренной комнаты и спора.— И, кажется, расхвастался? Для чего я сказал это «argumentum»? Чтобы показать, что я логику читал?»

И он покраснел, вспомнив, что дважды принимался читать логику и никак не мог осилить больше половины.

«Что они подумали обо мне? Впрочем, ясно: что я потому и говорю так, что у меня богатая бабушка в запасе. Ну и думайте,— мысленно обратился он к ним, хотя никакой бабушки не было.— И думайте, и черт с вами!»

Но хотя он и сказал это «черт с вами» и притворился перед самим собой, что ничего не случилось, чувство неловкости и недовольства собой не оставляло его. Он чувствовал, что был бы очень рад, если бы медики с ним подружились, но именно поэтому-то и был сердит на себя.

На трамвайной остановке он стоял с таким угрюмо-расстроеным лицом, что Карташихин не удержался и спросил, что с ним.

— Нет, ничего. Мы в Большой драматический? Пожалуй, билетов не достанем.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В этот день шел «Слуга двух господ», и, когда они явились в театр, билетов не было и даже касса была закрыта. Расходиться не хотелось, и Хомутов предложил отправиться в бар под Европейской гостиницей.

— Ставлю на голосование,— сказал он, когда Карташихин отказался,— кто за, поднимите руки.

Трубачевский мрачно проголосовал «за». В бар ему не хотелось; но при этом слове ему представилось, как он сидит за столом, молча много пьет и только загадочно усмехается, когда они спрашивают, что с ним. И наконец Карташихин подсаживается и кладет руку на плечо...

Швейцар в синей куртке и с такой большой челюстью, что Трубачевский невольно почувствовал робость, остановился взглядом на валенках Лукина, но ничего не сказал и пропустил их.

Было только девять часов, и бар еще не был тем скучным и грязным местом, каким он становился по ночам. Еще никого не били. Женщин еще почти не было, и очень мало пьяных. Под голубыми колпаками лампочки горели на столиках, и свет был еще ясный, не такой, как по ночам, когда все становилось мутным от дыма и дыхания. Официанты ели на антресолях. На эстраде настраивали инструменты и раза два пробовали что-то начать, но длинный лохматый дирижер во фраке останавливал и сердился.

Белые скатерти, и искусственные цветы на окнах, и официанты в белых курточках — все это было так нарядно и благородно, что студенты даже притихли.

Только Хомутов быстро и весело оглядывался и дышал на маленькие замерзшие руки.

— Товарищи, викторина,— сказал он, когда все уселись.— Вопрос первый: пили ли водку до рождества Христова?

— Не знаю, пили ли до рождества Христова,— смеясь, сказал Карташихин,— но мы пили час назад, и я больше не буду.

— Врешь, рюмку выпьешь.

И он с таким спокойно-бывалым видом заказал подошедшему официанту графинчик водки и закуску, что Трубачевский с мрачной завистью посмотрел на него. Он уже жалел, что пошел с медиками в бар. Ему казалось, что они говорят неестественными голосами и стараются веселиться. Но и не только они — все было невесело и неприятно: эти бумажные цветы на окнах, желтые и зеленые абажуры, эти люди в грязных белых курточках и этот маленький жирный гражданин, который сидел недалеко от них, поставив локти на стол и подпирая щеки кулаками.

«Какая сволочь»,— подумал о нем Трубачевский.

— Викторина, вопрос второй,— объявил Хомутов, когда официант ушел.— Почему зайцы не едят хинного дерева?

Он обращался ко всем сразу, но Трубачевскому показалось, что именно к нему и нарочно с таким глупым вопросом.

— Откуда вы знаете, что не едят? — насупясь, возразил он.

Карташихин поспешил вмешаться:

— Потому что у них никогда малярии не бывает.

— Врешь,— с торжеством сказал Хомутов,— потому что там, где растет хинное дерево, зайцы не водятся.

«И чего ему так весело? — тоскливо глядя прямо в его открытый, смеющийся рот, думал Трубачевский.— Зубы какие мелкие и ровные. Вот и Ванька смеется. И ему весело».

Он взглянул на Карташихина. И Карташихин поймал его взгляд и вдруг подвинулся поближе, обнял за плечи.

— Ты что, брат, а? — спросил он тихо.

— Ничего,— разбитым голосом пробормотал Трубачевский. Карташихин, не расслышав, наклонился поближе.— Ерунда, не обращай внимания.

И, чувствуя, что на душе становится легче, он вскочил, полез за селедкой, которой ему вовсе не хотелось, и, к огорчению Хомутова, опрокинул его рюмку на скатерть.

Когда через час он встал, чтобы прикурить у того самого жирного гражданина, который прежде казался ему таким противным, он почувствовал, что для того, чтобы идти ровно, непременно нужно думать о ногах. Гражданин сидел, подпирая щеки кулаками и грустно уставясь на стоявшую перед ним полупустую бутылку. Он был хорошо одет, но растрепанный, сдвинутый набок воротничок, как хомут, стоял над толстой шеей.

— Сделайте одолжение.

Откинувшись, он полез за спичками и, пока Трубачевский прикуривал, собрался, кажется, о чем-то спросить его.

— Марксист? — наконец сказал он негромко.

— Марксист,— серьезно отвечал Трубачевский.

— А я — нет,— сказал пьяный и зажмурился.— И вы меня спросите — почему?

— Почему?

— Потому что я — дьякон. Был и в душе остался.

— Ну и что же такого,— добродушно возразил Трубачевский,— вы могли бы...

— Нет, я бы не мог. Я бы не мог. А почему? Потому что всякий человек, будь он даже марксист, умирает. А почему он умирает? Вы меня спросите — почему?

— Почему?

— Потому что он имеет право жить до последней минуты, но не более. И когда умирает, жизнь его прекращается. А теперь вы меня спросите, как марксист, может ли он на это роптать?

— Может ли он на это роптать? — серьезно спросил Трубачевский.

— Не может. Почему? Потому что и небу не все доступно. Например, козырный туз,— сказал пьяный шепотом и пугливо оглядываясь.— Может небо научить, как мне козырного туза перебить, или не может? Не может. А если не может — значит, не ропщи, значит, козырный туз похитрее неба...

— Знаете, кто это сидит? — сказал Трубачевский, вернувшись к столику и с удовольствием слушая свой голос, который звучал как-то отдельно от него.— Это — дьякон.

— Ну да?

— Честное слово.— И он передразнил очень похоже: — «А теперь вы меня спросите, как марксист...»

Все засмеялись, даже Лукин улыбнулся, и Трубачевский вдруг почувствовал, что он очень любит их всех. Как это он раньше не замечал, какие они хорошие и даже красивые! «Именно красивые»,— подумал он, с нежностью глядя на Лукина, который с деревенской важностью сидел на копчике стула. И Трубачевскому захотелось сказать ему что-нибудь хорошее, но он ничего не придумал и только придвинул к нему тарелку с колбасой и долил его рюмку.

— А вот это уже не урбанизм, а наплевизм,— сказал он, прислушиваясь к спору между Карташихиным и Хомутовым.

Он заметил, что они переглянулись и улыбнулись, но нисколько не обиделся, наоборот — обрадовался, что так удачно, смешно сказал.

Один человек уже давно занимал его, и он начал смотреть, что тот делает и с кем теперь говорит.

Это был какой-то известный человек, потому что к нему несколько раз подошел, согнувшись, старший официант, не в форменной курточке, а в штатском; и за столиком все поминутно обращались к нему.

Маленького роста, худощавый, он каждую минуту вставал и садился, но едва ли что-нибудь видел перед собой. Без сомнения, он был пьян, но не так привычно и спокой-

но, как дьякон, а все нервничал и метался. И ему наливали и наливали...

Трубачевский долго наблюдал за ним. Эти кудряшки, начесанные на лоб, детская улыбка,— где он все это видел?

Но было в лице и что-то страшное, особенно когда, слушая, он наклонялся вперед всем телом и закрывал глаза. «Как отравленный»,— подумал Трубачевский и вдруг, забыв про этого человека, снова вмешался в спор между Карташихиным и Хомутовым.

— Об этом есть у Энгельса, об урбанизме,— сказал он миролюбиво,— я недавно читал.

Они давно уже говорили о другом. Хомутов отставил от него графинчик и налил сельтерской воды. Трубачевский послушно выпил.

Он опять посмотрел на человека с кудряшками и удивился. Человек этот стоял, стиснув зубы, страшный, с полузакрытыми глазами и бутылкой бил посуду. Все вскочили; женщина в стороне отряхивала залитое вином платье.

За соседним столиком тоже вскочили, и весь ресторан переменился в одну минуту. Только оркестр продолжал играть. Двое мужчин подошли к скандалисту, пугливо и неловко ловя его руки, и он отступил на шаг, посмотрел отчаянно и добродушно и сразу же с прежним бешенством поднял бутылку. Трубачевский оглянулся — и столько лиц, жадных и равнодушных, смеющихся и пьяных, прошло перед ним, что он испугался и ему стало жалко этого худенького буяна.

— Сейчас бить будут,— весело объявил Хомутов.

— Как бить?

— Очень просто. Разобьют морду и выкинут.

— Не может быть,— взволнованно сказал Трубачевский.

— Очень даже может. Да вот уже и берут.

Официанты неторопливо подошли к белокурому человеку и вдруг наскочили на него сзади. Один вырвал бутылку. Его повели как раз мимо столика, за которым сидели студенты. Женщина в залитом вином платье бежала сзади.

— Не трогайте, это известный поэт.

Ее никто не слушал. Официанты вели его со скучными, привычными лицами, он тоже шел и молчал.

— Поэт?

Трубачевский хотел вскочить, но Карташихин не дал.

— Это поэт. Понимаешь?

— Брось ты, пожалуйста, к черту,— медленно, с медью в голосе сказал Карташихин.— Это, может быть, и поэт, а ты пьян. И если вмешаешься, изобьют, как собаку.

— Да я тебе говорю, поэт, я где-то его фотографию видел.

Но все равно уже было поздно. Поэта увели. Трубачевский смотрел вслед, и ему ужасно захотелось подойти и ударить этого швейцара с челюстью, хотя тот был ни при чем и только легко придерживал за руки женщину в залитом платье, которая все кричала, что это известный поэт, и пыталась пробиться к нему, а официанты ее оттирали.

— Какая сволочь, правда? — сказал Трубачевский Карташихину, думая про швейцара и все еще огорчаясь.

Но Карташихин сердито ел что-то и ничего не сказал.

2

Трубачевский выпил совсем немного — три или четыре рюмки, но все же на следующий день никак не мог в точности припомнить, когда пришли Варенька и Неворожин. Он помнил только, что абажуры как-то раскачивались и что было еще довольно весело, хотя и не так, как прежде, когда поэта еще не вывели из бара.

Первым он увидел Неворожина, который в синем прекрасном костюме с широкими лацканами шел по косому проходу между столиками, потом — ее.

Он сразу узнал ее, хотя тогда, у мечети, она была в пальто и шляпе, а теперь даже смотрела и шла по-другому.

На ней было платье с воланами, легкое и матовое, с косынкой, завязанной узлом на плече, и так причесана, что весь лоб, ясный и белый, был виден. Все глядели ей вслед. Она не пришла, а явилась в баре, и там, где она проходила, становилось тихо, переставали смеяться и говорить. Или, быть может, Трубачевскому это только казалось? Но если и казалось, она была все-таки так хороша, с такой высокой грудью и покатыми плечами, что он чуть не заплакал от нежности и волнения. В первый раз за весь вечер он догадался, что пьян,— и не потому, что чуть не заплакал, а потому, что вдруг не поверил, что может быть на свете, и еще здесь, в этом грязном баре, совсем недалеко от него, такая женщина, такая красавица! Потом он вспомнил, что ведь и Карташихин должен знать ее, они были вместе в тот вечер. Он обернулся к нему.

— Ваня, помнишь?

Но Карташихин, должно быть, не помнил. Немного бледный, но очень спокойный, он смотрел в другую сторону, туда, где сидел маленький дьякон.

Неворожин и Варенька прошли и исчезли. Они появились несколько минут спустя на антресолях и заняли только что освободившийся столик у самого барьера. Официант торопливо смахнул со скатерти и, подбросив салфетку под локоть, почтительно согнулся перед ними. Неворожин что-то сказал, официант исчез, и они остались одни.

Потом Неворожин, улыбаясь, заговорил с ней, а она как будто не слушала. Поставив локоть на барьер, она глядела вниз, не меняя прежней высокомерной осанки, но с оттенком рассеянности, которая в глазах Трубачевского делала ее еще удивительнее и прекраснее.

Он давно уже изо всех сил задирал голову, надеясь, что она увидит и он успеет поклониться, но она все не замечала его, хотя — так ему показалось — несколько раз останавливалась на нем взглядом.

— Ах, черт, не узнает, не помнит,— совсем забывшись, сказал он с досадой.

— Забыла,— насмешливо сказал Хомутов и подмигнул Карташихину.

Но Карташихин не улыбнулся, смотрел прямо, а Трубачевский спросил коротко:

— Что?

И Хомутов, чувствуя, что тут что-то неладно и что насмешничать неудобно, даже опасно, пожал плечами и заговорил с Лукиным.

— Ванька, пойдем к ним,— очень довольный тем, как он сказал это «что?», предложил Трубачевский,— не может быть, она нас вспомнит, честное слово.

— Иди, пожалуйста, если хочешь, а мы сейчас уходим,— холодно отвечал Карташихин.

— Нет, вы меня подождите, я поздороваюсь и вернусь.

Студенты смотрели ему вслед. Он шел, забирая по сторонам и обходя столики дальше, чем нужно.

— Ты давно его знаешь? — спросил Хомутов.

— Давно,— сказал Карташихин.— А что?

— Да ничего. Какой-то чудной...

— Почему чудной? — нехотя возразил Карташихин.

— Нервный.

— Он не нервный,— сказал Лукин, на которого в баре напало созерцательно-важное настроение; он молчал, мор-

гал, ел и все с каким-то остолбенелым видом,— а он слабогрудый.— И прибавил, подумав: — Мягкой.

— Нет, ничего,— стараясь не смотреть на антресоли, упрямо повторил Карташихин.

Потом принесли горох, который уже часа полтора как был заказан. Хомутов попробовал и скорчил гримасу.

— Будь ты проклят! И кто тебя съест, сукина сына? — сказал он, смеясь.

И они заговорили о другом.

Поднимаясь по лестнице, Трубачевский придумывал первую фразу. Он чуть не повернул назад, когда оказалось, что, кроме «здравствуйте», ничего в голову не приходит. Но как-то вышло, что не только не повернул, а, напротив, спросил у бежавшего к нему навстречу с блюдом в руках официанта, как пройти на антресоли. Тот указал, и без всякой мысли о чем бы то ни было, с легкой, приятно-туманной головой Трубачевский подошел к столику, за которым сидели Варенька и Неворожин.

Оба не сразу узнали его и некоторое время смотрели внимательными, вспоминающими глазами. Потом Неворожин с обычным противно-снисходительным видом, не вставая, протянул Трубачевскому руку.

— Прошу любить и жаловать, Варвара Николаевна. Товарищ Трубчевский.

Трубачевский обиделся и хотел поправить, но вместо этого пробормотал:

— Мы знакомы.

Он еще раз поклонился и покраснел.

— Конечно, знакомы. И помню.

Она поздоровалась с ним так приветливо, что Неворожин, который только что собрался спросить, где они познакомились, вдруг переменил намерение и, улыбаясь, дружески потянул Трубачевского за рукав.

— Садитесь. Вы что же, завсегдатай в таких местах?

— Да, я бываю иногда,— соврал Трубачевский.

— Смотрите, я Сергею Ивановичу скажу, попадет.

— Ага, вам попадет,— сказала Варвара Николаевна.— Ну ничего, мы возьмем вас под свою защиту. Не правда ли? — обратилась она к Неворожину с той холодностью, которая пропала, когда подошел Трубачевский, а теперь снова вернулась.

— Непременно,— улыбаясь, сказал Неворожин.

Трубачевский посмотрел на его баки, подстриженные углом, потом в глаза, вежливые, но как бы лишенные вы-

ражения, и ему вдруг захотелось его ударить, как того швейцара с челюстью, стоявшего у входа.

— А где же ваш приятель? — сказала Варвара Николаевна.— Ведь вы были тогда с приятелем? Такой сердитый.

И она быстро изобразила, какой сердитый.

— Ужас, как ему не хотелось идти меня провожать!

— Он здесь, внизу сидит,— радостно отвечал Трубачевский.

Она посмотрела вниз.

— Который? Вот этот?

Трубачевский встал за ее стулом. Он нагнулся, ища глазами столик, за которым сидели студенты. Легкие волосы коснулись его щеки. Сердце стало биться крупно и скоро. Он стоял и ничего не видел.

— Вот там, у окна,— сказал он, с трудом вспоминая, что они сидели у окна.

— Ага, вижу. Трое?

— Трое,— сказал Трубачевский и, сам не зная, что делает, нагнулся еще ниже. Но Неворожин насмешливо скосился на него, и он сейчас же выпрямился, перевел дыхание.

— Вот этот справа. Не узнаете?

Варвара Николаевна долго и с любопытством смотрела на Карташихина.

— Нравится,— сказала она с радостью.— Неворожин, посмотрите. Правда, славный? Эта серая курточка у него парадная?

Неворожин пожал плечами.

— Да, очень славный,— с комическим отчаянием сказал он.— Разбойник с большой дороги. И знаете, на кого похож? На Толстого в молодости. Разумеется, на Льва Толстого.

Карташихин видел, что его рассматривают. Он отвернулся и сидел несколько минут, опустив голову, исподлобья уставясь в широкие стекла окна, где все отражалось — и он сам, и искусственные цветы на столах, и люди, которые ели и пили, но все было тихим и темным. Они еще смотрели на него, он был в этом уверен. Злобно нахмурившись, он с шумом отодвинул стул и встал.

— Ты куда?

— Домой.

— Лукин, хватай его за пульс. У него — как это, к черту, называется? — febris от укуса ядовитой мухи.

Хомутов налил портеру.

— Прими как успокоительное вот эту микстуру.— Он подвинул Карташихину кружку.— И садись.

— Нет, вы как хотите, а я пойду,— упрямо и мрачно повторил Карташихин.

— Во-первых, если ты уйдешь, нам придется ночевать в ближайшем отделении, потому что деньги у тебя, а у нас с Лукиным...— И Хомутов развел руками.

— Во-вторых, еще не доедено и не допито. В-третьих, нам нужно дождаться Трубачевского, если только он не собирается идти ночевать к этой...

— Возьми, пожалуйста, деньги, а я пойду.

— А Трубачевский?

— Вы скажете ему, что я ушел.

— Это не по-товарищески,— возразил Хомутов, но, заметив, что Карташихин снова нахмурился, добавил поспешно: — Ну ладно, пойдем. Вот горох доем, и пойдем.

Карташихин сел. Он ни разу не взглянул наверх, но знал, что они говорили о нем.

И они действительно говорили о нем. Трубачевский расхваливал его. Варвара Николаевна слушала и улыбалась.

— На каком же он факультете, ваш гениальный друг? — снисходительно спросил Неворожин.

— На медицинском,— скоро и мрачно ответил Трубачевский и опять обернулся к ней. Он хотел сказать, что у Карташихина «железная воля», но теперь, после того как Неворожин спросил про факультет, этого уже нельзя было сделать, и он замолчал.

— Значит, он хороший? — спросила Варенька.

— Очень.

Она взглянула на Трубачевского, на его хохолок, на лицо с румянцем еще детских щек и глаза, блестевшие от водки и возбуждения.

— Это не он хороший, а вы,— сказала она.— И ужасно молодой, ужасно. В сравнении с вами я просто бабушка. Неворожин, правда, я — бабушка?

— Ну, бабушка — я бы все-таки не сказал, Варвара Николаевна.

— Ну, не бабушка — тетя. Знаете что,— обратилась она к Трубачевскому,— поедем ко мне! Здесь скучно. Мне говорили, что бар — это бог знает что, какой разврат и страшное место. Просто пивная, только в два этажа, все пьют и скучают. Поедем, да? Я угощу вас чаем.

Неворожин постучал по тарелке, подошел официант и шепотом сказал, сколько нужно платить. Трубачевский испуганно оглянулся на него и вдруг храбро полез за кошельком. Неворожин ловко придержал его руку.

— Варвара Николаевна, я с вами не согласен,— продолжая разговор, весело и вежливо сказал он.— Это место страшное. И знаете ли чем? Притворством. Здесь все притворяются. Одни — что им весело, другие — что им скучно.

И он заговорил о настоящих барах — в Англии и Америке.

Он рассказывал отлично, с легкостью и как бы без особенного желания заинтересовать, но в то же время с какой-то повелительностью — так, что нельзя было не слушать.

Все время, пока он рассказывал, Трубачевскому хотелось сказать, что недавно он читал превосходное описание бара в романе Драйзера «Сестра Керри», и он долго выбирал удобную минуту. Наконец сказал — и некстати. Варвара Николаевна удивилась, а Неворожин подождал немного и продолжал свой рассказ.

«Не пойду я с ними»,— мрачно подумал Трубачевский.

Они спускались по лестнице, и уже слышен был пропавший на минуту шум нижнего зала, а он все не мог решить — идти или нет.

— Я не пойду,— вдруг сказал он и остановился.

Варвара Николаевна обернулась.

— То есть я не могу,— спохватившись и чувствуя, что сделал неловкость, добавил Трубачевский.— Меня ждут. Большое спасибо.

— Ах да, ведь вы здесь не один. Ну, очень жаль. Но вы непременно приедете ко мне, непременно. Неворожин, вы приведете! — шутливо и повелительно сказала она и протянула Трубачевскому руку.

— Меня не нужно приводить,— понимая, что она его подбадривает, и мрачнея от этого еще больше, отвечал Трубачевский.— Я приду сам.

— Ах да, ведь вы уже большой, я совсем забыла.— С комическим испугом она отняла у него руку, и вот он уже прощался с Неворожиным, слушая его и ничего не понимая...

Убеждая себя, что поступил правильно, что это было бы просто свинство, если бы он ушел от товарищей, да еще не попрощавшись и не расплатившись, Трубачевский спустился вниз, и все показалось ему еще более шумным

и дымным, чем прежде. Он помнил, что столик был у окна, рядом сидел маленький дьякон, утверждавший, что козырный туз похитрее неба. Он нашел дьякона. Но за столиком, где сидели студенты, теперь никого не было. Никого!

Столик был еще не прибран, грязные вилки валялись, разваленная горка хлеба лежала на металлической тарелке, недопитая кружка портеру стояла там, где он ее оставил.

Он побежал в вестибюль.

Еще издали он увидел в дверях короткую шубку с висящими смешными рукавами. Варенька уходила. Неворожин придерживал дверь.

— Варвара Николаевна! — крикнул Трубачевский.

Дверь захлопнулась. Без пальто и шапки он догнал их в двух шагах от подъезда.

— Варвара Николаевна, вы меня к себе приглашали. Мои приятели ушли, я свободен, и, если можно...

— Ну конечно, можно, и очень рада. Идите одевайтесь, мы подождем.

3

Он вернулся в шестом часу утра, разделся и лег. Мелодия, которую играл у Варвары Николаевны патефон, все вспоминалась ему, особенно одно место, где вдруг вступал мужской убедительный голос.

Хотелось пить, но он не вставал. Он слышал, как проснулся и зашелестел газетой отец, и ему представилось, как отец лежит в своей глубокой кровати, держа газету далеко от глаз, и читает, наставив усы, хмуря рыжие старческие брови.

Трубачевский повернулся на бок. Спать, спать! Но спать не хотелось, и он снова стал думать о том, что было у Варвары Николаевны.

Ничего особенного. Они сидели и пили чай. Плюшевый мишка лежал на диване; она сказала, что Трубачевский похож на него, что этот мишка — хороший и умный, все понимает.

«Митя подарил»,— сказала она с нежностью, и Трубачевский понял, что так она называет Дмитрия Бауэра. Заговорили о нем, и она спросила, нравится ли он Трубачевскому. «Да, очень».— «Ну вот видите. А этот человек,— с холодным, почти враждебным видом она посмотрела на

Неворожина,— он говорит...» — «Я сказал только, что Дмитрий Сергеевич — сын своего отца»,— равнодушно возразил Неворожин...

Очень хотелось пить, но Трубачевский все не вставал, хотя уже несколько раз казалось ему, что он отправляется на кухню, наливает воду и пьет. Он чувствовал во рту вкус воды, но все не вставал.

Часы-ходики постукивали в кухне, он стал засыпать. Но прошло сколько-то — полчаса или час,— и он вдруг понял, что еще не спит.

«Ну ладно, ведь ничего не случилось,— с досадой сказал он себе.— Все хорошо, и хорошо, что я познакомился с ними. Каждый человек — сын своего отца, ничего особенного нет в этой фразе».

Но в этой фразе было что-то особенное, и Неворожин недаром сказал ее с таким притворным равнодушием.

Ходики постукивали на кухне, он стал прислушиваться к ним и — верный способ уснуть — дышать в такт, через каждые четыре удара; он дышал в такт до тех пор, пока сон совсем не прошел.

С открытыми глазами он лежал в темноте. Щеки горели. Он перебирал в памяти этот вечер, который был, кажется, страшно давно, а между тем все еще продолжался.

Ничего особенного. Сидели и пили чай. Потом она ушла куда-то и вернулась в расшитом японском халате. Разливая чай, она откинула рукава, и руки открылись почти до плеч, полные и белые, так близко...

Шепотом он сказал про нее самое грубое слово, какое только мог придумать. Черт возьми, он бы знал, что делать, если бы она была сейчас здесь в этом своем халате!

С волнением, которое нечего было скрывать теперь, когда он был один и в постели, вскочил и прошелся по комнате, накинув на себя одеяло.

Отец окликнул и спросил, отчего он не спит, он сказал:

— Ничего,— и пошел на кухню.

Ходики стучали на кухне, и все было, как всегда, как будто ничего не случилось. Он залпом выпил стакан воды, такой холодной, что заболели зубы, вернулся и лег.

Он больше не думал о ней. Завтра он читает доклад о Рылееве, и надо непременно заснуть, потому что уже девятый час, а в двенадцать — в университет. Он прочитает доклад, потом пойдет к Бауэрам, а потом...

И он вспомнил о Машеньке с такой тоской, с таким чувством стыда перед ней и беспокойства, что даже дыхание

стеснилось. Но на душе все-таки стало легче, когда представилось ее лицо, с этим знакомым и милым выражением доброты и упрямства, и как она много и быстро говорит и вдруг становится сдержанной и церемонной.

Он попросил у нее прощения за этот вечер, за то, что в баре волосы коснулись щеки, за эти руки, разливавшие чай, и заснул.

4

Весь день он думал о Машеньке.

Умываясь и прикладывая ко лбу холодную мокрую ладонь, он прислушивался к себе — прошло или нет это чувство радости и беспокойства, с которым он уснул накануне.

Отец разучивал марш на кларнете, все начинал и бросал. Трубачевский поморщился с отвращением и решил, что прошло. Но когда, наскоро выпив чаю, он вышел на улицу и оказалось, что большие мягкие хлопья садятся на плечи и лицо и тают, щекоча кожу, он решил, что нет, не прошло.

В шесть часов — вот когда он ее увидит! Сейчас двенадцать, в два он читает доклад у Лавровского, в четыре — профбюро, в котором он был представителем своего отделения, в пять... Он засвистал и прибавил ходу.

В университетской библиотеке он перелистал свой доклад. Кто будет возражать? Конечно, Климов со своей теорией литературного фона, в которой никто, даже он сам, разобраться не может. Еще кто? Ну, еще кто-нибудь — Боргман или Дерюгин.

Соображая, что будет оспаривать Боргман или Дерюгин, он перебрал в уме главные пункты доклада. Вот это — нет. И это — нет. А вот это — да, здесь будет потасовка.

Но Боргман, Дерюгин и Башилов — это все было одно и то же; он знал, как с ними говорить и что отвечать на их возражения. Будут и другие люди — например, Осипов или Репин. Он представил себе Репина — рыжего, с некрасивым, умным лицом, с медленной, запинающейся речью. Будут девицы. Впрочем, девицы, кроме Таньки Эвальд, будут молчать, а Танька невпопад приводить цитаты из Маркса. Главное — Репин.

И, думая, о чем будет говорить Репин, Трубачевский пошел в чайную, помещавшуюся в одной из маленьких аудиторий, взял чаю и пирожок. Девица за прилавком,

которую весь университет называл Наденькой, ласково встретила его и положила в стакан три чайные ложки сахару вместо законных двух. Он радостно улыбнулся ей и сказал, что она опять похорошела,— еще немного, и это станет общественным бедствием: студенты бросят все дела и будут с утра до вечера торчать в чайной.

И точно, чайная была полна. Даже на окнах сидели со стаканом в одной руке, с булочкой в другой. Трубачевский с трудом нашел свободное место.

Знакомая студентка задумчиво ела за соседним столиком винегрет. Он сравнил ее с Машенькой, и студентка так проигрывала от этого сравнения, что ему захотелось ее утешить.

— Срезались? — с участием спросил он.

Не переставая жевать, она молча серьезно кивнула.

— По какому?

— У Золотаревского, по истмату.

И она рассказала, что Золотаревский все время молчал, а потом спросил: «Это все, что вы знаете?» — и прогнал.

— Подумайте, второй раз! А у меня за первый курс минимума не хватает.

Большое, сиротливое ухо торчало из-под вязаной шапки, нос был большой, унылый. У Машеньки совершенно не такой нос, а ухо узенькое — он один раз видел.

— У вас есть какая-нибудь подруга, вроде вас (он чуть не добавил: «С такими же ушами и носом»), которая уже получила зачет по истмату?

— Есть.

— Ну вот вы ее вместо себя и пошлите. Ведь Золотаревский слепой. У нас Башилов за троих сдал...

Маленький, лопоухий Климов, которому Трубачевский вот уже месяца два как обещал статью для стенной газеты, стоял в очереди за чаем и улыбался ему. Трубачевский хотел удрать, но было уже поздно.

Он помахал Климову и поднял вверх два пальца.

— Климов, и для меня!

— Ладно.

Девица ушла, он занял для Климова место.

Два дюжих служителя внесли наконец огромный самовар, и Наденька, кокетливо косясь, принялась разливать чай. Климов принес два стакана.

— Садись и слушай,— сказал он, хотя Трубачевский сидел и слушал.— Мы с Боргманом статью написали. Такой штурм ле дранг, черт знает.

Климов говорил «штурм ле дранг», «перпетуум нобиле», «де мортиус аут бене, аут михиль» и т. д.— и славился на факультете своей рассеянностью. Все его любили, особенно девушки.

— Ну, читай! Большая?

— Маленькая,— быстро ответил Климов и стал читать: — «Как известно, на факультете языка и материальной культуры читаются любые курсы, начиная с эпиграфики, которой занимался еще сам Аристотель, и кончая биологией...»

— Постой! Как эпиграфикой? Во-первых — Аристотель никогда не занимался эпиграфикой, во-вторых — у нас такого предмета нет.

— Ну, давай что-нибудь другое.

— Куроводством,— серьезно предложил Трубачевский.

Климов покатился со смеху.

— «В программе этнографического отделения,— продолжал он,— еще видны остатки прежнего историко-филологического факультета. Зато в отделении истории материальной культуры уже просто ничего не видно. Должно быть, первоначальная мысль талантливого создателя этого отделения...»

— Это не ты писал, а Боргман. Узнаю стиль.

— Честное слово, я,— улыбаясь и нисколько не скрывая, что врет, сказал Климов.

Он вытащил из кармана две булочки, которые купил вместе с чаем и забыл съесть, и предложил одну Трубачевскому. Булочка была облеплена крошками табака из кармана, но Трубачевский подумал немного и съел.

— «Что касается студентов,— заранее улыбаясь, продолжал Климов,— то их следует разделить на несколько групп. Первую, и самую многочисленную, составляют так называемые «плавающие и путешествующие», то есть молодые люди, сбежавшие с других факультетов по той причине, что одни не могли усвоить первоначальных основ физики, другие — математики или географии. На втором месте...»

Он продолжал читать, но Трубачевский уже не слушал.

— Климов,— сказал он вдруг, воспользовавшись тем, что приятель, увлекшись булочкой, на минуту оставил статью,— ты когда-нибудь был влюблен?

Климов перестал жевать.

— Надо обрасти шерстью,— с добродушным презрением сказал он,— чтобы заниматься подобной ерундой.

Трубачевский немного покраснел и встал.

— Будешь на докладе? У меня в два доклад.

— О чем?

— О Рылееве.

— У Лавровского? Буду.

5

Лавровский опоздал, аудитория была почти полна, когда он явился, вытирая запотевшие очки, в своем длинном сюртуке, со всегдашним значительно-фальшивым выражением на лице старой аристократической бабы.

С волнением, которое (он это наверное знал) пропадет после первой же страницы, Трубачевский начал доклад...

Здесь были люди, связанные традициями и понятиями старой русской интеллигенции, хотя презирали эти традиции и отрекались от них, как Боргман и Башилов. Были здесь и люди, явившиеся из деревни, но быстро утратившие всякую связь с ней, как Дерюгин, относившийся с тайным изумлением и к самому себе, и к той среде, которая теперь его окружала. Читая доклад, Трубачевский мельком взглянул на него. Он слушал внимательно — длинный, с глазами сектанта, с впалой грудью и маленькой белобрысой головой.

Здесь был Сергей Мирошников, который уже и тогда писал плохие стихи, но еще не был известен. Читая доклад, Трубачевский все время помнил, где он сидит, и старался не смотреть на него, боясь того чувства неясности и беспокойства, которое при встречах с Мирошниковым его всегда тяготило.

Мирошников, Дерюгин, Боргман — все это была одна компания, и в представлении Трубачевского она определялась какой-то длинной, запутанной, приподнятой фразой.

Но здесь были и другие люди. Вот там, на последней скамейке, сидел Репин, тот самый, возражений которого Трубачевский так боялся. А рядом — Осипов, Танька Эвальд, Климов. Осипов был самый старый студент на факультете. Читая доклад, Трубачевский остановился взглядом на его внимательном, слушающем лице и уже потом читал только для него, только к нему и обращался.

Сперва над Осиповым подшучивали, называли «отец» или даже «папаша», потом стали уважать. Его нельзя было

не уважать. Он в сорок два года бросил мастерские Палаты мер и весов и стал заниматься историей литературы. В таком человеке, уже сделавшем, казалось, больше, чем было в его силах, должна была чувствоваться напряженность, усталость,— а в нем нет. Видно было, что он знает себя. Он даже думал медленно — не потому, что не мог иначе, а потому, что знал, что в его годы нельзя торопиться. Историю литературы он изучал с терпеливым спокойствием человека, всю жизнь занимавшегося производством точных приборов.

Он слушал доклад, и по спокойно-добродушному лицу его нельзя было заключить, согласен он с Трубачевским или не согласен.

Вот согласна ли Танька Эвальд — об этом нетрудно было догадаться.

И Трубачевский невольно улыбнулся, заметив, как в одном месте Танька сильно затрясла головой, а потом бросилась записывать возражения, помогая себе бровями и даже носом.

Она первая взяла слово, когда Трубачевский кончил доклад. Отрицая за декабристами роль представителей какого бы то ни было класса, она объявила, что восстание 14 декабря не удалось только потому, что во главе его стояли интеллигенты. Она запнулась на этом слове, курчавые волосы вздрогнули все сразу, и вдруг она заговорила быстро и страстно. Интеллигенция никогда не видела и не понимала, что революцию делают массы. Идеология декабристов была революционна, но в практике их ничего революционного не было. О Рылееве она умолчала.

Путаясь и перебивая себя, Климов объявил, что до тех пор, пока не будет тщательно изучен литературный фон эпохи, вопрос этот решить невозможно. О Рылееве он сказал, что это был плохой поэт, нисколько не характерный для литературного фона эпохи.

Прекрасная розовая девица, с пятнами на щеках, взволнованно моргая, упрекнула Трубачевского в кантианстве.

Потом заговорил Осипов — медленно и как бы с трудом, и, как всегда, все оказалось умнее и глубже. Он упрекнул Эвальд в том, что она плохо прочитала Соломатина, который совсем в другом смысле писал об интеллигенции в декабристском движении и который, кстати, сам ничего не понял в классовой природе декабризма. Тихим, но ядовитым голосом он объяснил розовой девице, что такое кантианство и почему к докладу Трубачевского оно не имеет

никакого отношения. Понятие «литературный фон» в целях исторической точности он предложил Климову заменить понятием «литературный фонд».

— Я это потому говорю,— тихо добавил он, когда перестали смеяться,— что из литературного фонда, говорят, еще можно кое-что получить, а из литературного фона — ничего.

Сердитый и смешной, похудевший после вчерашней ночи, Трубачевский сидел и все припоминал одну фразу, с которой хотел начать ответ.

«Пропаганда, Рылеев и южные»,— написал он на исчерканном листе и, одним ухом слушая Репина, который сказал что-то в защиту доклада, стал рисовать профиль.

Все складывалось: с этого он начнет, потом кстати ответит Таньке Эвальд, потом о политическом значении поэзии, потом...

И все расстроилось, когда Лавровский, подводя итоги прениям, объявил, что «в этом докладе нашел вольное или невольное отражение старый спор между двумя нашими известными историками — Щепкиным и Бауэром» и что «наш докладчик, по естественному ходу вещей, избрал точку зрения академика Бауэра», с которой он, профессор Лавровский, никак согласиться не может.

И, мысленно засучив рукава, красный и взволнованный Трубачевский, едва дослушав его, ринулся в бой.

6

Еще не опомнившись от этого спора, Трубачевский в распахнутом пальто вышел из университета на набережную, тихую, по-вечернему светлую от неба и снега.

«Ты понимаешь, что ты сказал, скотина? — мысленно обратился он к Лавровскому, вспоминая с ненавистью, как у того шевелились усы.— Ведь они же подумают, что эту работу не я, а Бауэр написал».

Он скрипел зубами и шел все быстрее, ничего не замечая вокруг.

«И эта толстая дура,— как там ее фамилия? — что она бормотала насчет кантианства? Ну да, ну и не читал. А ты Канта читала?»

Дробный, раскатывающийся стук вдруг раздался за спиной; он вздрогнул и приостановился. Грузчики, которых он не заметил, возили на тачках дрова с набережной

куда-то в темноту, вдоль Академии наук; одна тачка сорвалась с дощатой колеи, и дрова посыпались со звоном, как всегда на морозе.

Этот случай несколько охладил его чувства. Все еще сердитый и взволнованный, он сел у ростральных колонн в трамвай и поехал к Бауэру.

Бледная статная девочка лет пятнадцати стояла на площадке; он вспомнил о Машеньке и сравнил. Но Машенька была теперь не самое главное. Он с нежностью подумал о ней, но сейчас же забыл и снова стал перебирать в памяти все, что произошло на докладе.

Рассказать старику или нет? И сейчас же представилось, как старик слушает его, насупив брови...

Бауэр был дома. Сложив руки на впалой большой груди, он молча выслушал Трубачевского.

— А вы что же, не знали, что Лавровский — Щепкина ученик?

— Сергей Иванович, какой же ученик? Ведь ему лет пятьдесят, не меньше.

— Нет, он ученик,— сказал Бауэр.— И у вас был спор политический. Место декабризма в русской истории — вопрос, по которому политические симпатии определяются совершенно точно. Вот Лавровский, он ведь с вами от имени целой исторической школы говорил. Это либерал. Ему, видите, не нужно, чтобы декабристы революционерами были; по его мнению, это были люди кроткие, которые не только Романовых, но и цыпленка зарезать не сумели бы. Прежде это было мнение довольно невинное, а теперь винное. Впрочем, меня и прежде съесть хотели за то, что я к декабризму как к этапу в развитии русского революционного движения подходил. Кизеветтер хотел съесть, но я не дался. И вот видите, до сих пор жив. Да. А вы еще глупый совсем. Почему вы мне вашего доклада не показали?

— Сергей Иванович, ведь они решили, что это не я написал, а вы,— с отчаянием сказал Трубачевский.

Бауэр взглянул на него исподлобья и улыбнулся.

— Ну, дорогой мой, не похоже, не похоже,— сказал он,— это у них от невежества, а у вас от самомнения. Хоть я вашего доклада не знаю, но все-таки я его никак не мог написать. Так что вы идите-ка лучше умойтесь...

— Что?

— Умойтесь, умойтесь. У вас лицо потное. Вы, должно быть, бежали. Так ведь и простудиться недолго.

И Трубачевский в самом деле умылся, причесался и, все еще переживая обиду, принялся за надоевшие охотниковские бумаги.

Не прошло и получаса, как Бауэр явился в архив, сел на диван и, спросив коротко: «Ну, как?» — взял с журнального стола последнюю книжку «Нового мира». Разрезал ее, но читать не стал, только перелистал и бросил.

— Что это нынче как писать стали,— с веселыми глазами сказал он и прочел одну фразу.— Это что же такое — народничество или что? Или славянофильство?

Он ушел к себе в кабинет, и Трубачевский услышал, как он зашелестел бумагами и тихо запел, аккомпанируя прищелкиванием пальцев. Чем-то он был доволен, потому что пел «Два гренадера», и притом по-немецки. Но работал он недолго. Вскоре он снова явился в архив и, подойдя к Трубачевскому, стал за его спиной.

— Надоело, а? — спросил Бауэр, когда Трубачевский, чувствуя неловкость от взгляда, следящего за его рукой, положил перо и оглянулся.

— Что надоело, Сергей Иванович?

— Да вот...— И он махнул рукой на груду еще не разобранных бумаг Охотникова, в серых папках лежавших на столе.

— Нет, еще не надоело, Сергей Иванович,— соврал Трубачевский.

Бауэр насмешливо на него покосился.

— Ну и плохо,— сказал он,— очень плохо. А вот мне надоело.

Трубачевский хотел улыбнуться, но нет — Бауэр говорил серьезно, даже сердито.

— Как это не надоело? Что же, вы вегетарианец или кто? Если вегетарианец, вам нужно куда-нибудь в Исторический архив поступить и там служить. А наукой так нельзя заниматься. И, кроме того, врете. Признавайтесь — врете?

— Сергей Иванович, не то что вру...

— Ну конечно, врете,— с удовольствием сказал Бауэр.— Садитесь.

Он взял его за плечо, усадил на диван, сел рядом.

— Я вот когда-то историей пугачевского бунта занимался, или, как теперь принято выражаться, историей народного восстания под предводительством Емельяна Пугачева. Может, слышали?

Еще бы не слышать! Двухтомный труд Бауэра, который он защищал когда-то как докторскую диссертацию, был переведен на все европейские языки и считался образцовым.

— Так вот, изволите видеть, вспомнили! И по какому же поводу? В настоящее время, как вы знаете, учреждена при Академии наук Пушкинская комиссия, и эта комиссия, как естественно было от нее ожидать, желает Пушкина напечатать. Так вот — предлагают мне Пушкина редактировать. «Историю пугачевского бунта» и «Капитанскую дочку». Как вы на это смотрите, а?

Он не в первый раз советовался с Трубачевским, и вовсе не в шутку — напротив, очень серьезно. Трубачевский, который очень любил его, за это любил еще больше.

— Страшно интересно, Сергей Иванович,— сказал он.

— Ну вот видите, интересно? А вам все Охотникова подавай да Охотникова. Я, признаться, даже и не подозревал, что вы такой до Охотникова охотник.

И он засмеялся — одними глазами, но превесело.

— Вот. Так, значит, мы с вами сего декабриста отложим. Снимите-ка со стола эти папки.

Он вынул из кармана кольцо с ключами и подошел к бюро, в котором хранились пушкинские бумаги. При Трубачевском он впервые открывал это бюро. Ключ щелкнул: боковые планочки повернулись с обеих сторон. Ключ щелкнул еще раз, что-то зазвенело мелодически, точно в старинных часах, и доска, закрывавшая нижние ящики, откинулась на узких полосках стали.

Сперва Бауэр сунул нос в нижний ящик, но только перелистал две-три пачки и положил назад. Потом полез в один из маленьких верхних шкафчиков и достал оттуда две пачки — большую, на которой печатными буквами было написано «Морозовские материалы», и маленькую, перевязанную бечевкой и завернутую тщательно, много раз.

— Ну-те, это вам не Охотников,— сказал он и развязал маленькую пачку.

Трубачевский взволнованно смотрел на пушкинские письма. Письма Пушкина. Те самые, которые Пушкин держал в руках, и подписано — он перевернул листок,— и подписано: *Александр Пушкин.*

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Квартира, в которой жила Варвара Николаевна, была известна в Ленинграде. Ее хозяйка, Мариша, считала себя другом всех знаменитых людей, появившихся в Советском Союзе с 1922 года. Любой замечательный человек, хотя бы он был исполнителем Лунной сонаты на ксилофоне, мог прийти в этот дом и потребовать признания. Если он очень надоедал, друзья хозяйки, лишенные предрассудков, выгоняли его.

Это была квартира, в которой писали стихи, рисовали карикатуры, обсуждали сценарии для театра Петрушки. Этими сценариями занимались больше всего другого, потому что Мариша любила детский театр. Здесь был свой вкус — плохой, но своеобразный. Последняя новость — политическая, литературная, даже любовная — ценилась здесь главным образом за то, что она была последняя. Друзья хозяина и подруги хозяйки, друзья друзей и подруги подруг жили здесь — одни, как Варвара Николаевна, почти постоянно, другие наездом из Москвы, из Праги, из Мадрида.

Но здесь никогда не было детей...

Как-то, соскучившись, Мариша привезла на несколько дней племянницу, маленькую девочку с круглым, японским личиком. Девочка робко ходила по большим красивым комнатам, слушала радио и скучала. Ее закармливали конфетами, она плакала и потихоньку ела. Ей казалось, что она все куда-то едет. Тетю она жалела. Всего было слишком много — конфет, разговоров, книг, которых никто не читал, чашек на буфете, из которых никто не пил.

Большой печальный дог, уже ленившийся обнюхивать посторонних, бродил по квартире. У него были глаза старого англичанина, который все видел и ко всему равнодушен. Запах клея и краски, который приносили из театра сослуживцы хозяйки, он ненавидел. Он много размышлял и огорчался. Когда-то все было устроено удобно, даже блестяще: картины Григорьева и Утрилло, шелковые ковры, павловская мебель. Хозяин разговаривал с ним, подшучивал, иногда гулял. Теперь ему пускали в нос дым плохих папирос, квартира пахла пылью, а уж сама хозяйка начинала путать Гамбса с Чиппендейлом.

Варвара Николаевна жила в этой квартире второй год, Марише она была подруга, отчасти родственница: первые

мужья их были двоюродные братья. Теперь шли уже не первые мужья, а вторые, иногда третьи, но дружба, слегка тронутая завистью, продолжалась.

Завидовала — когда было время — Мариша.

Варвара Николаевна проскучала весь тот вечер, о котором с таким волнением вспоминал, вернувшись домой, Трубачевский. Неворожин смеялся над ним, он неловко отшучивался и сердился. Сперва это было забавно. Потом надоело и захотелось спать, а он все сидел и сидел. Она проводила его и вернулась к себе, вспоминая, какими глазами смотрел на нее Трубачевский. Сколько ему лет? Девятнадцать? Очень смешной! Этот хохолок на затылке...

Неворожин сидел, закрыв глаза, раскинув по сторонам руки,— спал или притворялся спящим? Она остановилась перед ним, потом тихонько присела на локотник кожаного кресла. Нет, спит. Она разглядывала его. Он становился старше, когда засыпал. Все возвращалось на свои места — брови, губы. Оспины проступали на лбу. Теперь можно представить себе, что у него мать, которую он любит, может быть, дети.

Она сказала тихо:

— Борис Александрович!

Он не ответил. Спит. И она продолжала думать. Кто это сказал про «три злодейства»? Кажется, Митя? Нет, кто-то другой. «У этого человека, как у Германна, по крайней мере, три злодейства на душе». Похоже! Она вспомнила, как несколько дней назад они ехали из театра на извозчике, она была в шелковых чулках, и колени очень замерзли, потому что шубка короткая,— теперь уже таких не носят, а она никак не соберется переделать. Он снял пальто и покрыл ей ноги. Так и ехал всю дорогу в одном пиджаке. Она сказала тогда, что это идеологически не выдержано. Вежливость белогвардейца. «И простудитесь».— «Нет, не простужусь, Варвара Николаевна. Я только тогда болею, когда позволяю себе заболеть. А сейчас не позволю». И не простудился.

Она сидела, как сидят дети, поджав под себя одну ногу и задумчиво болтая другой. Надо было взять с собой фильдеперсовые чулки и переодеть в театре. Ничего особенного, так все делают. А на той неделе она отдаст переделывать шубку. Еще возьмется ли Львова? И сколько шкурок надо прикупить и почем теперь шкурки? Еще скорняку... Она подсчитала — и пришла в ужас.

Неворожин ровно дышал, лицо спокойное, широкие лацканы пиджака расходились от дыхания и сходились. Другой бы простудился. А он — нет. И вообще многое неизвестно. Не считая таких вещей, о которых не спрашивают.

— Борис Александрович! — сказала она громко.

Веки дрогнули. «Не спит»,— подумала она с досадой.

— Борис Александрович, доброй ночи!

Он открыл глаза.

— Вы остаетесь?

Он вскочил и поцеловал ей руку.

— Если позволите, Варенька!

— Постойте, я скажу Даше, чтобы она постелила,— холодно сказала Варвара Николаевна.

— Ох, пожалуйста, спасибо!

Она ушла и вернулась с постельным бельем.

— Даша спит.

Она стала застилать, он не дал и сам снял с тахты валики, развернул простыни, взбил подушки.

— Варенька, вы за что-то на меня сердитесь,— сказал он и взял у нее одеяло.— Я вам надоел, и вы хотите замуж. Только скажите — и сейчас же выдам. За Митю? Или знаете что: выходите за студента.

— Какого студента?

— А вот за этого, с хохолком.

— Нельзя!

— Почему? Он занятный. И, знаете ли, будет толк! Еще глуп, но есть хватка. И очень честолюбив, я вижу. Им стоит заняться.

Она стояла перед ним в японском халате и смотрела внимательно, сердито. Краешек ночной рубашки был виден из-под шелковых отворотов халата,— должно быть, когда доставала для него белье, успела переодеться на ночь.

Неворожин подошел к ней и молча поцеловал сперва в лоб, в глаза, потом в губы.

— Пожалуйста, не нужно... Доброй ночи!

— Надоел, надоел! — весело сказал Неворожин.

— Нет, не надоел. Но мы знакомы уже третий год...

— Больше, чем третий, и больше, чем знакомы.

— А я еще ничего о вас не знаю.

— Социальное положение — служащий, год рождения — тысяча восемьсот девяносто второй, холост, беспартийный. Где служите? «Международная книга»,— смеясь, сказал Неворожин.

— Ну и нечего смеяться. Уверена, что так и есть. Именно служащий, и год рождения, и беспартийный.

— Боже мой, ну конечно, так и есть! — с комическим отчаянием возразил Неворожин.— А за кого же вы меня принимали?

— Я думала, что вы — вор.

— Спасибо.

— Или монархист — это было бы романтично.

— Ну, не очень. Теперь уже не очень романтично!

— А вы просто советский служащий. И деньги казенные. Растратчик. Если растратчик, я вам никогда не прощу.

— Это пóшло, не правда ли?

— Ужасно! Доброй ночи!

Она ушла. Неворожин проводил ее до дверей и остановился посреди комнаты, сунув руки в карманы.

Снимая пиджак и вешая его на спинку кресла, а потом складывая на том же кресле брюки, он все думал о чем-то и был, кажется, недоволен собой.

Подушка оказалась плохая, низкая, он ударил ее кулаком и подложил валик. Он уснул на спине. Рот приоткрылся, маленькие детские зубы показались под светом настольной лампы, которую он забыл погасить.

2

Варвара Николаевна проснулась в первом часу дня и сейчас же встала. Неворожин ушел, оставив записку, как всегда — забавную и холодную. Не умываясь, она села за стол. Долги были разные — срочные, несрочные и еще такие, которые она должна была платить сама. Эти были самые неотложные, потому что деньги взяты у подруг — у Лидочки Барановой, у Мариши.

Она взяла лист бумаги и разделила его на три части. Срочные. Портнихе сто рублей за темно-синее с воланами и за простенькое бежевое. Этот чудесный джемпер, который она на днях видела у Альтмана,— тридцать восемь. Генеральше за вышивку рубашек — двадцать два. Деньги просто тают.

Теперь несрочные. Мама писала из Ростова, что нечем жить,— сорок или... или тридцать. Дуре сестре, которая голодает вместе со своим архитектором,— еще тридцать. Меньше нельзя: обида и могут пригодиться. Даше... Она

немного покраснела, вспомнив, что как-то взяла у Даши десять рублей и до сих пор не собралась отдать. Даше — пятнадцать, нет, двадцать. Но, боже мой, что делать с Маришей, которой она должна пятьсот рублей: за хозяйство двести с чем-то (несрочно) и остальное—просто так, стало быть, срочно? И Верочке Мечниковой — сто двадцать. И этой старой дуре из Театра комедии — девяносто.

Пес пришел и, задрав голову, долго смотрел на нее с порога. Потом подошел и стал рядом. У него была не морда, а настоящее лицо с глубокими надбровными дугами, с покатым человеческим лбом. Он напоминал кого-то из мужчин, и, подводя итоги, она мельком подумала об этом.

Пятьсот рублей нужны сегодня или завтра, а у нее — она открыла сумочку — двенадцать.

— Ужас какой! — грустно сказала она псу и, бросив сумочку на диван, пошла умываться.

Умываясь, думала о том, что Неворожин прав — надо выйти замуж. Это утомительно, иногда мерзко. Но, черт побери, что же делать? В конце концов, брак основан на вежливости, а вежливости у нее хватит. Но за кого?

Даша просунула голову в ванную и сказала, что чай на столе и звонил Дмитрий Сергеевич. За Митю?.. Она засмеялась. Ко всем долгам еще и Митю!

Вчерашняя «Вечерняя» лежала на диване в столовой, она просмотрела ее, начиная с четвертой страницы и кончая первой. В «Солейле» последние дни шла «Парижанка», а она еще не собралась посмотреть. Ставил Чаплин — и, говорят, превосходно. Умер академик Лапотников — одним женихом меньше. Оппозиционеры исключены из состава правительства. Она дважды внимательно прочитала постановление, напечатанное мелким шрифтом на второй странице. Мелким шрифтом — это ее поразило. Пес вошел в столовую и, повесив большую голову, приблизился к ней. Она бросила ему печенье, залпом выпила холодный чай и принялась за фельетон, кокетливый и пресный. Потом, сощурившись по-мужски, вдруг посмотрела на всю газету, как смотрят на человека, с головы до ног, одним взглядом. Где-то должны же быть хотя бы нечаянные совпадения с теми разговорами, которые она почти ежедневно слышала в своем кругу. Эта шаткость, неуверенность. Ничего! Ничего! Ничего нет. Если хладнокровия хватает на то, чтобы такие вещи печатать мелким шрифтом,— ничего нет, и слухи преждевременны, а может быть, и просто вздорны.

Варвара Николаевна была уже одета и собиралась ухо-

дить, только нужно было еще позвонить портнихе, когда явился Дмитрий Бауэр. Он был в кепке и осеннем пальто, полосатый шарф вокруг шеи и трость; весь в снегу, мохнатый, веселый, заиндевевший, как лошадь.

— Такой снег, да?

Дмитрий скинул пальто, побежал в столовую и сел на диван, поджав под себя ноги.

— Варенька, чаю — или между нами все кончено!

— Чай уже простыл, а я не пойду просить Дашу. И вообще мне некогда,— сердито сказала Варвара Николаевна.

— Дорогая, позовите Дашу, она все для меня сделает, она меня любит.

— Не позову. Вот, пейте, если хотите, холодный.

Страдальчески морщась, он выпил чай и встал.

— Сударыня, я ожидал встретить прием внимательный, даже сердечный,— подражая известному плохому актеру, фальшивым голосом сказал он,— и вот отшит, как последняя сволочь. Я пришел к вам, гонимый людьми, преследуемый судьбою...

— Митя, полно вам дурачиться. Сегодня ничего не выходит у вас. Очень плохо! И вообще мне пора. Вы меня проводите? Ну, так одевайтесь, а я пока позвоню портнихе.

Снег уже почти прошел, когда они спустились вниз, но все были запорошенные, пушистые — люди и лошади; и улица Рылеева, всегда некрасивая и простая, стала торжественной и добродушно-парадной.

— И совсем не холодно,— сказала Варвара Николаевна.— А вы замерзли...

— Варенька, вы сегодня в дурном настроении.— И Дмитрий взял ее под руку.— Ну, говорите — что случилось?

— Ничего не случилось. Митя, вы продали бы меня за сто рублей?

— Нет.

— А за триста?

— Тоже нет.

— За десять тысяч?

— Нет.

— Ну, а за два, три миллиона?

— Я взял бы еще больше!—смеясь, сказал Дмитрий.— Теперь я знаю, что случилось. У вас нет денег, Варенька, признавайтесь.

— Спасибо! Еще признаваться. Только этого не хватает.

— Хотите, достану?

— Не хочу, не хочу. Вы еще убьете кого-нибудь или ограбите.

Дмитрий вдруг замедлил шаги; она взглянула на него с любопытством.

— Знаете, ведь у меня очень много денег,— немного побледнев и робко улыбаясь, сказал Дмитрий,— но я, как говорит мой друг Неворожин, недальновиден и потому нищ. Но все-таки, Варенька? Сколько вам нужно?

Они вышли на проспект Володарского. Даже трамваи несли снег на подножках, на фонарях, на поднятых перед вожатыми стеклах. Окна были обведены снегом. Он был всюду и очень похож на борную кислоту, как будто весь город засыпали борной кислотой. Букинисты стыли у своих ларей, засунув руки в рукава, мрачно переставляя ноги.

Хоть Варвара Николаевна и сказала, что совсем не холодно, но через каждый квартал забегала греться. Так они вдруг оказались в магазине Охотсоюза. Не зная, что спросить, Дмитрий сперва потребовал, чтобы ему показали винчестер, а потом спутал сетку для ловли птиц с рыболовной. Работник прилавка посмотрел с презрением и молча погладил пробор. Они вышли, насилу удержавшись от смеха.

В антикварном магазине, где можно было ничего не спрашивать, они долго ходили среди гор и развалин старой мебели, столов, стульев, комодов и диванов, наваленных друг на друга. Страшные дедовские буфеты еще пахли жильем, гвоздикой, сухой апельсинной коркой, а другие, только что подновленные,— дешевым лаком. Мебель была плохая, все больше рухлядь, которую ставили на комиссию безработные наследники аристократических семейств и разоренная буржуазия.

— Митя, мне на Садовую. Если в каждый магазин заходить, мы никогда не доберемся. Какой это стиль?

— А черт его знает...

— Ну и стыдно, вы же когда-то в Академии художеств учились.

Приятель Дмитрия Блажин остановил их, едва они вышли из антикварного магазина, и они простояли несколько минут, разговаривая о «Парижанке», о знакомой, застрелившейся на днях балерине, о том, что ни у кого нет денег. Блажин, замерзший и безобразный в своем франтовском пальто, успел на ходу рассказать два плохих анекдота.

— Митя, у вас все приятели такие же дураки? — спросила Варвара Николаевна, когда они расстались.

— Не все.
— А зачем они вам?
— Для коллекции. Я коллекцию собираю. Есть очень забавные. Один инженер — теперь, по призванию, аптекарь. Другой с бакенбардами, под девятнадцатый век. Два писателя — и довольно известных. Они у меня по жанрам делятся. Дураки развратные, восторженные, унылые и дураки-дипломаты. Много... До сорока номеров. Кстати, вот куда мы сейчас зайдем. К Борису Александровичу, в «Международную книгу».
— Почему кстати? Он тоже в вашу коллекцию входит?
— Нет, он не входит,— серьезно возразил Дмитрий.— Он умный. Пошли, да?
— Нет, нет, я не пойду,— сказала Варвара Николаевна, вспоминая с недоброжелательством, какое у Неворожина было лицо, когда он спал, а она сидела подле него и думала.— Мне некогда, а вы идите.
— Варенька, на десять минут. Я только спрошу у него, можно ли умереть от любви, и мы сразу же отправимся дальше.
— Что спросите?
— Можно ли умереть от любви? — серьезно повторил Дмитрий.
— Митя, вы еще маленький и сумасброд. Зачем вам это знать?
— Это очень важно. Я люблю одну женщину и боюсь умереть.
— Кого же вы любите?
— Вас.
Варвара Николаевна посмотрела на него. Не останавливаясь, он несколько раз подряд поцеловал ее руку, все пальцы по очереди, а потом — в маленькое круглое отверстие, там, где застегивалась перчатка.
— Старо, старо,— сказала она, совсем как Неворожин.— Впрочем, пойдемте. Я не хочу, чтобы вы умирали.
Знакомый служащий сказал им, что Неворожин наверху, в отделе подписки. По узкой винтовой лестнице они поднялись наверх и попали в закоулок, заваленный книгами и похожий на балкон; с одной стороны были устроены перила. Полная белокурая женщина стучала на машинке, и раздвижные лесенки были приставлены к многочисленным книжным полкам, дотянувшимся сюда, казалось, из первого этажа магазина. На одной из лесенок стоял с раскрытой книгой в руках Неворожин. Дмитрий Бауэр оклик-

нул его, он перешагнул через несколько ступенек и спрыгнул вн.з с неожиданным проворством.

— А, очень рад!

Закоулок был такой маленький, а они были такие высокие и большие, что Неворожин должен был убрать несколько лесенок, прежде чем начать разговор.

— Борис, мы к тебе по очень важному делу,— начал Дмитрий и отвел глаза, чтобы не рассмеяться.— Нам нужно узнать... Варенька, а может быть, не стоит его спрашивать? Он ведь в этих делах...

— Нет, спросите.

— Нам, видишь ли, нужно узнать...— Он не окончил и чуть заметным движением глаз указал на машинистку.

— Мария Эдуардовна, вы еще не отправили письма? Будьте добры, отнесите вниз и попросите Гурьева это сделать.

Машинистка вышла.

— Ну? — улыбаясь, спросил Неворожин.

— Нам, видишь ли, нужно узнать от тебя,— в третий раз начал Дмитрий,— можно ли умереть от любви?

Неворожин рассмеялся очень тихо и обнял их обоих сразу за плечи.

— Пошли вон, негодяи, бездельники! В служебные часы являться с таким вопросом! Да вас за это...

Ворча и по-стариковски шмыгая носом, кто-то поднимался по винтовой лестнице. Шаги были усталые, тяжелые. Пожилой посетитель в обвислом пальто, в потрепанном треухе, из-под которого были видны курчавые седые височки, появился на пороге, как будто вставленный в раму из книг, стоявших по бокам маленькой двери.

— Где тут подписка? — ворчливо спросил он и, вытащив грязный платок, высморкался с презрительным, брезгливым видом.

— Здесь, вам придется подождать,— отвечал Борис Александрович.

Старик спрятал платок в карман и взглянул на Неворожина. Лицо его, кажется, оживилось на мгновение, потом вновь стало неприязненно равнодушным.

Дмитрий встал; Варвара Николаевна, заметив, что он взволнован, шепотом спросила его, что случилось.

— Пойдемте, я вам потом расскажу,— шепотом же отвечал он и уже протянул руку, чтобы проститься с Неворожиным.

Но посетитель, который до сих пор, закинув голову,

бродил рассеянным взглядом по книжным полкам, перебил ему дорогу и приблизился к Неворожину первый.

— Виноват, можно вас спросить? — с любезностью, впрочем, довольно отвратительной, сказал он.— Не вы ли весной этого года в лавке книжной на Ситном рынке продавали одну рукопись? Пушкина какой-то черновик. Я вас тогда искал на рынке и не нашел.

Дмитрий поднял голову и посмотрел на Неворожина с недоверием и страхом. Губы дрогнули, он стал косить от волнения. Полминуты прошло, прежде чем Неворожин ответил.

— Нет, не припомню,— серьезно и спокойно сказал он.— Я иногда бываю у букинистов на Ситном рынке, однако рукописей не продаю. Вот в антиквариате нашем попадаются рукописи, иногда редкие. Может быть, вы оставите нам адрес? Мы известим вас.

Сомнительно вскинув брови, старик глядел на него, и в этом молчании прошло еще полминуты.

— Мой адрес таков,— гнусавым и высокомерным голосом сказал он,— Васильевский остров, Университетская линия, дом девять, квартира три, профессор Николай Дмитриевич Щепкин.

3

Весной 1928 года Трубачевский, просматривая бумаги, хранившиеся в пушкинском бюро, нашел в одном из секретных ящиков рукопись, которая его очень заинтересовала.

Это был перегнутый вдвое полулист плотной голубоватой бумаги с водяным знаком 1829 года. Наружные стороны полулиста оставлены пустыми, две внутренние заняты стихами, написанными почти без помарок. На левой странице тридцать одна, на правой тридцать две строки, и почерк — для себя, не официальный, как в письмах к Бенкендорфу, не интимный, как в письмах к жене, не альбомный и не журнальный.

Страницы были перенумерованы, две цифры — «66» и «67» — красными чернилами вставлены между строками. Это были пометки жандармской описи, составленной после смерти Пушкина Дубельтом и Жуковским.

Без особых усилий Трубачевский прочитал рукопись — и ничего не понял. Он переписал ее, и получилась бессвяз-

ная чепуха, в которой одна строка, едва начавшая мысль, перебивается другой, а та третьей, еще более бессмысленной и бессвязной. Он попробовал разбить рукопись на строфы,— нет, не выходит. Стал искать рифмы,— как будто и рифм не было, хотя на белые стихи все это мало похоже.

Просчитал строку — четырехстопный ямб, размер, которым написан «Евгений Онегин». Стал читать вслух:

Нечаянно пригретый славой
Орла двуглавого щипали
Остервенение народа
Мы очутилися в Париже
Скажи, зачем ты в самом деле
Но стихоплет великородный
Авось по манью...

Эта строка кончалась загадочным знаком, и снова следовали такие же бессмысленные стихи.

Провозившись со странной рукописью часа полтора, Трубачевский взялся за другие дела, которые были ближе к истории пугачевского бунта.

Но вечером, когда пора уже было уходить, он снова принялся за нее и просидел так долго, что Бауэр, в этот день поздно вернувшийся домой, еще застал его за работой.

— Что же это вы, а?

Он остановился в дверях, глядя на Трубачевского с притворно сердитым видом.

— Сергей Иванович, вы когда-нибудь читали этот автограф?

Бауэр подошел и взглянул.

— Я-то читал. А вот вам не советую.

— Почему?

— А потому, что это стихотворение шифрованное и вы все равно ничего не поймете.

Трубачевский смотрел на рукопись с уважением, почти со страхом.

— Сергей Иванович, ведь это очень важно прочитать!

— Да, это важно,— сказал Бауэр,— это именно потому и важно, что тут Пушкин для самого себя писал, и притом так, чтобы другие ничего не поняли. И, судя по некоторым строкам, у него были для этого существенные причины.

Бережно устроив полулист на ладони, Бауэр посмотрел на него через кулак. Лицо его приняло выражение печальное. Трубачевский никогда еще его таким не видел.

— Но ведь должен же быть ключ, Сергей Иванович!

— Подите-ка отыщите! Я вот, вы знаете, никому эти рукописи не даю читать. А тут не выдержал и дал. Жигалеву покойному дал, разумеется, не домой, а чтобы тут читал, у меня в кабинете. Так он объявил, что этот автограф к «Евгению Онегину» относится. Я говорю: «Почему к «Евгению Онегину»?» — «Нюх»,— говорит. Долго сидел, ел тут очень много, водку пил, потом какого-то спившегося криптографа из бывшего сыскного отделения привел — и все-таки ничего не понял. Вот вам и нюх. А вы что это, как видно, тоже расшифровать пытались?

Трубачевский поспешно схватил со стола исчерканный листок, смял и бросил в корзину.

Бауэр усмехнулся.

— Нет, уж коли нам не удалось,— ласково сказал он,— так и вы бросьте.

И он спрятал автограф в папку, а папку положил в бюро.

4

Тайком от старика Трубачевский переписал стихотворение, даже не переписал, а срисовал — тщательно, подражая каждому движению пушкинского почерка.

Что же это такое, эта рукопись, в которой лучшие знатоки разобраться не могут, которую ничего не стоит прочесть, но понять решительно невозможно?

Трубачевский читал ее, пропуская по одной строке, потом по две, по три, надеясь случайно угадать тайную последовательность, в которой были записаны строки. Нет, ничего не получилось!

Тогда он стал читать третью строку вслед за первой, пятую за третьей, восьмую за пятой, предположив, что пропуски должны увеличиваться в арифметической прогрессии. Все то же!

В сотый раз перечитывая стихотворение, давно уже выученное наизусть, он чувствовал, что решение должно быть самое простое. Вдруг мелькала между далекими строчками какая-то связь, он спешил соединить их, но сейчас же находился другой вариант, столь же необязательный и столь же возможный.

Две недели прошли в напрасных поисках, когда он почему-то решил, что стихотворение написано снизу вверх,

хотя по внешнему виду рукописи было очень ясно, что написано оно сверху вниз, как и полагается писать по-русски. И вот он снова проделал все свои математические изыскания, только на этот раз вел счет в обратном порядке. То, что получилось, было очень похоже на известную игру, в которой участники пишут на длинных листочках всякий вздор, а потом меняются и снова пишут. Игра называется «чепуха»,— у него чепуха и получилась.

Отчаявшись, он бросил эту затею. Но против его воли она продолжалась. Он ловил себя на этом, слушая лекции, в трамвае. Рассеянно вытаращив глаза, как будто прислушиваясь, он стоял в трамвае, машинально обороняясь от толчков, не замечая ни ругани, ни иронии. Как шахматист, играющий в уме, он не только знал наизусть каждую строчку, он видел ее в десяти комбинациях сразу. Наткнувшись однажды у букиниста на «Теорию вероятностей», он перелистал ее и пришел в отчаяние: если четыре буквы, составляющие слово «Roma», можно переставить двадцать четыре раза, сколько же раз можно переставить этот проклятый автограф, в котором пятьдесят шесть строк, если даже не считать семи, приписанных сбоку?

Он подсчитал и ошалел перед астрономической цифрой. Нет, кончено! Больше ни одной минуты на это безнадежное дело!

Иногда он представлял себе, что желание его исполнилось и рукопись прочитана. Вот он является к Бауэру с готовой разгадкой и читает ему новое стихотворение Пушкина, и непременно прекрасное,— это видно даже и по отдельным стихам. Вот его приглашают в Пушкинский дом, он докладывает о своем открытии, а потом, сдержанный и спокойный, принимает поздравления ученых. И во всех газетах появляются статьи о нем и портреты.

Он сочинял эти статьи: «Загадка пушкинской рукописи. В нашей газете уже сообщалось о замечательном открытии, которое сделал студент ЛГУ Трубачевский. В беседе с нашим корреспондентом Н. Л. Трубачевский сообщил...»

Потом разговоры: «Невероятно! Студент второго курса! Впрочем, говорят, у него и прежде были замечательные работы».

Потом — книга, деньги, кафедра, слава.

Он похудел и стал плохо спать. По улице он шел, бормоча,— прохожие оборачивались с удивлением. В университет он почти не ходил. Встретив как-то в трамвае Кли-

мова, он с удивлением узнал, что числится в списке студентов, не сдавших минимум за четвертый семестр. Он только махнул рукой.

Однажды он встретил в коридоре Машеньку, и она радостно поздоровалась с ним. Он тоже был очень рад. Они поговорили несколько минут: чертовски много работы, все чертежи, чертежи, и так будет до пятнадцатого июня. Третьего дня они с Танькой были в кино. Очень хорошо. «Конец Санкт-Петербурга». Он видел?

— Нет,— мрачно сказал Трубачевский.

Она посмотрела, как Бауэр, ласково и исподлобья.

— А вы еще больше похудели и стали страшно злой. Хотите в дом отдыха? Папа устроит.

Она сказала это так сердечно, что Трубачевскому захотелось взять ее за руку, поцеловать и погладить. Но он объявил, что никакой дом отдыха ему не поможет, и ушел, перебив ее на полуслове.

Она стояла, огорченная, с полуоткрытым от удивления и досады ртом; зимняя белая шапочка с длинными ушами болталась за спиной, под рукой портфель, из которого торчали книги,— ужасно хорошая, но теперь не до нее. Кроме того,— он вспомнил Климова,— нужно обрасти шерстью, чтобы заниматься этой ерундой!

Но в ту же ночь она ему приснилась. Неизвестно, где это было, кажется, в классе, освещенном косыми лучами, в которых видны пылинки. Ученики сидят, все незнакомые, он больше всех, старше и выше. С мелом в руках он стоит у доски, и на доске гравюры — не нарисованные, а глубокие, как живые. Что-то нужно сделать, потому что все ждут. Он не знает чтó, но все равно, сейчас начнется. Машенька входит, бледная, и садится. Он приподнимается на цыпочки, чтобы увидеть ее, потом идет к ней между партами, а ее нет. Тоска такая, хочется обернуться — и страшно. Но вот и она, в летнем платье, с худыми руками.

Он проснулся, потому что она сказала ему четыре связных стиха из пушкинской рукописи, и в одной рубахе бросился к письменному столу.

Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Исчезнувший как тень зари...

Он не поверил глазам, когда оказалось, что этот вариант, который минуту назад казался бесспорным, ничем не отличается от десятка других, давно отброшенных и забытых...

Наутро отец вошел в комнату и испугался, найдя его сидящим в одной рубашке на холодном клеенчатом стуле. Трубачевский взглянул на него рассеянно. Потом увидел свои голые ноги и рассмеялся.

— Понимаешь, забыл! — сказал он и прыгнул на кровать.— Придумал во сне, хотел записать и забыл.

Но старый музыкант приглядывался с беспокойством: ночью, голый, с такими глазами — беспорядок, беспорядок, больше чем беспорядок!

Это повторилось Первого мая. Трубачевский вместе с другими студентами, проходившими военную подготовку при университете, стоял в колонне на берегу Зимней канавки. Три оркестра, блестя на солнце белыми раструбами, выстроились у Александровской колонны. Маленький нарядный автомобиль появился на площади и помчался вдоль неподвижных рядов. Двое военных ехали в нем стоя. Крики «ура» встречали автомобиль и перегоняли его, отдаваясь в полузамкнутом круге зданий. Войска стояли, казалось, сплошной стеной, но он разделил их, и несколько минут над рядами двигались две фуражки и руки, поднесенные к козырькам. Как по горной дороге, он проехал петлями вдоль всех колонн, завернул на улицу Халтурина, и Трубачевский, стоявший в переднем ряду, увидел спокойное немолодое лицо и поднятую руку командующего парадом. Автомобиль давно исчез, а он все еще смотрел ему вслед с восторгом и волнением.

Все стихло. Потом команда, которую радио донесло до Зимней канавки, раздалась, повторенная начальниками отдельных частей — и парад начался...

День был такой, что ни о чем нельзя было думать, кроме как о том, что занимало всех и было перед глазами. И Трубачевский ни о чем не думал. Вместе с другими студентами он качал военного инструктора, напрасно отдававшего самые строгие приказания. Вместе с другими он отправился искать Осипова среди партизан, одетых с ног до головы в черное и стоявших на улице Халтурина, недалеко от студентов. Собрались качать и Осипова, но командир не позволил. Вместе с другими Трубачевский стоял в очереди за конфетами и пирожками у фургона, появившегося на той стороне Канавки, и ел то и другое, хотя конфеты были почему-то горьковатые, а пирожки отдавали салом. Он перемигивался с девицей, сидевшей на балконе углового дома, и отпускал по ее адресу довольно смелые шутки. Вместе со всеми он хохотал до упаду, когда девица ис-

чезла и через несколько минут вновь появилась в красных высоких сапожках и полосатом платье, отчетливо обрисовавшем под весенним ветром ее содержательную фигуру.

Инструктор закричал «стройся», и все заняли места. Но долго еще ожидали выхода на площадь, так долго, что солнце успело передвинуться, и тот ряд, в котором стоял Трубачевский, оказался в тени. Невольно и он, и другие студенты оттеснили пикеты и снова продвинулись на освещенное солнцем место.

Еще четверть часа, и, стараясь держать равнение, отбивая шаг, он выходил на шумную, полную музыки и торжественного волнения площадь.

Радио встретило их командой, разошедшейся с командой инструктора, и вся колонна едва не сбилась с шага. Громким шепотом кто-то сзади повторил счет, и вот радио уже осталось где-то за спиной, и началась нарядно-разноцветная, говорящая и смеющаяся трибуна.

Трубачевский шел, чувствуя, как мурашки восторга и вдохновения стянули спину. Равномерный гром музыки, которая была чем-то шумно-парадным, сверкающим на солнце, все приближался, стал вплотную, и на выступе центральной трибуны Трубачевский увидел плотного, прямого человека, полуседого, с открытым лицом. Это был Киров. Трубачевский побледнел от волнения. Не слыша предостерегающего шепота товарищей, он сбился с шага — и не заметил. Приветствие донеслось до него, негромкое, но внятное, и он опоздал с ответом, закричав «ура», когда все уже замолчали. В каком-то торжественном беспамятстве прошел он мимо трибуны...

С записной книжкой в руках он бросился в тень, на ступеньки манежа: новый вариант, тот самый простой и бесспорный, который приснился ему несколько дней назад, был найден наконец и записан.

Отшучиваясь от товарищей, приписавших его замешательство на площади девице в красных сапожках, а потом стоя навытяжку перед инструктором, делавшим ему выговор за то, что перед самой трибуной он сбился с шага, он повторял и повторял вариант:

Сей всадник, папою венчанный,
Пред кем унизились цари...

Вернувшись домой после целого дня ходьбы, разговоров и песен, он, не умываясь, не отвечая на вопросы отца, сел

за стол. Вот она, эта рукопись! Он весело погрозил ей кулаком и, насвистывая марш, взялся за работу.

Стемнело, когда он встал растерянный и разбитый. Даже в бессмысленном тексте, оставшемся после Пушкина, было все-таки больше смысла, чем в этом варианте, который весь день казался ему бесспорным.

5

Это было восьмого мая — памятный день!

Трубачевский пришел в архив на полчаса раньше и обрадовался, что старика нет дома. С утра ему хотелось побыть одному,— нужно было все обдумать, все взвесить.

Груды выписок из исторических журналов, материалы по истории пугачевского бунта валялись на столе,— вот уже неделя, как он бросил работать. Под ними, под бюваром, спрятанные от старика, лежали бесконечные варианты загадочного стихотворения Пушкина.

Трубачевский приподнял бювар, с тоской посмотрел на эти варианты и стал ходить из угла в угол.

Как все знакомо! Эта комната, в которую он вошел год назад,— тогда все казалось необыкновенным. А теперь знакомые провода раскачивались под ветром за стеклянной знакомой дверью балкона.

Он ходил, прислушиваясь к шагам, и думал об этой рукописи, которую так и не сумел разгадать. Он оправдывал себя: в конце концов, лучшие знатоки ничего не поняли в ней, ни одной строфы не прочитали. Он взял на себя слишком много. И все же он справился бы с этой задачей, если бы не отец, который с утра до вечера пристает к нему со своими наставлениями, если бы не Бауэр со своим пугачевским бунтом. И больше всего — женщины. Женщины, которые прежде снились раз в месяц, а теперь каждую ночь. Ложась спать, он обтирался холодной водой. Он делал гимнастику. Ничего не помогало.

А впрочем, нужно быть честным перед самим собой. Дело не в женщинах.

(Анна Филипповна, бормоча и шаркая, прошла по коридору.)

Дело не в женщинах. Он бездарен — вот в чем дело. Всю жизнь он будет рыться в старых бумагах. К сорока годам станет седеющим архивистом в потертых штанах, в пиджаке, засыпанном перхотью. Он будет человеком, о

котором говорят: «Этот в пенсне с ленточкой?» (Пенсне с ленточкой надевал, читая газету, отец.)

— Да, я бездарен.

С ожесточением он вслух сказал это слово. Это ужасно, это невозможно, он не хочет этому верить, но это так!

(Дверь в кухню осталась открытой, слышно было, как старуха рубила что-то в деревянной миске.)

Бездарен и одинок.

Со вздохом он подошел к столу и тронул рукой бумаги. На чем он остановился? Старик просил его проверить даты. Он медленно припоминал: старик писал комментарий к «Капитанской дочке» и просил его проверить даты полководцев, сражавшихся с Пугачевым.

Ну что же, пойдем и проверим.

С полчаса назад он брал документы из пушкинского бюро, и оно осталось открытым, доска откинута на узких стальных полосках. Он приостановился на минуту — закрыть или нет? — и, решив, что не стоит, прошел к Бауэру. Взяв с полки один из томов «Русской старины», стал читать биографию екатерининского полководца.

«Иван Иванович Михельсон (из дворян Лифляндской губернии, сын полковника) родился в 1740 году, а в 1754 году, то есть когда ему минуло четырнадцать лет, уже зачислен был рядовым в лейб-гвардии Измайловский полк...»

Вот так будет и через десять лет, и через двадцать. Он будет стоять у книжной полки с историческим журналом в руках и проверять даты. И радоваться, если удастся доказать, что генерал Михельсон родился не в 1740 году, а в 1741-м.

«Такая крайняя юность в солдате не поразит нас, если вспомним, что в те времена сплошь и рядом бывали случаи зачисления чуть ли не младенцев рядовыми и даже сержантами в гвардейские полки».

Он женится, а жена будет стерва. Маленькие, слабые дети. Дети! Он засмеялся, у него стало доброе лицо.

Ну, так. Четырнадцати лет зачислен Михельсон рядовым. Что же дальше? Он читал, бормоча, делая пометки в блокноте, понемногу увлекаясь работой.

«Неизвестно, нес ли Михельсон действительную службу с 1754 года. Но через год он был уже сержантом, а в феврале 1755 именным высочайшим указом произведен в офицеры и назначен поручиком в 3-й мушкетерский полк...»

В пятнадцать лет уже поручик! А мне двадцать. Бро-

сить все к черту и пойти в армию — вот что нужно сделать!

«Семилетняя война была в полном разгаре, и 3-й мушкетерский полк...»

А впрочем, двадцать лет — это не так много. В конце концов, я только на втором курсе. И меня уже знают в университете. Бауэр любит меня. Сорок целковых в месяц.

Он стоял у полки с раскрытой книгой в руках и прислушивался: шаги осторожные, легкие. И вдруг дверь из архива в кабинет захлопнулась, кто-то плотно припер ее и дважды повернул ключ. Заложив пальцем биографию генерала, Трубачевский попробовал открыть дверь. Нет, заперта.

— Это вы, Анна Филипповна?

Снова шаги, на этот раз торопливые. Все стихло.

— Кто там?

Никакого ответа. Он бросил книгу и вышел, сперва в столовую, потом в коридор. Сердито и с беспокойством постучал в архив со стороны коридора.

Дверь сама отворилась. Никого. И все на своих местах: книги раскрыты на закладках, бумаги и выписки лежат там, где они лежали четверть часа назад.

Но кто-то был здесь. Стул, стоявший прежде возле письменного стола, был отодвинут; еще покачивался, задетый чьим-то движением, шнур переносной лампы...

Не дождавшись Бауэра, Трубачевский ушел в начале восьмого часа,— с каждым днем он уходил все раньше.

6

Еще утром решено было, что сегодня он зайдет к Карташихину,— после бара они не встречались ни разу. Он огорчался, когда вспоминал об этом вечере,— впервые они с Карташихиным так неловко расстались, не простившись и ничего не объяснив друг другу.

Матвей Ионыч впустил его и, взяв за руку, торопливо повел к себе.

— Ш-ш, спит,— сказал он шепотом, едва только Трубачевский открыл рот, и легким, быстрым движением — чтобы не скрипнула — Матвей Ионыч притворил дверь.

— Матвей Ионыч, что случилось, кто спит? — спросил Трубачевский и хотел сесть на кровать.

Но Матвей Ионыч мигом отдернул его, подставил стул и остановился, сгорбившись и соединив страшные брови.

— Ваня?

Матвей Ионыч кивнул. Маячный огонь был постоянный, с проблесками, а это означало, как известно, что Матвей Ионыч был огорчен или взволнован.

— А что с ним?

— Болен.

— Чем?

Матвей Ионыч молча подвинул к нему коробку с табаком и книжечку папиросной бумаги. Слышно было, как за стеной дышал Карташихин.

— Слишком много работает,— сказал вдруг Матвей Ионыч,— не слушает никого. День и ночь. Здоровье страдает.

Трубачевский посмотрел на старого моряка и испугался: Матвей Ионыч стоял, расставив ноги, сгорбившись, и мрачно разглядывал свою черную, обгорелую трубку.

— Запретить,— серьезно сказал Трубачевский.

— Запрещал, уговаривал. И слушать не хочет.

— Коля, ты? — спросил из-за стены Карташихин.

Трубачевский зашел к нему. Он сидел в постели одетый, покрывшись пальто, хотя в комнате было очень тепло. Стопка книг лежала на полу подле изголовья, и веревка была протянута от кровати к выключателю у дверей.

Трубачевский посмотрел на приятеля, потом на веревку.

— На случай, если захочешь повеситься? — осторожно пошутил он и сел на кровать.

— Нет, это чтобы гасить свет, не вставая,— сказал Карташихин.

Он говорил ровным голосом, как будто боялся, что вдруг скажет не то, что хочет. Он был желтый, глаза провалились, скулы торчали. «Влюбился»,— вдруг подумал Трубачевский.

— Давно слег?

— Ерунда, третий день. Завтра встану. А ты как?

— Хорошо.

Карташихин посмотрел на него одним глазом.

— Ну, не очень. Все книги переписываешь? Дай-ка закурить.

Трубачевский дал ему папиросу. Несколько минут они курили, молча поглядывая друг на друга.

— Что-то ты мне не нравишься,— сказал наконец Трубачевский.

— Да что ты? Очень жаль.

— Я лучше к тебе завтра зайду.

Карташихин улыбнулся с прежним добрым выражением, но сейчас же снова стал равнодушно-серьезен.

— Вот балда, обиделся! — холодно сказал он.— Ну, выкладывай.

— Что выкладывать?

— Все. Ведь я тебя, никак, месяца три не видел.

Случалось и прежде, еще в школе, что Карташихин вдруг отгораживался, уходил в себя — и, кажется, без всякой причины. Становился холоден, нарочито груб, и даже самые близкие, едва заговорив с ним, натыкались на эту холодность и грубость. Это была как бы дверь, которую он вдруг закрывал перед собой, и уже напрасно было бы пытаться к нему проникнуть.

Утром, когда Трубачевский решил, что непременно зайдет к приятелю, он, по обыкновению, все рассказал ему в уме,— нужно было рассказать очень много. Но теперь, едва заговорив, он почувствовал, что наткнулся на эту дверь и что Карташихин не хочет понять его и даже не хочет слушать.

— Ну хорошо, а почему это важно? — сказал он с раздражением, когда Трубачевский рассказал ему о своей неудаче с пушкинской рукописью.— Ты говоришь — важно?

— Очень.

— А по-моему, вздор. Ну, одним стихом больше на свете, допустим, даже хорошим. Стоит ли ради этого копья ломать?

— Замечательно! — сказал Трубачевский.— Это новость. Так, может быть, и всего Пушкина побоку?

— Может быть, и всего. Сейчас не в нем дело.

— Та-ак. Ну, а в чем же сейчас дело?

Вместо ответа Карташихин взял со стола и протянул ему московскую «Правду». Одна из статей была исчеркана карандашом. Слова «пятилетка», «пятилетний план», тогда еще непривычные, повторялись в ней часто. На первой полосе газеты была напечатана карта Советского Союза, и у карты был незнакомый вид. Черные квадраты — новые города — стояли там, где они никогда не стояли, Волга впадала в Дон, на Днепре исчезли пороги.

Рассеянно улыбаясь, Трубачевский просмотрел статью.

— Ладно, сегодня не будем спорить. Ты болен.

— Я здоров.

— Нет, ты болен.

Карташихин скинул пальто и встал с кровати. Он потянулся не без труда, потер ладонями лицо, согнул и разогнул руки.

— Ну, садись,— лениво и с угрозой сказал он и, сняв со стула книги, придвинул его к столу.— Я тебе сейчас покажу, как я болен.

Он поставил локоть на стол.

— Иди ты... знаешь куда?

Карташихин посмотрел исподлобья.

— Садись,— сказал он тихо, но таким голосом, что Трубачевский послушался и сел.— Давай руку.

Когда-то они увлекались этой игрой: нужно было поставить локоть на край стола, схватиться ладонь в ладонь и пригибать — чья рука сильнее.

— Честное слово, ошалел,— пробормотал Трубачевский и поставил локоть. Они взялись. Карташихин опустил голову. Волосы упали на лоб. Плечи поднялись. В глазах появился злобный оттенок, и разрез их стал длинный и узкий. Такая сила вдруг стала видна во всей его согнутой, напряженной фигуре, что Трубачевский и рассердился и растерялся. Рука его гнулась. Он задержал дыхание, сердце остановилось. Но было уже поздно. Карташихин пристукнул к столу его руку и встал.

— Ты сжулил, локоть не так поставил,—с досадой сказал Трубачевский.

— Давай еще раз.

— Нет, к черту. Я пойду.

Он был уже в прихожей, и Матвей Ионыч, значительно хмуря брови и все собираясь что-то спросить, провожал его, когда Карташихин выглянул из дверей.

— Коля, иди-ка сюда,— сказал он.— На минутку.

Трубачевский вернулся.

— Послушай, куда ты пропал в тот вечер — помнишь, когда мы были в баре? Мы тебя не дождались.

— Не дождались! Я вернулся через десять минут.

— Мы решили, что ты пойдешь ее провожать,— равнодушно сказал Карташихин.

— Да я и пошел. И просидел у нее до утра,— самодовольно и чувствуя, что самодовольно, отвечал Трубачевский.

Карташихин неловко усмехнулся. Он хотел, кажется, сказать что-то, и Трубачевский невольно подался к нему... Но все уже пропало.

Они простились, и огорченный, рассерженный Трубачевский сбежал с лестницы и через дворы-коридоры вышел на улицу Красных зорь.

7

Не хотелось возвращаться домой, и он стал бродить по улицам с тем чувством неопределенного волнения и ожидания, которое все чаще являлось, когда он оставался один.

Люди проходили мимо него, разговаривая и смеясь, трамваи были переполнены, газетчик пел ломающимся мальчишеским голосом: «Вечерняя Красная газета!» Автомобиль остановился у ворот, полный человек с портфелем, в полувоенном костюме, вышел из него и властным голосом что-то сказал шоферу.

Трубачевский шел и думал, все замечая вокруг и не переставая следить за собой. Что мог он сделать в этом городе и в этой стране? Миллион домов — и в каждом сотни и тысячи людей со своими желаниями, воспоминаниями и страстями. И только в двух или трех знают о том, что он существует на свете.

— Слава...— Он шепотом произнес это слово.

На мосту Равенства он остановился и стал смотреть на Неву.

Вечернее небо отражалось в воде и плыло к Петропавловской крепости, переливаясь на низких волнах. Дул легкий ветер. Ломовики везли лед на подводах, голубой и расколотый, похожий на большие кристаллы. Высокие серые камни лежали на набережной, по левую руку от Института мозга, и между ними проложены к Неве узкие рельсы — здесь начинали строить. Пароход подошел к мосту, и матрос, стоявший на корме, потянув за железный стержень, вдруг опустил трубу.

Все было так просто, что ему захотелось заплакать. Четверостишие, которое он сложил из бессмысленных строк пушкинского стихотворения, вспомнилось ему. Он прочитал его вслух — не очень громко, но так, что проходившие мимо школьники обернулись и засмеялись.

Сей всадник, папою венчанный,
Исчезнувший как тень зари,
Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились цари.

Слова были торжественные, полные значения, он дважды повторил их.

Он простоял на мосту так долго, что сторож, сидевший на треножнике подле своей будки и терпеливо следивший за ним, встал наконец, заподозрив, что он собирался топиться. Эта мысль рассмешила Трубачевского. Как бы не так! Он быстро отошел от перил.

Сильный юноша с мечом — памятник Суворову — стал виден, когда Трубачевский спустился с моста. Здесь они шли с Варварой Николаевной, и он был страшно глуп, стараясь показать, как много он читал и как много знает. Они простились подле этого памятника. Она сказала, что они еще встретятся. И они встретились: в японском халате она разливала чай, рукава были откинуты, и руки, полные и прямые, видны до плеч.

У него пересохло во рту, и сердце забилось.

Медленно пройдя между могилами Марсова поля, он сел на скамейку и, откинувшись, скрестив ноги, стал следить за каждой женщиной, проходившей мимо. Он думал о них с ненавистью. Он ругал их. Впрочем, сам виноват; другие решают это дело в пять минут, а он на одни только размышления тратит целые ночи.

На скамейке, шагах в двадцати от него, сидел военмор и рядом с ним девушка, курносая и неуклюжая, в красном платочке, из-под которого виднелись прямые, соломенные волосы. Они говорили тихо, потом поцеловались, и она отстранилась, покраснев, нахмурившись от счастья.

Трубачевский вскочил. А что, если пойти к ней сейчас? Он сбросил на руку макинтош, одернул пиджак, подтянул галстук.

В смятении, которого заранее стеснялся, он в несколько минут пролетел Пантелеймоновскую и, пройдя проспект Володарского, остановился подле ее дома. С мрачно-рассеянным видом он довольно долго простоял у подъезда. Подъезд был обыкновенный — две каменные ступени и дверь, которая, как все двери, открывалась и закрывалась. Вот толстяк распахнул ее и с детской важностью прошел мимо. Старуха несла в каждой руке по бидону с керосином и остановилась, поставила бидоны на ступень, чтобы передохнуть и поправить платок, сбившийся набок.

Поднимаясь по лестнице, он вытер о пиджак потные руки. Это было как во сне, и желание — как во сне, но такое, что нельзя ни повернуть назад, ни передумать.

Старомодный звонок, черная груша на металлическом

стержне, висел у ее двери. Он посмотрел на звонок туманными от волнения глазами. Прошла минута, может быть две, прежде чем он решился. Он услышал звон, приглушенный и далекий, и через несколько долгих мгновений — шаги. Дверь распахнулась.

— Варвара Николаевна дома?

— Нету.

— Передайте ей, пожалуйста, что был Трубачевский.

Спускаясь по лестнице, он еще волновался. Но с каждой минутой на душе становилось легче. К своему удивлению, он был рад, что ее не оказалось дома. Когда он вышел на улицу, ему даже есть захотелось.

В пивной на проспекте Володарского он съел бутерброд с сыром и выпил маленькую кружку портера. Равнодушный продавец бросал сдачу на мокрую жесть прилавка. Трубачевский выбрал гривенник и спросил, где автомат.

Он нашел автомат в маленьком коридоре, который соединял уборную с кухней и вонял той и другой. Пьяные голоса доносились из общего зала, и он несколько раз ошибся, думая, что это отвечает станция.

Мужской голос ответил наконец. Так шумно было, что Трубачевский не разобрал, кто говорит — старик или Дмитрий.

— Можно Марию Сергеевну?

И вот, измененный телефоном, знакомый и милый голос донесся до Трубачевского через потрескиванье аппарата и далекое радио, выстукивавшее где-то в глубине сигналы по азбуке Морзе.

— Машенька, это Трубачевский.— Он повторил по слогам: — Тру-ба-чевский. Вы сегодня свободны? Пойдемте в кино. В «Солейле» идет «Парижанка».

Он выслушал в ответ длинную речь, из которой с трудом разобрал две-три фразы: завтра зачет по сопротивлению материалов, придется сидеть всю ночь, и самое печальное, что одной, потому что Танька заболела. Прошла ли у него меланхолия? Правда ли, что в «Парижанке» играет Чаплин? Дима видел и говорил, что нет. Очень хочется посмотреть, но завтра на зачете она пролетит, как пуля.

— Ну, пожалуйста, приходите,— грустно сказал Трубачевский.

Три минуты кончились, он позвонил снова. И они сговорились наконец: в половине одиннадцатого, у левой билетерши.

До половины одиннадцатого было еще много времени.

Трубачевский почистил ботинки и поговорил с чистильщиком насчет заработка и погоды. Погода была хорошая, заработок плохой.

Потом Трубачевский прошелся по улице Белинского, чтобы у цирка проверить часы. Часы у цирка стояли, но зато минут двадцать он убил, рассматривая рекламу. Гипнотизер То-Рама, в индусской чалме, в европейском платье, держал в руке орла с распростертыми крыльями. У ног гипнотизера лежал крокодил. Дружелюбно улыбаясь, волк подавал лапу теленку...

Когда в начале одиннадцатого Трубачевский подошел к «Солейлю», ему казалось, что он ждет уже очень давно и не может быть, чтобы она пришла и чтобы все случилось так, как он раз двадцать представлял себе за эти полтора часа ожидания.

Но все случилось именно так: не прошло и пяти минут, как через стеклянную дверь он увидел ее, поднимавшуюся по ступеням.

Она была в сером простом пальто — шелковый цветок, чуть светлее, приколот к петлице — и в белом берете, памятном с первой встречи. Он прежде не замечал, как она выросла и изменилась за этот год: плечи стали шире, грудь выше. Она заговорила, и его удивил странный контраст, которого он прежде не понимал: между этой манерой говорить, почти не задумываясь, и спокойной прямотой лица, скорее свойственной молчаливым людям. Этот контраст и был главной ее прелестью, и он вдруг с радостью догадался об этом.

Машенька говорила что-то и смеялась. Все-таки это очень хорошо, что он вытащил ее в кино, она совсем погибла над своими чертежами. Правда, завтра зачет, и она еще и вполовину не готова. Но без Таньки как без рук, и в крайнем случае, если она срежется, зачет можно будет пересдать в начале июня.

— Но я не срежусь,— сказала она и опять засмеялась.

Когда она смеялась, был виден неправильный зуб, такой же ровный и белый, как и все остальные, но выросший где-то сбоку, не там, где ему полагалось. Трубачевский слушал ее, изредка вставляя одно-два слова; на этот зуб он смотрел с нежностью.

Потом они пошли в зрительный зал, и места оказались плохие, в последнем ряду балкона, под самой будкой. Трубачевский рассердился и сказал, что пойдет скандалить.

Машенька не пустила его, да и все равно уже поздно было: свет погас.

Перед «Парижанкой» шла кинохроника, и они еще продолжали говорить шепотом. Рассеивающаяся голубая полоса выходила из окошечка над их головами, он видел ее лицо, вдруг ставшее темно-отчетливым, не очень знакомым. И вся обстановка кино, голоса, становившиеся громче, когда музыка утихала, упавшая на экран тень человека, прошедшего в переднем ряду, узенькие полоски света от фонарика билетерши, которым она водила по рядам, усаживая опоздавших,— все, что он видел тысячу раз, было полно сегодня загадочности и уюта. Трубачевский знал и чувствовал, что Машенька была этой загадочностью и уютом, но ничего не менялось оттого, что он это знал, и даже наоборот — становилось еще необыкновенней.

Деревянная ручка кресла разделяла их, он чувствовал ее плечо и боялся пошевелиться. Все время, пока шла кинохроника, ему хотелось взять ее за руку, и один раз он уже совсем решился, но ничего не вышло, потому что в эту минуту она поправила волосы, а потом положила руку на колени.

Но когда началась «Парижанка» и двое молодых людей медленно прошли по ночному городу, прошли так, как будто никто на них не смотрел, кроме Машеньки и Трубачевского, он собрался с духом. Пальцы ее немного вздрогнули. Не отрываясь, она смотрела на экран.

Все было таким на экране, каким бывает в маленьком городе и в девятнадцать лет. Они стояли у подъезда старомодного дома, все спали, только одно окно было освещено. Они стояли у подъезда и прощались.

Трубачевский давно уже перестал смотреть на экран, а все только на Машеньку, на ее лицо, становившееся то светлым, то отчетливо-темным, и смотрел до тех пор, пока она не сказала лукаво:

— Читайте же, опять надпись пропустили.

Он повиновался, но минуту спустя снова принялся за свое.

Он не помнил потом, когда пришло ему в голову, что можно поцеловать ее руку, но он помнил очень ясно, что мысль эта сперва показалась ему невозможной. Прошло несколько секунд, темный кадр все сделал темнее, и Трубачевский решился. Она отняла руку, но он снова поцеловал, и больше она не отнимала.

Парижанка была теперь на вокзале и ждала своего

друга. Трубачевский все пропустил и все понимал, как будто это с ним происходило когда-то. Маленький носильщик в падающих штанах появился на перроне и ничего не сделал, только прошел и смешно сбросил с плеча огромный ящик. Все рассмеялись, и Трубачевский догадался, что это был Чаплин.

Теперь и Трубачевский увлекся картиной и, крепко держа, иногда целуя Машенькину руку, не отрывал глаз от экрана. То чувство грустного восторга, которое он испытал на мосту, читая пушкинское стихотворение, снова вернулось к нему, но теперь уже другим, полным какой-то печальной простоты, в которой все смешалось,— и Машенька, которая вдруг посмотрела на него, и эта девушка-парижанка, взволнованно бродившая по перрону, и то, что она ждала, а он не приходил, и то, что все в зрительном зале знали, почему он не может прийти, и только она не знала.

Стрелка, вздрагивая, передвигается на круглых вокзальных часах. Еще одна, две минуты.

В белом платье она стоит на перроне, и тень от широких полей ее шляпы падает на лицо.

Она больше не надеется, но все же ждет до последней секунды.

Снова часы. Еще две минуты.

Поезд.

Никто не видит его, но все знают, что он пришел. Светлые пятна окон врываются на перрон и бегут по каменным плитам, по столбам, по ее платью одно за другим.

Они бегут в простом порядке, то в глубине, то перед глазами, в том порядке, над которым Трубачевский так долго думал наяву и во сне.

Не веря себе, он прислушивается; он сдерживает дрожь и чувствует, как гусиная кожа стягивает лицо, грудь, все тело.

Слыша и не понимая, что говорит ему вслед знакомый взволнованный голос, он встает. Не чувствуя рук, он путается в тяжелой портьере. Одно чувство ведет его: он боится забыть, он повторяет, доходит до конца и начинает сначала.

Портьера распахивается наконец, он видит себя в фойе. Машенька стоит подле, он слышит ее и не в силах ответить.

— Что с вами? Вам дурно? Да скажите же, боже мой! Почему вы молчите?

Он молчит. Он берет ее за руку и целует. Он повторяет. Так ли это теперь, в фойе, при свете, как было минуту назад, в темноте? Так ли это вслух, как он только что прочитал про себя? И он читает вслух, не обращая внимания на то, что какие-то люди — девушки из буфета, билетерши, зеваки — собираются и слушают его:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

— Машенька, нашел! Нашел! Так вот в чем была разгадка!

8

Разгадка оказалась совсем не так проста, как он думал. Размышляя над шифрованным стихотворением, Трубачевский давно заметил, что правая и левая страницы рукописи рифмовались.

Нечаянно пригретый славой
Властитель слабый и лукавый
Орла двуглавого щипали
Его мы очень смирным знали
Остервенение народа
Гроза двенадцатого года.

Это помогло ему составить первую строфу, ту самую, которую он читал на мосту. Он составил ее из четырех строк. Они находились очень далеко друг от друга, но все же он подсчитал число пропущенных строк. Между первой и второй, между второй и третьей оно оказалось неравным. Но строфа запомнилась.

Прошло несколько дней, и, повторяя ее, он вдруг заметил, что она напоминает другую строфу — из стихотворения «Герой», посвященного Наполеону:

Все он, все он — пришлец сей бранный,
Пред кем смирилися цари,
Сей ратник, вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.

Расположение строчек здесь было совсем другое, и он переставил их в своей строфе так, как они стояли в «Ге-

рое». Если бы он не только переставил строчки, но перенумеровал их, он тогда же догадался бы, в чем дело. Но он не сделал этого. Новый порядок строфы нравился меньше, чем прежний, и он скоро забыл об этом сходстве.

Он не знал, как и почему это случилось, но два воспоминания — как подсчитывал пропущенные строки и как перестраивал свою строфу — сошлись, когда он увидел бегущие по перрону светлые пятна и догадался, что это подходит поезд.

Каким-то внутренним зрением он увидел перед собой всю рукопись — и с такой необыкновенной отчетливостью, как это бывает только во сне.

Он вдруг понял, что нужно читать ее так же, как он прочел строфу не в первом, а во втором варианте, с переставленными строками. Цифры сошлись. Между первой и второй, между третьей и четвертой было ровно по шестнадцать строк. Можно было начать с любого стиха и ровно через шестнадцать строк найти продолжение. Это и был шифр.

Так он нашел вторую строфу,— невозможно было выдумать ее, а написать мог только Пушкин.

Перебивая себя, путаясь, хватая Машеньку за руки и смеясь, потому что она смотрела с испугом, он в сквере у кино нашел и прочитал третью:

Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.

Он так орал и бесновался, что беспризорники, проживавшие в сквере, собрались вокруг, с профессиональным любопытством оценивая расположение его карманов.

Вернувшись домой, он нашел четвертую и пятую строфы. Отец спал, он явился к нему, размахивая бумагами, и поднял с постели. Испуганно моргая, старый оркестрант слушал его. Беспорядок был налицо: ночью сын прыгал по комнате и читал стихи. Старик немного успокоился, узнав, что стихи написал Пушкин. Пушкин — это порядок. Но уснул он все-таки с тяжелым чувством: сын был непохож на него — неаккуратность, торопливость, упрямство.

В десятом часу, умывшись до пояса холодной водой и принарядившись, то есть надев свой единственный темносиний костюм, Трубачевский отправился к Бауэру. За ночь он не прилег ни на минуту, но чувствовал себя превосход-

но. И вообще все было превосходно, все, что он видел на небе и на земле. Десятый час, а солнце грело уже вовсю, как летом. На улицах было еще пустовато, но это-то и красиво. Нарядный мороженщик стоял подле чистой голубой тележки, нарядные милиционеры управляли движением. Небо тоже было голубое, и он впервые заметил, в какие разнообразные и приятные цвета перекрашены дома на проспекте Карла Либкнехта. Мостовая после наводнения 1924 года была выложена булыжником, а теперь булыжник сняли и заменили торцами,— это тоже было куда удобнее и приятнее. Во дворе дома № 26/28 мальчики молча разглядывали собаку, стоявшую среди них с грустным и виноватым выражением. Один погладил ее, и Трубачевский радостно улыбнулся, сам не зная почему, но, должно быть, потому, что у мальчика было доброе лицо — доброе и красивое, как все, что он видел перед собой в то утро.

Анна Филипповна открыла ему, но не сразу, а сперва накинув цепочку и поглядев на него через щель. Причесываясь, перед тем как зайти к Бауэру, он увидел ее в зеркале и, хотя она сердито бормотала себе под нос и нос висел уже не над верхней губой, а над нижней, нашел, что она все-таки симпатичная и в детстве, наверно, была красивой.

Потом он нащупал в боковом кармане листки с переписанным набело стихотворением и спросил, встал ли уже Сергей Иванович.

— Скажите ему, Анна Филипповна, что я пришел,— добавил он, не дожидаясь ответа. «Ну, поворачивайся, кот в сапогах»,— радостно подумал он, когда старуха неторопливо пошла по коридору.

Она вернулась минуту спустя и сказала, что Сергей Иванович просит в архив. Трубачевский вынул листки и сейчас же положил их обратно. Сердце прыгнуло вверх, потом вниз, потом провалилось. А вдруг все вздор и старик скажет, что вздор и совершенно невероятно?

Дрожащей от волнения рукой он постучал в дверь, и голос Бауэра сказал:

— Войдите.

Трубачевский вошел.

Первое, что бросилось ему в глаза, когда, еще ничего не понимая, он остановился на пороге, были бумаги. Бумаг было очень много — кажется, гораздо больше, чем их было в этом архиве. Они лежали на столе, на окнах, на откидной доске пушкинского бюро, на полу и на стульях,

Старик стоял среди этого разгрома спиной к нему и не сразу обернулся, когда открылась дверь,— только пригнулся ниже над столом, так что стала видна вся старческая, худая шея. Потом обернулся, посмотрел, сердито запахнул халат, и Трубачевский, несмотря на все волнение, успел заметить, как похож он сейчас на свою карикатуру — в ермолке, с повисшими унылыми усами.

— Ну? — спросил Бауэр сурово.

— Сергей Иванович, я...— начал Трубачевский и сбился.— Словом, вот...

Он вынул листки и протянул их Бауэру. Старик стал читать. Вдруг так тихо стало в архиве, что Трубачевский услышал, как стучит его сердце. Кто-то прошел наверху. На улице заговорили громко. У него было такое чувство, что время остановилось и весь мир ждет, когда Бауэр кончит читать.

И Бауэр кончил наконец. Дойдя до последнего листка, он па минуту вернулся к первому. Потом поднял глаза.

Трубачевский перевел дыхание: глаза были веселые.

— Сергей Иванович...

Бауэр улыбнулся.

— Сергей Иванович! — отчаянно заорал Трубачевский.

— Разгадал, разгадал,— успокоительно сказал Бауэр и сморщил нос от удовольствия.— Разгадал. И, кажется, Жигалев насчет «Онегина» прав был, похоже. Ну, а теперь рассказывайте.

— Сергей Иванович... что рассказывать?

— Все. Только прежде воды выпейте, а то на вас лица нет.

Трубачевский выпил воды и рассказал. Он упомянул даже об этом сне, когда ему приснилась Машенька, и чуть было ее не назвал, вовремя спохватился:

— ...одна знакомая,— и прибавил, покраснев: — Двоюродная сестра.

Бауэр добродушно выпятил под усами губы.

С карандашом в руках он слушал Трубачевского, бормоча про себя какие-то неожиданные слова, и всякий раз махал рукой, когда тот останавливался, думая, что это относится к нему. Он помолодел, легкая краска выступила на старых щеках.

— Декабристы,— пробормотал он, когда Трубачевский прочитал «Витийством резким знамениты» и т. д.

— Где декабристы? — закричал Трубачевский, но старик уже махнул рукой.

— Ну, тут один из вас наврал,— объявил он, когда Трубачевский указал на те строфы, из которых ничего не вышло.— Либо вы, либо Пушкин.

— Пушкин наврал,— с горячностью возразил Трубачевский.

Бауэр посмотрел исподлобья, очень серьезно. Потом засмеялся, и Трубачевский пустился хохотать вместе с ним.

— А почему шестнадцать? — спросил он, когда Трубачевский рассказал, каким способом были прочтены первые строфы.

— Просто шестнадцать. Шифр.

— Ну-ну? Так просто? А строф всего сколько?

— Тоже шестнадцать.

— Он сперва все первые строчки выписал,— сказал Бауэр и от удовольствия стал, как дети, громко дышать носом.— Подряд все первые, шестнадцать штук. Потом все вторые, все третьи и так далее. Вот и выходит.

— Сергей Иванович, понял!

Так они сызнова рассмотрели всю рукопись. Они разглядели слова, помеченные одной начальной буквой, они нашли доказательства, что отрывок относится к десятой главе «Онегина», сожженной Пушкиным осенью тридцатого года.

Открытие было первостепенное: это была политическая история царствования Александра Первого, начиная с войны двенадцатого года, похода русской армии в Париж и кончая первыми встречами декабристов. И Трубачевский понял все значение того, что он сделал, когда старик, на минуту оторвавшись, взял его за плечи, потряс и, сказав: «Ну, поздравляю»,— поцеловал прямо в губы.

Был уже третий час,— Бауэра несколько раз просили к телефону, он все говорил, что занят, и Анна Филипповна дважды стучала, звала обедать,— когда они встали наконец. Они встали, и Бауэр вдруг помрачнел.

Опустив голову, он исподлобья обвел глазами архив — все эти груды бумаг, лежащие на полу, на столах, на окнах. Он как будто вспомнил о чем-то — и с такой неохотой!

Трубачевский тихонько окликнул — он не ответил.

И Трубачевский вдруг оробел. Открыв рот, он стоял подле своего учителя и не решался спросить, что случилось. Только теперь он вспомнил, как сурово Бауэр встретил его, это выражение недоверчивости и какого-то сердитого сожаления, с которым он обернулся, раздраженно за-

пахнув халат. Весь архив был вынут из бюро, даже секретные ящики открыты настежь. Что это значит?

Прошло, должно быть, минут пять, прежде чем он решился спросить.

— Сергей Иванович,— нерешительно начал он,— вы, кажется, искали что-то, когда я пришел. Или нет?

Бауэр сморщился.

— Мне тут одно письмо понадобилось, для цитаты. Стал искать — и нету. И тех бумаг, которые вместе с ним лежали, тоже нет. Целая пачка. Должно быть, перепутал и не туда положил. Найдется... Найдется,— успокоительно повторил он, видя, что Трубачевский взволнованно смотрит на него,— а теперь обедать пойдемте. Вон Анна Филипповна опять стучит.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Это были поиски себя, внимательные и неторопливые. Впервые с большой силой проявилась в Карташихине та память врожденного наблюдателя, благодаря которой он все запоминал, еще не зная, к чему это может пригодиться. Упорство, с которым он пробивался к самостоятельному пониманию людей и вещей, стало главной его чертой. Это сказалось во всем — и прежде всего в манере говорить и думать. Он был увлечен институтом, его людьми, интересами и делами и стал разговорчивее и общительнее, чем прежде. Но все чаще он притворялся равнодушным к тому, что его занимало,— так было легче думать. Он быстро усвоил грубовато-насмешливую манеру держаться, которая была почему-то принята среди комсомольцев, и она отлично помогала ему прятать застенчивость,— он еще был застенчив. Его считали хорошим товарищем, не очень способным и не очень умным. Он был одним из шести тысяч студентов Медицинского института — не больше и не меньше.

И он жил так же, как все, не подозревая, что это время, первый год студенчества, окажется потом очень важным для него и что сейчас он не понимает этого лишь потому, что самая острота впечатлений не дает возможности оценить их значение. Но были случаи, когда это подсознательное движение мысли и чувства вдруг становилось ясным для него.

Таков был случай с приятелем его, Лукиным.

В первом и втором семестрах он встречался с ним очень часто — Лукин был в его бригаде. Институт давался ему с трудом, но он, кажется, нисколько не тяготился этим. С той соразмерностью в силах, по которой легко узнать человека физического труда, он последовательно преодолевал эти трудности и учился не хуже других. Особенно интересовался анатомией и готов был с утра до вечера возиться в анатомическом театре. Хитрое устройство человеческого тела — вот что его поражало! И вдруг он пропал. По дружбе Карташихин дважды поставил против его фамилии отметку о посещении. Но Лукин не явился и на третий, и на четвертый день. И никто не знал, почему он перестал ходить, даже студенты, которые жили с ним в одном общежитии.

Наконец Хомутов выяснил, в чем дело: Лукин запил.

Карташихин освободился поздно в тот день, когда узнал об этом, и, выходя из института, решил, что зайдет к Лукину завтра утром. Но, проходя мимо общежития, по улице Льва Толстого, он на всякий случай посмотрел на окна четвертого этажа: еще не спали.

Он постоял у подъезда, потом вдруг решился — и побежал по лестнице...

Все комнаты были открыты в коридоре четвертого этажа, из всех дверей выходили студенты и ругались. Баулин, медик пятого курса, маленький и полуголый, стоял у единственной запертой двери и с унылым упрямством бил в нее кулаком. Вокруг него разговаривали, ругались, смеялись; он все бил и бил.

У знакомой студентки Карташихин узнал, что случилось: Лукин бушевал. Явившись после пяти дней отсутствия в общежитие, он сутки пролежал, не говоря ни слова. Час назад встал, выгнал из комнаты соседей, сорвал провода и теперь один в темноте пляшет.

— Что?!

— Пляшет,— серьезно повторила студентка,— вона! И в ладоши бьет!

В самом деле — монотонный напев доносился из комнаты между страшными ударами Баулина.

— Сергей, да будет тебе, сейчас комендант придет, откроем и свяжем,— крикнули из толпы.

— Пустите-ка, товарищи, я с ним поговорю, он сам откроет,— сказал Карташихин.

Его пропустили. Баулин ударил в последний раз и нехотя отошел.

— Петр!

Лукин пел, и слышно было, как он ходит — старательно, неторопливо.

— Петр, открой, это Карташихин.

Лукин не отвечал, все пел.

Заспанный комендант принес ключ, и Карташихин вошел в комнату. Койка была брошена поперек двери, стол разбит, книги и посуда на полу, и везде газеты, газеты. В свете, падавшем из коридора, ходил, изогнувшись, Лукин. Голый, только в майке и валенках, он топтался по-медвежьи и однообразно пел. Прямые волосы свисали на лоб, огромные худые ключицы торчали. Он смотрел вниз, на пол, и даже глаз не поднял, когда распахнулась дверь. Он был страшен.

— Товарищи, пять минут,— сказал, обернувшись, Карташихин и захлопнул дверь.

Через пять минут он вышел из комнаты вместе с Лукиным. Ругательства стихли, когда они появились. Только Баулин подскочил было к ним и заговорил быстро, и Лукин, приостановившись, уже поднял на него тусклые, бешеные глаза... Но Баулина оттащили, оттерли.

Было холодно, ветер и мелкий снег, и Карташихин, когда они спустились на улицу, хотел застегнуть на Лукине полушубок. Он не дал.

— Я сам.

И он сам, десять раз попадая мимо петли, застегнул полушубок.

Они уже подходили к дому, когда он заговорил, сперва слабо и хрипло, сорванным голосом, потом немного тверже.

— Ты мне объясни одну вещь,— сказал он.— Вот мы учимся в высшем учебном заведении, в Медицинском институте, и будем врачами. Верно?

— Верно.

— А крестьянство?

— Что крестьянство? — нащупывая в кармане французский ключ, спросил Карташихин; они поднимались по лестнице.

— Одни — врачами, а другие — рвачами,— громко сказал Лукин.— И за что пропадать — неизвестно.

— Ш-ш, спят!

Они вошли в прихожую, и Лукин послушно замолчал.

Карташихин увел его к себе, заставил лечь. Он лег не раздеваясь и долго молчал, уставясь в потолок и не моргая.

— Убил его? — вдруг спокойно спросил он.

— Кого?

— Корниенко.

— Никого не убил,— отвечал Карташихин, с трудом вспоминая, что Корниенко — сосед Лукина и что он мельком видел его в общежитии.

Лукин помолчал.

— Жаль.

— А за что?

— Понимаешь, я лежу, а он чай заваривает. Смотрю — чаинки считает. Ведь каждый день считал — и ничего, а тут у меня в глазах потемнело. Я хотел его убить, они не дали.

— Ну ладно, спи,— ничего не поняв, сказал Карташихин.

— Не хочу. Колбасы купит сто граммов и ест две недели. Крысиный хвостик останется, он завернет в бумагу — и на завтра! Сыр режет листочками, как бумагу. И все говорит,— Лукин скрипнул зубами,— «маленько, да сладенько».

— Ну и черт с ним, просто дурак,— чувствуя, что нужно быть тверже и умнее и что ничего не получается, сказал Карташихин.

— Нет, не дурак. Они видят, куда все гнется, а мы не видим.

— Да ты про кого говоришь?

— Все равно. Все, все. Они все одного хотят: маленько, да сладенько. А я не хочу,— громко сказал Лукин и сел на постели.— Я не согласен.

— Да ты тише, спят за стеной.

Но за стеной уже давно не спали. Матвей Ионыч возился, пыхтел, стучал посудой. Несколько минут спустя он позвал Карташихина и сунул ему рюмку с какой-то жидкостью молочного цвета. Карташихин понюхал.

— Пенэкспеллер? — спросил он.

— Пусть выпьет,— серьезно сказал Матвей Ионыч.— И чтобы не спать. Полчаса, час. Потом спать.

И, застегнув бушлат, причесавшись, чтобы не испугать Лукина, он явился в комнату и стал ухаживать за ним. Он заставил его снять рубаху, вытер лицо и грудь мокрым полотенцем и уложил его, покрыв одеялом и подложив под голову низенькую подушку.

Он отправил Карташихина спать, остался с Лукиным и говорил с ним до тех пор, пока первый утренний зимний свет не проник в комнату и не стала видна жесткая снежная крупа, до сих пор невидимо стучавшая в стекла. Говорил, впрочем, не он. Говорил Лукин, медленно и бессвязно, но со всей энергией полной откровенности, которая в нем была особенно трогательна и необыкновенна.

Когда наутро, проспав половину лекций, Карташихин вскочил и побежал будить Лукина, в комнате уже никого не было. Еще мокрое полотенце висело на двух стульях, поставленных спинками друг к другу, кровать прибрана, форточка приоткрыта. На столе Карташихин нашел записку: «Под чернильницей лежали три рубля. Я взял. Не сердишься? Получу стипендию — отдам».

— Расстроился,— сказал Матвей Ионыч, когда, отправившись к нему с этой запиской, Карташихин спросил, о чем они говорили ночью.

— Из деревни — одно, тут — другое. Надо помочь, следить. Помочь, и пройдет скоро.

В этот день началась зачетная сессия за третий семестр, и некогда было подумать о Лукине. Но Карташихин дважды ловил себя на том, что ничего не видит и не слышит вокруг. Все вспоминалось ему, как Лукин ходил по комнате, свесив руки, уставясь в пол, и пел. Что это за песню он пел? Унылая и, кажется, не по-русски. Должно быть, чувашская, вот что! Ему было жаль Лукина, но именно поэтому он старался думать о нем хладнокровно. Одно понял — и самое важное, как ему показалось. Он понял, что вся эта жизнь в институте, которая дается ему сравнительно легко, трудна для Лукина; и не только потому, что он живет в плохой комнате, плохо ест и работает через силу, а потому, что он сомневается в необходимости этих лишений: вокруг были люди, вроде Корниенко, которые жили по маленькому счету, а Лукин хотел жить по большому. Большой счет — это было такое отношение к собственным и чужим пристрастиям и недостаткам, ко всему, что унаследовано, утеряно и приобретено с первых дней сознательной жизни, которое создано революцией,— так понимал это слово Карташихин. И он впервые заподозрил себя: было ли у него что предъявить по этому большому счету?

2

Карташихин знал, что в институте уже второй год работает студенческий научный кружок и что этим кружком руководит доцент Александр Николаевич Щепкин.

Он решил записаться в кружок, разыскал секретаря, но оказалось, что членами могут быть только студенты старших курсов.

— А где он живет? — спросил Карташихин.

— Кто?

— Щепкин.

Секретарь с сомнением посмотрел на него.

— Все равно не позволит,— сказал он и тут же сообщил адрес.

Фамилий на двери было с добрый десяток, а звонок только один, и Карташихин долго сомневался, сколько раз позвонить. Потом решил совсем не звонить, постучал — и сейчас же открыли.

В квартире шла уборка, женщина с подоткнутым подолом мыла пол в заставленной вешалками и сундуками прихожей.

Карташихин спросил у нее, дома ли Щепкин, она, не отвечая, указала на маленькую внутреннюю дверь: оттуда слышались голоса.

Не успел Карташихин приблизиться, как дверь эта распахнулась, и вторая женщина, тоже с подоткнутым подолом, вышла, пятясь и с азартом размахивая мокрой тряпкой. А за ней Карташихин увидел маленького одутловатого старика со всклокоченными редкими волосами, бледного, с высокомерно-кислым лицом. Подняв голову и сморщившись, старик наступал на женщину.

— Не пущу, не пущу, вон!

— Николай Дмитриевич, да позвольте хоть пыль вытереть!

— Вон!

Он увидел Карташихина и спросил живо:

— Вы ко мне?

— Я к Александру Николаевичу Щепкину.

— Его нет дома, — сказал старик и ушел к себе, крепко захлопнув дверь.

Женщина взволнованно плюнула ему вслед.

— Что мыш какой, прости господи... Александр Николаевич в клинике, — сказала она Карташихину, — посидите, сейчас придет.

Она ушла, а вслед за ней и та, что мыла прихожую, и Карташихин остался один в просторной столовой, обставленной мебелью красного дерева; очевидно, старинной и дорогой, — об этом ему судить было трудно. Пол был только что натерт, все немного сдвинуто со своих мест, даже круглый обеденный стол стоял в стороне, не под люстрой.

Две тяжелые полки с медицинскими книгами одни только остались на месте, и Карташихин подошел и стал читать названия на корешках. Это продолжалось недолго, потому что старый Щепкин вдруг вошел и пробежался по комнате, искоса взглянув на Карташихина. Он был в сером халате, из-под которого виднелись серые же отвислые брюки, в ночной рубашке и туфлях, и все это было грязное, и даже сам он — во всяком случае, его лицо и халат были одного цвета.

«А ведь верно — мыш», — подумал Карташихин.

Думая о своем, Щепкин остановился и уперся в него отвлеченным, настойчивым взглядом. Он смотрел так долго, что Карташихин сперва почувствовал неловкость, а потом обиделся и, криво усмехнувшись, принял равнодушно-вызывающий вид. Но старик едва ли заметил все это. Два или три раза оскалив зубы, что было даже страшновато, он ушел к себе.

Дверь в соседнюю комнату на этот раз осталась открытой; Карташихин невольно проводил его взглядом — и изумился... Комната была очень странная. В ней было много вещей, но все старое, грязное и не на месте. Картина, состоявшая из каких-то бумаг под стеклом, размещенных на черном картоне, как это бывает на витринах в граверных мастерских, висела криво, и рядом чей-то старинный портрет — тоже криво, с наклоном в обратную сторону. Письменный стол с одного края был завален книгами, а на другом стояла посуда, какие-то соусники. На окнах, которые, очевидно, никогда не открывались, стояли в беспорядке черные коробки с откинутыми крышками, из коробок торчали рукописи. Нетрудно было догадаться, что из этой комнаты не выходили по неделям.

Одна из теорий старого Щепкина (у него было много теорий) заключалась в том, что несчастья происходят оттого, что человек выходит на улицу. На улице все может случиться. Можно попасть под движущийся транспорт и получить ранения, даже смерть. Можно встретиться со знакомым и сказать не то, что следует, — опасно, все подлецы. Можно простудиться, могут обокрасть. «А революция отче-

го произошла? — спрашивал он.— Оттого, что человек вышел на улицу».

Он сидел среди всего этого наворота вещей, посуды, бумаги и книг на высоком стуле, за высокой конторкой.

Вернувшись, он сейчас же взобрался на этот стул и надел очки, очень его переменившие. Он стал похож на «приказную строку» — сравнение, которое не пришло в голову Карташихину только потому, что о царских чиновниках он не имел никакого понятия.

Упершись в конторку носом, старик с язвительным выражением перелистывал книгу, и халат до самого пола свисал по бокам высокого стула.

Карташихин долго смотрел на него. Какой старомодный! Впрочем, это была довольно злобная старомодность. Видно было, что Щепкин нарочно сидит за этой высокой конторкой, сохранившейся от гоголевских времен, нарочно лижет палец, прежде чем перевернуть страницу, — именно сидит и лижет наперекор всему.

И Карташихин почувствовал это, когда, вдруг перестав читать, старик поднял на него глаза. Лицо его приняло надменное выражение. Проворно соскочив, он сердито захлопнул дверь. И явление, напоминавшее старинную гравюру, исчезло.

...Карташихин ждал, однако, уже довольно долго, а Александр Николаевич все не приходил. Наконец послышались шаги. Карташихин тихонько положил книгу и обернулся.

В дверь постучали, и — в желтом кожаном пальто, в мягкой шляпе, с портфелем под локтем — в комнату вошел Неворожин.

— Николай Дмитриевич дома? — спросил он.

Старый Щепкин выбежал, прежде чем Карташихин успел ответить.

Приди к старику кто-нибудь другой, Карташихин, быть может, не стал бы прислушиваться к этому разговору. Но Неворожин не был для него безразличен — и не только потому, что в тот памятный вечер он видел его в баре под Европейской с Варварой Николаевной. Неприязнь, которую он почувствовал к нему, была не случайной — так ему казалось: Неворожин даже приснился ему однажды, и во сне он был с ним в каких-то сложных, враждебных отношениях...

— Принесли?

— Принес, Николай Дмитриевич, — сказал Неворожин.

Шелест бумаг послышался, и голоса умолкли.

— Сколько?

Карташихин не расслышал ответа, хотя прислушивался с особенным вниманием, потому что самый вопрос показался ему странным.

— Дорого, берите назад!

И через минуту:

— Куда же вы, давайте сюда, садитесь!

Они замолчали, потом заговорили снова, — Неворожин все так же отчетливо, а старик взрывами и невнятно, так что слышны были в каждой фразе только первые слова.

— Уверен ли я? — вдруг спросил он. — Я эти бумаги некогда в руках держал.

— Но, может быть, владелец умер?

— Жив, — отрывисто сказал Щепкин.

Они снова замолчали и как будто делали что-то в тишине,— бумага шелестела.

— И если вы полагаете, — сказал Щепкин, — что и впредь к вам... в антиквариат будут приносить рукописи из этого собрания, у меня небольшая просьба. Я, видите ли, книгу пишу: «Пушкин и декабристы». В частности, занимает меня Кишиневский дневник. Одна страница в этом собрании есть, я наверное знаю. Там разговор записан — Пушкина с Охотниковым, декабристом. Они в Каменке встретились в двадцать первом году и говорили. Вот за эту страницу...

В коридоре послышались шаги, Карташихин обернулся... Нет, мимо! Гм, Охотников? Помнится, Трубачевский что-то рассказывал об Охотникове. Нехорошо, что они почти перестали встречаться. И виноват в этом он, Карташихин.

Он подошел к окну. Оно выходило в сквер, который недавно был разбит здесь на месте полуразвалившейся церкви. Сквер был еще не обнесен забором, но дорожки проложены, скамейки поставлены, здесь и там посажены кусты акации и боярышника. Весна была еще ранняя, кусты стояли голые, но уже распустившиеся, нахохлившиеся и черные, как черна была сырая, едва освободившаяся из-под снега земля.

Какая-то женщина сидела в сквере и задумчиво чертила тросточкой по дорожке. Она была одета еще по-зимнему, в зеленой шубке, рукава отделаны мехом, и в зимней шляпе, похожей на шлемы пилотов, тогда такие только начинали носить. Она сидела, положив ногу на ногу, и шубка была

короткая, едва закрывавшая колени. Где он видел эти висячие смешные рукава? Он не успел еще догадаться, как она нетерпеливым движением подняла вверх розовое лицо, и он узнал Варвару Николаевну.

Он видел ее теперь так ясно, что мог различить даже, что у нее надеты варежки, а не перчатки. Трость была мужская, ручка — желтый костяной шар. Чулки серые, и платье, которое было видно, потому что шубка расстегнута и одна пола соскользнула, тоже серое, но другого оттенка и с такими пышными штуками, название которых он забыл, кажется — воланы.

Он стоял у окна бледный, насупившись. Прошло три минуты, он думал, что будет спокоен. С чувством удивления и досады он стоял у окна, ощущая, что кровь стучит где-то высоко, в горле. Что ему за дело до того, какого цвета у этой женщины платье?

Он отошел, потом вернулся. Она сидела теперь, по-мужски опершись на высокую трость подбородком и следя за проходившими мимо студентами в белых халатах. Они шли, громко разговаривая и не обращая на нее никакого внимания. Такая пропасть была между ним и этими людьми, не обращавшими на нее никакого внимания, что он даже вздохнул с горестным недоумением.

Она снова подняла лицо, как будто почувствовала, что на нее смотрят. Взгляд был пристальный, нетерпеливый, с тем оттенком холодности и высокомерия, который он уже видел однажды.

Вдруг он решился. Накинув на плечи пальто, выбежал в прихожую и как раз столкнулся с Александром Щепкиным в выходных дверях,— он не раз встречал его в институте. Еще можно было проскользнуть, но он потерялся, поклонился, и они остановились, глядя друг на друга, один — покраснев и отступив на шаг, другой — с живостью и любопытством.

— Вы ко мне?

— К вам, — с трудом сказал Карташихин.

— Прошу.

Взволнованный и мрачный, Карташихин прошел за ним и сел, не дожидаясь приглашения. Вид у него был сердито-напряженный, как всегда, когда он хотел скрыть, что взволнован.

Щепкин тоже сел, облокотился на стол, закинув далеко за спину тонкую мохнатую руку. Он был похож на обезьяну, но умную, грустную, с большими, широко расставлен-

ными глазами и глубокими надбровными дугами, что характерно, впрочем, не только для обезьян, но и для Дарвина и Толстого. Брился он, должно быть, два раза в день — и все равно выглядел заросшим: борода начиналась под самыми глазами. Но даже в этом было что-то уютное, доброе, и глаза над этой небритой синевой были смеющиеся, живые.

— Вы что, зачет сдавать?

— Нет, я...

— Ну чего там, смелее!

— Я хочу у вас в кружке заниматься, — запинаясь, сказал Карташихин.

— Это хорошо. А чем вы хотите заниматься?

Голоса, которые были почти не слышны за перегородкой, вдруг стали громче, и старик вышел с Неворожиным, шумно разговаривая. Он почти наткнулся на сына, стоявшего спиной к двери и быстро обернувшегося, когда они появились, обошел его с презрительным равнодушием. Неворожин поклонился вежливо, но сдержанно.

Александр Щепкин проводил их медленным взглядом. Лицо его сперва болезненно сморщилось, потом приняло недоброе выражение.

— Да, так на чем же мы остановились? — уже другим, принужденным голосом сказал он. — Вы хотите записаться в кружок. Что ж, пожалуйста. А почему же вы к секретарю не обратились?

— Он направил меня к вам. Я на первом курсе.

— Ну и что же... Вы на первом курсе — очень хорошо. Вы знаете, почему мы слышим?

— Знаю.

— А я не знаю. Вообще никто не знает. Вот вам тема: анатомия слуха. Гипотеза Гельмгольца, которую он высказал шестьдесят лет назад. И никто еще не подтвердил. Как ваша фамилия?

Карташихин назвал себя, и они попрощались.

Ого, как сердце стало стучать, когда он вышел и, едва сделав один шаг за дверью, вспомнил о ней! Перепрыгивая через три ступеньки, он сбежал по лестнице.

Пусто было в саду, и скамейка, на которой она сидела, пуста. Пустые стояли кусты. Солнце косо прошло сквозь них, и лучи его, падавшие на дорожку, были пусты, как пуста и бесцветна лежала на черной земле тень скамейки, на которой она сидела.

Он остановился. На секунду прикрыл глаза и увидел ее с полной ясностью — розовую, по-мужски опирающуюся

подбородком на высокую трость. Трость Неворожина, которого она здесь дожидалась.

Скамейка была серая, недавно крашенная, и он немного посидел на ней. Земля под ногами исчеркана. Это она писала тростью, и несколько слов, полустертых и осыпавшихся, еще можно было разобрать.

«Пора, пора!» — было написано крупно, глубокими линиями — и наискосок быстро и мелко: «Пора?»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В первый раз Трубачевский услышал это слово, когда ему было шесть лет. Он гулял с мамой в Летнем саду. Мама была высокая, молодая, с муфтой, в которой было очень тепло, он все совал туда руку. Офицеры проходили, один отдал ей честь, она чуть кивнула и порозовела. Белые фигуры стояли вдоль дорожек, никто на них не смотрел, хотя они были голые, и очень странно, что они тут стояли. Мама сказала, что эти фигуры называются «статуи» и что они стоят здесь «для красоты». Одна статуя особенно поразила его. Это была большая белая дама. Лента падала с ее плеч к ногам. Она была лупоглазая, хвастливая и очень похожа на крестную, которая тоже постоянно хвасталась.

— Мама, что это?

— Это — Слава.

Он хотел спросить, почему Слава, но раздумал: лучше потом, а то придется много раз переспрашивать, и мама все будет отвечать «да», «нет», думая о своем, а потом рассердится, и ему попадет.

Он стоял и внимательно смотрел на Славу; у нее были толстые ноги и пальцы на ногах с отлупившимися ногтями.

Прошел год, и мама взяла его на концерт двенадцатилетнего дирижера Вилли Ферреро в Дворянском собрании. Оказалось, что Дворянское собрание — это просто большой зал, в котором рядами стояли стулья, штук тысяча; он начал считать и сбился. На стульях сидели люди, простые, как они с мамой, и военные, которые, конечно, тоже были люди, но особенные. Другие, с маленькими лирами на груди, быстро ходили между рядами и говорили: «Программ, программ». В дверях они стояли кучками, и это было немного похоже на Дворянское собрание, как он представлял себе это слово.

Музыканты уже собрались, стол, покрытый бархатной скатертью, стоял перед ними. Вдруг мальчишка выбежал и взобрался на стол. В руках у него была палочка. Он постучал по пюпитру и повелительно кивнул головой.

Коля не слушал. Мама играла каждый день, музыка ему надоела. Но этот мальчик, сердитый и быстрый, поразил его. Он махал палочкой, и все на него смотрели. Он был бледный, с надутыми капризными губами, и волосы, как у девчонки, курчавые и очень длинные. Музыканты перестали играть, он поклонился, смело и равнодушно.

Потом, когда концерт окончился, они стояли у подъезда Дворянского собрания. Было холодно, извозчики хлопали себя по коленям и подпрыгивали на козлах. Снег блестел, маленькая луна была видна между музеем и Михайловским театром. Все говорили о Вилли Ферреро. Двенадцать лет!

И вот он вышел: полный мужчина в шубе и цилиндре вел его за руку. Все бросились к ним. Студенты подхватили мальчика и понесли в гостиницу на руках. «Assez, доволно, доволно»,— говорил мужчина.

Нет, Слава — это была вовсе не та голая дама в Летнем саду, лупоглазая, похожая на крестную Веру! Слава — это цветы, которые летели на сцену, гул, топот, крики и то, что половина зрителей ждала этого мальчика, несмотря на двадцатиградусный мороз, и то, что его несли на руках.

Вечером, лежа в постели, он вдруг представил себя на месте Вилли Ферреро: отец в шубе и цилиндре выходит с ним из подъезда Дворянского собрания. Все кричат. Его несут на руках. Отец идет за ним и говорит по-французски.

С тех пор он не раз воображал себя на месте людей знаменитых, но знал, что это просто игра. И вот оказалось, что это уже не игра.

2

История загадочной пушкинской рукописи распространилась. Не прошло и двух недель, как Трубачевский был приглашен в Пушкинский дом — прочитать доклад о своем открытии. Большой зал на втором этаже был полон, в то время как на обычные доклады являлось едва ли больше десяти — пятнадцати человек. Однокурсники пришли в полном составе, но были здесь и почтенные ученые, всю жизнь занимавшиеся изучением пушкинских бумаг.

Щепкин сидел в первом ряду, одетый торжественно, но грязно; черный сюртук его лоснился, высокий воротничок с отогнутыми уголками был измят, галстук повязан криво.

Доклад был давно готов и чуть ли не выучен наизусть, но Трубачевский все-таки волновался. Остроносый, быстроглазый, он стал читать — сперва испуганным голосом и быстро, потом все увереннее и свободнее. Вновь открытые строфы прочитал во весь голос и очень хорошо, с гордостью, которую и не думал скрывать.

И он знал, что все хорошо: и то, что он сделал, и как прочитал, и как слушают,— в такой тишине, что каждый шорох был бы услышан.

Но вот он кончил. Прения были открыты, и никто не сомневался в том, что единственно верный ключ к чтению загадочной рукописи был найден. Некоторые комментарии подвергались сомнениям, но у Трубачевского нашлось что ответить. Все шло отлично до тех пор, пока слово не взял Щепкин.

— Этот доклад,— сказал он,— напоминает мне старинный памфлет на Шамполиона, в котором египетские иероглифы предлагалось читать по такому способу: каждый иероглиф — это буква или фигура или не буква и не фигура, а просто украшение почерка. Если смысл не выходит по буквам, следует толковать их как фигуры. Если и по фигурам не выходит — тогда можно просто пропустить строку... Так вот, не выходит-с! Ни по фигурам, ни по буквам:

Авось, о Шиболет народный,
Тебе б я оду посвятил...

Это Пушкин? Это студента Трубачевского стихи — и не очень важные, не очень!

Трубачевский хотел отвечать, но Бауэр, явившийся к прениям, остановил его и сам взял слово. Он начал с того, что «сравнение с Шамполионом для докладчика слишком лестно и что не следует, по его мнению, такими сравнениями баловать наших молодых ученых».

— Они и так думают, что если ничего делать не будут, так их всех в профессоры произведут, а если хоть что-нибудь — тогда прямо в академики!

Впрочем, значение вновь открытой главы «Онегина» неоспоримо. Можно сомневаться в отдельных строках, но всю рукопись следует читать именно так, а не иначе. Луч-

шее доказательство — стихи, которые только Пушкин мог написать, и никто другой.

— Если бы студент Трубачевский мог писать такие стихи, мы бы его и изучали. Конечно, самым неоспоримым доказательством,— продолжал Бауэр,— был бы черновик десятой, сожженной главы «Евгения Онегина». К сожалению, этот черновик утрачен.

Веселый и взволнованный Трубачевский возвращался домой после доклада. Пожилой человек в дымчатом пенсне (Трубачевский встречал его на литературных диспутах и, кажется, в университете) привязался к нему и всю дорогу толковал что-то о Шамполионе. Он назвал себя: Иваненко, гебраист и египтолог. Черный шнурок от пенсне был закинут за большое вялое ухо. Трубачевский отвечал невпопад, еще полный всем, что произошло на докладе, и чувствуя, как непонятное волнение и радость подступают к сердцу. На Тучковом мосту он вдруг перебил собеседника и показал на темные силуэты барж, стоящих вдоль берега в тихой ночной воде.

— Взгляните!

Тот посмотрел и, поправив пенсне, обернулся к нему с недоумением.

— Какие корабли! — радостно сказал Трубачевский.

У него было такое лицо, что даже сквозь дымчатое пенсне видно было, как далек он сейчас от Шамполиона. Египтолог грустно простился с ним, и Трубачевский один пошел дальше — навстречу последней светлой полосе весеннего вечернего неба.

3

Прошло несколько дней, и заметка об открытии десятой главы «Евгения Онегина» появилась в вечерней «Красной». Все было так, как он представлял себе,— и как непохоже!

С чувством досады прочитал он эту заметку, помещенную между отречением какого-то оппозиционера и известием о том, что в адмиралтейской игле найден серебряный ларец, заключавший портрет Александра Третьего, и две старые газеты.

Но отец — вот кто торжествовал! У всех газетчиков по проспекту Карла Либкнехта он скупил номера вечерней «Красной». Он разослал их родственникам.

На игру старый кларнетист стал ходить в визитке и в жилете шалью — такие носили перед русско-японской войной. Разглаживая усы, он сидел в оркестре и посматривал на всех поверх очков с важным и снисходительным видом. Сыну он вдруг сделал подарок: маленький никелированный, перевитый цепочкой якорь, и в него вставлен компас, немного испорченный — стрелка показывала на юг. Он стал красить усы, и вообще у него в жизни многое переменилось.

Заметку перепечатали в «Известиях», и все областные газеты повторили краткий рассказ о том, как «студент ЛГУ Трубачевский, работая над пушкинскими бумагами...»

И вот молодой человек, красивый, с каштановой шевелюрой, который всех людей на свете называл по имени-отчеству, явился к Трубачевскому и предложил ему издать книгу.

— С погтгетом,— прибавил он, картавя.

Трубачевский слушал его, не веря ушам. Книгу, одну из этих маленьких белых книг, с портретами автора на обложке!

И, не долго думая, подмахнул договор.

Он рано встал на следующий день, хотя фотограф должен был прийти в половине второго. Он побрился. Отец давно уже звал пить чай, а он все еще стоял перед зеркалом, стараясь найти грустно-ироническое выражение. Он улыбался, опустив голову, щуря глаза. Вдруг, догадавшись, что это глупо, он покраснел и пошел в столовую, смущенно улыбаясь.

Фотограф пришел грязный и грубый. Шумно сопя, пальцем тыкал Трубачевского в подбородок...

Ему так попало от Бауэра, что он и не рад был, что заключил договор. Стуча ладонью по столу и хмуро моргая, старик объявил, что это именно и есть тру-ля-ля.

— Наукой заниматься — и тогда никаких книжек до магистерской диссертации, или как там она у вас теперь зовется. Либо книжечки выпускать — и тогда, извините, не вижу, чем могу быть полезен!

— Сергей Иванович, первая и последняя,— жалобно сказал Трубачевский.

— Расторгнуть, расторгнуть!

— Сергей Иванович!

Бауэр посмотрел на него.

— Нет, расторгнуть,— сказал он решительно.— Дого-

вор расторгнуть! А если вам деньги нужны, пожалуйста, готов ссудить.

Разговор продолжался и на следующий день. Один довод подействовал: Щепкин. Щепкин забежит вперед и украдет. Либо, наоборот, напечатает возражение.

И скрепя сердце, хмурый, недовольный, Бауэр согласился.

Первая корректура пришла в начале июня. Листы были длинные, узкие, с большими полями. Он с волнением смотрел на них. Все, что он написал, было напечатано слово за словом на этой толстой бумаге. И с ошибками: «Трубчевский», потом вместо

Друг Марса, Вакха и Венеры...

напечатали:

Друг Макса, Вакха и Ванеры...

Трубачевский позвал отца.

— Посмотри гранки,— небрежно сказал он.

С религиозным выражением отец надел очки и посмотрел на гранки.

Целую неделю Трубачевский провел за этой корректурой. Каждую поправку он написал на полях печатными буквами. Если нужно было заменить слово, он всякий раз считал знаки, хотя это правило, редко кем соблюдаемое, принято лишь для второй корректуры. На каждой гранке он написал: «По тщательном исправлении печатать. Трубачевский». И обвел красным карандашом это «а», которое почему-то всегда пропускали!

Потом он отправил корректуру в Москву и стал ждать. Все осталось по-прежнему. Учебный год закончился, он сдал хвосты и перешел на третий курс. Комментарий к «Капитанской дочке» был почти сделан, и старик позволил взяться за самостоятельную работу. Машенька отбывала практику на «Электроприборе», и они встречались иногда в пятом часу у заводских ворот, долго бродили по набережным и заходили в такие места, где чувствовался запах моря и с невских старых пароходиков на них смотрели равнодушные бородатые люди.

Но ко всему, что он делал и говорил, примешивалось чувство ожидания. Проходя мимо газетчика, он невольно глядел на его витрины. Во всех изданиях он прежде всего просматривал списки вновь вышедших книг. Он пред-

ставлял себе, как развернет свою книгу — книгу, которую он написал, и прочтет ее от первой до последней страницы.

Этот день наступил — и очень скоро. Как-то, вернувшись домой из Публичной библиотеки, он нашел у себя пакет, крест-накрест перевязанный тонкой веревкой. На всю жизнь он запомнил эту грубую синюю бумагу и разломанные куски сургуча, которые висели на веревке.

Двадцать пять маленьких белых книг высыпались из пакетика на письменный стол. Ощущение, когда он развернул одну из них, было физическое — точно взял в руки что-то живое.

4

Они условились встретиться на пристани у Летнего сада, и Трубачевский чуть не опоздал. Он сразу нашел ее, хотя на пристани было много народу и две или три девушки в таких же белых беретах. Впрочем, он легко нашел бы ее в это утро, если бы на пристани было вдвое больше народу и даже если бы все девушки были в белых беретах.

Без сомнения, ему влетело бы за опоздание, но некогда было! Раздался третий свисток, и только что они успели перебежать, как матросы уже взялись за веревки, чтобы убрать сходни.

Трубачевский лет десять не ездил по Неве (хотя летние месяцы всегда проводил в Ленинграде) и все знакомые места казались ему какими-то странными, точно вывернутыми наизнанку. Машенька смеялась: он ничего не узнавал. Ботанический сад принял за Крестовский остров, какую-то вышку — за пожарную каланчу, а это, оказалось, метеорологическая станция, которую он, впрочем, до сих пор и в глаза не видел.

Потом Машенька объявила, что они с Танькой подумывают о том, чтобы перевестись в Институт инженеров транспорта.

— Знаете, что я больше всего на свете люблю? Паровозы,— сказала она серьезно.— Мы когда на даче жили недалеко от Сормова — знаете, где паровозостроительный,— так я за десять верст ходила новые паровозы смотреть. Мне все кажется, что они на людей похожи. Один — добрый, мохнатый, другой — визгливый. Я марки по гудкам различаю. Танька не может, а я различаю. А вы?

— А я — как Танька!

Она засмеялась и стала смотреть в сторону,— он глаз с нее не сводил. С первой минуты, как он увидел ее в этой белой маркизетовой кофточке, сквозь которую просвечивали руки, у него только одна мысль была: как бы ее поцеловать.

Он посмотрел на губы, и она, кажется, поняла, потому что вдруг покраснела.

Они замолчали. Острова вдруг стали видны за одним из поворотов — темно-синий лес и белое здание яхт-клуба. Машенька заговорила об отце — и не только потому, что дольше молчать уже становилось неловко. Она серьезно о нем беспокоилась и нет-нет да и вспоминала. Он каждый день после обеда с грелкой лежит и такой страшный делается — весь серый. Одно время ничего было, даже казалось, что совсем прошло, а теперь снова — боли и боли.

— Ведь вы его в Ессентуки хотели отправить?

— Да, а он не поехал. Он лечиться не хочет. А тут еще Дима...

Она еще что-то хотела добавить, но пристань была уже близко, матрос вылез из машинного отделения и стал рядом с ними, потряхивая канатом.

Острова были пустынные в этот день, только няньки гуляли с маленькими детьми, и дети шли задумчивые, оборачиваясь и долго глядя вслед каждому прохожему или даже собаке, да велосипедисты шуршали шинами по крупному гравию дорожек. Сперва они свернули направо, к Елагину дворцу, но и тут были няньки.

— Пойдемте налево, очень уж знакомые места,— немного покраснев, сказал Трубачевский.

Они пошли по берегу Невки. Здесь, правда, тихо было, деревья стояли сонные, и темные круглые пятнышки — тени листьев — лежали на траве. Трубачевский взял Машеньку под руку, она не отняла, они и прежде, случалось, так ходили. Но и она, кажется, чувствовала, что сегодня не то, что прежде.

Они оба волновались. Трубачевский только об одном думал: как бы поцеловать! И она догадывалась и, может быть... Но нечего было и думать!

То сторож попадался им навстречу, то снова няньки, то из травы вдруг поднимался человек, голый, загорелый, как индус, с выцветшими от солнца волосами, то, когда они наконец остались одни, какие-то люди в черных засученных штанах вышли из-за кустов и стали косить траву, смеясь и переговариваясь друг с другом.

Так были обойдены все отдаленные дорожки Елагина острова, и уже опять начались оживленные места — няньки, сторожа, велосипедисты.

Машенька шла и насилу удерживалась от смеха. У него лицо так быстро менялось, и он так помрачнел из-за этих косцов! Совершенно голый, важный мальчик шел навстречу, и она обрадовалась, что может наконец рассмеяться.

— Какой забавный, правда?

Они обошли Елагин. Похожие на больших дворовых собак, каменные львы сидели на Стрелке, вытянув вдоль парапета хвосты. Финский залив был далеко виден, пересеченный то светлыми, где угадывалась мель, то темными полосами. Парусная лодка скользила накренясь, и что-то вдруг начинало ослепительно блистать на ней — должно быть, цинковое ведро или банка.

— Какое синее вода,— оговорившись, сказала Машенька и опять засмеялась,— то есть небо. У нас в Ленинграде такое небо редко бывает, правда?

— Правда?

— Что вы стали такой? — И она передразнила его, смешно повесив голову и оттопырив губы.— Знаете что? Мне кажется, я веснушки чувствую. Просто чувствую, что все больше становится. Посмотрите,— много?

Она обернулась. Веснушек было немного, штук пять; Трубачевский сосчитал их и в точности доложил — размер и где какая. Потом они пили какую-то воду в ларьке, ели мороженое, и продавщица улыбалась, хоть не было ничего смешного в том, что двое людей едят на Стрелке мороженое и пьют воду; потом обогнули Елагин с другой стороны и пошли через мост в Новую Деревню, к трамваю.

Странное здание открылось по правую руку — темно-красное, с золотыми бляхами на фронтоне.

— Буддийский храм,— сказал Трубачевский.

Они заглянули в ворота — никого. Дверь в глубине между четырехугольными колоннами открыта, и там темно и, должно быть, прохладно.

— Не прогонят?

— Ну вот еще!

Большой Будда сидел в нише на скрещенных ногах, загадочно улыбаясь. Он был молодой, лет семнадцати, нежно-розовый, с ленивыми, раскосыми голубыми глазами. Чашечки с рисом и сахаром стояли перед ним, свет горел в парчовых цветных столбах.

— Красивый,— сказала Машенька шепотом.

— Его из Гамбурга привезли. Гамбургского производства.

Она посмотрела недоверчиво и огорчилась.

— Ну да?

— Честное слово.

Большие, до самого потолка, картины были прислонены к стенам в четырех углах храма. Фантастические духи добра и зла были изображены на них, одинаково сердитые, в странных халатах, напоминавших кафтаны древнерусских бояр. Один был весь в бородавках, очень смешной, летевший как на пожар в своих расписных ботинках. Он был очень похож на кого-то, а на кого — Машенька не могла припомнить. Потом припомнила: на одного профессора, математика, папиного приятеля, который умел вырезать из дерева разных смешных чертей и лесных кикимор.

— У меня есть одна такая штука: с хвостом, нос длинный, глаза торчат. Я вам покажу как-нибудь, очень забавный.

Трубачевский стоял за ее спиной; полутемно было в буддийском храме и пусто, а он только смотрел на ее прямую прелестную шею, на тонкий край воротничка и молчал.

— Машенька,— вдруг взволнованно пробормотал он и поцеловал ее в щеку...

Они целовались до тех пор, пока монах в красной рясе не появился на пороге храма, неподвижный, с монгольским лицом, как будто вырезанный на фоне зелени, солнца и голубого неба.

5

Накануне он был приглашен к Варваре Николаевне, но день был такой хороший, так полон Машенькой и этой прогулкой и он вернулся домой с таким чувством радости и чистоты, что вдруг решил не идти.

Через час он уже одевался.

...Громкий говор был слышен в прихожей, радио или патефон. Видимо, гостей было много. Варвара Николаевна вышла из столовой, высокая, статная, в шелковом платье, с заколотыми на груди кремовыми кружевами.

— Пойдемте, я вас познакомлю.— И она по-мужски предложила руку.— Во-первых, с хозяйкой этого дома,—

сказала она, подводя его к полной добродушной женщине в очках, которые не шли к открытому и слишком короткому платью.— Мариша, это Трубачевский... А во-вторых, с моими друзьями.

И Варвара Николаевна повела его дальше.

Лампы стояли под низкими цветными абажурами, и круги света, желтые и голубые, лежали на ковре. Патефон играл, и над ним торчала чья-то борода, освещенная снизу. Полосатый клоун сидел на японском экране, перед камином, в комнате было много игрушек — русские бабы, мартышки и тот самый плюшевый мишка, про которого Варвара Николаевна сказала, что он «умница и все понимает».

— Садитесь,— сказала она Трубачевскому,— и смотрите на этих людей. Они все известные и интересные, и вам очень полезно смотреть на них и слушать.

Он послушно сел и стал смотреть и слушать.

Очень странно, но эти люди был похожи друг на друга: на всех лицах — отпечаток зрелости, у всех взгляд осторожный и равнодушный. Даже одеты они были одинаково: мужчины в коротких, модных тогда, пиджаках и в широких брюках, женщины в платьях, похожих на туники,— французская мода времен Директории,— только без рукавов и короче.

На одном лице он остановился: черты были сухие, взгляд — небрежный и умный. Варвара Николаевна познакомила их — Шиляев. Пока не позвали к столу, он слушал музыку и молчал.

И еще на одном — знакомом. Это был кинорежиссер Блажин.

Неворожин явился, когда уже приглашали к столу.

— Сегодня мы с Димой о вас говорили,— серьезно и с уважением сказал он Трубачевскому, ни с кем не здороваясь и прямо подходя к нему.— И решили, что вы — молодец. Это замечательно, то, что вы сделали, и очень остроумно.

И он кратко, но очень точно рассказал Шиляеву, Блажину и всем, кто был поблизости, о шифрованной рукописи и о том, что сделал Трубачевский.

— Что же, это статья будет? Или книга?

— Книга,— покраснев, сказал Трубачевский.— Двадцать печатных листов,— соврал он небрежно.

Мариша давно звала к столу, и все понемногу перешли в столовую, они одни еще оставались в этой комнате,

где сизый дым висел в воздухе, растягиваясь и медленно выползая в открытые окна.

Варвара Николаевна посадила его рядом и все подкладывала и подкладывала на его тарелку.

— Вы молодой, и у вас должен быть аппетит. А я старая и пью водку.

И в самом деле она много пила, рюмку за рюмкой.

Ужин был такой, что Трубачевский ошалел,— половины тех блюд, что перед ним стояли, он до сих пор и в глаза не видел. Рыба его поразила. Рыба с дикой мордой, украшенная нежной зеленью, лежала посреди стола. До нее никто не дотронулся; под утро кто-то всунул ей в зубы окурок. Но Трубачевского она почему-то стесняла.

Стараясь держаться спокойно, он навалил на свою тарелку гору корнишонов и ел их весь вечер. Он опрокинул рюмку с ликером и так глупо шутил по этому поводу, что потом не мог вспоминать, не краснея. Он напился очень быстро — и тоже не потому, что хотелось, а от застенчивости, которую старался преодолеть.

Уже через полчаса он был пьян. Говорил не то, что хотел, и как будто из третьей комнаты доносился звон посуды, разговор и хохот.

В одну из таких минут пришел Дмитрий с белокурой накрашенной женщиной. Ее звали Ника. Все кричали ей: «Ника, Ника!» Она не отвечала, только смеялась. Потом крикнула что-то Неворожину, и таким хриплым, мужским голосом, что Трубачевский ушам не поверил.

Как попал он за этот маленький стол, который был накрыт в стороне?

Здесь был Дмитрий Бауэр. Шиляев пил и кривил плоские бритые губы. Блажин изредка вставлял два-три слова, глупо, не к месту, но все же был доволен.

— Дело идет к концу,— говорил Шиляев,— и нечего дурака валять. В Феодосии фунт хлеба стоит...

— Дело не в хлебе, а в папе,— возразил Дмитрий.

— В каком папе?

— В чужом папе. Со стороны.

— Не нужно. И чушь,— сказал Шиляев.— Никто не верит.

Трубачевскому хотелось сказать, что он все понимает и не согласен, но каждый раз время останавливалось, и все начинало казаться бесшумным, как будто стоишь под колоколом во время звона.

— ...Оппозицию разнесли.

— Потому что дура,— злобно сказал Шиляев.— А за нами пришлют. И с поклоном. Разве ты не чувствуешь, чем запахло?

— Запахло жареным,— глупо пробормотал Блажин и засмеялся — он один, потому что Дмитрий невольно сделал предостерегающий жест.

И Трубачевскому показалось, что все уставились на него. Он хотел встать и уйти, но в это время Варвара Николаевна вернулась и сейчас же налила себе и ему водки.

— Он похож на братца Чурикова,— сердито сказал ей Трубачевский.

— Кто?

— Ваш Шиляев.

Братец Чуриков был какой-то сектант, которого он никогда не видел и лишь на днях узнал о нем из вечерней «Красной».

Потом все опять провалилось, и слышен был только шум голосов, стук ножей и вилок. Шиляев сказал что-то о большевиках, что они все меняли в стране, а теперь остановились, самим стало скучно, и Трубачевский хотел возразить, но в это время все подняли рюмки, и он выпил. А потом уже поздно было, говорили о другом.

Откуда взялась эта роза, с которой он возился весь вечер? Он очень берег ее и даже Варваре Николаевне не дал, а ведь она, кажется, просила.

Он вырвал из какого-то альбома два листа папиросной бумаги и с серьезным, пьяным лицом долго заворачивал розу. Дважды он забывал ее там, где сидел, но возвращался и находил.

Он дал слово Варваре Николаевне, что завтра же придет к ней, и она сказала, что у него прекрасные глаза, когда он их не слишком открывает.

— Веки ровно на четверть должны закрывать зрачки,— сказала она и показала, как это «ровно на четверть».— Тогда вас будут любить, потому что вы будете красивый.

Она посмотрела на него — не только глазами, а всем лицом, с тем особенным, откровенным женским выражением, от которого ему становилось страшно. Он вспомнил Машеньку и надулся.

Он забыл, что было потом. Кажется, он спал на диване. Когда он проснулся, свет был погашен и все вокруг серовато и шатко, как всегда во время белых ночей. Неворожин стоял, скрестив ноги, опершись о стол, а за столом

сидела Варвара Николаевна. Она слушала его, не поднимая глаз. Трубачевскому виден был снизу ее энергический и нежный подбородок.

Должно быть, он снова уснул. Но одна минута осталась в памяти, и по ней он потом припоминал все остальное. Он сидел на диване. Все было серым в комнате, стальным, голубоватым и цвета сурового полотна. Серый, полосатый клоун вниз головой висел на экране перед камином. Варенька прошла мимо в легком, бесшумном платье, и он слышал, как она сказала: «Мариша, нужно унять мужчин, которые хамят с Никой».

Голос был усталый.

Трубачевский приложил руку ко лбу. Все было противно и мерзко, даже этот голос; он не мог понять, как он раньше не догадался об этом.

Он встал и вышел в прихожую. Пес заворчал, и где-то в темноте зашевелилось его большое сонное тело. Макинтош лежал на стойке для палок. Трубачевский почему-то надел его, хотя всегда носил на руке, потому что макинтош был старый и рыжий. С неприятным чувством в спине, как будто кто-то смотрел ему вслед, он спустился по лестнице. Должно быть, уже поздно было, потому что дворничиха подметала панель. Хотелось курить, он машинально стал шарить в карманах.

Что это за пакет лежал в его макинтоше? Трубачевский долго смотрел на него, стараясь припомнить. Бумага была плотная, пергаментная. Он разогнул ее.

Небольшой, в четверть, голубоватый листок, завернутый в кальку, лежал в этом пакете. Листок был исписан короткими строчками, много раз перечеркнутыми, профиль в колпаке нарисован среди начатых и брошенных вариантов. Этот почерк, который Трубачевский узнал с первого взгляда, несмотря на пьяную, бессонную ночь, этот почерк был Пушкина.

Он огляделся: улица, церковь. Солнце вставало, и большие косые тени церковной решетки лежали на панели. Дворничиха подметала. Все было достоверно, просто и ничуть не похоже на сон. Он еще раз взглянул на листок, исписанный пушкинской рукой. И вдруг понял — впопыхах он надел чужое пальто.

Он вернулся. На лестнице горели лампы, и была еще ночь, он только теперь это заметил. Кожаное и желтое. Он медленно поднимался. Пальто Неворожина.

Он остановился. Он вспомнил все: первый вечер у Вар-

вары Николаевны и этот разговор с намеками, который он тогда не понимал. Шаги в архиве, отодвинутый стул, задетый чьим-то движением шнур переносной лампы. И эта пачка бумаг, пропавшая в тот день, когда он явился к Бауэру со своим открытием.

Голоса послышались за дверью, и он едва успел спрятать пушкинскую рукопись в карман своего пиджака.

Под руку с женщиной Дмитрий вышел на площадку. За ним рыжий Блажин в маленьком кепи, Шиляев, еще кто-то. В глубине, в светлом пространстве, выпавшем из внутренних дверей, стояла Варвара Николаевна.

— Вернулись? А мы вас искали.

— Я надел чужое пальто,— глухо и с трудом сказал Трубачевский.

Она обернулась.

— Борис Александрович, не ищите, ваше пальто здесь... Хорош!..— сказала она с упреком.— Убежал и даже не простился.

Трубачевский молчал. Неворожин появился в дверях.

— Простите привычку старого дворянина,— полусерьезно сказал он и подал Трубачевскому его макинтош.

Внизу, в подъезде, слышны были голоса и смех. Кто-то крикнул: «Варенька, до свиданья!»

— Пошли провожать Митю,— сказала Варвара Николаевна.— Вам, кажется, по дороге?.. Приходите завтра,— добавила она негромко и взяла его за руку.— Мне будет скучно, а когда мне скучно...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Профиль в ночном колпаке — Вольтер — был нарисован отлично, с небрежным, ядовитым выражением, с большой смеющейся нижней губой. Строки наезжали на него, кончаясь в самом колпаке, и под губой было намазано несколько неразборчивых слов.

Трубачевский взял лупу. Он не спал всю ночь и еще полчаса назад, возвращаясь домой, чувствовал такую усталость, что чуть не заснул на лестнице, дожидаясь, когда встанет отец.

А теперь все прошло. С ясной головой сидел он над рукописью.

Водяные знаки были отчетливые — 1823 год; но писано не раньше двадцать восьмого. Не раньше двадцать седьмого появляется это Д, похожее на прописное французское Z, это Ж с огромной петлей в середине — все преувеличения почерка, начинающего уставать. Первое слово, потом строка были разобраны очень быстро,— и вот он уже обо всем на свете забыл! Отец пил чай в столовой и дважды окликал — он слышал и не слышал. Звонок раздался, знакомый почтальон что-то сказал отцу, газета зашелестела. Быть может, письма?

— Коля, письма,— негромко сказал отец.

Он даже не обернулся.

Ловя здесь и там отдельные разборчивые слова, он наскоро пробежал всю рукопись, и то, что прочитал, изумило его. Строфы, над разгадкой которых он работал с таким упрямством, были набросаны здесь в простом, незаши-

фрованном виде. Он узнавал слова, находил рифмы, угадывал целые строки. Судя по первой строфе, можно было принять эти стихи за вариант «Героя»,— он встретился с ней как со старой знакомой:

Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились цари,
Сей всадник, папою венчанный,
Исчезнувший как тень зари,
Измучен казнию покоя,
Осмеян прозвищем героя,
Он угасает недвижим,
Плащом закрывшись боевым.

Ключ был верен. Единственное, неоспоримое доказательство, о котором Бауэр говорил на докладе, было найдено. Этот листок, с портретом Вольтера, с набегающими друг на друга словами, с быстрыми вычерками, был черновик десятой, сожженной главы «Евгения Онегина».

Знал ли Бауэр о том, что этот листок был в его архиве? Да и был ли? Все подозрения снова ему представились. Но сейчас не до того было! Новые строфы Пушкина, еще никому в целом мире не известные, еще не прочитанные ничьими глазами, были перед ним, и он ни о чем другом не мог и не хотел думать.

Имена — вот что было труднее всего! Но одно из них он вдруг разгадал — все сошлось: и размер и рифма.

Читал свои Ноэли Пушкин.
Меланхолический...

И дальше шла закорючка. Но он продолжал читать:

Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.

Декабристы. Старик был прав. Какова голова!

Трубачевский бросил лупу. Книга была готова. «Пушкин и декабристы». Двадцать пять печатных листов, нечего было краснеть — он сказал Неворожину правду.

Он вздохнул открытым ртом, ему стало холодно от восторга. Он приложит автографы, пусть все видят, что он сделал. Он докажет, что Пушкин был вдесятеро ближе к декабристам, чем это принято думать. В предисловии он расскажет историю своего открытия. Все — начиная с шифрованной рукописи и кончая этим листком, который он нашел...

Он вдруг задумался. Листок был найден в кармане чужого пальто. Но Неворожин служит в «Международной книге». Может быть, он купил этот листок для антиквариата? Или для себя? Может быть, он сам собирает старинные рукописи?

«Как мог я решиться на это? — с изумлением спросил себя Трубачевский.— Я просто украл его. И Неворожин догадается — нельзя не догадаться. Он явится ко мне — Трубачевский с ужасом взглянул на часы — и прямо в глаза скажет, что я — вор! Что я ему отвечу?»

Он схватился за голову и встал. Вот что: нужно бежать к старику. Нужно все рассказать. Нужно узнать, какие бумаги пропали из пушкинского бюро в тот день, когда он явился к Бауэру со своим открытием. Нужно просто увидеть его — и тогда все станет ясно.

Он оделся, вышел в столовую. Отец взглянул на него и выронил газету.

— Папа, у меня такой вид, потому что я не спал,— сказал он поспешно,— пожалуйста, папа, если ко мне придут, ты скажешь, что я поздно вернусь и чтобы не ждали.

Он выпил стакан холодного чая и с отвращением съел бутерброд.

Шел дождь, не очень сильный, но прохожие толпились в подъездах, извозчики, которых в ту пору было еще много, подняли верхи и покрылись поверх армяков мешками. Трубачевский не стал пережидать. Весь мокрый, в мокром макинтоше, в надвинутой на уши кепке, он добрался, прыгая через лужи, до улицы Красных зорь и до знакомого дома.

Он позвонил, постучал, все не открывали. Потом Машенька открыла, и, едва войдя, едва взглянув на нее, он понял, что случилось несчастье.

— Машенька...

— Ш-ш, у нас Федоров,— сказала она шепотом, и Трубачевский сейчас же догадался, что это врач и что Бауэру плохо.

— Сергей Иванович? — тоже шепотом спросил он.

— Ему выкачивание делают, и сейчас сестра вышла и сказала, что показалась кровь.

У нее губы задрожали, и Трубачевский испугался, что сейчас она заплачет.

Но Машенька удержалась.

— Наверно, рак.

— Да бросьте вы! Моему отцу тоже делали, и тоже кровь, а потом посмотрели — и ничего,— шепотом соврал Трубачевский.

Она посмотрела на него и, прикусив губу, покачала головой.

— Нет, рак. Я давно думаю, что похоже.

— Ничего не похоже. Разве он похож на такого больного?

— Теперь стал похож. И ведь сколько, сколько раз я его просила...

Держа таз, покрытый полотенцем, Анна Филипповна вышла из кабинета, и Машенька побежала к ней.

Не зная, что делать, Трубачевский немного постоял в прихожей, потом на цыпочках пошел в столовую и сел, тоскливо оглядываясь. Растерянность была видна во всем. Сковородка с нетронутой холодной яичницей стояла на столе — должно быть, Машенькин завтрак. Какое-то белье, полотенце валялось — видно, что брошено в спешке.

Странные звуки поразили его: кто-то коротко дышал, и вдруг начиналось мычанье, захлебывание, хрипение. Потом становилось тихо — и шорох, как будто что-то делали в тишине, и снова захлебывание, хрипение. Он понял, и у него сердце сжалось. Невозможно, невозможно представить себе, что эти звуки, и эта страшная тишина, и то, что сказала Машенька, что все это — Бауэр!

Все ходили растерянные, осунувшиеся. Только Анна Филипповна была спокойна. Она сварила кофе и накормила медсестру, которая была здесь с утра, а теперь шел уже второй час, и до конца было еще далеко. Она приготовила для доктора мыло и чистое полотенце. Дважды напомнила Машеньке о деньгах — «чтобы не забыть заплатить»,— и все это тихо, без ворчанья, которым прежде сопровождался каждый ее шаг.

Видно было, на ком все держится в этом доме.

Потом все куда-то пропали, и Трубачевский остался в столовой один. Сдержанным шепотом Дмитрий говорил по телефону в прихожей. Имя Неворожина послышалось, и Трубачевский поспешно схватился за боковой карман, в котором лежал пушкинский черновик. Что делать с ним? Вернуть? Оставить здесь, в архиве?

Красивая седая сестра выглянула из кабинета.

— Попросите кого-нибудь, дочку.

Он побежал за Машенькой и столкнулся с ней в дверях.

— Идите, вас зовут. (Она с ужасом на него посмотрела.) Да нет же, просто сестре что-то нужно!

Она бессознательно повторила движение, которым все время закалывала маленькой гребенкой волосы, падавшие на лоб, и это движение так тронуло его, что он невольно схватил ее за руки, хотел сказать что-то...

Она отняла руки и пошла в кабинет.

— Книгу попросил,— сказала она, вернувшись,— написал вот...

На старом конверте было написано знакомой рукой: «А читать можно? Скучища!»

— Смеется,— добавила она недоверчиво.— То есть не смеется, а улыбается.

— Улыбается? — радостно переспросил Трубачевский.— Ну вот, видите? Что вы ему дали?

— Энциклопедический словарь. «Пруссия до Фома» и «Россия».

Она тихонько засмеялась, но сейчас же стала опять серьезна.

— Знаете что... Вы здесь не сидите, в столовой. Нянька говорит — неудобно.

— Я пойду в архив,— испуганно перебил Трубачевский.

— Хорошо, я к вам потом забегу на минутку.

Но она не пришла. Прислушиваясь к звяканью посуды, к осторожному голосу врача, Трубачевский целый час просидел в архиве. Рукопись Пушкина, еще никому не известная, лежала перед ним, но он, разумеется, не прочитал ни слова. О чем только не передумал он за этот час! Вот Бауэр умирает, и он в последнюю минуту рассказывает ему о своей находке, о своих подозрениях; вот вместе с Машенькой он разбирает оставшиеся после Бауэра бумаги, и что ни день, то новые неожиданности и заботы. Вот он принимает посетителей по его делам. Вот в Пушкинском доме он делает доклад о его последних, еще не законченных работах... «Прошу почтить вставанием...» — и все встают, торжественные, печальные. Вот его приглашают принять участие в сборнике «Сергею Ивановичу Бауэру — Академия наук», и он берется за большой некролог.

Он так растерялся, сочиняя этот некролог, что не поверил ушам, услышав за стеной знакомый слабый голос:

— Ну вот, теперь, доктор, я вполне убедился в том,

что ваша наука бессильна. Раньше думал, что только наша. Теперь вижу, что и ваша.

Дверь скрипнула. Машенька и Дмитрий вошли, и начался разговор, взволнованный, с недомолвками, с быстрыми, беспокойными вопросами и уклончивыми ответами врача. Бауэр молчал. Потом невесело рассмеялся.

— Ну, Сергей Петрович, говорите прямо. Рак?

Врач помедлил.

— Пока нет оснований,— негромко сказал он.

Все замолчали.

— А теперь вот что... Выпейте-ка вы чаю.

Дверь снова скрипнула. Трубачевский вскочил. Он не слышал шагов, но знал, что это Машенька. Хоть два слова сказать ей, хоть взглянуть!..

Он нашел ее в кухне.

— Машенька...

Она обернулась.

— Он умрет, умрет,— сказала она, и Трубачевский впервые в жизни увидел, как ломают руки.

2

Шел пятый час, когда он вернулся домой. Окно в его комнате было открыто, и ветер сдул со стола листы. Он не стал подбирать. Рассеянно вытаращив глаза, бледный, он сидел на кровати...

Ему приснилось, что он приглашен на вечер. Приходит — все незнакомые, пожилые. Он здоровается, они сидя подают пухлые руки. Говорят, говорят. Он не знает, зачем он здесь и кто его приглашал. Ему неловко с ними, тоскливо. Но вот зовут к столу. Он берет вилку и не может есть. Они смеются. Он выходит: дом стоит на зеленой, поросшей травой горушке. Осторожно он идет вокруг дома — не по тропинке, а по траве, чтобы не было слышно шагов. За углом — какие-то люди, а в стороне бледный, худой Бауэр, впалая грудь, острый нос, большой землистый лоб. Он берет его за руку, рад. И старик прячет лицо в пиджак, смотрит исподлобья, печально...

Отец разбудил его. Ничего не понимая, не слыша, он сел и с ужасом уставился на листы, которыми был усеян пол. Что случилось?

— ...Я его в столовую проводил. Ты иди, а я пока здесь приберу. Потом перейдете.

— Что случилось?

— Да ничего не случилось! К тебе пришли. Я пока в столовую проводил. Беспорядок такой, что просто стыдно.

Дрожащими пальцами Трубачевский расстегнул воротничок. Разумеется, это Неворожин. Что сказать ему, как оправдаться?

Умываясь, он сунул голову под кран. Нужно прямо сказать: «Я думал, что вы его украли...»

Держа за спиной трость, закинув голову, Неворожин стоял перед фотографией, на которой Трубачевские — отец и мать — были сняты во время свадебного обеда. Фотография была ужасная: отец сидел нелепо выпрямившись, с большими стоячими ушами, у матери были нарисованные глаза, у гостей дикие, самодовольные лица. На ковре — пятно; отец любил рассказывать, как тромбониста Каплана вырвало и как быстро официанты все убрали и засыпали опилками и песком.

— Здравствуйте, Борис Александрович,— краснея за фотографию, пробормотал Трубачевский.

— Добрый день! — улыбаясь, ответил Неворожин.— Простите, я к вам без приглашения. Не прогоните?

Он тростью показал на фотографию.

— Больше всего на свете люблю старинные фото. Это ваша мать? Вы на нее похожи.

Трубачевский посмотрел на него исподлобья: «старинные фото» и этот снисходительный тон — к черту, с какой стати! Пришел, так пускай говорит прямо.

— Чем могу служить? — громко спросил он и надулся.

Неворожин развел руками.

— Ну, вот! Ходи после этого в гости!

Трубачевский смешался, покраснел.

— Ах, в гости? А я думал...

— Да нет, вы очень хорошо сделали. «Чем могу служить...» Отличный вопрос, все ясно. Но знаете ли? Я должен был это у вас спросить. Именно для этого я к вам и явился.

— Почему, я не понимаю? (Отец приоткрыл дверь и закивал головой.) Перейдемте, пожалуйста.

Страдая, потому что отец кивал долго и с глупым видом, Трубачевский провел гостя в свою комнату и сердито предложил стул. Неворожин сел.

— Вот вы как живете? Стол, стул, кровать и книги. А окно? Во двор?

Нужно было из вежливости сказать хоть слово, но Тру-

бачевский не мог. Он стоял, опустив голову, опираясь на письменный стол и разглядывая свои ботинки.

Неворожин снова улыбнулся, на этот раз про себя, чуть заметно.

— Николай Леонтьевич, я пришел, чтобы поговорить с вами — знаете о чем?.. Об иллюзиях. Эта тема странная и, кажется, несовременная. Но я давно собирался. А теперь, когда и повод представился...

Повод! С чувством почти физической боли в сердце Трубачевский взглянул на него и отвернулся.

— Во-первых,— спокойно и вежливо продолжал Неворожин,— позвольте вам объявить, что вы мне очень нравитесь. Мне даже кажется иногда...

— Вы меня нисколько не знаете,— угрюмо перебил Трубачевский.

— Нет, я понимаю вас. И знаете ли, что я про вас думаю? Что вы — человек необыкновенный.

Трубачевский быстро поднял глаза.

— На днях я прочитал вашу книжку,— каким-то противно-приподнятым голосом сказал Неворожин.— Вы понимаете Пушкина, как никто. Вот почему вы разгадали эту криптограмму. Вы в нем самое важное почувствовали — несвободу, ужас перед государством. И написано превосходно — дыхание слышно. Это архивный рассказ, новый жанр. Вам шутя далось то, над чем другие работают годами.

Трубачевский хотел что-то сказать, возразить — и не нашелся. Он был поражен. Неужели правда?

— В другое время ваша будущность была бы ясна... Или в другой стране,— быстро добавил Неворожин и улыбнулся.— А у нас — нет. Помните эти куплеты в Мюзик-холле: «Если явится к нам гений, Госиздат его издаст... А быть может, не издаст, в самом деле, не издаст, безусловно, не издаст...» Коротко говоря: очень плохо, что вы написали хорошую книгу. Теперь с вами много хлопот. Нужно думать — годитесь ли вы в аспиранты? Вы интеллигент. Можно ли вам доверять? Едва ли! Впрочем, если вы не сделаете ни одной ошибки — ни политической, ни моральной (он подчеркнул это слово), вам дадут это высокое звание. Вы получите сто рублей стипендии. В семинаре по текущей политике вы будете читать доклады о снижении цен. Это и есть наука. Вы переедете в другую комнату. Здесь сколько метров? Четырнадцать? А в новой будет двадцать четыре.

Он встал — и Трубачевский впервые заметил, что у него странные глаза — бледно-голубые, верхнее веко подтянуто, как перепонка.

— Но вы вспыльчивы, несдержанны и слишком честолюбивы. Вам не дадут сделать даже и эту карьеру. Тем более что одну ошибку вы уже сделали: вы не в партии и не в комсомоле. У вас нет будущности. То, о чем вы мечтаете, никогда не осуществится.

— О чем же я, по-вашему, мечтаю?

— О славе,— просто сказал Неворожин.— Вы мечтаете о том, чтобы в трамвае, на улице, в театре вас узнавали в лицо, чтобы за вашей спиной шептали: «Трубачевский!» Вы тысячу раз представляли себе свое имя в газете, в журнале, в иностранном журнале. Вы сочиняли о себе статьи. В лучшем случае на вашу долю выпадет только одна статья — некролог в вечерней «Красной газете».

— Забавная идея,— с трудом сказал Трубачевский.

— Ну вот видите,— живо возразил Неворожин,— вы еще так молоды, что находите это забавным. Это не забавно, потому что никому не известно, что представляет собой будущая гармония, ради которой вас превратят в навоз вместе со всеми вашими мечтами о славе. А между тем...

Трубачевский хотел возразить, он остановил его, подняв руку.

— А между тем все в ваших руках — и карьера, и слава.

— Вы смеетесь.

— Ничуть. Послушайте... Вы больше года работаете в архиве Бауэра. Знаете ли вы, что представляет собою этот архив?

— Думаю, да.

— А я думаю — нет! Это собрание редчайших исторических рукописей. Это уникумы, которым нет цены. Вчера вы взяли у меня пушкинский автограф. Он ничего не стоит в сравнении с тем, что находится в этом архиве.

Трубачевский вздрогнул, хотел возразить, оправдаться...

Не давая ему сказать ни слова, заранее с какой-то высокомерной досадой махнув рукой, Неворожин продолжал говорить. Лицо его, всегда ровно бледное, загорелось, слабый розовый оттенок проступил, и в глазах появилось жестокое и важное выражение.

— Письма Наполеона, квитанция за подписью Молье-

ра, девять писем Густава Адольфа, бумаги из личного архива Людовика Шестнадцатого, донесение краковского нунция Клавдия Рангони о Димитрии Самозванце, документы, разыскиваемые десятки лет,— вот что хранится в этом архиве. Автографы Робеспьера, Мирабо, Демулена, греческая рукопись из библиотеки Ивана Грозного. Я видел ее, одни виньетки и орнаменты могут свести с ума любого парижского антиквара. Личные письма Анатоля Франса, с которым Бауэр был знаком, даже близок. Я не говорю о русских рукописях, о письмах Екатерины к Потемкину, Чарторыйского к Александру, о шести письмах Петра Первого, из которых три собственноручных. А древние рукописи! Пандекты Никона Черногорца пятнадцатого века, судебник царя Федора шестнадцатого века, раскольничий апокалипсис, направленный против Петра, с тремястами выполненных на золоте миниатюр. Вы спросите меня, откуда я все это знаю? Дорогой мой, я слежу за этим архивом шесть лет. Я знаю, сколько стоит письмо Петра Первого в Париже и сколько в Нью-Йорке. За квитанцию с подписью Мольера дают три тысячи франков, ну-ка, переведите это на советские деньги! Однажды я попробовал подсчитать, сколько же стоит весь архив, и бросил, перевалив за четыреста тысяч.

Он стоял лицом к лицу с Трубачевским и, положив руку на его плечо, говорил все быстрее и тише.

С последними словами он вдруг поднял плечи, наклонил голову, и Трубачевский невольно отшатнулся — так холодны и неподвижны были его глаза.

— Я все это знаю,— робко возразил Трубачевский и соврал.— Ну и что же?

— Вы не догадываетесь?

— Нет.

— Как вы еще молоды! — сказал Неворожин.— Сколько вам лет? Двадцать? Самое счастливое поколение — двадцать лет в двадцать восьмом году. Значит, в семнадцатом — девять. Вот почему вы так недогадливы! Вы не успели устать от падающей валюты, от революций и войн. А я устал. Я хочу найти себе место где-нибудь среди северных людей, в северных широтах. Мне нужно найти одну женщину, с которой я расстался как раз в то время, когда вам стукнуло девять лет. Оттуда очень удобно будет следить за вашими успехами. Вы знаете, достаточно будет продать пандекты Никона Черногорца, чтобы издать с вашими комментариями неизвестные письма Наполеона, ко-

торые произведут шум в европейской науке. Книга, за которую здесь вы получите прибавку жалованья в двадцать пять рублей, сделает вам имя в Париже. Послушайте... Бауэр болен, у него рак, ему осталось недолго жить. Зачем ему эти бумаги? Он прожил хорошую жизнь — нам с вами такой не прожить,— и, знаете ли, он был бы не очень огорчен, честное слово! Разумеется, он выгнал бы меня вон и, может быть, позвонил бы куда-нибудь по телефону, но в глубине души... Ведь речь идет об издании документов, которые он собирал сорок лет. Какой же настоящий ученый предпочтет, чтобы они еще сорок лет пролежали в архиве Академии наук или Публичной библиотеки? Ну-с, теперь?

— Что теперь? — пробормотал Трубачевский.

— Догадались? Я не тороплю вас,— поспешно добавил он, заметив, как мгновенно и болезненно побледнел Трубачевский.— Дело терпит. Обдумайте спокойно все, что я сказал вам. Но не забывайте об одном: этот случай единственный и никогда не повторится. Если вы откажетесь, вы себе этого никогда не простите. И еще одно: если вы вздумаете передать этот разговор Бауэру, пожалуйста, сделайте это со всею деликатностью. Он все-таки очень болен. Это опасно для жизни — узнать, что сын живет продажей бумаг, украденных в его архиве.

Он обернулся, ища глазами шляпу, и Трубачевский испугался, что он сейчас уйдет и все это так и останется без ответа. Нужно было что-то сказать, очень спокойно, может быть, просто рассмеяться. Но он устал от бессонной ночи, от дня, проведенного в таких волнениях, от этого страшного разговора, и все смешалось в голове, только какие-то обрывки: «С кем вы говорите!.. Как вы смеете!..» — мелькали. Не те слова, и, главное, глупо, глупо!

Неворожин поклонился.

— Подождите,— разбитым голосом сказал Трубачевский,— я еще раз... Я хочу спросить вас... Вы не шутили, вы говорили серьезно?

Неворожин пожал плечами, взял в руки трость, надел шляпу.

— Ах да,— вернувшись с порога, сказал он.— Этот листок, который вы вчера у меня взяли, он пригодился вам? Вы, наверно, думали, что я его у Бауэра стащил? Нет, нет! Я его лет десять назад купил у вдовы Кучинского, известного антиквара. И если вы его вернете Сергею Ивановичу, он сразу же поймет, у кого вы его стащили.

Он вышел. Отец топтался в прихожей и, столкнувшись с ним, что-то зашептал, зашептал, побежал открывать дверь. Неворожин поблагодарил спокойно и учтиво.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Каждую встречу с ней Карташихин вспоминал отдельно: первая — ночью у мечети, вторая — в баре и третья — в садике, на скамейке, когда он увидел ее из окна. Он помнил все — ее туфли молочного цвета, с перекладинками, образовавшими на подъеме маленькую решетку, косынку, завязанную узлом на плече. В садике, проводив глазами студентов, она вынула носовой платок и зачем-то приложила к губам. О чем она думала, чертя на земле это слово: «Пора, пора!» — и наискось неглубокими линиями: — «Пора?»

Всегда он видел ее издалека, а у мечети — ночью, и ему показалось, что у нее смуглый румянец, как бывает у восточных женщин. Потом, в баре, он увидел, что ошибся.

Один раз она пожала ему руку — когда у памятника Суворову они прощались после первой встречи. Рука была узкая и сильная, в замшевой перчатке. Он неловко и быстро пожал ее и коснулся того места на запястье, где кончалась перчатка. Вернувшись домой, он еще чувствовал это прикосновение в кончиках пальцев. Он чувствовал его и теперь — через год, ночью, среди спящих товарищей, в палатке; глядя через откинутое полотнище на ночной голубоватый лагерь.

2

Вернувшись из лагерей в конце июня, Карташихин зашел к Щепкину — и неудачно. Только что собрался он изложить Александру Николаевичу план своей работы в научном кружке, как в дверь постучали, сперва очень тихо, потом снова, погромче.

— Войдите.

Карташихину показалось, что он где-то видел эту девушку, шел дождь, серое пальто потемнело на плечах, лицо было мокрое, и капли скатывались прямо на нос с малень-

кой соломенной шляпки. Она хотела смахнуть и передумала: и рука была мокрая. Молча она стояла у порога, вокруг уже накапало на пол, и даже с ресниц упали капельки, когда Александр Николаевич вскочил и бросился к ней с протянутыми руками.

— Машенька!

— Здравствуйте. Простите, я у вас тут...

Она не нашла слова, улыбнулась.

«Ага, понимаю»,— сердито подумал Карташихин, глядя, как суетится и волнуется Александр Николаевич, как снимает с нее пальто и усаживает, как у него засияли и подобрели глаза.

— Александр Николаевич, я пойду,— сказал Карташихин.

— Куда? Нет, подождите, мы не договорили... Хотя, да.

— Я вам помешала?

— Ничего, мы завтра договорим.

— Нет, пожалуйста, сейчас,— энергично сказала Машенька,— я помешала вам.

— Александр Николаевич, я все равно больше ничего не знаю и не думал,— торопливо пробормотал Карташихин.

— Ладно, до завтра. А пока вот что — познакомьтесь!

— Рука мокрая...

— Не беда, давайте,— вдруг сказал Карташихин.— Я вас знаю,— добавил он, когда она назвала себя,— то есть я вас видел. Мы живем в одном доме. Я вас уже много лет знаю, вы тогда еще были в школе.

Машенька хотела что-то сказать, но он уже надел кепку, кивнул и вышел.

— Ну, Машенька,, рассказывай! Впрочем, нет, дай мне сперва на тебя посмотреть! Вот сюда, сюда...

И Щепкин взял ее за руки и подвел к окну.

— Совершенно большая и красивая,— с удовольствием сказал он.— Совершенно выросла. Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Девятнадцать лет? Черт знает, я просто старик! Ну, садись! И рассказывай! Как это глупо, что мы не видимся годами! Как Сергей Иваныч?

— Он болен,— грустно сказала Машенька.— И не лечится. То есть лечится, но плохо. Я хотела попросить вас, Казик, чтобы вы к нему зашли и поговорили. Ничего, что я вас так называю?

Щепкин поджал рот.

— Конечно, с большим удовольствием,— неуверенно сказал он,— если бы не эта история... Эта штука.

— Казик, никакой штуки давно нет. Он на днях вспоминал вас, и очень сердечно, Николай Дмитриевич — одно, а вы — другое. И, кроме того...— она помолчала,— теперь я совсем одна.

— Хорошо, зайду,— решительно сказал Щепкин.— Значит, что же? Убеждать, чтобы лечился?

— Да. И вообще... посмотреть. Только не проговоритесь, что я вас просила. Просто так, узнали, что болен.

Она сняла шляпу, и волосы рассыпались, она машинально откинула их со лба. Движение было усталое.

— А Дима?

— Казик, а что у вас? — не отвечая, торопливо сказала Машенька.— Вы стали знаменитым человеком, да? Я про вас в газете читала.

Он внимательно посмотрел на нее.

— Ничего я не знаменитый, это все ерунда! Без моего ведома напечатали — и все перепутали. Я еще ничего не сделал — все собираюсь, и не выходит.

Шорох и ворчанье донеслись из-за перегородки. Пружина треснула. Кто-то откашливался. Дверь приоткрылась. С висячим кадыком, в туфлях и мышином халате, старик, которого Машенька не узнала, выглянул, посмотрел на нее и скрылся.

Щепкин немного покраснел.

— Он очень постарел,— негромко сказал он.— Правда?

— Да.

Он не только постарел, он стал страшен, и она чуть-чуть этого не сказала.

Через десять минут старый Щепкин вновь появился — на этот раз в черном лоснящемся сюртуке. Воротничок был старинный, высокий, кадык висел между его отогнутыми уголками.

— Если не ошибаюсь, Мария Сергеевна? — церемонно спросил он.

Машенька испуганно подала руку.

— Я вам не помешал? Шура, я не помешал вам?

— Нет, пожалуйста,— сухо ответил сын.

Старый Щепкин погладил височки и сел.

— Как поживает Сергей Иваныч? — вдруг с живостью спросил он.— Я слышал, он нездоров?

— Да,— отвечала Машенька с принуждением.

— Он серьезно болен,— с удовольствием повторил

Щепкин, не обращая ни малейшего внимания на сына, у которого стало напряженное, сердитое выражение лица.— Очень серьезно. Его надо лечить. И не здесь, а за границей. Пускай едет в Берлин, к Биру. В девяносто восьмом году Бир лечил меня от несварения желудка.

С минуту все молчали. Александр Николаевич посмотрел на отца и отвернулся. Машенька привстала.

— Исследование делали? — отрывисто спросил Щепкин.

— Да.

— И что же? Диагноз?

— Диагнозы были разные,— не глядя на него, отвечала Машенька.

— Например, например?

— Папа!

Старый Щепкин зажмурился, засмеялся, замахал рукой.

— Помешал, помешал, не то сказал, наврал, наврал,— прохрипел он и вдруг встал и вышел.

Это было так неожиданно, что Машенька вскочила, сама не зная зачем, и сейчас же криво надела шляпку. Покусывая губы, Александр Николаевич прошелся по комнате. Она взяла его за руку.

— Ну, что мне с ним делать? — тихо сказал он.

3

Дождь еще моросил. Сторожиха подметала сквер и намела по углам большие кучи мокрых потемневших листьев. Она была на кого-то похожа, но Машеньке некогда было вспоминать, на кого, и она поскорее стала думать о своем. Во-первых, Казик. Это странно, она совершенно забыла, какой он хороший. Правда, очень переменился! Он выглядит гораздо старше Димы, трудно поверить, что между ними только три года. Он стал серьезнее и гораздо проще. Мельком она подумала о старом Щепкине, но эта мысль пригрозила ей всеми другими — об отце, печальными и занимавшими все ее время, и она нарочно сейчас же забыла старого Щепкина и вернулась к молодому.

Вспомнила, как они вместе жили в Финляндии — и он на пари прыгнул со скалы в море и расцарапал грудь и живот об острые камни. Эти дураки, Димка и Сережка Кричевский, решили тогда, что раны нужно лечить солнцем, и заставили его жариться целый час, пока все не за-

пеклось, и пришлось размачивать перекисью водорода. Сосны росли наклонно между скалами и над морем, воздух соленый, и кожа чуть солоноватая, если лизнуть, а песок кристаллический, крупный. Сколько ей было лет тогда — семь или восемь?

Дождь усилился, и она пожалела, что не села в трамвай. Но в трамвае было бы плохо думать — толкались. Она пошла немного быстрее, скоро забыла о дожде и только время от времени вытирала мокрым платком мокрые щеки.

«Ничего, только бы папа поправился, а все остальное отлично!»

«Что же Дима? Может быть, это для него даже лучше. А если нет...» И подумала теми же словами, которыми Казик сказал про своего отца: «Ну что мне с ним делать?»

Она вспомнила, что Варвара Николаевна явилась к ним в простом темно-синем платье,— без сомнения, нарочно оделась так скромно. Поцеловала ее и сказала, что хорошенькая, «лучше Мити». Диму она называла Митей. От нее пахло горьковатыми, наверно, очень хорошими духами. И что-то напряженное в голосе, в шутках, понятных, должно быть, только ее кругу, а иногда в глазах. Глаза вдруг становились равнодушными, пустыми. Она его не любит.

До дома было уже близко, но Машенька устала и на Зоологическом села в трамвай. Запах мокрой одежды был так силен, что она хотела вернуться на площадку, но уже поздно было, бабы с кошелками набились у Ситного рынка. Она поскорее стала думать о своем. Вспомнила про этого студента, с которым ее познакомил Щепкин. Сердитый студент! И, наверно, врет, что давно ее знает. Нет, не врет! Мальчишек всегда был полный двор, и она каталась с ними на коньках, играла в снежки и дралась. Но который?

Один мальчик, суровый и смуглый, вдруг появившийся во дворе, еще когда она была в первой ступени, и объявивший всем девчонкам бойкот, припомнился ей, и она решила, что это был Карташихин. Его немного боялись и уважали. Потом все девчонки влюбились в него. Он ходил, надвинув шапку на лоб, и ни с кем не здоровался...

Она не очень удивилась, подойдя к дому и увидев его наяву, а не в воображении. С каким-то маленьким, черным и быстроглазым он стоял у решетки сквера, и маленький сказал быстро: «Ну, прощай!» — как раз когда она прошла мимо. Несколько секунд она шла, слыша за собой шаги Карташихина и чувствуя, что он на нее смотрит. Потом обернулась.

— Долго же вы добирались до дому!

— А я еще в институт заезжал,— возразил Карташихин и догнал ее.

— Вы в каком?

— В Медицинском. А вы?

— Я в Технологическом. Знаете, я потом вспомнила, что в самом деле мы когда-то встречались. Вы — тот мальчик, который объявил всем девчонкам во дворе бойкот только за то, что они девчонки.

Карташихин засмеялся.

— А вас укутывали в двадцать платков, и вы однажды тихонько сняли их в нашем подъезде, положили под лестницей и прикрыли газетой. Я видел. Потом — у вас было любимое место между ящиками, за мебельным сараем, вы туда забирались с другими девчонками и шептались. Видите, я все знаю. А потом мне про вас рассказывал Трубачевский.

Машенька опустила голову. Ничего особенного не представляла собой ложбинка вдоль тротуара, но она некоторое время следила за плоской струйкой воды, которая по ней катилась.

— Вы с ним знакомы?

— Много лет, еще со школы. Ведь он у вас каждый день бывает.

— Да, бывает,— тихо сказала Машенька.

Карташихин искоса посмотрел на нее, на мокрую прядку волос, на пушистый, круглый, порозовевший овал щеки под соломенной шляпкой — и ничего не сказал. Да и поздно было. Они стояли у ее подъезда.

4

Он давно собирался зайти к Трубачевскому, с которым не виделся добрых полгода. Это не было угрызениями совести — то чувство, с которым он время от времени вспоминал о нем. Но к понятию «совесть» это чувство имело некоторое, хотя и отдаленное, отношение. И нечего было доказывать, что он ничуть не виноват перед своим — еще так недавно — самым близким другом! Раннее летнее утро вставало перед ним, шумная компания, ломившаяся в ворота, и среди этих людей, нарядных, пахнувших вином и духами,— Трубачевский, под руку с женщиной, красивой, но чем-то похожей на крысу.

Он не стал звонить, пошел наудачу — и застал, хотя и «на отлете», как сказал, робко улыбаясь, обрадовавшийся ему старый кларнетист.

В новом костюме, свежевыбритый, бледный, рассеянно таращa глаза, Трубачевский быстро ходил по своей комнате из угла в угол. У него горели щеки, хохлы на затылке торчали встревоженно, недоумевающе, и, судя по тому, как он уставился на приятеля, рванувшего дверь и остановившегося на пороге, он был за тридевять земель от всего земного в эту минуту.

— Узнаешь? — улыбнувшись, спросил Карташихин.

— Ванька!

Добрых полчаса они ругали друг друга. Впрочем, ругал главным образом Трубачевский. Ну хорошо, новые друзья, институт, какая-нибудь особа женского пола — все это понятно. Но неужели не нашлось десяти минут, чтобы зайти или хоть позвонить? Нет, Ванька — подлец, теперь это для него совершенно ясно.

— А ты?

— И я,— охотно согласился Трубачевский.— Ну, рассказывай!

— Не о чем. Был в лагерях.

Трубачевский вздохнул и сел, вытянув длинные ноги. Потом вскочил и, порывшись в ящике, вытащил маленькую белую книжку.

— Видал?

— Нет. Это что? Первый опус?

— Ты смеешься, собака,— добродушно сказал Трубачевский,— но, между прочим, только потому, что не смыслишь в этом деле ни уха ни рыла. Я прочел десятую главу «Евгения Онегина».

— Да ну! Помнится, и я читал ее. В четвертом классе.

— Едва ли. Дело в том, что она была зашифрована, и на планете, называемой Земля, я прочел ее первый.

— Поздравляю. Это достижение?

— Я был бы очень рад, если бы тебе удалось сделать нечто подобное в медицине,— обидевшись, сказал Трубачевский.

— Ладно, не сердись. И не задирай носа.— Карташихин шутливо стукнул его по затылку.— Лучше скажи — что с тобой сталось? Ты прочел десятую главу «Евгения Онегина», напечатал книжку, небось получил сотни полторы...

— Две.

— Тем более. Все, следовательно, в порядке. Почему

же у тебя такой вид? Можно подумать, что ты стоишь на краю пропасти, не решаясь — броситься ли вниз головой или все-таки перепрыгнуть?

Трубачевский достал портсигар. «Дорогой и новый»,— нехотя отметил про себя Карташихин. Они закурили.

— Послушай, ты когда-нибудь думал о славе?

— Неожиданный вопрос. Наверно, думал, не помню. Тоже в четвертом классе.

— Твое счастье. А я вот часто думаю, и не отвлеченно, представь себе, а совершенно реально.

— То есть?

— Мне кажется, что слава — это возможность распорядиться своей судьбой. И распорядиться так, как хочешь этого ты, а не другие.

— Что значит «ты, а не другие»? Кто эти «другие»? Твой родитель? Деканат факультета общественных наук? Государство?

Трубачевский пробежался по комнате, сел и снова вскочил. Он и прежде был бледен, а теперь, глубоко вздохнув, побледнел еще больше.

— Послушай, ты можешь вообразить... Что, если бы к тебе явился — не знаю кто — чародей, волшебник? Явился и предложил бы перешагнуть через годы труда, через все испытания, огорчения, заботы? Через всю эту музыку, в результате которой я буду получать не сорок рублей в месяц, а сто сорок? Если бы он посадил тебя на ковер-самолет и — раз-два-три! — ты очутился бы... ну, допустим, в Париже.— Он затянулся и нервно погасил папиросу.— Сегодня мне приснился Париж. Какая-то набережная — наверно, Сены. Букинисты, книжный развал, знаешь, как у нас на Ситном, в Ветошном ряду. Я роюсь в книгах и вдруг слышу — говорят обо мне. Я не оборачиваюсь, притворяюсь, что не слышу. Обо мне ли? Да, обо мне. Потом какой-то бульвар, бесшумно проносятся машины, дождь виден в столбах света от фар. Я вхожу в кафе, иду между столиками. Люди играют в шахматы, читают газеты, пьют ситронад. Я вхожу — и все останавливается. Тишина. Смотрят на меня, говорят обо мне.

Он посмотрел на Карташихина и нерешительно улыбнулся.

— Фантастический сон!

— Я бы сказал — симптоматический,— возразил Карташихин.— И симптомы — угрожающие.

— Ты думаешь?

— Не сомневаюсь. Ты хочешь спросить, что я сделал бы, если бы ко мне явился такой чародей? Изволь. Спустил бы его с лестницы. Что касается славы... Славу, по-моему, надо заработать, а если ее подносят на блюде — значит, это слава нечестная, украденная.

Последнее слово выговорилось нечаянно, само собой, и Карташихин не понял, почему, услышав его, Трубачевский вздрогнул, как от удара. Впрочем, он сразу же оправился.

— Почему же украденная? — неловко засмеявшись, спросил он.

— Потому что это и не слава вовсе, а просто удовлетворенное честолюбие. И брось ты к дьяволу свои фантазии,— вдруг с дружеской теплотой сказал Карташихин.— Набережная Сены, букинисты, ситронад! Ты меня извини, но это, брат, литература, и не из лучших. Один ситронад чего стоит! И не будут о тебе говорить в парижских кафе, не надейся!

Трубачевский слушал, опустив голову.

«Эх, напрасно я о ситронаде сказал»,— с досадой подумал Карташихин.

— Нет, Колька, как хочешь, а я тебя не пойму. Ведь у тебя дело в руках, наука, если только чтение «Евгения Онегина» — это наука,— не удержавшись, добавил он в скобках.— А ты мечешься, несешься куда-то на всех парах, лезешь в бутылку. И еще, знаешь, какое у меня впечатление,— что все это не твои слова...

— А чьи же?

— Не знаю. То есть они какие-то... И твои, и чужие.

«А вот это уж и совсем напрасно»,— снова подумал Карташихин. Трубачевский криво улыбнулся, пожал плечами. Есть такое выражение: «Уйти в скорлупу». Именно это стало происходить с ним на глазах Карташихина, который, окончательно рассердившись на себя, вдруг оборвал наставления. Но было уже поздно.

— Ты так думаешь? — холодно спросил Трубачевский.— Может быть, может быть. Значит, ты недавно из лагеря. Ну как, здорово вас погоняли?

Они заговорили о другом — и неловко, неестественно заговорили. Через четверть часа Карташихин ушел, раздосадованный, недовольный собой. Для него было ясно, что Трубачевский расстроен, подавлен. Задумался и, быть может, о самом важном в жизни? Так нечего же было кричать на него, как будто он, Карташихин, так уже ясно представляет себе это «самое главное в жизни»! Напротив,

нужно было подойти издалека, осторожно и не смеяться, например, над десятой главой «Онегина», а рассказать...

И, остановившись у подъезда, Карташихин сердито хлопнул себя ладонью по лбу. Нужно же было рассказать ему об этом подозрительном разговоре, который он нечаянно подслушал, когда был у Александра Николаевича Щепкина! Тогда этот неприятный Неворожин принес старому Щепкину какие-то рукописи. На продажу? Они говорили об Охотникове, а ведь Охотников — это тот самый декабрист, которым, кажется, занимался Коля? Вернуться, что ли? Но вспомнил, с каким напряженно-равнодушным лицом провожал его Трубачевский,— и не вернулся.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Все было передумано. Вот он приглашает к себе Неворожина: «Борис Александрович, я согласен». А в соседней комнате тайно спрятан старик и еще кто-то, свидетели, стенографы. Все записано, все известно.

Вот он является к Варваре Николаевне. Снова вечер, гости, женщины в легких платьях, музыка, желтые низкие абажуры. Зовут к столу, он просит повременить. «Я хочу рассказать вам одну историю, очень забавную. Можно?» И он рассказывает все, начиная с загадочных шагов в архиве и кончая планом бегства в Париж с бумагами, которые стоят четыреста тысяч.

В первом часу, очнувшись от разговора с Неворожиным, как от мгновенной, но опасной болезни, он отправился к Бауэрам — и уже не застал Сергея Ивановича дома. Рано утром его увезли в Военно-медицинскую академию. Там должны были сделать новые исследования и операцию, если подозрение подтвердится. Подозревали рак.

Машенька сидела в опустевшей, неприбранной столовой и не плакала, но, кажется, не поняла ни слова из того, что сказал Трубачевский. Она передала ему ключи от всех бюро и шкафов, стоявших в архиве: Сергей Иванович оставил Трубачевскому и попросил поберечь — и ключи, и бумаги. Связка была тяжелая, на старинном, спиральном кольце. До самого вечера он просидел в архиве.

Он открыл стенной шкаф — и ахнул: восемь полок были тесно уставлены книгами в кожаных темно-желтых пере-

плетах. Наудачу он снял одну из них и с трудом прочитал заглавие, написанное по-церковнославянски и заключенное в сложный орнамент. Это были «Пандекты Никона Черногорца». Рукой Бауэра на вкладном листе было повторено заглавие и помечен год: 1469.

— Тысяча четыреста шестьдесят девятый,— шепотом сказал Трубачевский.

Книга была писана при Иоанне III.

Он поставил ее на место и снял другую... Через час он уже знал, что такое этот стенной шкаф, окрашенный под цвет обоев,— это собрание старинных русских рукописей, из которых ни одной, кажется, не было моложе шестнадцатого века.

По привычке он стал искать водяные знаки. Нашел их — оленя, дельфина, единорога с открытым ртом и кругло-внимательным глазом, папскую тиару, ножницы, похожие на портняжьи, с большим кольцом для большого пальца, кувшин, три горы, два ключа, положенные крест-накрест.

Заглянув в Лихачева, он открыл с волнением, что все это были филиграни голландской, французской и германской бумаги четырнадцатого и пятнадцатого веков.

Но были и другие книги — пергаментные, на металлических ножках, с порыжелыми завязками. Пергамент был лощено-желтый, с зализами и швами, из настоящей кожи, еще сохранившей, казалось, свой слабый и отвратительный запах.

По карточному каталогу, который хранился в том же стенном шкафу, он нашел триодь из библиотеки Ивана Грозного,— это было, впрочем, лишь предположение, как писал Бауэр на оборотной стороне листка.

Он развернул ее. Вот они, эти заставки и миниатюры, которые могут свести с ума любого парижского антиквара! То птица с печальной вывернутой головой сплеталась с оленем, переходящим в человеческую фигуру, то дракон, выпускающий из пасти зеленую ветку, грозил единорогу, переходившему в листву с мелкими цветами, среди которых мелькали вдруг лапы, хвосты, благословляющие руки. Глаз не мог проследить, где змея становится растением, растение животным, животное — человеком. Рисунки были чудовищные. Трубачевский не знал, что это и был так называемый «чудовищный стиль», характерный для рукописей четырнадцатого и пятнадцатого веков.

С робостью он поставил триодь на полку. Но в стенном

шкафу хранились только русские рукописи. Где же письма Наполеона, автографы Мирабо, квитанция, подписанная Мольером, о которых говорил Неворожин? Быть может, не только в пушкинском бюро есть секретные ящики?

Он снова по очереди осмотрел всю мебель, стоявшую в этой маленькой и светлой комнате, всегда казавшейся полупустой: три бюро, диван, письменный стол, за которым он работал, и другой, круглый, на золоченых грифах.

Он прищурился, глядя на этот стол, и вдруг, отогнув скатерть, нашел спрятавшийся под самой крышкой черный ромбик вокруг замочной скважины.

Груда голубых папок и четыре большие канцелярские книги лежали в круглом столе. В папках и между листами книг хранились документы.

Трубачевский плохо знал французский язык, но один из них прочитал почти свободно: *«Monsieur de Rougemont, je vous fais cette lettre pour vous dire de recevoir dans mon château de la Bastille le sieur de La Pasquerie mousquetaire de la seconde Compagnie de ma garde ordinaire et de l'y retenir jusqu' à nouvel ordre de ma part. Sur ce, je prie Dieu, qu'il vous ait monsieur de Rougemont en sa sainte garde. Ecrit à Versailles le 12 juillet 1731. Louis»* [1].

Это был lettre de cachet — приказ короля о заключении в Бастилию.

Сто сорок лет эти бумаги переходили из рук в руки. Их продавали, покупали, вновь продавали. Их крали. Теперь снова хотят украсть. «И украдут,— подумал Трубачевский,— если я этому не помешаю».

Он запер бумаги, вернулся в столовую. Машенька все еще сидела там и, кажется, не шелохнулась с тех пор, как он ее оставил. Только теперь он увидел, как она осунулась и побледнела.

— Машенька, да полно вам! Никакого рака у него нет, это врачи выдумывают. Ну, полежит неделю в клинике и вернется здоровый!

Она ничего не ответила, только вздохнула, и с полчаса они сидели молча, каждый думая о своем. Прощаясь, он поцеловал ее, и она ответила, но холодно, издалека.

---

[1] Господин де Ружемон, я посылаю вам это письмо с тем, чтобы вы заключили в наш замок Бастилию де Лапаскери, мушкетера второй роты нашей гвардии, и держали его там до нашего нового приказания. На этом поручаю вас, господин де Ружемон, попечению божьему. Дано в Версале 12 июля 1731 года. *Луи.*

Поехать к Варваре Николаевне и узнать адрес Неворожина — вот что было решено за эти полчаса! Узнать адрес, явиться к нему сегодня же и кончить это дело!

Из автомата на площади Льва Толстого он позвонил ей по телефону.

— А который час?

— Четверть шестого.

— Вы хотите сейчас прийти?

— Сейчас, — твердо сказал Трубачевский.— Я попрошу вас, Варвара Николаевна, уделить мне только десять минут.

Она засмеялась.

— Ну, приезжайте. Уделю. Решила.

В знакомом халате, она сидела на тахте, поджав под себя ногу, и чинила чулок, когда он влетел, взволнованный и потный. Плюшевый мишка лежал у нее на коленях. Пес бродил по комнате, разглядывая картины Григорьева и Утрилло.

— Варвара Николаевна, я на десять минут, — задохнувшись, сказал Трубачевский,— мне нужен один адрес.

Она сердито взглянула на него и улыбнулась.

— Во-первых, здравствуйте.

— Здравствуйте, простите!

— Во-вторых, садитесь. В-третьих — хотите чаю?

— Нет! Я пил!

— Ого, как грозно! И, наверно, врете. Ну, тогда причешитесь. У вас такой вид, как будто вы голову вымыли, а причесаться забыли.

— Варвара Николаевна...

— Нет, причешитесь. А иначе я и слушать вас не стану. Я не могу с таким дикобразом разговаривать.

Трубачевский подошел к зеркалу и причесался.

— Варвара Николаевна, мне нужно узнать его адрес.

— Чей?

— Бориса Александровича Неворожина,— торжественно сказал Трубачевский.

— Эка штука! И вы только для этого ко мне явились?

Трубачевский насупился, заморгал.

— Мне нужно поговорить с ним,— возразил он мрачно.

— Милый друг, позвольте вам заметить, что вы невежливы,— сказала Варвара Николаевна с досадой.— Вы у меня не в первый раз, и я очень рада вас видеть. Но являться ко мне на десять минут за каким-то адресом, который можно найти в т лефонной книжке... Вот этот адрес...— Она

открыла сумку и достала книжечку в металлическом переплете.— Запишите и убирайтесь.

Трубачевский сидел на краешке стула и моргал.

— Варвара Николаевна, я...— вдруг начал он так громко, что она даже вздрогнула и отшатнулась,— я... простите...

— Нет, нет, убирайтесь. Помилуйте, я с ним целый вечер кокетничала, приглашала, даже, можно сказать, завлекала, а он — здравствуйте! — является ко мне, как в справочное бюро. Нет, вон, вон!

И она снова принялась за чулок.

2

Он ушел от нее во втором часу. Небо было еще ночное, прохладное и ветер ночной, но уже мелькала в окнах заря, и светлая полоса медленно сползала с крыш на бесшумные ночные дома. Как будто просыпаясь, он вздохнул полной грудью и потер руками лицо. В часовне Спасской церкви горел свет, он перешел дорогу. Высокие, перевитые лентами свечи горели перед иконами, женщина в черном платочке стояла на коленях и молилась. Она молилась ночью, в часовне на улице Рылеева, осенью 1928 года. Это было очень странно, но он не удивился. Все было очень странно в эту странную ночь! Ему захотелось открыть дверь и сказать этой бледной женщине: «С добрым утром!» Но у нее было сосредоточенное, безобразное лицо, и он раздумал.

Грузовой трамвай, сквозь который все было видно, как будто он вез воздух, примчался с Литейного моста, стрелочница соскочила с подножки и железной палкой перевела рельсы. Она громко разговаривала с вожатым, голоса были гулкие, как будто стрелочница и вожатый были одни в огромном каменном зале. Смеясь, она положила палку на плечо, вскочила в трамвай, и он умчался, как чудесная живая дуга, с искрами и грозным, веселым гудением.

Все было грозным, веселым и чудесным — и очень похоже на сон. Но это не было сном. Это было женщиной, которая молчала и смотрела на него, улыбаясь. Свет в комнате был погашен, и казалось, что прошла тысяча лет с тех пор, как он обнял ее и под тонким халатом почувствовал грудь и ноги...

Пьяная компания встретилась у Лебяжьего моста. Красивый пьяный толстяк шел впереди, размахивая платоч-

ком, за ним — девушки в мужских шляпах. Одна несла гитару и нечаянно задела струну. Тонкий звук раздался на Марсовом поле. Это было странно, но так как все было странно в эту ночь, он не придал ни струне, ни платочкам, ни мужским шляпам никакого значения.

И чудеса продолжались. Он с моста увидел тонкие минареты на утреннем небе и голубой чешуйчатый утренний купол. Мечеть. Здесь он встретил Варвару Николаевну впервые. В коротеньком пальто с одной большой пуговицей и смешными раструбами на рукавах (разогнувшийся локон из-под шляпы спускался на лоб), она стояла вот на той дорожке...

Он бы не удивился, даже если бы сам папа римский открыл ему дверь. Но открыл его папа, в одеяле, из-под которого были видны подштанники и старые голые ноги.

3

С тех пор началась жизнь, о которой он вспоминал потом с недоумением и страхом.

Ранним утром он просыпался взволнованный, с бьющимся сердцем. Сон был забыт, но он знал, что это был за сон!

Как всегда, он перебирал в уме все, что предстояло сегодня сделать, и все, кроме того часа, который он собирался провести у нее, начинало казаться неопределенным и шатким. По-прежнему он каждый день бывал у Бауэров, но теперь это стало службой, и самая легкость этой службы, и то, что он был предоставлен самому себе, теперь раздражало. Равнодушно перелистывал он бумаги, равнодушно копировал их по Бауэровым пометам, и пушкинский почерк уже не волновал его, как раньше. По временам он наудачу проверял то один, то другой архив по инвентарю; все было в порядке, и он делал это реже и реже.

Книга, которую он задумал, была оставлена, но когда он случайно к ней возвращался и находил новые доказательства, новые сопоставления — как будто мысль, забытая и заброшенная, шла сама собой. Он начинал думать отчетливо и свободно.

Почти каждый день он бывал у Варвары Николаевны. Он стал своим человеком в этом доме, где можно было встретить кого угодно — от кочегара иностранного парохода до знаменитого режиссера.

Все были знамениты — и он тоже. Он был студентом, открывшим десятую главу «Евгения Онегина». Никто не помнил содержания десятой главы, так же как и восьмой и девятой, но это ничего не меняло.

Случалось, что пьяная компания приезжала к Варваре Николаевне на автомобилях. С пакетами и бутылками люди в крагах вкатывались в двенадцать часов ночи и начинали расхаживать по квартире с таким видом, как будто они давно привыкли расхаживать по чужим квартирам. Они увозили ее, и случалось, что, придя на следующий день в шестом часу вечера, Трубачевский заставал ее еще в постели. Иногда они приезжали с Дмитрием Бауэром, и — странное дело — он держался робко и напряженно, слишком много говорил, слишком часто смеялся, и они, казалось, относились к нему с пренебрежением.

Но Неворожин никогда не являлся к Варваре Николаевне с этой компанией, да и вообще бывал у нее очень редко. Трубачевский встретил его только один раз.

Выходя как-то от Варвары Николаевны (было еще рано, десятый час, но она прогнала его, сославшись на неотложное дело), он увидел внизу, на первой площадке, знакомую шляпу. Между ними было еще три этажа, и он успел справиться с волнением. За две-три ступеньки Неворожин поднял голову и остановился.

— Ах, вот это кто! — весело сказал он.— А я и не узнал. Добрый вечер.

— Добрый вечер.

Неворожин отступил на шаг и несколько мгновений разглядывал его из-под ладони.

— Очень не-ду-рен,— по слогам сказал он,— и глаза такие, что, наверно, все встречные женщины оглядываются и запоминают. Ну, как дела? Что вы сделали для своего бессмертия, пока мы не виделись?

— Знаете что, идите вы к черту,— пробормотал Трубачевский.

Неворожин вытянул губы, сделал большие глаза.

— Много. Вы много сделали,— с удовольствием сказал он,— две недели назад вы бы так не сказали. Думали ли вы... Впрочем, нет! Я по глазам вижу, что вам некогда было думать.

— Оставим этот разговор,— решительно сказал Трубачевский.

Неворожин сморщился, потом улыбнулся.

— Отложим. Не оставим, а отложим... Послушайте,— вдруг сказал он сердечно и обнял Трубачевского за плечи,— я вижу по вашим глазам, что через месяц или два вам понадобятся деньги. Прошу вас, вспомните тогда, что у вас есть друг, который может ссудить вам сколько угодно.

Он вежливо приподнял шляпу. Опустив голову, Трубачевский стоял перед ним...

Иногда — это были самые лучшие дни — он находил ее неодетой, непричесанной, в летнем ситцевом платье; трубка снята, радио выключено и Даше сказано, что ни для кого нет дома. Они разговаривали. Он рассказывал о себе,— никогда и ни с кем он не был так откровенен. Он рассказывал о детстве в доме придворного оркестра, где жили только музыканты и где по утрам доносились из одного окна звуки корнета, из другого — контрабаса, из третьего — скрипки. Он помнил еще странные обычаи этого дома, скандалы, сплетни и свадьбы. Это был круг замкнутый, чудаковатый, со своими фантазерами, франтами и карьеристами. Карьеристов ненавидели, франтов и фантазеров уважали.

Он рассказал ей о первой любви. Десяти лет он влюбился в невесту одного гобоиста, портниху двадцати трех лет, важную и тяжелую, с черными густыми бровями. Прочитав где-то, что влюбленные кончают самоубийством, он немедленно повесился на дверце голландской печки. Кухарка вынула его из петли полумертвого, с прикушенным языком.

Он рассказывал о школе. Он поступил в восемнадцатом году,— что это была за каша! Анархо-синдикалист Кивит из четвертого класса спрятал в учительской какую-то смесь, вонявшую так, что француженку вынесли без сознания. Тот же Кивит, явившись в класс с револьвером, низложил директора и объявил гимназию автономной.

Он рассказывал о матери и однажды принес ее фотографию: у бутафорского барьера стояла девочка в форменном платье, с распущенными волосами, со скрипкой в руках. Когда ему было шесть лет, она развелась с отцом и уехала за границу. Она прислала оттуда открытку «для Коли», и он на всю жизнь запомнил эту открытку: фонтаны в саду, дамы под китайскими зонтиками, в шляпах с большими полями, мужчины в котелках и канотье, белая эстрада, аллеи. Это был Наугейм, немецкий курорт, в котором она умерла. Иногда ему снилось: мама идет по аллее, офицер отдает ей честь, она кивает и смеется.

Офицер снился не случайно. Об офицерах отец до сих пор вспоминал с отвращением. Февральскую революцию он одно время признавал исключительно за то, что она отменила привилегии офицеров.

Первый раз в жизни было рассказано все — именно ей, усталой, непричесанной, с папиросой в зубах, в расшитом лилиями японском халате.

Случалось, что среди всего этого пашествия чувств он натыкался на Машеньку — то наяву, то в воображении. Он встречал ее и, стараясь не смотреть в глаза, справлялся о здоровье Сергея Ивановича. Она отвечала ровным голосом, как будто ничего не случилось. На ровный голос у нее хватало силы. Но лицо было расстроенное, недоумевающее: она не понимала, что с ним происходит.

Несколько раз, занимаясь в архиве, он слышал знакомые шаги — туда и назад, мимо двери, по коридору. Но он не окликнул, не вышел. Это было очень давно — острова, нежно-розовый Будда с ленивыми раскосыми глазами, монах в красной рясе, который напугал их, внезапно появившись на пороге храма.

4

Бауэр вернулся в начале августа. Операция была отложена, несмотря на то что три врача из двенадцати утверждали, что нужно немедленно резать. Из оставшихся девяти четыре предлагали лечение радием, два — рентгеном, а три, среди которых один знаменитый, говорили, что он совершенно здоров.

Последний диагноз понравился ему своей смелостью.

— Я им говорю,— рассказывал он, вернувшись,— как же здоров, если все-таки боли такие и вот... слабость. А они говорят: «Какие же у вас, Сергей Иваныч, боли? Мы вас изучили и нашли, что никаких болей нет». Не нашли болей. Целый месяц изучали меня и не нашли. Значит, нету.

Он очень соскучился за этот месяц и уже на следующий день после возвращения засел за работу. Он давно не читал лекций, но теперь объявил, что желает в наступающем учебном году прочитать курс русской истории в университете, и, отложив все другие дела, принялся за подготовку к этому курсу. Он разбил день пополам: вставал очень рано, в шестом часу утра, и работал до двенадцати, потом завтракал, гулял, читал газеты и письма. После обеда спал

полтора часа, а потом снова садился за письменный стол, строго наказав Анне Филипповне, чтобы всех, кто ни явится, гнать, а по телефону говорить, что нет дома. Болей, согласно диагнозу, не было. Но иногда, бросив работу, он ложился вниз животом на кушетку и начинал потихоньку кряхтеть и отдуваться. Он сразу худел, на глазах, лицо становилось землистым, с горбатым носом, с жалким седым хохолком волос, поднимавшимся откуда-то сзади, с макушки. Вежливый, тихий, лежал он, за все благодарил и от всего отказывался. Он лучше всех двенадцати докторов понимал, что песня спета.

Трубачевский отчитался перед ним и вернул ключи. Каждый день он собирался передать ему разговор с Неворожиным — и не мог решиться. Это было нелегкое дело — объявить старику, что бумаги, пропажу которых он обнаружил весной, были украдены его сыном, что кто-то покушается расхитить архив, который он собирал всю жизнь.

Прошла неделя, прежде чем Трубачевский собрался с духом.

— Сергей Иваныч, а я и не знал, что у вас есть такие автографы,— немного волнуясь, сказал он.— Письма Петра, Екатерины... Просто в руках держать страшно.

— Да, есть,— кратко ответил Бауэр.

— И неизвестные?

— Есть и неизвестные.

— А почему же вы их... не издадите? — с трудом спросил Трубачевский.

— Со временем издам. А вы что? Думаете, не мешает поторопиться?

— Сергей Иваныч, да вы что! Я просто подумал...

Он вдруг покраснел и замолчал так же неожиданно, как и начал. Бауэр тоже помолчал, потом уставился на него исподлобья.

— Ну, в чем дело, говорите,— просто сказал он.

— Сергей Иваныч, эти бумаги... Они ведь очень дорогие, наверно... Если их продать... за деньги.

Бауэр сердито поднял брови.

— Я бы полагал,— медленно сказал он,— что для вас приличнее интересоваться содержанием этих бумаг, чем сколько они денег стоят. Не знаю, не считал. Продавать не намерен.

— Сергей Иваныч, вы меня не поняли,— с ужасом возразил Трубачевский,— я только хотел сказать, что, может быть, их дома держать... небезопасно.

Он оборвал, потому что у Бауэра вдруг стало тяжелое лицо. Губы набухли, он выпрямился и снова согнулся.

— То есть как это небезопасно?

Трубачевский начал объяснять — и осекся, так далеко было от этого невинного слова до того, о чем он хотел рассказать старику!

Ничего, кажется, не переменилось после этого разговора. С прежней добродушной суровостью Бауэр выслушивал его отчеты, а намерение написать «Пушкин в Каменке» даже одобрил.

— Только не советую я вам писать книгу. Рано еще вам писать книги. Вам нужно рефераты писать. И читать надо. А вы точно подрядились открытия делать.

Это было сказано сердечно и сердито, то есть так, как он и прежде говорил с Трубачевским. Но глаза были другие — настороженные, незнакомые.

5

Этот день начался головной болью. Он знал, что нужно сейчас же встать и умыться, но силы не было встать, и он полежал еще немного, повернувшись на бок и уставившись на узор занавески, нарисованный солнцем на полу. Он не заметил, как снова уснул. Отец разбудил его за полдень. Солнца уже не было в комнате: стул, стол, кровать и книги. Окно во двор. Четырнадцать метров. Неворожин, произносящий эти слова, представился ему: «У вас нет будущности. Очень плохо, что вы написали хорошую книгу».

Он встал с трудом и пошел умываться. Вода была теплая. Он вздохнул и остановился посредине кухни, закрыв глаза и опустив руки.

— Коля, завтракать! — крикнул из столовой отец.

В диагоналевых брюках, сшитых вскоре после русско-японской войны, в рубашке с «грудью», усатый и лысый, он сидел в столовой и читал вслух вечернюю «Красную».

— «Жив ли Амундсен? По мнению комиссара Пурвит...» Пурвит был флейтист, когда мы играли в Павловске, латыш... «есть все основания предполагать, что Амундсен направился прямо к группе Алессандри, отнесенной вместе с оболочкой к востоку от места крушения. Что касается Нобиле...» Нобеля был керосин.

— Это не тот.

— Я понимаю. Тот бы не полетел.

— Папа, ты не можешь без примечаний? — раздраженно заметил Трубачевский.

Отец засуетился, заморгал. Потом тихонько сложил газету, снял пенсне и вышел.

Хмурый, с тяжелой головой, Трубачевский остался один за столом. Чай был холодный, хлеб черствый. Он закурил, не кончив завтрака. У дыма был металлический привкус. Через полчаса отец будет мыть эти чашки, лысый, в пожелтевшей рубашке, с полотенцем через плечо.

За что он его обидел?..

Книги, открытые неделю назад, лежали на столе; он взглянул на них с отвращением. Страницы выгорели на солнце. Нужно все закрыть, убрать и на что-то решиться.

Вчерашний вечер был проведен у нее. Дмитрий приехал, и с ним этот мужчина с бритыми плоскими губами — Шиляев. Они говорили о крестьянстве, и Шиляев объявил, что имеет самые достоверные сведения о крестьянских восстаниях.

— Пять лет твердили мужику, что после сдачи налога он может делать со своим хлебом, что вздумается, а теперь — здравствуйте! — закупорили внутрикрестьянский оборот, закрыли базары. Что же мужик? Так и даст себя ограбить?

Трубачевский возразил ему с такой злобой, что сам удивился.

— Никаких восстаний нет,— сказал он,— но вы, без сомнения, дорого бы дали, чтобы они начались.

Варвара Николаевна оборвала разговор, но Дмитрий, который все время смотрел на него косыми, недоброжелательными глазами, успел пробормотать, что он согласен уважать коммунистов, но терпеть не может коммуноидов. Трубачевский вспылил, сразу не нашелся и потом весь вечер подбирал язвительные ответы. Весь вечер он молчал, слушая, как они говорят о Стефане Цвейге, накануне приехавшем в Ленинград, о том, кто убил Чжан Цзо-линя. Он был чужой среди них. Дмитрий его ненавидел...

Он снова вздохнул и сел за стол. Нужно работать. Нужно взять себя в руки. Он написал на выгоревшем листе: «Нужно взять себя в руки»,— и просидел с полчаса, рисуя фигуры и рожи. Одна вышла вроде Дмитрия, но старого, с горбатым носом. Нужно взять себя в руки. Он

нарисовал руки, потом себя — с маленькой, жалкой головкой.

Телефон зазвонил, отец снял трубку.

— Коля, тебя!

Трубачевский бросил карандаш... Взять себя в руки. Все решить. Быть может, уехать.

— Я слушаю.

— Николай Леонтьевич, это Бауэр. Вы сегодня ко мне собираетесь?

— Здравствуйте, Сергей Иванович. Я хотел часа в три приехать.

— А раньше нельзя? Сейчас?

— Сейчас? Что случилось?

— Вот приезжайте...

Он, кажется, еще что-то хотел сказать, но раздумал. С минуту он слушал Трубачевского, все повторявшего свои вопросы, и вдруг, ничего не ответив, повесил трубку.

— Сергей Иваныч! — еще раз закричал Трубачевский.

Тишина. «Переговорили?» Снова тишина. Так Бауэр говорил с ним впервые. Что-то случилось! Он побежал одеваться.

Через полчаса он был на улице Красных зорь.

В черном парадном сюртуке, серьезный и бледный, Бауэр ходил по кабинету, заложив за спину руки. Парадный сюртук был надет не для того, чтобы в нем разговаривать с Трубачевским,— утром Бауэр председательствовал на торжественном заседании в Академии наук. Но Трубачевский замер на пороге: произошло что-то страшное, иначе для разговора с ним старик не стал бы так одеваться!

— Сергей Иваныч!

Бауэр обернулся. Он плохо выглядел, и Трубачевский, как ни был взволнован, успел заметить, что у него щеки обтянуло и мешки под глазами стали лиловыми и обвислыми.

— Ну-с, Николай Леонтьевич,— с некоторым усилием сказал он,— садитесь вот сюда и давайте говорить откровенно. Только прошу вас заранее — не волноваться. Вы — юноша нервный, а я последнее время вот этих волнений всех по возможности избегаю.

— Сергей Иваныч, я совершенно спокоен,— почему-то стараясь не дышать, отвечал Трубачевский.

— Помните ли вы тот случай, когда месяца четыре назад обнаружилась в нашем архиве пропажа? Были там три

неизвестных письма Пущина, Владимира Раевского, карточка с приглашением и еще что-то, рисунки.

— Помню.

— Я тогда рассчитывал, что эти бумаги найдутся,— помолчав, продолжал Бауэр,— ну, а они не нашлись. И я теперь вижу, что и не могли найтись.

— Почему? — пробормотал Трубачевский, хотя отлично знал почему.

Старик остановился подле него, слегка сощурясь.

— Почему? А потому, что это была пропажа не случайная. И не последняя. Я сегодня обнаружил, Николай Леонтьевич, что из архива пропали документы, которые даже нельзя назвать ценными, потому что им цены нет. И не то что из одного отдела, как это было в прошлый раз. Из разных, и с большим выбором! С таким выбором, который обличает человека, знакомого не только с русской палеографией. Вот, например, из девяти писем Густава Адольфа взято только одно, собственноручное, а восемь диктованных остались. Из древних рукописей взяты «Пандекты Никона Черногорца» пятнадцатого века. Из пушкинского бюро — Кишиневский дневник, то есть единственная страница, которая от него сохранилась. Из личной моей переписки...

Щека задергалась, он взялся рукой за сердце и сел. Трубачевский бросился к нему. Он тяжело дышал, полузакрыв глаза, раздувая ноздри. Потом поднял глаза — огромные и усталые.

— Сергей Иваныч!

— Потом,— тихо сказал Бауэр.— Приходите потом, через час. Машу позовите. Пускай капли принесет, она знает.

6

Главное было — не растеряться! Главное — ясность. Все решить, все обдумать заранее.

Он посмотрел на часы — половина третьего. К Неворожину в «Международную книгу». Несколько минут он простоял у дома 26/28, стараясь вспомнить, какой трамвай ходит отсюда на проспект Володарского. Второй, третий? Он спросил. Тридцать первый! Хорош, ездил тысячу раз и забыл!

На площадке второго вагона толстая тетка прижала его мешками, от которых воняло кожей, маляры стояли

в люльках и смотрели вниз с высоты, опираясь на длинные кисти. Он очнулся на Марсовом поле и вспомнил, что не платил за проезд.

— Получите!

Кондукторша смотрела с недоумением. Ах нет, заплатил! И только что. Он вынул и разгладил билет на ладони.

Несмотря на то, что план был обдуман и решено не теряться, он влетел в «Международную книгу» с таким видом, что все встрепенулись, а кассир инстинктивно задвинул ящик с деньгами.

— Могу я видеть Бориса Александровича Неворожина?

Бородатый мужчина (знакомый, потому что не так давно у него был свой магазин на Петроградской) сказал, что Неворожина нет.

— Где же он?

— Болен. Сегодня на работу не вышел.

Трубачевский вернулся на улицу Красных зорь.

Неворожин жил в Вологодском переулке, недалеко от Филатовской детской больницы. «Прошло полтора месяца с тех пор, как я записал его адрес, и нужен был весь этот ужас, чтобы я наконец явился к нему. Я подлец, слабый подлец. Но ничего! Тем лучше, разговор будет короткий».

Старушка в белом переднике и сама белая, маленькая и худая, открыла ему. Такой же маленький старичок в белой толстовке и белых холщовых штанах стоял в прихожей и держал ладонь козырьком над глазами.

— Борис Александрович немного нездоров. Впрочем, я сейчас спрошу. Как ваша фамилия?

Она ушла и пропала. Десять минут Трубачевский, размахивая портфелем, метался по крошечной прихожей. Старик с беспокойством посматривал из-под ладони.

— Пожалуйте.

Неворожин встретил его на пороге. Он был небрит, горло замотано шарфом. Лицо было жеваное и желтое, он, кажется, постарел с того дня, когда на лестнице встретился с Трубачевским.

Впрочем, все было желто в комнате — от желтой полуопущенной шторы, от позднего солнца.

— Очень рад. Милости прошу.

Штора надулась от сквозняка, он поспешно захлопнул дверь.

— Садитесь, пожалуйста. И простите за этот дикий

вид.— Он провел рукой по небритому подбородку.— Никого не ждал. И немного болен, ангина. Вы не боитесь?

Трубачевский вошел и остановился. Он был бледен, губы дрожали.

— Послушайте,— быстро сказал он,— где бумаги?

Штора еще покачивалась, кресло в белом чехле, стоящее у окна, становилось то желтым, то белым.

— Какие бумаги?

С минуту они помолчали, глядя друг на друга с одинаковым злобным выражением. Потом Неворожин засмеялся, но про себя, очень тихо.

— Дорогой мой, вы знаете,— сердечно сказал он,— я начинаю думать, что из вас ничего не выйдет. Можно быть человеком непосредственным, но нельзя же таким образом врываться в чужую квартиру!

Трубачевский взял стул и сел.

— Послушайте,— с неожиданным спокойствием, от которого ему самому стало немного страшно, сказал он,— если через три минуты вы не вернете мне документов, взятых из архива Сергея Ивановича Бауэра, я при вас позвоню в ГПУ. Я очень сожалею, что не сделал этого раньше. Вы предлагали мне бежать за границу, украсть архив и бежать. У вас друзья за границей. Я передам наш разговор, я все расскажу. Верните сейчас же, слышите, сию же минуту!

С печальным и злобным выражением Неворожин посмотрел на студента. Спокойствие это, кажется, его удивило. Он вскинул брови, жестко поджал рот. Потом лоб разгладился, рот улыбнулся.

— Выбрали? — почти равнодушно спросил он.

— Да, я выбрал,— твердо отвечал Трубачевский.

— И не страшно?

— Нет, мне нечего бояться.

— Как сказать!

— Это все ложь,— быстро возразил Трубачевский.— Вы обыкновенный вор, и ничего больше. Верните бумаги, которые вы украли.

Устало и снисходительно Неворожин развел руками.

— Дорогой Трубачевский, прошу вас об одном: помните, что я сделал для вас все, что мог. Пусть будущие историки отметят это в своих анналах. А теперь, что бы ни случилось, пеняйте на себя.

— Послушайте, я тороплюсь,— дерзко пробормотал Трубачевский.

Неворожин прошелся по комнате, вынул портсигар, закурил.

— Бауэр знает, что вы поехали ко мне?

— Нет.

— Очень хорошо. Мне бы не хотелось, чтобы Сергей Иванович плохо обо мне думал. Тем более что вовсе не я взял у него все эти автографы и акафисты. Это сделал Дмитрий — и несмотря на то, что я просил его этого не делать. Но он влюблен, ему нужны деньги. Не все так терпеливы, как вы,— добавил он, быстро улыбнувшись.— Напомните — что там было?

Трубачевский перечислил пропажи.

— К сожалению, всего этого я уже не могу вернуть вам. Письма Пушкина давно проданы, а листок из Кишиневского дневника в антиквариате. Здесь у меня только «Пандекты Никона Черногорца» и несколько частных писем к Сергею Ивановичу, которые Дмитрий случайно и в спешке прихватил. Вам придется подождать. Или, может быть, вы приедете завтра?

— Я предпочитаю ждать.

— Но это должно занять не меньше часа.

— Неужели вы не понимаете, что я не могу явиться к нему до тех пор, пока не принесу все, что пропало из архива?

Неворожин с недоумением качнул головой и достал из книжного шкафа «Пандекты».

— Вот, возьмите! И запаситесь терпением. Мне нужно побриться, одеться, доехать до Литейного и вернуться обратно. Почитайте Никона Черногорца, у этого монаха есть чему поучиться. Или, если хотите, я познакомлю вас с моими хозяевами — очень милые люди!

— Благодарю вас, я найду чем заняться,— высокомерно возразил Трубачевский.

Неворожин поклонился и вышел. Должно быть, он не стал ни одеваться, ни бриться, потому что не прошло и пяти минут, как его голос послышался за стеной (он что-то быстро сказал по-немецки), входная дверь хлопнула, старческие шаги пошаркали по коридору, и все стихло.

7

«Пандекты» были положены в портфель и туда же после мгновенного колебания — заглянуть или нет? — отправились частные письма. Потом началось ожидание. Без

сомнения, это был самый медленный час в его жизни. Он переоценил свои силы.

Несколько минут он по привычке перебирал в памяти разговор и нашел, что держал себя превосходно. Ни одного лишнего слова! Собственная храбрость немного пугала его.

Потом он принялся осматривать комнату: низкие, мягкие, покрытые чехлами кресла стояли в фонаре, образованном тремя высокими окнами. Фотографии были старинные, в бархатных рамках, бархатные альбомы с застежками лежали на круглом столе, покрытом бархатной скатертью с кистями. Пейзаж — венецианские каналы — висел над пианино, разноцветные корешки переплетенной «Нивы» просвечивали сквозь стекла книжного шкафа. В этой комнате жил Неворожин!

Но, заглянув за ширму, отделявшую угол с куском окна, Трубачевский понял, в чем дело: узкая походная кровать стояла за ширмой, портрет девочки, как икона, висел над изголовьем. Сходство с Неворожиным было необыкновенное — тот же низкий решительный лоб с немного вдавленными бледными висками, те же глаза — вежливые, но как бы лишенные всякого выражения. Больше здесь ничего не было. Кровать, портрет, чистая, пустая стена да ночной столик, на котором лежала книга,— жилье человека одинокого, властного и неприхотливого.

Трубачевский перелистал книгу. Это была «Легенда о великом инквизиторе» Розанова.

«Нет, это больше чем обыкновенный вор,— подумал Трубачевский,— и, может быть, совсем другое».

Он поднял глаза от книги и прислушался: шорох раздался за дверью. Он тихонько положил книгу на место и вышел из-за ширмы; шорох утих. Это было забавно и помогало скоротать время. Дважды он заходил за ширму, и сразу же за дверью начиналось движение. Он остался немного дольше, чем прежде, и дверь приоткрылась, белый фартук мелькнул. За ним следили, и притом весьма откровенно...

Тихо было в доме, только за стеной негромко и однообразно стучали часы. Летний комнатный день был в разгаре, мебель стояла сонная, душная, пылинки, освещенные солнцем, все опускались и опускались.

Трубачевский сел в кресло. Он наконец почувствовал, что смертельно устал. Он чуть не заснул, закинув голову и уставясь в потолок, на котором дрожали солнечные зайчики от граненых стеклышек люстры.

Но вот часы пробили пять раз. Входная дверь хлопнула внизу. Он вскочил, прислушался,— и не услышал ничего, кроме стука своего сердца. Прошло уже полтора часа, а Неворожин все не возвращался...

Давно уже были испытаны все известные способы ожидания: комната была измерена в длину, в ширину и по диагонали. Дважды дано было (и дважды нарушено) честное слово — ждать еще не больше пяти минут. Неворожин был изруган — сперва шепотом, потом вполголоса, чтобы слышала эта старая кляча, которая следит за ним через замочную скважину!

Движение солнца было измерено: в двадцать минут оно передвигалось на одну полоску паркета. Осталось только четыре полоски, рассеянный свет уже скользил по стене, когда он наконец решился.

— Скажите ему, что я не дождался,— выйдя в прихожую, грубо сказал он хозяйке,— я завтра приду... Впрочем, нет. Сегодня вечером я позвоню ему по телефону.

Старушка кивнула. Ее маленький беленький муж стоял подле и смотрел на Трубачевского, держа ладонь над глазами.

Он почти ничего не ел за утренним чаем и теперь, выйдя от Неворожина, почувствовал голод. Кафе на площади Льва Толстого было закрыто, он зашел в пивную и с порога повернул назад — его вдруг затошнило от шума, от пьяных морд и запаха пива.

«Ладно, к Бауэру, а потом домой»,— решил он.

На лестнице он вспомнил, как шел к нему в первый раз. Он был в синем костюме, переделанном из отцовского, галстук, серый в синюю полоску, накануне был куплен в Пассаже. Робко поджав ноги, сидел он перед Бауэром. Как он был тогда молод!..

Он позвонил, Анна Филипповна открыла и, бормоча, махнула рукой в сторону кабинета. Оттуда слышались голоса, он остановился в нерешительности.

— Там, там,— сурово сказала старуха.

Он постучал и вошел.

Он очень отчетливо помнил все, что было потом, но сама отчетливость эта, острая и беспомощная, была такова, что заставляла в ней сомневаться. Это была отчетливость сознания, которое все запоминает, но действовать уже не в силах.

Первым он увидел старика. Старик лежал на диване, ноги завернуты в шаль, ворот рубашки расстегнут, и питье

в незнакомой больничной чашке стояло перед ним на маленьком столе. Дмитрий сидел подле, согнувшись, держа его руку. Трубачевский вошел, и он поднял голову со странным, косящим взглядом. В стороне, между книжными полками, стоял Неворожин.

— Как, вы здесь? А я ждал вас!

— Сергей Иванович, вы слышите? — с торжеством спросил Неворожин.

Бауэр посмотрел туманными глазами. Трубачевский хотел подойти к нему, Неворожин заступил дорогу.

— Вы меня ждали? — незнакомым, высоким голосом вдруг сказал он.— Напрасно! Сразу же после нашего разговора я поехал сюда. Я рассказал Сергею Ивановичу все, что я знаю о вас. Я рассказал, как вы таскались в антиквариат каждую неделю и умоляли меня купить рукописи, которые вы у него украли. Я рассказал, как вы явились ко мне со списком редчайших документов и на выбор предлагали все, что угодно,— пушкинские черновики, письма Екатерины. Я показал Сергею Ивановичу запись в книге поступлений о том, что седьмого марта вы продали в антиквариат три письма декабриста Пущина,— тогда я еще не знал, с кем имею дело.

— Что он говорит...

— Я рассказал, как сегодня вы явились ко мне на квартиру с личными письмами, адресованными Сергею Ивановичу, и предложили купить их по три рубля за штуку. Вы соблазняли меня тем, что в этих письмах якобы есть места, дискредитирующие Сергея Ивановича как советского гражданина. Вы доказывали, что впоследствии я смогу выручить за них огромные деньги.

Не помня себя Трубачевский бросился к нему. Дмитрий встал навстречу, лицо у него было грязно-бледное, полные губы сводило.

— Я больной явился сюда,— очень громко, как в бреду, закричал Неворожин...

Несколько секунд ничего не было, глухота. Потом Неворожин подошел к нему и вырвал из рук портфель.

— Я так и думал,— веско сказал он,— вот эти письма.

— Не смейте, отдайте! — бессмысленно закричал Трубачевский.

Неворожин отстранил его.

— Здесь еще что-то! Сергей Иванович, вот случай проверить.

Он положил на стол «Пандекты».

— Это ваша книга?

— Не нужно,— махнув рукой, тихо сказал Бауэр.

Трубачевский закрыл и открыл глаза. У него голова кружилась.

— Сергей Иваныч,— начал он, стараясь говорить медленно и не волноваться.— Вы были больны, и я боялся, что у вас что-нибудь станет с сердцем. Поэтому я ничего не говорил до сих пор. Но теперь...

Лицо Неворожина, желтое, с открытыми маленькими зубами, придвинулось к Трубачевскому, он не выдержал и ударил. И все смешалось. Его куда-то вели, он кричал. Дмитрий держал его за руки. Потом дверь хлопнула. Он сидел на ступеньках, быстро дыша. Дверь снова распахнулась, пустой портфель вылетел и упал в пролет. Должно быть, портфель подобрали, голоса были слышны, по лестнице поднимались.

8

Свет погас, занавес раздвинулся — маленькая станция, носильщики, газетный киоск,— а Варвара Николаевна все еще сердилась на Дмитрия за то, что они приехали так рано. Он даже не дал ей позвонить Мечниковым, теперь ее там ждут, и в антракте придется бежать к автомату. Высокий военный вышел на сцену и нетерпеливо закурил папиросу. Чтобы все узнали, что он кого-то ждет, спросил у сторожа, когда придет поезд. Сторож был такой же, как тысячу лет назад в Казани, где Варвара Николаевна родилась,— в белом переднике и с бородой. И колокол такой же. И позвонил так же. Интересно — кто же приедет? Приехала знаменитая артистка, толстуха.

Варвара Николаевна послушала, о чем они говорят, потом покосилась на Митю. Он сидел прямой, тихий и такой красивый, что можно сойти с ума. Но она почему-то не сходит. Она тихонько пожала плечами. А может быть, это хорошо, что она собралась за него замуж? В семнадцать лет она думала, что, если не станет артисткой, тогда будут дети. Артисткой не стала, и детей не будет. Мариша говорит: «Сходила замуж». Сходила и вернулась.

На сцене погасили свет, что-то загрохотало, поехало, и декорация переменилась. Комната. Военный привез жену домой. Они говорили, говорили, и вдруг оказалось, что жена беременна,— вот почему она так страдала. Но она была в гимнастерке, которая совершенно не шла к ней, и

смотреть было неинтересно. Муж сказал, чтобы она делала аборт. «Мы на посту, нам нельзя иметь детей. Ясно, как апельсин. Партийке некогда этим заниматься».

Свет снова погасили, и Варвара Николаевна почувствовала, что Дмитрий смотрит на нее в темноте. Она знала, как он посмотрел,— как пес. Он влюблен, как пес. У него собачьи глаза. Он ослабел — это противно. И вообще — ничего. Она мысленно сказала это слово, по слогам, как говорит Мариша: «Ни-че-го». Как будто рядом с ней сидел ее плюшевый мишка. Она даже огорчилась. И ведь, наверно, он нравится другим! Нет! Чего-то у него не хватает. Она стала думать, чего не хватает, и пропустила половину акта. Сцена теперь представляла кабак, разговаривали двое, старый и молодой, и молодой почему-то шепотом.

— Митя, почему он говорит шепотом?

Митя стал объяснять, она кивала и в конце концов ничего не поняла. В общем, молодой был белогвардеец. Он долго пил водку, а потом вынул револьвер и сказал, что, если старик его продаст, он его первого шлепнет. Опять загрохотало и поехало, и Варвара Николаевна совсем перестала слушать. Раньше она только на концертах думала о своем, а вот теперь и в театре. Нехорошо, постарела. Старая, она выходит замуж за молодого Митю, и на днях он познакомил ее с отцом. Какой любезный старик! Она вспомнила это милое движение, которым он закидывает голову, когда скажет что-нибудь, и ждет,— ну-ка! И совсем не похоже, что он так страшно болен, а врачи говорят — осталось полгода. Полгода. Это значит — она сосчитала на пальцах,— что он умрет в апреле. Нет, в марте. Тогда они с Митей возьмут себе три комнаты, а Машенька переедет в архив.

На сцене крикнули, она вздрогнула и стала слушать, но оказалось, что это была последняя фраза, и акт окончился. Дали свет и снова погасили, аплодисменты еще продолжались.

— Митя, уже поздно звонить Мечниковым. Пойдем в фойе.

Она шла, зная, что все на нее смотрят, и не давая понять, что она это знает, но не чувствуя прежней гордости, всегда приходившей в такую минуту. Она была в новом платье, и оно было ей к лицу — это легко было угадать по внимательным взглядам женщин,— но и это почему-то не радовало ее, как прежде. С Дмитрием не о чем было говорить, но она что-то сказала, он ответил, она улыбнулась,

и даже это пустое притворство сегодня не удавалось ей, и она замолчала. «Постарела, постарела»,— снова подумала она с огорчением.

В фойе было много знакомых. Ставеман, театральный критик, подошел к ним. Спектакль был, по его мнению, хорош, а пьеса плоха,— довольно этих обозрений.

— Подождите, ведь это только первый акт,— возразила Варвара Николаевна.

Он начал спорить, но заметил, что его не слушают, и заговорил о другом. Амундсен погиб, больше нет никаких сомнений,— вчера норвежские рыбаки нашли поплавок «Латама». Вся экспедиция, вместе с Нобиле, не стоила этого человека.

Он говорил захлебываясь, боясь, что его перебьют, а она думала о том, что за лето произошло так много важных и интересных вещей: спасли Нобиле, и, говорят, Муссолини разжаловал его за то, что он позволил себя спасти, погиб Амундсен,— а на премьере все было так же, как и в прошлом году, только что стали носить эти длинные вязаные пелерины, вот как на этой старой дуре из Театра комедии, которой она так и не отдала девяносто рублей.

— Нужно было отвезти его назад и выбросить на лед,— сердито сказала она, услышав, что лейтенант Цаппи, спасенный «Красиным», потребовал, чтобы его называли господином.— Послушайте, а правда, будто он съел Мальмгрена?

Они вернулись в зал, второй акт начинался. Только теперь она вспомнила, что за весь вечер Дмитрий не сказал ни слова.

— Митя, почему вы молчите все время? У вас настроение плохое, да?

— Нет, хорошее. Это Ставеман задурил мне голову. Знаете, Варенька, мы с ним когда-то в одном классе учились, в гимназии Лентовской. Он и тогда болтал, болтал...

Но Ставеман был ни при чем.

Свет погас, и в полутьме она посмотрела на Митю сбоку и тихонечко, чтобы он не заметил. Все-таки милый. И умный. И любит — это важно, это очень важно. И понимает, что она — нет, вот почему весь вечер молчит и глаза такие грустные и собачьи. Она дотронулась до него, он поцеловал руку. Она отняла и стала смотреть на сцену.

Вечеринка. Разодетые девицы бегали, хлопотали и все просили петь кургузого урода. Другой урод сказал, что из «Травиаты» нельзя — «с марксической точки зрения».

Один актер был похож на Трубачевского. Бедный мальчик! Потом пришел толстый дядя с выгнутой грудью, которого все звали майором, и стали вспоминать прошлое, как было хорошо, Кронштадт, Морское собрание.

Она вдруг забыла, как называется пьеса.

— Митя, как называется? Ах да... «Проходная комната». Нэпманы. Надоело. И не похоже.

На сцене давешний певец сказал, что у него после рыбы сел голос, все засмеялись. Она прослушала и машинально чуть не переспросила актера. Это было так неожиданно, что она тихонько засмеялась. Дмитрий сделал большие глаза и в темноте удивленно поднял брови. Нет, все будет хорошо. В марте Сергей Иванович умрет, и они возьмут три смежные комнаты, а Машенька переедет в архив. Квартира хорошая. Вещи тоже хорошие, но запущены, и все нужно ремонтировать, красить, полировать. В столовой — два буфета: один превосходный, павловский, а второй нужно продать. Хлопот, забот!

Она вздохнула и выпрямилась.

— Митя, я еду домой.

Она встала сразу, чтобы Митя не начал уговаривать, и пошла к выходу вдоль первого ряда. Где-то зашикали, зашипели. Дмитрий догнал ее и молча взял под руку.

— Митя, вы не сердитесь? Вам не очень хотелось досмотреть?

— Не очень.

— Ну и хорошо. И не нужно спрашивать. Я сама ничего не понимаю.

На площади между театром и сквером было тихо и пусто, дождь недавно прошел, асфальт потемнел, мокрая решетка блестела.

— Митя, как это у Маяковского: «Вот и жизнь пройдет...»

— «Как прошли Азорские острова»,— докончил Дмитрий.

— Какие стихи!

— Хорошие... Извозчик!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Это было под вечер в конце ноября,— Карташихин помнил день и час. С утра шел снег, еще молодой, но упрямый, и снежная водянистая каша сровняла мостовые с па-

нелью. Он возвращался домой и во дворе увидел Машеньку Бауэр.

Она стояла у подъезда и смотрела прямо перед собой рассеянно и печально. Автомобиль проехал вплотную рядом с ней; колея у самых ног залилась водой. Она не шелохнулась. Пройдя несколько шагов, Карташихин догадался, что она плачет и лицо мокрое от слез, а не от снега. Он вернулся.

— Здравствуйте,— негромко сказал он.

Машенька обернулась и вдруг, как маленькая, закрылась рукой.

— Что с вами?

— Ничего.

Она поставила портфель у ног прямо на мокрую мостовую и достала платок.

— Что вы делаете, промокнет!

— Не промокнет,— возразила она, но Карташихин все-таки подхватил портфель.

Они помолчали. Ему хотелось спросить, почему она плакала, но она так сердито вытирала платком лицо, что он не решился. Они зашли в подъезд.

Наверху, в третьем этаже, хлопнула дверь, раздались чьи-то шаги, легкие и отчетливые. С мрачным и упрямым выражением Машенька посмотрела на женщину, которая спускалась по лестнице, потом на Карташихина — исподлобья.

Казалось, она хотела что-то сказать ему,— и было еще время, еще на площадке второго этажа мелькали ноги в светлых чулках, сумочка, зонтик. Но она ничего не сказала.

Карташихин отступил, чтобы дать дорогу, и узнал Варвару Николаевну...

Тогда только что вновь начинали носить длинные платья, и ее платье было видно из-под светло-сиреневого пальто с пушистым воротником, в который она все время прятала подбородок. Все было новое и красивое: голубоватая сумка, коротенький зонтик с толстой китайской ручкой, и это пальто. Но она постарела — так ему показалось.

Он был спокоен. Ночью, вспоминая об этой встрече, он понял, что, стоя от нее в двух шагах, он почти ничего не слышал. Но он был спокоен — какое счастье! И с торжеством, с чувством свободы он прислушался к нескольким долетевшим до него фразам, по которым можно было судить, что между этими двумя женщинами сложные отношения.

— Машенька, я вас прошу в присутствии Сергея Ивановича не поднимать больше этого разговора.

Машенька ничего не сказала. Ноздри ее слегка раздулись.

— Вы знаете, как вредно ему волноваться.

Молчание.

— Я говорила с Димой. Он решил, что, если это еще раз повторится, мы уедем.

— Нет! Я! Я уеду! — быстро сказала Машенька.

Варвара Николаевна спрятала подбородок.

— Ну, полно,— холодно сказала она,— вы злитесь, потому что не правы.

— Я здесь не одна, мы поговорим в другой раз.

Варвара Николаевна посмотрела на Карташихина.

— Извините, я не поняла, что это ваш знакомый... Извините,— сказала она и Карташихину и обернулась, уже распахнув дверь.— Машенька, от Ланга звонили, что он сегодня не может приехать. Завтра в половине седьмого.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

С утра он пойдет к ним, и все разъяснится. Он ходил по комнате и останавливался с закрытыми глазами. А сейчас уже поздно — взглянул на часы,— ночь...

Трубачевский проснулся от усилия понять этот сон. Куда он должен пойти? Почему поздно? Что разъяснится?

Было утро, утренняя косая тень окна лежала на стене, за стеной отец шелестел газетой. Утро было такое, как будто ничего не случилось.

Он вскочил, накинул одеяло, побежал к телефону. Нет, рано! Нужно умыться, одеться, выпить чаю, потом позвонить. Как будто ничего не случилось.

Он сделал все это: умылся, оделся, выпил чаю, даже поговорил с отцом: лето кончается, а ЖАКТ и не думает о ремонте.

Еще четверть часа. Он позвонил.

Заспанный знакомый голос ответил:

— Я слушаю.— И немного громче: — Алло, алло!

— Вы, Дмитрий Сергеевич?

— Да.

— Это Трубачевский...

Потом он мучился тем, что еще минуты две кричал что-то, уже после того, как Дмитрий повесил трубку.

С хлебом и ножом в руках отец выбежал из столовой.

— Коля, что случилось?

Трубачевский смотрел на него и не видел. Ах, так! Дмитрий Бауэр не желает говорить с ним.

— Папа, я ухожу. Ничего не случилось.

Он не заметил дороги. Во дворе дома 26/28 мальчишки злобно рассматривали лохматую злую собаку. Ему показалось, что он уже видел когда-то эту собаку и мальчишек, стоявших перед ней полукругом, но решил, что во сне, потому что с такой точностью это не могло повториться.

Он позвонил — решительно и спокойно. Не открыли. Он позвонил еще раз. Цепочка звякнула, и дверь приоткрылась. Он увидел маленькую зеленовато-седую голову и старый нос, почти упершийся в подбородок. Он испугался — Анна Филипповна была страшна без своих челюстей.

— Откройте, Анна Филипповна, это я.

Старуха смотрела на него и молчала.

— Анна Филипповна,— упавшим голосом повторил Трубачевский.

Она все смотрела. Потом пробормотала:

— Нельзя,— и захлопнула двери.

— Анна Филипповна!

Шаги удалились.

— О, сволочь, мерзавцы! — громко сказал Трубачевский.

Женщина в лоснящемся макинтоше, которая прошла мимо, когда он звонил, с любопытством смотрела на него сверху.

— Вам кого?

Он побежал вниз.

«Все ясно, они не пускают меня к старику! Он им еще не верит. Но пройдет день-другой, и они докажут ему, что я вор. Я должен увидеть его, и сегодня, непременно сегодня!»

Целый час он провел в Ленинском парке, то садясь на скамейку и рассеянно провожая глазами прохожих, то принимаясь бродить, машинально подбрасывая ногами замерзшие медно-желтые листья, которыми были покрыты дорожки. Высокий, солидный болван шел, мерно покачивая головой и толкая перед собой детскую коляску, в которой сидел, близоруко щурясь, мрачный ребенок. Сторожа с подлыми бородатыми лицами шлялись без дела, по време-

нам натыкая на свои прутики бумажки и листья. Старуха нянька с плоской, змеиной головой сажала в кустах орущую девчонку.

Все было подло и мрачно — все, что он видел на небе и на земле.

Он вернулся домой. Отца не было. Кружка молока стояла на столе, бутерброды заботливо прикрыты тарелкой. Он заставил себя съесть один и засел за письмо, которое сочинил дорогой.

Он писал Бауэру: «Сергей Иванович, я не сомневаюсь в том, что Вы ждете моих личных объяснений, а не этого письма, в котором мне едва ли удастся рассказать эту необъяснимую, или, вернее, слишком понятную историю. Но обстоятельства, о которых Вам расскажет Дмитрий Сергеевич, лишают меня возможности Вас увидеть. Я достаточно горд, чтобы не толкаться еще раз в двери, которые захлопываются перед моим носом...»

Не перечитывая, он разорвал письмо и начал сначала: «Сергей Иванович, сегодня я дважды пытался проникнуть к Вам — и безуспешно. Мне необходимо поговорить с Вами. Я знаю, что Вы не верите подлым обвинениям. Но мне нужно доказать Вам, что на моем месте Вы поступили бы точно так же. Я виноват перед Вами только в том, что слишком долго медлил. Позвольте же мне, пока не поздно, исправить ошибку».

Он перебелил письмо, положил в конверт, надписал адрес и побежал на почту.

На душе стало немного легче, когда почтовая барышня небрежно стукнула по этому письму печатью. Он нашел его глазами. Письмо было такое же, как другие.

Ему не хотелось идти домой, и, как будто не замечая дороги, он дошел по Пушкарской до дома № 26/28. Он и сам не знал, на что рассчитывал,— во всяком случае, не на встречу с Машенькой, которой мог бы, впрочем, все рассказать! Он не рассчитывал, но с полчаса бродил по длинному двору-коридору, выходящему с одной стороны на Пушкарскую, а с другой — на улицу Красных зорь... Он не рассчитывал, но мысленно уже все объяснил ей, и она все поняла и все рассказала Сергею Ивановичу, который сердито слушал ее, сложив руки на впалой груди. Дмитрий уже просил прощения и косил, останавливаясь после каждого слова. Неворожин был уже выгнан вон, и даже Анна Филипповна получила выговор за то, что захлопнула перед Трубачевским двери...

С отвращением возвращался он на этот двор, прислушиваясь к стуку своих шагов по асфальту.

Уже решившись уйти, он вспомнил о Карташихине и обрадовался. Как это вышло, что раньше о нем не подумал?

— Конечно, Ванька...— шепотом сказал он, не видя, что девушка в сером пальто, с шелковым серым цветком, приколотым к петлице, вышла из подъезда и остановилась, поглядывая на него исподлобья.— Мне попадет от него. И очень хорошо. Так и надо.

Ему так захотелось, чтобы все это было поскорее: Матвей Ионыч с трубкой в зубах, выглядывающий из дверей, пес, знакомая комната с письменным столом, который они с Карташихиным прожгли в четвертом классе,— что, пройдя мимо Машеньки в двух шагах, он бегом поднялся на пятый этаж и вот уже звонил, звонил... Но никто не отзывался, только сонный собачий лай донесся из-за двери.

Ночью он позвонил Варваре Николаевне. Она выслушала его и сказала, что просит больше не приходить, не писать ей и, если ему это не очень трудно, забыть о том, что она существует на свете.

2

Он был уверен в том, что все это кончится через день-два. Но прошло и три и четыре дня — ничего не кончилось.

Он вздрагивал от каждого звонка, телефонного или на парадной. Он точно рассчитал, когда должен прийти ответ от Сергея Ивановича, и с каждой утренней и вечерней почтой придумывал причины, по которым письмо могло задержаться. Но много раз приходил и уходил почтальон, а ответа все не было.

Бауэр подозревает его, он им поверил... Это была горькая мысль, но он допускал ее. Что ж, нужно обдумать все варианты, даже самые невероятные!

Бауэр подозревает его. В самом деле — никто, кроме Трубачевского, не допускался к архиву. Целый месяц, когда Сергей Иванович лежал в клинике Военно-медицинской академии, он один распоряжался архивом. И, наконец, этот разговор! Он схватился за голову, вспомнив, что спрашивал Бауэра, сколько стоят его бумаги, и, кажется, уверял, что дома нельзя их держать,— небезопасно!

«Да, Сергей Иваныч подозревает меня,— мысленно сказал он, начиная быстро дышать от ужаса.— Но все равно! Он бы ответил, он бы так и написал... И он еще напишет!»

Прошла неделя. Он почти не выходил из комнаты. Часами стоял у окна, глядя на узкий грязный двор, на грязных белых пекарей в круглых шапочках, таскавших с крыльца и на крыльцо — из пекарни в булочную — корзины с халами и хлебом. Наконец, когда никаких сомнений не оставалось, он решился написать Машеньке.

Упершись кулаком в подбородок, он сидел над этим письмом, и ему казалось, что он слышит за дверью ее шаги, робкие и легкие,— туда и назад по коридору мимо архива. Она ждала, что он выйдет,— ведь он просто перестал разговаривать с ней, и она, наверно, думала, что так не бывает. Но он не окликнул, не вышел...

Старый Трубачевский испуганно поднял голову и отогнул ухо, услышав эти странные звуки — не то кашель, не то плач,— донесшиеся из комнаты сына. Но звуки не повторились, и, плотнее посадив очки на нос, он со старческой неторопливостью продолжал выводить свои ноты.

3

Он вспомнил, что в этом году едва ли три-четыре раза был в университете. Со второго курса остались хвосты, ни в одном семинаре третьего он еще не был записан, и вообще, если бы он не открыл десятой главы «Евгения Онегина», его уже давно выгнали бы за академическую неуспеваемость.

Прежняя уверенность вернулась, когда он увидел знакомые ворота, будку, в которой спал старый знакомый сторож, длинный сводчатый пролет вдоль главного здания. Он порылся в университетской книжной лавке, заваленной «Справочной книжкой Оренбургской губернии за 1884 год» и школьными тетрадями в две линейки.

В университетском коридоре он встретил Климова и испугался, что маленький лопоухий редактор сейчас попросит у него статью для стенной газеты. Но редактор не попросил. Молча и не улыбаясь (хотя он всегда улыбался), он поздоровался с Трубачевским и, виновато моргая, побежал дальше.

Странное дело, точно с таким же выражением встретили Трубачевского Дерюгин, Мирошников. Никто не

спрашивал, где он пропадал, над чем работает, как его книга. С ним говорили, глядя в сторону, и только о том, о чем говорил весь факультет,— об «окнах в расписании», о новом ректоре, недавно назначенном на место покойного Коржавина. Как будто все были перед ним виноваты.

Спустя полчаса он сидел на лекции в пятой аудитории. Кто-то сзади дотронулся до плеча. Ему передали записку: «О тебе говорят вздор, которому я не верю».

Обернувшись, он нашел на «горе» рыжую голову, некрасивое умное лицо. Он знаками показал, что хочет поговорить. Репин знаками ответил: «Потом».

Не дождавшись конца лекции, Трубачевский вышел из аудитории. Он чувствовал тяжесть и холод где-то около сердца. «О тебе говорят...» Вот почему у них были такие лица!

Он обернулся, пройдя коридор до конца, и стал машинально следить, как открывалась и закрывалась на противоположном конце дверь библиотеки и как появлялись и исчезали маленькие, склонившиеся над книгами люди.

Стенная газета висела на одной из витрин, он взглянул — и карикатура, нарисованная сбоку вдоль всего текста, остановила его внимание. Он не сразу узнал себя — так далек он был от этой стенной газеты. Но это был он. Головой он упирался в название, ногами — в подвал. Через плечо висела корзина с пакетами, и на пакетах было написано: «Письма Пушкина», «Письма Гоголя»... Это был он. Он орал, закинув самодовольную морду и с увлечением перебирая рукой пакеты. Надписи не было, но изо рта, окруженные петлей, выходили слова: «А вот кому!..»

Трубачевский стоял, чувствуя, что тяжесть и холод на сердце становятся все тяжелее и холоднее. Ему захотелось сию же минуту уйти из университета. Но он не ушел. Бледный, иронически улыбаясь, он встретил Репина у пятой аудитории. Молча они вышли на набережную, и Репин, мельком взглянув на Трубачевского, удивился, что можно так похудеть в полчаса.

— Послушай, я уверен, что это вздор,— медленно и, как всегда, немного запинаясь, сказал он.— Но все-таки — в чем дело?

Они дошли до Академии художеств, вернулись и снова дошли. Стараясь говорить ровным голосом, Трубачевский рассказал, в чем дело. Он сделал это очень плохо. Вдруг ему стало ясно, что в этой истории есть вещи, которые очень трудно или почти невозможно передать университет-

скому товарищу, с которым никогда не был особенно близок.

Он не довел бы свой рассказ до конца, если бы Репин, с его ясной головой, дважды не вернул его к тому месту, с которого началась путаница. О Варваре Николаевне не стоило упоминать — слишком сложны были объяснения.

— А этот листок, который ты нашел в пальто,— спросил он, когда Трубачевский совсем запутался и полез за носовым платком,— ты его Бауэру показал?

— Нет.

— Почему?

— Да просто потому, что в тот день ему выкачивали желудочный сок и меня не пустили.

— А потом?

— А потом его отправили в больницу.

— Но ты сказал, что он через месяц вернулся?

— Да.

— Ну?

— Да, я говорил с ним,— с досадой возразил Трубачевский.— А попробуй-ка ты сказать человеку, которому, может быть, всего-то осталось жить какие-нибудь полгода, что у него сын — вор и что после его смерти от этого архива, который он собирал сорок лет, не останется камня на камне! Он бы все равно не поверил!

Репин нахмурился.

— Нет, он бы поверил,— возразил он, помолчав.— Ну хорошо. А где же он теперь, этот листок? Ты вернул его Неворожину?

— У меня,— упавшим голосом сказал Трубачевский,— я над ним работаю. Понимаешь, это как раз продолжение того отрывка, который я расшифровал. Очень интересно, черновик... И, кроме того...

Репин пожал плечами, и в глазах появилось тоскливое выражение. Это было неясно, а неясностей он не выносил.

— Ну, вот что. Во-первых, нужно настоять, чтобы карикатуру сняли; во-вторых, нужно сегодня же отослать листок Неворожину; в-третьих...

4

Хотя разговор этот ничем не кончился, Трубачевский, вернувшись домой, немного повеселел. Почтовый ящик был пуст, но он все-таки открыл его и посмотрел, не застряло ли где-нибудь письмо, хотя застрять было, кажется, негде.

Автограф Пушкина лежал на столе в плотной, слишком большой для него синей папке. Он открыл папку: четвертка бумаги, исчерканная вдоль и поперек, и профиль в колпаке — Вольтер, как раз у той строфы, которая помогла разгадать шифр:

Сей муж судьбы...

Пушинка села на листок, он бережно сдул ее и, пробежав разобранные прежде строфы, дошел до новых:

Так было над Невою льдистой...

Здесь он остановился месяц назад. Он мог бы за этот месяц разобрать все, до последнего слова, мог сличить этот черновой незашифрованный текст с чистовиком из бауэровского архива, мог, наконец, просто снять с него фото. Ничего не сделано. Завтра или даже сегодня он отошлет его Неворожину, и единственная уцелевшая страница сожженной главы «Евгения Онегина» будет потеряна для него навсегда. Неворожин продаст ее. Годами она будет лежать среди бумаг какого-нибудь старого неудачника, унылого буквоеда. Быть может, Щепкин напечатает ее с комментариями, в которых припишет себе всю честь разгадки!

Трубачевский вздохнул и вынул из ящика стола лист почтовой бумаги. «При сем прилагается,— написал он быстро,— пушкинский автограф, которым я не желаю пользоваться, зная, что он принадлежит Вам».

Вместе с этой запиской он бережно вложил автограф в конверт и запечатал. Потом, вспомнив, что нельзя писать адрес на конверте, в котором лежит пушкинский автограф, он с такой же бережностью вскрыл конверт и положил автограф в другой, на котором адрес был уже надписан.

Голубоватый полупрозрачный уголок торчал из конверта, и на нем как раз то слово, которое он несколько раз пытался разобрать — и неудачно. Он посмотрел на него через кулак, как Бауэр, и, бормоча, прикинул два, три, четыре варианта. И вдруг прочел «тенистой». Вся строка, стало быть, читалась так:

Блестит над (неразборчиво) тенистой.

Первое слово, может быть, и не «блестит», но второе — «над» и если пропустить третье, за которое он еще не принимался, а четвертое принять за «тенистой», отлично риф-

мовавшееся с «льдистой», получалась строка, в которой было что-то пушкинское:

Блестит над (тра-та-та) тенистой.

Он просидел над этим «тра-та-та» до поздней ночи. Ложась спать, разорвал письмо, которое написал Неворожину, и, стараясь не думать о Репине, запер автограф в стол.

5

Как-то зимой у Варвары Николаевны зашел разговор о Бальзаке, и Неворожин полушутя объявил себя современным Феррагюсом.

— Я все могу,— сказал он,— мне ничего не стоит, например, уронить кирпич на голову какому-нибудь дураку, который посмел бы вмешаться в мои дела. У меня везде друзья, а все государства, в сущности говоря, как родные братья, похожи друг на друга.

— Неворожин, не гордитесь, это называется просто блатом,— сказала Варвара Николаевна.

— Ну что ж, и Феррагюс в наше время ничего бы не сделал без хорошего блата!

Это он, Трубачевский, был дураком, который вмешался в чужие дела, и кирпичи падали на его голову один за другим.

Он добился того, что карикатуру сняли и Климов получил за нее выговор, но это только привлекло общее внимание, и теперь весь факультет говорил о рукописях, украденных из Бауэрова архива.

Издательство, с которым еще весной был заключен договор на монтаж «Молодой Пушкин», вдруг предложило вернуть аванс, «ввиду того, что прежде утвержденный план монтажа вторично рассмотрен и отклонен редакционной коллегией».

Он уже знал, что не принято возвращать авансы, но был так взбешен, что продал за сто двадцать рублей свой единственный приличный костюм и отослал деньги.

Кажется, все силы обратились против него. В вечерней «Красной» появилась рецензия на его первую маленькую книгу, ту самую, с которой должна была начаться его слава. Что это была за рецензия! Он прочел, и у него руки опустились.

«Правду говорил гоголевский городничий: «Только где-

нибудь поставь какой-нибудь монумент, черт знает откудова и нанесут всякой дряни». Ни к одному монументу не подходит так близко это наблюдение, как к «нерукотворному памятнику» Пушкина. Несут и несут без конца. Давно ли талантливые сценаристы исправили «Капитанскую дочку», это неудавшееся и устарелое произведение, и произвели Гринева и Швабрина в любовники Екатерины. Только на днях какой-то Алексей Ленский выпустил пьесу под названием «Пушкин, или Загадка любви», в которой сам поэт представлен как бесшабашная натура и теплый малый, а няня Арина Родионовна как престарелая, но способная пушкинистка. Эта славная старуха (о которой и сейчас еще не окончен спор между двумя знаменитыми учеными: один из них утверждает, что она была сводней, а другой — что нет) так образованна, судя по пьесе, что вполне могла бы вести в наших вузах пушкинский семинарий. Но вот перед нами новый опус, на этот раз с претензией на наукообразность...»

Так начиналась эта рецензия.

«Критика должна терпеливо, с ассенизаторской небрезгливостью ставить рогатки вокруг этих зияющих помойных ям».

Так она кончалась.

Оцепенение нашло на Трубачевского. Ничего не делая, он по целым дням валялся на кровати, бледный, остроносый. Окурки кучами лежали у изголовья; он не прибирал комнату и отцу не давал прибирать. Иногда брался за книгу, но редко прочитывал больше одной страницы. Где-то происходили необыкновенные происшествия, ими были полны газеты: ку-клукс-клан похитил американского кандидата в президенты Беньямина Гитлоу; семнадцатилетний мастер Ботвинник вызвал на матч чемпиона Ленинграда Рабиновича; «Красин» вернулся в Ленинград; в будущем Магнитогорске ходили и вбивали колышки в землю еще никому не известные люди...

Он лежал и думал. Все скользило, но одна мысль была неподвижная: Неворожин.

Он думал о нем с отчаянием, с ненавистью. Ему приписывал все свои несчастья, вплоть до этой рецензии, написанной, без сомнения, по его заказу. Он припомнил каждое его слово — и стало казаться, что он понял его до конца. Это человек холодный, расчетливый и честолюбивый. Он способен на все. Он может не только украсть, но убить. Он живет в пустоте, без привязанностей, без любви. И эта

усталость, которой он хвастался,— притворство. Он убежит и на другой день наймется куда-нибудь в «Интеллидженс сервис»...

Он хотел запутать его, подчинить себе, и это был целый план, обдуманный и дальновидный. И Варвара Николаевна знала об этом. Они вместе решили запутать его, и прежде всего в денежных счетах; недаром Неворожин так настойчиво предлагал деньги и был так уверен, что деньги понадобятся ему — не сегодня, так завтра. Он верно рассчитал. Сорока рублей в месяц от Бауэра хватало только на то, чтобы курить «Сафо» и являться к ней в чистой рубашке. Уже проданы были платиновые запонки, которые подарил отец в день окончания школы. Он взял в долг у крестной сто рублей и до сих пор не отдал. Еще месяц-другой, и Неворожин уговорил бы его — не сам, может быть, а через Дмитрия или даже Варвару Николаевну. И тогда... Но хуже того, что случилось, он не мог придумать!

Он был поднят с кровати и вырван из этого равнодушно-злобного оцепенения молодым человеком с каштановой шевелюрой, тем самым, который всех называл по имени-отчеству и весной предложил Трубачевскому издать его первую книжку.

Картавя, молодой человек объявил, что слышал о ссоре Бауэра с Трубачевским и что Сергей Иваныч, по его мнению, «совегшенно не пгав». Все архивные документы, имеющие историческую ценность, нужно немедленно опубликовывать.

— Сеггей Иваныч должен быть пгизнателен вам за то, что вы взяли на себя эту неблагодагную задачу.

— Какую задачу? — пробормотал Трубачевский.

Молодой человек нетерпеливо тряхнул шевелюрой и снова заговорил. Он не берет на себя смелости судить об их отношениях; мнение его носит чисто принципиальный характер; но он не сомневается, что Трубачевский пожелает опубликовать находящиеся у него документы со своими примечаниями и в приличном историческом журнале.

— Какие документы?

Молодой человек снова тряхнул шевелюрой и на этот раз решился, видимо, прямо приступить к делу.

— Пгостите, но мне сказали, что у вас остались некотогые документы из собгания Сеггея Иваныча Бауэга. Я хотел пгедложить вам...

Он побледнел и на цыпочках пошел к двери. Крича, Трубачевский погнался за ним и, зажав между вешалкой и

выходной дверью, стал бить ногами. Если бы не старик, сзади налетевший на сына, молодой человек с каштановой шевелюрой был бы убит или серьезно ранен.

6

Лекция Бауэра, которую все так и называли «прощальной», была назначена на десятое ноября, но дважды откладывалась по каким-то причинам. Наконец она состоялась.

С утра студенты занимали места в маленькой одиннадцатой аудитории и ругали декана за то, что он не назначил лекцию в пятой. Часа в четыре стало известно, что лекция будет в актовом зале, и все бросились туда.

Не только исторический факультет явился на эту лекцию, были здесь и химики и математики,— и Трубачевский спрятался на одной из последних парт, среди незнакомых студентов. Но он чувствовал, что на него смотрят, о нем говорят.

Вся ночь была проведена в сомнениях — идти или нет. Сперва твердо решил не идти — из гордости. Но так хотелось увидеть Бауэра — хоть увидеть, если нельзя будет сказать ему несколько слов!

В шесть часов появились профессора, и новый ректор, худощавый, равнодушный блондин, занял место в первом ряду. До сих пор принято было слушать первую лекцию. На последнюю лекцию профессорская коллегия за сто с лишком лет существования университета явилась впервые. Волнение прошло по рядам. Студенты примолкли.

Он явился в половине седьмого, сгорбленный, в черном парадном сюртуке, висевшем на его худых плечах. Спокойно глядя перед собой, он поднялся по ступенькам на кафедру — самую высокую в университете кафедру актового зала, которая оказалась настолько низкой для него, что он должен был наклониться, чтобы поставить на нее локти.

Тишина наступила с той минуты, как он вошел в зал. Теперь она стала торжественной — даже дыхания восьми или девятисот человек не было слышно.

Он начал очень просто — с того, что эта лекция... «по истории, как и все в мире, имеет свою историю».

— Есть точка зрения, что выбор исторических явлений, то есть выбор их для исследования, сам по себе представляет историческое явление. Вот с этой точки зрения, веро-

ятно, нетрудно объяснить, почему я одними вопросами занимался, а другими... не занимался.

В актовом зале плохая акустика, но именно потому, что он говорил слабым голосом, почти каждое слово было слышно.

— Я занимался в течение моей жизни тремя периодами, или, если угодно, эпохами. Во-первых, историей Смутного времени... в молодости. Потом французской революцией, в частности влиянием ее на русское революционное движение. И наконец, Пушкиным, то есть его историческими произведениями. Как видите, выбор... разнообразный. Но я, знаете, не задумывался, историческое это явление, что я занимаюсь французской революцией, или не историческое. Теперь вот некоторым нашим ученым это прежде всего в голову приходит. Я этими вопросами интересовался... вот и занимался...

Он замолчал, и сразу стало видно, что ему трудно не то что говорить, но просто стоять на этой кафедре, в черном парадном костюме, в крахмальном воротничке, слишком широком для его похудевшей шеи.

— Теперь можно, кажется, сказать, что же из этого вышло. Ну вот, по истории декабристов оказались в моих руках очень интересные материалы... собственно, случайно, так что особенной заслуги нет. Но в свое время удалось, кажется, установить, что между французской революцией и декабристским движением была не только идейная, но как бы организационная связь. Через бабувистов, бежавших в Россию и ставших впоследствии опорной точкой движения на юге. Вот это... кажется, вышло.

Волчков, который был когда-то самым близким из его учеников, сидел в первом ряду, опустившийся, багровый, в грязной манишке, с черным бантиком на апоплексической шее. Рядом с ним — Опацкий, старый, усатый, с бессодержательно-корректным лицом, и карьерист Шведов. Ученики... Вот это не вышло!

С досадой отвел он глаза от этих старых, усталых и больных людей и взглянул туда, где на скамейках и окнах сидели и стояли, чуть слышно переговариваясь, студенты. Он не различал лиц, но в самом шепоте, доносившемся до него как будто ветром — то сильнее, то тише, было столько молодости, что он вдруг улыбнулся — одними глазами. С этой минуты он только к ним обращался.

— Не могу сказать, что этот мой взгляд не встретил возражений. Место декабристов в русской истории — это

вопрос немалый. Это один из тех вопросов, которые провели границу между двумя миропониманиями, и вот почему я упоминаю о нем сейчас — когда мне хотелось бы сказать о немногом и лишь о самом важном...

Щепкин не был назван, но все невольно посмотрели туда, где он сидел, рядом с Лавровским, втянув голову в плечи и быстро, презрительно поглядывая вокруг. Он не слушал Бауэра. Казалось, он пришел только потому, что неприлично было пренебречь этой лекцией, на которую профессорская коллегия явилась в полном составе. Точно так же он пришел бы на панихиду.

— Есть разные отношения к науке,— говорил Бауэр.— Есть отношение семейное, переходящее из поколения в поколение, годами живущее в академических квартирах на Васильевском острове, и есть другое отношение — жизненное, практическое, революционное. И вот я хочу предостеречь... Это для молодежи имеет особое значение. Не берите примера с ученых, перепутавших науку со своей карьерой, со своей семьей, со своей квартирой. Не смотрите на науку как на средство свести счеты — быть может, личные счеты.

Все снова посмотрели на Щепкина, и он на этот раз усмехнулся, беспокойно пожевал губами, посмотрел на двери. Но не решился уйти, хотя Бауэр говорил теперь, глядя прямо в его лицо строгими запавшими глазами.

— Помните о совести научной, о честности в науке, без которой никому не дано вздохнуть чистым воздухом вершин человеческой мысли.

Он говорил — и старый, всем надоевший спор получал в его словах новый смысл. Это был спор между двумя науками, старой и новой,— спор, в котором он должен был в последний раз доказать свою правоту. И, доказывая ее, Бауэр не опирался на мировое признание своих трудов,— он не процитировал себя ни разу. Медленно — как будто ему некуда было торопиться — он разобрал труды щепкинской школы и доказал, что их кажущаяся мертвая правильность никуда не ведет.

— Вот и Пушкин! Пушкин, которого нам так долго не хотели отдавать, которого как бы стремились опорочить перед народом, осмеливаясь упрекать его и доказывая тем самым, что они его никогда не любили, не понимали...

Кратко, но ничего не пропуская, он перебрал все, что сделано в науке за последние годы. Указал на огромные нетронутые области и поблагодарил аспирантов Академии

наук, работавших под его руководством, за то, что они занялись восемнадцатым веком.

— И еще одно. За долгие годы работы я собрал много книг, много редких рукописей, среди которых найдутся, пожалуй, и единственные экземпляры. Это все отдаю я вам. Университету или Публичной библиотеке, пускай уж там рассудят,— но вам, которые займут наше место в науке. Я вот все собирался... Может быть, и многое еще удалось бы сопоставить, понять... Но руки не дошли... Да, впрочем, и не могли дойти до всего, что там собрано за целую жизнь. Это уж вы... Это уж ваше дело!

Он говорил долго, и все яснее, увереннее звучал его голос, слабый румянец выступил на худых щеках. Он выпрямился, поднял голову, и все случайное, мелкое как бы отступило перед ним, оставило его, и сама смерть, о которой, казалось, невозможно было забыть, отступила перед твердой, умной силой его мысли, его науки.

Разбитый и подавленный, Трубачевский вернулся домой. Он открыл окно, и холодный осенний воздух вошел в комнату вместе с тихими голосами у ворот и равнодушно-тихим светом соседних окон. Он больше ни о чем не думал. Он чувствовал себя ничтожным со всеми своими обидами, неудачами и отчаянием. Слова Бауэра, так просто и с такой гордостью сказанные, еще звучали в его ушах. Какую жизнь нужно прожить, чтобы так ее закончить! Нет! Нет! Не было ни обид, ни огорчений. Этот человек — вот его единственная и страшная потеря.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Лекция в актовом зале была последним выступлением Бауэра. Он готовился к ней очень тщательно и почти всю записал, чего прежде никогда не делал. Но вот он прочитал ее — и пустота образовалась в тех ежедневных занятиях, которыми он жил последнее время.

— Простился, пора бы, собственно, и в дорогу,— на другой день после лекции хмуро сказал он Машеньке.

Но такое настроение продолжалось недолго. Академическое издательство, не зная, может быть, как тяжело он болен, прислало внушительное напоминание о необходимости сдать в срок «Историю пугачевского бунта», угрожая

в противном случае «затребовать с него все полученные им суммы».

Сумм он никаких не получал, но к напоминанию отнесся очень серьезно.

— Нужно кончить,— сказал он,— а то вот... уеду — и не разберут.

Как и прежде, он стал вставать очень рано и, случалось, сидел уже за письменным столом, прежде чем в доме просыпались.

Машенька пробовала его урезонить, но он только посмотрел на нее и тихонько махнул рукой.

Каждый день к нему являлся кто-нибудь — из Академии, от издательства, из Пушкинского дома, и он со всеми говорил, не торопясь и входя во все подробности дела. Он только спрашивал:

— А вы не врач? Ну, тогда ничего. А то они мне, знаете, просто до смерти надоели! Вот последнее время все под другим видом ходят. Инкогнито. Придет как человек, а смотришь — врач.

Для Александра Щепкина было сделано исключение. Он пришел на следующий день, после того как Машенька его об этом попросила, и с тех пор стал бывать очень часто.

Это был единственный врач, который не убеждал Сергея Ивановича лечиться и даже не говорил с ним о его болезни. Но о медицине говорил и ругал ее, и Сергей Иванович совершенно с ним соглашался.

Он рассказал ему о той буре, которую вызвала в медицинских кругах недавно вышедшая книга Федорова «Хирургия на распутье», и представил в лицах главных участников спора.

Каждый раз он являлся с новостью: то в Лейпциге удалось сохранить живыми жуков в замороженном состоянии при 253° ниже нуля, то Детердинг устраивал заговор против советской нефти. Он достал и принес Сергею Ивановичу пьесу современного автора «Пушкин, или Загадка любви», и после каждой сцены они сидели, схватившись за животы, задохнувшись от смеха. Особенным успехом пользовался третий акт, в котором Пушкин объяснялся в любви Анне Керн: «Сбросьте этот гнет... Забудем все предрассудки! К черту все это барахло! Мы уйдем отсюда далеко-далеко! Вас обрадуют эти просторы и многое заставят забыть... Бурные порывы всколыхнутся в вашей душе! Вот это жизнь!»

Он никогда не упоминал ни об отце, ни о той ссоре, из-за которой он шесть лет не являлся в дом, где его любили. Но Сергей Иванович знал откуда-то, что его болезнь не остановила старого Щепкина и не угомонила.

По-прежнему он выступал против него на всех заседаниях, по-прежнему ехидствовал и интриговал, а в последнее время предпринял работу, которая должна была «окончательно уничтожить» Бауэра в глазах всего ученого мира. С пером в руках он сызнова прочитал его труды, начиная с первых студенческих рефератов, и выписал все ошибки, разбив их предварительно на четыре главных разряда: стилистический, текстологический, идеологический и источниковедческий, что в общей сложности должно было составить книгу в двадцать печатных листов. Это будет ударом, от которого враг не встанет.

«Враг» еще вставал, но все реже. Болезнь его становилась безобразнее и страшнее. Постоянные рвоты мучили его, он почти ничего не ел, и никакие дозы морфия уже не могли успокоить болей.

Варвара Николаевна ему понравилась. В первый же день знакомства он объявил ей, что с гимназических лет любил красавиц. «А в том, что вы красавица,— с изысканной вежливостью добавил он,— даже самый великий скептик не мог бы усомниться».

Он знал, что с ее появлением все в доме переменилось. Давно уже не было порядка в семье, а теперь и самой семьи не стало. Давно уже в отношениях были опасные места, которые принято было обходить по молчаливому уговору. А теперь все стало сплошным опасным местом, и то здесь, то там вдруг пробивалась ссора.

Он знал, что Машенька не любит ее и вообще не согласна с тем, что она появилась в доме. Все ее раздражало — и то, что Варвара Николаевна посылает старуху по своим делам, и то, что она спит до обеда, и то, что приходит к Сергею Ивановичу нарядная, надушенная и по-дружески небрежно и быстро говорит с ним.

Но ему это нравилось.

— Вот Дмитрий... удачно женился,— сказал он Щепкину, представив ему Варвару Николаевну и глядя на нее через кулак, точно так же, как смотрел на свои рукописи.— Ведь он, между нами говоря, такой женщины не стоит.

Он знал, что она вышла замуж только для того, чтобы попасть в этот дом и распорядиться всем, что здесь было,

по своему усмотрению. Она перенесла в свою комнату старинные дорогие часы, тридцать лет простоявшие в столовой, и попросила Сергея Ивановича подарить ей превосходный рисунок Александра Брюллова, висевший до сих пор в архиве. Павловский буфет был уже отполирован, и это было не очень прилично хотя бы потому, что столяр-краснодеревщик целую неделю работал в квартире, куда даже врачей не пускали.

Но ко всему этому Бауэр был уже вполне равнодушен. Только Неворожина, с которым (он и это знал) она была дружна, он не пускал к себе и однажды откровенно сказал ей, что «у такой умницы, как она, должен быть, кажется, хороший вкус на людей, а тут... не видно».

Он получил письмо от Трубачевского и долго читал его, сгорбившись и разглаживая кулаком усы. Одна фраза была, кажется, взята из письма Пушкина, и вообще Трубачевский — хороший, очень способный, запутавшийся мальчик; вот он пишет теперь, что виноват только в том, что слишком долго медлил. Он пишет, другими словами, что рукописи украл не он, а кто-то другой. Кто же этот... другой? Теперь уж лучше было, пожалуй, не «входить в существо вопроса». Но он попросил, чтобы Неворожина к нему не пускали, а с Дмитрием почти перестал говорить.

Он ответил Трубачевскому: «Дорогой Николай Леонтьевич, вы не думайте, пожалуйста, что я вас обвиняю. Напротив, очень жаль, что слабость после припадка помешала мне остановить безобразную сцену. Вчера ко мне никого не пускали, а сегодня лучше, и я рад буду вас увидеть. Ваш Бауэр».

Это письмо, которое вернуло бы Трубачевскому все его потери, начиная с доброго имени, было отдано Анне Филипповне с твердым наказом сегодня же опустить в ящик. Но старуха забыла его в прихожей, и оно пролежало до тех пор, пока Дмитрий, у которого были свои причины интересоваться перепиской отца, не нашел его среди вновь полученных писем.

Он прочитал его, и Трубачевский не дождался ответа.

Последние дни Сергей Иванович много думал о Машеньке. Она волновалась, хлопотала и все делала сама, так что медицинская сестра рассердилась и наконец сказала, что не знает, зачем ее приглашали.

Теперь он уже разглядел ее как следует. Вот все говорят, что она — одно лицо с ним, а он видит теперь, что

нет. Она похожа на мать, и даже эти отросшие волосики на лбу, слишком короткие, чтобы их заколоть, были такие же, как и у матери,— пушистые и светлее остальных волос.

Собственно говоря, он хорошо знал Машеньку, когда ей было лет десять. Она была толстая, вспыльчивая и теряла голову, когда приходили подруги,— просто не узнать. Это серьезно заботило его и огорчало. Подруг было много. Они ставили пьесы, ругали мальчишек и, как все девочки, без конца занимались личными отношениями — ссорились и мирились. Он до сих пор помнил их по именам. И Машка была не последняя среди них. Как она отплясывала русскую на домашнем спектакле! Кокошник упал... А сколько хлопот было с этим кокошником! И он все знал, во все входил, без него ни одной затеи не начинали.

Потом он что-то пропустил. И вот она сидит перед ним, большая дочка, и кофточка заколота агатовой брошкой, которую он когда-то подарил покойной жене.

Что Машенька станет делать, когда он умрет? А ничего... Ведь это только кажется, что мы так уж нужны детям. Вот вчера она спросила Щепкина, знает ли он студента Разумихина, и покраснела.

— Маша, а кто это Разумихин? — спросил он, когда, сменив салфетку, которой был покрыт ночной столик, и вновь поставив на него все лекарства, она присела к отцу с книгой в руках.— Студент?

Она подумала, что он бредит.

— Какой Разумихин?

— А вот... Что заходил к тебе.

— Когда? Ах, Карташихин?

Это было сказано равнодушно, но не слишком ли равнодушно?

— Да, он студент.

— Медик?

— Да.

— Что же, он у Казика занимается?

— Да,— быстро сказала Машенька, зачем-то переставляя на другое место бутылочки и порошки и вновь принимаясь убирать ночной столик, который она только что привела в полный порядок.

— И что же он... способный?

Она ничего не ответила, и он понял, что сказал не вслух, а в уме, а подумал, что вслух,— это уже не первый раз с ним случалось. Он повторил.

— Да, кажется, способный,— небрежно пробормотала Машенька.

Бауэр посмотрел на нее из-под ладони. Она сидела, как дура, растерянная и ужасно смешная. Он вдруг рассмеялся — по-молодому, так что весь маленький красивый рот стал виден под усами.

— Ну, ну,— сказал он и, поманив Машеньку к себе, поцеловал ее и обнял за плечи.

Потом снова начались боли, но ночью — он понял, что уже ночь, потому что Машенька была в халате и, откинувшись, закрыв глаза, сидела в кресле,— он снова вернулся к этим мыслям. Он оставлял только ее, больше у него никого не было на белом свете. Сын не удался, и он давно уже к нему равнодушен. Но Маша, Маша!

До болезни Бауэра жизнь в доме была одной, теперь она стала другой. Эта новая жизнь — очень сложная, с напряженными отношениями между сестрой и братом, между отцом и сыном, с тайными расчетами одних, с растерянностью и горем других — была основана, в конце концов, на полной непредставимости того, что скоро непременно случится. Полотер должен был прийти в воскресенье, и дико, невозможно казалось отменить его, потому что Сергей Иванович, быть может, умрет в субботу. Медную дощечку украли со входных дверей. Сергей Иванович давным-давно заказал новую, мастер должен был принести ее на днях, и ни у кого силы не нашлось позвонить этому мастеру по телефону и сказать, что уже не нужно никакой дощечки.

Ни у кого, кроме Неворожина, который до сих пор не приходил (только имя его мелькало в разговорах), а теперь снова стал бывать почти каждый день — вежливый, хорошо одетый, с негромким голосом и прилично опущенными глазами.

Но вот и эта страшная жизнь остановилась.

2

Почти полгода минуло с тех пор, как Карташихин переходил этот узкий двор, сторонясь пекарей, поминутно таскавших с крыльца на крыльцо бельевые корзины с дымящимся хлебом.

Найдя знакомое окно, он, как бывало, бросил в него горсточкой песка. Никто не выглянул. Он подождал и бросил

еще раз. Никого — только маленький раскоряка дворник вышел и уставился на него с нерешительным видом.

— Дома нет. Ну что ж, поговорим с папой.

Папа был дома. В полосатом жилете, введенном в моду покойным президентом Эмилем Лубэ, он открыл дверь и с минуту глядел на Карташихина, уныло моргая.

— Ах, это вы? Это вы?

— Здравствуйте,— холодно сказал Карташихин, не любивший, когда его слишком горячо встречали.— Коля дома?

Старый Трубачевский что-то пробормотал, быстро, но бессвязно. «Грудь» его рубашки с большой костяной запонкой посредине так и ходила. Он волновался.

— Он болен. Очень болен.

— Лежит?

— Нет.

— Он дома?

Старик не успел ответить, как звонок прогудел и лампочка в прихожей зажглась и погасла. Он побежал и обернулся в дверях.

— Вы с ним повеселей, повеселей! Как будто ничего, все в порядке.

И, сделав веселым и спокойным свое бледное усатое лицо, старый музыкант побежал отворять двери.

Карташихин видел Трубачевского в последний раз тому назад месяца четыре. Он не нашел особенной перемены. Ему показалось, впрочем, что Трубачевский похудел и стал, кажется, немного выше ростом.

— Ты что это, никак, еще растешь? — спросил он, протягивая руку.

— Ваня!

Старик ушел, и они остались одни.

3

Уже петухи кричали (на Петроградской в некоторых дворах тогда еще кричали петухи), когда был кончен этот разговор. Все было рассказано — и с такой энергией, с таким отчаянием, что Карташихин давно забыл о своей роли беспристрастного судьи, которую заранее приготовил. С волнением слушал он Трубачевского и, хотя видел, что тот во многом сам виноват, не упрекнул ни одним словом. Он смутно чувствовал, что в этой истории Трубачевский был как бы «точкой приложения сил», всего значения

которых он не понял. Он вспомнил разговор между старым Щепкиным и Неворожиным, из которого впервые узнал, что пушкинские рукописи покупаются и продаются. Но, может быть, не только в рукописях была сущность дела!

Он заговорил об этом и замолчал. Теперь, когда Трубачевский, рассказывая, вдруг бледнел и должен был, взявшись за спинку стула, переводить дыхание, стоило ли говорить об этом? Он был так полон сложными болезненными подробностями своей обиды, что самые слова эти: «точка приложения сил» — показались бы ему лишь новым оскорблением. Одна мысль в особенности тяготила его: что Бауэр умрет, так и не узнав правды.

— Он умрет, думая, что я вор,— мрачно сказал он Карташихину,— и тогда мне останется только...

Он кончил жестом.

Усталая торжественность, испугавшая Карташихина, прозвучала в этом голосе. Он вдруг решился.

— Послушай, я давно собирался сказать тебе... Это было еще в прошлом году. Я тогда впервые зашел к Щепкину, то есть к Александру Николаевичу, конечно. И случайно оказался свидетелем одного разговора. Я ждал в столовой, а к старику в это время пришел Неворожин.

— Ты разве знаешь Неворожина?

Карташихин насупился.

— Да. Однажды ты сам показал мне его. В баре под Европейской.

— Да, да. И что же?

— Понятно, я не подслушивал, просто старик говорил очень громко. Он упомянул об Охотникове, а ты тогда бредил этой историей с перепутанными бумагами. Словом, можно было понять, что Неворожин продавал старику документы из бауэровского архива,— то есть я заключил, что из бауэровского, и, по-видимому, не ошибся.

— Какие документы? Скорее же! Что ты молчишь?

— Какие? Вот это, брат... Да, вспомнил! Письма Пущина. Не Пушкина, а Пущина. Это возможно?

— Еще бы!

— Постой. И потом... какой-то Кишиневский дневник.

Трубачевский вскочил.

— Не может быть!

— Да. И старик просил принести не весь дневник, а ту страницу, на которой... Да подожди же, черт! Ты меня задушишь.

— Ты знал об этом!

Трубачевский опустил голову. Губы его так и ходили.

— Позволь, но ведь и ты же знал, что Неворожин вор. Как будто в этом дело!

— Ты знал об этом,— в отчаянии повторял Трубачевский.— Как же ты посмел не сказать, не предупредить... Какое ты имел право? Меня опозорили, унизили. Да я... Если бы я не жалел отца, я двадцать раз убил бы себя, клянусь тебе всем святым, что только есть на свете! А ты... Эх ты! — вдруг сказал он с презрением.— А еще друг! Ведь я никогда не смел даже сравнить себя с тобой!

Карташихин растерялся.

— Чудак, да неужели я нарочно... Мы не встречались, это правда, и, может быть, мне первому нужно было...

Трубачевский вздохнул и закрыл глаза.

— Послушай, ты веришь мне?

— Верю.

— Так вот: если Сергей Иванович так и не узнает, кто это сделал, в тот день, когда он умрет, я повешусь.

— Ладно, он это узнает.

— Когда?

— Завтра.

— Нет, сейчас.

— Ты что, в уме? Шесть часов утра.

Трубачевский взялся за виски.

— Хорошо, я буду ждать.

— Нет уж! Пожалуйста, не жди. Ложись спать, на тебе лица нет.

— Я буду ждать. Ты один можешь доказать ему, что я не виноват. А если нет... Тогда ничего...

— Что ничего?

— Ничего не надо.

— Что ты за вздор несешь!

Они замолчали. Стало светать, темный переплет окна возник на полотне, когда Трубачевский погасил свет. Было очень тихо. Только старый кларнетист осторожно шаркал за дверью — должно быть, надеялся, что после этого разговора, которому он не осмеливался помешать, в мире наконец наступит порядок.

4

В последний раз Карташихин заходил к Машеньке в начале декабря. Потом он уехал в Новгород на районную комсомольскую конференцию, а вернувшись, тотчас по-

звонил и не застал ее дома. Но в тот день, когда он собрался наконец к Трубачевскому, выходя из ворот, столкнулся с ней лицом к лицу.

— В общем, очень плохо,— сказала Машенька.— Вчера Фогт меня вызвал и сказал, что теперь уже лучше ничего не делать... Все равно,— дрожащим голосом добавила она и отвернулась, прикусив губу.

В руках у нее была большая, страшная кислородная подушка, и Карташихину захотелось сказать ей что-нибудь в утешение, но он не нашелся и только, проводив ее до самых дверей, обеими руками крепко сжал ее руку.

«Я буду ждать»,— сказал Трубачевский, и Карташихин не сомневался, что он именно ждет, сидя у стола, не смыкая глаз, а темный переплет окна на потолке становится все светлее. Он ждет, старый музыкант, не решаясь постучать, стоит у двери и, горестно повесив голову, прислушивается к его дыханию.

Карташихин взял с собой книгу, очень занятную, но читать, ежеминутно поглядывая на часы, было трудно и, сунув книгу под мышку, он принялся шагать вокруг маленького дворового сквера...

Нечего было надеяться, что его пустят к Бауэру без Машеньки, она должна была подготовить этот разговор. «Но что я скажу ему? — подумал Карташихин.— Нельзя же свалиться как снег на голову и заявить, что Трубачевский, мол, не виноват, потому что архив обокрал Неворожин? Нужно начать...»

Но с чего начать — вот именно это и было неясно.

«Нужно прежде всего рассказать эту историю Машеньке. Подробно, не торопясь, но только о Неворожине, потому что даже намекнуть, что Дмитрий...» Карташихин поджал губы. Нет, конечно, о Дмитрии ни слова.

Но где же она? Он посмотрел на часы. Четверть одиннадцатого. Наверно, скоро придет.

Половина одиннадцатого. Кто-то спускался по лестнице. Карташихин замер. Нет, не она.

Одиннадцать. Еще три раза обойти вокруг сквера. А теперь еще три. Вот и все. Он решительно пересек двор, вышел на Пушкарскую и вернулся обратно.

Он не мог уйти: Трубачевский, согнувшийся, с усталым не по возрасту, жалким лицом ждал его, вздрагивая от каждого звонка, прислушиваясь к каждому скрипу двери. Он видел его так же ясно, как этих людей, прилично-печальных и самодовольных, которые, разговаривая не-

громкими, фальшивыми голосами, только что вышли на его глазах из подъезда,— и не мог, не в силах был уйти!

Не зная, на какую случайность надеяться, он заглянул на лестницу и, останавливаясь на каждой ступеньке, добрался до третьего этажа.

Дверь в квартиру Бауэра была открыта, какие-то женщины, повязанные по-деревенски, стояли в передней. Рыхлый старик в треухе, из-под которого были видны курчавые седые височки, прошел мимо него в переднюю и, спросив только: «Где?» — стал снимать пальто, бормоча и отдуваясь.

Это был старый Щепкин. Но Карташихин с трудом узнал его — так он похудел, так переменился. Он согнулся, у него стало длинное, дряблое лицо, и он все время щурился с растерянным выражением. Машинально оправив перед зеркалом лоснящийся черный пиджак, он исчез за внутренними дверями.

Потом пришел еще кто-то, тоже чужой и тоже с таким видом, как будто дом был пуст и можно входить и выходить сколько угодно.

Все было ясно. Все было так ясно, что Карташихин вдруг ужаснулся тому, что женщины, пришедшие, по-видимому, обмыть покойника, говорили не стесняясь, громко. Но он еще ждал чего-то, еще надеялся, еще не входил, хотя теперь никто, кажется, не мешал ему увидеть Машеньку, а он твердо знал, что должен увидеть ее немедленно, сию же минуту.

Наконец он вошел на цыпочках. Женщины не обратили на него никакого внимания. Он заглянул в столовую — полутемную, неубранную и бедную, так ему показалось. Прикрытый уголком скатерти, на столе лежал разобранный шприц и подле него тарелочка с обгоревшими клочками ваты.

Это был беспорядок, в котором чувствовались усилия по возможности отдалить смерть, и все было полно еще не остывшими следами этих усилий.

Послышались голоса, и старый Щепкин вышел из кабинета. Александр Щепкин вышел вслед за ним и что-то сердито, коротко сказал ему сквозь зубы. Но старик не слушал его. Хрипло дыша, он сел на диван и закрыл лицо руками.

— Как же так,— пробормотал он.— Боже мой, как же так. Я написал книгу...

— Иди домой, папа.

Как будто прислушиваясь, старый Щепкин поднял голову, и стал виден большой висячий кадык на похудевшей шее.

— Что же я делал десять лет? — громко спросил он.— Я хотел доказать...

— Домой, папа! — строго, как маленькому, приказал Александр Николаевич.

— Постой... Я хотел доказать... Не помню. Как же так,— глотая слезы, сказал он.— Значит, все это ни к чему? Теперь конец? И он прав, он! А я все ошибки его сосчитал, и фактические. И не прочитает никто. И он не прочитает никогда, никогда...

Уронив платок, он затрясся от рыданий, не стыдясь их и не вытирая слез, катившихся по небритым, ослабевшим щекам.

По рассказам Машеньки Карташихин знал расположение комнат. Но он все равно нашел бы ее, если бы не знал или если бы в квартире Бауэра было вдесятеро больше комнат. Она лежала на кровати одетая, лицом к стене, обхватив голову одной рукой и согнув ноги. Лампа, не погашенная с ночи, стояла на ночном столике подле кровати. Одеяло сползло на пол. Карташихин поднял одеяло и тихонько накрыл Машеньку. Она обернулась.

— Ваня, у меня страшно болит голова,— сказала она, нисколько не удивляясь тому, что он здесь, как будто он только что вышел из комнаты и теперь вернулся.— Виски ломит. Я что-то приняла, и не помогает.— Она вдруг заплакала, бесшумно и горько.

— Машенька, родная моя, дорогая, не нужно,— не зная, что делать и как помочь, и чувствуя, что он умирает от жалости и нежности, сказал Карташихин.

Она посмотрела на него и прижалась, обхватив за плечи. Он тоже обнял ее и стал целовать голову, мокрое лицо, руки.

5

Все три страшных дня, когда Бауэр лежал мертвый — сперва у себя, потом в Академии наук,— Карташихин не отходил от Машеньки.

Вместе с ней он ходил по делам, тяжелым и странным, в загс, где под плакатами, изображавшими кормление ребенка, сидели пары, где Машеньке нужно было платить

деньги и называть своего отца покойным. Он писал бумаги, давал объявления, заказывал цветы.

С легкостью, его самого удивлявшей, он переносил недоброжелательные взгляды Дмитрия Бауэра, язвительные намеки Неворожина, который явился в день смерти Сергея Ивановича и, неопределенно щурясь, с холодной рассеянностью бродил по квартире.

Он не забыл о Трубачевском. Забежав на минуту домой, позвонил ему по телефону.

— Послушай, Бауэр все знал,— объявил он хладнокровно и, подождав, пока кончится град взволнованных вопросов, прибавил, не отвечая ни на один: — Поэтому не вешайся, если можешь, еще дня три. Раньше я не смогу тебя увидеть.

Он не имел никакого понятия о том, знал Бауэр что-нибудь или нет. Но тут нужно было врать — и он сделал это, не подозревая, что сказал Трубачевскому правду.

Гроб, покрытый цветами, был поставлен наклонно — как будто для того, чтобы покойнику было удобнее встать. Портрет Бауэра висел над ним. Серые молодые глаза насмешливо глядели из-под высокого лысого лба на торжественную церемонию прощания. Он прислушивался с недоверием. И как далеко, как непохоже было это сильное, умное лицо на то желтовато-спокойное, которое лишь с трудом можно было найти между цветами.

Машенька стояла у гроба, низко опустив голову. Лицо ее было неподвижно. Казалось, она ничего не видела и не слышала.

Карташихин смотрел на нее не отрываясь. Она была гладко причесапа, но легкие волосы не лежали, и светлые воздушные пряди заходили на виски до самых бровей.

Вокруг гроба было много народу: Неворожин, весь в черном, стоял в погах, и Дмитрий, растеряппый, с распухшими глазами (он пил без просыпу третью неделю), и Варвара Николаевна, розовая, в чудесном шелковом платье, и страшный, почерневший, раздутый Щепкин, и Александр Щепкин, и старуха,— но Карташихин видел только Машеньку. Это было очень странно, и он решил, что нужно сейчас же вернуть свою всегдашнюю холодность. Но холодность не возвращалась, и он, больше уже не стесняясь самого себя, стал смотреть на нее с нежностью и любовью. Ему было немного стыдно, что он так счастлив здесь, в этом зале, где лежит покойник, где уже два часа говорят о нем и то тут, то там раздаются и умолкают рыдания...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Неворожин открыл глаза. День начинался. Мысленно он пробежал его до конца. Продажа бумаг, разговор с Дмитрием, с антикварами, деньги. Стоило для этого... Уж лучше, пожалуй... Но деньги!

Он плохо спал. Простыня сползла, и кожаный глянцевитый диван всю ночь холодил то руки, то ноги... Холодно и душно. Слишком много книг. И пыль тлеет на радиаторах.

Он решил ограничиться тремя упражнениями — сегодня не до гимнастики. Но, лежа на ковре и по очереди поднимая ноги, он вдруг вспомнил свой сон и, забывшись, невольно проделал до конца все восемь движений. Ему приснилось, что он съел голову — мужскую, с усами.

«Пожалуй, Фрейд сказал бы, что это зависть»,— подумал он, усмехнувшись.

С вечера он заметил под диваном ночные туфли; теперь он достал и серьезно осмотрел их. Задники немного помяты. Он примерил. Странно, Сергей Иванович был головою выше, а туфли впору. Маленькие ноги!

Нужно было, однако, приниматься за дело. В десять придет Семушка — Кладбище Книг, в одиннадцать — Розов. Что предложить и сколько запросить?

Он прошел в архив, зажег настольную лампу, задернул шторы. С карандашом в руках он углубился в инвентарий, ставя на полях чуть заметные аккуратные цифры. Незнакомых рукописей было больше, чем он думал, то и дело приходилось лазать в стенной шкаф, чтобы взглянуть на какое-нибудь Четвероевангелие с тафтяной прокладкой или новгородский Апостол XIV века.

Он работал часа полтора в полной тишине, прерываемой лишь шарканьем туфель по коридору. Оно повторялось. Должно быть, Анна Филипповна носила что-то из кухни в столовую и обратно. У двери в архив шаги замедлялись. Впервые Неворожин заметил, как отчетливо каждый звук отдается в архиве. Ему показалось даже, что он слышит за дверью дыхание.

— Это вы, Анна Филипповна?

Старуха вошла.

— Хотите подмести?

Твердо ступая, старуха подошла к нему и протянула

грязный, свернутый пополам лист грубой бумаги. Неворожин взглянул: это была книжка социального страхования.

— Что вам, Анна Филипповна?

Дрожащими руками старуха завязала и снова развязала концы головного платка. Потом надвинула платок на лоб и снова завязала. Она волновалась.

— Я служила, а больше не хочу,— сказала она наконец,— подайте расчет.

— Анна Филипповна, помилуйте, да при чем же тут я?

— Кто хозяин, от того и расчет,— твердо сказала старуха и заплакала.— Двадцать лет прожила,— добавила она и вышла, махнув рукой и вытирая слезы концами платка.

Неворожин поджал губы, глядя ей вслед. Это было неприятно. А впрочем...

Еще вчера он заметил, что многих бумаг не хватает. Либо указания были неточные, либо Сергей Иванович незадолго до смерти переменил расположение архива. Автограф «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем» стоял первым в списке пушкинского бюро. Неворожин не нашел его. Он стоил не меньше шестисот рублей. В скобках стояло: «Неизвестен». Среди бастильских бумаг он не нашел трех lettres de cachet — самых ценных.

Обескураженный, он погасил свет и, зайдя за портьеру, остановился перед стеклянной дверью балкона. В лучшем случае Бауэр спрятал бумаги.

Высокая, сгорбленная фигура повесив голову двигалась вдоль цементно-серой ограды катка, и Неворожин с минуту следил за ней, не узнавая. И вдруг узнал. Это Семушка — Кладбище Книг шел к нему, болтаясь на ходу, подрагивая и щурясь. Черт возьми, да ведь еще ничего не готово!

Он живо запер в стол бумаги, оставив только одно письмо — Пушкина к Ушаковой, чтобы начать разговор.

— Дмитрий,— негромко сказал он, пройдя коридор и остановясь подле последней двери.

— Да? — тоже негромко ответила Варвара Николаевна.

— Варенька, мне нужен Дмитрий.

— Он спит.

— Тогда разбудите его,— нетерпеливо сказал Неворожин.

На парадном позвонили, он не расслышал ответа.

— Варенька, пожалуйста. И пусть сразу же постучит ко мне, когда встанет.

Он поспешил в прихожую. Кладбище Книг уже стоял там, подняв голову, разматывая грязный шарф и ни словом не отвечая Анне Филипповне, которая открыла ему с мокрой тряпкой в руках и как будто уже собиралась угостить ею непрошеного гостя.

— Анна Филипповна, это ко мне,— торопливо сказал Неворожин.

2

Семушка — Кладбище Книг стал известен в 1918 году. Всюду, где продавались, покупались или просто перевозились книги, можно было встретить этого человека. Он проводил целые ночи на улице, покупая или просто воруя книги у подводчиков, вывозивших в ту пору брошенное имущество из барских особняков. Он поступал на службу в учреждения, занимавшие дома, известные богатыми библиотеками, и служил до тех пор, пока в библиотеке оставалась хоть одна редкая книга. И не исчез, как исчезали другие чудаки этих лет. Это был собиратель умный, расчетливый, необычайно упорный.

Книги, попадавшие в его руки, исчезали бесследно. Ни один человек больше никогда и нигде их не видел. Никто не знал, где он держит свои богатства; он снимал маленькую комнату на Петроградской у немого сапожника, единственного человека, который мог бы, кажется, много рассказать о нем, если бы умел говорить.

«Ну, это вы уж никогда не увидите,— говорили в антиквариатах на Литейном,— это купил Кладбище Книг».

У него не было ни жены, ни любовницы, ни родителей, ни детей. И одна страсть — редкие рукописи, гравюры и книги. Горбясь и закидывая голову, он, как нищий, бродил по городу с набитым книгами заплечным мешком, который таскал в руке. Он был спокоен, рассеян и печален. Впрочем, однажды его видели в сильной истерике — когда в подвалах Мраморного дворца была найдена замерзшая библиотека. Радиаторы лопнули от холода, и вода залила книги, между которыми было не меньше пятнадцати инкунабул. Замерзшие страницы ломались и, едва оттаяв, превращались в кашу. От волнения он уронил одну из них на пол. Она раскололась. Он закричал, заплакал...

Он был очень богат, если только не уничтожал своих книг,— о нем распространялись и такие слухи,— и десять

лет ходил в одном пальто, которое в холода затягивал тонким кожаным ремешком. Он носил разбитое пенсне: от левого стекла отлетела половинка.

Его библиотека стоила не меньше пятисот тысяч, если в ней действительно была та коллекция эльзевиров, которую видел Данилевский, упомянувший о ней в своей книге.

3

Они говорили уже с полчаса — о болезнях. Кладбище Книг жаловался на желудок, Неворожин советовал гимнастику и холодные обтирания.

— Нервный живот,— вздохнув, повторил Кладбище Книг,— доктора посылают в Ессентуки. Но нечего и думать. Одна дорога двести рублей. Откуда я возьму такие деньги?

Архив давно уже был осмотрен — косыми взглядами, впрочем, весьма откровенно. И бумаги, лежавшие на письменном столе, были ему уже известны. Как бы в рассеянности он перебрал их, не прерывая разговора. Письмо Пушкина к Ушаковой было среди них, со стихами, с ироническим описанием обеда, на котором он шокировал всех, щелкая зубами орехи, письмо неизвестное, за которое любой антиквар отдал бы и жену и детей. Кладбище Книг пробежал письмо и положил назад — бережно, но равнодушно.

— Да, очень плохо,— вздохнув, повторил он.— И с каждым годом, с каждым годом! Все советуют к гомеопату. Может быть!

— Семен Михайлович,— быстро и с дружески откровенным видом сказал Неворожин,— мы с вами старые друзья, не правда ли?

— Еще бы.

— Так вот, после смерти Сергея Ивановича Бауэра остался архив. Его семья поручила мне отобрать наиболее ценные документы и реализовать их. Я хотел просить вас помочь мне в этом деле.

— Ага. Ну что же! Почему же!

Они помолчали.

«Трудно, трудно»,— глядя на костлявые пальцы, которыми Кладбище Книг рассеянно водил по губам, подумал Неворожин.

— Послушайте,— решительно сказал он.— Позвольте мне быть с вами вполне откровенным. У вас нет денег — очень жаль! Но у вас есть связи!

— Нет. Откуда?

— Ну, да ладно,— смеясь, возразил Неворожин.— Если нет, пожалуй, вы спросили бы меня, что за связи. Словом...— он понизил голос,— архив продается. Часть его, впрочем, довольно значительную, можно купить за советские деньги. Но некоторые бумаги...

Вялой рукой Кладбище Книг снял пенсне и посмотрел на Неворожина, как все близорукие, неопределенно рассеивающимся взглядом.

— Русские бумаги?

— Н-нет!

— А это...

Кладбище Книг снова взял со стола пушкинское письмо.

— О, это пустяки,— небрежно возразил Неворожин.

Еще не договорив, он уже почувствовал, что сделал ошибку. Кладбище Книг усмехнулся. Торговля была с запросом.

— Борис!

— Простите, одну минуту,— сказал Неворожин и вышел.

— Послушай,— злобно сказал он Дмитрию, всклокоченному и бледному, стоявшему подле двери в спадающих штанах, в мохнатом полотенце, накинутом на толстые голые плечи и грудь,— во-первых, ты мог бы принять участие в этом разговоре. Во-вторых, я ничего не нашел.

— Как? Где?

— Самых ценных бумаг нет. Может быть, ты случайно знаешь, куда он мог их спрятать?

— Я посмотрю...— растерянно сказал Дмитрий.

— А пока вот что... Оденься и выйди.

Он вернулся. Кладбище Книг вяло посмотрел на него и встал.

— Сколько вы за него просите?

— За что?

— За это письмо Пушкина.

— Господи, далось вам это письмо!

— Я больше ничего не вижу,— сказал Кладбище Книг.

Неворожин вынул ключи и молча открыл стенной шкаф.

Он, впрочем, рассчитывал, что восемь полок с древнерусскими рукописями произведут на этого человека бо́льшее впечатление. Болтаясь и подрагивая, Кладбище Книг подошел к шкафу, поправил пенсне и грязной рукой взял с полки один из томов. Это был «Вопль истины против соблазна мира», анонимное масонское сочинение, очень редкое. Кладбище Книг перелистал несколько страниц и брезгливо сунул книгу обратно. Он, кажется, хотел что-то сказать, но раздумал.

Неворожин смотрел на него, проницательно щурясь. Но по лицу антиквара, осторожному и равнодушному, ничего нельзя было угадать.

Впрочем, он несколько оживился. Поминутно сдувая с пальцев пыль, он перебирал рукописи. Неворожин подсунул ему раскольничий апокалипсис с картинками, направленными против Петра, и эта рукопись заняла его более прочих.

— Да, это товар,— нехотя пробормотал он.

«Но и это не то, что мне нужно»,— мысленно докончил за него Неворожин.

— Семен Михайлович, а ведь вы мне так и не ответили,— весело сказал он.— Я говорил, что некоторые бумаги не будут продаваться на советские деньги. Дело в том, что...

Кладбище Книг молчал. Он даже, кажется, и не слышал, во всяком случае, не понимал, о чем говорит Неворожин.

В дверь постучали.

Дмитрий вбежал в комнату. Обеими руками он прижимал к груди кипу бумаг, конверты и свертки торчали из карманов его пижамы.

— Нашел,— быстро и негромко сказал он Неворожину и, споткнувшись, вдруг вывалил всю кипу на стол.

Один лист слетел, когда он споткнулся, и тяжело упал к ногам Кладбища Книг. Кладбище Книг наклонился быстрее, чем можно было ожидать от него, и поднял лист.

— Познакомьтесь, это вот...— начал быстро Неворожин... и остановился.

Нервно глотая, Кладбище Книг смотрел на бумагу. Лицо его вдруг надулось, нос вспотел. Неворожин шагнул, заглянул: это было одно из пропавших lettres de cachet — приказ о заключении в Бастилию Франсуа-Мари-Аруэ Вольтера.

— Бауэр,— протягивая руку, отчетливо сказал Дмитрий.

Кладбище Книг очнулся. Дрожащими пальцами, но уже с равнодушным видом он положил бумагу на стол и чуть слышно назвал себя.

4

Дело было решено в полчаса. Кладбище Книг ушел, оставив за собой все документы из архива Людовика XVI, письма Наполеона, приказ об аресте Вольтера, автографы Мирабо. Он не сказал Неворожину, почему его занимали именно эти бумаги. Впрочем, это и так было ясно: на них был международный спрос, и притом постоянный, не боящийся, так казалось в 1929 году, никаких экономических кризисов. Разговор о валюте не возобновлялся. Во-первых, здесь был Дмитрий, которого Неворожин вовсе не собирался (и Кладбище Книг понял это по первому взгляду) так далеко вводить в коммерческую сторону дела. Во-вторых, оба — и продавец и покупатель — понимали, что письма Наполеона или Робеспьера сами по себе были устойчивой валютой.

Право первого выбора, по крайней мере среди бастильских бумаг, Неворожин обещал оставить за ним. Деньги — в течение недели.

Вскоре должен был явиться Розов — старый антиквар, известный собиратель древнерусских книг, потом Печесский и еще один человек, настоящую фамилию которого Неворожин не знал или забыл через минуту после того, как ему ее назвали.

Дмитрий завтракал в столовой, он присел к нему, но не стал есть: он ничего не ел по утрам.

— Ты вовремя явился с бумагами,— сказал он.— Я просто не знал, что и делать с этим... Соломоном. Но тяжело, тяжело! Если так пойдет и дальше, все брошу, и продавай сам.

— Ох, нет, ради бога!

— Честное слово, брошу,— нарочно раздражаясь, повторил Неворожин.— В самом деле, какого черта ты гуляешь, пьешь, швыряешь деньгами...

— Ну вот, сперва Варенька, а теперь ты,— морщась, сказал Дмитрий.— Я же говорю тебе, что деньги вытащили, пятьсот рублей, а полтораста взял до послезавтра Блажин.

— Блажин?
— Ну да.
— А вчера ты сказал, что Шиляев.

Неворожин сейчас же пожалел, что сказал это, Дмитрий побледнел и стал косить. Судорога пробежала по губам.

— Ну, черт с тобой, не злись,— поспешно сказал Неворожин.— В конце концов, деньги твои, я к тебе в дядьки не нанимался. Расскажи, по крайней мере, с кем ты пьешь? И где? Ведь тебя могут где-нибудь запросто пристукнуть. Дорого не возьмут.

— Не пристукнут.

— Вы что же, играете? Хоть бы меня пригласил.

— Тебя? Ну нет,— криво улыбаясь, возразил Дмитрий,— ты ведь занят.

— Твоими делами.

— Вот именно,— с ударением сказал Дмитрий.

Неворожин кротко посмотрел на него. «Черт, я сам виноват»,— подумал он с досадой.

— Ты, кажется, этим недоволен?

Дмитрий рассмеялся.

— Ну что ты,— хрипя и откашливаясь, возразил он.— Напротив. Благодарен.

— Нет, ты недоволен. Ты сердишься, отмалчиваешься, даже избегаешь меня последнее время. В конце концов, что за черт! Я трачу целые дни на возню с твоими делами, ушел со службы, чтобы помочь тебе, потому что вижу, что без меня тебя обобрали бы... и в благодарность получаю только косые взгляды, иронию, какие-то намеки. Знаешь что, возьмись ты сам за свои дела и оставь меня в покое. Вот вчера, например, явились какие-то ученые мужи из университета, которые потребовали всю библиотеку и весь архив Сергея Ивановича — ни много ни мало! Жаль, что я не отослал их к тебе.

Дмитрий взялся за голову, закрыл глаза.

— Нет, ради бога,— тоскливо сказал он,— ты ошибаешься, я и не думаю на тебя сердиться. Я просто устал, и все мне кажется в черном свете.

Он встал.

— Подожди, у меня к тебе дело. Нужно, чтобы ты мне доверенность подписал.

— Какую доверенность?

— На ведение твоих дел по наследству.

— А зачем?

— А затем, что у меня ее могут спросить в любую минуту.

Он вынул доверенность. Дмитрий начал читать — и пропустил половину.

— А ты меня не ограбишь? — спросил он, уже начав подписывать и вдруг остановив руку.

— Постараюсь,— смеясь, возразил Неворожин.

Дмитрий подписал.

— Ограбишь и выгонишь,— почти спокойно сказал он.— А у меня жена...

— И дети...

— Нет, детей нет, но сестра.

— У сестры останется ее половина.

— Ты думаешь? Кстати, я тебе доверенность подписал. Но ведь раздела-то еще не было? Или был?

— Хорош наследник,— холодно смеясь, сказал Неворожин.— Нет, раздела не было.

Дмитрий смутился.

— Понимаешь, я думал, что пока я...

— Пока ты пьянствовал? Нет, нет!

Дмитрий устало махнул рукой.

— Ну ладно,— пробормотал он и вышел.

5

В двенадцать часов пришел Розов, почтенный купец, наследственный антиквар (его отец был известным коллекционером, а дед — «холодным букинистом», разбогатевшим на лубочных изданиях), большой, с большим гладким лицом, седой и пугливый. Он долго расспрашивал Неворожина о покойном Сергее Ивановиче, о его делах, о наследстве и в особенности — не оставил ли он своих бумаг какому-нибудь государственному учреждению. Неворожин успокоил его. Согласно завещанию все имущество покойного переходит к детям. Доверенность Дмитрия пригодилась.

Надев завязанные веревочкой стальные очки, доставшиеся ему, без сомнения, от деда, ходившего в этих очках по домам с мешком за плечами, Розов принялся неторопливо рассматривать старинную, XIV века, псалтырь, которую вытащил из стенного шкафа Неворожин.

Одна страница умилила его,— она начиналась заставкой, изображавшей рыбную ловлю. Двое монахов, подот-

кнув рясы, тащили сеть. Разговор их приводился тут же: «Потяни, курвин сын».— «Сам еси таков».

— Хорррошо,— размякнув, сказал Розов.

Он бегло осмотрел древнерусские рукописи и со всей откровенностью объявил, что среди частных собраний такое видит впервые.

— Пожалуй, можно только с Кучинским сравнить,— сказал он,— да и то здесь, пожалуй, редкостей больше.

Неворожин слушал его с нетерпением.

— Так,— быстро сказал он, воспользовавшись тем, что Розов, описывая какой-то редчайший листок из Пурпурового евангелия, умолк, не найдя слов для своего восхищения.— Иван Филиппыч, так как же? Берете?

— Что беру?

— Эти рукописи.

— Как? Все?

— Все.

— Все? — не веря ушам, переспросил Розов.

Неворожин пожал плечами.

— А... сколько?

— Девяносто тысяч.

Розов замахал руками.

— Тогда извините, что затруднил вас,— быстро сказал Неворожин.

— Да нет, позвольте. Так дела не делаются. Как это девяносто тысяч? Это кто же оценил?

— Бауэр. И не один, судя по документам, приложенным к его завещанию.

— Каким документам?

— Иван Филиппыч,— не отвечая, сказал Неворожин,— мне поручено продать этот архив в течение недели. Если бы у меня было две недели, я запросил бы с вас вдвое. Оценка Сергея Ивановича относится к тысяча девятьсот двадцать пятому году. Теперь эти рукописи стоят не девяносто, а двести тысяч.

Склонив голову набок, Розов внимательно смотрел на него.

— Список у вас есть? — немного охрипнув, спросил он.

— Да, пожалуйста.

Останавливаясь на каждой цифре, Розов внимательно просмотрел список.

Некоторые несообразности его удивили. Покойный Бауэр мог бы лучше знать антикварный рынок. Рукописи редчайшие, вроде «Пандектов Никона Черногорца»,

стоили дешевле обыкновенных сборников XVIII века. Но старый антиквар не подал виду, с одинаковым выражением ужаса и недоверия он поднимал голову каждый раз, когда его карандаш останавливался на более или менее крупной сумме. Неворожин следил за ним, вежливо улыбаясь.

— Так,— сказал, прочитав список, Розов.— Ну что же, надо подумать, посоветоваться.

— Пожалуйста. Только вот что...— Неворожин дружески взял его за локоть.— Иван Филиппыч, если можно... Вы понимаете, это не очень удобно... если станет известно, что семья покойного Сергея Ивановича так торопится с продажей архива. Разумеется, здесь нет ничего предосудительного,— поспешил он прибавить, заметив, что Розов снова начинает пугаться,— или незаконного, но...

6

Личные бумаги и переписку Сергея Ивановича Машенька взяла к себе, но несколько писем осталось, и Неворожин невольно зачитался ими, когда, проводив Розова, он вернулся в архив. Одно было от женщины к женщине, из Берна, подписанное инициалами. «Милый друг, не сочти меня за рехнувшуюся, если я обращусь к тебе с несколько странной просьбой: не можешь ли ты выписать в Гейдельберг В. С. Попова. Сергей Иванович уже собрался, кажется, увозить его силой. Очень возможно, что он сам расскажет тебе все перипетии последних дней, тогда ты будешь вознаграждена за свой благородный поступок. Я устала от всех происшествий и волнений, жажду отдыха и спокойствия, хочу заниматься, но пока... Es war ein Traum».

Неворожин прочитал и задумался. Бернские студентки в круглых шапочках представлялись ему, споры. О чем? Об Ибсене? Нет, это гораздо раньше. О Дрейфусе. Бауэр в тридцать лет. «Es war ein Traum».

Странное дело! Он с полным спокойствием разбирал, продавал и крал его бумаги. Но вот это письмо, в котором не было ничего, кроме тонкого женского почерка, попалось ему, и он почувствовал неуверенность, даже робость.

Две недели назад он был в кино, шел «Скрипач из Флоренции» с Елизаветой Бергнер. Сеанс начался с хроники, очень жалкой. Вдруг страшные мужики появились на экране. Это был процесс хлыстов где-то в Поволжье.

В белых рясах, с черными крестами на груди и спине, они шли по уездной улице, бородатые, дикие и как будто чем-то довольные. Фотографы бежали за ними, они отстранялись, закрывая лица.

Опустив глаза, они сидели в суде. Но вот один поднял глаза — и сколько загнанного бешенства, беспощадной злобы, сколько крови было в этом взгляде!

Неворожин подошел к окну. Утро давно прошло, но снег был еще утренний, синий. На катке, по ту сторону улицы, поливали лед, и вода, замерзая, на ходу мутнела. Мальчишка прыгал на одном коньке.

«Снимают анфас, в три четверти и в профиль. И не закроешься. Нельзя».

Какие-то лекарства — дигален, камфара в коробочках, набитых ватой,— стояли на подоконнике. Он машинально взял одну ампулу и посмотрел на свет.

«Начинаем нервничать».

Он усмехнулся и вышел. Анна Филипповна прибирала в столовой, он спросил, дома ли Дмитрий Сергеевич.

— Нет.

— А Варвара Николаевна?

Варвара Николаевна еще спала.

Легкой походкой он прошел коридор и, не стучась, открыл дверь бесшумно и быстро. Шторы были опущены. Раскрытая книга лежала на столике, в комнате пахло духами. Варвара Николаевна спала сидя, откинувшись на высокие подушки и спокойно опустив на одеяло голые руки. Должно быть, она совсем собралась встать и ночную рубашку уже сняла и бросила на спинку кровати, а потом снова уснула. У нее были темные закрытые веки, и губы во сне казались полнее.

Неворожин с минуту стоял подле нее, чуть слышно посвистывая и покачиваясь на носках. Она вдруг открыла глаза.

— Митя все знает и мучится,— сказала она, как будто разговор был прерван на полуслове.— Если бы вы знали, как это мне надоело! Как я устала!

Неворожин молчал. Она взглянула на него и отстранилась.

— Мы еще поговорим... потом,— сказал он немного хрипло и не слыша себя.

— Нет, нет!

Он быстро запер дверь на ключ и вернулся к ней, улыбаясь.

7

Прошло три недели, и смерть Бауэра так же вошла в сознание тех, кто его знал, как прежде входила его жизнь. Стипендия его имени была учреждена в университете. План сборника «С. И. Бауэру — Академия наук» уже рассматривался на заседаниях, в перерывах обсуждались имена возможных кандидатов на освободившееся после покойного академика место. Еще мелькали в газетах известия о том, что Институту истории и философии в Москве присвоено его имя, о том, что Британская академия, доктором которой был Сергей Иванович, прислала соболезнование, и т. д., но все реже...

По-прежнему, просыпаясь, Машенька вспоминала отца, и огромное расстояние между сном, когда этой мысли не было, и первым мгновением, когда она появлялась, по-прежнему ее поражало.

Она не поверила бы месяц назад, что будет жалеть обо всех заботах, беспокойстве, страхе за него, о мучительных ночах, когда он был уже приговорен, а все казалось, что, может быть, и не бесповоротно.

Она привела в порядок и прочитала его переписку и поняла то, о чем догадывалась и прежде: он был несчастен. Мать умерла, когда Машеньке было шесть лет, она еще помнила, как ее боялись. Вся желтая от лекарств, похожая на японца со своими черными толстыми волосами, она начинала кричать с утра, и прислуга-пьяница, единственная, которая могла у них жить, шла к ней, крестясь перед порогом.

Иногда на нее нападало молитвенное настроение: она молилась по целым дням, какие-то монашки ходили к ней, и от них в квартире оставался особенный запах, который все ненавидели, и больше всех отец.

Машенька нашла ее письма — жеманные, написанные шифром, который мог бы разобрать пятилетний ребенок, с восклицательными знаками, с фальшивыми уменьшительными: «зайчишечка», «голубчичек».

Почему отец женился на ней?

И Машенька вспомнила, как потом, через два или три года, он всегда выходил, когда являлась Анжелика Ивановна, учительница музыки, и как он, бедный, говорил с ней, улыбаясь и молодея. Вот только и было! Хоть бы он женился на ней. Или хоть бы не женился, а так как-нибудь! Но Анжелика Ивановна уехала, и он перестал выхо-

дить на уроки музыки, которые давала теперь старая уродина Вагнер...

Тоска, которую Машенька прежде просто не понимала, замучила ее. У нее бессонница началась,— и самая страшная, когда считаешь счастьем, если удастся уснуть на четверть часа перед рассветом.

Она слышала, как возвращался к себе, держась за стены, Дмитрий, и начинала думать о нем. И он одинок и несчастен! Ему стыдно, вот почему он ни разу не подошел к ней. Он пьет. Он стыдится, что его не любит жена, что отец не пустил его к себе перед смертью. Это страшно, но ведь и он был страшно виноват перед отцом. И теперь виноват. По-прежнему он близок с Неворожиным, которого отец ненавидел. Он поручил ему все дела, и теперь этот человек ежедневно таскается к ним и часами сидит у отца в кабинете. Как это тяжело! Как противно! Дима говорит, что он составляет список всех папиных рукописей и книг! Неужели нельзя было поручить это кому-нибудь другому?

Анна Филипповна кашляла в кухне, и Машенька начинала думать о ней. Бедная, она совсем растерялась! Уже никто давно не обедает дома, а она все еще накрывает на стол. По-прежнему она встает в пять часов утра, и слышно, как моет калоши и, когда доходит до папиных, начинает кряхтеть и сморкаться. Может быть, взять службу где-нибудь на периферии и увезти старуху с собой?..

Шорох ночных туфелек слышался в коридоре, и Машенька начинала думать о Варваре Николаевне. Ей казалось, что и Варвара Николаевна не спит по ночам. Большая, холодная, она лежит, накрывшись одной простыней, и ей страшно, что она никого не любит. Они больше не ссорились. Только раз, когда из столовой пропали две фигурки из слоновой кости, китайские шахматы, она возмутилась и сказала дерзость Варваре Николаевне и брату. Дмитрий накричал на нее и сам расстроился, но фигурки все-таки в тот же день вернулись на старое место. Это все пустяки и, может быть, даже хорошо с его стороны, что он не стал из-за китайских шахмат ссориться с женой. Но он ссорился с ней. Было что-то тяжелое и нечистое в этих разговорах о деньгах, когда он, жалко улыбаясь, начинал смотреть в одну точку, а Варвара Николаевна умолкала, холодно поднимая брови.

Ночь шла медленными, большими шагами от одного до другого звона часов в столовой. Кисейные занавески начинали светлеть, и казалось, что за ними не окна, а поле — и

никого, пустынно, только ветер посвистывает, снежок крутится и ложится. Она засыпала на четверть часа и просыпалась от сердцебиения...

Она так исхудала, что все висело на ней. Каждые два-три дня она ушивала платье. Если бы не Карташихин, она заболела бы от тоски.

8

Каждый день в пятом часу он ждал ее у Технологического института. Они обедали где придется, а потом шли куда глаза глядят.

Они заходили так далеко, что казалось — это совсем и не Ленинград, эти замерзшие плоты с домишками, с кострами, перед которыми сидели в тулупах замерзшие бородачи. Гранитная набережная оставалась позади, берег был застроенный, плоский, рыбачьи сети висели на заборах или были обмотаны вокруг столбов открытого навеса. Здесь легко было догадаться, чем когда-то был этот город. Земля, которую в Ленинграде можно видеть только в парках и скверах, здесь встречалась на каждом шагу. И везде были острова, и каждая улица кончалась Большой или Малой Невкой!

Впрочем, Машенька утверждала, что Петроградская сторона — такая же сторона, как Выборгская, а вовсе не остров, и однажды, чтобы решить этот спор, они по набережным всех рек обогнули ее, забегая греться в пивные и дойдя до Института мозга (откуда начали путь) в двенадцатом часу ночи.

На Стрелке они были только раз, хотя Елагин, тогда еще заброшенный, был очень хорош зимой. Деревья стояли тихие, опустив к земле заваленные снегом черные лапы; горбатые мостики были белы от снега, и ясно, что они должны быть белые, а не черные, как летом; из сломанных беседок вылетали и с криками носились над огромным сине-серым заливом галки. Но Машенька не любила Елагин остров или разлюбила, как она сказала однажды.

Они не зашли в буддийский храм, хотя Карташихин, который никогда не был ни в одной церкви, очень уговаривал ее и даже приводил исторические примеры в пользу того, что Будда среди других богов и по своему времени был вполне порядочным человеком...

Он не рассказывал Машеньке, что каждый день начинался мыслью о ней. Между ними были стены, очень мно-

го, не меньше ста, черные дымоходы, водопроводные трубы, мебель, спящие, встающие, разговаривающие люди, и она жила за всем этим множеством людей и вещей, совершенно ненужных и только напрасно заслонявших ее от него.

Она жила под одной крышей с ним — это было удивительно. Но то, что она вообще жила на свете, было в тысячу раз удивительнее, и он даже чувствовал благодарность за это, хотя благодарить было, кажется, некого.

То, что стало с домом № 26/28 по улице Красных зорь, который превратился в груду железа и камней, находившихся между ними, скоро перешло и на весь город. Все маршруты вели к Машеньке, в Техноложку, где она слушала лекции, чертила и, может быть, иногда вспоминала о нем, потом в столовую, где она обедала, потом домой, если отправлялась домой.

Был и еще один маршрут — воображаемый: когда, вдруг проснувшись, он медленно проходил на цыпочках мимо комнаты Матвея Ионыча, спускался вниз, на темный холодный двор, и — направо под арку, на третий этаж, где сама собой открывалась дверь, на которой, обведенная черной рамкой, еще висела медная дощечка с фамилией Бауэра и где нужно было идти так тихо, чтобы только она услышала и проснулась...

Это было так же не похоже на любовь к Варваре Николаевне, как сама Варвара Николаевна была не похожа на Машеньку. О Варваре Николаевне он помнил только одно — что у него сердце билось и губы горели.

Они познакомились наконец, и Варвара Николаевна даже припомнила, как Трубачевский рассказывал о нем в прошлом году и как они однажды спасли ее от Дмитрия в садике подле мечети.

— Трубачевский все говорил,— сказала она, смеясь,— что у вас «железная воля».

Он слушал и смотрел ей прямо в глаза. Она была красавица, он это ясно видел и теперь, когда смотрел на нее так же спокойно, как на трупы в анатомическом театре,— но что это была за профессиональная красота! В любой анкете Варвара Николаевна могла, кажется, на вопрос «профессия» ответить: «красавица», как другие писали бы «учительница» или «стенографистка»...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Смерть Бауэра подняла его с постели. Он был на похоронах. Держась поодаль, в самом конце процессии, стараясь, чтобы его никто не заметил, он проводил Сергея Ивановича до могилы. Кругом говорили о Сергее Ивановиче, о его болезни, он слушал, как Лавровский, фальшиво улыбаясь и прикрывая рот меховым воротником, сказал, что «покойному Сергею Ивановичу всегда везло. Вот и теперь. Подумайте, ведь в какое время угодил, самые морозы». Потом стали говорить о другом, о новых выборах в Академию наук, об очередях за мясом.

Как во сне, когда все видишь, но нет сил пошевелить ни рукой, ни ногой,— с таким чувством слушал их Трубачевский. Вот Щепкин, в ботах и длинной шубе, рассеянно и надменно закинув голову, шагает за гробом. Зачем он явился сюда? Из ханжества, из самодовольства! Вот старый пьяница Волчков со своей черной апоплексической мордой, который всем уже успел рассказать, что Сергей Иваныч оставил его при университете, что «Шляпкин тоже хотел оставить, но я предпочел, чтобы Сергей Иваныч. И он в этом не раскаялся, и я никогда не сожалел». Одно и то же выражение скрытого самодовольства было на многих лицах. Трубачевский вспомнил Чехова: «Вот тебя хоронить везут, а я завтракать пойду». Кроме самого старика, который, сложив руки, покачивался на дрогах и уже не мог думать о тех, кто на него смотрел, все было не тем, чем казалось.

Но это чувство, которое было презрением и отвращением, когда он смотрел на Щепкина, Волчкова, Лавровского, становилось тоской, когда среди неровной толпы он видел Машеньку, где-то далеко, у самого гроба.

Пустые дроги, с наваленным похоронным облачением, на котором, покуривая трубочку, сидел по-турецки бородатый служитель, встретились в полуквартале от Волкова, и Трубачевский видел, с каким ужасом Машенька на них смотрела. Он понял ее. Так же как и ей, ему стало страшно, что даже этой процессии с болтающими, притворяющимися, скучающими людьми, этому молчанию, этому красному зимнему солнцу, играющему на кистях покрывал, на посеребренных столбиках колесницы, скоро конец.

У самого кладбища они обогнали другие похороны.

Мортусы в грязных белых пальто с блестящими пуговицами вели под уздцы чахлую лошадь, высокая старуха решительно шагала. Машенька отвернулась. Он понял и это. Ей было тяжело, что в этот день и час хоронят еще кого-то.

Могила Сергея Ивановича была на Литераторских мостках, и все провожающие по двое, по трое растянулись вдоль узкой дорожки. Не желая быть на виду, Трубачевский свернул и с другой стороны подошел к могиле.

Шесть человек несли гроб, среди них Неворожин...

Все было страшно в этот день: замерзшая яма, вокруг которой лежал дерн, тускло блестевший на срезах; могильщики, которые все время ели; бледный, распухший Дмитрий; его жена, эта шлюха, которая приехала на извозчике, а теперь стояла у могилы, бессильно опираясь на кого-то и закрывая платочком красивое, подлое лицо,— и Машенька, Машенька среди них.

Но Неворожин — это было самое страшное... В модном квадратном пальто и, несмотря на мороз, в черной мягкой шляпе, он вдруг появился у могилы. Все расступились, стали полукругом. Он что-то негромко сказал могильщикам, и один из них принес едва покрашенную доску, на которой была прибита жестянка с именем Бауэра и датой его рождения и смерти. Начались речи. Опустив глаза, Неворожин стоял у гроба.

2

Исторические разыскания, которыми Трубачевский занялся на другой же день, были весьма далеки от исторической науки. Тема была современная. Но он работал над ней, как настоящий историк.

Однажды уже решено было убить Неворожина или по меньшей мере избить до полусмерти где-нибудь в общественном месте, при свидетелях, в магазине, а потом перед судом дать показания. Отцовская палка мореного дуба, игравшая главную роль в этом плане, до сих пор стояла за сундуком в прихожей.

Теперь эта мысль казалась ему детской. Собрать все свидетельства, показания, акты, служебные списки, анкеты, все, что относится к Неворожину, узнать его жизнь, а потом сделать из нее свои выводы — вот что он задумал.

Одну жизнь, рассыпанную и перепутанную, он сумел сложить и прочитать. Но от Охотникова остались бумаги.

О нем говорилось в мемуарах, в секретных донесениях. Государство относилось к нему известным образом, и он известным образом относился к государству. Из того и из другого возникали документы — письма, заметки, дневники, протоколы. Их можно было держать в руках, смотреть на свет, сопоставлять, оценивать достоверность. Это была материя истории, разорванная, но ощутимая.

Теперь перед ним была другая задача. Он сравнивал их — и впервые беспристрастие историка показалось ему мнимым беспристрастием.

Ничего не было у него теперь — ни документов, ни фактов. Он не знал даже почерка Неворожина. Он никогда не видел ни одного клочка бумаги, написанного его рукой. Все, что он знал о Неворожине, так или иначе было связано с ним, с Трубачевским. Какую же цену эти сведения могли иметь в чужих глазах? Кому не пришло бы в голову, что, обвиняя Неворожина, он выгораживает себя? Нет, то, что он знал о нем, не могло ему пригодиться. Нужны были новые обвинения и новые доказательства.

Это был метод, не отличавшийся особенной исторической глубиной, но он начал с телефонной книжки города Санкт-Петербурга за 1912 год, в которой нашел отца Неворожина, а в Русском биографическом словаре — деда. Дед — генерал-интендант, в 1855 году за безупречную службу был награжден орденом св. Анны с мечами. Отец не унаследовал его дарований и был инспектором одной из мужских гимназий.

История как наука кончалась этим известием. Дальше начиналась история как личное дело.

С удивлением он убедился в том, что Неворожин, которого он считал человеком загадочным, двусмысленным, неясным, был известен многим. Одно время о нем даже говорили, впрочем, в таких кругах, от которых в 1929 году почти никого не осталось...

Вот что узнал Трубачевский из первых и вторых рук, из разговоров, случайных и неслучайных, из сплетен, которые за давностью лет приобрели достоверность, многих известных мемуаров и хроник. В особенности помог ему Иваненко, тот самый гебраист и египтолог, который после доклада Трубачевского в Пушкинском доме пристал к нему с Шамполионом и который, как это неожиданно выяснилось, был однокурсником Неворожина и учился с ним на одном факультете.

Прежде всего было подтверждено, что отец Неворожи-

на действительно был инспектором и действительно умер. Но он повесился, что, впрочем, почти одно и то же. С десяти лет Неворожин жил в доме своего отчима П — ва, известного публициста; в университете (год поступления 1910-й) занимался на философском отделении историко-филологического факультета. Он не был на войне, ни на мировой, ни на гражданской. По одним сведениям, он был дважды женат, по другим — ни разу. У него была дочь, но жил он один, в этом Трубачевский убедился собственными глазами. Он писал статьи и в шестнадцатом году даже выпустил их отдельной книжкой. В девятнадцатом поступил на службу в иностранную секцию исполкома Северной коммуны. В двадцать первом был арестован.

Дальше шли слухи: издательство под странным, но оправдывающим себя названием — «Соломенная крыша», снова служба — в музее города, снова дело — продажа икон, снова служба — «Международная книга».

Разгадать что-нибудь по этому пунктиру было немногим легче, чем предсказать судьбу по линиям руки.

Впрочем, и у него были слабости, и как раз в этом отношении — слава! Что это за статьи, которые в 1916 году он выпустил отдельной книгой?

Трубачевский достал и прочитал ее. Прежде всего — она была написана с удивительной определенностью, уверенно и властно: «Коренное зло русской общественной мысли заключается в том, что человеческая личность, признанная только средством, бросается к подножию возводимого социального здания, и, конечно, никто не может определить, до каких пор это будет продолжаться. В воздухе уже носится идея, что живущее поколение может быть пожертвовано для блага поколений грядущих. Что-то чудовищное совершается в истории, какой-то призрак охватил и извратил ее. Для того, чего никто не видел, чего все ждут только, совершается нечто нестерпимое. Не отдельные личности, но толпы готовы пожертвовать собой во имя какой-то далекой общей цели, о которой мы можем только гадать. И где же конец этому, когда же появится человек как цель — это остается неизвестным».

Именно эта мысль проходила через всю книгу — разнообразную, потому что Неворожин писал о Герцене и Леонардо да Винчи, о Гамсуне и Алексее Толстом. Но разнообразие было кажущееся, мнимое: все приводилось, чтобы опорочить «новую справедливость» (под которой, очевидно, подразумевалось революционное движение) и убе-

дить, что в мире нет силы, способной заставить человека отказаться от «частной жизни», без которой «нет ни философии, ни религии, ни искусства». «Не для того же я страдал, чтобы страстями своими, злодействами и страстями унавозить кому-то будущую гармонию!» — так кончалась статья о Гамсуне, который с наибольшей полнотой выразил себя, по мнению Неворожина, в Иваре Карено.

3

Это был последний день бара под Европейской. Знаменитый кабак, по специальному постановлению Ленсовета, прекращал свое существование. Нужно было почтить его память, тем более что начинались другие времена — трезвее.

Должно быть, завсегдатаи бара именно так поняли постановление Ленсовета, потому что в этот день бар был переполнен.

Трубачевский и сам не знал, как он забрел сюда. Он много гулял последнее время,— вечерами на него тоска нападала. Он гулял и думал, думал...

Он думал и теперь, сидя в баре за чужим столом и машинально потягивая пиво. Стол был плохой, у самого оркестра, но оркестр не мешал, под музыку даже лучше было думать. И соседи не мешали. Они были, вероятно, воры, такие вежливые, немногословные, чисто одетые. А может быть, и нет. Он забыл о них через минуту.

Никто еще не знал, кто будет новым хозяином этого дома, но многое из его прежнего блестящего убранства уже исчезло. Голубые колпачки уже не горели над столиками, на этих столиках уже трудно было вообразить белую скатерть, и официанты ходили уже не в форменных курточках, а в чем придется.

Один из них, с мешковатой, знакомой спиной, все стоял, опустив голову, посреди зала. Его толкали, кричали ему, стучали кружками,— он не отзывался. Наконец вздохнул, оглянулся, и Трубачевский вдруг понял, что это вовсе не официант, а Дмитрий Бауэр.

Пьяный и задумчивый, он двинулся наконец по косому проходу между столиками, забирая то вправо, то влево. Должно быть, он отлучился и теперь не мог найти своего места. Стул его был уже занят. Он подозревал это, потому что иногда без всякой причины останавливался перед кем-

нибудь и смотрел прямо в лицо, недоверчиво моргая. Дважды уже нацеливались бить его, но он что-то беззвучно говорил и, качаясь, шел дальше.

Так добрался он и до того столика, за которым сидел Трубачевский. Он взглянул на него и улыбнулся.

— Вот это приятно,— приветливо сказал он.— Знакомый.

— Что вам угодно? — чувствуя, как кровь то приливает к лицу, то отливает, спросил Трубачевский.

Один из воров расплатился и встал в эту минуту, и Дмитрий крепко взялся руками за спинку его стула.

— В том-то и дело, что ничего. Ни-че-го, как говорит...

Он не окончил. Но Трубачевский знал, кто так говорит.

— Отчасти потому, что нет ни одного места,— продолжал Дмитрий и осторожно сел, держась за столик.— Но и к счастью! Я заметил, что это — закон. Когда я вас вижу, потом всегда что-нибудь хорошее.

— Да?

— Да, да. Именно да. Вы правы... Извините,— торопливо и очень вежливо сказал он третьему за столом, хотя и не сделал ничего, за что следовало бы просить извинения.

Тот кивнул и молча показал на бутылку.

— Может быть, вам пива? — покраснев и помрачнев, спросил Дмитрия Трубачевский.

— Спасибо, нет. Я сам закажу. Мне сразу принесут. Меня тут знают.

И действительно, пиво принесли сразу, и к нему не горох, как другим, а соленые греночки.

— Прошу.

Вор взял гренок.

— Мне очень нравится,—помолчав, сказал Дмитрий,— что вы не кричите на меня. Это очень мило.

Трубачевский не знал, что сказать.

— Хотя, по-моему, между нами ничего и не было. Я, помнится, за что-то сердился на вас... Ах, ну да! Вы ухаживали за Варварой Николаевной, а я тогда думал на ней жениться...

О том, что и у Трубачевского были причины сердиться на него, он, кажется, забыл и думать.

— И женился. И напрасно,— тихо и не глядя на вора, делавшего вид, что не слушает, продолжал он.— Знаете, очень мало радости. Она, знаете, все еще долги отдает... Борису. А я?

Трубачевский встал.

— Вы хотите уйти? Я вас чем-нибудь задел? Тогда простите.

— Нет, но нам не о чем говорить,— мрачно возразил Трубачевский.

— Ну что же! Нам? Прошу,— мимоходом сказал он вору, снова нацелившемуся на гренки.— Нам не о чем говорить?

— Вы просто пьяны.

Дмитрий обиделся.

— Ну, вот это... невежливо,— так же тихо, но уже неласково сказал он.— Вы злитесь на Бориса Александровича, а грубить начинаете мне. Скажите — почему вы поссорились с ним? Расскажите...

Переход этот был так добродушен, что Трубачевский невольно улыбнулся.

— Вы газеты читаете? — с живостью продолжал Дмитрий.— Наверно, нет. А я читаю. И, знаете, в каждой строчке, в каждой строчке, что вот это сделал не я, и это не я, а я... очевидно, пропал. Человек мертвый,— вдруг с пьяным пафосом сказал он,— считающий себя живым только потому, что видит собственное дыхание в холодном воздухе.

— Это больше подходит к вашему приятелю.

— К Борису? Да, но ведь это почти одно и то же. Вы, я вижу, думаете, что вы и я — одно, а он — совсем другое. Ошибка! Ошибка! — повторил он и прихлопнул ладонью по столу.— Он это и я. И вы. Ему даже легче, чем нам, потому что он последовательнее. Он вполне не согласен. А вы, например, не вполне. Вам хуже.

— С чем не согласен?

— С холодным воздухом,— оглянувшись по сторонам, шепотом сказал Дмитрий,— воздух холодный... Брр...

Оркестр заиграл, и Дмитрий сказал еще что-то — беззвучно, но с такой энергией, что лицо стало на минуту торжественным и напряженным. Потом замолчал и с тоской оглянулся вокруг.

— А сны?.. Какие сны! — сказал он со вздохом.— Казнь. Сегодня всю ночь. Какой-то молодой, безобразный, весь в коже, в ремнях. И сам, сам идет, только головой мотает, воротник тесен. Голова крупная, стриженая... Тяжело!

Это был пьяный разговор, и нечего было думать о нем. Но Трубачевский все думал: «Он — это я. И вы». Чепуха,

не похоже! Но чтобы быть совершенно честным перед самим собой, он на минуту представил, что Дмитрий прав.

С этого дня он бросил всякие разыскания и почти перестал выходить.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Карташихин не мог припомнить, когда началось это чувство, что он куда-то едет, все в дороге и нужно спешить. Все стало этой дорогой, и он летел по ней — только версты мелькали. И такая чистота была вокруг, что минутами он как бы останавливался и прислушивался к себе: «Все ли так же хорошо, как и было?»

На этой дороге были станции, очень много, почти каждый день другая — то где-нибудь у Ботанического сада, то на круглых лестницах у самого льда, напротив Института мозга, то тихие, то шумные, то вечерние, то ночные. Но первая была на Фонтанке, и он запомнил ее на всю жизнь.

Они стояли на набережной, у парапета, там, где он образует угол, поднимаясь на мостик, против Инженерного замка. Свет падал с того берега, а здесь было темно, и когда Машенька, закинув голову, оставалась так после поцелуя, ее лицо в этом далеком свете было темным и близким, глаза взволнованные. Берет все падал, она сняла его и сунула в карман. Он знал, что одна прядь светлее, и обрадовался, что разглядел ее в такой темноте. Потом она сняла и перчатки — так было ближе.

Он взял ее за холодные, маленькие, милые руки и снова притянул к себе.

— Ваня... Нельзя же все время целоваться.

— Можно.

Кто-то прошел и, засмотревшись на них, споткнулся на больших ступенях. Так и нужно, не засматривайся.

Потом прошел еще кто-то, на этот раз быстро,— они похвалили его за скромность. Потом стало холодно, и Карташихин заставил ее надеть берет. Она послушалась, но пришлось снять, потому что он снова начал падать.

Потом стало еще холоднее, у Машеньки замерзли руки; он долго оттирал и дышал на них, потом замерзли и у него, и он спрятал их под горжетку. Еще теплее было бы, если

бы можно было расстегнуть верхнюю пуговицу ее пальто и сунуть руку туда, но он не решался. Потом решился, но она тихонько сказала: «Руку!» — и он покорно вытащил руку и держал ее на холоде до тех пор, пока она совсем не закоченела. Теперь не пустить ее туда было бы просто свинством. Она ничего не сказала, но пустила.

На Фонтанке почему-то шел лед (в феврале), и огни в темных рисунках воды то закрывались, когда он медленно находил на них, то открывались. Часовой ходил туда и назад, далеко, в освещенном саду Инженерного замка. Пошел снег, и они долго смотрели, как, прямой и тяжелый, он летел мимо фонарей и сразу пропадал в темноте...

Потом были другие станции, хорошие и плохие, любимые и нелюбимые. Они так и назывались — станции. Сады закрывались рано, но в Летнем, например, была лазейка в колючей проволоке между мостом и решеткой,— там, где теперь металлический щит. В Михайловском — тоже, но там они бывали редко: на каждом шагу сердитые сторожа, должно быть, из музейной охраны.

Везде было холодно, снег темный, зимний воздух, руки, которые он целовал и грел дыханием, волосы, которые рассыпáлись, тяжелые, холодные пальто, под которыми они обнимали друг друга,— все, о чем они оба начинали думать с утра и запоминали (так им казалось) нá всю жизнь.

2

Старый кларнетист осторожно взял за стеной низкую ноту и сейчас же, приоткрыв дверь, испуганно посмотрел на сына.

— Играй, папа, ты нам не мешаешь.

Не вставая, Трубачевский потянулся к лампе — поправить прогоревший бумажный колпачок, но колпачок упал, и, махнув рукой, Трубачевский отвернулся.

Движение ли это, печальное и сердитое, было тому причиной или необыкновенное расположение света и тени, но вдруг он стал не похож на себя. Как на старинных полотнах, из-под одного лица проступило другое. Это было лицо взрослого человека, нервное, но сосредоточенное, с законченными, определившимися чертами.

И он как будто угадал, о чем думал Карташихин, поднимая с пола колпачок и прилаживая его к лампе.

— Ты читал «Домби и сын»?
— Не помню.
— Этот Домби,— сказал Трубачевский,— всю жизнь был подлецом. Потом у него умер сын, изменила жена, он разорился — и переменился. Ты в это веришь?
— Верю.
Несколько минут они сидели молча и слушали, как рокотал на низких нотах кларнет. Партия была несложная. В паузах старик ногой отбивал такт и вдруг начинал тихонько петь.
— Мне Сергей Иваныч однажды рассказывал, как он приехал в Ленинград,— сказал Трубачевский,— сразу после гимназии, девятнадцати лет. Он ехал на извозчике рано утром, еще до зари. Дома, дома, окна отсвечивают, люди спят. Два миллиона. И пусто, серо. Он чувствовал, что его нет и не будет, ничего не останется, геологический отпечаток. Вот что страшно!
— Это уже бред,— сказал Карташихин.
Папа увлекся, и кларнет уже не рокотал за стеной, а буянил, то падая вниз, в басы, то без конца повторяя тонкие трели. И мелодия была теперь слышна, должно быть, второй кларнет играл уже и за первый.
— Может быть, и бред,— помолчав, возразил Трубачевский,— но я его понимаю. И во мне его понимают,— добавил он, погасив папироску о каблук и принимаясь нервно мять ее в пальцах.— Его понял во мне, например, Неворожин. Ты знаешь, этот человек хотел решить меня, как задачу. Он мои желания разгадал. Если бы они исполнились... Впрочем, они исполнились. Послушай, ты когда-нибудь думал о других?
— Думал.
— А я — нет. Вот чему нужно научиться.
«Мы стали другими,— думал, возвращаясь домой, Карташихин,— и дружба не та».
«...Коля никогда не соглашался ни на половину, ни на три четверти того, что хотел получить. Большие желания. Либо прославиться, либо повеситься — вот его характер. Теперь он понял себя без преувеличений. Он стал другим».
— А ведь я просто проморгал его,— вдруг сказал он вслух, остановившись и машинально отмахиваясь от знакомых мальчишек, носившихся вокруг него на коньках посредине Пушкарской.— Как это произошло? Кто виноват?
На другой день Карташихин отправился в университет, пора было наконец узнать, что думает о деле студента Тру-

бачевского отделение истории материальной культуры. Он был очень удивлен, не найдя никаких следов этого отделения,— уже полгода прошло, как его переименовали. Но он нашел Мирошникова и других товарищей Трубачевского по факультету. Разговор был очень неприятный, и мысленно он постановил считать его несостоявшимся и не передавать Трубачевскому ни слова. Он был выслушан недоверчиво и хладнокровно. Ему не возражали, но с ним не соглашались. Это не было сказано вслух, но, кажется, они не находили ничего невозможного в том, что Трубачевский мог обокрасть архив.

Карташихин видел по этим людям, которые были членами и даже руководителями проф- и исполбюро, что действовать через студенческие организации более или менее бесполезно. Но он решил попытаться.

Через две недели он изучил ФОН с такой же основательностью, с какой год спустя факультет был изучен специальной комиссией, постановившей полностью его перестроить. К такому же решению пришел Карташихин. Он был медик, время его за месяц вперед было рассчитано по часам, он много работал. Здесь все его поражало! Студенты ФОНа, по их собственным словам, делились на две группы — «путешественников» и «невест». «Путешественниками» назывались молодые люди, учившиеся на факультете общественных наук только потому, что они не попали в другие вузы, «невестами» — прекрасные розовые девушки, толпами бродившие по коридору и самым видом своим доказывавшие, что им решительно все равно, на каком факультете учиться, только бы выйти замуж. В стенной газете, очень остроумной, Карташихин прочитал, что именно они, «невесты» и «путешественники», дают некоторые понятия о том, почему факультет общественных наук называется ФОНом. Они-то и являются фоном, а то, что происходит на этом фоне, уже не имеет к факультету ни малейшего отношения.

Несколько раз Карташихин натыкался на поэтов; их легко было узнать по самодовольному и вместе с тем неуверенно-залихватскому выражению, с которым, ничего не делая, они по целым дням сидели в коридоре на окнах.

Две недели он ходил из одной студенческой организации в другую — на самом же деле к одному и тому же хромому столу в коридоре, которым пользовалось то профбюро в виде полной рыжей девушки, внимательной, но глупой, то исполбюро в виде маленького студента-весель-

чака, более заинтересованного мелькавшими мимо девицами, чем общественными делами...

Удача началась, когда он добрался до Осипова, члена бюро коллектива. С первого взгляда он понял, что этот человек поможет ему,— и предположения его оправдались.

Не прошло и недели, как Трубачевский получил вызов к секретарю комсомольского бюро.

3

Должно быть, все было уже решено, потому что Трубачевский держал себя в этот день очень странно. Он накричал на отца за то, что тот показал Карташихину вызов, и объявил, что ему не нужны адвокаты.

— Я уже рассказывал все это в университете и больше не буду.

— Кому рассказывал?

— Репину.

— Кто это?

— Ты его не знаешь.

Карташихин хотел возразить, но удержался. Молча он вышел в прихожую, оделся и принес Трубачевскому пальто и шапку.

— Не пойду.

— Я тебе не пойду! — сказал Карташихин и надел на него шапку.

— Ваня, даю слово, я уже говорил с ними. С Репиным. Он член бюро. Если бы он захотел, все давно было бы сделано. Я два месяца не хожу в университет, а они обо мне даже не справились ни разу. О чем же говорить?

— Вот об этом и говорить. Ну?

Они были уже в передней, когда Трубачевский вдруг сел на стул подле входной двери.

— Не могу,— сказал он, отмахиваясь от отца, который бегал вокруг него с какими-то каплями.— Ты понимаешь, если говорить, так совсем о другом. Я напишу письмо.

— Кому?

— Тебе.

— Леонтий Николаевич, придержите-ка двери,— попросил Карташихин и, обняв Трубачевского, вышел вместе с ним на площадку.

Всю дорогу он доказывал, что так вести себя может только «интеллигент эпохи упадка». Он не объяснил, что

следует понимать под этим выражением, но, заметив, что оно производит на Трубачевского успокоительное действие, пользовался им очень часто.

Опоздав на добрых полчаса, они явились к секретарю.

4

Все-таки он успокоился и повеселел после этого разговора. Правда, он наотрез отказался пойти на заседание бюро, и вопрос был решен без него, но он накануне заболел, температура поднялась, и вдруг начался такой кашель, что Карташихин, вспомнив о чудесных свойствах лекарства Матвея Ионыча, собственноручно натер ему грудь.

Ничего не могло прийти в голову еще и потому, что Трубачевский очень радостно встретил известие о том, что бюро согласилось с Карташихиным и постановило напечатать в «Красном студенчестве» статью, в которой дело о расхищении бауэровского архива поручалось вниманию прокурора. На ближайшем факультетском собрании Осипов должен был огласить это постановление. Одновременно Трубачевскому было вынесено порицание за «полный отрыв от общественной жизни университета». Дойдя до этого места и взглянув на приятеля, лежавшего на спине с закинутой головой, так что худой, жалкий кадык торчал, а глаза беспокойно переходили с места на место, Карташихин инстинктивно пропустил несколько фраз из будущей речи Осипова и перешел к блестящему отзыву, которым тот же Осипов и еще Репин аттестовали Трубачевского с академической стороны.

Немного странно было, что Трубачевский сперва долго благодарил его, а потом вдруг сказал, что, в общем, игра не стоила свеч, тем более что у Карташихина довольно своих забот и заседаний.

Потом заговорили о Машеньке, и сразу видно стало, что у него никогда и мысли не было о зависти или ревности.

— Вы где будете жить, у нее? Еще не записались? Может, свидетели нужны? К вашим услугам.

Не ревность и зависть, а горькое сожаление вдруг мелькнуло в его словах, и Карташихин, подсев поближе, стал поспешно рассказывать... Они будут жить у него, во всяком случае, первое время, пока у Бауэра такая неразбериха. Записываться они еще не собирались, а свидетели, кажется, теперь не нужны...

Но Трубачевский уже не слушал его. Щурясь, он со странным вниманием разглядывал свои руки, похудевшие, как и лицо, желтые и сухие.

Не было все-таки никаких оснований предполагать, что он может решиться на этот шаг — теперь, когда все складывалось так удачно.

5

Карташихин поздно вернулся домой, а наутро встал рано. Начиналась зачетная сессия, а он запустил свои академические дела. Часу в седьмом, усталый и голодный, он забежал к Трубачевскому — и не достучался. Это показалось ему странным. Вчера еще лежал в постели. Может быть, спит?

И Карташихин решил позвонить ему из дому по телефону.

С утра была дурная погода, вдруг темнело, как перед грозой, ветер поднимался и падал. Теперь, когда, выйдя на проспект Карла Либкнехта, Карташихин направился к дому, метель разыгралась наконец. Мигом занесло улицы мокрым косым снегом. Заслонившись портфелем, он свернул на Пушкарскую — здесь было потише — и с трудом добрался до ворот.

Кто-то стоял подле решетки, которой был обнесен дворовый садик, схватившись за брусья и дыша медленно и глубоко, как после быстрой ходьбы. Карташихин пробежал мимо и вернулся: это был старик Трубачевский.

— Леонтий Николаевич!

Старик поднял голову. Должно быть, он не узнал Карташихина,— снег лепил, на дворе темно,— потому что сделал несколько шагов в сторону, как будто хотел уйти от него, и по этим дрожащим шагам Карташихин понял, что случилось несчастье.

— Леонтий Николаевич! Это я — Карташихин.

— Голубчик! — Он бросился к нему.— Он не у вас?

— Кто?

— Коля!

Карташихин ахнул и сразу же спохватился.

— Не знаю, я из дому с утра,— сказал он по возможности спокойно.— Но как же у меня? Ведь он болен, я его вчера в постели оставил.

Старик закрыл ладонью глаза. Он бы упал, если бы Карташихин не обнял его, привалившись к решетке.

— Он ушел, ушел!

— Куда?

— Не знаю. Совсем ушел. Помогите мне, дорогой, милый!

6

Матвей Ионыч, который по роду занятий всегда спал в неурочное время, был поднят с постели и привлечен к совещанию.

Вот что выяснилось. В восьмом часу утра Трубачевский ушел из дому. Дворничиха видела, как он выходил с чемоданом. Он оставил письмо. И старик, надев пенсне на побледневший от горя нос, прочел это письмо медленно и внятно:

— «Дорогой папа, ты всегда говорил, что путешествия полезны для здоровья, что, впрочем, не помешало тебе всю жизнь просидеть на одном месте. Убоявшись сей участи, я решил поехать... не думай, пожалуйста, что куда глаза глядят. В Запорожье, к тетке. Я списался с ней еще в январе. Она очень зовет и даже — на случай, если я захочу остаться подольше,— нашла для меня место заведующего центральной городской библиотекой, с окладом в четыреста пятьдесят рублей».

— Все врет, все,— быстро и горестно пробормотал старик и продолжал читать с прежним сосредоточенно-внятным выражением:

— «Прости, что я не предупредил тебя об этой затее и уезжаю, не простясь. Ты ведь знаешь, что я с детства не люблю, когда меня провожают. А ты бы не утерпел, я тебя знаю. Целую тебя и прошу об одном: не беспокойся обо мне и, главное, не забрасывай тетку письмами, а то она ошалеет. Я напишу с дороги. Твой *Коля*».

Старик снял пенсне. Глаза его устали от чтения, он зажмурился и вдруг быстро приложил к ним носовой платок.

— Леонтий Николаевич, вы напрасно так волнуетесь,— думая о том, что он волнуется не напрасно, сказал Карташихин.

— Дорогой мой, что вы говорите? Больной, один — куда он поехал? Какая тетка? Там жила какая-то родст-

венница, сестра его матери. Но когда? И почему он мне ничего не сказал? Что за тайны? Нет, тут что-то не то!

— Дайте-ка письмо.

Почерк был размашистый, торопливый. Постскриптум начат и зачеркнут. «Я не успел...» — разобрал Карташихин. Письмо было рассеянное, беспокойное. В последнюю минуту, перед самым уходом, думая о другом... О чем же? Карташихин вспомнил, как слушал его Трубачевский, тревожно переводя глаза с места на место, разглядывая руки. Ему стало страшно.

— Нет, ничего,— сказал он,— очень спокойное письмо. И все ясно. Глупо, конечно, что он больной поехал, но вообще я считаю, что это для него даже полезно. Какая у него температура? Ах да, вы после меня, наверно, не мерили?

— Не мерил... Я только думаю, что, раз он ушел с чемоданом...

Он не договорил, заморгал.

— Да будет вам!

Старик уныло посмотрел на него и обеими руками крепко сжал его руку.

— Голубчик! Ну скажите мне откровенно: он уехал? Вы на самом деле думаете, что он уехал? Он так страдал последнее время, так исхудал. Его не узнать стало. Вы не поверите, я сам думал, честное слово, я боялся, как бы он чего-нибудь над собой не сделал! И вот...

— Леонтий Николаевич, я вам ручаюсь, дорогой,— энергично сказал Карташихин,— Коля просто уехал. Он очень устал, и ему — это я вам говорю как медик — это было необходимо. Если бы удалось его к врачу стащить, ведь его бы в два счета отсюда выпроводили! Матвей Ионыч!

Должно быть, Матвей Ионыч не сразу понял, что от него требуется, потому что, вынув трубку и соединив брови, он сперва с сомнением покачал головой и, только когда Карташихин сделал ему страшные глаза, снова взял трубку в рот и с ее помощью сказал довольно отчетливо:

— Да.

Старый музыкант вздохнул с закрытыми глазами и встал.

— Даже не знаю, который час. С утра бегаю и бегаю. Ведь я уже в милиции был,— жалко улыбаясь, добавил он,— и, знаете, недалеко от нас, в садике на Церковной, сегодня застрелился студент... Пока фамилию узнавали,

меня уже водой стали отпаивать. И оказался не он. И фамилия и имя — ничего не подходит. Который час, голубчик? Мне на игру надо.

Час был поздний, но Карташихин не отпустил его. Понурившись, сидел он за чаем, постаревший, с несчастными глазами. Через полчаса он ушел, взяв слово, что при первом известии, днем ли, ночью ли, ему будут звонить, и проговорившись, что уже послал две телеграммы тетке,— и Карташихин заперся у себя. Сперва было тихо, потом — шаги. Матвей Ионыч, который собирался было сказать ему что-то и не успел, стоял и курил в передней. Еще утром, часов в одиннадцать, вернувшись с ночной смены, он нашел в почтовом ящике письмо. На конверте было написано, от кого и кому, но Матвей Ионыч все медлил, покуривая свою трубку и делая задумчивые движения бровями. Наконец решился и постучал.

— Письмо,— сказал он, когда Карташихин появился в дверях,— хотел дать, потом — нет, неизвестно. Сперва прочитать, потом обсудить, решить.

«Ты, брат, наверно, думаешь, что я собрался уйти куда-нибудь под лед, или, иными словами, дать дуба. Нет, я просто уезжаю. Отцу я написал, что в Запорожье, к тетке. Может быть. Во всяком случае, я к ней заеду. Постарайся его успокоить, я знаю, что он будет очень волноваться.

Видишь ли, в чем дело: я решился на эту затею не потому, что мне вдруг все стало ясно, а, наоборот, потому, что я ничего не понимаю. Ясно только одно — что до сих пор я жил в аквариуме. Неворожин пробил в нем дырку, вода вылилась, и я стал задыхаться. Так что с жабрами мне больше нечего делать и нужно учиться дышать легкими. А то и точно попадешь в категорию людей, которые считают себя живыми только потому, что видят свое дыхание в холодном воздухе,— это из одного разговора.

Очень может быть, что тебе это покажется наивным, даже глупым. Но, во-первых, довольно я умничал. Во-вторых, пора, брат, начинать жить.

Почему я выбрал Запорожье? Климатически. Рядом Днепрострой, на котором (для меня) кислорода больше. Кроме того, там живет сестра моей матери, у нее можно остановиться и прожить первые дни. А на Днепрострой, как ты знаешь, берут кого угодно, начиная с печников и кончая философами (разумеется, материалистами). Как

видишь, я все обдумал и совершенно спокоен. И температура нормальная. Будь здоров. Крепко жму руку. Твой *Коля.*

P. S. Ты, конечно, понимаешь, что на Днепрострое я не буду заниматься историей литературы. В лучшем случае я буду заниматься ею наугад и без цели. Кстати, я не успел сдать книги в университетскую библиотеку. Верни, пожалуйста. Впрочем, это не к спеху».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Продавщица в тяжелых очках, чуть державшихся на маленьком носу, вопросительно обернулась, когда, зайдя за прилавок, он стал подниматься по винтовой лестнице.

— Борис Александрович! А я вас не узнала!

— Здравствуйте, Шурочка,— весело сказал Неворожин.

В заваленном книгами тупике бородатый мужчина писал за столом.

Улыбаясь, Неворожин с минуту следил, как ездит его борода по бумаге.

— Руки вверх!

Мужчина вздрогнул и выронил перо.

— Фу, как вы меня напугали, Борис Александрович!

— Да что вы!

Неворожин засмеялся и сел.

— Никаких перемен,— оглядываясь, сказал он,— и даже Зуевская на том же месте.

Он говорил о библиотеке, приобретенной едва ли не за год до того, как он ушел из «Международной книги».

— Да, лежит,— со вздохом согласился мужчина.

— Что же так?

— Все некогда.

Они помолчали.

— Аркадий Николаевич, а я с предложением.

— Рукописи?

— Не совсем,— улыбаясь, возразил Неворожин,— книги. Три с половиной тысячи томов, историческая библиотека.

— Интересно. Чьи?

— Ну, это пока секрет. А покупатель найдется?

— Смотря по цене.

Подложив локти, Неворожин навалился на стол.

— Цена небольшая,— приблизив свое лицо к бороде, быстро и негромко сказал он.— Но дело срочное. Владелец уезжает через три дня.

Мужчина нахмурился и зачем-то надел пенсне.

— Каталог есть?

— Печатный,— ответил Неворожин.

Он вынул из портфеля книгу. Первые страницы ее были оборваны.

Печатный каталог частной библиотеки — вещь редкая, и заведующий магазином перелистал его с уважением. Некоторые отделы — французская революция 1789 года, декабристы — были представлены с замечательной полнотой. Исторические журналы — в том числе и редкие — в комплектах. Были и антикварные книги. Не было только — хотя заведующий магазином со всех сторон внимательно осмотрел каталог — имени владельца библиотеки.

— Надо подумать.

Неворожин показал палец.

— Один день.

— Ну да!

— Аркадий Николаевич, очень серьезно. Если до завтра не получу ответа — продам. И не скажу — кому, а продам.

— Соседям? — глупо улыбаясь, спросил мужчина.

Рядом с «Международной книгой» были тогда букинисты.

— Хоть и соседям. Так вот.— Он быстро написал на столе цифру, еще быстрее зачеркнул ее и написал другую.

Мужчина взглянул — и изумился.

Неворожин посмотрел на него не мигая.

— Очень срочно,— повторил он,— если бы владелец располагал временем, сумма была бы другая. В расписке она и будет другая.

Мужчина снова нахмурился и на этот раз снял пенсне.

— Впрочем, это ваше дело,— поспешно добавил Неворожин.— Мое дело маленькое. Я сдаю товар, кстати, франко — «Международная книга», и получаю деньги. Ну-с?

Мужчина задумался. С первого взгляда можно было предположить, что он с неба звезд не хватает, но теперь, когда, вспотев от размышлений, он сунул свою бороду в рот и начал жевать ее задумчиво и злобно, стало видно, что он просто дурак.

— Да... Ну что ж, позвоните...

Они поговорили еще несколько минут — о жалованье, о сокращении штатов.

Неворожин спустился вниз.

— До свиданья, Шурочка!

— До свиданья, Борис Александрович!

2

Старший делопроизводитель — пожилой человек, седой и стриженый, с умным солдатским лицом — все возился с какой-то старушкой, и полчаса были потеряны даром.

— А живешь-то одна?

— Эх, милый, ради пятницы уж не буду врать. Не одна живу, с дочкой, да не кормит она меня. Судиться надо, а мне девять десятков лет. Сегодня судиться стала, а завтра померла.

— Тогда зачем же заявление подавала, бабушка, если не хочешь судиться?

Рассеянно и неподвижно следя за посетителями, переходившими от стола к столу в накуренной и тесной канцелярии, Неворожин прислушивался к разговору.

«Еще несколько дней, и я не увижу больше этих грязных людей, этих заплеванных комнат и улиц. В последний раз вздохнуть этим воздухом. Трудно поверить...

Народный суд... Здесь была школа, и даже чернильных пятен не смыли со шпалер. Крюки на стене, где была доска. Грязно, душно. Как у них ничего не выходит!..

...Остановить раздел, пока я не возьму своей доли. А потом — пожалуйста, хватит и на вас...»

— Вы ко мне?

Он очнулся.

— Да.

— Пожалуйста,— выговаривая все буквы, сказал делопроизводитель.

Неворожин достал из портфеля бумаги.

— На днях вы присылали агента, чтобы произвести опись и оценку имущества покойного академика Бауэра.

— Адрес?

— Улица Красных зорь.— Он подождал.— К сожалению, я не был при этом. Наследники просили отложить составление акта, но агент отказался, и...

— А вы кто такой будете?

Неворожин показал ему доверенность Дмитрия Бауэра.

— Да,— гладя себя по стриженой голове, сказал делопроизводитель.— Из этого не следует, что без вас нельзя было составить акт.

— Совершенно верно. Но я предупредил бы ошибки.

— Какие ошибки?

— Часть имущества была почему-то не включена в общую опись. Я имею в виду так называемое «личное» имущество дочери покойного — Марии Сергеевны Бауэр. Письменных доказательств, что оно принадлежит ей, не имеется. Стало быть, оно должно быть разделено между всеми наследниками на общих основаниях.

Хмуро и бегло делопроизводитель посмотрел на него.

— Из чего состоит...

— А вот... я не специалист по описям,— добавил Неворожин, улыбаясь,— и, может быть, что-нибудь упустил. Во всяком случае...

Сердито дыша, делопроизводитель прочитал список.

— Здесь указаны необходимые домашние вещи,— сухо сказал он,— кровать, стол... какой-то там чертежный. Подушки, одеяло. Это при всех разделах остается в личном пользовании. Да и сумма, очевидно, ничтожная. А между тем общая оценка достигает, кажется, сорока тысяч?

— Да.

— И вы настаиваете?

— То есть мой доверитель? — вежливо, но твердо переспросил Неворожин.— Да, он настаивает.

Делопроизводитель нахмурился.

— Кажется, родной брат?

— Да.

— Ну что ж, подавайте.

Неворожин тут же, не отходя от стола, написал заявление.

— Я должен вас предупредить,— сказал делопроизводитель,— что ввод в наследство будет отложен на неопределенное время благодаря этому заявлению.

«Надеюсь»,— подумал Неворожин.

— Очень жаль,— с некоторым затруднением и как бы колеблясь, возразил он,— но мой доверитель хочет воспользоваться всеми своими правами. Я всячески убеждал его,— ведь родная сестра! — но он, к сожалению, решительно отказался.

3

День был хороший. Только что кончилась оттепель, и снег, куда ни взгляни, был весь усеян следами, как будто кто-то в сказочных семимильных сапогах мигом обежал весь город. Мягкий ветер дул, весенний, хотя до весны было еще далеко.

Неворожин вышел к Тучкову мосту. Нева была забита баржами; должно быть, их здесь строили или чинили. Большие, чистые деревянные борта в тесноте заходили один за другой, так что до середины река была грязно-белым льдом, а потом становилась деревом, мачтами, избушками на корме, запахом смолы, который и здесь, у Тучкова буяна, где стоял Неворожин, был слышен.

«На всякий случай простимся».

Вся набережная, плавно загибавшаяся назад, была в тени, только от Первой линии начиналось солнце. Поворот от моста был срезан им наискосок, и люди, трамваи, машины, как из-под земли, вдруг вылетали на свет. Маленькие фигурки чернелись на том берегу, направо от моста, где — он помнил — было написано: «Не бросать якорей. Электрический кабель». Они съезжали вниз и медленно поднимались, таща за собой черные точки. Это мальчишки катались со съезда в Неву.

«Здесь я вырос. Ну что ж! На всякий случай простимся!»

4

Плохо было только одно: он стал думать о людях, которые на него внимательно смотрят. Когда-то, лет десять назад, это могло пригодиться. Оглядываться, думать о встречных, широко огибать углы — это была привычка времен гражданской войны. Она вернулась к нему. Спасибо!

На проспекте Карла Либкнехта он зашел в цветочный магазин. Цветов было мало, все больше искусственные, и продавщица посоветовала ему взять цикламены.

— А срезанные есть?

— Пожалуйста.

Пакет из гильзовой бумаги был слишком велик, он примял его и сунул в портфель.

С этими цветами он явился к Бауэрам полчаса спустя. Анна Филипповна открыла ему. Он разделся, пошел по

коридору в архив и приостановился. Кто-то пел у Машеньки в комнате — негромко, но звучно. Мотив был незнакомый. А голос?.. Он не сразу догадался, что это она поет:

Нет, ты мне совсем не дорогая,
Милые такими не бывают...

Дверь была приоткрыта. Он заглянул. В старом летнем платье с короткими рукавами, Машенька мыла подоконник и пела. Комната была не прибрана, мебель сдвинута, но в самом беспорядке было что-то праздничное, как весной, когда открывают окна.

Он стоял и слушал — очень серьезно:

Сердце от тоски оберегая,
Зубы сжав, их молча забывают.

И голос был праздничный, легкий. На минуту она замолчала. Тонкие руки сняли с подоконника тазик и вынули из него большую черную тряпку. Потом снова запела:

Нет, ты мне совсем не дорогая...

Мотив был уже другой, знакомый.

Он так заслушался, что не заметил, как с тазиком в руках Машенька появилась на пороге.

— Вам что?

— Я просто слушал вас, Машенька,— осторожно улыбаясь, сказал Неворожин.— Очень хорошо. И слова хорошие. Чьи это?

— Не знаю... Я пела не для вас.

— Еще бы,— со вздохом сказал Неворожин,— для меня уже никто не поет.

Он засмеялся.

— Машенька, правда, что вы выходите замуж?

Она посмотрела исподлобья. Неворожин догнал ее уже подле кухни.

— Кстати, я только что из народного суда. Раздел откладывается. Эти идиоты требуют, чтобы в опись были включены ваши личные вещи... Вплоть до подушки и одеяла,— добавил он возмущенно.— Как вам это понравится?

5

До вечера он работал в архиве. Он отобрал письма Анатоля Франса, некоторые бумаги из личного архива Людовика XVI, автографы Демулена — все, что нужно

было взять с собой. Письма Наполеона были под сомнением. Кладбище Книг дал слово, что возьмет их через два дня. Прошло четыре. У него нет денег или он чего-то ждет, почтенный Соломон?

Из русских рукописей осталось не так много, вчера он снес Щепкину последние бумаги из пушкинского бюро. Нет никаких сомнений, что этот старый пес ограбил своего сына,— иначе откуда он взял бы сразу столько денег? А может, и были — накопил.

Что делать со смесью? Смесь — это были бумаги, о которых он ничего не знал. Часть их была как будто отложена и приведена в порядок, на папках написано: «Архив Охотникова» и подзаголовки, с указанием дат.

Охотников? Кто это? Неворожин заглянул в одну из папок и пожал плечами. Во всяком случае, это дешево стоит.

Давно решено было перемешать бумаги, которые нельзя продать или взять с собой. Инвентари уничтожены, никто, кроме Трубачевского, который приведен к одному знаменателю, не знает, что представлял собой бауэровский архив.

И не узнает. Лучше оставить кашу.

Он начал с Охотникова. Разорвав скрепы, он выбросил бумаги на стол. Это была папка, которую полгода разбирал Трубачевский. Он подсыпал к письмам старые счета из книжных лавок, черновики документов и, разорвав вдоль листы из неоконченной работы Бауэра о «Пугачевском бунте», перемешал все это, как колоду карт.

Точно так же были перепутаны, а потом аккуратно уложены в папки и другие бумаги.

И снова, как прежде, он остановился перед личной перепиской Сергея Ивановича. Эти смешные, старомодные письма давно умерших профессорш и профессоров почему-то нельзя было трогать.

Шел десятый час, когда он собрался домой. И дома было довольно дела. Человек, с которым он вел переговоры об «отпуске», должен был прийти через час.

Он заглянул к Варваре Николаевне перед уходом. У нее были Мариша, еще кто-то; Дмитрий, толстый и бледный, спал в кресле, просыпаясь время от времени, чтобы сказать, что «Менжу́ — одно, а Чаплин — совсем другое». Неворожин посидел полчаса и ушел.

Бормоча под нос, Анна Филипповна подметала в коридоре. Он приостановился, чтобы пропустить ее. Она тоже приостановилась и забормотала громче.

— Что вы говорите, Анна Филипповна?

— Говорю — вас ждали.

— Кто?

— А не знаю. Мужчина.

— Какой мужчина? Когда?

— Утром,— пробормотала Анна Филипповна, снова принимаясь подметать.

— Как утром?

Старуха молчала. Он ногой наступил на ее щетку.

— Что он сказал?

— Ничего не сказал. Спросил, будете вы или нет. И посидел немного.

6

Он так и не добился от старухи, что это был за мужчина. Но невольно вспомнил о нем, когда, свернув на Вологодскую, увидел в окнах своей комнаты свет.

Горела настольная лампа, он видел это по отчетливому рисунку занавесок. Почему бы ей гореть в пустой комнате в двенадцатом часу ночи?

Он поднялся на второй этаж, потом вернулся и посмотрел на окна еще раз. А, очень просто! Хозяйка убирала комнату и забыла погасить лампу. Это, кажется, и прежде случалось. Никогда не случалось. Ему показалось, что чья-то тень, медленно расплываясь, прошла вдоль одного из окон. Это успокоило его. Хозяйка. Они опустили бы шторы. Нет. Если это засада, они не опустили бы штор. И они их не опустили.

Он невольно огляделся по сторонам. Извозчики стояли у пивной в своих толстых юбках и сонно ругались. Девушки, громко смеясь, выходили из темных ворот. Огромная сторожевая шуба, в которой и не видать было дворника, вылезла вслед за ними и остановилась.

Неворожин решительно вошел в подъезд. Вздор, свет горит с утра, он сам забыл погасить его, хозяйка не заходила весь день, и вот...

Прислушиваясь, он стоял в темном подъезде. Карета «скорой помощи» промчалась, и в стенах что-то отозвалось

на ее сирену чуть слышным дребезжанием. Кто-то звучно откашлялся. В радиаторе прожурчала вода.

Громкий разговор вдруг начался наверху и оборвался, прихлопнутый дверью. Шаги — очень много и в разных направлениях. Он с трудом заставил себя остаться на месте. Не в разных направлениях, а в одном, вниз по лестнице. И не так много.

Это была домработница из соседней квартиры, толстая добродушная немка, с которой он иногда перекидывался двумя-тремя словами.

Он остановил ее:

— Ist bei uns alles in Ordnung?

— Nein, nein!

Она быстро задышала и также по-немецки продолжала:

— Ich weiss nichts... Es scheint mir... [1]

Должно быть, он очень побледнел, потому что немка невольно шагнула к нему и вдруг опрометью бросилась вниз по лестнице.

Неворожин взялся рукой за перила. Опустив голову, он стоял с открытым ртом — он задыхался. Впрочем, это продолжалось недолго. Он подхватил выпавшую из рук трость и медленно вышел. Поворачивая на улицу Красных зорь, он еще раз посмотрел на освещенные окна.

7

Глухонемой сапожник, у которого снимал комнату Семушка — Кладбище Книг, оказался не глухим и не немым. Он долго ругался за дверью, расспрашивая Неворожина и гремя чем-то железным.

— Что надо? Семен Михалыч спит! — крикнул он наконец, и все стихло.

Неворожин позвонил еще раз.

— Он спит, я вам говорю.

— У меня очень срочное дело,— ровным голосом сказал Неворожин.

— Какое дело в час ночи!

Он открыл наконец. Неворожин вошел в грязный высокий коридор.

---

[1] — У нас все в порядке?
— Нет, нет!
— Я не знаю... Мне кажется...

Тусклая лампочка горела. Полный седой мужчина в нижнем белье, в пальто, накинутом на плечи, стоял перед ним. Неворожин повторил свою просьбу, прибавив, что, если бы это было возможно, он охотно отложил бы разговор до утра.

Ворча, сапожник указал ему маленькую, обитую рваным войлоком дверь.

— Здесь, кажется, заколочено?

— Почему заколочено? Постучите.

Ничего неожиданного не было в этой комнате, кроме мокрого белья, висевшего на протянутой из угла в угол веревке. В квадратной кирпичной печке, оставшейся с тех времен, когда она еще называлась буржуйкой, тлели угольях. Книг почти не было, только на окне лежало штук пятнадцать да столько же на стуле, подле постели. На другом стуле стояла переносная лампа. Она горела, и, закрывая дверь, Неворожин слышал, как сапожник проворчал, что «сперва жгут по целым ночам, а потом — почему большой счет, это они знают».

На деревянной кровати, старомодной, с шарами, спал Кладбище Книг. Он был в спортивном шерстяном шлеме, закрывавшем уши, и поэтому не проснулся, когда вошел Неворожин. Он щурился во сне. Закинутый унылый нос торчал из шлема.

— Семен Михалыч!

Кладбище Книг вздохнул и сел.

— Не пугайтесь, это я.— Неворожин показал ему лицо.— Узнали?

— Что случилось?

— Ничего особенного. Завтра утром я уезжаю, а мы...

Не сводя с него глаз, Кладбище Книг шарил под подушкой. Он достал пенсне и протер его концом простыни.

— А мы с вами еще не рассчитались. Я не стал бы тревожить вас так поздно. Но я уезжаю в семь утра и предпочел зайти теперь. Я, впрочем, не думал, что вы ложитесь так рано. Помните, Семен Михалыч, за вами...

— А куда вы едете?

— В Париж,— невесело улыбнувшись, сказал Неворожин.— Семен Михалыч, дорогой, не все ли вам равно, куда я еду?

Кладбище Книг надел пенсне. Лицо его чуть заметно дрогнуло. «Понял»,— злобно подумал Неворожин.

— Впрочем, я еду ненадолго.

— Ага, ну что же. Счастливого пути.

— Спасибо. Но вот в чем дело, дорогой мой. Вы взяли у меня автографы и еще не расплатились. Вы помните...— Он шепотом назвал сумму.

— Нет.

— Что нет?

— Я не помню,— покашливая, сказал Кладбище Книг.

Неворожин долго и холодно посмотрел на него.

— Ну, вот что, будем говорить начистоту,— раздельно сказал он.— У меня обыск.

— Что?

— Обыск,— нетерпеливо повторил Неворожин,— меня могут взять каждую минуту. А если меня возьмут, как бы и вас... Да нет,— быстро добавил он, заметив, что Кладбище Книг побледнел и перекосился,— я еще успею уйти. Но для этого нужны деньги.

Кладбище Книг встал. Вялой рукой он откинул подушку и, порывшись, вытащил из-под матраца узенький сверток.

— Вот. Вот, возьмите.

— Что это?

— Это ваши бумаги. Мне не нужно. Я ничего не брал.

— Идите вы к...— Неворожин швырнул сверток на постель.— Мне нужны деньги. Отдайте, и черт с вами. Я уйду, а вас они не тронут.

Сгорбленный, в нижнем белье, в спортивном шлеме, Кладбище Книг стоял на цыпочках, вздрагивая и щурясь. Вдруг он бросился к двери. Неворожин опередил его и запер дверь на ключ.

— Дует, знаете,— пробормотал он.

— Что такое, в чем дело? — печально и высокомерно спросил Кладбище Книг.— Вы пьяны? Идите проспитесь!

— Молчи, сволочь,— негромко сказал Неворожин и так взял его за руку, что Кладбище Книг застонал и присел,— и давай сюда деньги... Семен Михалыч,— он опомнился,— поймите же наконец, что это в ваших интересах. Я не намерен упоминать вашего имени — что бы ни случилось,— с иронией добавил он,— но все-таки... на всякий случай. Для вас лучше, чтобы меня не взяли. И меня не возьмут. Я уйду, уже все готово. Но мне нужно заплатить за это валютой.

Кладбище Книг шевельнул губами.

— Что?

— Двери.

— Что двери?
— Вы закрыли на ключ?
— Да.
— Сколько вам нужно?

8

Мать открыла сама, это было удачно, потому что, думая о другом, он машинально позвонил два раза, вместо пяти.

— Борис, так поздно?

— Да, мама.

Квартира была коммунальная, и то одна, то другая дверь поскрипывала, когда, прямой и спокойный, с тростью в одной руке, с портфелем в другой, он быстро прошел по коридору.

Он никогда не был у матери ночью и невольно задохнулся, войдя в эту маленькую комнатку, заваленную мебелью и пропахшую пылью. Впрочем, он и днем едва мог заставить себя просидеть здесь больше получаса.

— Борис, что случилось?

Он скинул пальто и сел.

Мать тревожно смотрела на него, желто-седая, в нижней голубой юбке, в распахнутой кофте, толстая и старая, вдвое старше, чем днем. «Зачем я пришел сюда? Проститься?»

— В общем и целом, ни-че-го,— сказал он по слогам,— обойдется. Я уезжаю.

— Куда?

— В командировку, мама.

— Надолго?

— На год...

Он молчал и ел, а она говорила. Как всегда, она жаловалась на соседей, на цены, на сердце. Соседи только и думали, как бы ее обидеть. Все стоило дороже, чем она могла заплатить. Рыхлый нос двигался, когда она говорила.

Она смотрела, как он ел, и старалась не говорить о еде,— он знал это с детства. Потом не выдержала и заговорила,— и это он знал. Она сосчитала, сколько тратит каждый день на хлеб, керосин, картошку, топленое масло. Это было противно, но он съел все, что было на столе, и даже какие-то полусырые пирожки с овощами. Пообедать

сегодня не пришлось, а с утра он выпил только стакан чаю.

— Мама, у тебя есть чемодан?

— Какой чемодан?

— Обыкновенный, в который кладут вещи.

— Нет.

Он поднял голову. Шкафы были завалены старой рухлядью. Какие-то люстры... Был там и чемодан, даже два. И небольшой, то, что нужно.

Она следила за ним с беспокойством.

— Как же я могу отдать, там посуда.

— Может, продашь?

— Ну что ты! А разве у тебя нет чемодана?

— У меня, мама, много чего нет теперь. В том числе и чемодана.

Он отодвинул тарелки и влез на стол. Пыль висела лохмотьями, и, сняв чемодан, он должен был вымыть руки. Вытираясь, он взглянул на портрет своей дочери, стоявший на шифоньерке, в тяжелой раме, среди грязных склеенных ваз. Какая тихая, с худыми плечами. Он вздохнул.

— Ну, мама...

— Уже уходишь?

— Да, я тебе напишу с дороги.

Она не стала провожать: соседи подглядывали, мало ли что можно подумать.

9

Варенька спала, и старуха долго бормотала что-то, прежде чем согласилась ее разбудить. Он ждал. В окошечко был виден снег на площади Льва Толстого, и Неворожин понял, что очень рано, часов семь, дворники еще не убирали площадь после вчерашней метели.

Он спросил тихим голосом, все ли благополучно. Все. Никто не приходил? Никто. А Дмитрий дома? Да, спит. Хорошо, я вернусь через десять минут, не ложитесь.

Но он пришел через час. Военный с портфелем нетерпеливо заглянул в телефонную будку, а потом обогнал его на углу Ординарной. Это была случайность, но Неворожин пришел через час. Он был в кепке, в чужом пальто, небрит.

— Это я, Анна Филипповна, не пугайтесь.

Не раздеваясь, он прошел в спальню. Варвара Николаевна сидела на постели в халате. Дмитрий спал.

— Разбудить?

— Не нужно.

— Господи, что же делать?

Неворожин сел, откинул голову, скрестил ноги.

— Десять минут,— криво улыбаясь, сказал он,— а потом...

— Что?

— Нужно ехать.

Он уснул, пока она ходила на кухню за чаем. Раскинув руки, он спал в пальто, дыша сквозь сжатые зубы...

Шторы раздвинулись, когда она ставила чай на окно, солнце легло вдоль кровати, и она испугалась, что проснется Дмитрий. Он не проснулся, но она переставила чай и задернула шторы. Страшно, что так светло. Быть может, одеться? Она стала одеваться, но только натянула чулки, застегнула корсетик...

— Что делать? Господи, что же делать?

Она причесывалась, бормоча, сняла халат, потом опять накинула на голые плечи.

Не поднимая головы, Неворожин смотрел, как она одевалась. Ноги в чулках, в каких высоких, до неба! Грудь. Не вставая, он подтащил Варвару Николаевну к себе и взял за грудь.

— Проститься,— громко и хрипло сказал он.

— Митя...

— Он спит...

Чай остыл, он выпил его залпом и прошел в архив. Накануне были отложены бумаги, которые он должен был взять с собой. Он сунул их в чемодан. Что еще? Бумаги не влезли, он примял их коленом. Что еще?

Варвара Николаевна смотрела на него и молчала. В архиве было холодно, кожаный стул холодил, она подогнула ноги, натянула на колени рубашку.

10

Кто положил в его портфель цветы? — это мучило его от самого Ленинграда. Еще у матери он сунул портфель в чемодан и не вынимал, кажется, ни разу. Час за часом он припомнил всю ночь. С ним пошутили. Как бы то ни было, он уезжал с цветами. При свете огарка он рассматривал их, стоя между полками. Еще свежие, в папиросной

бумаге. Как они называются? Кажется, цикламены? Он вышел и сунул цикламены в мусорный ящик...

Все сложилось очень удачно. Вагон был переделан из мягкого, отдельные купе, и сосед только один, толстый, усатый, по виду — рабочий, в очках и синей спецовке. До половины двенадцатого сосед читал, приладив свою свечу к фонарю, висевшему на железной палке, потом погасил и с полчаса полежал тихо, только огонь его папиросы был виден в полутьме. Потом огонь погас, послышалось сильное ровное дыхание.

И Неворожин лег. Он почти не устал, только в ногах постреливало и немного ныла поясница.

...Огарок давно погас, но в купе почему-то светлее, чем прежде. Все так же ровно и сильно дышит сосед. Он спит в очках — и это странно. Спит ли он? Дверь раскачивается от движения вагона, очки то отсвечивают, то исчезают. Да он слепой!

«Вы слепой?» — «Да».— «Неправда, я видел, как вы читали!»

Еще рано, но слепой садится. Гремит. Все ближе и ближе. Дождь. Ого, как стучит, накатывает, размахивается и — раз! По полкам и стенам со свистом начинают мелькать освещенные окна. Это не дождь, это встречный поезд. Это — сон.

С открытыми глазами он лежал в темноте. Страшный сон! Расплывчатые тени проходили по залепленному снегом окну, под самой головой стучали колеса. Давно уж на жесткой полке он отлежал бока, а все не мог собраться вынуть плед из чемодана. Еще не меньше часа он провалялся с этой мыслью. Наконец заныла и спина. Он сел.

В коридоре было светло, и он все время, пока доставал плед, держал дверь ногой. Слышались голоса, и ручка двери вдруг щелкнула, как будто кто-то взялся за нее снаружи. Он выглянул — никого. Вернулся и лег.

Все глуше повторялись стук и потряхивание вагона, и все смешалось, когда снова что-то щелкнуло в двери. Он вздрогнул и открыл глаза. «Кто там, войдите!» Никого. «Это ты, доченька?»

Таня стоит за дверью, тоненькая, оборванная, с черным лицом. Как она выросла, как похудела! «Где ты была? Почему ты такая грязная?» Отражение деревьев, расплываясь, проходит по залепленному снегом окну. «Ты разве жива?»

Молчание. Он лежит в пустоте, в тишине...

Неворожин застонал и очнулся. Снова сон. И никого. Просто замок испорчен, и дверь сама открывается от движения вагона. Он злобно захлопнул ее и лег. Но сон уже прошел — и слава богу!

Как «Отче наш», он трижды повторил адрес того извозчика в Каменец-Подольске, который должен был перевезти его через границу. Фамилия была странная, он составил из нее шараду.

Наконец рассвело. Он умылся, поел и взял у соседа газеты.

В коридоре разговаривали, он и читал и слушал.

— ...В августе. И вот интересно: я как приехал, ни разу на станцию не ходил, очень работы много. А теперь собрался в отпуск, иду — и дороги не найти. Так застроили.

— Неужели? — спросил другой, молодой и как будто знакомый голос.

Неворожин прислушался; но проводник стал ругать кого-то в соседнем купе, и разговор оборвался. Потом снова начался.

— ...Я техником, а брат — психотехником. Слышали когда-нибудь?

— Нет.

— В общем, это изучение психологии труда. У них там лаборатория, интересно. В июле через них триста мальчиков прошло. Определение профессии.

— Как триста мальчиков?

(«Где я слышал этот голос?»)

— Мальчиковая прослойка,— смеясь, объяснил техник.— У нас все есть, старики, средний возраст, дети. Только подростков нет.

— А зачем они вам?

— Как зачем? Мы черт-те что открыли, школы ученичества, техникумы, рабфаки. А учиться некому. Поселку всего два года, народ пришлый. Откуда возьмешь? И вот — явились! Очень интересно. Я каждый день в лаборатории торчал.

«Штучный товар. План», — злобно подумал Неворожин.

— Как же их испытывали?

— На склонность к профессии. Скажем, кто во сколько времени может машину собрать, такую, довольно сложную. И интересно, как характер сказывается. Один возьмет и вертит, вертит. Пальцы длинные, слабые — только страницы листать. Другой — раз и два! Пожалуйста! Потом быст-

роту реакции испытывали. В общем, брат говорит, что очень способные ребята. Правда, у большинства обнаружилась склонность к искусству...

— Ну да?

— Честное слово. Но это, оказывается, очень хорошо. Высокая проба!..

«Высокая проба...— с иронией подумал Неворожин.— Дайте срок, мы вам покажем «высокую пробу».

Он больше не слушал. Но разговор становился все громче, все оживленнее. Тогда он встал, чтобы закрыть дверь, и увидел: в коридоре у окна стоит Трубачевский.

Ночь была такая, что и это могло показаться бредом. Он взглянул еще раз: Трубачевский, исхудавший, но веселый, с хохолком на затылке, с полотенцем через плечо, стоял перед ним, разговаривал и смеялся.

— Куда он едет? — Неворожин не заметил, что сказал это вслух.

Он стал торопливо складывать плед и тут только опомнился, заметив, что сосед рассматривает его поверх очков внимательно и спокойно. Он бросил плед, закурил.

— Решил перейти в другой вагон, — криво улыбаясь, объяснил он, — нашел попутчиков. А то в Харькове, пожалуй, насядут.

Непонятно было, куда насядут, купе двухместное, но сосед неопределенно качнул головой и сказал:

— Да, пожалуй.

— Вообще тряский вагон. Я всю ночь не спал. Чуть задремлешь — тарахтит! Сил нет.

— Я слышал, что вы не спали, — сказал сосед.

— Да?

— Вы даже бредили.

— Ну? Вот уж чего со мной никогда не бывает. О чем же я бредил?

— С какой-то девочкой разговаривали. Потом адрес один всю ночь повторяли.

— Что за вздор!

В коридоре уже никого не было, он сложил вещи, простился и вышел.

Поезд подходил к станции, и уже начинали наезжать и отходить назад товарные вагоны, бабы с круглыми корзинками в руках, скрещивающиеся и разбегающиеся рельсы.

11

По одному тому, как Трубачевский убеждал себя, приехав на вокзал за два часа до поезда, что все решено, он догадывался, что еще ничего не решено, песмотря на прощальные письма. В десять минут Карташихин доказал бы ему, что все это — просто глупо.

«Может быть! Но я не мог поступить иначе!»

Но вот оборвалось за последним вагоном темно-серое здание вокзала, прошла — еще медленно — водокачка, и через несколько минут открылся город, в котором произошло все, что произошло, и случилось все, что случилось,— как рассказывают в «Тысяча и одной ночи». Теперь решено!

Ему было грустно, но он ни о чем не жалел. Допустим, что все обиды и неудачи остались в этом городе и что он ни одной из них с собой не увез. «Рабочая гипотеза, но, черт возьми, на первое время она мне пригодится!»

Огни уже зажглись и далеко слева, на мосту, стояли ровной полосой. С обеих сторон шло темное поле, и мелкий снег был виден в скошенном бегущем свете, падавшем из окон вагона.

Он докурил и пошел знакомиться с попутчиками. Их было трое: техник, возвращавшийся из отпуска на Днепрострой, крестьянка, красивая и молчаливая, в надвинутом на лоб платке, и старый рыбак с Ладожского озера, ехавший в Харьков к сыну, директору электрической станции, маленький, с висячей смешной губой и пришлепнутым носом.

Всю дорогу старик рассказывал о себе, и все заслушались — так интересно. Он везде был и все видел.

— Что спец, — сказал он, когда техник, думая польстить, назвал его спецом, — теперь все спецы под горой лежат. А я коренной, с осьми лет, охотник. Сколько раз мне с волком пришлось сойтись, вот как с вами. И ничего. Отошел с дороги, дал ему по чушке и убил. Он уже вот как окрысился на меня последнее время! Я знаю, где ударить.

— А на медведя ходил? — спросил техник.

— На медведя — нет. А вот как гиляк-тунгус на медведя охотится — видел. Сойдутся вот как, — он показал, — левой рукой даст ему шапку в зубы, а правой — раз! Ножом! И убьет.

— Значит, везде был,— сказала женщина и засмеялась.

— Не везде, я говорю, а только где был.

Техник, говоривший с Трубачевским о наших иностран-

ных делах, упомянул Внешторг, и оказалось, что старик целый год служил агентом Внешторга.

— Вот мне от Нешторга этот шрам.— Он показал выпуклую белую полоску за ухом.— Я был агент, пушнину скупал. И вот два человека встретились ночью. А мне сто миллионов было дано, тогда деньги были такие. Это под Челябинском было. Вот они и говорят: «Давай деньги». А я думаю: все равно пропал. Вынул револьвер и говорю: «Уйдите». Один испугался, побежал, а другой, вижу, в меня выстрелил. Как он не убил в упор, я не понимаю. Должно, у него было плохо припыжено. А в это время по дороге едут. Едут, а он меня ножом бьет. Я боролся с ним руками. Потом уже не помню. Только помню, что отполз в лес и лежу. И деньги при мне. А там бор глухой, снегу навалено. Голова у меня вся в пороху, только и чувствую, что воняет. Приполз домой, стучусь. Старуха выходит. «Петя!» — «Я»,— говорю. Она заплакала. А я говорю: «Ты спасибо скажи, что живой пришел». Дочери соскочили, тоже заплакали. Я им говорю: «Ну, зажигайте огонь!» Они: «Батюшка!» — «Ничего, идите за Павлом». А Павел у нас председатель Совета был. Ну, они побежали. Он приходит: «В чем дело?» А я говорю: «Вот, смотри, в чем дело». Снял шапку, весь в крови, как баран. Семь пробоин. Я ему документы все показал, от Нешторга. Он видит — государственный работник я, на все разрешение, на порох, на дробь, охотницкий билет. Он мне до утра заснуть не дал, все акт составлял. Ну, потом самовар поставили, стал чай пить... Давно время. Теперь мне поздно о награде хлопотать, а то бы дали.

Он рассказывал Трубачевскому; техник, которому тоже хотелось рассказывать, не очень слушал и не очень верил; женщина молчала.

— А теперь к сыну еду. У меня сын — инженер. В Харькове живет, директор. От второй жены. А дочери — это от третьей.

Женщина засмеялась, он строго посмотрел на нее и язвительно усмехнулся.

— Смеется, — сказал он, выпятив губу. — А что тут смешного? Меня в осьмнадцать лет мать силом женила. Три года прожил, потом ушел. Почему? А это уж секрет мой!.. Был я человек,— вдруг с удовольствием сказал он,— вот теперь и зубы все свои съел под старость. А был человек. Подходяще жил. И теперь ничего, да уж не то, года не те. Меня очень женщины любили,— добавил он и под-

мигнул Трубачевскому на соседку.— Три жены. А сколько я еще по чужим растерял!

— Тебя, может, и любили, дед, а ты любви не знаешь, — звонко сказала женщина.

Старик обиделся.

— Я не знаю,— сказал он Трубачевскому.— Сколько вы все знаете, я всемеро столько забыл.

Долго еще хвастался он, потом заснул. Женщина, красивая и прямая, сидела, надвинув платок на лоб, и молчала. Трубачевский разговорился с техником.

Техник был молодой, тощий и черный, быстро говорил, черные глаза блестели. Он почему-то обрадовался, узнав, что Трубачевский — историк.

— Как сейчас история? — живо спросил он с таким выражением, как будто история почти ничем не отличалась от подъемного крана, о котором он только что рассказывал. — Совестно признаться, а ведь я последнее время почти ничего не читал.

Трубачевский назвал ему несколько книг.

— Хорошие, да? А вы к нам? Лекции читать?

— Может быть, — покраснев, пробормотал Трубачевский.

— Слушайте, непременно. Мы все придем, у нас очень интересуются историей.

Но дерриками и грейферами у них интересовались, очевидно, еще больше, чем историей, потому что он принялся рассказывать о них, и так занимательно, что Трубачевский, которому нужно было выйти, дождался того, что нужно было уже не идти, а бежать.

Чтобы не мешать соседям, они вышли в коридор и проболтали до двух часов ночи. На остановках сонное дыхание слышалось из соседнего купе, и минутами чей-то голос — приглушенный, но как будто знакомый. Трубачевский осторожно закрыл дверь, но, должно быть, замок был испорчен, потому что она вновь распахнулась.

О чем они говорили? О чем угодно, начиная с реорганизации Академии наук и кончая войной между Боливией и Парагваем. Потом техник заговорил о себе и, запустив в шевелюру худую волосатую лапу, объявил, что уже три дня как женат. О жене он сказал, что ничего особенного, простая девушка, а потом целый час доказывал, что она — умная, красивая, веселая и вообще замечательная во всех отношениях. Трубачевский поздравил его. Он засмеялся.

— И очень начитанная,— как бы между прочим сказал он,— в частности по истории...

Лежа в темноте на верхней полке, Трубачевский перебрал в памяти этот разговор. «Откуда такая доверчивость, простота? Ведь он меня не знает. Кто они, эти люди? Этот старый рыбак, с таким вкусом доживающий жизнь, этот молодой человек двадцати двух лет, мой сверстник, которому все так ясно, эта женщина (он почему-то уважал и ее, хотя едва ли она сказала десять слов за весь вечер). Таких тысячи, может быть, миллионы. Знают ли они, чего ждать, чего требовать от жизни? Они не носятся сами с собой, не думают только о том, как бы побольше нашуметь. Но это кажущаяся обыкновенность. Не они, а я жил обыкновенно, со всеми своими мечтами о славе, надеждами, на которые у меня нет еще никакого права!»

Это была грустная мысль, но чем больше он думал, тем легче ему становилось. Нужно только понять ее до конца — и тогда все будет хорошо и ничто не страшно...

Он проснулся, потому что техник чихнул и сам себе пожелал здоровья.

— Доброе утро! — обрадованно сказал он, хотя Трубачевский открыл еще только один глаз, и тот наполовину.— А я тут сижу один и скучаю. Все спят.

Пришлось открыть и второй глаз. Через десять минут они стояли в коридоре и спорили о фордовской системе. У техника был брат, работавший в лаборатории Института труда, а у брата своя, очень своеобразная точка зрения на фордовскую систему. Они сошлись на том, что все это очень спорно: и то, что говорит Форд, и то, что говорит брат.

Так в разговорах, в курении, в чтении прошел весь длинный дорожный день, а к вечеру Трубачевский принялся за письма. Он снова написал отцу, потом Репину и Машеньке. Машеньке он писал очень долго.

Стемнело, и самого письма было уже почти не видать, потом рассвело — проводник зажег фонари,— а он все писал. Сперва он написал вдвое больше, чем хотел, и слишком горячо, потом вдвое меньше и слишком сухо. Наконец догадался, что ничего не нужно — ни раскаиваться, ни извиняться, а нужно только проститься с Машенькой и пожелать ей счастья. Так он и сделал и, запечатав письмо, на ближайшей станции бросил его в ящик.

— Что же вы-то куру? — спросил техник, когда, вернувшись, Трубачевский остановился подле вагона.

— Что?

— Здесь куры знаменитые. Видите, все кур тащат.

И действительно, станция была завалена жареными курами. Мальчишки молча показывали кур пассажирам, пассажирки неторопливо щупали кур и, взяв за ногу, поднимали. У соседнего вагона старуха продавала пять штук — дешево, но оптом. Над ней смеялись, и вдруг, растолкав толпу, толстяк в развевающейся шубе молча продел кур между пальцами, заплатил и ушел. Хохот раздался ему вслед, и даже сама старуха растерянно засмеялась.

Полной грудью вдыхая морозный вечерний воздух, Трубачевский стоял на нижней ступеньке вагона. Пора было вернуться, а ему не хотелось. В маленьких зданиях за вокзалом горели огни, и там была такая тишина, темный снег, темное мягкое небо!

— Хорошо как,— негромко сказал он технику, который в одном пиджаке подпрыгивал с ноги на ногу на площадке.

— Хорроше! — думая, что он хвалит кур, отозвался техник.

Трубачевский улыбнулся. И верно, куры были хорошие, а он еще утром съел последнюю ленинградскую котлету.

— Пожалуй, и я куплю,— нерешительно сказал он.

— Конечно. Только вы за платформу идите, там дешевле. И куру, куру, а то вам петуха всучат...

Трубачевский уже бежал по шпалам.

Только приторговал он у мальчишки жирную куру, как ударил колокол, и все бросились по вагонам. Он успел бы, однако, купить ее и даже вынул бумажник, но в это время снова что-то случилось,— и на этот раз не пассажиры, а торговцы ринулись врассыпную, подбирая товар и наскоро захлопывая корзинки. Минута — и Трубачевский остался один на опустевшей платформе. Он оглянулся с недоумением: прямо перед ним, небритый и бледный, в грязном светлом пальто, в грязной фуражке, стоял Неворожин...

Через два или три часа, когда поезд был уже в ста верстах от этой памятной станции, Трубачевский догадался, что вовсе не от Неворожина, а от милиции убежали торговки. Но тогда, в первую минуту, это не показалось

Трубачевскому странным, он и сам невольно отступил на шаг.

— Напишите им, передайте,— чуть шевеля губами, сказал Неворожин,— меня везут в Москву.

Два стрелка дорожной охраны шли за ним, и один легко коснулся его плеча, когда он остановился перед Трубачевским. Еще минута, и, пройдя вдоль освещенных окон вокзала, все трое скрылись за углом.

Трубачевский протер кулаками глаза и посмотрел направо, налево. Было или не было? Что за черт!

— Скорее,— кричал техник,— вот чудак! Опоздаете!

Поезд тронулся, Трубачевский догнал свой вагон...

Давно уже за лесом, вдруг налетевшим на поезд, исчезла станция, желтые и синие огни в последний раз мигнули и пропали, кривые заборы, защищавшие путь от заносов, давно мелькали вперемежку с ровно подрезанными деревьями, покрытыми нетронутым снегом, а он все стоял на площадке и думал об этой встрече. Папиросы были выкурены все до одной, стало холодно, и проводник сказал, что нужно идти в вагон, а он все стоял и думал.

12

Это был последний зачет по органике. Карташихин сидел как на иголках и чуть не срезался, хотя вопрос был легкий. В два часа Машенька должна была ждать на улице Скороходова, около загса. Все увязались за ними и так шумели, что бравая девушка, начальник стола разводов и браков, выглянула и сказала:

— Не мешайте работать.

Что за плакаты висели в маленькой комнате загса! К жестоким родителям общество «Друг детей» обращалось в стихах. Хомутов, дурачась, переделал их:

Не бей ребенка сапогом,
Лопатой, скалкой, утюгом,
От этого, бывает,
Ребенок захворает.

Это было глупо, но все смеялись...

Счастье, то непередаваемое движение теплоты в сердце, которого не понял бы никто, кроме нее, началось, когда пришел Лукин,— и Машенька, в новом длинном платье, которое так шло к ней, выбежала навстречу.

— Что такое? — спросил он, остановившись в дверях и с недоумением глядя на пальто, горой лежавшие в передней. Он ничего не знал.

Карташихин видел, как Машенька с разбегу остановилась перед Лукиным, по-детски открыв рот. Потом улыбнулась и, вдруг подняв голову, молча прошла на кухню, как важная дама. Лукин остолбенел. На пороге она обернулась, подхватив длинное платье, и церемонно присела...

Очень хорошо, что о них наконец забыли и можно было удрать из шумной, накуренной комнаты и посидеть немного у Матвея Ионыча, на той самой кровати, на которую он никому не позволял садиться. Здесь было темно, занавески задернуты, и только одна неширокая полоса уличного света лежала на полу, под ногами. Потом глаза привыкли, и все стало видно — даже маленькие белые пуговицы на Машенькином новом платье.

— Который час? Устала?

— А ты? Одиннадцать. Ну, как моя Танька?

— Если бы не ты, я бы на ней женился.

— Еще не поздно!

Он засмеялся, быстро поцеловал ее — и неудачно, в нос. Странно, но голоса за стеной становились все глуше. Он поцеловал еще раз — удачно. Да, почти исчезли. Открытие! Открытие нуждалось в проверке, и они проверяли его до тех пор, пока Матвей Ионыч с трубкой в зубах не появился на пороге.

— Белого две бутылки мало,— сказал он.— Спирту ложка. Теперь корица. Была.

— Корица на кухне,— сказала Машенька.— На полке.

И Матвей Ионыч ушел. Он не вернулся — должно быть, нашел корицу. И они нашли, когда через несколько минут Машенька зажгла свет, чтобы причесаться. Корица лежала на комоде.

Разговор, пьяный, но серьезный, начался, когда Хомутов объявил, что он инстинктивно не может заставить себя подойти к хорошо одетому человеку, а Виленкин возразил, что это пережиток эпохи военного коммунизма.

— Ага! Значит, через пять лет все будут хорошо одеты?

— Нет, просто интеллигенция ничем не будет отличаться от крестьян и рабочих.

— Что он мне толкует — пять лет! Через пять лет меня, может быть, уже и со счетов скинут.

— Тебя и сейчас нужно скинуть,— возразил Виленкин,— если ты думаешь, что каждый человек в галстуке — вредитель.

— Но, черт возьми,— повторял Хомутов,— я не согласен! Я сам хочу жить, мне двадцать два года.

— За что боролись? — с иронией вставил Виленкин.

— За что боролись? — с пьяной серьезностью повторил Хомутов.

— На Тургояке...

Хомутов опустил голову. На Тургояке была колония для малолетних преступников, в которой он провел три года.

Карташихин посмотрел на Виленкина и сердито пожал плечами.

— Вот это уж совсем глупо,— нехотя сказал он.— И вообще, ребята, вы что? Вы пришли сюда отравлять воздух философией? Тогда убирайтесь вон!.. Подумаешь! Сам хочу жить! — сказал он Хомутову.— Так ведь как жить? Можно жить по маленькому счету, а можно и по большому...

— По-моему, большой счет — это такое отношение к жизни, которое создано революцией,—сказал Карташихин.— А Хомутов говорит, как пошляк, которому ничего не нужно. Дом с садиком где-нибудь в Тарусе, жена и дети, тоже пошляки,— вот его счастье.

— А твое? — вдруг спросил Лукин.

Карташихин задумался. Трубачевский вспомнился ему. «Нужно доказать и себе, и другим, что ты дорого стоишь». Бедняга!

— Не знаю,— наконец сказал он.— У меня большие желания. По-моему, иначе и жить не стоит.

Матвей Ионыч явился в эту минуту с глинтвейном, который он варил по морскому способу целый вечер, и разговор оборвался. Глинтвейн был очень хорош, но все объявили, что мало корицы. Матвей Ионыч развел руками и ничего не сказал. Машенька покраснела.

В передней простояли ровно час. Сперва ждали Таньку, которая переодевалась у Карташихина в комнате, и Машенька уговаривала ее надеть что-нибудь потеплее,— с вечера ударил мороз. Потом выслушали Лукина, который, оказывается, на прошлой неделе спас мальчика, попавшего в полынью у Строганова моста.

Потом оказалось, что Хомутов, на которого положили пальто, заснул и во сне скрежещет зубами. Тут всем стало

ясно, что вечер кончен, пора домой, и, громко разговаривая, все стали выходить на лестницу, с которой пахнуло холодом и темнотой.

Карташихин проводил гостей и вернулся.

Машенька стояла у телефона — бледная, с беспомощными глазами.

— Что случилось?

Она повесила трубку.

— Нужно идти.

— Куда?

— Дима арестован.

13

Двор был темный, только в корпусе парового отопления, где всегда что-то двигалось и стучало, светились грязные, замерзшие окна. Они молча перебежали двор. У Машеньки горжетка сбилась на спину, расстегнулась. Карташихин быстро, на ходу застегнул горжетку.

— Не нужно, жарко.

— Ты простудишься.

— Может быть, я не поняла? Она сказала — Дима заболел.

— Не знаю,— холодно возразил Карташихин.

Она обернулась. Он шел, пахмурившись, сердито подняв брови, глядя перед собой с равнодушным выражением.

Варвара Николаевна открыла им. Молча они прошли в столовую. Мужское белье, подтяжки, наволочки валялись на полу, ремни, грязный заплечный мешок,— здесь собирался в дорогу Дмитрий. Его арестовали час назад — и не ГПУ, а уголовный розыск. Просто пришел один человек, очень вежливый, в штатском, и сказал, что он арестован.

— И обыска не было?

— Почти. Только оружие искали. Я испугалась, Митя как-то говорил, что у него есть револьвер. Но они не нашли. Наверно, и не было.

Она была взволнована и испугана, но почему-то в бальном платье, длинном, открытом, из мягкого синего шелка, падавшего широкими трубами до самого пола, с карманом на спине, вроде торбы. Карташихин нечаянно наступил на краешек платья — и отскочил с неприятным чувством, точно под ногой было что-то живое.

— Что он сказал вам? — спрашивала Машенька.— Что он думает? Он волновался? Почему угрозыск?

— Это ничего, это лучше. Он как-то говорил, что познакомился с бандитами. Это бандиты.

— Как «бандиты»?

— Бандиты, воры. Он хотел даже ко мне одного привести, но я не позволила. Я уверена, что это — они. Они на чем-то попались, и его, как свидетеля...

Машенька смотрела на нее во все глаза. Нет, она говорила серьезно!

— Как же вы...

— Не бандиты, а подлец Неворожин,— пробормотал Карташихин.

Варвара Николаевна посмотрела на него с удивлением.

— Борис Александрович — мой друг,— быстро сказала она и побледнела,— я не позволю, чтобы какой-то мальчишка говорил дерзости. Вам-то что до него? Машенька, я больше не нужна?

— Постойте,— мрачно сказал Карташихин.— Я давно хотел... Я получил от Трубачевского письмо. Он просит узнать: вы жили с ним по поручению вашего друга или по собственному желанию?

Трубачевский ничего не просил узнавать, и вообще глупо было затевать этот разговор в такую минуту. Но он был в бешенстве. Со злорадством заметил, что она побледнела, как на бумаге, проступили черные тонкие брови, толстые, накрашенные ресницы.

— Как он смеет?!

Она повернулась, пошла к дверям. Карташихин — за ней. Машенька хотела удержать, он отмахнулся.

— А потом выбросили его вон, когда он не согласился? Он просил узнать — сколько вы на этом заработали от вашего друга?

Она шла прямо и была уже в своей комнате. Карташихин замолчал. Варвара Николаевна плакала. Она стала искать что-то в туалете, не нашла и вынула из сумки платок. Потом села у туалета. Карташихин растерялся. Вдруг он увидел, что она плачет, стараясь, чтобы слезы не попали на платье. Ресницы были накрашены, она придерживала их пальцами и сердито стряхивала слезы. Он вышел.

Машенька шепотом ругала его. Он молча расхаживал по комнате с руками в карманах.

— Это свинство так накидываться на женщину.

— Очень может быть.

Он, оказывается, грубиян, она никогда не думала, что он может так нагрубить, она его не узнала.

— Каков есть.

Он должен извиниться.

— Нет.

Она знает, что он злится из-за нее, но он должен наконец понять, что это глупо! У нее есть брат, она не хочет отказываться от него и не откажется никогда в жизни.

— Пожалуйста.

Она ничего не требует от него и вообще не понимает, зачем он за ней увязался.

— Я могу уйти.

— До свиданья!

Они бы поссорились, но в эту минуту Варвара Николаевна открыла дверь из передней и сказала, что она уезжает.

— Ну, пожалуйста, не нужно,— чуть не плача сказала Машенька.

Варвара Николаевна с досадой пожала плечами.

— Ах, боже мой, что за вздор,— сказала она быстро.— Неужели вы думаете, что я уезжаю потому, что поссорилась с вашим... мужем. Я еду на вечер. Уже поздно, но я все-таки еще надеюсь увидеть нужных людей и поговорить о Мите. Вы останетесь? Если нет, разбудите, пожалуйста, Анну Филипповну — впрочем, она, кажется, не спит — и скажите, чтобы она за вами закрыла.

Она уехала, а Машенька легла, взяв с Карташихина слово, что завтра он поможет ей узнать, где Дмитрий. Она уже спала, подогнув ноги, подложив под щеку маленький кулак, когда Карташихин вернулся из ванной. С минуту он смотрел на нее. Она казалась старше во сне. Рот был сжат, она и во сне огорчалась. Как будто почувствовав, что на нее смотрят, она вздохнула, повернулась, и нога — нежный сгиб с другой стороны колена — стала видна под сползающим одеялом. Он тихо поправил одеяло и тоже вздохнул. Два часа. Все могло быть другим сегодня ночью, если бы не этот проклятый арест...

Ему не спалось, и, пролежав с полчаса, он стал бродить по квартире. Пустота. Кто-то неровно дышал на кухне; он подумал, что собака, и, наклонившись над низкой кроватью, разглядел в темноте не то нос, не то подбородок старухи. Пустота! Пустая квартира. А ведь все, кажется, на своих местах?

Он забрел в кабинет Сергея Ивановича и зажег настольную лампу. Ого, сколько книг! Все стены — от пола до потолка, и на окна навалены, и на радиатор. Есть что почитать,— пожалуй, и жизни не хватит! Он сел в старое скрипучее шведское кресло,— должно быть, старик так же качался и скрипел креслом за работой. Жаль его!

Холодный дом. Жильцы выехали. Зачем этой женщине книги? Имущество — и вещи и мысли — поручено государству. Другие наследники — не по крови — въедут в этот дом, оботрут пыль, прочитают книги.

Он наудачу взял одну из них и вернулся. Машенька спала, и лицо ее с каждой минутой становилось спокойнее. Она как будто забыла что-то и старалась вспомнить во сне, а потом перестала стараться...

1936—1980

НОЧНОЙ СТОРОЖ, ИЛИ СЕМЬ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ, РАССКАЗАННЫХ В ГОРОДЕ НЕМУХИНЕ В ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ НЕИЗВЕСТНОМ ГОДУ

ПОВЕСТЬ



ГОРОДОК НЕМУХИН

Чего только не говорят о Немухине! Говорят, например, что у каждого командированного начинает звенеть в левом ухе, когда он приезжает в этот город, и так и звенит, пока он не управится со своими делами. Говорят, что в Комиссионном Магазине продаются Ковры-вертолеты. И, наконец, говорят, что самым большим влиянием в городе пользуется бывший Леший Трофим Пантелеевич, с блеском закончивший Институт Усовершенствования Леших и Домовых.

Как ни странно, все это почти правда или по меньшей мере похоже на правду. Командированные утверждают, что у них действительно звенит в ухе, но не в левом, а в правом, Ковры-вертолеты продаются, и даже новейшей конструкции, с шелковыми парусами. Трофим Пантелеевич как жил, так и живет в роще недалеко от Поселка Любителей Чистого Воздуха, и в его жизни ничего не изменилось, кроме того, что недавно он купил новый тулуп.

Конечно, многое может показаться невероятным. Неужели, например, Великий Завистник действительно превратил Таню Заботкину в сороку? Представьте себе, превратил! Неужели аптека «Голубые Шары» действительно прилетела за своим Лекарем-Аптекарем в Немухин? Представьте себе, прилетела! Неужели в газете «Немухинский голос» появилось объявление: «Для строительства воздушного замка нужны летающие мальчики!» Появилось, и я читал его своими глазами.

Однако нельзя отрицать, что Немухин остался, что называется, белым пятном на географической карте, и эта несправедливость глубоко огорчала дядю Костю, в особенности, когда, выйдя на пенсию, он вернулся в родной городок. Он был клоуном, и не каким-нибудь, а музыкальным, умеющим играть на контрабасе, флейте, кларнете и скрипке, не говоря уже о ложках и барабане.

Правда, его фамилия была Лапшин, а не Попов, но он считал, что в некотором роде он даже выше Попова. Неизвестно, например, любит ли знаменитый Попов совать нос в чужие дела? А дядя Костя любил — это называлось у него поразмяться. Неизвестно, как он узнавал, что кому-нибудь нужно помочь, но узнавал, и почти всегда без ошибки. Только однажды он пришел к старушке с хитроумным, собственного изобретения костылем и получил этим костылем по шее, потому что ногу сломала другая старушка.

Даже клоуны, выйдя на пенсию, начинают скучать. Заскучал и дядя Костя. Только по воскресеньям, когда к нему во двор набирались ребята и он жонглировал ложками, играя одновременно на барабане, у него не сосало под ложечкой. Прочие шесть дней — сосало, да так, что он не находил себе места. Кончилось это тем, что он решил сунуть нос в городские дела, но не в практическом, а в историческом смысле.

Мне случалось навещать его, и должен сознаться, что именно я посоветовал ему заняться Путеводителем, в котором — это было совершенно очевидно — нуждается Немухин.

В самом деле, туристы, да и не только туристы, должны были знать, когда построена Новая Пекарня и жив ли еще Ученый Садовод Башлыков. Важно было также объяснить, почему и при каких обстоятельствах немухинцы стали людьми самолюбивыми, постоянно думающими, как бы не ударить лицом в грязь, и не упускающими случая показать, что они ничем не хуже мухинцев — жителей соседнего городка, расположенного на другой стороне речки. Кстати, немухинцы называли ее Немухинкой, а мухинцы — Мухинкой.

Путеводитель — сложное дело, в особенности для бывшего клоуна, и не скрою, что именно я намекнул, что прежде всего ему должны помочь старожилы. Сестры Фетяска, например, были старше его лет на пятнадцать, могли ли они рассказать ему о чем-нибудь истинно немухин-

ском и в то же время значительном с исторической точки зрения? Конечно, могли. Но прежде чем посоветоваться с ними, дядя Костя с большим блокнотом под локтем отправился в Городской Музей.

К сожалению, Музей был закрыт. «Санитарный день» — гласила надпись на входной двери. Но по самой этой надписи, выгоревшей и грязной, было ясно, что санитарный день затянулся по меньшей мере на полгода, и, заглянув в окно, дядя Костя убедился в этом. Пол был усеян бумагами. Экспонаты — так называются предметы, выставляемые на обозрение,— не стояли, а валялись на полках — череп доисторического человека (очевидно, одного из первых обитателей Немухина) рядом с подзорной трубой, керосиновая «лампа — молния» рядом с кочергой, которой, очевидно, было не место в Музее.

Дядя Костя позвонил в Музей — и ничего, кроме звонка, не услышал. Деликатно постучав в дверь рукой, он, помедлив, менее деликатно постучал ногой. Тишина. Ничего не оставалось, как пойти в Отдел Охраны Памятников Старины и спросить, в чем, собственно, дело?

Не стану рассказывать о том, как через какие-нибудь две недели дядя Костя стал Директором Музея. В течение этих двух недель его уговаривали сперва Отдел Охраны Памятников Старины, потом Старый Трубочный Мастер, потом райсовет, потом сестры Фетяска, потом вновь райсовет. Напрасно он уверял, что никогда ничего не собирал, кроме марок,— и то в детстве. Напрасно доказывал, что не в силах просидеть целый день среди предметов старины, не выкинув какое-нибудь сальто-мортале — так некогда назывался смертельно опасный акробатический номер.

— Это хорошо, это прекрасно, что вы бывший клоун,— возражали ему.— Мы как раз искали не просто порядочного человека, но человека искусства. Не забывайте, что вы коренной немухинец и, значит, просто обязаны оказать родному городу эту услугу. Кроме того, как пенсионер, вы, очевидно, скучаете?

— Скучаю.

— Ну вот, а с нашим Музеем не соскучишься!

И когда он, наконец, согласился, ему рассказали, что последним Директором Музея был некий Лука Лукич Мыло, подозрительная личность, очевидно, связанная с не-

чистой силой. Именно он однажды вывесил у подъезда надпись «Санитарный день», а с черного хода стал продавать старые ковры, люстры и мебель. Конечно, его отдали под суд, но он куда-то сбежал или даже улетел, потому что его, по слухам, видели летящим над городом по направлению к югу.

...Поначалу дела пошли недурно. Вместо надписи «Санитарный день» дядя Костя вывесил новую: «Санитарные сутки». Он надеялся навести порядок в Музее в течение суток. И, может быть, это удалось бы ему, если бы он не начал с полотняной старинной карты Индийского океана. Он снял ее со стены, чтобы вытереть пыльной тряпкой, и заметил на оборотной стороне — не стены, разумеется, а карты — любопытный рисунок.

Неизвестный художник изобразил обруч — в этом не было бы ничего особенного, если бы обруч был похож на те, которые бондари набивают на бочки для крепления досок. Но нет! Лента, свернувшаяся в большое кольцо, была обвита серебристой змеей, поднявшей узкую головку с опасно сверкающим взглядом. Змея как бы охраняла семь предметов, стоявших или лежавших на внутренней стороне кольца: подзорную трубу, старинный деревянный телефон, модель фрегата с раздутыми парусами, пушечку елизаветинских времен, лакированную шкатулку, музыкальную табакерку с черепаховой крышкой и медный самовар.

Но это было еще не все: в центре обруча живыми, сохранившимися красками был изображен высокий старик, закинувший полу широкого плаща на плечо и снимающий перед зрителями конусообразную шляпу. Из-под плаща торчали костлявые ноги, длинные руки, а лицо... Огромный, озорной, самолюбивый нос был воткнут между морщинистых щек, упрямые губы над острым подбородком как будто говорили: «Я — это я, и прошу вас с этим считаться». По задумчивым, гордым глазам можно было, пожалуй, вообразить... Но, не полагаясь на воображение, дядя Костя помчался к сестрам Фетяска.

...Надо сказать, что Фетяска — старинная фамилия, заставляющая думать, что сестры были родом из Румынии. Но на самом деле они родились в Немухине, из которого

выезжали редко, а выходили часто, особенно осенью, когда в роще за Немухинкой появлялись подберезовики — они любили грибы.

Фекла Никитична хозяйничала, а Зоя Никитична с утра до вечера раскладывала пасьянсы. Кроме грибов, они были любительницами кофе, и не какого-нибудь, а турецкого, который варился в медных кастрюльках с мудреным названием. Прежде чем снять кастрюльку с огня, надо было произнести мусульманское заклинание.

И дядя Костя, едва войдя, немедленно получил свою чашечку кофе. Однако, пригубив ее и сказав, как всегда: «Умопомрачительно!», он, не теряя времени, развернул карту Индийского океана сперва с лицевой стороны, а потом с обратной и сестры, вооружившись очками, ахнули, оцепенели от изумления и заговорили почему-то по-французски.

— Нил Сократович! — вернувшись к русскому, в один голос сказали они.

— А кто такой Нил Сократович?

— Ночной Сторож!

— Не может быть! Что же он так? В плаще и высокой шляпе?

— Да, он всегда именно так!

Дядя Костя открыл блокнот.

А надо сказать, что, принимаясь за Путеводитель, дядя Костя составил план:

«1. История. Все достойные уважения путеводители начинались с истории.

2. Знаменитые здания, такие, например, как Новая Пекарня или аптека «Голубые Шары».

3. Коренные жители, отлучавшиеся из города только по неотложным делам.

4. Командированные, среди которых были Герои Социалистического Труда, академики и поэты».

— Подходит,— прочитав план, сказали сестры.

— Кто подходит?

— Нил Сократович.

— Почему?

— Потому что он был и историком, и коренным жителем, и командированным, и хранителем знаменитых зданий.

— Каким же образом?

— Очень просто! Во-первых, он всегда рассказывал

истории. Во-вторых, по совместительству работал ночным сторожем — и в Музее, и в аптеке, и в Новой Пекарне. В-третьих, он родился в Немухипе и был увезен родителями, едва ему исполнилось два года, а в-четвертых — вернулся через пятьдесят лет, потому что его командировал как собственного корреспондента журнал «Новости науки и техники».

— Каким же образом он попал в ночные сторожа?

— Очень просто. Его уволили из журнала.

— Почему?

— А он послал корреспонденцию о том, что чучело на огороде ожило и запустило в ворону шляпой. Не поверили, чудаки.

— А почему уволили из ночных сторожей?

— Потому что он ночью спал, а днем рассказывал детям сказки.

— Где же он теперь?

— Неизвестно. Обиделся и ушел.

Дядя Костя взглянул на рисунок.

— И что же, он был так высок?

Сестры снова поговорили по-французски.

— Скорее долговяз,— возвращаясь к русскому, объяснили они.— Неуклюж. Одному податному инспектору, прогуливавшему собаку, сказал, что у собаки человеческое лицо, а у него — собачье.

— Так прямо и сказал?

— Прямо. Он всегда говорил, что думал. И между прочим, первый уличал в воровстве Мыло.

— Какое мыло?

— Директора Музея, Луку Лукича.

— Уличал — и что же?

— Уволили!

— Кого?

— Конечно, Нила Сократовича. А Мыло уже потом, когда он окончательно проворовался.

— Интересно,— сказал дядя Костя, торопливо записывая в блокнот все, что ему рассказали.— А как вы думаете, почему Ночной Сторож нарисовал в обруче именно эти предметы? Пушечку, фрегат, шкатулку, старинный телефон? И почему обруч обвит серебристой змеей? И почему...

Еще долго продолжались бы эти расспросы, если бы сестры не сказали одновременно:

— Не знаем!

Но когда дядя Костя, выпив еще одну чашечку душистого кофе, простился, они посоветовали ему заглянуть к Старому Трубочному Мастеру.

— Во-первых, Нил Сократович часто заходил к нему, они были друзьями. А во-вторых, в нашем Немухине нет человека догадливее, чем Трубочный Мастер.

Тот, кто вообразил бы, что у Трубочного Мастера нет ни имени, ни отчества, ни фамилии, попал бы, как говорится, впросак. У него было два имени и, хотя отчество — одно, фамилия тоже двойная. Но для немухинцев все его имена и фамилии давно потонули в трех словах: «Старый Трубочный Мастер».

...Самыми ценными считаются обкуренные трубки, поэтому в его маленьком домике всегда стоял дым — тот самый, о котором почему-то говорят «дым коромыслом». В этом дыму с трудом можно было различить хозяина, который сидел у станка, вытачивая очередную трубку.

Он очень боялся, что врачи запретят ему курить. На дощечке у ворот вместо: «Внимание! Злая собака!» было написано: «Внимание! Врачам и даже членам Академии Медицинских Наук вход воспрещен!» Всех он спрашивал: «Простите, а вы случайно не врач?» И когда дядя Костя постучался и вошел, держа под локтем свернутую карту Индийского океана, он тоже начал было: «Простите, а вы случайно...»

Не стану передавать разговор между ними. Скажу только, что Трубочный Мастер попросил развернуть карту и показать загадочный рисунок. Он долго и с наслаждением смеялся, рассматривая изображение высокого старика в плаще, из-под которого торчали длинные костлявые ноги, а потом грустно задумался и шумно вздохнул.

— Это был...— начал он.— Впрочем, почему был? Я уверен, что мы его еще увидим... Это был удивительный человек! Вечно таскал с собой рваный портфель, набитый рукописями, и читал их вслух, просили его об этом или не очень просили. Самолюбивый, обидчивый, добрый и всегда готовый все на свете перевернуть вверх ногами. Между прочим, Нил Сократович считал, что каждый человек в глубине души немного волшебник, но только очень немногие догадываются об этом. Помнится, он с математической точностью доказал мне, что Директор Музея, который его уволил,— злой волшебник или даже, может быть, мелкий бес.

— Лука Лукич?

— Вы уже знаете! Причем из Немухина Нил Сократович не уехал, а ушел. Он не признавал ни поездов, ни самолетов, ни автобусов, ни даже велосипедов. Мечтал об осле. И, кстати, не был бы собой, если бы не оставил загадки. Впрочем, ее легко разгадать. Подумайте сами, какое сходство между музыкальной табакеркой и моделью фрегата? Или между самоваром и старым телефоном?

Дядя Костя подумал.

— Разница есть,— сказал он простодушно.— Но сходства не вижу.

— А вам не приходило в голову, что в каждом из этих предметов можно что-нибудь оставить на память? Если, скажем, он вел дневник, почему бы не положить одни страницы в старый телефон, а другие — в музыкальную табакерку?

— А он вел дневник?

Трубочный Мастер снова взглянул на рисунок.

— Кто знает? — сказал он.— Теперь, мне кажется, надо найти в Музее эти предметы и выяснить, не являются ли они, так сказать, средством упаковки. Ох, Нил! Никогда не забуду, как он держал со мной пари, что нашу речку можно перейти на ходулях.

— И выиграл?

— Нет, проиграл.

По-видимому, немухинцы до поры до времени махнули рукой на свой Музей, иначе они не сократили бы число его сотрудников до двух и даже одного. Таким образом, дядя Костя оказался и старшим хранителем, и уборщицей, и сторожем ночным и дневным. Вот почему в первые дни своей работы он забыл и думать о загадочном обруче. И, должно быть, долго не вспомнил бы, если бы я случайно не оказался в Немухине и не заглянул в Музей.

Босой, голый до пояса, в подвернутых спортивных штанах, дядя Костя натирал пол, да так лихо, как будто всю жизнь был полотером.

— В описи значатся,— ответил он, когда я спросил о семи предметах, вписанных в обруч.— А в наличии — нет. Кроме подзорной трубы, через которую ничего не видно.

— А где она? Можно на нее взглянуть?

Подзорная труба — медная, позеленевшая, тяжелая, была раздвинута до предела — как будто нарочно, чтобы

показать, на что она способна. Но, взглянув через нее из окна на открывавшийся за Немухинкой лесок, я убедился в том, что дядя Костя был прав: отразился, да и то неясно, только мой собственный глаз.

— А вы не пробовали ее разобрать?

Это было не так-то легко — развинтить трубу, которую кто-то свинтил тому назад лет двести. Но дядя Костя, полюбовавшись натертым полом, помог мне, и мы вдвоем кое-как справились с верхним узким отсеком, в котором ничего не оказалось, кроме толстого слоя пыли. Во втором, более широком, мы нашли большую мертвую муху, а третий, четвертый и пятый были наглухо забиты смятыми, исписанными листами бумаги.

— Ну, вот! Напрасно старались! — проворчал дядя Костя.

Но я разгладил несколько страниц на колене и прочел: «Между тем в Немухине все было бы хорошо, если бы решительно все не было плохо». Почерк был неразборчивый, некоторые страницы так скомканы, что, казалось, ни слова нельзя было прочитать. Тем не менее я аккуратно сложил их и сказал дяде Косте:

— Э, нет! Не напрасно!

Без сомнения, вы уже догадались, что Трубочный мастер был прав: покидая город, Ночной Сторож оставил кое-что на память. И хотя самовар, модель фрегата и другие предметы только значились в описи, теперь стало ясно, что их нужно найти, потому что и они могли оказаться «средством упаковки», хотя более странную упаковку трудно было вообразить.

Так или иначе, до поры до времени надо было, конечно, заняться рукописью, которую мы нашли в подзорной трубе. Впрочем, дядя Костя потребовал, чтобы я свинтил трубу, а потом занялся рукописью, и хотя первая задача оказалась легче второй, пришлось провозиться до вечера, пока через протертые стекла я увидел на другой стороне Немухинки березовый лесок.

...Светало, когда я с помощью сильной лупы прочитал измятые страницы. Было ли это потерянное время? Может быть, может быть! Тем более что иные строки, похожие на куриные следы, прочесть было невозможно и

мне пришлось самому придумать, что случилось, скажем, между страницей семнадцатой и двадцать второй. А между тем это стоило сделать: ведь случившееся раньше не могло случиться потом. Плохо было только одно: эта маленькая история не могла пригодиться для задуманного дядей Костей Путеводителя. Немухинцы не нашли бы в ней ничего особенного, а туристы решили бы, что это просто сказка для детей или взрослых.

СЫН СТЕКОЛЬЩИКА

МАРИЯ ПАВЛОВНА БЕЖИТ ЗА ГОРЧИЦЕЙ

В Немухине давно решено было построить новую пекарню. Старая отслужила свое, облупилась, закоптела и — это было самое главное — перестала выпекать черный домашний хлеб с хрустящей корочкой, которым славился город.

Однако прошло немало времени, прежде чем Горнемухстрой поручил архитектору Николаю Андреевичу Заботкину приступить к постройке новой пекарни. Следует заметить, что он был одним из самых уважаемых людей в Немухине. Когда он переходил Нескорую, самую оживленную улицу города, милиционер заранее останавливал движение и все почтительно следили, как, поглядывая по сторонам, он неторопливо переставляет длинные ноги. Его уважали даже за то, что он всегда путал ужин с завтраком, а завтрак с обедом.

— Хорошо бы поужинать,— говорил он по утрам своей дочке Тане. А возвращаясь поздно вечером после работы, весело спрашивал ее: — Завтрак на столе?

В ясный солнечный день он выходил из дому с зонтиком, а однажды, когда Мария Павловна вымыла голову и повязала ее полотенцем, не узнал ее и стал расспрашивать, откуда она приехала и нравится ли ей город.

Впрочем, рассеянность нисколько не мешала ему. Однажды он, например, по рассеянности построил такую высокую пожарную каланчу, что с вышки был виден как на ладони не только Немухин, но и Мухин, лежавший довольно далеко за рекой. Мешала ему не рассеянность, а доброта. С каждым годом он становился добрее. Он беспокоился положительно о каждом немухинце, а в особенности о верхолазах, строивших Пекарню, после того, как

один из них оступился. Именно тогда он предложил выписать верхолазов из Летандии — есть такая страна, в которой люди умеют немного летать. Но Горнемухстрой убедительно доказал ему, что Министерство Дружелюбных Отношений не разрешит выписать для Пекарни иностранных рабочих.

Но больше, чем о любом немухинце, Николай Андреевич, без сомнения, заботился о своей дочке Тане. Дело в том, что у него три года тому назад неожиданно исчезла жена, Мария Павловна, Директор Института Красоты и, между прочим, одна из самых красивых и симпатичных женщин в Немухине. Это случилось так: за ужином она вспомнила, что забыла купить к сосискам горчицу, вскочила из-за стола, побежала в соседнюю лавочку и исчезла. Весь город искал ее несколько дней, лучшие собаки-ищейки были привезены в Немухин, и, как ни странно, самые талантливые из них упорно шли по одному маршруту: от дома Заботкиных к единственному в городе Комиссионному Магазину. Этим Магазином заведовал некто Пал Палыч, человек пожилой, глуховатый, подслеповатый и — что важно отметить — пугливый. Он считал себя знатоком старины и подчас решительно отказывался продавать казавшиеся ему старинными вещи.

— К сожалению, не могу,— говорил он, поглядывая на какие-нибудь фарфоровые часы, которые были старше его лет на десять.— Это музейная вещь и как таковая должна находиться в Государственном Музее Старинных Механизмов.

Но это обстоятельство, без сомнения, не имело ни малейшего отношения к исчезновению Марии Павловны. Она как бы растаяла в воздухе, и единственной хозяйкой в доме осталась Таня, которой только что исполнилось четырнадцать лет. Нельзя сказать, что она растерялась. Во-первых, она была почему-то уверена, что мама вернется. А во-вторых, надо же было кому-то готовить завтрак, который отец называл ужином, разогревать обед, который он называл завтраком, отдавать белье в прачечную, платить за газ и электричество, не говоря уже о чистоте в квартире.

При этом необходимо было еще и учиться, причем не в обыкновенной, а в Музыкальной Школе. Она играла на скрипке, а кто же не знает, что скрипка — один из самых трудных инструментов на свете.

Да, Тане было действительно трудно, и хотя ей не

очень хотелось, чтобы отец нанял домашнюю работницу, но иногда, пожалуй, и очень.

А надо сказать, что одна еще молодая женщина только и думала, как бы ей устроиться у Заботкиных. Дело в том, что ей никак не удавалось выйти замуж, хотя она была, с ее точки зрения, недурна собой. Кроме того, ей очень нравился Николай Андреевич.

«Ведь прошло три года с тех пор, как он потерял жену,— думала она,— а в таких случаях мужчины не прочь жениться снова».

И, принарядившись, она пошла к Николаю Андреевичу и сказала ему, что не может без слез смотреть на Таню, которая хозяйничает в доме, в то время как ей надо учиться.

— Между тем мне кажется,— сказала она,— я вполне могла бы ее заменить.

Однако были причины, которые могли помешать Николаю Андреевичу согласиться на ее предложение. Во-первых, эта женщина, у которой, кстати сказать, было странное прозвище — госпожа Ольоль, родилась и выросла в Мухине, а между мухинцами и немухинцами всегда были сложные отношения. В дни футбольных соревнований, например, хозяева поля независимо от результата дрались с гостями, а гости — с хозяевами поля.

Во-вторых... О, вторая причина заставила б задуматься Николая Андреевича, если бы он догадался о ней!

Дело в том, что госпожа Ольоль училась в Школе Ведьм и хотя была очень ленива, однако окончила четыре класса. В Министерстве Необъяснимых Странностей ей было разрешено совершить только одно необыкновенное чудо, а обыкновенных — не больше трех-четырех.

Так или иначе, никто не подозревал, что госпожа Ольоль — ведьма, хотя и с неоконченным средним образованием.

В конце концов Николай Андреевич все же нанял ее.

— Я буду называть вас экономкой,— сказал он,— тем более что домашних работниц в наше время нанять, говорят, очень трудно. Вы будете полной хозяйкой в доме, а Таню я попрошу только набивать мне трубку и следить, чтобы я не называл завтрак ужином, а ужин — обедом.

И действительно первое время все шло так примерно на четверку с плюсом. Можно было бы даже сказать — на

пятерку, если бы Таня время от времени не ловила на себе какой-то странный взгляд новой экономки. Пожалуй, можно назвать его опасным или по меньшей мере не вполне безопасным. Правда, госпожа Ольоль при этом ласково улыбалась, но от ее улыбки Тане становилось как-то не по себе. Ей хотелось куда-нибудь спрятаться, и у нее, как это ни странно, развязывался пионерский галстук, хотя она к нему не прикасалась.

Тем не менее они были в прекрасных отношениях. Каждый день госпожа Ольоль убирала квартиру, ходила по магазинам, проветривала постельное белье и вообще отлично вела хозяйство. Готовила она так хорошо, что Николай Андреевич за обедом съедал по две тарелки супа и даже немного пополнел, хотя при его высоком росте это было почти незаметно.

Всякий раз она с восхищением восклицала: «Ах, как я рада!» — когда он возвращался домой, хотя куда же еще должен был он возвращаться после работы, если не домой.

Стараясь понравиться ему, она три раза в день подкрашивала веки, а два раза щеки, так что верхняя часть ее лица отливала голубоватым цветом, а нижняя — розоватым.

И нельзя сказать, что Николай Андреевич не обращал на нее внимания. Но почему-то, встречаясь с ней, он повторял одну и ту же фразу:

— Ого, госпожа Ольоль, а ведь вы опять похорошели.

Или, когда веки у нее начинали отливать уже не голубоватым, а синеватым оттенком, а щеки — не розоватым, а красноватым, он восклицал:

— Смотрите-ка, госпожа Ольоль, что бы это значило? Ведь вы опять, кажется, похорошели?

В старину тот, кто собирался жениться, обычно говорил своей будущей невесте:

— Позвольте предложить вам руку и сердце.

Руку Николай Андреевич иногда предлагал госпоже Ольоль — когда она стояла на лестнице, вытирая пыль в библиотеке. Но сердце... До этого было далеко!

Что касается Тани, то новая экономка заботилась о ней, как заботилась бы, кажется, родная мать.

— Милая моя, не хочешь ли ты еще одну булочку? — спрашивала она, когда Таня, торопясь в школу, кончала завтрак.

Но пионерский галстук под взглядом госпожи Ольоль продолжал развязываться, а однажды, когда Таня в беге

на сто метров была в трех шагах от финиша, у нее развязался шнурок на ботинке, и она пришла шестой, хотя могла бы прийти второй. Перед показательным концертом в Музыкальной Школе на скрипке лопнула струна, и пришлось бежать в Мухин, потому что в Немухине не было музыкального магазина.

Впрочем, Таня давно заметила, что упражнения на скрипке странно действуют на госпожу Ольоль. Она морщилась, хваталась за голову, смачивала виски уксусом — словом, вела себя так, как будто Таня не разучивала Баха, а старалась отпилить экономке голову своим смычком. Может быть, это объяснялось тем, что ведьмы вообще немузыкальны? Так или иначе, ничего не оставалось, как заниматься музыкой не в своей комнате, а в старой, заброшенной оранжерее, рядом с домом.

Правда, она была не совсем заброшенной: в ней росли розы, гладиолусы, лилии и георгины. За ними никто не ухаживал, потому что старый садовник умер, а нового немухинцы, занятые строительством Пекарни, еще не собрались нанять. Но Таня — хотя она была очень занята — все-таки находила время, чтобы поливать цветы. Ей даже правилось заниматься музыкой в оранжерее, тем более что цветы внимательно слушали ее и даже кивали головками, когда какой-нибудь трудный пассаж удавался. Широко известно, что именно цветы острее других растений чувствуют признательность — ведь за ними надо ухаживать особенно терпеливо. Но иногда Тане начинало казаться, что ее слушают не только цветы. Кто-то бродил по старой оранжерее, чуть заметно отражаясь то в одной, то в другой стеклянной стене.

— А ведь интересно узнать,— однажды спросила (или, быть может, только подумала) Таня,— кто еще слушает меня, кроме роз, гладиолусов, лилий и георгинов?

— Сын Стекольщика,— ответил ей чей-то мягкий, приветливый голос.

— В самом деле? Почему же я вас не вижу?

— Не только ты, Таня. Кстати, я узнал твое имя, потому что, когда у тебя получается трель, ты говоришь себе: «Ай да Таня!»

— Так вас не видит никто?

— В том-то и дело!

— Но ведь это же очень неудобно,— возразила Таня.— Вам-то самому хотя бы изредка удается себя увидеть?

— К сожалению, редко. Только когда идет слепой дождь.

— А что это такое?

— Дождь пополам с солнцем. Впрочем, тогда меня могут увидеть и другие.

— Те, кто к вам хорошо относится?

Она услышала добрый, звенящий смех и подумала, что так могут смеяться только хорошие люди.

— Это я радуюсь, что ты так догадлива,— сказал Сын Стекольщика.— Кроме того, ты вежлива, терпелива и нелюбопытна.

— Вежлива? Может быть. Терпелива? Пожалуй. Но нелюбопытна? Ну, нет! Мне, например, до смерти хочется узнать, почему вы стали прозрачным, что вы делаете в этой оранжерее и вообще, что с вами случилось?

— Ну, что ж,— вздохнув, отвечал Сын Стекольщика.— Придется рассказать тебе мою историю. Впрочем, это нетрудно, потому что я давным-давно выучил ее наизусть.

«ВИДЕТЬ ТЕХ, КТО ТЕБЯ НЕ ВИДИТ,— В ЭТОМ ЕСТЬ СВОЯ ПРЕЛЕСТЬ»

— Видишь ли,— начал он,— я сын Председателя Союза Стекольщиков, который так любил свое ремесло, что каждый месяц выбивал все окна в своем доме только для того, чтобы вставить новые стекла. Стекло всегда казалось ему одним из семи чудес света, а прозрачность — самым драгоценным свойством любого предмета. Среди его друзей были, например, прозрачно-чистые и прозрачно-благородные люди. Словом, ему до смерти хотелось, чтобы у него родился совершенно прозрачный сын, а когда человек неутомимо стремится к намеченной цели, это почти всегда удается. Вот так и случилось, что я, как видишь, родился совершенно прозрачным.

— Точнее было бы сказать: «Как не видишь»,— заметила Таня.

Он опять засмеялся — и так звонко, что стекла оранжереи весело отозвались.

— Прекрасно! Значит, ты еще и остроумна. Впрочем, я не могу согласиться, что быть прозрачным так уж неудобно. Видеть тех, кто тебя не видит,— в этом есть своя прелесть. Ты спрашивала меня, что я делаю в этой оранжерее. Ты понимаешь, мне приходится много путешествовать,

а в гостиницах всегда начинаются длинные, утомительные расспросы... «Извините, гражданин, мы не прописываем невидимок...» Или: «Как же я могу предоставить вам номер, если неизвестно даже, женщина вы или мужчина?» Словом, я решил, что удобнее всего останавливаться в оранжереях. Теперь остается только один вопрос: «Что вы делаете в Немухине?» Ответ: «Ничего». Просто мне показалось, что в этом городке немало кристально честных и прозрачно-благородных людей. Вот я и подумал: «А вдруг мне удастся помочь кому-нибудь из них?» Ведь именно такие люди часто попадают в беду.

— Да,— вздохнув, ответила Таня.— Вот вчера, например, мальчики гоняли футбольный мяч и разбили окно в доме нашего Старого Трубочного Мастера. А уж честнее и благороднее его нет, мне кажется, никого на свете.

— Вот я ему и помогу,— сказал Сын Стекольщика.— Но, Таня... Может быть, я мог бы чем-нибудь помочь и тебе? Когда я смотрю в твои глаза, мне начинает казаться, что ты не очень счастлива. Или я ошибаюсь? Почему, например, ты занимаешься музыкой не у себя дома, а в этой старой оранжерее?

— Потому что госпожа Ольоль совершенно не выносит ни меня, ни мою скрипку. Папа нанял ее, чтобы она вела наше хозяйство, и она, мне кажется, вела бы его очень хорошо, если бы поменьше старалась понравиться папе.

— А она очень старается?

— К сожалению, да. Вчера, например, она надела туфли на таких высоких каблуках, что совершенно не могла ходить, и рассердилась на меня, когда я предложила ей воспользоваться папиной палкой.

— А что думает о ней твоя мама?

Должно быть, Сын Стекольщика догадался, что огорчил Таню этим вопросом, потому что она глубоко вздохнула и долго молчала, прежде чем ей удалось справиться со слезами.

— У меня нет мамы,— наконец сказала она.— То есть, может быть, и есть, но никто не знает, где она и что с ней случилось.

И Таня рассказала, как три года тому назад мама вскочила из-за стола, побежала в лавочку за горчицей и исчезла.

— Почему же она не послала тебя?

— В том-то и дело, что накануне я подвернула ногу.

— Но ведь маму искали?

— О да. Самые талантливые собаки-ищейки разыскивали несколько дней. Удалось только установить, что она завернула за угол к Комиссионному Магазину. Но кому же может прийти в голову покупать горчицу в Комиссионном Магазине?

Сын Стекольщика промолчал, и в полной тишине был слышен только легкий шорох — бабочка перелетала с цветка на цветок.

«Ушел»,— подумала Таня и спустя несколько минут спросила робко:

— Простите, вы еще здесь?

— Да, конечно. Больше того, я теперь долго не покину тебя. Не можешь ли ты сбегать домой и принести мне фотографию мамы?

— Я ношу ее на груди,— ответила Таня.

И действительно: на груди у нее висел маленький медальон, и в нем была фотография мамы.

— Какое нежное, доброе лицо,— сказал Сын Стекольщика.— Какие глаза! Так и кажется, что они говорят: «Желаю вам счастья». Теперь мне ясно, почему я остановился в Немухине. То, о чем ты рассказала, загадочно и похоже на закоптелое стекло, через которое смотрят на затмение солнца. Стекло надо протереть, чтобы оно стало прозрачным, и я, не теряя времени, займусь этим делом.

БРОНЗОВАЯ СТАТУЭТКА

Судя по тому, что в ближайшие дни произошло в Немухине, чудеса идут полосой — одно тянет за собой другое.

На вывеске часовой мастерской были нарисованы большие часы — без всякой необходимости, потому что немухинцам не приходилось смотреть на вывеску, чтобы отличить часовую мастерскую от аптеки. И вдруг эти часы, которым, конечно, не полагалось ходить, вздрогнули, звякнули и пошли. Секундная стрелка стала догонять минутную, а минутная — часовую. Окно в доме Старого Трубочного Мастера, разбитое футбольным мячом, оказалось целехоньким и даже более того — прозрачным, как воздух.

Пугало, стоявшее в огороде Завнемухторга, вдруг ожило и стало отгонять птиц своими соломенными руками, а в одну упрямую ворону запустило шляпой.

Но, как это ни странно, немухинцы довольно быстро

привыкли к чудесам и даже огорчались, когда в городе ничего не происходило.

Впрочем, самые странные события происходили в Комиссионном Магазине. Дело в том, что Пал Палыч постоянно боялся, как бы не оступиться, не простудиться, не обидеть кого-нибудь — одним словом, поступить не так, как полагается пожилому, болезненному, глуховатому человеку.

И вот в Магазине, которым он безмятежно заведовал много лет, начались странности, которые напугали бы и не такого человека. Пал Палыч вдруг обнаружил, что кто-то, кроме него, хозяйничает в Магазине, причем среди вещей, которые он считал музейными и никому не хотел продавать. Он мог бы поклясться в том, что шкатулка XVIII века, которая, по его догадкам, принадлежала Екатерине II, вчера стояла на второй угловой полке, а сегодня оказалась на третьей. Японскую лампу, висевшую в левом углу, кто-то взял да и перевесил. Это особенно напугало Пал Палыча, потому что сделать это без лестницы было невозможно, а складная лестница лежала под прилавком.

Право, можно было подумать, что кто-то по ночам бродит по Магазину, причем не просто бродит, а заботливо перебирает и переставляет вещи.

«Может быть, мне это только кажется?» — думал бедный Пал Палыч.

На всякий случай он пошел к врачу, и тот сказал значительно:

— Надо лечиться.

Наконец произошло то, что, без сомнения, свело бы Пал Палыча с ума, если бы Старый Трубочный Мастер не помог ему оправиться от потрясения.

Среди предметов, которые он отказывался продавать, была бронзовая статуэтка молодой бегущей женщины. Платье ее развевалось, изящно очерченные губы были слегка открыты, головка приподнята, и вся стройная фигурка устремлялась вперед, очевидно, к тому, кто ждал ее и не мог дождаться. Пал Палыч уверял, что это работа знаменитого скульптора Фидия или одного из его ближайших учеников, хотя на фигурке была домашняя кофточка и юбка ниже колен, а в древности одевались совершенно иначе.

И вот однажды Пал Палыч услышал мягкий приветливый голос — услышал, хотя был один в магазине.

— Доброе утро. Простите, не могу ли я купить у вас одну вещицу, которая мне очень понравилась?

— А именно? — спросил Пал Палыч, глядя во все глаза, никого не видя и думая, что он помешался.

— Вот эту бронзовую статуэтку,— ответил покупатель, и статуэтка, как живая, снялась с полки и неторопливо опустилась на прилавок.

— Виноват,— сказал Пал Палыч,— но мне кажется, что здесь нет никого, кроме меня. А не могу же я покупать у самого себя, тем более что это музейная вещь, которая вообще не продается.

— Это не совсем так,— возразил покупатель.— Во-первых, не вы покупаете у себя, а я у вас. А во-вторых, это не музейная вещь. Если бы не счастливая случайность или, точнее сказать, несчастная случайность, она не попала бы в ваши руки.

— Позвольте, позвольте... Каким же образом счастливая случайность может одновременно оказаться несчастной?

— Очень просто,— ответил ему невидимый собеседник,— счастливая, потому что вы нашли эту статуэтку три года тому назад. А несчастная... Ну, об этом мы поговорим в другой раз.

В таких случаях обычно пишут: «Он (хотя бы тот же Пал Палыч) был поражен». Но, пожалуй, вернее было сказать, что еще никогда в жизни он не был так поражен. Редкие седые волосы стали дыбом, рот округлился, как буква «о», а руки и ноги задрожали. Дело в том, что он действительно подобрал эту статуэтку на мостовой, недалеко от дома Заботкиных, три года тому назад.

— Зачем же так волноваться? — мягко спросил покупатель.— Вы поступили прекрасно.

— Но если вы все-таки хотите ее купить...— начал было дрожащим голосом Пал Палыч.

— Нет, нет! Я передумал. Мне хотелось только убедиться в том, что она не продана. Кстати, как вы ее назвали?

— Бе-бе-бегущая по волнам.

— Сразу видно, что вы читали Александра Грина. Один из его романов называется именно так. Но вы знаете, лучше было бы назвать ее не «Бегущая по волнам», а «Бегущая за горчицей».

На этот раз Пал Палыч закрыл свой магазин на час раньше, чем полагалось. Со всех ног он побежал к Старому Трубочному Мастеру, умнейшему человеку в Немухине,— посоветоваться с ним было необходимо просто до зарезу.

А надо сказать, что они были друзьями со школьных лет и даже сидели некогда на одной парте. Причем Трубочный Мастер уже и тогда помогал Пал Палычу, который был слабоват по арифметике, истории, литературе и географии.

— Ну, что случилось, старик?

— Бяда,— ответил Пал Палыч.

Почему-то, когда с ним случалась маленькая неприятность, он говорил: «Беда», а когда большая: «Бяда».

— А именно?

— Да вот...

И Пал Палыч, волнуясь, рассказал о том, что невидимый покупатель не только собирался купить у него статуэтку, но почему-то назвал ее «Бегущая за горчицей».

— Ну, хорошо, допустим, что я его сослепу не разглядел. Но объясни ты мне, ради бога: при чем тут горчица?

Попыхивая трубочкой, Старый Мастер долго обдумывал происшествие в Комиссионном Магазине.

— Это было сегодня?

— Да.

— А какая, между прочим, сегодня, погода?

— Прекрасная. Солнышко. Ни облачка. Тепло.

— Ветра нет?

— Тихо.

— Тогда ясно, что он не бросал слов на ветер. Что ж, старина, могу только поздравить тебя. Тебе посчастливилось встретиться с волшебником, а это немало. В Немухине вообще началась полоса чудес. Думаю, что это его делишки. Значит, тебе хочется узнать, почему он заинтересовался этой статуэткой. Ничего особенного! Просто он решил выяснить — порядочный ли ты человек.

— Не понимаю.

— Что ж тут не понять! Что сделал бы другой человек, подобрав эту статуэтку? Продал бы ее какому-нибудь любителю, а деньги — в карман! А ты поставил ее на полку в Магазине. Стало быть, заботишься не о своем кармане, а

о пользе дела. Видишь ли, в последнее время распространилось убеждение, что странствующие рыцари существуют только в легендах и сказках. Лично я с этим никогда не мог согласиться. Тебе как раз встретился такой рыцарь, да еще к тому же волшебник. И если он еще раз пожалует, попроси его заглянуть ко мне. У меня к нему дело.

— А именно?

— Да понимаешь, у Николая Андреевича так плохи дела, что его может спасти только чудо. Ведь это только кажется, что Пекарня строится. А на деле кирпичи везут на строительство кинотеатра, а цемент — к каланче, которую он давно построил. Так что, если бы мне удалось встретиться с твоим волшебником, я бы непременно поговорил с ним о Новой Пекарне.

— Да, черт побери, как же я это упустил! — почесывая затылок, сказал Пал Палыч.— Но если он снова заглянет...

«ГОСПОЖА ОЛЬОЛЬ, ВЫ ОПЯТЬ ПОХОРОШЕЛИ»

Теперь Сын Стекольщика виделся с Таней почти каждый день.

— Скажи, пожалуйста,— однажды спросил он,— почему у тебя глаза становятся все грустнее? Ведь появилась серьезная надежда, что твоя мама в один действительно прекрасный день вернется домой. Может быть, ты не поверила мне?

— Ну, что вы! С тех пор, как вы мне это сказали, я каждый вечер открываю медальон, чтобы пожелать маме спокойной ночи... Более того, с тех пор, как я поверила вам, папа стал беспокоить меня больше, чем мама. Новая Пекарня почти не строится, а между тем Кабинет Внешней Торговли сообщил, что из многих стран поступили заказы на черный хлеб с хрустящей корочкой, которым так славится Немухин.

Сын Стекольщика рассмеялся — и у Тани сразу стало легче на сердце. У него был такой добрый, открытый, почти мальчишеский смех.

— Ну, с этим мы как-нибудь справимся. А как ведет себя госпожа Ольоль?

Таня вздохнула.

— Я ее боюсь,— сказала она.— По-видимому, она думает, что если бы я провалилась сквозь землю, ей уда-

лось бы выйти замуж за папу. Между тем он ее совершенно не замечает. Вчера, например, она встретила его в детской шапочке, чтобы казаться моложе, а он только сказал: «Смотрите-ка, госпожа Ольоль, вы опять похорошели». Когда он ласково разговаривает со мной, она готова лопнуть от зависти, а может быть, от другого, более опасного чувства.

— Если бы ты увидела меня,— сказал Сын Стекольщика,— ты убедилась бы в том, что у меня огорченное и расстроенное лицо. Дело в том, что я буду очень беспокоиться о тебе, когда мне придется на несколько дней покинуть Немухин.

— Вы уезжаете?

— Да. Для того, чтобы вернуть жизнь твоей маме, мне надо повидаться с одним старым волшебником. Он уже давно на пенсии, но у него превосходная память. Он знает все заклинания, которыми люди уже сотни лет защищаются от чертей, леших с дурным характером, озлобленных домовых, словом, от злого колдовства — ведь доброе колдовство встречается сравнительно редко. Мой старик живет на берегу Ропотамо — есть на свете такая река, которая неторопливо несет в море свои прозрачные воды. Я хочу посоветоваться с ним. Заклинаний много, а я, например, помню только одно: «Аминь, аминь, рассыпься»,— да и то не уверен в том, что оно действует до сих пор.

— Я буду ждать вас,— стараясь удержаться от слез, сказала Таня.— В крайнем случае я скажу госпоже Ольоль: «Аминь, аминь, рассыпься». Может быть, это заклинание еще действует, правда?

— Да, может быть,— ответил ей добрый, мужественный голос, и Тане показалось, что эти слова послышались уже в отдалении и прозвучали как эхо.

ТРОПИНКА, С КОТОРОЙ СВЕРНУТЬ НЕВОЗМОЖНО

Госпожа Ольоль по-прежнему надеялась, что Николай Андреевич не всегда будет говорить: «Вы похорошели», а скажет вдруг: «Не хотите ли вы быть моей женой?» Но он вообще почти перестал говорить. Он теперь только ругал Горнемухстрой и себя за то, что согласился построить Пекарню.

«Конечно, если бы у него не было дочки,— думала госпожа Ольоль,— ему волей-неволей пришлось бы жениться на мне. В конце концов, он намного старше меня, а в таких случаях дело обычно кончается свадьбой».

Конечно, это было сложно — заставить Таню заблудиться в Немухине, который она прекрасно знала. Но ведь можно послать ее в Мухин, за которым начинается лес, и заставить ее заблудиться в этом лесу, где, между прочим, за последнее время развелись кабаны.

«Но надо действовать осторожно»,— думала госпожа Ольоль и после долгих размышлений остановилась на самой обыкновенной шерстяной нитке.

Эту нитку она выдернула из старого Таниного свитера, а заколдовать нитку ничего не стоило — этот предмет проходили во втором классе, а она кончила четыре.

— Милая Танечка,— сказала она однажды,— мне хочется попросить тебя сходить к моей бабушке в Мухин. Отнеси ей, пожалуйста, бутылку молока и пару пирожков, которые остались от вчерашнего ужина. И скажи ей, что я зайду в воскресенье, а может быть, даже в субботу.

Нельзя сказать, что Тане так уж хотелось идти в Мухин, тем более что в этот день она должна была приготовиться к контрольной по литературе. Но она была слишком вежлива, чтобы отказаться.

И вот она взяла молоко и пирожки и отправилась в Мухин, а госпожа Ольоль положила нитку на стол и растянула ее — сперва прямо (чтобы Таня отдала бабушке молоко и пирожки), а потом круто налево,— чтобы Таня попала в лес, откуда выбраться было почти невозможно.

А Таня между тем шла и шла. Она перебралась по деревянному мостику через Немухинку, встретилась с бабушкой, отдала ей молоко и пирожки и спокойно вернулась домой. Что же произошло? Почему госпоже Ольоль не удалось заставить ее заблудиться? Очень просто: котенок прыгнул на стол и сперва поддел нитку лапой, а потом запутал ее — он решил, что госпожа Ольоль решила с ним поиграть.

— Спасибо, милая девочка,— сказала она, когда Таня вернулась.— Надеюсь, что моя бабушка хорошо тебя встретила.

— О да! — ответила Таня.— Она даже сказала спасибо.

Прошло несколько дней, и госпожа Ольоль снова попросила Таню заглянуть к бабушке — доктор прописал ей

редкое лекарство, которое с трудом удалось достать в аптеке.

И Таня даже обрадовалась: она подумала, что госпожа Ольоль не то что полюбила ее, но по меньшей мере не желает ей провалиться сквозь землю.

Она взяла лекарство, отнесла его бабушке, но, возвращаясь, повернула не направо, к мостику, а налево, к темному лесу. Перед ней вдруг появилась тропинка, по которой не очень хотелось идти,— она вилась среди густых елей. Но Таня все-таки пошла по тропинке — ноги почему-то перестали ей повиноваться.

«Неужели между Мухином и Немухином я могла заблудиться?» — подумала Таня.

Как ни странно, но, по-видимому, это было действительно так. Тропинка вилась и вилась, начинало темнеть, ели в сумерках казались огромными чудовищами, присевшими на задние лапы, чтобы прыгнуть на Таню. Душа у нее уже совсем собралась уйти в пятки, но она была храбрая девочка и приказала себе успокоиться, а это было не так-то просто! Более того: она вспомнила сказку о Мальчике с пальчик, который бросал камешки на дорогу, чтобы вернуться домой. Правда, у нее не было камешков, зато на шее висело довольно длинное стеклянное ожерелье.

«Разорву-ка я его,— подумала она,— и стану бросать по одной бусинке через каждые десять шагов».

Так она и сделала. Но увы! Ожерелье было хотя и длинное, но не очень. А между тем где-то поблизости промчалось, ломая ветки и отвратительно хрюкая, какое-то животное. Неужели кабан?

Вот когда душа у нее действительно ушла в пятки — никакие силы не могли ее удержать. Таня стала плакать, сперва негромко, потом все сильнее, и, наконец, слезы градом хлынули из ее глаз и вместо бус стали падать на тропинку. Некоторые, самые крупные, попали ей на руки, и она с удивлением подумала, что они действительно похожи на град. Но еще больше они были похожи на ее собственные бусы, и из них можно было сделать не одно, а тысячу ожерелий.

Это было, конечно, нечто вроде весточки от Сына Стекольщика — кто же еще мог превратить слезы в стеклянные бусы?

«Он помнит обо мне,— радостно подумала Таня,— и нет ничего невероятного, если я возьму да и пойду назад

по тропинке. Мне кажется, что она больше не заставляет меня идти вперед».

И, скомандовав себе: «Кру-гом!», она сделала полный оборот и пошла назад в Мухин — ведь теперь через каждые десять шагов она видела блестящую бусинку, и ей даже захотелось подобрать их — ведь тогда у нее было бы ожерелье из собственных слез.

Она снова — только на этот раз в обратном направлении — прошла расколдованную тропинку и побежала домой быстрее, чем даже на состязаниях, когда ей удалось бы прийти второй, если бы не развязался шнурок.

Госпожа Ольоль только дважды падала в обморок. В первый раз, когда оказалось, что моль почти без остатка съела ее роскошную парижскую шаль, а второй раз, когда в ее тарелку с гороховым супом попал таракан,— она до смерти боялась тараканов.

Увидев Таню, которая весело барабанила в дверь, она чуть не упала в обморок, но только остолбенела и долго не могла выговорить ни слова.

— Госпожа Ольоль, что с вами? — спросил Николай Андреевич.— Таня сегодня поздно вернулась из школы, и давно пора завтракать, то есть, я хочу сказать — ужинать, а на стол еще не накрыто.

НА БЕРЕГУ РОПОТАМО

Сын Стекольщика не сказал Тане, когда он вернется. Но, уходя, он оставил в Немухине Заботу о ней — она-то и превратила ее слезы в бусы. Он был предусмотрительным волшебником и прекрасно понимал, что госпожа Ольоль не оставит Таню в покое. Забота была одним из тех чувств, которые верно ему служили.

Он уехал, а чувство осталось. Забота сделала то, что на ее месте сделал бы он.

А между тем Сын Стекольщика шел и шел, останавливаясь, чтобы отдохнуть в оранжереях. Он хорошо чувствовал себя среди цветов. С его появлением они, здороваясь, наклоняли головки, а когда он уходил, мысленно желали ему счастливой дороги.

И вот, наконец, он пришел в городок на Синем Море, которое почему-то называется Черным, и, надо сказать, что это был удивительный городок. Его жители относились с глубоким уважением не только друг к другу, но и к альба-

тросам, ветряным мельницам, старым, отслужившим якорям, к морским скалам, буревестникам и даже акулам. Этому не стоит удивляться. Все они были рыбаки, а рыбаки и моряки любят чувствовать себя на суше, как в море. Вот почему улицы своего городка они назвали именами морских птиц, морских животных и морского ветра, который усердно вертел мельницы, хотя муку уже давно продавали не на мельницах, а в продовольственных магазинах.

Старый Волшебник редко бывал в городке Ропотамо, в котором одна прозрачная струя лепетала что-то другой, еще более прозрачной, и он любил часами сидеть на берегу, перебирая в уме все, что случилось в прошлом, и не жалея о том, что в будущем уже не случится.

Это был высокий худощавый старик с седой бородкой, с узким лицом и детскими голубыми глазами. Ему нравилось, что друзья некогда сравнивали его с Дон-Кихотом,— это была его любимая книга.

В молодости, когда он еще не был Волшебником, он кончил университет. Его дипломная работа называлась «Заклинания в сказках и в жизни», и он убедительно доказывал в ней, что чудеса надо изучать, потому что они не падают с неба. Почти все заклинания против сплетен, интриг и предательств он знал наизусть — самый искусный индийский факир показался бы в сравнении с ним неопытным мальчуганом. Сына Стекольщика он тоже считал мальчуганом.

— Здравствуй, малыш,— сказал он, увидев в струях Ропотамо мелькнувшее отражение,— рад тебя видеть. Не сомневаюсь, что ты пришел ко мне по важному делу. Последнее время я замечаю, что среди волшебников появилось много энергичных молодых людей, которые не теряют времени даром.

— Да, дело серьезное,— отвечал Сын Стекольщика.— Оно касается поступка одной женщины, которую даже нельзя назвать профессиональной ведьмой. Ей разрешено было раз в жизни превратить кого-нибудь во что-нибудь, и она воспользовалась этой возможностью для подлой, отвратительной цели. Я убежден, что с вашей помощью можно совершить обратное: превратить что-нибудь в когонибудь. Скажу точнее: бронзовой статуэтке нужно вернуть ее драгоценную человеческую сущность, то есть снова сделать ее любящей, тонко чувствующей матерью и женой. Могу ли я надеяться на вашу помощь?

Старик задумался — и все задумалось вокруг: далекий

парус, блеснувший там, где река соединяется с морем, маленький дом, похожий на птицу с распростертыми крыльями, присевшую на морские скалы, ослик у калитки — на нем Старик ездил в городок, чтобы купить хлеба и вина. Задумался даже пролетавший мимо гларус — есть на свете такая птица, которая любит людей и живет рядом с печными трубами на крышах. Река не могла остановиться, чтобы помочь Старику, но на всякий случай она стала еще более прозрачной — до самого дна. «Может быть,— подумалось ей,— глядясь в мои воды, он вспомнит свое заклинание?»

— Ну, что же, малыш,— сказал после долгого молчания Старик.— Когда-то один нищий поэт, искренний и потому великий, сочинил стихи, которые помогут тебе. Мы встречались. Как никто другой он умел вдохнуть жизнь в мертвое слово. А ведь слово и жизнь человека — родные братья и даже, я бы сказал, близнецы. Вот почему я уверен в том, что его стихи, возвращавшие жизнь слову, могут вернуть жизнь и человеку, в особенности если за него хлопочут целых два поколения волшебников. Стихотворение короткое, но я не могу записать его для тебя. Ты запомнишь его — ведь у тебя хорошая память.

И он произнес маленькое стихотворение, в котором поэзия верно служила мудрости, и мудрость — поэзии.

— А теперь прощай,— сказал Старик.— Я не считаю потерянным тот час, который я провел с тобой. Он украсил мою одинокую старость.

«МЫ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ ВДВОЕМ: Я И ТВОЯ МАМА»

Между тем в Немухине все было бы хорошо, если бы решительно все не было бы плохо. Сын Стекольщика поручил Заботе оберегать только Таню, а между тем давно было пора позаботиться о ее отце. Если бы у него был помощник, который собственноручно толкал бы кирпичи и цемент не к строившемуся кинотеатру, а к строившейся Пекарне, дело пошло бы на лад. Но помощника не было, а чудеса, которые время от времени случались в городе, почему-то обходили Пекарню стороной, хотя именно в них-то она и нуждалась.

Так обстояли дела, когда Таня, которая повторяла трудные, скучные упражнения, с удивлением заметила, что за-

пылившиеся стекла оранжереи снова стали прозрачными, и даже прозрачнее, чем в тот далекий день, когда они впервые были вставлены в рамы.

«Неужели вернулся?» — радостно подумала Таня. И не ошиблась, потому что не прошло и пяти минут, как она услышала знакомый голос.

— Конечно, вернулся,— сказал Сын Стекольщика.— И даже не один, а с подарком, дороже которого для тебя нет ничего на свете. Но прежде всего мне надо рассказать историю твоей мамы. Дело в том, что когда она побежала за горчицей, госпожа Ольоль превратила ее в бронзовую статуэтку. А через несколько минут по вашей улице проходил Заведующий Комиссионным Магазином, хотя и подслеповатый, однако замечавший все, что могло пригодиться для дела. Разумеется, он не узнал твою маму. Немного удивившись (в самом деле, каким образом такая вещь могла оказаться в Немухине?), он подобрал ее и поставил на полку своего Магазина. Несколько дней я искал ее и наконец нашел — ведь ты показала мне фотографию. С Пал Палычем — кажется, его зовут именно так — пришлось поговорить. Ты понимаешь, я боялся, что он продаст кому-нибудь статуэтку, и тогда оказалось бы, что я напрасно добрался до Старого Волшебника, который помнит все заклинания, и напрасно задумался ослик у калитки, и белый гларус, и река Ропотамо, которая постаралась стать еще прозрачнее, хотя это было уже почти невозможно. Они помогли Старику, и он вспомнил заклинание, которое некогда подарил ему нищий поэт. Вот оно:

Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звезды — невод, рыбы — мы,
Боги — призраки у тьмы [1].

— Мы должны остаться вдвоем — твоя мама и я. Больше того, она должна вернуться к жизни в том месте, где потеряла ее. Но прежде надо, чтобы госпожа Ольоль навсегда исчезла из вашего дома. Ведь она часто смотрится в зеркало?

— Каждую минуту.

— Говорят, что лицо — зеркало души. Вот она и увидит в зеркале свою душу.

[1] Стихотворение принадлежит Велимиру Хлебникову.

Нельзя сказать, что это был удачный день для госпожи Ольоль. Проснувшись, она встала с левой ноги — плохая примета. На всякий случай она снова легла в постель, немного поспала и на этот раз встала с правой. Надев халат, она умылась и подошла к зеркалу, чтобы причесаться, подвести веки, подкрасить щеки, словом, сделать все, чтобы Николай Андреевич наконец предложил ей руку и сердце.

Но, едва увидев себя в зеркале, она шарахнулась от него с таким криком, что котенок, мирно спавший на подоконнике, свалился и чуть не попал под машину.

В зеркале она увидела безобразное лицо с приплюснутым носом, крошечными красными глазками без ресниц, ртом до ушей и длинными, как у осла, ушами.

До сих пор она верила своим глазам, и они действительно обманывали ее очень редко. Но на этот раз не поверила.

— Не может быть,— сказала она твердо.— Все знают меня как довольно хорошенькую женщину. Ресницы у меня, например, такие длинные, что я трачу не меньше пятнадцати минут, чтобы их хорошенько покрасить. У меня оригинальное, симпатичное личико, на которое приятно смотреть, в особенности когда я чуть-чуть улыбаюсь. Пойду-ка я к другому зеркалу, в старинной раме. Помнится, Николай Андреевич говорил, что ему уже двести лет, а в таком почтенном возрасте не принято врать.

Но увы! И в старинном зеркале она увидела себя с приплюснутым носом, крошечными красными глазками без ресниц, с ртом до ушей и длинными, как у осла, ушами.

Она попробовала крепко зажмуриться, а потом открыть глаза. Ничего не изменилось! Она сильно ущипнула себя за руку — может быть, это сон? Но часы показывали половину восьмого, скоро встанет Николай Андреевич, и уж теперь-то он едва ли скажет: «Ого-го, госпожа Ольоль, а ведь вы опять похорошели!»

Если бы она знала, что лицо — зеркало души, она догадалась бы, в чем дело: все зеркала, в которые она смотрелась, отражали теперь не ее лицо, а ее душу. Но она не знала. Она всегда думала, что у нее душа если не безупречная, так по меньшей мере не хуже, чем у любой ведьмы средних лет, и даже лучше.

Между тем проснулся не только Николай Андреевич, но и Таня.

В отчаянии госпожа Ольоль снова посмотрела в зеркало — в свое собственное, которое она вынула из сумочки,— и с размаху бросила его на пол.

Зеркальце разбилось, кстати, это тоже было дурной приметой. Но госпоже Ольоль было не до примет. Наскоро побросав свои вещи в чемодан, она побежала в Мухин. Одной рукой она закрывала лицо — совершенно напрасно! Все равно никому не могло прийти в голову, что это она. Ворвавшись в свою комнату, она заперлась на ключ. Бабушка, которая не успела ее разглядеть, предложила ей чаю или кофе. Она крикнула в ответ:

— Никогда, ничего, никому!

По-видимому, это означало, что она ничего не хочет, никому не покажется и больше никогда не будет ни есть, ни пить.

Очень может быть, что она и до сих пор сидит в своей комнате. А может быть, проголодавшись, она все-таки позавтракала и постаралась притвориться, что ничего не случилось. Во всяком случае, с тех пор никто ее не видел. Она стала вести уединенный образ жизни, или, иначе говоря, никого не приглашала к себе и сама никогда не выходила из дому.

МАРИЯ ПАВЛОВНА ПОКУПАЕТ ГОРЧИЦУ

Через два-три дня на стеклянной двери Комиссионного Магазина появилась записка: «Решил закусить. Приду через час». Однако нельзя сказать, что Магазин опустел. В укромном уголке сидел Сын Стекольщика, дожидаясь, когда он останется наедине с бронзовой статуэткой, которую он снял с полки и поставил перед собой на прилавок.

У Заботкиных — об этом он условился с Таней — все было устроено точно так, как было в тот день и час, когда Мария Павловна побежала в лавочку за горчицей. Стол был накрыт на три прибора, хотя Николай Андреевич уже успел забыть, что госпожа Ольоль куда-то исчезла, не простившись ни с ним, ни с Таней.

К ужину так же, как и три года назад, были приготовлены сосиски, и если бы Николай Андреевич не был таким рассеянным человеком, он удивился бы, увидев, что Таня, прежде чем сесть за стол, впервые в жизни приняла двадцать валериановых капель. Волнуясь, она смотрела на стенные часы, и ей казалось, что минутная стрелка не обгоняет часовую, а плетется за ней, как будто ей не было

никакого дела до того, что должно было случиться в Комиссионном Магазине.

Между тем, едва только Сын Стекольщика громким внятным голосом произнес стихи нищего поэта, как подле продуктовой лавочки появилась красивая молодая женщина, бежавшая за горчицей. К счастью, у продавщицы, совсем молоденькой девушки, было тренированное сердце, иначе, пожалуй, она упала бы в обморок, увидев Марию Павловну, которую так долго искали и не нашли лучшие собаки-ищейки.

Но сама Мария Павловна вела себя, как будто ничего не случилось. Она купила баночку горчицы, побежала домой и, войдя в столовую, сказала как ни в чем не бывало:

— Танечка, я, кажется, немного задержалась. Наверно, сосиски остыли. Подогрей, пожалуйста, а я пока заварю чай.

КОРОЧКА ХРУСТИТ

Теперь у Сына Стекольщика осталось еще одно маленькое дело, то самое, о котором он сказал: «Ну, это несложно».

И действительно, через несколько дней, когда немухинцы немного привыкли к тому, что Мария Павловна вновь стала работать в Институте Красоты, Председатель Исполкома и Завнемухстрой одновременно проснулись с одной и той же мыслью: «Пекарня».

«В самом деле,— одновременно решили они,— непростительно так небрежно относиться к строительству Пекарни, в то время как люди с нетерпением ждут появления домашнего черного хлеба с вкусной хрустящей корочкой, которым с незапамятных времен славился наш город».

Весьма возможно, что эту мысль внушил им один из посетителей, которого действительно невозможно было заметить. Так или иначе, к удивлению Николая Андреевича, в тот же день к строившейся Пекарне стали стремительно подлетать машины — одна с цементом, вторая с кирпичом, третья с готовыми стенами, в которые были вставлены незастекленные рамы, четвертая снова с цементом. Рабочие, среди которых были настоящие мастера, взялись за дело с такой энергией, что в некоторых бригадах был отменен перекур.

Пекарня начала расти как снежный ком, хотя она, разумеется, ничем не напоминала снежный ком и даже обе-

щала стать одним из самых красивых немухинских зданий. Верхолазы легко взлетали на трубу, и Николаю Андреевичу не приходилось беспокоиться за них, потому что многие из них были мастерами спорта, привыкшими летать над своими снарядами.

Словом, работа, что называется, кипела, и Николай Андреевич по рассеянности даже не заметил, кто и когда вставил в рамы такие прозрачные стекла, что плотники разбили одно из них, думая, что рама, через которую они поднимали доски на второй этаж, осталась незастекленной.

И вот, наконец, наступила торжественная минута: уютно устроившись на ленте конвейера, одна буханка за другой поплыли, как черные лебеди, в строгом порядке. Они мягко падали в корзины, которые на другом конвейере удалялись в кладовые, выложенные, как, впрочем, и вся Пекарня, голубой плиткой — голубой потому, что это цвет мечты и надежды.

Потом конвейер был оставлен, и наступила еще более торжественная минута, когда решительно всем пришлось волей-неволей затаить дыхание, а некоторые даже приложили руку к груди. Гроссмейстер по выпечке хлеба, приехавший из столицы, еще молодой, но уже успевший прославиться, с закрытыми глазами, чтобы показать, что он не выбирает, взял одну из буханок, разломил ее — и корочка не только разломилась с нежным, хрустящим звуком, но зазвенела, как серебряный колокольчик. Гроссмейстер положил ее в рот, и наступило молчание, которое продолжалось все время, пока он жевал ее, катал во рту, причмокивал и, наконец, проглотил.

— Ну, как? — хором спросили немухинцы.

Молодое, серьезное лицо Гроссмейстера стало еще серьезнее, но глаза радостно засмеялись.

— Примите мои самые сердечные поздравления, дорогие друзья,— сказал он,— корочка хрустит, и можно с уверенностью сказать, что на свете едва ли найдется более вкусный, более нежный и, я бы даже сказал, более представительный хлеб.

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

Вот теперь, с хрустящей корочкой во рту, можно, пожалуй, закончить эту историю. Но тогда пришлось обидеть Сына Стекольщика и Таню, потому что у них был еще один разговор, который заслуживает упоминания.

На следующий день после торжественного банкета, который был устроен в честь Николая Андреевича и других строителей Пекарни, Таня вновь пошла в оранжерею. Просто она надеялась... Впрочем, не все ли равно, на что она надеялась? Может быть, ей хотелось проститься с кем-нибудь или сыграть кому-нибудь сонату, которую она на днях разучила?

Музыку трудно выразить в словах, на то она и музыка, а не поэзия или проза. Но если бы музыкальные фразы этой сонаты стали фразами человеческой речи, они говорили бы о том, чего ей хочется... Нет, не увидеть Сына Стекольщика, ведь это было невозможно, но хотя бы просто поблагодарить за все, что он сделал для нее и папы, а в особенности для мамы.

Она играла с каждой минутой все лучше и лучше, потому что вдруг почувствовала, что ее слушают не только цветы.

— Здравствуй, Таня,— услышала она знакомый добрый голос.— Ты сделала заметные успехи. Соната трудная, а ты сыграла ее превосходно. Я понял каждое слово и могу ответить, что все равно постарался бы еще раз встретиться с тобой. Ведь было бы более чем невежливо — уйти, не простившись!

— А нельзя как-нибудь устроить, чтобы вы не ушли? — спросила Таня.— Мне кажется, что когда вы в Немухине, не только люди, но даже предметы становятся... как бы это сказать... Ну, прозрачнее, что ли. Или, во всяком случае, приветливее и добрее. Сегодня, когда я вошла в столовую, мне показалось, например, что стенные часы сказали мне «Доброе утро».

Если бы Сын Стекольщика не был прозрачным, она увидела бы, что он грустно покачал головой.

— Я бы охотно остался, милая Таня,— сказал он.— Немухин — тихий, симпатичный город, в котором многие желают друг другу добра. Но, ты понимаешь, я странник, а странники не могут жить без странствий, так же, как моряки без моря. Ты не жалеешь, что сегодня дождливый день?

— Конечно, жалею. Но еще больше я жалею, что это не слепой дождь. Ведь вы сказали, что при свете солнца в дождливый день я могла бы вас увидеть.

Едва ли солнце появилось только потому, что на это надеялась Таня. Но оно действительно появилось, и каждая капля, падавшая на город, засверкала, как алмаз, хотела она этого или не хотела.

Мягкий, сияющий свет упал на оранжерею, и в этом свете Таня увидела чуть заметный силуэт, как будто обведенный тонкой серебристой линией. Можно было различить черты доброго и гордого молодого лица, стеклянный шлем на голове, стеклянный панцирь на груди, стеклянные латы.

— Я вижу вас! — успела крикнуть Таня, успела, потому что солнце скрылось прежде, чем она добавила: — Какое счастье!

— Нам повезло,— сказал Сын Стекольщика.— Ты увидела меня, а я успел убедиться в том, что мой панцирь и латы в полном порядке. А теперь мне пора! Кто знает, может быть, мы еще когда-нибудь встретимся. А если нет... Ну, что ж! Ведь самое главное — не забывать друг о друге.

Говорят, это была минута, когда все стекла в Немухине прощально зазвенели, так что некоторые пугливые люди вроде Пал Палыча вообразили, что началось землетрясение. Но на самом деле это просто значило, что сказка о Сыне Стекольщика кончилась.

Он снова отправился странствовать, не дожидаясь, пока пройдет дождь.

Обсуждаем первую сказку и находим вторую

— Почему вы решили, что эта история не годится для моего Путеводителя? — спросил меня дядя Костя.— Как раз годится, и даже очень. Ведь это фактически история строительства Новой Пекарни, одного из самых красивых зданий в городе. Более того, это важная страница в истории хлебопечения. Но вот вопрос — многое ли вы выдумали? Иными словами, можно ли смотреть на эту рукопись как на достоверный источник? Заботкины действительно живут в Немухине, и я их прекрасно знаю. Таня действительно училась в Музыкальной Школе, и нет ничего удивительного в том, что мухинская ведьма превратила Марью Павловну в статуэтку. О Сыне Стекольщика я слышал: о нем могут рассказать хотя бы окна Новой Пекарни, прозрачные, как воздух. Но вот Николай Андреевич... Ведь он же был известным художником. Почему же Ночной Сторож не упомянул об этом ни слова? Я сам видел в Москве на Всесоюзной выставке его «Портрет жены художника», за который он получил Золотую Медаль.

— Вы правы, дядя Костя! Но, может быть, об этом нам расскажет фрегат или медный самовар?

На этот раз... Впрочем, расскажу по порядку.

При Музее был запасник — так называется помещение, в котором хранятся предметы, которые ждут не дождутся, когда же их наконец выставят для обозрения.

Так вот, трудно даже вообразить, что творилось в этом запаснике! У старинного велосипеда завертелись колеса, большое и маленькое, когда мы вошли. Трехногое кресло наклонилось вперед, точно собралось улизнуть из запасника через открытую дверь. Китайские болванчики как по команде повернули к нам маленькие головки. Жаль только, что они не могли говорить! Может быть, они подсказали бы нам, где искать модель фрегата или пушечку елизаветинских времен? «Но на это мало надежды»,— подумали мы с дядей Костей и одновременно вздохнули.

Однако надо было приниматься за дело, и, приладив сильную лампочку, при свете которой запасник стал выглядеть еще более запущенным и грязным, мы... Впрочем, не знаю, как назвать то, чем мы занялись! Дядя Костя пытался навести порядок, остававшийся беспорядком, а я крепко уснул после бессонной ночи в трехногом кресле, и мне приснилось, что дядя Костя, как муха, ходит по потолку, с грохотом отдирая доски.

Пожалуй, стоило бы открыть глаза, чтобы убедиться в этом, но как раз открывать глаза мне почему-то не хотелось, тем более что легче было представить себе, что грохочет вовсе не дядя Костя, а гром, и льет дождь, а ведь даже начинающие врачи утверждают, что под шум дождя хорошо спится. Не знаю, как долго я спал, должно быть полчаса или час, и сон становился все крепче, потому что грохот сменился музыкой, похожей на нежный звон иголочек и осторожно присоединившейся к шуму дождя. Потом я услышал голос дяди Кости и, вскочив с кресла, увидел в его руках коробочку, покрытую черепаховой крышкой. Умильным голосом дядя Костя пел старинный русский романс:

Кольцо души-девицы
Я в море уронил;
С моим кольцом я счастье
Земное погубил.

— Дядя Костя!

Мне, дав его, сказала:
«Носи! не забывай!
Пока твое колечко,
Меня своей считай!»

С тех пор мы как чужие!
Приду к ней — не глядит!

Но тут что-то щелкнуло и звуки-иголочки оборвались.

— Дядя Костя! Вы нашли музыкальную табакерку?

— Да. То есть нет! По-видимому, ей самой захотелось, чтобы я нашел ее, вот она и заиграла.

И он протянул мне маленький ящичек с черепаховой крышкой.

Не только для новой сказки, которую я сразу же стал искать,— даже для табака было очень мало места в этой музыкальной табакерке. Задняя стенка была проломлена, и внутри виднелись какие-то колесики, пружинки и молоточки. Развинтить ее дядя Костя мне не позволил, и ничего не оставалось, как сначала отдать ее столяру, чтобы он починил стенку, а потом — в музыкальную мастерскую. «Но, может быть, и то и другое,— подумалось мне,— может сделать Трубочный Мастер?»

Он уже прочел историю Сына Стекольщика и заметил, что строительство Новой Пекарни заслуживает более подробного описания.

— Но нельзя отрицать,— сказал он,— что кое-что Нилу Сократовичу все-таки удалось. Кстати, я просил Сына Стекольщика зайти и ко мне. Очевидно, в Немухине он был занят по горло. Ну-ка, покажите мне табакерку.

Он ее внимательно осмотрел и спросил:

— Вы ее выслушивали? Или вы думаете, что выслушивают только людей? — с торжеством сказал Трубочный Мастер и запустил под потолок по меньшей мере десять голубых колец дыма. Это означало, что он почти разгадал то, о чем я не имел никакого понятия.

Правда, выслушивать табакерку он не стал, у него не было стетоскопа — так называется трубка, которую врачи приставляют к груди больных или здоровых. Но зато он осторожно простучал каждую стеночку табакерки указательным пальцем.

Тук, тук, тук! На легкие удары отзывался еще более легкий звон иголочек. Он постучал и по сломанной стенке, и по черепаховой крышке. Потом пососал трубку, запустил

в потолок еще одно большое кольцо дыма — очевидно, это означало, что табакерку не стоило ни выслушивать, ни выстукивать, потому что в ней нет ничего, кроме валика, пружинки и молоточков. Но, помедлив, он снова взял ее в руки и на этот раз, постучав по дну, сказал многозначительно:

— Ага.

И действительно, у него был серьезный повод, чтобы сказать: «Ага». Дно почти не отозвалось. Или, точнее сказать, отозвалось, но как-то нехотя, глухо.

— Дайте-ка мне отвертку,— сказал Трубочный Мастер и показал, где у него на полке с инструментами лежала отвертка.

Перевернув ящичек, он положил его на стол и осторожно стал отвинчивать дно. Первый винтик, второй, третий... Он еще не отвинтил четвертый, как я уже понял, что у табакерки не одно, а два дна, а между ними... Я не поверил глазам: между ними лежал маленький блокнот, выглянувший на свет с таким видом, как будто ему смертельно надоело лежать в табакерке.

Трубочный Мастер засмеялся, протягивая мне блокнот. И хотя мне очень захотелось расцеловать старика за этот смелый шаг, на это я все-таки не решился.

Не моя старая лупа, а телескоп — вот что действительно пригодилось бы, когда я стал разбирать буквы, похожие уже не на куриные, а на комариные следы. Мало того, многие строчки сползали вниз, как змейки, сердито теснившие друг друга. «И недаром, недаром,— подумалось мне,— Ночной Сторож, исписав маленькие страницы маленькими буквами, умудрился засунуть блокнот в музыкальную табакерку». «В молодости Директор Немухинской Музыкальной Школы играл на ударных инструментах»,— удалось мне прочитать на одной из первых страниц. По-видимому, это была музыкальная история. Но не будем забегать вперед! Скажу только, что мне удалось не только прочитать этот блокнот, но переписать его, кое-что прибавив, а кое-что убавив — разумеется, только на тех страницах, разобрать которые было решительно невозможно. Скажем, вступления не было, и мне пришлось написать его, без него многое было бы непонятно. Названия тоже не было, и хотя мне очень хотелось назвать эту историю «Рукопись, найденная в музыкальной табакерке», Ночной Сторож, без сомнения, назвал бы ее

НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

РАДУГА В ГОСТЯХ

Первыми прилетели две зеленые птички. «Попугаи-неразлучники из Зоомагазина»,— немедленно определил Петька. В Немухине был только один Зоомагазин, и Петька знал всех его обитателей — от золотых рыбок до белки Машки, которая крутила свое колесико в клетке, висевшей на витрине.

Потом прибежал дымчато-розовый пудель с белым мячом в зубах, конечно, из Дома Игрушки. Потом, развертываясь и шурша, у крыльца плавно опустился большой ярко-желтый плакат, и Петька видел, как Варвара Андреевна распахнула дверь, чтобы он не измялся, влетая во флигель. Потом приковылял старый, лоснящийся черный фрак — надо полагать, из гардероба Немухинского Драматического Театра, а за ним явилась кремовая войлочная кавказская шляпа.

Все это было очень странно, и Петька, сидевший на крыше сарая с книгой в руках, не удивлялся только потому, что был убежден, что при любых обстоятельствах мужчина должен оставаться невозмутимым. Но когда в открытое окно, неуклюже и как будто стесняясь, кое-как втиснулся изрядный краешек синего неба, Петьке, очевидно, изменила невозмутимость, потому что от любопытства его стало буквально трясти. Прошло еще минут двадцать; больше никто не приходил и не прилетал, только Варвара Андреевна выглянула и сняла висевший на крыльце красный огнетушитель. И тогда Петька поставил перед собой вопрос. Он любил думать так: сперва ставил вопрос, а потом делал заключение. Вопрос был такой: зачем Варваре Андреевне зеленые попугаи, розовый пудель, желтый плакат, черный фрак и кремовая шляпа? Заключение было такое: никто, кроме Тани Заботкиной, не может ответить на этот вопрос.

И, не теряя времени, но отправился к Тане.

Они учились в разных школах, однако встречались часто и даже однажды ходили вдвоем в кино. Таня была девочка серьезная, начитанная, и Петька тоже старался читать, хотя ему больше нравилось дрессировать свою собаку — у него была огромная кавказская овчарка, которую

звали Басар. После школы он решил остановиться на опасной профессии Укротителя Диких Зверей. Об этом он часто говорил с Таней, и вообще у них были интересные, содержательные разговоры. Например, когда он однажды прицепился к туристской «Волге» и промчался на лыжах через весь Немухин со скоростью 80 километров в час, Таня доказала ему, что это было глупо, и он согласился просто потому, что с Таней почему-то приятно было соглашаться. Потом однажды Петька сказал, что у девочек куриные мозги. Таня залепила ему пощечину, они подрались, и это тоже было интересно. Но когда в Музыкальной Школе появилась Варвара Андреевна, отношения у них немного испортились. Дело в том, что Таня стала говорить только о ней: вчера Варвара Андреевна сказала, что у Тани не получается трель, а сегодня — что получилась. Когда Варвара Андреевна входит в класс, кажется, что она плывет — такая у нее легкая походка. Петька слушал, уныло повесив нос. Он не знал, что такое трель, а что касается походки Варвары Андреевны, то, по мнению Петьки, она ходила, как цапля.

Теперь они разговаривали так:

Петька. Еду я вчера по Нескорой. Вдруг — крак! Заднее колесо — ни туда ни сюда.

Таня. А Варваре Андреевне в феврале исполнится двадцать два года, и мы решили подарить ей дирижерскую палочку.

Петька. Два километра тащил велосипед на горбу. Взмок, хоть выжми.

Таня. А Варвара Андреевна говорит, что ребятам, у которых по теории музыки будут пятерки, она начнет летом давать уроки гармонии.

Что оставалось Петьке? Терпеть. Ведь Таня, хоть ей было только двенадцать лет, была его старым другом.

Надо сказать, что не только Таня была без ума от своей учительницы.

Варвара Андреевна была высокая, тонкая, гибкая, с бледным, нежным лицом. Когда она говорила даже самые обыкновенные вещи — «извините, пожалуйста» или «не правда ли, сегодня прекрасная погода?» — всем казалось, что откуда-то доносится музыка. Когда она смеялась, отчетливо слышались звуки челесты — есть такой музыкальный инструмент, напоминающий звон хрустальных бокалов. А когда сердилась, откуда-то мягко доносились аккорды тромбонов.

Словом, можно сказать, что она произвела на немухинцев сильнейшее впечатление. А это, между прочим, не так просто, как кажется.

О своих достопримечательностях немухинцы любят рассказывать неторопливо, подробно. К их числу относятся Старый Трубочный Мастер и футбольная команда класса «В», однажды сыгравшая вничью с донецким «Шахтером».

Теперь немухинцы надеялись, что в число достопримечательностей попадет Варвара Андреевна.

Петька пришел удачно. Таня занималась, так что у него было достаточно времени, чтобы подготовиться и кратко рассказать о том, что произошло: он считал, что, оставаясь невозмутимым, мужчина должен выражаться кратко.

— Сперва попугаи-неразлучники, заметь, зеленые, потом розовые, пудель, черный фрак, белая шляпа, желтый плакат, красный огнетушитель и неопределенный кусок киселя, похожий на краешек неба.

— Ничего не понимаю.

Петька терпеливо повторил.

— Ну хорошо,— сказал он.— Допустим, что попугаи заглянули, потому что они надоели друг другу, а пудель... Что с тобой?

Не слушая его, Таня смотрела в окно. Конечно, это было простым совпадением, но как раз в эту минуту над Немухином появилась радуга — широкая, мерцающая, плавно изогнутая, неожиданно соединившая новую телевизионную вышку с куполом Дворца пионеров.

— Значит, розовый, синий, черный, зеленый, белый, желтый и красный? — задумчиво спросила Таня.— Интересно, если бы Варвара Андреевна увидела эту радугу, она пригласила бы ее в гости?

БАММ! БАММ!

В молодости Директор Музыкальной Школы играл на ударных инструментах. Может быть, поэтому он считал, что в музыке самое главное — энергия и отчетливость.

— А какие же инструменты могут сравниться в этом отношении с ударными? — спрашивал он.— Смычковые? Или духовые? Нет и нет!

И он любил вспоминать о тех счастливых мгновениях,

когда дирижер направлял на него свою палочку. Он вставал и — бамм! — ударял в блестящие медные тарелки.

Разумеется, он был очень доволен, что вся школа — и даже весь город — в восторге от Варвары Андреевны, хотя иногда ему казалось, что о ней говорят слишком много. В школе только и слышалось: «Варвара Андреевна, Варвара Андреевна!» Родители, которые всегда недовольны, не жаловались на нее и даже, как это ни странно, хвалили. В «Немухинском комсомольце» появилась заметка о том, что гармонию — есть такой предмет — преподает девушка, гармоничная во всех отношениях. На той же странице был помещен ее портрет, и в редакцию со всего Советского Союза полетели письма, обещавшие Варваре Андреевне счастливое будущее в качестве супруги инженера, акробата, штукатура, монтера и зубного врача.

Над одним из этих писем она задумалась, впрочем, только на минутку: кузнец Иван Гильдебранд написал, что, если она позволит ему придумать для нее тысячу ласковых прозвищ, он сделает это, хотя кончил только среднюю школу и умеет гораздо лучше ковать, чем писать и читать.

Все это раздражало Директора и, главное, казалось ему удивительно несправедливым. Почему о нем, опытнейшем музыканте, рассчитывающем получить к пятидесятилетию звание Заслуженного Деятеля Искусств, в газетах ни слова?

Да, он был очень огорчен, но, как и полагается бывшему барабанщику, держался внушительно и подтянуто-строго. Но когда по немухинскому радио сообщили, что новая преподавательница обладает так называемым абсолютным слухом, то есть может отличать половину и даже четверть тона, он стал положительно неузнаваем. Прежде, лихо откинув поросшую пухом головку, он так и катался по Немухину на своих коротеньких ножках. А теперь ходил, оглядываясь и моргая. Прежде, когда он похлопывал себя по животу, слышался веселый, бодрый звук. А теперь — глухой, расстроенный, унылый.

Он ничего не имел против молодой учительницы, решительно ничего! Он желал ей добра и только добра! Но ему не хотелось всю ночь ворочаться с боку на бок и ежеминутно выключать радио из боязни, что кому-нибудь снова придет в голову похвалить Варвару Андреевну. И он придумал остроумный, дальновидный план, о котором решил рассказать своей любимой ученице Зине.

Тайны бывают разные — веселые, грустные, удивительные, смешные. У Зины Миленушкиной была своя скучная-прескучная тайна: она скрывала, что у нее разные уши. Левое было ухо как ухо. А правое — большое и плоское, как у летучей мыши. Чего только она не делала, чтобы спрятать его под своими прямыми рыжими волосами! Бант на ее голове всегда был завязан криво, а косы, в которые ей приходилось вставлять свинцовую проволочку, завернуты дугой на правое ухо. И все равно в классе ее звали просто Ухо, что по отношению к такой вежливой девочке было по меньшей мере несправедливо.

Всем она говорила только приятное и даже, отвечая урок, с трудом удерживалась, чтобы не сказать учителю, как он хорошо выглядит, или учительнице, какое на ней сегодня хорошенькое платье. При этом она всегда немного извивалась, так что кое-кому приходило в голову, что она вовсе не семиклассница, а гусеница или даже змея. Но сама она никогда не думала о себе так плохо. Напротив, она была уверена, что во всем Немухине нет другой девочки, которая играла бы сразу на трех ударных инструментах и одновременно была бы так красива, умна и добра.

Директор начал с того, что похвалил Зину за успехи. Она сильно продвинулась, например, по тарелкам, хотя «бамм» у нее получается только с одним «м», а надо по меньшей мере с двумя. Потом он спросил, как у нее обстоит дело с гармонией, и очень расстроился, узнав, что по этому предмету у нее в четверти тройка.

— Разве можно так огорчать нашу дорогую Варвару Андреевну? — назидательно спросил он.— Ты должна дать мне слово, что в году у тебя будет по меньшей мере четверка.

И он с сожалением заметил, что, в сущности, очень мало знает Варвару Андреевну. В Немухин она приехала недавно, молодая девушка, одинокая, ни друзей, ни родных. Днем она занимается в школе. Но что она делает по вечерам? Она живет на Нескорой — между прочим, хорошая улица, по которой приятно гулять.

Зина заметила, что она любит гулять по Нескорой.

— Вот и прекрасно. А гуляя, тебе нетрудно будет время от времени останавливаться под окном Варвары Андреевны.

Зина сказала, что под окном у Варвары Андреевны растет бузина.

— Вот видишь, какая ты умная девочка! — воскликнул Директор.— Ведь если ты спрячешься в кустах бузины, не только Варвара Андреевна, но решительно никто тебя не увидит. Ты понимаешь, как человек, я просто не нахожу себе места, думая о ней. А как директор, я обязан интересоваться своими подчиненными, в особенности выдающимися, о которых говорят по радио и пишут в газетах.

«ГДЕ ЖЕ МУЗЫКАНТЫ?»

В комнате стояла такая тишина, что нечаянно зажужжавшая осенняя муха извинилась и замолчала — это была получившая хорошее воспитание муха. Но почему же в этой глубокой тишине Варвара Андреевна размахивала палочкой, точно дирижируя невидимым оркестром?

Перед ней стоял пюпитр, на котором лежали ноты. Глаза ее блестели, нежные щеки разгорелись. Она была так хороша, что с первого взгляда становилось ясно, почему на ней хотели жениться инженер, акробат, зубной врач, штукатур, монтер и кузнец.

Но из кого же состоял оркестр, которым она управляла? Какую музыкальную пьесу исполняли безмолвные музыканты? И почему Варвара Андреевна так смутилась, когда Таня Заботкина заглянула в полуоткрытую дверь?

— Извините. Я брала у вас ноты, а сейчас у меня как раз свободное время, и я решила вернуть. Спасибо!

— Пожалуйста, Танечка,— ответила Варвара Андреевна.

— Я, кажется, некстати. Вы заняты?

— О нет. Я отдыхаю.

— Но вы дирижировали, когда я вошла?

— Может быть,— задумчиво сказала Варвара Андреевна.— Впрочем, да. Мы разучивали новый концерт.

«Но где же музыканты?» — подумала Таня.

Попугаи-неразлучники сидели на спинке стула, тесно прижавшись друг к другу, как и полагается неразлучникам. Розовый Пудель, вытаращив глазки, крепко держал в зубах белый мяч. Потертый Фрак из Немухинского Театра, надетый на плечики, висел на открытой дверце шкафа, а рядом с ним — Кремовая Шляпа Полуразвернувшийся Желтый Плакат был приколот кнопками к спинке крова-

ти, Огнетушитель стоял у стены, а Краешек Неба стыдливо подползал к форточке — должно быть, ему хотелось удрать, пока на него не обращали внимания. Но вот что странно: у них действительно был такой вид, как будто они только что замолчали.

— Как тебе нравится мой оркестр, Таня?

— Варвара Андреевна,— сказала Таня.— Вы говорили, что у меня почти абсолютный слух. Почему же я их не слышу?

Варвара Андреевна засмеялась — и сразу же откуда-то донесся легкий звон хрустальных бокалов.

— Ах, милая моя,— сказала она,— потому что ты просто способная девочка, а я Фея Музыки, которая слышит не только звуки, но и цвета — коричневый, черный, розовый, красный, желтый, синий, голубой, зеленый.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ОРКЕСТР

Известно, что феи — и в особенности добрые феи — иногда поступают на работу и живут, как самые обыкновенные люди. Фея Вежливости и Аккуратности, например, получила даже персональную пенсию, прослужив чуть ли не сорок лет в Главной Палате Мер и Весов.

Нет ничего удивительного и в том, что Фея Музыки поступила в Немухинскую Музыкальную Школу. Цвета она слышала потому, что у нее был не абсолютный, а сверхабсолютный слух. Например, когда Варвара Андреевна осенью бродила по березовой роще, ей положительно приходилось затыкать уши: желтизна осенней листвы звенела в ее ушах, как звуки фанфары или высокой трубы.

Трудно себе представить, что, глядя на зеленых попугаев-неразлучников, она ясно различала спокойные звуки скрипки, а между тем это было именно так. Стоило ей в ясный день взглянуть на голубое небо, как до нее доносились нежные звуки тысячи флейт. Фиолетовый цвет она слышала так же ясно, как кларнетиста, играющего в Большом зале Московской консерватории. Синий — был похож на виолончель, а делаясь темнее, звучал как задумчивые, глубокие аккорды органа.

Зато зимой, когда начинал идти снег, она не слышала почти ничего: белый цвет был молчалив и годился в лучшем случае для продолжительных пауз.

Директор напрасно беспокоился о ней — она ничуть не скучала в Немухине. Феи, как и некоторые люди, вообще не знают, что такое скука. Просто у нее было много свободного времени, и, чтобы оно не пропадало даром, она устроила маленький разноцветный оркестр. Музыкальные пьесы для него она писала сама.

Почему же Варвара Андреевна попросила Таню никому не рассказывать о ее музыкантах?

— Ты понимаешь, я совсем не пуглива,— сказала она.— Я, например, не боюсь темноты. Когда я читаю «Дон-Кихота», мне всегда кажется, что и я могла бы войти в клетку льва. А нашего Директора я боюсь. У меня душа просто уходит в пятки, когда он поднимает свои тусклые глазки. Другой директор обрадовался бы, узнав о моем оркестре. А он рассердится и может даже уволить меня.

— Почему?

— Потому что учительнице музыки не полагается слышать цвета, если сам Директор слышит только звуки, да и то далеко не все. Ах! — Варвара Андреевна вздохнула, и откуда-то сразу же донеслась грустная музыкальная фраза.— Неужели мне придется уехать из Немухина и выйти замуж за штукатура, акробата, инженера, монтера, кузнеца или зубного врача? Ведь замужество, говорят, хлопотливое дело! Куда, куда! — сказала Варвара Андреевна Краешку Неба, который тем временем подобрался к форточке и стал похож на голубую пушистую кошку, вставшую на задние лапы.— Репетиция не кончена! На место, мой милый, на место!

— Варвара Андреевна, вы заняты, я пойду,— поспешно сказала Таня.— Я никому не расскажу о вашем оркестре.

— Да, пожалуйста. Впрочем, если тебе очень захочется, ты можешь шепнуть кому-нибудь, что я фея. Все равно этому никто не поверит.

В КУСТАХ БУЗИНЫ

От Варвары Андреевны Таня забежала к Петьке, и, хотя это было очень трудно, она сдержала обещание и не проронила ни слова.

— Попугаи заглянули к ней в гости,— сказала она.— Плакат залетел случайно, Черный Фрак нужен ей для школьного спектакля, а Войлочная Шляпа — потому что

Варвара Андреевна собралась на юг. Ну, а Пудель прибежал к ней, потому что она купила его в Доме Игрушки.

— Допустим,— сказал недоверчиво Петька.— А Огнетушитель?

— Ах, Огнетушитель! Ему стало скучно висеть у крыльца, и он попросил Варвару Андреевну перевесить его куда-нибудь в сени.

— Возможно,— согласился Петька.— А откуда же взялся этот голубоватый кусок киселя?

— Да, кажется, там было что-то вроде киселя. Должно быть, Варвара Андреевна собирается переклеить обои.

О том, что она фея, Таня сперва ничего не сказала, а потом небрежно обмолвилась:

— Ты знаешь, а ведь она, кажется, фея.

Петька фыркнул и решил, что, если даже Таня не придаст этой странной истории значения, значит, можно забыть о ней, по крайней мере на время. И Таня ушла, а он стал дрессировать Басара. Он клал ему на нос кусочек хлеба, и лохматый, рыжий, большой, как лошадь, Басар терпеливо ждал, когда Петька крикнет:

— Пиль!

Это значило, что хлеб можно съесть. Потом Басар исполнял команды:

— К ноге!

И он покорно шел рядом с Петькой.

— Куш!

И он ложился у его ног, застенчиво виляя хвостом.

Но сегодня тренировка что-то не шла. Делая круг по двору, Басар остановился у калитки и залаял, а когда Петька усадил его на задние лапы, так скосился, что чуть не упал, и снова залаял, что могло означать только: «Внимание! Опасность! Враг у ворот!»

Но Петька не выглянул за ворота, как сделал бы на его месте любой немухинский школьник. Он влез на крышу сарая, чтобы предварительно изучить местность, и увидел флигелек, в котором жила Варвара Андреевна, а под окном, в кустах бузины... Как вы думаете, что он увидел в кустах бузины? Большое, плоское, красное ухо!

Конечно, это было ухо Зинки Миленушкиной, и другой мальчик непременно принял бы его за гроздь бузины, тем более что оно пылало от любопытства. Но Петька сразу понял, в чем дело. Он слез с крыши, отдал Басару весь хлеб и сахар, приготовленный для дрессировки, посадил его на цепь и отправился к Зинке.

Она уже выскочила из бузины и шла по Нескорой как ни в чем не бывало.

— Петечка, это ты? Вот хорошо, что я тебя встретила! А я как раз была у Варвары Андреевны, и она мне вдруг говорит: «Не знаешь, Зинуша, кто этот симпатичный парнишка, который живет в соседнем дворе?» Я говорю: «Что вы, Варвара Андреевна, неужели вы не знакомы с Петей Воробьевым? Его же весь Немухин знает! Он вам нравится?» Она говорит: «Очень». А я говорю: «И мне, Варвара Андреевна, вы знаете, какой он отчаянный! В прошлом году, например, он прицепился к туристской «Волге».

Это было очень трудно — с ходу не дать Зинке пинка. Но Петька остался, как и полагается мужчине, невозмутимым.

— Лучше скажи,— спокойно начал он,— почему ты пряталась под окном Варвары Андреевны. Подслушивала?

— Ну что ты, Петечка! Она же одна! Не станет же она сама с собой разговаривать?

— Положим,— согласился Петька.— Значит, подглядывала.

— И не подглядывала. Просто подумала: зачем ей игрушечный пудель? Ну, попугаи — это понятно. Моя бабушка, например, тоже любит птиц, вечно у нас чирикает какая-нибудь канарейка. Но ведь это совсем другое дело, правда? Это певчие птицы, бабушка слушает их и говорит, что это приятно. А ведь попугаи-неразлучники, они же, Петечка, не поют?

Если бы Таня рассказала Петьке о разноцветном оркестре, он после разговора поставил бы перед собой вопрос: «Зачем Зинка сидела под окном Варвары Андреевны?» И за ответом со всех ног помчался бы к Тане. Но он не поставил этот вопрос, потому что весь Немухин прекрасно знал, что Зинка любит подсматривать и подслушивать. На всякий случай он все-таки дал ей пинка, а потом вернулся к себе и снова принялся за Басара.

«КАК БЫ МНЕ ЕЕ ПОДЦЕПИТЬ!»

Надо думать, что Зинка Миленушкина не один вечер провела под окном Варвары Андреевны, прежде чем догадалась, что новая учительница слышит цвета. А может быть, она просто подслушала, как Варвара Андреевна рассказывала Тане о своем разноцветном оркестре?

Так или иначе, однажды она явилась к Директору и не только доложила ему о Пуделе, Черном Фраке, Зеленых Попугаях, Кремовой Шляпе и других музыкантах, но даже изобразила, как Варвара Андреевна, дирижируя, стучит палочкой по пюпитру.

— Значит, когда она смотрит, скажем, на воробья, она его слышит? — спросил Директор.— Даже если он не чирикает?

— Да.

— А корову?

— Тоже.

— Даже если она не мычит?

Зинка сказала, что ей очень жаль, но, очевидно, слышит.

— Конечно, это зависит от цвета,— добавила она, извиняясь.— Если корова рыжая, Варвара Андреевна слышит одно, а если черная — совершенно другое.

— Позвольте, но это же не положено,— сказал Директор.— Ведь она должна заниматься не какими-то попугаями, а школьным оркестром. Под Новый год наш школьный оркестр должен выступить во Дворце пионеров, причем среди приглашенных из столицы гостей будет лучший в Советском Союзе тромбон.

Он хотел сказать — лучший в Советском Союзе музыкант, играющий на тромбоне.

— Ну, хорошо. Пусть она слышит цвета, это ее личное дело! Но собственный оркестр! Без разрешения Министерства Музыки и Изящных Искусств? Без моего ведома! Ох!

И чтобы немного прийти в себя, он попросил Зину несколько раз ударить в медные тарелки над его головой. Бамм! Этот веселый, раскатистый звук возвращал ему бодрость.

— Ну что ж, Зиночка, спасибо,— слабым голосом сказал он. — По тарелкам я ставлю тебе пять и по всем другим предметам — тоже пять до конца года. А теперь иди домой, моя милая. Мне надо немного подумать.

Он не пошел в школу, заперся в своей комнате и стал думать. Но, как на грех, ни одна дельная мысль не залетала в его маленькую, покрытую пухом головку.

Пожалуй, проще всего было уволить Варвару Андреевну и взять на ее место другую учительницу гармонии. Но немухинцы не поймут такого поступка, а если он станет объяснять им, что учительницам не положено заводить на дому свой собственный, да еще разноцветный, оркестр, они скажут:

— Вот интересно. За что же тут увольнять? Пусть она лучше выступит со своим оркестром в каком-нибудь клубе.

И тогда весь Немухин заговорит, что Варвара Андреевна по звуку может отличить желтый цвет от зеленого, а зеленый от голубого. Нет, здесь нужен совсем другой подход, более тонкий.

У Директора был превосходный сон — бывают же такие счастливые люди! Его не мог разбудить даже самый громкий будильник, и обычно он ставил на свой ночной столик два будильника, а иногда даже три. Теперь хватало и одного — так чутко стал он спать, размышляя с утра до вечера о Варваре Андреевне.

«Как бы мне ее подцепить?» — думал он грустно.

Но день проходил за днем, неделя за неделей. Уже первый мягкий снежок деловито разбросал свои звездочки по немухинским улицам и бульварам, а Директор ничего не мог придумать. Решительно ничего!

«Ведь, чего доброго, в конце концов не я, а она получит звание Заслуженного Деятеля Искусств. С ума сойти! Что же делать?»

Но вот однажды он проснулся с прекрасной мыслью, от которой у него сразу же стало весело на душе:

— Значит, немухинцы сказали бы: «Пусть она лучше выступит со своим оркестром в каком-нибудь клубе». Отлично. Сегодня же я предложу ей выступить — и не в каком-нибудь клубе, а на новогоднем вечере во Дворце пионеров. Конечно, она не захочет махать своей палочкой в полной тишине — ведь ее музыкантов никто не услышит. А когда она откажется, ей придется уйти из школы и в лучшем случае выйти замуж за кузнеца, потому что ни зубной врач, ни акробат, ни даже монтер не захотят жениться на обманщице, которая утверждает, что она слышит цвета.

ПЛАЧУТ ЛИ ФЕИ?

Если бы Варвара Андреевна в этот день засмеялась, никому не показалось бы, что он слышит звуки челесты, напоминающие звон хрустальных бокалов. Но она не смеялась. Весь Немухин заметил, что в этот день она была молчалива и очень грустна.

— Что случилось? — спрашивали ее другие учителя.

И она отвечала:

— Благодарю вас, ничего не случилось.

— Ох, что-то мне кажется, что пора вам провести вечерок со мною,— сказал ей Старый Трубочный Мастер.

— Благодарю вас, с удовольствием. Как-нибудь в ближайшие дни.

Один из ученых, занимавшийся волшебниками и волшебствами, предположил, что феи плачут, как самые обыкновенные люди. Как ни странно, он оказался прав. Таня зашла в этот день к Варваре Андреевне и нашла ее в горьких слезах.

— Ах, Танечка, все так плохо, что я тебе и сказать не могу. Директор предложил мне выступить с моим оркестром на новогоднем вечере во Дворце пионеров.

— А вы?

— Я сказала, что у меня нет никакого оркестра.

— А он?

— Он сказал: «А что же делают у вас по вечерам Розовый Пудель, Зеленые Попугаи, Черный Фрак, Красный Огнетушитель и Кремовая Шляпа?»

— А вы?

— А я растерялась и сказала: «Вы забыли о Желтом Плакате и Краешке Голубого Неба».

— А он?

— Он рассмеялся и говорит: «Вот видите!» И я,— глотая слезы, сказала Варвара Андреевна,— я согласилась.

— Как же так? — волнуясь, спросила Таня.— Ведь ваш оркестр не может играть. Его никто не услышит!

— В том-то и дело! Публика будет свистеть и топать ногами. Конечно, меня любят в Немухине, и, может быть, публика будет тихо свистеть и еле слышно топать ногами. Но все равно я умру от стыда.

— Варвара Андреевна, извините меня, я еще девочка и не должна вам советовать,— твердо сказала Таня.— Но мне кажется, что вы должны отказаться.

Варвара Андреевна подумала.

— Не могу,— упавшим голосом сказала она.— Я его боюсь. У меня просто душа уходит в пятки, когда я смотрю в его тусклые оловянные глазки.

Другая девочка поохала бы и ушла. Но Таня, прежде чем уйти, все-таки уговорила Варвару Андреевну написать Директору решительное письмо: «В конце концов, этот маленький оркестр был для меня отдыхом, развлечением. Нельзя же все-таки до такой степени не жалеть людей! К сожалению, я вынуждена отклонить Ваше лестное предложение».

— Я отнесу ваше письмо,— сказала Таня.— А потом, Варвара Андреевна... если вы разрешите, я зайду к Старому Трубочному Мастеру.

— Зачем?

— Ну как же! Посоветоваться! Разве вы не знаете, что с ним советуется весь Немухин и что к нему иногда приезжает из Москвы сам Главный Хранитель Палаты Мер и Весов?

Она взяла письмо и решительно направилась к двери. И в эту минуту... Да, именно в эту минуту Петька включил свое радио на полную мощность.

«Дорогие немухинцы,— сказал по радио низкий добродушный голос.— Сегодня одно из последних известий будет одновременно и одним из самых приятных. Директор Музыкальной Школы только что сообщил нам, что Варвара Андреевна, та самая учительница гармонии, о которой мы не раз говорили по радио, согласилась под Новый год выступить со своим разноцветным оркестром во Дворце пионеров. Кстати, поговаривают, что Варвара Андреевна — фея. Подумайте, как интересно! Увидеть живую фею! Ждем, Варвара Андреевна! Кха-кха! С нетерпением ждем!»

ЭТО ИНТЕРЕСНО ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНО

Старый Трубочный Мастер недаром сказал Варваре Андреевне: «Ох, что-то мне кажется, вам пора провести вечерок со мною!»

И это несмотря на то, что он в последние дни был очень занят. Он обкуривал свою новую трубку, а это надо делать в одиночестве, вдумчиво и серьезно.

— Ну, выкладывай,— сказал он Тане и, выслушав ее, стал пускать большие, волнистые кольца голубого дыма. Это значило, что хотя ему было известно почти все, что рассказала Таня, однако есть и кое-что новенькое, о чем стоило подумать в свободное время.

— Отлично,— сказал он.— Пуф-пуф! Концерт состоится.

— Но ведь музыкантов никто не услышит?

— Почему же? Их услышат. Надо только выковать им голоса.

— Не понимаю.

— Еще бы, пуф-пуф! Это не так-то просто понять!

И он рассказал Тане, что в Поселке Любителей Свежего Воздуха живет кузнец Иван Гильдебранд, который умеет выковывать голоса. Кстати, именно он написал Варваре Андреевне, что готов придумать для нее тысячу ласковых прозвищ. Так что кому-кому, а уж ей-то он не откажет!

— А где находится этот поселок? — спросила Таня.

— Недалеко. Но попасть туда нелегко.

— Почему?

— Да вот из-за Свежего Воздуха,— с досадой сказал Трубочный Мастер и на мгновение скрылся в клубах табачного дыма.— Эти любители, понимаешь, терпеть не могут ни дыма, ни чада. Паровозы, видите ли, их раздражают: дымят. От шоссе они отказались, так что на автомобиле к ним проехать нельзя. Попасть туда можно только пешком, верхом или на велосипеде.

— А на самолете?

— Нет.

— На воздушном шаре?

Трубочный Мастер не успел ответить: какой-то мальчишка в распахнутой курточке промчался, размахивая кнутиком, на финских санках, которые легко тащил большой лохматый пес с добродушной мордой. Это был, конечно, Петька, который, на зависть всем немухинским мальчишкам, носился по городу, то и дело залетая в канавы.

Он только промелькнул, но этого было вполне достаточно, чтобы и Таня, и Трубочный Мастер подумали одновременно: «Вот кто должен отвезти в Поселок Любителей Свежего Воздуха разноцветный оркестр».

Нельзя сказать, что Петька обрадовался, когда Таня попросила его съездить к кузнецу Ивану Гильдебранду. Как очень занятой человек, он схватил в эту четверть две двойки, которые надо было исправить. Но, во-первых, ему давно хотелось доказать Тане, что он настоящий мужчина. А во-вторых, это было интересно, потому что это было действительно интересно.

Прежде всего он зашел к Трубочному Мастеру с Атласом СССР, чтобы наметить кратчайший маршрут: Немухин — Поселок Любителей Свежего Воздуха. А от него — к Варваре Андреевне.

— Докладываю,— сказал он.— Провизия заготовлена, включая так называемый аварийный запас. Отправление, если я не просплю, в четыре ноль-ноль. Маршрут намечен.

— Если бы ты знал, Петечка, как я тебе благодарна,— сказала Варвара Андреевна. Она выглядела совсем девочкой в своем коротеньком платье, с косой, уложенной вокруг головы. Может быть, увидев ее в эту минуту, Директор даже пожалел бы о своем коварстве.

— Теперь насчет музыкантов,— продолжал Петька.— Таня дала мне свой заплечный мешок. Но, во-первых, они туда не влезут, а во-вторых, я их по дороге переломаю. Попугаи подохнут, Фрак изомнется, а Краешек Неба вообще не запихаешь в мешок. У меня предложение: давайте-ка лучше я привезу этого мастера к вам.

— Ну что ты, Петечка? Разве он поедет?

— А почему бы и нет? Ведь это, кажется, он собирался придумать вам тысячу прозвищ? Я, между прочим, подсчитал, что это практически невозможно.

— Вот что, Петечка,— сказала Варвара Андреевна,— на твоем пути встретится Обыкновенный Лесок. Но он не совсем обыкновенный, потому что в нем живет Леший, который может и не пропустить тебя, если ты ему не понравишься. Зовут его Трофим Пантелеич. Он довольно симпатичный Леший и, между прочим, мой старый знакомый. Ты отвезешь ему от меня вот эту маленькую табакерку с нюхательным табаком. Он понюхает и чихнет. Тогда ты скажешь: «Салфет вашей милости». Он ответит: «Красота вашей чести». Потом ты скажешь: «Любовью вас дарю». А он ответит: «Покорно благодарю». И тут уж он, я надеюсь, покажет тебе дорожку через бурелом к Поселку Любителей Свежего Воздуха.

«САЛФЕТ ВАШЕЙ МИЛОСТИ»

В школе Петька никому не сказал, что намерен отправиться на своем Басаре в далекую дорогу — не потому, что его не отпустили бы, а потому, что пришлось бы долго объяснять, куда да зачем. Родителям он тоже ничего не сказал: мама, пожалуй, упала бы в обморок, а отец взял бы в руки ремень.

Поздно вечером он запряг Басара в свои финские санки, выехал на берег Немухинки и обрадовался, увидев Таню, которая дождалась, пока уснут взрослые, и пришла, чтобы его проводить.

Если бы он уходил на шхуне или фрегате, она сказала бы ему: «Счастливого плавания и достижений». Но к фин-

ским санкам и лохматому Басару не подходило это красивое пожелание. Поэтому она только протянула ему руки и сказала:

— Пока!

Но все равно это было прекрасно! Когда Петька стоял на длинных полозьях и мчался вдоль извилистой речки, перед его глазами стояла Таня в своей короткой шубке, разрумянившаяся, с заиндевевшими, выбившимися из-под круглой шапочки волосами.

Прошло часа два, и Басар, должно быть, устал, потому что раза два он сунулся мордой в снег, а потом с жадностью слизал его со своей мохнатой морды.

— При-вал! — сказал Петька, и они остановились минут на пятнадцать, чтобы закусить и погреться. Впрочем, грелся, топая ногами и хлопая себя по плечам, только Петька, а от Басара и без того валил пар.

На географических картах Обыкновенный Лесок не значится, и это понятно, потому что в нем действительно не было ничего заслуживающего внимания.

Немухинки на картах тоже нет, хотя она открыта давным-давно и по количеству пескарей стоит на одном из первых мест в средней полосе России. Так или иначе, Петька не мог заблудиться: он только время от времени покрикивал на свою добрую, безропотную собаку, и к утру, после еще одного привала, они с разбегу взлетели на снежное взгорье. Перед ними открылось такое зрелище, что если бы рядом с Петькой в эту минуту стояла Варвара Андреевна, она услышала бы музыку, которую не слышал еще ни один человек на земле.

На низком горизонте лежал спокойный медный ободок восходящего солнца, а под ним весело кувыркалось красно-желтое облачко, похожее на медвежонка. Ночь прошла, но это только казалось, на самом деле она спряталась в лес, со своим нежно светившимся снегом и побледневшей, усталой луной.

Однако надо было выбирать дорогу, и Петька, недолго думая, скатился с бугра и повернул направо, тем более что, куда ни взгляни, везде был поваленный лес. Полозья звонко заскрипели в тишине раннего зимнего утра, и неудивительно, что этот звук вместе с возгласами, которыми Петька подбодрял Басара, привлек внимание старого зна-

комого Варвары Андреевны. Петька увидел его издалека, притормозил санки и помчался прямо к нему.

Это был маленький старичок с рыжевато-седой бороденкой, в потертом кожухе, из-под которого были видны штаны, засунутые в рваные красные валенки. На голове у него был солдатский треух.

— Здравствуйте, Трофим Пантелеич,— сказал ему Петька.

— Ну, положим, здравствуй,— хрипло ответил старичок.

Басар залаял на него, и старичок, попятившись, испуганно заморгал.

— Я, собственно, проездом. А это Басар, он не кусается. Извините, вы ведь, кажется, Леший?

— Ну, положим,— нехотя согласился старичок.

— Нет, я просто хотел передать вам привет от Варвары Андреевны.

Известно, что лешие не только улыбаются, но и хохочут, причем у них отвратительный смех, похожий на скрежет тупой пилы по металлу. Но Трофим Пантелеевич весь так и засиял, услышав имя Варвары Андреевны, а когда он негромко засмеялся, закинув бороденку, оказалось, что у него совершенно человеческий, добрый смешок.

— Ну, как она, моя голубушка? Здорова ли? Что поделывает? Каково ей живется?

Петька рассказал, что Варвара Андреевна здорова, живет в Немухине и преподает гармонию в Музыкальной Школе.

— Просила вам кланяться,— сказал он солидно,— и передать свой подарочек. Вот.— Он достал из кармана табакерку и протянул ее старичку.

На этот раз Трофим Пантелеевич не только засиял, но весь как-то засветился, точно он был прозрачный и внутри у него зажглась большая свеча.

— Ну что за девушка! Обо всем-то она позаботится, обо всем подумает. Ведь я тут который год всякую дрянь нюхаю, грибы сушеные, мхи разные, а она на-поди — самый настоящий табачок прислала!

Он торжественно открыл крышку табакерки и осторожно насыпал щепотку на впадину левой руки между большим и указательным пальцами. Потом втянул табачок сперва в одну большую мохнатую ноздрю, потом в другую и так чихнул, что по всему лесу пошло: И-их! Э-эх! У-ух!

— Салфет вашей милости,— степенно сказал Петька.

— Красота вашей чести,— радостно сморкаясь, ответил старичок.

— Любовью вас дарю.

— Покорно бла...

И только он вымолвил «благодарю», как «И-их, и-эх, и-ух» так и зазвенело в лесу, пугая птиц и зверей, и докатилось до берлоги залегшего на зиму старого медведя, который сонно насторожил ухо и уже совсем было собрался проснуться, но раздумал и опять захрапел.

— А теперь прошу пожаловать ко мне в гости,— сказал Леший.

— Спасибо, не могу. Очень тороплюсь. Не можете ли вы показать мне дорогу, которая ведет к Поселку Любителей Свежего Воздуха?

— А чем тебе здесь, в лесу, не свежий воздух? Пожил бы у меня. Мы бы с тобой на охоту ходили. У меня ружьецо есть. Правда, старое, но бьет без промаха и белку, и всякую дичь. Право, остался бы, а?

— К сожалению, не могу. Времени в обрез. Скажу только одно: спешу по делам Варвары Андреевны.

— Ну, это другое дело. Тогда пойдем. Только вот что...— Он помолчал.— Ты не можешь как-нибудь устроить, чтобы твоя собака не лаяла? У меня просто сердце падает, когда она лает.

— Басар, ни звука! — повелительно сказал Петька, взглянув собаке прямо в глаза.

Басар кивнул, и они стали пробираться по чуть заметной тропинке, которую старый Леший не без труда нашел среди бурелома.

ИВАН ГИЛЬДЕБРАНД

На первый взгляд Поселок Любителей Свежего Воздуха ничем не отличался от любого другого поселка. Странно было только, что почти в каждом доме, несмотря на сильный мороз, окна были распахнуты настежь.

Над дымовыми трубами торчали белые колпаки, похожие на поварские, а над колпаками струился нагретый воздух, красиво таявший на морозном солнце.

— Фильтруют дым! — научно определил Петька.

Как в любом поселке на Главной улице стоял сельсовет, на котором так и было написано «Сельсовет», чтобы никто не спутал его с пожарной командой или сельмагом.

По сторонам этой надписи висели два плаката. На одном Петька прочитал: «Курильщики — вон!» А на другом: «При запахе прогорклого масла немедленно вызывайте «скорую помощь».

И действительно, в воздухе, пронизанном откуда-то взявшимся голубоватым светом, не было ни пылинки, ни дыма, ни чада. Народу на улице было немного — очевидно, Любители были заняты делом. Прохожие — это бросалось в глаза — все, как один, были высокого роста и одеты очень легко. О шубах не было и помину. И они не бежали сломя голову, чтобы согреться, а шли неторопливо, с любопытством поглядывая на Петьку, который в своем ватничке и шапке с ушами чувствовал себя, глядя на них, каким-то Дедом Морозом. Они напоминали ему «моржей» — так называются смельчаки, которые купаются в проруби зимой и даже устраивают состязание на скорость; в прошлом году на зимних каникулах он видел в Ленинграде такое состязание «моржей».

Вот громадный мохнатый битюг протащил тяжело нагруженную мешками телегу, а вот на стройной гнедой лошадке проехал не торопясь один из Любителей, в спортивной кепке, такой круглолицый и румяный, что можно было, пожалуй, дать ему лет двадцать, в то время как ему, без сомнения, было за сорок.

— Виноват,— вежливо сказал ему Петька,— не можете ли вы сказать, где живет кузнец Иван Гильдебранд?

Всадник подумал, улыбнулся и ответил сложно — очевидно, он любил загадки:

Кузнец без горна — не кузнец,
Огонь без дыма — не жилец.
Сбежали на восточный край
Колпак, подкова и сарай.

И, легко тронув повода, он проехал дальше.

Как ни странно, но Петька легко разгадал эту загадку: через несколько минут он с разбегу подкатил к небольшому каменному строению на краю поселка. Ворота его были распахнуты, а колпак над дымовой трубой был украшен подковой. Это значило, без сомнения, что именно здесь живет Иван Гильдебранд.

Как правило, кузнецы бывают коренастые, широкоплечие, с мускулистыми руками и ногами, как будто выкованные из железа. А навстречу Петьке вышел тоненький молодой человек, белокурый, с голубыми глазами, похо-

жий на рыцаря, хотя на нем был длинный кожаный передник, подпоясанный ремешком. В правой руке Иван Гильдебранд держал клещи, которыми он сжимал узкую, раскаленную, похожую на лепесток стальную пластинку.

— Виноват, одну минуту,— сказал он и вернулся в кузницу, где его ждал подмастерье.

И работа пошла на диво легкая, быстрая, веселая, с искорками, вздохами мехов и пением. Пел Иван Гильдебранд, и, хотя в кузнице было очень шумно, Петька постепенно стал различать слова, тем более что между ними попадалось знакомое имя.

Беляночка, Варварушка, давно ли
Ты для меня на свете расцвела?
Что нравится тебе — вино ли,
Бухарский шелк, лаванда, мушмула?

Подмастерье раздувал мехи, горн пылал, кузнец ловко орудовал маленьким молоточком, и Петька с удивлением заметил, что пластинка постепенно превращается в розовый лепесток.

Красавица, Зазнобушка, Жар-Птица,
Боярышня, Дружочек, Чистый Снег,
Не свидимся, так хоть позволь присниться,
Голубушка, Жасмин, Слиянье Рек,—

пел во весь голос голубоглазый кузнец.

Да, Иван Гильдебранд не преувеличивал, написав Варваре Андреевне, что, если она разрешит, он придумает для нее тысячу ласковых прозвищ! Более того, из песен, которые кузнец сочинял между ударами молота по наковальне, Петька понял, что кузнец услышал по радио о новогоднем концерте и намерен приехать в Немухин, чтобы поднести Варваре Андреевне букет Голубых Подснежников, которые, конечно, никогда не увянут, потому что они сделаны из стали.

Очевидно, в букете не хватало только одного лепестка, того самого, который Иван Гильдебранд выковал на глазах у Петьки.

Все это было очень хорошо, и Петька подумал, что если Варваре Андреевне придется уйти из школы, пожалуй, ей стоит выйти замуж именно за этого симпатичного кузнеца, а не за какого-то там зубного врача или монтера. Пора было, однако же, переходить к делу.

— К сожалению,— решительно сказал Петька,— я бо-

юсь, что вам не придется поднести этот букет Варваре Андреевне. Дело в том, что...

И он рассказал все, что случилось в Немухине с той минуты, как он увидел с крыши сарая Черный Фрак, Розового Пуделя, Попугаев-неразлучников и других разноцветных музыкантов. Впрочем, едва он упомянул о разговоре Директора с Варварой Андреевной, кузнец остановил его и сказал:

— Все понятно. Надо выковать им голоса.

«ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!»

К счастью, они явились в Немухин поздно вечером, когда городок уже крепко спал. Петька легонько постучал в окно Трубочного Мастера, и тот, покряхтев, встал и открыл дверь. Прежде всего он отправил Петьку домой, потом осмотрел Ивана Гильдебранда и остался доволен, заметив только:

— Длинен.

Это значило, что кузнец не поместится в комнате для гостей на диване. Однако все устроилось наилучшим образом: к дивану была приставлена табуретка, и кузнец уснул, едва коснувшись головой подушки.

О том, как выковывают голоса, ничего неизвестно, и даже в сказке «Волк и семеро козлят» говорится, что некий кузнец просто взял да и подковал волку голос. Но Старый Трубочный Мастер, очевидно, и тут оказался на высоте. Иван Гильдебранд провел с ним целый день, обсуждая все тонкости этого дела, и надо сказать, что для кузнеца это был трудный день: как Любитель Свежего Воздуха, он не выносил табачного дыма, а Мастер, как на грех, не выпускал изо рта свою трубку.

Музыканты, кроме Огнетушителя, который вдруг зашипел и попросил, чтобы его оставили в покое, еще с вечера сидели или висели в доме, с любопытством ожидая, когда же наконец начнется работа. И вот тут прямо из школы заглянула взволнованная Варвара Андреевна.

Это было в ту минуту, когда кузнец, надев свой кожаный передник и засучив рукава, вынимал из мешка инструменты.

— Здравствуйте,— сказала Варвара Андреевна, и инструменты один за другим выпали из его рук на пол.

Они одновременно бросились поднимать инструменты, столкнулись лбами, засмеялись, и тогда Иван Гильдебранд тоже сказал:

— Здравствуйте.

Варвара Андреевна стояла перед ним смущенная, опустив глаза, с порозовевшим, как у девочки, лицом. Всегда трудно найти слова в первые минуты знакомства. Наконец ей все-таки удалось заговорить, и сейчас же откуда-то донеслась еле слышная музыка. Монтер, зубной врач, штукатур, инженер удивились бы, без сомнения, услышав эту нежную музыку, умолкавшую в ту же минуту, когда умолкала Варвара Андреевна. Но кузнец не удивился. «Так и должно быть!» — подумал он радостно. Это значило, что ничего другого от такой девушки, как Варвара Андреевна, он и не ожидал.

Надо было назначить, кому какой голос ковать, и они, посовещавшись, решили, что

Черный Фрак должен звучать, как рояль,

Зеленые Попугаи-неразлучники — как две скрипки, первая и вторая,

Краешек Голубого Неба — как виолончель,

Огнетушитель — как валторна,

Желтый Плакат — как фанфары,

Кремовая Шляпа — как контрабас,

Дымчато-розовый Пудель — как альт,

А Белый Мяч, который он держал во рту, пригодится для пауз.

— Каждый из них уже недурно знает свою партию,— сказала Варвара Андреевна.— Но, конечно, когда они зазвучат, это будет совсем другое дело. Особенно важно, чтобы у рояля был мягкий, но сильный звук. Мой концерт — для рояля с оркестром.

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ

Директор Музыкальной Школы молодел с каждым днем — у него было прекрасное настроение. Теперь Зинке Миленушкиной почти не приходилось ударять в медные тарелки над его головой, чтобы вернуть ему душевное равновесие.

Снова он так и носился по Немухину на своих коротеньких ножках, а когда время от времени похлопывал себя по животу, слышался прежний бодрый звук, напоми-

навший о том, что Директор в молодости был одним из лучших барабанщиков в Советском Союзе.

О новогоднем вечере во Дворце пионеров давно уже знал весь Немухин, и Директор особенно радовался, когда его расспрашивали о Варваре Андреевне.

— Да, это та самая девушка, о которой писали, что она когда-нибудь непременно станет достопримечательностью, такой же, как наша футбольная команда,— говорил он.— Прекрасная, скромная девушка, и к тому же — вы не поверите — самая настоящая фея!

Но когда Директора расспрашивали о ее разноцветном оркестре, он загадочно отвечал:

— О, в этом надо убедиться собственными глазами!

Конечно, он рассчитывал, что, когда на сцене появятся такие странные музыканты, как Черный Фрак или Кремовая Войлочная Шляпа и Варвара Андреевна в полной тишине начнет размахивать дирижерской палочкой, вежливые зрители начнут смеяться, а невежливые — свистеть.

«Это будет скандал,— злорадно потирая руки, думал Директор.— Она провалится, и в какой-нибудь центральной газете появится статья: «Можно ли слышать цвета? Конечно, нет!» Между тем одна учительница Немухинской Музыкальной Школы утверждает, что она способна по звуку отличить один цвет от другого. И Директор был совершенно прав, уволив ее за обман».

Что касается Зинки Миленушкиной, то она давно перестала ходить в школу. Зачем? Ведь Директор заранее поставил ей пятерки по всем предметам до конца года. Куда интереснее было собирать по городу сплетни. Она складывала их в свой школьный портфель и бегала из одного знакомого дома в другой. Случалось, что ее выгоняли. Ну так что же! Она шла в третий.

В кустах бузины под окном Варвары Андреевны она перестала сидеть — и напрасно! Посиди она еще разочек-другой, и, может быть, ей удалось бы увидеть в гостях у Варвары Андреевны высокого белокурого незнакомца с голубыми глазами. Правда, она ничего не поняла бы из их разговора, потому что речь шла о том, что Черный Фрак еще звучит, как кабинетный рояль, а нужно, чтобы он звучал, как концертный. Но все равно это была бы такая большая сплетня, что, пожалуй, она не поместилась бы в школьном портфеле.

Между тем незаметно подошел Новый год, и даже не подошел, а как будто сам собой сложился из елок, которые

продавались на каждом углу, из украшенных витрин, в которых стояли, улыбаясь, деды морозы; из хлопот в каждом доме, где дети клеили цепи из цветной бумаги, серебрили орехи и закутывали елки в хрупкие нити бус и дрожащего тонкого золотого дождя. У самой большой елки во Дворце пионеров стоял одетый Дедом Морозом, в длинной красной шубе и высокой бело-красной шапке, Старый Трубочный Мастер. Он раздавал детям подарки. Это было днем, а вечером... Вечером весь Немухин собрался послушать разноцветный оркестр, которым дирижировала самая настоящая фея!

В первом ряду сидели самые уважаемые в городе люди, и среди них, конечно, Директор Музыкальной Школы, который ежеминутно вскакивал, встречая гостей из столицы.

Приехали журналисты. Приехали представители Министерства Музыки. Приехал Главный Хранитель Палаты Мер и Весов, приятель Трубочного Мастера, намеревавшийся после концерта посоветоваться с ним кое о чем, касавшемся мер и весов. И наконец, приехал Лучший Тромбонист Советского Союза, очень похожий на свой длинный инструмент, состоящий, как известно, из блестящих, плавно изогнутых трубок.

Большая сцена была еще совершенно пуста, так по меньшей мере казалось зрителям, которые терпеливо ожидали появления музыкантов. Музыкантов не было. На сцене почему-то стоял только маленький стол, на котором, прижавшись друг к другу, сидели Попугаи-неразлучники, а рядом с ними Дымчато-розовый Пудель с Белым Мячом в зубах. На рогатой вешалке висел изрядно потертый Черный Фрак, который некоторые зрители узнали, потому что не раз видели его на актерах Немухинского театра. К стене был прикреплен кнопками Ярко-желтый Плакат, а над ним висела Кремовая Шляпа.

Голубое пятно, лениво бродившее по кулисам, никто, конечно, не принял за Краешек Голубого Неба, и вообще зрители решили, что рабочие не успели убрать сцену после очередного спектакля. Только пюпитр, на котором лежали ноты, и дирижерская палочка напоминали о том, что вскоре в этом переполненном зале зазвучит музыка — должно же это было случиться, раз на концерт приехали такие почтенные люди.

И вот Варвара Андреевна в нарядном черном костюме, отделанном поблескивающими полосками, в белой кружевной блузке, заколотой скромной брошкой, вышла на сцену

и встала за пюпитр. В этот вечер ее трудно было узнать. В ней появилось что-то повелительное, властное: теперь просто невозможно было представить себе, что у нее душа уходит в пятки, когда Директор поднимает на нее свои тусклые свинцовые глазки. Она постучала палочкой по пюпитру, и Черный Фрак, Розовый Пудель и другие разноцветные музыканты взглянули на нее, как в самом настоящем оркестре музыканты смотрят на дирижера, ожидая его первого взмаха. И Музыка, которую услышали все, вспыхнула, раскинулась, поплыла. Она плыла, как фрегат с плавно вогнутыми парусами, свободно рассекающий волны. И немухинцы (кроме Директора, который не поверил ушам) вспомнили детство, когда они, все до одного верили в сказки и были убеждены, что их жизнь непременно будет прекрасной. «Иначе не может быть,— думали они,— потому что иначе не может быть никогда».

Да, можно смело сказать, что голубоглазый кузнец прекрасно справился со своей задачей. Фрак звучал, как концертный рояль, Попугаи-неразлучники ни разу не сбились, хотя у них была трудная партия, а ленивый Краешек Голубого Неба звучал почти как орган. Розовый Пудель тоже очень старался, а Белый Мяч, который он держал в зубах, молчал — ведь он был предназначен для пауз.

Большой зал Дворца пионеров не мог вместить всех желающих, многие немухинцы остались дома. Но и до них донеслась эта строгая, нежная музыка, в которой было и воспоминание о детстве, и надежда на сияющий завтрашний день, и что-то еще, непередаваемое, вспыхнувшее в душе, как грустный и радостный свет. Впоследствии многие думали, что это произошло, потому что оркестром дирижировала Фея Музыки, которой захотелось доказать, что она действительно фея. Но на самом деле, так же как звук отзывается эхом на звук, цвет отозвался на цвет, и весь Немухин зазвучал, как огромный разноцветный оркестр.

Теперь уже не фрегат, идущий против ветра, а целый город летел в необозримом пространстве ночи. Чуть слышно зазвенели звезды, мягко отозвалась луна, молодой новогодний воздух был пронизан музыкой, приглушенной медленно падавшим снегом и все же звучавшей светло, торжественно и свободно. Но вот побледневшая от волнения девушка в нарядном черном костюме в последний раз взмахнула дирижерской палочкой, и наступила тишина. Она даже не наступила, а как будто вошла, стесняясь, что

должна, к сожалению, заменить эту необыкновенную музыку, вошла и стала медленно пробираться между рядами.

Потом вдруг раздался грохот — это Директор вскочил со своего кресла и, задыхаясь, выбежал из зала. Потом... О, потом немухинцы отбили себе все ладони, вызывая Варвару Андреевну! Но она вышла поклониться только один раз, да и то не одна. Она тащила за руку высокого, белокурого незнакомца с голубыми глазами. Сильно покраснев и неловко поклонившись, незнакомец поднес Варваре Андреевне букет Голубых Подснежников, и это было последнее чудо, совершившееся в тот удивительный вечер. Подснежники — в разгар зимы! Конечно, никому и в голову не пришло, что они выкованы из стали.

И ФЕИ ВЫХОДЯТ ЗАМУЖ

Остается рассказать немногое: ведь тот, кто прочитал эту сказку, уже догадывается, чем она кончится, конечно, если он внимательно ее прочитал. Ничего неожиданного не было в том, что Немухинский Горсовет постановил открыть при Музыкальной Школе лабораторию сравнительного изучения звука и цвета, в которой навсегда поселились скромные музыканты. Теперь их называли «экспонаты», и хотя они не понимали этого странного слова, однако гордились им, потому что сотрудники обычно прибавляли: «И редчайшие в мире экспонаты».

С Зинкой Миленушкиной ничего не случилось, хотя после концерта она почему-то оглохла на правое ухо — то самое, которое ей приходилось прятать под своими рыжими косами. Но это не очень огорчило ее, потому что Директор, которому она рассказывала все, что ей удалось подслушать, навсегда покинул Немухин. После концерта он вырвал из рук гардеробщика свою шубу и шапку и, бормоча: «Этого не может быть», навсегда скрылся в темноте новогодней ночи.

Кто-то видел его на вокзале, где он бродил по платформе и отмахивался, когда его просили успокоиться и хотя бы выпить рюмку водки в буфете. По слухам, он уехал в Москву, где тоже пытался доказать одному из старших советников Министерства Музыки, что «этого не может быть», но тот будто бы неожиданно возразил:

— Нет, может!

Нельзя сказать, что немухинцы были очень огорчены его исчезновением. Более того, они сразу же забыли о нем. Город был взволнован другим событием, гораздо более важным. Сперва в одном доме, потом в другом стали все чаще поговаривать, что кузнец придумал-таки для Варвары Андреевны тысячу ласковых прозвищ и она согласилась стать его женой.

И это было действительно так.

На свадебный обед были приглашены только Таня и Петька, но в каждом доме пили здоровье молодых и желали им счастья. Из Поселка Любителей Свежего Воздуха за ними прислали легкие, на диво слаженные сани. В сани была запряжена стройная гнедая лошадка, а на козлах сидел тот самый румяный мужчина, который так сложно объяснил Петьке, где живет Иван Гильдебранд.

— Как дела? — спросил его Петька.

И кучер, улыбнувшись, снова ответил загадкой:

Дела растут, как снежный ком,
С горы летящий кувырком.
Кому сапожный нож, а мне
Чепрак и сбруя на коне.

И хотя Петька не знал, что чепрак — это цветная материя, которую для красоты иногда кладут под седло, он понял, что перед ним очень занятой человек, с трудом выкроивший время для поездки в Немухин.

Вся Музыкальная Школа в полном составе пришла провожать Варвару Андреевну, и она даже всплакнула — от счастья и от горя. От счастья, потому что она была счастлива, а от горя, потому что ей было грустно расставаться с городом, где ее так полюбили.

Грустили, расставаясь с ней, и немухинцы. «Но с другой стороны,— решили они,— отказываться от такого жениха, как Иван Гильдебранд, было бы просто неблагоразумно».

Молодые уселись в сани, лошадь тронулась, и все окна в городе распахнулись одновременно, несмотря на довольно сильный мороз.

— Счастливого пути!

— Не забывайте!

— Пишите!

— Доброго здоровья!

Сани промчались по Нескорой, свернули в переулок, соединявший ее с набережной, кучер, придерживая ло-

шадь, стал выбирать пологий спуск и наконец плавно повел сани вдоль извилистой речки.

Вот и Мухин промелькнул с ленивым, сонным лаем собак, с телевизионной башней, которая была гораздо ниже немухинской, потом пошли какие-то темные села.

Большая желтая луна с каждым часом становилась все меньше и голубела, пока не превратилась в маленький сияющий блин, который кто-то отхватил сбоку на целую четверть. Но и оставшихся трех четвертей было вполне достаточно, чтобы засыпать всю Немухинку множеством ослепительных, скрипящих под полозьями звезд. Это был, конечно, снег, который старался выглядеть особенно нарядным в первый вечер года.

Варвара Андреевна задремала — намаялась за день. Что-то легкое приснилось ей: весеннее утро, бабочки над маленьким лесным водопадом, кузнечики, неторопливо завтракающие в высокой траве. Иван Гильдебранд обнял ее за плечи, чтобы на крутом повороте она не вылетела из санок, и ей казалось, что, если бы не эта сильная рука, она увидела бы совсем другой сон — грустный или даже, может быть, страшный.

Обсуждаем вторую сказку и находим третью

— Ну что ж,— сказал дядя Костя, когда я прочитал ему эту историю.— Кое-что здесь может пригодиться для моего Путеводителя. Скажем, любой турист был бы поражен, узнав, что в здешней школе преподавала Фея Музыки, которая потом вышла замуж за обыкновенного или даже не совсем обыкновенного кузнеца. Правда, для первого, второго и третьего раздела моего Путеводителя...— он взглянул на план,— немухинские музыканты, очевидно, не имеют значения. Но для четвертого... Она была командирована?

— Кто?

— Фея.

— Без сомнения.

— Отлично! Значит, она может смело занять свое место среди академиков, поэтов и Героев Социалистического Труда. Да и вообще...

Дядя Костя задумался.

— Конечно, описания города здесь почти нет. Но окрест-

ности, например, Поселок Любителей Свежего Воздуха, о котором, кстати сказать, даже в Большой Советской Энциклопедии нет ни слова, описан недурно. Любопытно, например, что его обитатели любят поэзию и сами время от времени пишут стихи. И вот еще что очень важно! Вы помните, мне хотелось доказать, что немухинцы люди самолюбивые и скромные, а теперь становится ясно, что они еще и добряки. Посмотри, как сердечно они отнеслись к Варваре Андреевне с ее немного странным оркестром. И как радушно провожали молодых! И как умно рассудили, что Варваре Андреевне от такого симпатичного кузнеца отказываться было бы неблагоразумно. Правда, мне не верится, что он придумал для нее тысячу ласковых прозвищ. Я в свое время для своей невесты придумал только пять. Короче говоря, мне легко будет доказать, что любой турист встретит в Немухине людей доброжелательных и гостеприимных. Но вот как быть с этим упорным нежеланием ударить лицом в грязь... и вообще с характером коренного населения в целом?

— Но ведь нам пока удалось разыскать подзорную трубу и музыкальную табакерку. Может быть, если мы найдем старинную пушку или медный самовар...

Дядя Костя так сильно потер нос, как будто решился покончить с ним раз и навсегда.

— Не знаю, не знаю,— возразил он.— Пока вы возились с этим блокнотом, я возился с Музеем и, как видите, почти привел его в порядок. Ни пушечки, ни самовара, ни фрегата нет и в помине, не говоря уже о шкатулке, которая, открываясь, превращается в маленький письменный стол.

— Превращается в письменный стол? Откуда вы это знаете?

Вместо ответа дядя Костя протянул мне опись. Под номером 205 действительно была указана шкатулка и прибавлена фраза: «Может служить бюваром для хранения почтовой бумаги, конвертов, корреспонденций и т. д.».

— Где же она?

Дядя Костя только пожал плечами.

— Мне кажется,— нерешительно сказал он,— что она могла попасть в Комиссионный Магазин...

Ночной Сторож утверждал, что хотя Директор Комиссионного Магазина Пал Палыч считался знатоком старины, однако был подслеповат, глуховат и, главное, очень

пуглив, что, кстати сказать, совсем не свойственно знатокам старины. И действительно, он испугался, когда я сказал ему, что шкатулка пропала из Музея.

— Может быть, она случайно оказалась у вас в Магазине?

— Помилуйте! Чтобы я купил музейную вещь? Я не только не покупаю их, но даже не продаю, когда они попадают мне в руки. Неужели эта шкатулка, которую я неоднократно видел в Музее рядом с моделью фрегата, бесследно пропала?

— Увы! Пропал и фрегат.

Пал Палыч ахнул и, шатаясь, прошел куда-то за перегородку, в глубину Магазина. Когда он вернулся, от него так сильно пахло валерианкой, что кошка, до сих пор спокойно дремавшая за прилавком, вылезла и, тревожно принюхиваясь, выгнула спину.

— И пушечка елизаветинских времен,— продолжал я.— И медный самовар.

Пал Палыч взялся рукой за сердце.

— И деревянный телефон начала века в виде ящика, прикрепляющегося к стене, с двумя звоночками и ручкой.

— Ну, телефон — бог с ним! — вдруг успокаиваясь, сказал Пал Палыч.— Подобным вещам вообще не место в Музее. У меня, кстати, есть такой телефон. Я сделал из него клетку для белки.

— А где он у вас?

— На дереве, в саду. Хотите взглянуть?

До обеденного перерыва оставалось еще добрых пятнадцать минут, но из любезности ко мне он закрыл Магазин, повесил дощечку: «Обедаю», и мы отправились к его дому.

— Ах, боже мой! — все повторял он.— И пушечка? Можно понять человека, который покупает старинную шкатулку. Но кому нужна пушка, тем более что из нее выстрелить невозможно!

Пал Палыч жил недалеко от сестер Фетяска, в переулке, который немухинцы почему-то называли Кривым, хотя он был прямой как стрела. В маленьком садике решительно все было похоже на хозяина: среди скромных пугливых незабудок виднелись затейливые, но тоже пугливые цветочки, которые назывались «не-тронь-меня», и только высокие золотые шары старались показать, что они ничего не боятся. В доме (когда мы вошли) осторожно,

стараясь никого не обеспокоить, пробили двенадцать раз настенные часы. Но самой похожей на Пал Палыча оказалась белочка, которая вылетела из своего домика, распушив хвост, и, прыгая с дерева на дерево, спряталась в кроне высокой сосны.

Что касается ее домика, надо сознаться, что Пал Палыч остроумно решил воспользоваться старинным телефоном. Он делился на две части: верхняя, украшенная резным полуовалом, напоминала почтовый ящик, а нижняя — тоже почтовый ящик, но вытянутый в длину и поменьше.

— А нельзя ли посмотреть его поближе?

Пал Палыч принес лесенку, с неожиданной ловкостью взобрался по ней и снял телефон.

На месте, где некогда стояла ручка — в старину эту ручку крутили, чтобы соединиться со станцией,— он выпилил для своей белки круглую дырку — она заменяла дверь. Верхний ящик, из которого Пал Палыч вынул весь механизм, был прикрыт покатой дощечкой с парапетом — таким образом белочка при желании могла спать на дощечке, а ведь нет ничего приятнее, чем спать в саду, на свежем воздухе в ясную (или даже не очень ясную) погоду.

Нижний, узенький ящик Пал Палыч оставил нетронутым — по его мнению, домик выигрывал от сходства со старинным телефоном.

— Ведь это, в сущности, нечто вроде первого этажа — с гордостью сказал он.— А попробуйте-ка найти другую белку, которая жила бы в двухэтажном доме.

Я посмотрел на него, он на меня — можно было, пожалуй, подумать, что нам пришла в голову одна и та же мысль. Но оба ящичка были не привинчены и не приклеены, а врезаны, и я не решился сказать Пал Палычу, что мне хотелось бы заглянуть в нижний этаж.

— А вы случайно не помните, у кого вы купили этот телефон?

Пал Палыч задумался, зажмурив правый глаз. Потом он зажмурил левый и со значительным видом поджал губы.

— Это было года четыре тому назад,— наконец сказал он.— И его принес мне... Нет, не помню. Но, кстати, почему бы вам не дать объявление в «Немухинском голосе», скажем, так: «По-видимому, бывший Директор Городского Музея Лука Лукич Мыло украл или продал

с черного хода такой-то фрегат, такую-то пушечку и такую-то шкатулку, которая, кстати, превращается в письменный стол. Нашедшему эти вещи и вернувшему их в Музей будет выдано вполне приличное вознаграждение».

И действительно, это была прекрасная мысль. Мы простились, я забежал в редакцию, дал объявление и, вернувшись к себе — я остановился в гостинице,— пообедал. Надо было кое-что исправить в истории о немухинских музыкантах. Но, едва написав пять-шесть строк, я лег на диван, заснул и, проснувшись, увидел: Пал Палыч ходил по комнате на цыпочках, очевидно, не решаясь меня разбудить.

— Здравствуйте,— сказал он, хотя не прошло и полдня, как мы расстались.— Я вспомнил, кто принес мне телефон. Петя Воробьев по прозвищу Воробей с Сердцем Льва. Конечно, теперь его никто так не называет, потому что он уже студент и приехал в Немухин на каникулы. Причем приехал как раз к дяде Косте, который для него в буквальном смысле слова действительно дядя.

Конечно, это чистая случайность, что мы нашли в нижнем этаже телефона эту историю, главным героем которой был именно Петя. Но еще более чистой случайностью было то обстоятельство, что он четыре года тому назад нашел на дворе Городского Музея этот старый телефон, который Лука Лукич просто выбросил на свалку как вещь, не имеющую музейного значения.

Впрочем, белочка ненадолго лишилась своей жилплощади. Я заказал для нее новый домик, и хотя в оригинальности он уступал телефону, зато был гораздо поместительнее, так что в нем удобно было воспитывать бельчат, которые появились на свет, пока мы с Петей возились с третьей сказкой, в которой, кстати сказать, тот же Петя показал себя с самой лучшей стороны. Высокий парень с зелеными глазами и рыжей шевелюрой, он, очевидно, сохранил Сердце Льва. К сожалению, он оказался смешливым — после каждой разобранной страницы он хохотал, хотя некоторые из них были скорее грустными, чем смешными. Мы с ним долго думали, как назвать эту новую историю, и придумали, когда, рассказывая о Настеньке, он упомянул, что у нее была летящая походка — или, иначе говоря,

ЛЕГКИЕ ШАГИ

1

Шум приближавшегося поезда послышался издалека, круглый столб расширяющегося света несся перед ним, и вдруг стали видны станция, с которой свисал снег, лениво заглядывая в освещенные окна, ларек «Пиво — воды», знакомый извозчик из Дома Отдыха Престарелых Грачей, который стоял у ларька, держа кружку с пивом, и даже вылезающая из кружки, лопающаяся пена. Поезд пролетел, оставив всех в темноте, в тишине. Но прежде чем он пролетел, Петька ясно увидел какую-то девочку, перемахнувшую по воздуху через рельсы перед самым фонарем электрички. Он ахнул. И возчик тоже сказал: «Ух ты!» Но когда улеглись поднятые поездом снежные вихри, на той стороне не оказалось никого, кроме двух баб, закутанных так, что их можно было принять за двигающиеся мешки с картошкой.

Теперь до Немухина было недалеко, и Петька прибавил шагу. О девочке он подумал научно: «Обман чувств». Он любил обо всем думать научно. Но это не было обманом чувств, потому что через несколько минут он увидел ее на углу Нескорой и Малинового переулка. Она стояла, поглядывая по сторонам, точно размышляя, куда бы ей еще слетать,— такой у нее был воздушный вид. На ней было короткое ситцевое платье с большим бантом на спине, а за плечами что-то вроде накидочки. Она была без пальто, и это показалось Петьке интересным, но тоже не вообще, а с научной точки зрения.

— Хрю-хрю,— сказал он.

Девочка обернулась. Пожалуй, надо было поздороваться, но он поздоровался в уме, а вслух сказал:

— А пальто где? В школе забыла?

— Извините,— сказала девочка и присела.— Я еще не знаю, что такое «пальто».

Она, конечно, шутила. Любила же Петькина тетка говорить: «Я не знаю, что такое насморк».

— А где ты живешь?

— Нигде.

— А конкретно?

— Извините,— сказала девочка.— Я еще не знаю, что такое «конкретно».

— Между тем пора бы и знать,— рассудительно заметил Петька.— Тебе сколько лет?

— Второй день.

Петька засмеялся. Девочка была беленькая, а ресницы — черные, и каждый раз, когда она взмахивала ими, у Петьки — ух! — куда-то с размаху ухало сердце.

— Теперь я вас хочу спросить,— сказала девочка.— Скажите, пожалуйста, что это за штука?

Она показала на луну.

— Тоже не знаешь?

— Нет.

— Эта штука называется «луна»,— сказал Петька.— Ты случайно не с нее свалилась?

Девочка покачала головой.

— Нет, я из снега,— серьезно объяснила она.— Вчера ребята слепили снежную бабу. Мимо проходил длинноногий человек с зонтиком, хотя кто же зимой носит зонтик, да еще в ясную погоду? Он посмотрел на меня... то есть не на меня, а на снежную бабу, и сказал: «Ну нет, и без тебя на дворе довольно бабья».

Она рассказывала спокойно, неторопливо, и Петька заметил, что, когда он говорит, изо рта идет пар, а у девочки не идет.

— Мальчишки ушли, а он меня переделал. На голове у меня было дырявое ведро — он его сбросил, в руках швабра — он ее вынул. Он пробормотал: «В этом деле я не специалист»,— когда делал прическу. «А теперь устроим ей ножки»,— когда устраивал ножки. Я не слышала, потому что меня еще не было, но, наверно, я уже отчасти была, потому что я все-таки слышала. С глазами не получалось! — сказала она с огорчением.— А потом получилось. Вот.

Она взмахнула ресницами, и у Петьки — ух! — куда-то ухнуло сердце.

— Потом он сказал: «А ходить ты будешь легко, потому что я не люблю девочек, которые ходят, как утки». В общем, я получилась у него так хорошо, что открыть глаза и заговорить — это было не так уж и трудно.

— И ты заговорила?

— Не сразу. Сперва вздохнула.

— Что же ты сказала?

— Не помню. Кажется, «Добрый вечер!».

— А он?

— Он? «Ах ты, моя душенька!» — и ушел.

— Странная история,— сказал Петька.

Они были теперь недалеко от Немухина. Впрочем, Петька — то далеко, то близко. Он, задумавшись, уходил от девочки, а потом спохватывался и возвращался.

2

По Нескорой всегда плелись нехотя, вразвалку. Такая уж была улица, располагавшая к лени. Немухинский Горсовет переименовал ее было в Какпулясовсехногпроносященскую, но из этого ничего не вышло — все сразу начинали плестись, едва сворачивали в нее с Малинового переулка. Но Петька, устроив девочку в дровяном сарае, где было так холодно, что даже дрова покряхтывали, и, чтобы согреться, толкали друг друга боками, действительно пролетел эту улицу как пуля. Дело в том, что на этой улице жил Старый Трубочный Мастер.

— Дяденька, необыкновенный случай! — закричал Петька.— Морозоустойчивая девчонка!

И он рассказал ему о девочке, которая не знает, что такое «пальто», что такое «луна» и что такое «конкретно».

— Любопытно. Возможно, что это просто Снегурочка. Подождем до весны.

— Почему до весны?

— Потому что весной Снегурочки тают.

— Дяденька,— помолчав, сказал Петька,— а нельзя ли, чтобы она все-таки как-нибудь...

— Ну, знаешь,— сказал Трубочный Мастер,— это уж слишком. Ты же сам говоришь, что она из снега.

— Да, дяденька, но все-таки как-нибудь... Ведь есть же на свете, например, вечный лед. Он ведь не тает?

— Лед — нет. А Снегурочки — да.

Старый Мастер, набив в трубку табаку, умял его коротким желтым пальцем, закурил и стал думать. Пуф-пуф! Большие важные кольца дыма стали медленно подниматься в воздух, а за ними — пуф-пуф — покатились мохнатые голубые клубочки. Это значило, что вопрос сложный. Когда Старый Мастер обдумывал несложный вопрос, он просто пускал дым из ноздрей.

— Не знаю, не знаю,— наконец сказал он.— Разве что послать ее в Институт Вечного Льда? Я немного знаком с директором. Он, кстати, сам из бывших Дедов Морозов.

И он написал: «Уважаемый Павел Георгиевич! Поручаю Вашему вниманию прилагаемую к сему девочку без пальто. По-видимому, морозоустойчива. Есть опасение, что растает к весне. Не хотелось бы». Он отдал записку Петьке.

— Спасибо, дяденька.

Но Мастер уже забыл о нем. Он открыл окно, дым повалил наружу, и соседи, как всегда, испугались, что в городе пожар, а потом, как всегда, успокоились, вспомнив о Старом Трубочном Мастере.

3

Директор Института Вечного Льда был плотный румяный человек с седеющей бородой и бесформенным носом между розовых щек. О нем говорили: «Хорош, но со странностями». И действительно, странности были. Летом он чувствовал себя не в своей тарелке, а зимой — в своей. Летом был зол и нетерпелив, а зимой — свеж и болтлив. В отпуск он уходил в январе и всегда удивлялся, что его сотрудники предпочитают отдыхать летом. Фамилия его была Тулупов.

— Как-никак это все-таки чудо,— прочитав записочку, сказал он Петьке.— А чудеса надо изучать, потому что это — воздух науки.

И он приказал поместить девочку в холодильник номер один.

Это был самый обыкновенный холодильник — только очень большой. Там, где было написано «Мясо», лежало много мяса, а где «Фрукты» — очень много фруктов и овощей. Над дверью, когда она открывалась, зажигался большой голубой шар, а на стенках внутреннего шкафа был такой толстый иней, что Снегурочка могла бы писать на нем, если бы она умела писать. Для удобства кто-то предложил называть ее И. О. (исполняющая обязанности) Снегурочки, но директор сказал, что это вздор, и девочку стали называть просто Настей.

Но была ли она Снегурочка? — вот вопрос, который интересовал решительно всех, но больше всех, разумеется, ученых. Это было время, когда много писали о Снежном человеке, который будто бы живет в Гималаях, и один из ученых предположил, что Настенька — дальняя родственница этого дикаря, который только и делает, что ходит,

оставляя огромные следы на снегу. Другой, много лет изучавший сказку о Золотом Ключике, пытался доказать, что неизвестный старик, вылепивший девочку из снега, не кто иной, как папа Карло, который вырезал Буратино из полена.

Почти каждый день ученые, надев шубы и валенки, отправлялись в холодильник, и Настенька терпеливо рассказывала им свою историю. Ох, как они ей надоели! Особенно один, с синим носом, который то и дело дышал на пальцы и хлопал в ладоши, чтобы согреться. Глаза у него почему-то бегали, но, когда ему говорили об этом, он отвечал, что иногда они бегают даже у великих людей.

Теперь Настенька знала, что такое «пальто», что такое «луна» и что такое «конкретно». В холодильнике у нее был порядок. Все хорошело, едва попадало к ней в руки. Соленое мясо начинало выглядеть свежим, рыба — живой, а на сыре выступали аппетитные слезы. Что касается холода — нечего и говорить. В холодильнике было холодно, как на Северном полюсе или даже как на Южном, потому что на Южном, говорят, еще холоднее.

Плохо было только одно: она очень скучала. Правда, Петька почти каждый день приезжал к ней в Москву на электричке, хотя по математике у него была двойка. Но до конца четверти было еще далеко!

Они разговаривали. Петя рассказывал Настеньке о своих делах, а она ему — о своих. Он — о том, что у них злющая завуч и что, когда Настенька научится читать, он принесет ей «Таинственный остров», а она — что ей очень скучно. Холодильник зашумит, а ей кажется, что это ветер шумит. Ученые надоели, особенно один с синим носом, который все старается ковырнуть ее пальцем. Луны в холодильнике нет, а ведь говорят, что, кроме луны, есть еще и какое-то солнце? Правда, ученые говорят, что она должна бояться солнца, но ей все-таки хочется на него посмотреть.

Петьке было страшно дотронуться до Настеньки, но он легонько хлопал ее по плечу и говорил:

— Ничего, Настенька, держись!

Потом она говорила ласково:

— Идите, Петенька. Вы замерзли.

Но он сидел, пока ноги у него не становились как деревяшки.

И вот однажды, нарочно вскочив пораньше, чтобы приготовить уроки (ему хотелось поехать к Настеньке прямо

из школы), Петя включил радио и услышал: «Внимание, внимание! Пропала девочка, по имени Настенька, из породы Снегурочек, очень хорошенькая, в ситцевом платье, вежливая, ходит легко. О местонахождении просьба сообщить в Институт Вечного Льда».

4

Широко известно, что, как только происходит что-нибудь не совсем обыкновенное, сразу же появляются слухи. В тот же день весь город заговорил о том, что некий Персональный Пенсионер, почтеннейший человек со множеством медалей, своими глазами видел девочку в легком платье, которая катилась по улице, как на коньках, а потом — раз! — и взлетела. Не высоко и не из шалости, полагал Персональный Пенсионер, а просто потому, что не могла не взлететь. Его спрашивали: «Почему же все-таки не могла?» Он отвечал, подумав: «Видите ли, она так плавно шла, что положительно не могла не взлететь».

Второй слух касался ласточки, которой надоело каждый год улетать в жаркие страны. Она осталась на зиму в Москве, а в этот день стоял сильный мороз, и нет ничего удивительного в том, что она стала замерзать на лету.

— Падаю,— сказала она и без сомнения упала бы, если бы ее не подхватила девочка в легком платье, хорошенькая и очень вежливая: даже с ласточкой она заговорила на «вы».

— Что с вами?

— Я умираю.

— Я бы положила вас за пазуху,— задумчиво сказала девочка,— но боюсь, что там вам будет еще холоднее.

И с ласточкой в руках она побежала дальше.

Третий слух касался Пекаря, который любил говорить о себе: «Я, как одинокий мужчина...» Он любил похвастаться, а похвастаться было не перед кем — ни жены, ни детей. Так вот этот Пекарь только что вытащил из печки минский хлеб и только что сказал другому пекарю: «Я, как одинокий мужчина...» — когда какая-то девочка легко вбежала в Пекарню и сунула ему за пазуху ласточку. А у Пекаря за пазухой, как известно, тепло, как на Юге.

Но самый интересный слух касался Петькиного дяди. Его звали Костя Лапшин, и он как раз в этот день из Немухина приехал в Москву.

5

Еще по дороге в Москву дядя Костя узнал, что пропала девочка из породы Снегурочек, и, конечно, сразу же решил сунуть нос в это дело. Но когда он приехал в Немухин и узнал, что Петька, родной племянник, схватил уже не одну, а четыре двойки, потому что только и думает, как бы ему найти эту девочку, дядя Костя не просто сунул нос в это дело, а нырнул в него с головой.

Когда он узнавал, что нужно кому-нибудь помочь, он прежде всего составлял план: как помочь, чем помочь и что делать, чтобы помочь не на словах, а на деле.

Петьке он тоже предложил план: 1. Поговорить с ласточкой, которую спасла Настенька. У ласточки должны быть знакомства среди птиц, а птицы летают повсюду. 2. Опросить всех московских мороженщиц, потому что Настенька, без сомнения, любит все холодное, в частности эскимо и пломбир. Деньги у нее есть. Пока она жила в холодильнике, считалось, что она как бы в командировке, и Институт Вечного Льда выплачивал ей суточные — два шестьдесят в день.

6

К сожалению, ласточку найти не удалось, хотя дядя Костя дал объявление в «Вечерку»: «Разыскивается единственная ласточка, оставшаяся на зиму в Москве».

Что касается мороженщиц — не было ничего легче, как опросить их, если бы их не было так много. Они стояли на каждом углу и сердились, что мороженое зимой раскупается хуже, чем летом. Все, как одна, они были сердитые, и это до крайности затрудняло задачу. Их, конечно, тоже можно было понять: мало радости стоять в замерзшем, твердом фартуке на улице в лютый мороз и кричать как на смех: «А вот кому мороженого?» — когда и без мороженого ни у кого зуб не попадает на зуб.

Когда Петька и дядя Костя спрашивали у них: «Простите, пожалуйста, не покупала ли у вас эскимо или пломбир девочка по имени Настенька, сбежавшая из Института Вечного Льда?» — они обычно отвечали: «Пломбира нет», а когда Петька или дядя Костя объясняли, что Настенька не простая девочка, а из породы Снегурочек и что мороженщицы должны принять в ней участие хотя бы по этой причине, они отвечали: «Девочек много».

День за днем так и прошла зима. Дядя Костя хотя и продолжал искать Настеньку, но понемногу начал заниматься своими делами. А Петька начал вздыхать. Сперва он вздыхал два-три раза в день, но чем ближе к весне, тем чаще. Двоек у него больше не было, но он все-таки вздыхал и вздыхал. По вечерам, возвращаясь из школы, он долго стоял у переезда, нарочно дожидаясь, пока стрелочник спустит шлагбаум,— все надеялся, что Настенька мелькнет перед ярким фонарем электрички. Но поезд проходил, наступала тишина, темнота. Вздыхая, Петька возвращался домой и, вздыхая, садился за книжку.

Нельзя сказать, что он не старался с научной точки зрения объяснить себе, почему он так часто вздыхает. Но наука наукой, а скука скукой.

Ближе к весне начались снегопады. Мягкий, медленный снег падал с утра до вечера, а по ночам снова падал и падал. В поселке он свисал с крыш, в поле, не торопясь, трудился над сугробами, все старался, чтобы они были помягче, повыше. Петька выходил во двор, и в медленном, плавном кружении снежинок ему все чудилась Настенька, тоненькая, вежливая, в легком платье. Вот она катится, как на коньках, и вдруг взлетает, скрестив стройные ножки. Вот она говорит: «Извините, мальчик»,— и приседает, касаясь краешков платья руками.

Снегопады прошли, началась оттепель, а потом — снова метели, теперь уже весенние, мокрые. Тяжелый снег гнался за кем-то, переваливаясь, подгоняемый ветром, и нехотя, мягко падал на землю.

Еще неделя, другая, и больше нельзя ходить в школу на лыжах. Весна! «А весной,— сказал Старый Трубочный Мастер,— Снегурочки тают».

7

Куда же все-таки девалась Настенька? Ученый с синим носом предположил, что она улетела в холодные страны. Видел же Персональный Пенсионер, как она шла, шла и взлетела!

— Но взлететь — одно,— сказали другие ученые,— а улететь — другое.

Он возразил, что в таком случае она просто ушла,— не ленится же птица коростель каждый год ходить пешком в Африку и обратно.

Спор не затянулся бы надолго, если бы ученые знали, что Настенька всю зиму прожила у Пекаря, того самого, который любил говорить: «Я, как одинокий мужчина...»

Он не очень удивился, когда Настенька сунула ему за пазуху ласточку.

— Позвольте представиться — и Пекарь, и печка,— сказал он и пригласил Настеньку к себе выпить чаю с теплым минским хлебом.

Пекарь считал, что на свете много важных дел, но хлеб, если его хорошо испечь, поважнее. В Пекарне у него был порядок, а дома — кавардак, о котором он говорил, что по-своему это — тоже порядок. Все же он в душе обрадовался, когда Настенька, недолго думая, взялась за тряпку и швабру.

— Ах ты, моя душенька! — сказал он.

Всем почему-то хотелось называть ее душенькой.

Конечно, ему и в голову не пришло, что Настенька — из Снегурочек, а когда она стала убеждать его, смеялся и долго не верил. Потом поверил, ужаснулся и уж тут оказался на высоте: он поселил ее в такой холодной комнате, что каждый, входя, непременно говорил «бр-р»; на обед он приносил ей что-нибудь холодное — окрошку со льдом или холодец, на третье снежки — есть на свете такое вкусное блюдо.

Когда девочки успевают научиться шить, мыть и прибирать, неизвестно. Но научилась и Настенька, да так, что Пекарь, приходя домой, просто не верил глазам.

Натирая полы, она кружилась и пела, а застилая кровати, учила слова. Некоторые слова казались ей очень странными, и она много раз произносила их, чтобы привыкнуть. «Ненаглядный» — это, оказывается, был не тот, на которого не надо глядеть, а наоборот, очень надо. «Бессонница» — это, оказывается, не значило спать без снов, а наоборот, не спать.

— Вы не можете устроить, чтобы я увидела сон? — попросила она Пекаря.— Со мной этого еще никогда не случалось.

— Ладно, сделаем,— сказал Пекарь.

Конечно, он пошутил, но в ту же ночь она действительно увидела сон, и это было прекрасно. Она не верила, что снег может растаять совсем, до последней снежинки, хотя Петька клялся, что может. Теперь она поверила, потому что увидела лето. Да, очевидно, это было лето. Солнце, которого она ничуть не боялась, стояло низко над по-

лем, и Настенька изо всех сил бежала к нему среди высокой травы. Петька говорил, что солнце закатывается, а ей не хотелось, чтобы оно закатилось. Она бежала, а потом взлетела и подхватила солнце как раз, когда оно уже легло на тонкую линию, разделявшую небо и землю.

Она проснулась и написала Петьке: «Мой ненаглядный». Это значило, что ей очень хотелось на него поглядеть. «Я видела сон». Это значило, что ей снилось лето. «Пекарь любит хлебнуть». Это значило, что Пекарь иногда выпивал. «Я тебя люблю». Это значило, что она его любит. «Приходи. Твоя *Настя*».

Ей хотелось попросить ласточку слетать к Петьке с этим письмом, но она не решилась: стояли морозы.

Так она и жила у Пекаря день за днем, неделя за неделей.

Молодая зима стала пожилой, а потом и старой — не то что в декабре, когда она была еще совсем девчонкой. Уж апрель был на носу, когда однажды, прибирая квартиру, Настенька услышала, как в переулке кричит точильщик. А у Пекаря как раз затупились ножи.

8

На этот раз чужое дело, которым занялся дядя Костя, касалось Старого Мастера — у него сломался станок для вытачивания трубок из виноградного корня.

С утра дядя Костя таскал по мастерским этот станок, расспрашивал мимоходом, не видел ли кто-нибудь вежливую девочку в ситцевом платье, сбежавшую из Института Вечного Льда.

День был весенний, конец марта. Кое-где лежал еще снег, но уже почерневший, хрупкий. Дядю Костю принимали за точильщика, и это ему так нравилось, что он с трудом удерживался, чтобы не закричать: «А вот, кому точить ножи, ножницы?» В конце концов он не удержался, закричал. И тут произошло то, что иногда происходит в сказках: девочка лет двенадцати выглянула из окна и закричала: «Точильщик!»

Почему-то он сразу подумал, что это Настенька, хотя невозможно было вообразить, что Настенька, как обыкновенная девочка, живет в обыкновенном доме. Но все-таки это была она! Кто же еще мог выйти из дома с большим китайским зонтиком, который, как известно, защищает не

от дождя, а от солнца! Кто же еще мог так вежливо спросить:

— Извините, но вы, кажется, совсем не точильщик?

— Конечно, нет! — весело сказал дядя Костя.— Это я просто в шутку кричал. А ведь правда здорово получилось? Извините, а вы случайно не Настенька?

Настенька кивнула.

— Не может быть! — закричал дядя Костя.— Какое счастье! Боже мой милостивый, да ведь мы с Петькой ищем вас целую зиму.

Она засмеялась.

— Так вы дядя Костя? — спросила она, и между ними начался длинный вежливый разговор — длинный, потому что вежливый, а вежливый, потому что длинный.

Почти каждая фраза начиналась: «Простите, а не думаете ли вы?» Или: «Извините, а не кажется ли вам?» Но вот они договорились до Петьки, и дело пошло веселее.

— Извините, а как сейчас Петя?

— Помилуйте, да он просто места себе не находит. Он очень боится, чтобы вы... как бы сказать... Мне это кажется странным... Он боится, как бы вы...

— А почему вам это кажется странным?

— Ну как же! Нельзя же все-таки! — волнуясь, сказал дядя Костя.— Существуют холодильники, очень хорошие. Еще вчера я читал, что выпущен новый, кажется, «Юность».

Настенька покачала головой.

— Вы даже не можете себе представить, что это за скука! Мертвая рыба лежит, а мне ее жалко; ученые приходят в шубах и валенках, а я их боюсь. Нет, нет! Лучше растаять. Если бы не Пекарь — это мой хозяин,— я бы давно растаяла. Я у него всю зиму провела. А теперь он меня отхлопотал до апреля.

— Отхлопотал?

— Да. В Министерство ходил. Но, знаете, как это было трудно! Только потому и удалось, что он очень влиятельный Пекарь. Он сейчас уехал в Минск. Там живет Гроссмейстер по выпечке хлеба, и будет состязание. Но все равно мой хозяин его победит, потому что минский хлеб он печет лучше всех в Советском Союзе.

— Позвольте, как же так? — спросил дядя Костя.—Вы сказали — до апреля? Но до апреля осталось только несколько дней.

Настенька вздохнула.

— Разве? Ах, да. Простите, не можете ли вы передать Петеньке письмо? Я ему написала, что видела сон, что Пекарь любит хлебнуть и что он мой ненаглядный. Не Пекарь, конечно, а Петя.

9

Снегурочками, снежными бабами, снежными вершинами занималось Министерство Вьюг и Метелей. Это дядя Костя выяснил точно. Петька едва ли мог ему пригодиться. В лучшем случае, он рассказал бы, как скучает без Настеньки и как ему хочется почитать ей «Таинственный остров». Для Министерства Вьюг и Метелей подобные доводы не имели значения. Поэтому дядя Костя послал Петьку к Настеньке, а сам отправился на прием. Он надел свой лучший костюм и добрых полчаса простоял перед зеркалом, стараясь, чтобы все у него было как у людей: глаза не смотрели в разные стороны, а волосы не торчали дыбом.

Насчет ног тоже постарался, чтобы они не очень загребали и чтобы от них по меньшей мере не оставались такие большие следы.

Ну и холодно же было в Министерстве Вьюг и Метелей! Сотрудники безучастно смотрели на посетителей. Те, у которых был искренний, симпатичный взгляд, носили темные снеговые очки, чтобы никто не заметил, что они, в сущности, сердечные люди. От них, что называется, веяло холодом. И хотя это был не тот холод, от которого кутаются и надевают шубы, дядя Костя, войдя в Министерство, почувствовал, что у него зуб не попадает на зуб.

— Да... Снегурочка... очень любопытно! Желаю успеха,— выслушав его, нетерпеливо сказал Старший Советник.— Но мы, к сожалению, ничем не можем помочь.

— Извините, но ведь речь идет только о продлении срока. Ну, скажем, до осени.

— Знаем мы эти продления! Сперва до осени, потом до зимы, зимой... Нет, нет, не могу. И потом, хотите выслушать совет опытного человека? Не связывайтесь. У нее нет ни паспорта, ни свидетельства о рождении. Она числится давно растаявшей, и то, что она сидит где-то под зонтиком, вообще бессмыслица, противоречащая всем законам природы.

— Природу следует исправлять, если это возможно.

— В данном случае это невозможно. Обратитесь в Министерство Арктических Вьюг и Метелей, может быть, там заинтересуются этим вопросом.

Целый час дядя Костя упрямо доказывал, что Настенька вовсе не бессмыслица, а как раз наоборот — чудо природы. Все было напрасно. Он ушел расстроенный, не заботясь больше ни о глазах, которые смотрели в разные стороны, ни о ногах, которыми он нарочно загребал изо всей силы.

10

Дядя Костя был умный, даром что всю жизнь занимался чужими делами. «Если уж в Министерстве Вьюг и Метелей дело вышло табак,— подумал он,— чего же ждать от Министерства Арктических Вьюг и Метелей?»

И он поехал в Институт Вечного Льда.

Это была уже не зима, когда Тулупов чувствовал себя в своей тарелке, но еще и не лето, когда он чувствовал себя не в своей. Приближалась весна, и хотя он погрустнел, помрачнел, но крепкий бесформенный нос еще бодро торчал картошкой между розовых щек.

— Не может быть! Нашлась! — так же, как дядя Костя, закричал он.— Какое счастье! Где она?

— Дома.

— Как дома? Надо немедленно отправить ее в холодильник.

— Вы понимаете,— волнуясь, сказал дядя Костя,— она говорит, что в холодильнике скука.

Тулупов обиделся.

— Что значит — скука? — холодно спросил он.— У нас лучшие холодильники в мире. Свежая курица сохраняет свежесть в течение пятнадцати лет.

Дядя Костя хотел сказать: «То курица», но вовремя удержался.

— В таком случае извините,— сказал Тулупов (он становился все холоднее),— ничем не могу помочь.

Дядя Костя замолчал. Все у него разъехалось от огорчения. Глаза уже смотрели в разные стороны, а ноги стали заходить одна за другую. Тулупов посмотрел на него и смягчился.

— Ладно, куда ни шло,— вдруг сказал он.— Поехали.

— Куда?

— В Министерство. Не думайте, что из-за вашей Настеньки. Они там такое напутали с мартовскими метелями, что сам черт ногу сломит.

Что случилось с мартовскими метелями, этого дядя Костя так и не понял, хотя Тулупов дорогой старался объяснить ему, что к ним нужен умелый подход, а в Министерстве считают, что они должны начинаться только с ведома и согласия начальства.

Очевидно, именно об этом шел громкий разговор, доносившийся из-за двери кабинета министра,— дядя Костя ждал Тулупова в приемной. Потом послышался смех, и еще через несколько минут Тулупов вышел в приемную с подписанным приказом. Вот он:

«Пункт 1. Разрешаю с 1 апреля 1970 года считать Снегурочку, сбежавшую из Института Вечного Льда, самой обыкновенной девочкой без особых примет.

Пункт 2. Имя, отчество, фамилия: Снежкова Анастасия Павловна. Время и место рождения: город Немухин, 1970 год.

Социальное положение: служащая.

Отношение к воинской повинности: не подлежит».

— А почему Снежкова? — спросил дядя Костя.

— Их всех записывают Снежковыми. Ну, а как еще? Снегурочкина? Если ей не понравится, переделаем. Но ведь она же все равно со временем замуж выйдет.

— А почему служащая?

— Поправим, если хотите. Домашняя хозяйка?

— Нет уж, пускай служащая. А почему Павловна?

— Это я виноват,— немного смутившись, ответил Тулупов.— Но ведь, в сущности, они все мои дети. Другое нехорошо.

— А именно?

— Долго объяснять. Пошли к секретарю, может быть, он не заметит.

11

Но секретарь заметил, хотя он был в снеговых очках. Внимательно прочитав приказ, он вернул его Тулупову.

— Не пойдет,— холодно сказал он.

— Почему? Ведь министр подписал.

— Да. Очевидно, забыл, что Снежные Красавицы еще не цветут.

— Ничего не понимаю. Объясните, пожалуйста,— попросил дядя Костя.

— Да что там, чиновники проклятые,— отводя его в сторону, проворчал Тулупов.— Вы понимаете, к таким приказам вместо печати прикалывается веточка Снежной Красавицы. А сейчас середина марта, и она еще не цветет. Послушайте, а может быть, веточку можно нарисовать? — повернувшись к секретарю, попросил он.— У меня в институте один парень рисует, что твой Репин. Как живая будет.

— Вы же на основании этого приказа будете метрику хлопотать?

— Да.

— Ну вот. Милиция не позволит.

Секретарь снял очки, зажмурился от света и поманил Тулупова поближе. У него был симпатичный взгляд, и сразу стало ясно, что снеговые очки он носит просто для приличия.

— Попробуйте наведаться к Башлыкову,— оглянувшись по сторонам, тихо сказал он.— Он всю жизнь возится со снежными деревьями. Может быть, он вам поможет.

— Какой Башлыков?

— Из Отдела Узоров на Оконном Стекле.

— Он же на пенсии.

— Вот об этом с ним как раз не стоит разговаривать,— улыбнувшись, сказал секретарь.— О чем угодно, кроме пенсии. А то вы получите не снежное дерево, а фиговое. Вообще к нему стоит заглянуть, у него сад прекрасный.

Он надел снеговые очки и, чтобы все его пугались, свирепо выдвинул нижнюю челюсть.

— Понятно,— сказал Тулупов.— Пошли.

Тут произошли два события одинаково важных. Во-первых, выходя из Министерства, дядя Костя оступился и сильно подвернул левую ногу. Во-вторых, случилось то, чего никто не ожидал, кроме Тулупова, утверждавшего, что в Министерстве напутали с мартовскими метелями: по радио сообщили, что завтра начнется сильный шквал. О шквалах обычно не сообщают, а тут не только сообщили, но и посоветовали: птицам сидеть по гнездам, а милиционерам привязать к ногам что-нибудь тяжелое, потому что они, как известно, не могут уйти с поста даже в самую плохую погоду.

12

Пока дядя Костя хлопотал о Настеньке, Петька читал ей «Таинственный остров». Слушая, она штопала что-нибудь или шила. В интересных местах она поднимала глаза, взмахивала ресницами, и у Петьки — ух! — с размаху куда-то ухало сердце.

Они ходили в магазины, и на солнечной стороне Петька держал над Настенькой китайский зонтик. Она говорила: «Петенька, я сама», но держал все-таки он — просто потому, что это было приятно.

Они разговаривали. Настенька рассказала ему свой сон, и Петька сказал, что ей еще повезло: он лично никогда не видит снов.

— Но, с научной точки зрения,— объяснил он,— люди, которые видят сны, почти ничем не отличаются от людей, которые их не видят.

Потом Настенька рассказала о Пекаре, как он заботится о ней, не топит в ее комнате, а по вечерам заставляет принимать ледяную ванну.

— Главное, чтобы душа была горячая,— говорил он,— а прочее — кино. Вот ты вроде прохладная, а от тебя в доме тепло. В чем же дело?

Когда он хотел похвалить что-нибудь, он говорил: «Рояль». «Ух, я сегодня кренделя выдал! Рояль!»

Так они сидели и разговаривали, когда дядя Костя вошел, сильно хромая, и плюхнулся в кресло.

— Беда, братцы, подвернул ногу.

Пока Настенька бегала за полотенцем и холодной водой, он разулся и долго горестно рассматривал распухшую ногу.

— Раз, два, три,— сказал он и сунул ногу в ведро с холодной водой.— Вот что, Петя, есть на свете такой — ох! — Башлыков из Отдела Узоров на Оконном Стекле. Ты немедленно — ох! — поедешь к нему и передашь это письмо. Но ни слова о пенсии. Ни слова! Если уж очень захочется сказать «пенси-я», говори что-нибудь другое на «пе»... «пе-карня» или «пе-нал». Понятно?

13

Петя жил в Немухине, а Башлыков — недалеко от Немухина, в поселке Лихоборы.

Можно было ожидать, что в его саду Снежные Краса-

вицы стоят рядами, поднимая свои крупные белые чашечки среди зубчатых листьев. Ничуть не бывало! В самом обыкновенном палисаднике его встретил худенький старичок в соломенной шляпе, лихо сдвинутой на затылок. Уже по этой шляпе было видно, что с ним лучше не говорить о пенсии.

— Здравствуйте, дяденька,— сказал Петька, чувствуя, что ему до смерти хочется спросить, какая у старика пенсия — по нетрудоспособности или за выслугу лет.— Меня просили передать это письмо.

Башлыков прочитал письмо.

— Так-с,— задумчиво сказал он.— Хорошая девочка?

— Очень.

— Из Снегурочек?

— Да. Но все равно жалко. Она говорит — интересно.

— Что именно?

— Вообще жить. Она говорит, что даже просто дышать и то интересно. Другие не думают, верно? Дышат и дышат. А ей интересно.

— Еще бы,— сказал Башлыков.— Даже мне интересно.

— А в Министерстве, между прочим, без вас совершенно запутались среди узоров на оконном стекле,— сказал Петька.— Даже странно, говорят, без Башлыкова ни на шаг. Вот уж не думали.

Старичок засмеялся, усадил Петьку, разлил пиво, достал телятину и стал рассказывать, как он превосходно живет. Времени сколько угодно, и он даже стал учиться на виолончели, потому что это инструмент, на котором можно, почти не умея играть, тем не менее играть очень прилично. Языки его тоже интересуют, особенно испанский, который по упрощенному методу можно, говорят, изучить в две недели. Петьке опять захотелось спросить его насчет пенсии, но он, понятно, не стал, а чтобы расхотелось, сказал в уме несколько раз: «Пе-ре-кладина, пер-пендикуляр, перемена».

— Дяденька, так как же? — спросил он.

Башлыков подумал.

— Для Снежной Красавицы, конечно, рановато,— сказал он,— но, как говорится, будем посмотреть! — Он поднял вверх сухонький палец и повторил хвастливо: — Да-с, будем посмотреть!

И, выйдя в соседнюю комнату, он вернулся через несколько минут с веткой Снежной Красавицы.

Это была самая обыкновенная Снежная Красавица, но ведь, когда смотришь на нее, всегда кажется, что это дерево может расти только в сказках. Академик Глазенап, например, давно доказал, что оно как две капли воды похоже на невесту в подвенечном уборе. Но еще больше оно похоже на невесту, которая наклонилась, чтобы поправить свой подвенечный убор, и выпрямилась, блестя глазами и раскрасневшись.

Раскрывающиеся трубочки цветка осторожно откидываются назад, а розовые пестики покрыты одним из самых изящных узоров, вышитым Дедом Морозом в незапамятные времена.

— Вот-с,— сказал Башлыков с гордостью.— Какова?

Петя сказал, что красивее этой веточки он ничего в жизни не видел.

— Да-с, и притом — единственная. И не только единственная. Первая в Советском Союзе.

14

Осторожно держа перед собой приказ с приколотой к нему веточкой, Петя вышел от Башлыкова. С вокзала он пошел пешком — боялся, что приказ изомнут в метро. Он шел неторопливо, но, подойдя к Пекарне, не выдержал, ринулся через улицу наискосок и еще поддал, увидев Настеньку, сидевшую во дворе под китайским зонтиком, с книгой на коленях.

Она была в светло-желтом платье, лежавшем ровным кругом на земле, точно она сперва покружилась, а потом села, как это сделала бы девочка, впервые надевшая длинное платье. Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль посмотреть на нее сверху, он увидел бы только два светлых круга — зонтика и платья.

Теперь все было уже так хорошо, что лучше, кажется, некуда. С приказом в руке Петька подошел к Настеньке. И вот тут случилось то, о чем накануне сообщили по радио: налетел шквал.

Без сомнения, это был шквал, не предусмотренный Министерством Вьюг и Метелей, которое считало, что шквалы должны держаться в пределах. В пригородах он сорвал восемнадцать крыш, хотя на четырнадцати из них были предусмотрительно навалены кирпичи, старые железные кровати и прочая рухлядь. В Немухине он забро-

сил на колокольню двух козочек, которые очень удивились, увидев свой поселок с высоты — им всегда казалось, что они живут в одном из самых красивых мест на земле. Он сорвал вывеску с пивного зала на Кадашевской набережной и перенес ее на сберкассу, так что всем идущим в пивной зал захотелось положить свои сбережения на книжку, а всем идущим в сберкассу захотелось выпить.

Но, конечно, самое недопустимое заключалось в том, что он вырвал из Петькиных рук приказ, а у Настеньки — китайский зонтик. Приказ он отправил в небо над Колокольней Ивана Великого, а зонтик — тоже в небо, но над шпилем многоэтажного дома на Смоленской.

Трудно сказать, что было страшней для Настеньки. Правда, веточка была теперь приколота к приказу, но ведь он еще не был ей вручен!

Очевидно, не было другого выхода, как сломя голову ринуться за приказом, не спуская с него глаз и надеясь, что, согласно законам природы, он где-нибудь да опустится на землю.

И Петька побежал, натыкаясь на москвичей, которые тоже бежали в метро, на работу, в магазины.

Приказ плыл, как журавль, в нежном мартовском небе. Оглянувшись, Петька заметил с беспокойством, что Настенька бежит за ним, да еще по солнечной стороне, без зонтика. Она тоже оглянулась в эту минуту и тоже с беспокойством, потому что за ней, ковыляя, охая и странно закидывая больную ногу, бежал дядя Костя.

— Прилетит! — кричал он.— Никуда не денется! Приказ, он свое место знает! Ага, что я говорил! — еще громче закричал он, увидев, что приказ плавно опускается на крышу многоэтажки.— Давай, милый, давай! Планируй!

Но, взлетая то вверх, то вниз, качаясь и кувыркаясь, приказ вдруг, здорово живешь, угодил прямо в дымовую трубу! Это видела вся Москва и, уж конечно, Настенька и Петя. Добежав до Арбатской площади, они остановились и в отчаянии посмотрели друг на друга.

Вот тут произошло еще одно событие, если не самое удивительное из всех, так уж во всяком случае самое приятное: пробежав добрых три километра под теплым весенним солнцем, Настенька не растаяла. Она запыхалась, разгорячилась, раскраснелась — все, кажется, одно к одному! Но вот не растаяла же!

И дядя Костя, доковыляв до них, догадался, в чем дело.

Он поцеловал Настеньку, закричал, как Пекарь: «Рояль!» — и заплакал. И Настенька заплакала.

— Обними же ее, дубина! — сказал дядя Костя Петьке. От волнения он забыл о вежливости.

Стесняясь, Петька обнял Настеньку и на губах почувствовал вкус ее слез. Как известно, у людей слезы соленые, а у Снегурочек — пресные, вкуса талой воды. Настенька плакала, и слезы становились все солонее. Это значило, конечно, что она постепенно превращается в самую обыкновенную девочку без особых примет.

15

В чем же все-таки было дело? Ученый с синим носом предположил, что Настенька все-таки растаяла, а когда ему сказали: «Вот же, перед вами девочка!» — он ответил, как мороженщицы:

— Девочек много.

Другой ученый, тоже талантливый, объявил, что уж кто-кто, а он прекрасно понимает сущность вопроса.

— Она просто привыкла,— объявил он, подразумевая под этим словом, что Настенька привыкла быть человеком, а ведь всем известно, как трудно освободиться от привычки, даже очень хорошей.

Но дядя Костя думал иначе: «Нужна она была нам всем, вот и не растаяла,— решил он.— Каково было бы без нее, скажем, Пекарю? Или ласточке? Или мне, не говоря уж о Петьке? Кто говорил бы ему: мой ненаглядный? А приказ, что ж приказ! Возьмем копию, теперь, слава богу, торопиться некуда. Подождем, пока Снежная Красавица расцветет, и приколем не одну, а сразу две веточки».

Трудно сказать, кто из них прав. Как-никак это был первый подобный случай в природе.

16

Дяде Косте давно пора было уезжать; ведь он все-таки в командировке занимался чужими делами. Но прежде надо было получить для Настеньки свидетельство о рождении и устроить ее в школу для взрослых, чтобы она могла работать у Пекаря и учиться. К Башлыкову просто необходимо было заглянуть хоть на полчаса — проститься

и оставить что-нибудь на память. А ведь это очень трудно — купить подарок мужчине, изучающему испанский язык и прилично играющему на виолончели.

Наконец, надо было дождаться Пекаря хотя бы просто для того, чтобы познакомиться с известным мастером спорта, любившим говорить о себе: «Я, как одинокий мужчина...»

Все это было сделано, и с блеском. Свидетельство о рождении, например, было написано красивыми буквами, напоминавшими ледяные кристаллы. Башлыков принял всех троих — дядю Костю, Настеньку и Петьку, сыграл им на виолончели и сказал по-испански: «Salud». Разумеется, о пенсии не было сказано ни слова.

Втроем же они встретили Пекаря, который победил минского Гроссмейстера и вернулся в отличном настроении. Он привез Настеньке в подарок огромный складной полотняный зонтик, под которым художники рисуют в любую погоду, и от души обрадовался, узнав, что зонтик больше не нужен.

Все, кому помогал дядя Костя, пришли провожать его — на перроне положительно нельзя было протолкаться. Здесь были Тулупов, Башлыков, Трубочный Мастер, Пекарь, Настенька, Петя — и среди людей, кстати сказать, прыгал Грач, которого дядя Костя когда-то устроил в Дом Отдыха Престарелых Грачей.

Старый Трубочный Мастер притащил ему трубку, которую он обкуривал три года, а Пекарь — такой душистый минский хлеб, что все спрашивали друг друга: «Чем это так прекрасно пахнет?»

Дядю Костю хлопали по спине и целовали. Еле живой, он влез в вагон и, утвердившись у окна, стал снова прощаться с друзьями.

— Приезжайте! — кричал он.— Приезжайте все! И Грач приезжай. И ты, старушка, которой я сделал костыль. Ничего, что ты меня побила!

Поезд пошел, сперва медленно, потом все быстрее, и, высунувшись из окна, дядя Костя увидел две тоненькие фигурки, которые отделились от толпы провожающих и побежали за поездом, размахивая платочками и крича: «Дя-дя Ко-стя!» Это были, конечно, Настенька и Петя.

Стараясь не задевать соседей ногами, дядя Костя полез на верхнюю полку, разделся, улегся и стал думать.

Он вспомнил, что старушка побила его не в Москве, а

в Новосибирске, и не теперь, а давно, два года тому назад,— и долго смеялся, натянув на себя одеяло. О Настеньке он все еще беспокоился. «Надо бы, собственно, взять ее с собой,— подумал он.— Ездили бы мы с ней в город Снежное Снежнянского района, снегирей купили бы. Хотя снегири тут, кажется, ни при чем».

Колеса стучали успокоительно, весело, и тоже все про снегирей, снегопады, снежных коз, живущих на снежных вершинах.

А Петька, проводив Настеньку, вернулся в Немухин и стал ее рисовать. Сперва на бумаге появились два светлых круга. Это были зонтик, платье и тоненькие руки с книгой, опустившиеся на колени. В легком летнем платье, она сидела одна в открытом поле зимой. Везде были сугробы — молодые, мягкие, отбрасывающие пепельные тени, и старые, сердитые, с колючими кромками, над которыми кружились дымки.

Потом он нарисовал ее спящей. Она лежала на лугу летом, подложив ладонь под щеку, опустив нежные овалы ресниц, и солнце, которого она больше не боялась, золотило волосы, разделенные полоской пробора.

Обсуждаем третью сказку и сочиняем четвертую

— Конечно, человек, который сделал из Снежной Бабы Снегурочку,— Николай Андреевич Заботкин,— сказал Петя, когда мы прочли рукопись, найденную в деревянном телефоне.— Кто еще и зимой и летом ходит с зонтиком в ясную погоду? Пекарь, кстати сказать, переехал в Немухин, заведует Новой Пекарней, и именно по его плану был выпечен хлеб с хрустящей корочкой. Но дядя-то Костя!

И Петя покатился со смеху.

— Действительно, у него все на своем месте, а кажется, что не на своем. И глаза не смотрят в разные стороны, а кажется, что смотрят. Волосы он причесывает как все люди, а кажется, что они стоят дыбом. Между прочим...

Петя помолчал.

— Мы не станем скрывать от него эту историю?

— Разумеется, нет!

— Но как вы думаете, он не обидится?

— А я заменю эти строчки какими-нибудь другими. Например: все у дяди Кости было на своем месте, и толь-

ко казалось, что не на своем. Глаза не смотрели в разные стороны, и глубоко ошибался тот, кто подумал бы, что смотрели. Походка у него была неторопливая, плавная, а волосы никогда не стояли дыбом, как это иногда случается у пожилых людей.

— Прекрасно! — закричал Петя.— Кстати, Настенька теперь работает в Институте Вечного Льда.

— Ну, что ж! Где еще и работать бывшей Снегурочке.

Петя покраснел.

— Как сказать! Это я ее убедил.

— Ты с ней встречаешься?

Сильнее покраснеть было невозможно, но Пете, кажется, это удалось.

— Да. У Тулупова. Он, между прочим, ее удочерил, так что она теперь Тулупова, а не Снежкова. А я бываю у них потому, что мне тоже хочется стать гляциологом. Это наука о свойствах природного льда. И насчет Башлыкова Нил Сократович напутал. На пенсии он тогда еще не был, так что мне не нужно было говорить ему вместо «пенсия» — «пекарня» или «пенал». Но почему Ночной Сторож ни словом не упомянул о Заботкиных? Они тоже нам помогли, в особенности Николай Андреевич. Вы с ними знакомы?

— Нет, но знаю о них довольно много.

— А хотите познакомиться?

— Еще бы!

— Прекрасно! Я сейчас пойду к Марии Павловне в Институт Красоты и спрошу, можно ли заглянуть к ним вечерком. Идет?

Я уже знал, что Николай Андреевич любит называть завтрак ужином, а ужин — обедом. Мы, по-видимому, пришли к завтраку. Мария Павловна и Николай Андреевич только что вернулись с работы. Впрочем, стол был уже накрыт: хозяйничала Таня, которая теперь училась в консерватории, так что Нил Сократович хотя без сомнения узнал бы ее, но с трудом.

На ужин были поданы сосиски, как будто нарочно для того, чтобы напомнить о том, как Мария Павловна побежала за баночкой горчицы и исчезла. Я рассказал о своих находках, и всем стало казаться, что Нил Сократович сидит за столом и пишет очередную сказку вместо корреспонденции в журнал «Новости науки и техники». Потом разговор зашел о бывшем Директоре Музея, Луке Лукиче,

и Николай Андреевич сказал, что в городе о нем говорили, что хоть он и Мыло, но может куда угодно пролезть и без мыла.

— Между прочим, я уверен, что он связан с нечистой силой,— сказал Николай Андреевич.

Я спросил, почему он так думает, и в ответ все Заботкины, стараясь не перебивать друг друга, стали рассказывать о каком-то Юре Ларине, который прятался у них на чердаке, об учителе географии Павле Степановиче Неломахине и, как ни странно, о какой-то летающей шубе. Но когда рассказ дошел до поездки немухинских школьников в старые русские города, Заботкины одновременно замолчали.

— А что было дальше,— сказала Мария Павловна,— расскажет вам Петя.

Нельзя сказать, что Петя был особенно разговорчив. Почти каждую фразу он начинал со словечка «ну».

— Ну, приехали мы в Хлебников. Ну, этот Лука Лукич потребовал, чтобы его называли Мэром. Ну, пошли мы в Мастерскую Игральных Карт, не мы, конечно, а Павел Степанович. Ну, оказалось, что этот Мэр посадил в своем саду волшебные палочки. Ну, вызвал он Павла Степановича на дуэль.

— На дуэль?

— И если бы не Иван Игнатьевич...

— Кто, кто?

— Ну, старый Резчик Игральных Карт. У него, между прочим, на фасаде дома вырезана вся колода от двойки до туза.

Словом, я ничего не понял и на другой день отправился к учителю географии Неломахину, о котором, кстати, надо предварительно сказать несколько слов.

Это был единственный в Советском Союзе Международный Гроссмейстер по спасению людей, зверей и полезных ископаемых. И он действительно заслужил это звание. Ему ничего не стоило распутать паутину, в которую попала рассеянная бабочка. Его прекрасно знали в окрестных лесах. Маленькие лоси почему-то часто ломали ноги, и он их бинтовал и даже иногда накладывал гипсовые повязки. О людях нечего и говорить! Немухинка, на вид такая скромная и добродушная, была довольно коварной речкой: два-три раза за лето в ней непременно кто-нибудь тонул.

И днем ли, ночью ли Павел Степанович первый бросался в воду.

За домашнюю или классную работу, так же как и за ответ у доски, он ставил, как это ни странно, двойку, если не находил возможным поставить тройку. Он не ходил, как это делали другие учителя, с маленькими счетами в кармане и не высчитывал, повлияет ли очередная двойка на общий процент успеваемости в школе.

Короче говоря, если бы не его слава Международного Гроссмейстера, все эти двойки вместо троек и четверки вместо пятерок едва ли прошли бы ему даром...

Итак, от Заботкиных я пошел к Павлу Степановичу и прежде всего убедился, что в нем (по меньшей мере на первый взгляд) ничего необыкновенного нет. Для Международного Гроссмейстера он держался скромно. Прежде чем ответить на любой вопрос, он задумчиво поглаживал свою начинавшую седеть бородку. Кстати, бородка была аккуратная, круглая и хотя скромная, но как бы незаметно участвовавшая во всем, что делал и говорил ее хозяин. Только одно удивило меня в его маленькой квартире: везде стояли или висели на стенах песочные часы — большие и маленькие, в металлической и деревянной оправе, и каждые часы можно было перевернуть, чтобы посмотреть, как красиво пересыпается из верхней части в нижнюю тоненький золотистый песок. Словом, кабинет был похож на часовую мастерскую с той разницей, что время здесь не летело сломя голову, а струилось медленно, бесшумно и только тогда, когда это разрешал ему неторопливый человек с аккуратной бородкой. Я спросил Павла Степановича, собирает ли он коллекцию песочных часов, и у него стало грустное лицо, когда, погладив бороду, он ответил:

— Нет. Но они напоминают мне... Впрочем, об этом в другой раз.

И он неторопливо, подробно рассказал мне о том, что происходило в Хлебникове, а потом вдруг перевернул песочные часы, стоявшие у него на столе, и как бы мельком взглянул на лежавшую под лампой груду школьных тетрадей. Нельзя сказать, что я очень догадливый человек, однако понял, что пора уходить. И ушел, но не в гостиницу, а к сестрам Фетяска, которые повторили свой рассказ, перебивая друг друга.

И не раз еще я ходил к Пете, к Заботкиным, снова к сестрам Фетяска, снова к Павлу Степановичу, пока не решился рассказать вам то, что они мне рассказали. При

этом я, как говорят ученые, помножил знание на воображение. Беда была только в названии — ведь никто не находил эту историю ни в подзорной трубе, ни в музыкальной табакерке. Но зато в ней часто повторялось слово, придуманное Юрой Лариным, и ничего не оставалось, как назвать ее просто

СИЛЬВАНТ

Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев.

Ю. Олеша

АВИАШУБА

Говорят: «Не всякому слуху верь» — и это действительно был слух, которому почти никто не поверил. Да и в самом деле, могло ли быть, что дежурный пожарник, под утро задремавший на своей каланче, вдруг проснулся, потому что над каланчой пролетела шуба? Более того: он утверждал, что шуба проделала иммельман — так называется одна из фигур высшего пилотажа — и тогда из нее выпал не то медвежонок, не то козленок, который бухнулся в сугроб, отряхнулся и опрометью побежал по Нескорой.

Надо сказать, что в Немухине привыкли к чудесам. Ну, шуба! Ну, пролетела, хотя шубам, вообще говоря, летать не положено. Ну, вывалился из нее медвежонок — куда в таком случае он девался? Просто пожарник задремал к утру, а так как он лет сорок тому назад был летчиком, вот ему и померещился иммельман, потому что если на худой конец шуба и пролетела над каланчой, едва ли ей удалось бы сделать иммельман, то есть пролететь вверх колесами, а потом вернуться в нормальное положение.

Так или иначе, уже через два-три дня об этой истории забыли, тем более что у Марии Павловны Заботкиной, Директора Института Красоты,— подумать только — через четырнадцать лет после дочки Тани, родился мальчик, которого назвали Славой. Разумеется, и в этом не было ничего особенного. Но Заботкиных любили. Вот почему едва ли не в каждом доме был поставлен на обсуждение интересный вопрос: они вчетвером будут жить в двухкомнат-

ной квартире? Конечно, другой архитектор на месте Николая Андреевича давно бы словчил, построив себе загородный дом или прибрав к рукам какой-нибудь жилищный кооператив побогаче. Но, во-первых, он был одним из благороднейших людей не только в Немухине, но и в области, а во-вторых, одна из квартир только и ждала, чтобы ее обменяли.

Впрочем, это была даже не квартира, а целый особняк, с множеством пристроек, в котором некогда жил не то архиерей, не то сам губернатор. Прежде его занимали сестры Фетяска, а теперь Заботкины, причем обмен был сделан буквально в течение двух дней: Николай Андреевич получил нечто вроде пятиугольного салона, который он немедленно превратил в архитектурную мастерскую. Тане досталась так называемая гардеробная — в ней причудливо смешивались запахи нафталина и кофе. Зала с итальянскими окнами, выходившая на Немухинку, была отведена под столовую, а большая комната, напоминавшая фонарь, превратилась в детскую. По-видимому, она и была задумана как фонарь с разноцветными стеклами, так что в солнечный день казалось, что плывущие в воздухе желтый, сиреневый, красный и синий цвета бесшумно ссорятся между собой — каждому хотелось освещать колыбельку. Словом, все были довольны и в особенности Мария Павловна, которая каким-то чудом существовала во всех четырех комнатах одновременно.

Что касается чердака... Почти до самой крыши он был набит разным хламом, от которого сестры Фетяска рады были отделаться — и отделались, упросив мягкосердечных Заботкиных распорядиться им по-своему — «предать огню», как они старомодно выразились, или продать какому-то татарину-старьевщику, который давно скончался и существовал только в их воображении.

МАЛЕНЬКИЕ ЗАГАДКИ

Встречаются в жизни маленькие загадки, на которые решительно не стоит обращать внимания. Тане показалось, что кто-то ночью погладил ее по лбу мягкой лапкой. Так что же? Это могло померещиться ей или просто присниться.

Кто-то выпил молоко, которое Мария Павловна налила в блюдечко для Тюпы — так звали розового, интеллигент-

ного заботкинского кота, который не стал бы врать и жаловаться, если бы это было не так. А он, между прочим, жаловался — по крайней мере, именно так можно было понять его обиженное мурлыканье. Причем это случилось не раз и не два.

Однажды под утро, когда Славик громким чмоканьем — он сосал свою пятку — разбудил Марию Павловну, она ясно услышала мягкие, негромкие звуки флейты, именно флейты, а не скрипки, что могло случиться, если бы Тане, любившей поспать, захотелось в шесть утра приняться за свою скрипку.

Это было странно, но у Марии Павловны просто не было времени удивляться, надо было кормить Славика — собственная пятка, конечно, не могла заменить ему завтрак! Ну, флейта так флейта! Хорошо еще — хоть не барабан или контрабас!

Но когда на одном из чертежей Николая Андреевича появился загадочный рисунок, напоминавший добродушную собаку, вставшую на задние лапы, Заботкины задумались, хотя нисколько не разволновались. Мария Павловна припомнила, что кто-то воспользовался не только Тюпиным молоком — неоднократно пропадали остатки хлеба, которые она откладывала, чтобы сделать из них сухари. Любимую соску Славика, потерянную в садике возле дома, кто-то нашел и положил в стакан с кипяченой водой, стоявшей на столике подле его кроватки.

Конечно, никто не относился к этим случайностям серьезно. Николай Андреевич шутил, что, очевидно, у них поселился домовой и что этому надо только радоваться, потому что согласно народным поверьям этот невидимый жилец не только не причиняет зла людям, но старается предостеречь их от грядущих несчастий. А все же, все же...

ОЧЕВИДНОЕ — НЕВЕРОЯТНОЕ

Причудливое явление, призрак в старину назывался фантомом. Может быть, и в самом деле такой призрак поселился где-нибудь на чердаке в квартире Заботкиных? Причем, без сомнения, это был незлобивый, нетребовательный призрак, игравший по ночам на флейте и делившийся молоком с Тюпой.

— А интересно узнать, замечали ли эти странности сестры Фетяска? — сказала однажды Мария Павловна, когда

за обедом обсуждался вопрос о домовых, леших, русалках и прочей нечистой силе.

И на другой день она решила навестить сестер.

— Нет,— решительно заявили они, прибавив, что и не могли ничего заметить, потому что не держат кота, не сушат сухарей и не занимаются архитектурным черчением.

Словом, вопрос, что называется, остался открытым, если бы им не заинтересовался Петька Воробьев, старинный приятель Тани.

Павел Степанович Неломахин считал его одним из самых способных учеников. Они оба не пропускали ни одной передачи «Очевидное — невероятное», и разница между ними заключалась в том, что все невероятное казалось Петьке очевидным, а Павлу Степановичу — наоборот.

Эта существенная разница сказалась, между прочим, и в том, как они отнеслись к странностям в доме Заботкиных.

Павел Степанович думал, что все случившееся на деле не случилось, а примерещилось не только Марии Павловне и Тане, но и коту Тюпе.

— Давно доказано,— сказал он,— что лешие, кикиморы, русалки и домовые не что иное, как плод народного воображения.

Петька не стал спорить. Однако к вечеру явился к Заботкиным в более чем странном наряде. Брюки с рубашкой и майка с трусиками были на нем вывернуты наизнанку, правая туфля надета на левую ногу, левая — на правую, а кепка торчала на затылке козырьком не вперед, а назад.

Увидев его, Таня покатилась со смеху, но он сделал большие глаза и приложил палец к губам.

— Читала «Демон» Лермонтова? — шепотом спросил он.— Нудная штука, но я одолел. Автор тоже, между прочим, считал невероятное очевидным. А у писателя — забыл фамилию — я прочел, что для того чтобы увидеть какую-нибудь кикимору, надо ее удивить. Например, одеться шиворот-навыворот и сказать что-нибудь вроде: «Пречистые замки ключами не заперты, ладаном не запечатаны ныне и присно и вовеки веков». Короче говоря, айда на чердак!

— Почему на чердак?

— А где, по-твоему, должны жить привидения?

На чердаке не было электричества, и Таня зажгла карманный фонарик.

— Погасить,— строго сказал Петька.— С логической точки зрения — это дело темное, а темные дела должны происходить в темноте.

Впрочем, ночь была лунная, и на чердаке было не очень темно, должно быть, свет украдкой проникал в невидимые щели. Плохо было, что Таня давилась от смеха, а между тем в ожидании чуда — как же иначе называть то, что должно было случиться,— нужно было, по мнению Петьки, сохранять «стоическое», как он выразился, то есть железное спокойствие.

Однако прошло минуты две, и, хотя Таня была не робкого десятка, вдруг почувствовала, что ей вовсе не смешно, а даже, пожалуй, страшно.

На чердаке пахло пылью, в одном углу были свалены тяжелые сломанные карнизы, в другом — кресла с торчащими пружинами, и она стояла в перекрещивающихся лунных полосках, которые как будто связывали ее по рукам и ногам.

Петька шумно откашлялся — может быть, чтобы показать, что он ничуть не боится.

— Пречистые замки ключами не заперты, ладаном не запечатаны, открыты ныне и присно и во веки веков,— громко сказал он.

Сперва зазвенела пружина, точно кто-то вскочил с кресла, потом в наступившей тишине послышалось слабое дыханье. Что-то совершалось, очевидно, чудо. Можно было вообразить, что невидимые руки лепят какую-то неясную фигуру из сумеречного света, из пылинок, которые стали видны, из самого воздуха, который как бы уплотнился, хотя это было, кажется, невозможно.

— Можно, я зажгу фонарик? — дрожащим голосом спросила Таня.

Петька не успел ответить.

— Конечно, пожалуйста! — отозвался ясный молодой голос.

Теперь, при свете фонарика, можно было различить странную фигуру, чем-то похожую на детские рисунки. Ноги были как ноги — в потрепанных джинсах, руки как руки, хотя и покрытые шерсткой, на широких плечах ковбойка, но голова... Голова была пушистая, с мягкими растрепанными волосами, и неестественно большие глаза мягко сияли на бледном, добром лице.

— Кто ты? — загробным голосом спросил Петька.— Домовой?

— Такой же, как ты,— отозвался спокойный голос.

— Извините,— вежливо возразила Таня.— Но если вы человек, почему у вас такая необычная внешность?

— Прежде всего познакомимся. Меня зовут Юра Ларин. Я из Хлебникова, может быть, вы слышали о таком городке на Черном море? Я ученик девятого класса Хлебниковской школы. Вы оба, кажется, тоже в девятом классе? Но ты, Таня, кажется, в Музыкальной Школе? Черт возьми, если бы не моя мачеха, мне тоже удалось бы поступить в Музыкальную Школу. Я играю на флейте.

— Так это твою игру мы с мамой иногда слышали по ночам?

— Я нашел на чердаке старую окарину, на которой осталось только шесть дырочек вместо девяти. Говорят, Паганини на одной струне исполнял сложнейшие партии. Ну вот, так же и я. Вместо флейты играл на окарине, и вместо девяти дырочек на шести.

Петька, конечно, понятия не имел, кто такой Паганини, но Таня прекрасно знала, что был такой знаменитый скрипач и композитор.

— Я немного боялся, что беспокою Марию Павловну,— вежливо добавил Юра.— Славик мешает ей спать, а тут еще я со своей окариной.

— Нет, мама не слышала, а мне было даже приятно. Мне мерещилось, что я слышу звуки флейты во сне.

— Ну, ладно! Как говорится, вернемся к делу,— сказал Петька.— Все-таки ты, может быть, расскажешь нам, кто ты такой, откуда появился в Немухине и, в частности, в этом доме? Между прочим, заклинание, которым я тебя вызвал, относится не только к домовым.

— Может быть. Но на меня подействовало не твое заклинание. Просто смертельно соскучился и очень обрадовался, когда вас увидел. Конечно, пора объяснить, как я здесь оказался. Но с чего начать? Может быть, с мачехи? — задумчиво сказал Юра.

Его бледное лицо омрачилось, погрустнело.

— Валяй с мачехи,— согласился Петька.— Она кто у тебя? Ведьма?

«ДА, БРАТ, ТЕБЕ ДОСТАЛОСЬ!»

— Можете мне не поверить, но каких-нибудь две недели тому назад я почти ничем не отличался от вас. Когда мне было два года, у меня умерла мать, отец женился на молодой красивой женщине, но, к сожалению, с очень дурным характером и большими ногами. Не удивляйтесь, что я упоминаю о ногах. Дело в том, что она всю жизнь ста-

рается скрыть, что ей впору туфли сорок один, и покупает двумя номерами меньше. А попробуйте-ка, особенно летом, в жару, носить такие туфли! Злость закипала у нее в ступнях, а потом поднималась вверх, как ртуть в градуснике. Короче говоря, утром моя мачеха еще могла улыбаться, особенно когда она кокетничала, а к вечеру просто кипела от злобы. Огрызалась, скрежетала зубами, старела на глазах и просто умирала от желания кого-нибудь съесть. И съела!

— Как съела? — одновременно спросили Таня и Петя.

— Очень просто! Моего отца, добродушнейшего, кроткого человека. У него даже в истории болезни было написано: «Не повезло с женой. Крайне неудачная семейная жизнь». Конечно, сразу же после смерти отца ей захотелось съесть меня. В самом деле, еще молодая, интересная дама, а тут под ногами вертится какой-то мальчишка, который к тому же не только знает, что она носит туфли на два номера меньше, но знает, что по всему свету она ищет хирурга, который превратил бы ее копыта в маленькие, изящные ножки. Конечно, каждый из них говорил: «Но, мадам! Вам может помочь только волшебник». Тогда — представьте себе — она стала искать волшебника. И нашла!

— Нашла? — с изумлением спросила Таня.

— Заливаешь! — одновременно откликнулся Петька.

— Правда, не столько волшебника, сколько мошенника. То есть в прошлом он служил в Управлении Необъяснимых Странностей, даже заведовал каким-то отделом, но его прогнали и категорически запретили заниматься чудесами. В Хлебникове он показывал карточные фокусы в пивных и тайком лечил плешивых, причем с каждого брал клятву, что тот никому никогда не расскажет, почему у него заросла плешь. Вот из пивных-то его и выудила моя мачеха.

Юра тяжело вздохнул: видно было, что ему нелегко давалась эта история.

— Ты устал? — мягко спросила Таня.— Ведь можно встретиться в другой раз.

— А вы торопитесь?

— Я — нет! — сказал Петька.

— Я тоже,— сказала Таня,— но уже двенадцатый час, и я боюсь, что мама станет беспокоиться, куда я пропала. Вот что: я скажу ей, что иду спать...

— Да, брат, тебе досталось,— мрачно сказал Петька, когда она убежала.

Они помолчали.

— Послушай, ты, может, голодный? — вдруг вскинулся Петька,— хочешь, я тебе живо притащу что-нибудь из дому?

— Нет, спасибо. Между прочим, на твоем месте я бы переоделся, пока Таня не вернулась.

— Ах, да!

И Петька живо вывернул обратно рубашку, брюки, снова надел туфли. Только кепка осталась лихо торчать на затылке козырьком не вперед, а назад — впрочем, так он носил ее не только когда собирался вызывать домовых.

Таня вернулась.

— Все в порядке. Мама укачивает Славика. Я пожелала ей доброй ночи. Между прочим, у нас на ужин была макаронная запеканка. Я подогрела и принесла. Ты, наверное, проголодался?

— Спасибо. Я потом съем. Сейчас неохота.

— Остынет.

— Не беда.

— Ну, рассказывай! — нетерпеливо сказал Петька.— Значит, ты все-таки не человек?

Юра вздохнул.

— Я — Сильвант. Многие выдумывают страны, которых нет, а я задумался о людях, которые живут на земле и не знают, как она прекрасна,— сказал он.— У каждого дерева свой голос: береза шелестит, липовая роща шепчет, хвойный бор сердито бормочет, дубы задумчивы и молчаливы, а мачтовые сосны готовы пожертвовать собой, чтобы увидеть дальние страны. Сильванты понимают язык деревьев, потому что они очень похожи на них. Никогда не лгут, не ссорятся, никому не желают зла. Они стоят на земле твердо и прямо и гнутся только под ветром, который тоже прекрасен, потому что умеет вертеть мельничные колеса и в течение тысячелетий помогал людям открывать новые страны. Среди Сильвантов много поэтов, художников, музыкантов, в их сонатах и ноктюрнах тонкий слух различает пенье птиц и листвы. Они гораздо умнее обыкновенных людей и уступают в тонкости чувств только деревьям. Кстати, об этом думал один из прекрасных поэтов. Он писал:

Я знаю, что деревьям, а не нам,
Дано величье совершенной жизни,
На ласковой земле, сестре звездам,
Мы — на чужбине, а они — в отчизне.

— Вот так же и Сильванты относятся к земле. Она для них не приплюснутый шар, который с утомительным однообразием вращается в пространстве, а ласковая звезда, на которой и деревья, и животные, и люди должны ежеминутно чувствовать радость существования. Я часто рисовал Сильвантов, мне казалось, что они все же должны отличаться от обыкновенных людей. И вот однажды... Но прежде чем объяснить, что случилось, мне надо вернуться к своей мачехе. Кстати, ее зовут Неонила, и она почему-то гордится этим именем. Она где-то познакомилась с Луканькой — его зовут Лука Лукич, но все в городе звали его Луканька. Приодела его, поселила где-то поблизости от нас, и буквально через неделю он совершенно преобразился. Кстати сказать, он служил в Игральных Мастерских — у нас самые большие Мастерские Игральных Карт,— а пристроила его туда она же, кажется, кладовщиком. И началось!

— Что началось?

— Через месяц он уже заведовал цехом пасьянсных карт, еще через два был заместителем директора, а потом каким-то образом пролез в Главный Филиал и теперь требует, чтобы все называли его Мэром. У нас он стал бывать каждый день и, между прочим, как бы подружился со мной, хотя меня воротило с души при одном виде его сизого носа.

— Сизого?

— Сизый нос сливой, глазки заплывшие, плешивый, все говорит, что нет времени, а сам ходит, шляется без дела в пальто с шелковыми отворотами, в лакированных туфлях и в цилиндре.

— В цилиндре?

Впервые Таня не поверила Юре, а Петька откровенно сказал:

— Врешь!

— Сильванты не лгут,— с достоинством отозвался Юра.— Так вот, он... Мне казалось, что он был против того, чтобы мачеха меня уморила. Но теперь-то мне ясно, что они были в сговоре и что он заступался за меня притворно.

— Но как же все-таки она могла тебя уморить?

Юра с досадой махнул рукой.

— Ну, как? Очень просто! По ночам, как только я засыпал, молотила в дверь ногами или запускала радио на полную катушку. Распустила по всему городу слух, что

я тайком опустошаю холодильник, а сама, между прочим, пристроила к нему электрический звонок, который трещит на весь дом, когда открывают дверцу. Сломала мои лыжи, не пускала на каток, не давала читать, а мою библиотеку продала за гроши. Вот такая была жизнь, и немудрено, что мне захотелось удрать. Но об этом нечего было и думать.

— Почему?

Юра долго молчал. Что-то одновременно и грустное, и радостное показалось в его огромных добрых глазах, обведенных темными кругами.

— Ну, об этом как-нибудь в другой раз,— сказал он.— О чем я рассказывал? Ах, да! В тот вечер Лука Лукич пришел ко мне не в пальто, а в старой поношенной шубе, хотя была мягкая осенняя погода.

«Ну, как живешь, бедолага? — спросил он.— Скучаешь? Голодаешь? Я тебе подарочек принес».

И он бросил на мой стол связку свежих кренделей, несколько луковиц и финский сыр «Виола».

«Ты держись! Дай срок, я на Неонилке женюсь, и мы с тобой ее одолеем. А что это ты рисуешь?»

А я, на свою беду, как раз рисовал Сильванта.

— Такого?

И Таня показала ему маленький рисунок, который Николай Андреевич с негодованием обнаружил на одном из своих чертежей.

— Да. Николай Андреевич очень сердился?

— Очень. Я успела скопировать, прежде чем он стер рисунок. Вот! Похоже?

— Пожалуйста, извинись перед ним. Я больше не буду.

— Дальше,— потребовал Петька.

— И я, на свою беду, стал рассказывать Луке Лукичу о Сильвантах. А он... Конечно, теперь для меня ясно, что мачеха в этот день условилась с ним отделаться от меня, иначе он не явился бы ко мне в шубе. И вот он вдруг спросил меня... Но я совсем забыл сказать, что он озорник, проказник, любивший неожиданно ошеломить, ошарашить, озадачить. Ему было все равно как избавиться от меня, а тут вдруг подвернулся случай еще и подшутить. Это было как раз в его духе!

«А тебе не хочется стать вот таким Сильвантом? — спросил он, взглянув на мой рисунок.— Конечно, конечно, не выходя из дому, потому что иначе на тебя станут пока-

зывать пальцами и сбежится толпа». Ну, что вы ответили бы на такой вопрос, ребята?

— Конечно, да! — закричал Петька.— Никогда не врать — это же интересно! Понимать, о чем говорят деревья! Ни с кем не ссориться и не драться, в то время как Павел Степанович вчера страшно отругал меня за то, что я врезал Вальке Стригунову!

— Ну, вот и я ответил — да. И сразу почувствовал... Не знаю, как вам рассказать. Я как будто лишился сознания и в то же время ясно чувствовал и понимал, что со мной происходит. Я видел, как он сильно потер свой сизый нос, похожий на подгнившую сливу, и этого оказалось достаточно...

Он замолчал, может быть потому, что хотел справиться с волнением.

— И этого оказалось достаточно, чтобы я превратился в Сильванта.

Таня тихонько ахнула, а Петька засопел — он всегда сопел, когда видел или слышал что-нибудь интересное.

— Откуда-то вдруг появилась мачеха и, помнится, я снова подумал: «Они хотят от меня отделаться», потому что она помогала ему, когда он надевал на меня шубу. Кажется, я все спрашивал: «Зачем, зачем?» А Лука посмеивался: «Это, брат, не какой-нибудь планер! Где стоишь — оттуда и летишь! Три пуговицы — три скорости. Застегнешься на первую — подъем. На вторую — нормальный полет — шестьдесят километров в час. На третью... Ну, на третью я тебе не советую».

Он вдруг сильно ударил меня по лбу, может быть, чтобы привести в сознание. «Ну, с богом! Счастливого пути».

Он сам застегнул нижнюю пуговицу, и я, приходя в себя, стал медленно подниматься. Потом, когда я почувствовал, что лечу над облаками и сквозь их прозрачную белизну вижу поля, леса, маленькие ленты дорог, которые то скрещивались, то разбегались, как на географической карте, мне захотелось петь, читать стихи, кувыркаться. Поднялся ветер, облака стали обгонять меня, но я застегнул вторую пуговицу и с такой силой рванулся вперед, что едва не вылетел из шубы. Признаться, я даже забыл, что превратился в Сильванта, и вспомнил только потому, что, застегивая пуговицу, заметил, что у меня мохнатые руки. Это и была минута, когда я впервые пожалел, что не нарисовал Сильванта другим. Но кому бы пришло в голову, что ты когда-нибудь превратишься в собственный рисунок?

Ночь была на исходе, когда Юра закончил свой рассказ. Впрочем, мы уже знаем, как он пролетел над Немухинской каланчой, вывалился из шубы и побежал по Нескорой. Сестры Фетяска крепко спали, когда он спрятался на чердаке, а через два или три дня дом перешел к Заботкиным и начались те странные явления, о которых мы уже рассказали. Стоит только упомянуть, что, расставаясь с Юрой (чтобы вскоре снова встретиться), практический Петька спросил:

— А куда делась шуба?

И получил короткий ответ:

— Не знаю.

Но Таню интересовал совсем другой, гораздо более сложный вопрос:

— Извини, Юра,— сказала она.— Но мне хотелось бы узнать. Неужели ты, как настоящий Сильвант, стал понимать язык деревьев? И никому не желаешь зла? И земля кажется тебе ласковой звездой?

Наступило молчание, такое долгое, что часы на вывеске часовой мастерской, только что пробившие шесть ударов, хрипло заурчали, как всегда, когда они подбирались к половине седьмого.

— Да,— наконец сказал Юра.— Но есть одна причина, которая заставляет меня глубоко сожалеть об этом превращении. У меня к тебе просьба, Таня. Подари мне свой рисунок. На обороте я напишу несколько слов. Ты не станешь их читать, не правда ли? Запечатай рисунок в конверт и пошли по адресу: Хлебников, улица Неизвестного Поэта, 23. Ирине Синицыной. А когда получишь ответ, принеси его мне, хорошо?

— Ты можешь не беспокоиться. Я непременно сделаю это,— ответила Таня.

Остается заметить, что на прощанье ей очень хотелось спросить, удалось ли мачехе добыть себе маленькие, стройные ножки. Но она не решилась. После серьезного разговора как-то неловко было спрашивать о таких пустяках.

ПОД СТРОЖАЙШИМ СЕКРЕТОМ

История Юры была в действительности гораздо сложнее, чем он ее рассказал. Но прежде чем вернуться к ней (а это значило бы без помощи летающей шубы добраться до Хлебникова, то есть пролететь добрых восемьсот кило-

метров), полезно рассмотреть результаты того факта, что на чердаке у Заботкиных появилось существо, требующее заботы и внимания, вопреки тому, что зоологи всего мира не имели о нем ни малейшего представления.

Разумеется, и Петька и Таня понимали, что необходима осторожность. В Немухине, который гордился своими достопримечательностями, Сильванта, единственного в своем роде, не только обласкали бы, но непременно заставили бы остаться Сильвантом. Поэтому в ночной разговор на чердаке были посвящены только два человека — Мария Павловна и учитель географии Павел Степанович.

Мария Павловна подошла к делу практически. Хотя Юра уверял, что Сильванты едят очень мало, она устроила для него регулярное трехразовое питание, так что теперь кот Тюпа мог быть совершенно спокоен за свое молоко, а отложенный хлеб беспрепятственно превращался в сухари, которые у Заботкиных очень любили.

Когда Петька под строжайшим секретом рассказал Павлу Степановичу о превращении Юры Ларина в Сильванта, он не удивился и не стал терять времени на расспросы, хотя в его практике случай был необыкновенный. Он прежде всего заинтересовался личностью волшебника — кто он такой, откуда взялся и нет ли возможности, так сказать, обвести его вокруг пальца. Он запросил о нем Управление Необъяснимых Странностей и немедленно получил ответ: «Не числится». В дальнейшей переписке ему удалось выяснить причину увольнения: «Шулер и пьяница. Опасен. Уличен в краже волшебных палочек. Отчислен без права поступления на государственную службу!»

Как человек принципиальный, Павел Степанович сразу понял, что слабое место в биографии этого проходимца заключается в краже волшебных палочек. Можно было не сомневаться, что с помощью одной из них он превратил Юру в его собственный рисунок, с помощью другой отправил в полет, накинув на него потрепанную шубу.

Короче говоря, необходимо было отправиться в Хлебников и на месте решить, что делать. Кстати сказать, Павел Степанович каждый год ездил куда-нибудь со своими учениками, а на ближайшее лето была намечена экскурсия по старым русским городам. Хлебников вполне подходил под это понятие — он был основан генуэзцами в четырнадцатом веке.

Но в Немухине надо было вооружиться сведениями, которые могли ему пригодиться. Во-первых, Таня под стро-

жайшим секретом сказала, что Юра попросил ее отправить письмо какой-то Ирине Синицыной и с нетерпением ждет ответа. А во-вторых, оказалось, что Зоя Никитична Фетяска — та из сестер, которая целый день раскладывала пасьянсы, хорошо знакома с Главным Резчиком Мастерской Игральных Карт Иваном Георгиевичем Синицыным, близким родственником или даже отцом Ирины. Стоит заметить, что Павлу Степановичу пришлось выслушать длинный рассказ о том, как Иван Георгиевич влюбился в Зою Никитичну на гулянье в Петергофе и в течение сорока лет отказывался от «блестящих партий», как она выразилась, надеясь, что она выйдет за него замуж. Как он ежегодно к дню рожденья присылает ей колоду пасьянсных карт. Более того, она показала ему недавнее письмо от Ивана Георгиевича — очень ее обеспокоившее, потому что старый друг с огорчением писал ей, что «Ирочка перестала петь».

— Дело в том,— объяснила она,— что его дочка Ирочка — изумительная певунья. Чем бы она ни занималась — прибирает ли в доме, моет ли посуду, вяжет ли или готовит уроки — она непременно поет. Да так, что под окнами собираются, чтобы ее послушать! И вот перестала.

— Почему? Об этом он вам не пишет?

— Нет. Но письмо кончается пословицей: «Не мил и свет, когда милого нет». Подумайте, мы не виделись сорок лет,— вздохнув, сказала Зоя Никитична,— он женился, потерял жену, дочка на выданье, а он все-таки не может, не в силах меня забыть.

Конечно, Павел Степанович не стал убеждать ее, что пословица намекает не на долголетнюю привязанность Ивана Георгиевича, а на загадочную причину, заставившую замолчать «дочку на выданье», которую любил слушать весь город.

НА ЛАСКОВОЙ ЗЕМЛЕ

Ночь была безлунная, когда Юра спустился с пожарной лестницы, ничего не сказавшей ему вслед. Железо было молчаливо. Из чердачного окна он часто смотрел на березовую рощу за Немухинкой, и случалось, что в шелесте листьев до него доносились отдельные звонкие голоса. Когда он пробегал через мостик, перекинутый с одного берега на другой, он ясно услышал, как речка прошеле-

стела ему вслед: «Осторожно, Юра! Места незнакомые. Легко заблудиться». Но невозможно было заблудиться в лесу, где каждое дерево показало бы ему дорогу.

Правда, он не мог разглядеть ни одной тропинки в темноте, но и тут ему повезло! Вдруг небо озарилось упавшей звездой, и он со всех ног побежал, чтобы подобрать ее. Это было в двух шагах от него. Кустарник окрасился сумеречно-багровым светом, и хотя звезда почти погасла, ее мягкий свет был гораздо сильнее, чем свет карманного фонарика, который подарила ему Таня. Он поднял звезду и стал перебрасывать ее из одной руки в другую, радуясь, что, остывая, она почти не теряла света.

После чердака, на котором можно было задохнуться от пыли, он дышал всей грудью, беспричинно смеясь и босыми ногами остро чувствуя мягкую землю.

Постепенно в беспорядочном шелесте листьев под легким ветром он стал различать слова.

— Смотрите, кто пришел к нам в гости! — сказала старая береза, подле которой он стоял.— Тот, кого мы ждали тысячу лет или по меньшей мере девятьсот девяносто девять... Ведь ты умеешь говорить не только с нами, но и с людьми. Не можешь ли ты передать, что мы верно служим им, а они к нам беспощадны?

— Хорошо, передам! Но едва ли кто-нибудь прислушается к моим словам. Мне не поверят, что я понимаю язык деревьев. Ведь я только в девятом классе.

Еще горячая звезда немного опалила шерстку на пальцах, но и это почему-то присоединилось к тому чувству счастья, с которым он бродил по березовой роще.

Он невольно подслушал спор между молодыми дубком и осиной — это было забавно: запальчивый дубок упрекал осину за то, что она слишком быстро растет, заслоняя от него солнце. Молодая березка прихорашивалась под ветерком, и он подумал, что, может быть, деревья видят в темноте — она надеялась, что кто-то утром увидит ее с прибранной, блестящей листвой.

Слышались шорохи, шелесты, шуршанье, ничего не происходило случайно, и Юра не был бы Сильвантом, если бы ему не пришла в голову мысль, поразившая его своей простотой: никто никому не делал зла в этой душистой, неторопливо засыпающей роще. Ночная смена муравьев усердно строила свой многоэтажный дом с лабиринтом туннелей, ежи торопились домой после каких-то деловых разговоров, сова пожелала кому-то спокойной ночи.

— Ты влюблен, Сильвант? — спросила его насмешливая молодая лиственница, мимо которой он прошел, освещая ее звездой.

— Да. И к счастью, и к сожалению.

— Почему к сожалению?

— Потому что, если я останусь Сильвантом, мне не суждено увидеть ту, которую я люблю.

Начинало светать, когда он пробежал по еще пустым немухинским улицам. И у Заботкиных еще спали. Никто не слышал и не видел, как он поднялся на чердак и бросился в старое кресло, на котором лежало сложенное заботливой Таней одеяло.

Остаться Сильвантом? Но как же быть с тем памятным вечером, когда Ириночка в легком платье встретилась с ним на набережной и сказала: «Если бы папа не уснул, я выскочила бы в окно»? Как быть с их отражениями в спокойной воде? Как быть с веткой, которую он наудачу сломал в незнакомом саду — ветку, странно прошелестевшую листьями и цветами?

ЕГО ВЕСЬ ГОРОД БОИТСЯ

Все было готово к отъезду, когда Павел Степанович все-таки решил встретиться с Юрой. Один существенный вопрос интересовал его, и ответить на него не могли ни Петька, ни Таня, ни Зоя Никитична. Вот почему встреча все-таки состоялась. Короткая, но полезная хотя бы потому, что самая внешность Павла Степановича обнадежила Юру. Он был небольшого роста, он говорил медленно, часто задумывался, у него была скромная симпатичная бородка, и очень трудно было сказать, что в День Победы он наряду с боевыми наградами надевал множество медалей за спасение людей, зверей и полезных насекомых. Но едва он появлялся в любом доме или даже в учреждении, самые бестолковые люди становились более или менее толковыми, самые отчаявшиеся начинали надеяться и все вокруг, как говорится, начинало дышать уверенностью и прямотой.

— Скажи, пожалуйста,— спросил он Юру,— вот ты говоришь, что Лука Лукич просто потер свой нос и этого было достаточно, чтобы ты превратился в Сильванта?

— Да.

— Может быть, может быть...— задумчиво сказал Павел Степанович.— А ты не заметил случайно — не было у него

в руках какой-нибудь палочки, вроде тех, которые втыкают в цветочные горшки?

Юра задумался.

— Не помню,— наконец ответил он.— Лука Лукич постоянно вертит что-нибудь в руках. То карандаш, то цепочку — он носит старинные золотые часы на цепочке, то зубочистку. Возможно, была и палочка. Какое это имеет значение?

— Но ведь ты, кажется, сказал, что тебя буквально воротит с души от одного вида его сизого носа?

— О да!

— И в тот вечер, когда вы дружески разговаривали, ты тоже не смотрел на него?

— Во всяком случае, старался не смотреть.

— Понятно,— сказал с удовлетворением Павел Степанович.

Нет времени рассказывать, какие старинные города осмотрели немухинские ребята, прежде чем они попали в Хлебников.

Впрочем, Павлу Степановичу было некогда осматривать город. Заняться этим он поручил Петьке, как старосте девятого класса, а сам отправился в пригород, где с незапамятных времен находилась Мастерская Игральных Карт, расходившихся по всему миру. На каждом доме была вылеплена карта — мастер, вырезавший валетов, украшал свои дубовые двери изображением валета, его сосед — дамы, а сосед соседа — туза или короля. Только на одном доме была раскинута вся колода, и любой прохожий мог убедиться в том, что в этом доме живет Главный Резчик Иван Георгиевич Синицын.

Маленький, сухонький, похожий на деревянного человечка для щелканья орехов он, очевидно, только что встал с постели, потому что на его голове торчал вязаный желтый колпак с кисточкой. В разговоре с Павлом Степановичем он вспомнил о нем и, рассмеявшись, сунул колпак в карман.

— А я не знал, что этого проходимца уволили за кражу волшебных палочек,— задумчиво сказал он.— И я даже догадываюсь, куда он их спрятал.

— А именно?

— Вы заметили, что в городе почти не пахнет морем? Это потому, что все запахи заглушает аромат его сада. Там

растут цветы, которых нет ни в одном ботаническом саду. К нам приезжают ботаники с мировыми именами, которые ничего не могут понять. Но мне все понятно: он посадил в землю волшебные палочки, они расцвели, и теперь каждая из них считается маленьким чудом.

— Хитер,— сказал Павел Степанович.

— И не только хитер, но мстителен, коварен и зол. Я в Мастерской работаю сорок лет, меня каждая собака знает и уважает, а его я боюсь. Более того: его весь город боится.

— В чем же дело?

— Неизвестно. Вот, например, наш город славился поэтами, художниками, скульпторами. Но когда он приказал называть себя Мэром, все разъехались по командировкам. А почему? Потому что у тех, кто называл его просто Лукой Лукичом, он, как правило, отбирал мастерскую. Темная личность! Но, между прочим, отлично играет в «японский сундучок» — есть такая карточная игра — и даже объявил, что кто у него выиграет, может называть его не Мэр, а просто Лука Лукич.

— Ну что же! Будем посмотреть! — загадочно сказал Павел Степанович.— А теперь позвольте, Иван Георгиевич, поговорить с вашей дочкой, и, если вы не возражаете, наедине.

Иван Георгиевич вздохнул.

— Да, разумеется. Но дело в том, что...

— Я знаю, она перестала петь. И очень похудела, должно быть? И не спит по ночам?

— Просто не узнать!

— Вот мы с ней и выясним, в чем дело! А пока я по секрету скажу вам, что Юра Ларин жив.

Надо было видеть, какое впечатление произвели на старого Резчика эти слова. Он подпрыгнул от радости, и так высоко, что ему позавидовал бы любой мастер спорта по прыжкам в высоту.

— Жив! Слава богу! Это такой мальчик! Такой мальчик! Он после учебного дня мыл пол в классе, а когда я его спросил: «Зачем?», ответил: «Не зачем, а почему? Потому что мне это нравится». Сам испек торт!

— Торт!

— Да! Для Ириночки в день ее рождения. И украсил его формулой, которую она не знала, когда, кончая восьмой класс, едва не провалилась по математике. Вообще она учится неважно, а Юра ей так помогал, так помогал!

— Вот пускай она о нем и расскажет!

Надо сказать, что Павел Степанович удивился, увидев Иру Синицыну.

Красавицы в подавляющем большинстве прекрасно знают, что они красавицы, а она, казалось, не имела об этом никакого понятия.

Она была такая тоненькая, что с сильным ветром, не говоря уже о штормовом, надо было заранее сговориться, чтобы он не переломил ее. Глаза на нежном лице, казалось, стеснялись, что они такие большие, а длинные изогнутые ресницы старались казаться короткими, не заслуживающими никакого внимания.

Она смутилась до слез, когда Павел Степанович заговорил о Юре, и побледнела, как будто кто-то спрятал ее под папиросную бумагу.

— Ну, как он? Я получила от него письмо, только два слова: «Не забывай!» — и рисунок Сильванта. Вы не знаете, получил ли он мой ответ?

— Не думаю. Я говорил с ним перед отъездом.

— Я ведь так и не знаю, что с ним случилось! Хотя мне стало смешно, что я прочитала «Не забывай», но одновременно я заплакала, потому что все это очень грустно. Он постоянно рисовал своих Сильвантов, мы часто говорили о том, что люди должны понимать язык деревьев. Однажды я даже показала ему глиняный горшок с углями и постаралась уверить, что это не угли, а погасшие звезды. Но ведь это казалось нам только игрой!

— Понимаю. А потом в вашу игру вмешался очень плохой человéк, которого даже трудно назвать человеком. Но вот о чем я хотел у тебя спросить... Юра упомянул в одном разговоре о какой-то ветви, полной цветов и листьев. Я не стал расспрашивать, но мне показалось, что эта ветвь имеет для него особенное значение.

Ириночка засмеялась — и сразу стало ясно, что она любит петь. У нее был музыкальный смех.

— Ах, это тоже была просто игра! Мы постоянно придумывали что-то, и однажды, когда встретились на набережной, он спросил: «Хочешь, я подарю тебе кота с рубиновыми глазами? Или зеркальце из пушкинской сказки — ведь ты не догадываешься, что краше тебя нет никого на свете?» Я засмеялась и сказала: «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». И он бросился бежать по самому краешку набережной — это было вечером, и я испугалась,

что он упадет в море. Но он не упал: через несколько минут он вернулся: «Я перелетел через самый высокий в мире забор,— сказал он.— И оказался в саду, который обиделся бы, если бы его назвали прекрасным. Это сад, в сравнении с которым висячий сад Семирамиды показался бы скучным городским сквером. Я пробежал вдоль кустарника и задел плечом ветку, прошелестевшую листьями и цветами. Вот она».

— И, надеюсь, ты не рассталась с ней?

Теперь Павел Степанович побледнел от волнения и тоже выглядел так, как будто его сунули под папиросную бумагу.

— Конечно, нет. Ведь это подарок Юры. По утрам я здоровалась с ней, а вечерами желала ей спокойной ночи. И хотя я каждые два-три дня меняла воду в кувшине, она увяла — листья пожелтели и обвалились, цветы состарились и умерли, как люди. И теперь она стала похожа на обыкновенную палочку.

— Нет, она стала похожа на необыкновенную палочку,— энергично возразил Павел Степанович,— и если действовать осмотрительно, с ее помощью я верну тебе Юру.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛУКА ЛУКИЧ!»

На первый взгляд нельзя сказать, что Павел Степанович стал действовать так уж умно и неторопливо. А ведь это было действительно так!

Прямо от Синицыных он явился в приемную Главного Филиала и спросил:

— Лука Лукич у себя?

— Позвольте, позвольте,— сказал секретарь.— А кто, позвольте спросить, разрешил вам называть Мэра Лукой Лукичом? Вы, очевидно, приезжий и не знаете, что по имени-отчеству его может называть только тот, кто выиграет у него партию в «японский сундучок»?

— Считайте, что я ее уже выиграл,— возразил Павел Степанович и открыл дверь кабинета.

Надо признаться в том, что Юра довольно верно описал своего отчима: Лука Лукич был невзрачен, тощ, и, хотя ежеминутно пыжился, как бы уверяя себя (и других), что он личность значительная, сразу было видно, что перед вами мелкий проходимец. Нос его действительно был похож на подгнившую сливу, рот маленький — он ежеминут-

но вытирал его носовым платком, глазки плоские, как у летучей мыши. Однако в этих глазках прятались коварство, хитрость и злоба, по временам они начинали крутиться, как на шарнирах, что никогда не бывает у обыкновенных людей.

— Здравствуйте, Лука Лукич!

— Обратитесь к секретарю!

— Прежде всего позвольте представиться: Павел Степанович Неломахин.

— Обратитесь к секретарю!

— Послушайте, нам надо поговорить, но называть вас Мэром я не согласен. Если угодно, сыграем в «японский сундучок». А потом поболтаем.

— Что?

Лука Лукич засмеялся. Он вынул из кармана и бросил на стол колоду, сложившуюся как веер.

— Нет, уж извините,— возразил Павел Степанович.— Я предложу вам свою колоду.

Телефон зазвонил. Лука Лукич рявкнул в трубку:

— Я занят!

И, вызвав секретаря, сказал ему:

— Прием закрыт.

— Слушаюсь, Мэр,— прошептал секретарь. У него почему-то дрожала челюсть.

Игра началась, первые карты легли на стол, и между ними сразу начался разговор. Старые знакомые, они давно не встречались.

— Люди — наша судьба,— сказал Король Пик,— а мы — судьба людей. Но на этот раз истрепанные бумажки, которые они называют деньгами, кажется, не играют существенной роли?

— Вы правы, ваше величество,— заметил Валет Бубен.— В этой игре деньги не играют роли. Гроссмейстер приехал в наш город для благородной цели. Он хочет спасти юношу, который даже не подозревает, что он станет великим поэтом.

— Совершенно верно,— отозвалась Дама Бубен.— Мы должны помочь Гроссмейстеру выиграть. Тем более что этот Мэр лишен вкуса. Мне стыдно участвовать в этой игре, которой пользуются шулера в карточных притонах.

И она осталась в руках Павла Степановича, потому что он проиграл бы, положив ее на стол.

Возможно, что Мэр догадывался об этом разговоре. Колода Ивана Георгиевича была, как это делали в старину,

напечатана по доскам, и доски старый мастер резал с такой любовью и вдохновением, что эти чувства передались картам. И это было очень кстати, потому что в «японском сундучке» все решает Случай, а карты вложили в игру Разум, и Случай потеснился, а потом совсем ушел ни с кем не простившись.

Лука Лукич вдруг бросил карты — он проигрывал — и засмеялся.

— Черт с вами, называйте меня, как хотите. Кого же вы намерены спасать и вообще что вам от меня угодно?

Павел Степанович аккуратно сложил колоду и спрятал ее в карман.

— Видите ли, я намерен поговорить о вашей, как это ни странно, склонности к проказам. У вас, если не ошибаюсь, «Волга» — я заметил ее у подъезда. Но ведь это не единственный способ передвижения, которым вы пользуетесь?

Сизый нос мгновенно разгорелся и даже замерцал, утратив свое сходство с подгнившей сливой. Плоские глазки бешено завертелись, и в кабинете почему-то запахло серой.

— Ну, положим, не единственный. А вам-то что за дело?

— Вопрос чести.

— Чести?

Лука Лукич засмеялся, и Павел Степанович — а он, как известно, был не робкого десятка — невольно почувствовал холодок в сердце от этого негромкого, ядовитого смеха.

— По меньшей мере, моей чести как Гроссмейстера по спасению людей, зверей и полезных насекомых.

— Кого же, позвольте осведомиться, намерены спасать?

— Юру Ларина, которого вы отправили к черту на рога, в какой-то авиашубе.

Сизый нос побелел, зеленая хитрость вспыхнула в плоских глазах, но тотчас же погасла, сменившись коварством, которое, в свою очередь, потеснилось, чтобы дать место самой черной бешеной злобе.

— Я не знаю никакого Юру Ларина.

Лука Лукич позвонил, и секретарь с дрожащей челюстью появился на пороге.

— Выведи гражданина. Он пьян!

Павел Степанович засмеялся.

— Последний вопрос: вам удалось подарить его мачехе маленькие, стройные ножки?

Удалось. И более того: Неонила затеяла большой костюмированный бал, чтобы весь город убедился в том, что она давно простилась со своими неуклюжими ногами.

В лучшем ателье Хлебникова она заказала себе кружевное белое платье, которое напоминало бы подвенечное, если не было бы таким коротким. Сапожник-любитель, широко известный на юге, сшил ей золотые туфельки, от которых завистливые модницы должны были, как надеялась Неонила, сойти с ума и отправиться в больницу.

Виноград закупался ящиками, арбузы, дыни, груши доставлялись на грузовиках. Дорожки в саду посыпались мелкими раковинками, чтобы они с приятным треском ломались под ногами. Словом, приготовления шли полным ходом, и весь город, можно сказать, трепетал, когда на утро после приезда Павла Степановича все были ошарашены сообщением по радио, которое подействовало на хлебниковцев, как ведро ледяной воды:

«Уважаемые граждане!

Доводим до вашего сведения, что Гроссмейстер Павел Степанович Неломахин, прибывший из Немухина с группой школьников-экскурсантов, вчера выиграл у нашего Мэра партию в «японский сундучок» и, таким образом, получил право называть его просто Лука Лукич. Этот же Гроссмейстер утверждает, что Лука Лукич в молодости служил в Управлении Необъяснимых Странностей и был уволен за кражу волшебных палочек. Трудно поверить, но, по словам Гроссмейстера, Лука Лукич посадил украденные палочки в землю, убив таким образом двух зайцев: с одной стороны, он скрыл свое преступление, а с другой — вырастил сад, который сбивает с толку ботаников всего мира. И, наконец, самое важное: Павел Степанович решительно утверждает, что недавнее загадочное исчезновение из Хлебникова ученика девятого класса Юры Ларина тоже не обошлось без участия Луки Лукича, отправившего его в неизвестном направлении, в заколдованной шубе. А теперь посмотрим, уважаемые граждане, как на это ответит наш высокочтимый Мэр».

Осталось неизвестным, что произошло на Радиостанции, когда Лука Лукич примчался туда на своей «Волге» и вышел из машины, легко опираясь на трость. Но именно

эта трость приняла живое участие в разговоре, потому что Лука Лукич, крича на сотрудника, разбил ею не только стекла на письменных столах, но матовую стеклянную стену, выходившую на центральную площадь.

Короче говоря, вслед за первым, поразившим весь город сообщением, появилось второе, после которого почти все учреждения и школы прекратили работу.

«Уважаемые друзья!

Доводим до вашего сведения, что наш высокочтимый Мэр не только решительно отвергает все обвинения некоего гражданина Неломахина, но намерен проучить этого клеветника, вызывая его на дуэль, или, иначе говоря, поединок. Судебным передрягам он предпочитает эту старинную, но благородную форму защиты своей чести. К барьеру, гражданин Неломахин, к барьеру!»

Дуэлей так давно не было в Хлебникове, что городская молодежь даже не знала этого слова, а старики знали, но забыли. Об этой форме защиты чести были осведомлены главным образом знатоки литературы, прочитавшие «Евгения Онегина». Но, как это ни странно, решительно все поняли, что между высокочтимым Мэром и приезжим Гроссмейстером в ближайшие дни должна состояться схватка. Более того: в тот же день понятие «дуэль» так широко распространилось, что одна симпатичная, находчивая гражданка, стремившаяся купить американские джинсы, неожиданно сказала другой, менее симпатичной и пролезавшей вне очереди:

— Я вызываю вас на дуэль.

Очередь остолбенела, и джинсы были благополучно приобретены.

Третье сообщение было более чем кратким: «Вызов принят».

Неизвестно, откуда появился молодой, но дельный администратор Саша, предложивший, чтобы схватка была публичной: противники в костюмах пушкинских времен, по его мысли, встречаются на сцене городского театра. Цены на билеты, в виду исключительности зрелища, повышены, карета «скорой помощи» дежурит у подъезда. В случае смерти одного из противников духовой оркестр исполняет траурный марш.

Все эти предложения были отвергнуты, кроме одного: из отдела старинного оружия хлебниковского городского музея были извлечены и приведены в порядок дуэльные

пистолеты. Подходящих пуль оказалось только две, и это смутило администратора, потому что противники должны были стреляться «до результата», то есть пока один из них не будет убит, а две пули позволяли обменяться выстрелами только один раз. Но дельный молодой человек заказал местному ювелиру вылить из свинца еще несколько пуль и, таким образом, решил эту задачу.

По-видимому, Мэр считал, что полезно заручиться общественной поддержкой, и администратор по его распоряжению заказал последнему художнику, который остался в Хлебникове, плакат-карикатуру, появившийся очень кстати, чтобы закрыть дыру в матовой стене Радиостудии. На плакате был изображен Мэр с носом, похожим на свежую сливу, а над ним плавал маленький Гроссмейстер с подвернутой ножкой, стараясь уклониться от направленного на него пистолета.

Вопрос о секундантах решился просто: Мэр предложил эту почетную обязанность администратору Саше, и тот с восторгом согласился, а Павлу Степановичу, у которого в чужом городе не было друзей, пришлось попросить старого Резчика.

— Извините, Иван Георгиевич, вы, разумеется, понимаете, что не мне пришла в голову эта глупая затея,— сказал он.— Но отказываться неудобно, а без вас мне никак не обойтись.

И действительно, очень скоро выяснилось, что без Ивана Георгиевича он никак не мог обойтись. Более того: без Ивана Георгиевича дело могло кончиться плохо.

О месте и времени поединка можно было только догадываться, но, очевидно, догадались многие, потому что на каждом дереве в городском парке сидели мальчики и девочки (и среди них немухинские экскурсанты). Парк был расположен вдоль набережной, и в парусных лодках на море колыхались нетерпеливые зрители с полевыми биноклями в руках.

Те и другие громко спорили, держали пари, перекликались, но все умолкли, когда серая «Волга», перерезав парк (что запрещалось), затормозила у площадки над пляжем и Мэр в ослепительно белой рубашке, в сияющем пиджаке стального цвета, с гвоздикой в петлице, в белых шотландских брюках, искусно скрывающих его кривые ноги, вышел из машины. Заплывшие глазки опасно сверкали. Сизый нос грозно торчал над маленьким ртом. На золотой цепочке свисали с шеи на грудь золотые очки. Словом, в

сравнении с ним Павел Степанович и его секундант, покуривавшие в тени под платаном, выглядели так, как будто их и вовсе не было.

Однако пора было приступать к делу. Секунданты сошлись. Ящик с пистолетами был открыт. Проверили условленное расстояние. Два мраморных родника, из которых высоко взлетали струи воды, находились как раз в десяти шагах друг от друга.

Необходимо отметить, что Павел Степанович был меткий стрелок, хотя из дуэльных пистолетов ему стрелять не приходилось. Однако и Мэр неоднократно хвастался, что может попасть в подброшенную копейку.

— Начнем, пожалуй,— сказал администратор Саша, которому очень хотелось, чтобы зрелище напоминало роковой поединок между Онегиным и Ленским. О сходстве не могло быть и речи хотя бы по той причине, что Саша, привыкший к самодеятельности, говорил в рупор.

— Прежде всего согласно дуэльному кодексу 1892 года предлагаю соперникам помириться.

Мэр энергично замотал головой, а Павел Степанович подошел к родничку, напился, вытер рот носовым платком и тоже сказал:

— Нет.

Он был спокоен, хотя немного жалел, что решительно отказался от плана, который накануне предложил ему Петька. План заключался в поголовном вооружении всех немухинских ребят рогатками, которые били не хуже дуэльных пистолетов. Пустить их в ход предполагалось до начала дуэли, причем Петька брался сделать Мэра «небоеспособным», как он выразился, в два удара.

Теперь Петька, возглавляя экскурсантов, сидел на каштане, который простирал свои нежные ветви над местом дуэли.

— В таком случае, прошу занять места,— сказал в рупор Саша.

Первый выстрел, согласно жеребьевке, был за Павлом Степановичем, и все ахнули, когда он стал целиться в Мэра. Но в эту минуту он подумал, что Гроссмейстеру по спасению людей как-то не с руки расправляться с Мэром, который считается человеком, хотя и несимпатичным во всех отношениях. И хотя расправиться все-таки хотелось, он отвел руку в сторону и выстрелил в воздух.

Все ахнули. Все перевели дух. Все до одного уставились на Мэра, который мог оценить великодушие Павла Степановича, а мог и не оценить. Мэр не оценил. Злобно поджав маленький ротик, он стал усердно целиться в своего противника.

Необходимо отметить, что старый Резчик, секундант Павла Степановича, лучше всех в городе знал характер Мэра, который в свое время работал в Мастерской Игральных Карт под его руководством. Он как раз был уверен в том, что Лука Лукич не способен оценить благородный поступок. Поэтому, отправляясь на поединок, он заранее вынул из чемодана Павла Степановича волшебную палочку и на всякий случай положил ее в боковой карман его пиджака. Он не очень-то верил в чудеса, но наступило мгновение, когда он был вынужден до известной степени в них поверить.

Мэр выстрелил, и пуля, почти долетевшая до груди Павла Степановича, под прямым углом повернула налево и упала в траву.

Трудно передать, какое острое впечатление произвел на Мэра этот странный случай. Коварство, злоба, хитрость уступили место глубокому изумлению в плоских птичьих глазах. Впрочем, все изумились, и немедленно завязался спор. Одни стали утверждать, что это чудо, а другие — что дуэльные пистолеты состарились и нет ничего удивительного в том, что они не могут послать пулю дальше десяти шагов.

Согласно условиям дуэли теперь должен был вновь стрелять Павел Степанович. И он действительно выстрелил, но не в Мэра, а в пролетавшее над пляжем облачко, которому не мог, разумеется, причинить никакого вреда.

Зрители на этот раз не только ахнули, но стали оглушительно аплодировать. Все почему-то развеселились. Послышались крики: «Вот это да! Вот это работа! Какая прелесть! Сдавайся, Мэр!» — и так далее.

Однако Мэр, по-видимому, и не думал сдаваться. На этот раз он целился долго, очевидно, надеясь попасть в живот, а между тем, хотя Павел Степанович ежедневно делал зарядку, много ходил и плавал, живот был самым уязвимым его местом. И снова пуля, долетев до намеченной цели, круто под прямым углом повернула, но на этот раз не налево, а направо. Повернула и упала в море, звонко булькнув, точно вылетела не из пистолета, а из пустой бутылки.

Казалось бы, этот звук должен был подбодрить Павла Степановича. Но, как это ни странно, он вдруг рассердился. Добрые глаза его омрачились, скромная бородка заострилась от злости, и, вопреки дуэльному кодексу, он как бы разбежался, потоптавшись на месте. Именно с таким упрямым, непреклонным лицом он ставил заслуженную двойку вместо незаслуженной тройки.

Он выстрелил, почти не целясь и, очевидно, попал, потому что Лука Лукич завертелся на месте, как флюгер. Он почему-то стал ниже ростом. У него стало испуганное лицо с почти отвалившейся сливой. Он куда-то пошел, шатаясь, на подгибающихся ногах. Администратор вызвал в рупор «скорую помощь», но Мэр хрипло сказал: «Не надо!» — и ввалился в «Волгу», у которой тоже был жалкий, пристыженный вид.

— Домой,— пробормотал он, и ошеломленные зрители шарахнулись в сторону, освобождая дорогу машине.

То, что произошло через несколько минут, осталось в памяти зрителей на всю жизнь. Поношенная шуба показалась над городом, совершенно не похожая на ковер-самолет, но, однако, чем-то и похожая, потому что, поднимаясь все выше, она не падала на землю, а летела.

По команде Петьки немухинские ребята немедленно обстреляли ее из рогаток, но она была уже далеко. Очевидно, набрав высоту, Мэр застегнул шубу на вторую пуговицу, потому что, долетев до моря, она рванулась вперед, в сторону Летандии, как отметили наиболее проницательные зрители.

Почему Мэр решился на этот отчаянный шаг? Был ли он серьезно ранен и надеялся, что его быстро поставят на ноги жители Летандии? Боялся ли, что будет уличен в краже волшебных палочек и раскрыт, как обманщик, перед ботаниками всего мира? Потерял ли надежду восстановить свое положение в городе после злосчастной дуэли?

Выражение «это покрыто мраком неизвестности» сюда не подходит. Все неизвестное в конце концов становится известным, и можно не сомневаться, что когда-нибудь мы узнаем, куда улетел Лука Лукич, благополучно ли он приземлился, помогли ли ему врачи и, наконец, удалось ли ему убедить жителей Летандии, чтобы его называли не Лукой Лукичом, а Мэром.

Удивительно, как быстро все изменилось в городе, когда шуба скрылась из вида. Художники и поэты, удравшие из Хлебникова, немедленно стали собираться в дорогу. Всем хотелось поскорее вернуться домой. Бал, который Неонила задумала, был отменен, потому что ее стройные ножки потолстели и золотые туфельки пришлось отнести в Комиссионный Магазин, где они были проданы как самые обыкновенные туфли, потому что золото оказалось фальшивым. Директор Экскурсионного бюро публично поблагодарил немухинских ребят с Петькой во главе за то, что они мужественно обстреляли из рогаток авиашубу. Сад из волшебных палочек был немедленно передан Городскому Совету, а бывший Мэр был объявлен по радио жуликом и авантюристом.

Ириночка Синицына еще не стала петь, но время от времени напевала, а ее отец срочно делал новую колоду, чтобы Павел Степанович отвез ее в подарок младшей сестре Фетяска.

Не изменилась только волшебная палочка, которая еще недавно была веткой, полной цветов и листьев.

Конечно, Юра не знал, что он подарил Ириночке маленькое чудо. Но этот подарок был воплощением любви, а он был убежден, что его может спасти только любовь. Интересно, что Павел Степанович придерживался такого же мнения. Однако на всякий случай, кроме сухой ветки, нарушившей законы баллистики, он попросил Ириночку спеть любимый романс Юры и записал его на пленку. Он взял с собой маленький магнитофон.

Обратное путешествие прошло без приключений, так что о нем можно только упомянуть. Но в Немухине ждало Петра Степановича известие, глубоко огорчившее его как Гроссмейстера и как человека: Юра пропал.

Первым это известие принес Петька, который прямо со станции побежал к Заботкиным, чтобы узнать, очень ли соскучилась по нему Таня. И через несколько минут они оба были перед Павлом Степановичем, умывавшимся с дороги.

— Он пропал,— закричал еще с порога Петька.— Удрал! Его третий день ищут.

Таня, как человек рассудительный, объяснилась более подробно:

— Однажды вечером я заметила, что Юра по пожарной

лестнице спускается в город,— сказала она,— а в другой раз утром, когда еще все спали, он бегом взлетел на чердак. И у него было счастливое лицо, вот что меня удивило! Словом, я думаю, что надо его искать в лесу. Ему нравится разговаривать с деревьями, и я его вполне понимаю.

Юра не вернулся и на следующее утро, и решено было отправить за ним поисковую партию в составе Павла Степановича, Тани и Петьки. К ним присоединилась Мария Павловна с судками, в которых находились гороховый суп, куриные котлеты и на сладкое — кусок шоколадного торта. Трехразовое питание оставалось нетронутым в течение трех дней, и Мария Павловна справедливо полагала, что мальчик проголодался.

Нельзя сказать, что они так уж быстро нашли его. Короче говоря, они сами успели проголодаться, прежде чем Петька увидел промелькнувшую в ивовом кустарнике тонкую фигуру. Юра вежливо поздоровался и сказал, смеясь, что не удрал бы, если б знал, что это обеспокоит таких почтенных людей.

— Это были три лучшие дня в моей жизни. Белочки кормили меня лесными орехами, а знакомый еж показал грибы, которые нужно есть сырыми, потому что на сковородке они теряют свой оригинальный вкус. С моим другом, старой березой, мы говорили о смысле жизни, и она объяснила мне, почему не надо бояться смерти.

— Мы — и деревья и люди,— умирая, отдаем свою жизнь другим. Я жалею, что Пушкин назвал природу равнодушной:

...у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

— В молодости старая береза была влюблена в ветер-полуночник, случалось, что до утра он гладил ее покорные листья. В ее ветвях прятались партизаны. Она убедительно доказала мне, что деревья верно служат людям, а люди относятся к ним беспощадно.

Юра рассказывал, и его странное лицо все разгоралось от радостного волнения.

— Мы верим тебе,— сказал Павел Степанович,— но ведь, кроме нас, никто тебе не поверит. Немногим удается проникнуть в выдуманную страну, и в конце концов они возвращаются, чтобы рассказать о ней обыкновенным лю-

дям. Я не стал бы уговаривать тебя, ты счастлив, но это короткое счастье! Обыкновенный мир не позволит тебе бродить по лесам, разговаривая с березами, белками и ежами. Ты не захочешь огорчить тех, кто любит тебя, и тебе не нужно будет превращаться в собственный рисунок, потому что Лука Лукич улетел неизвестно куда в авиашубе, а мачеха надеется, что она навсегда избавилась от тебя.

— Короче говоря,— сказал Петька,— не будешь же ты всю жизнь бродить по лесам, голодный, заросший, в ковбойке и оборванных джинсах. Вот еще Маугли нашелся! Лесники-то не знают о твоих фантазиях. Подстрелят, и вся недолга!

— Самое важное, что каждый час, каждую минуту тебя ждет надежда на счастье,— прибавила Таня.

Заслушавшаяся Мария Павловна уронила судки. Суп пролился, котлеты покатились, и только нетронутый кусок шоколадного торта соблазнительно темнел на зеленой траве.

Юра метнулся в сторону, когда Павел Степанович вынул из кармана волшебную палочку. В больших, мягких глазах было: «Да, да, да», а все его бледное доброе лицо говорило: «Нет, нет, нет». Но победили, конечно, глаза. Шаткое сомнение стало сменяться в глазах уверенностью, а ведь от уверенности не больше двух шагов до решения. Павел Степанович взял в руки волшебную палочку. Ему показалось, что Юра будет стесняться своего превращения, и он скомандовал:

— Прошу отвернуться.

Все послушно отвернулись в сторону, а когда Мария Павловна спросила: «Теперь можно?» — на месте Сильванта стоял высокий юноша, смуглый, с вьющейся каштановой шевелюрой, длинноногий, плечистый, но, как ни странно, чем-то непохожий на обыкновенных людей.

— Это пройдет,— подумала Таня,— через два-три дня он ничем не будет отличаться от нас.

Но она ошиблась. Прошли годы, Юра стал великим поэтом, а поэты, да еще великие, во многом отличаются от обыкновенных людей.

— Это прощание с детством,— сказал он задумчиво,— никогда больше я не буду жить в придуманной стране. Рисовать Сильвантов я тоже не стану — я не трус, но, по-видимому, это слишком опасно. Мария Павловна, спасибо за обед, от которого остался только кусок шоколадного

торта. Я с удовольствием съем его, у меня першит в горле от орехов, которыми меня угощали белочки, а есть сырые грибы можно, мне кажется, только один раз в жизни. Сегодня я возвращаюсь в Хлебников. Я не буду больше жить у мачехи просто потому, что я ее не люблю, а она не любит меня. Я окончу школу, а потом стану резчиком в Мастерской Игральных Карт. Надеюсь, что Иван Георгиевич устроит меня в общежитие. Ириночка снова начнет петь, и весь город будет слушать ее. А иногда она будет петь негромко, почти шепотом, для меня, когда мы будем одни гулять по набережной вдоль моря. А теперь простите меня за все тревоги, которые я нехотя вам причинил.

— Оказывается, что ты, Юра, один из тех немногих людей, которые не нуждаются в услугах моего Института,— сказала Мария Павловна.— Ты похож — не прими за комплимент — на молодого Блока.

Все на свете, к сожалению, кончается, пора и мне поставить точку, без которой не может обойтись самая занимательная история. Но пусть это будет очень маленькая, едва заметная точка. Она не помешает нам снова вернуться в страну, где ловят погасшие звезды и говорят правду, только правду, и ничего, кроме правды.

Обсуждаем четвертую сказку и не находим пятую

— Почему вы думаете,— спросил меня дядя Костя, когда я прочитал ему эту историю,— что здесь нет ничего полезного для моего Путеводителя? Во-первых, вы подробно рассказали о Павле Степановиче, что вполне соответствует третьему разделу плана: коренные жители, отлучавшиеся из города только по неотложным делам. А во-вторых, из этой истории можно сделать практические выводы. Почему бы, например, не устроить нечто вроде соревнования между Немухином и Хлебниковом в отношении чистоты и порядка?

Я спросил, думает ли дядя Костя упомянуть в Путеводителе о чудесах и нельзя ли их тоже включить в условия соревнования.

Дядя Костя подумал.

— Именно можно. Более того, необходимо! Помилуйте, тысячи людей верят в летающие тарелки. Почему же не

задуматься, по какой причине именно в Немухине и в Хлебникове никто не удивляется чудесам? И потом, не надо забывать, что мы еще не нашли ни самовар, ни пушечку, ни шкатулку.

— Дядя Костя, а вы не думаете, что эти вещи Лука Лукич оставил себе?

Это была минута, когда о глазах дяди Кости нельзя было сказать, что они смотрят в разные стороны, потому что они сошлись у переносицы и его ошеломленный взгляд был прямо устремлен на меня.

— Более того,— продолжал я,— не только Заботкины, но и Петя, и вы, и Павел Степанович много раз встречались с Юрой Лариным. Могли они спросить у него, не видел ли он у своего отчима самовар, пушечку или шкатулку? Правда, он улетел в неизвестном направлении, но в Хлебникове осталась мачеха Юры. Она, без сомнения, очень зла на Луку Лукича и именно поэтому расскажет нам, что он украл из Музея.

— Немедленно еду в Хлебников! — крепко зажмурив глаза от волнения, сказал дядя Костя.— Я просто вижу пушечку у нее на дворе.

Конечно, дядя Костя не поехал в Хлебников. Поехал я, и это было прекрасно. Правда, если смелая мысль о соревновании городов была бы осуществлена, Немухину пришлось бы признать свое поражение. Мне даже захотелось переписать страницы, в которых Юра Ларин рассказывал о том, как хорош его городок, опоясанный ветряными мельницами и украшенный ржавыми якорями. Я бы охотно побродил по узким улицам, вдоль которых дома стояли так близко друг от друга, что можно было обменяться рукопожатием с соседом, жившим на противоположной стороне.

В доме, где жил Лука Лукич, меня встретила мачеха Юры, Неонила Петровна. Пожалуй, теперь нельзя было назвать ее дамой, мечтавшей, чтобы ее маленькими стройными ножками любовался весь город. Скорее можно было поверить, что она действительно съела своего первого мужа. Она была в халате и шлепанцах (а не в узких туфлях). Однако, когда я заговорил о Луке Лукиче, злость все-таки закипела у нее в пятках и поднялась до самого горла.

— Слышала, слышала,— злобно сказала она, узнав, что я из Немухина.— Лука рассказывал, что он там жил, но климат, видите ли, ему не понравился. И уехал, хотя ему в ноги кланялись, чтобы остался.

— А вы случайно не помните, Неонила Петровна, не подарили ли ему что-нибудь на память, когда он уезжал?

— Как же не подарили? Подарили. Другой часы получает, или перстень какой-нибудь, или портфель с золотой дощечкой. А ему — смеху подобно — старую пушку.

— Пушку?

Сердце у меня куда-то поехало, и пришлось приструнить его, чтобы оно вернулось на место.

— Можно взглянуть?

Пушечка, стоявшая во дворе, была петровская, а не елизаветинская, как значилось в описи. Ей цены не было, и сразу стало ясно, почему Лука Лукич увез ее из Немухина вместо прощального подарка. Я зажег электрический фонарик и заглянул в короткий ствол. Он был набит осенними листьями, занесенными в пушечку ветром, но когда мне удалось добраться до дна, я, к сожалению, ничего не нашел.

— Неонила Петровна,— сказал я таким сладким голосом, что слова растаяли во рту, прежде чем мне удалось заговорить снова.— А может быть, Лука Лукич получил в подарок не только пушечку, но еще что-нибудь? Скажем, модель фрегата или самовар?

На этот раз у меня не оставалось сомнений, что ей до смерти захотелось съесть меня, потому что вместо ответа она промолчала, злобно оскалив длинные желтые зубы.

Если бы ветер умел играть на свирели, я подумал бы, что это ветер. Он даже представился мне в лаптях и соломенной широкополой шляпе. Чем ближе я подходил к Мастерской Игральных Карт, тем отчетливее различал нежный женский голос, а когда один прохожий с доброй улыбкой сказал другому «Ириночка», я понял, что поет та самая Ириночка Синицына, о которой старый Резчик с огорчением писал сестрам Фетяска, что его дочка перестала петь.

Приближаясь к дому Ивана Георгиевича, я увидел хлебниковцев, которые слушали ее на балконах, у калиток, а некоторые даже выглядывали из ворот. Как было принято выражаться в старину, они «щадили ее скромность».

Слушатели зашикали, убедившись, что я подхожу к дому. Впрочем, шиканье прекратилось, когда мне открыл сам Иван Георгиевич, которого сестры Фетяска предупредили о моем приезде.

— Милости просим,— радушно сказал он.

Я передал ему письмо от Зои Никитичны, а он, не теряя времени, передал мне карточную колоду.

— Чтобы не забыть,— сказал он.— А то память стала слабовата... Извините, я отлучусь на минуту. Попрошу Ириночку петь немного потише. Видите ли, она сейчас стирает и поэтому особенно громко поет.

Он вернулся не один. Юноша с каштановой шевелюрой, высокий, тот самый, который был чем-то похож на молодого Блока, поздоровался со мной и сказал, улыбаясь:

— А ведь я знаю, что вы были у мачехи и ничего не нашли.

Он был дома и хотя не участвовал в сцене, разыгравшейся между мной и мачехой, но как бы участвовал: сидел у окна и думал, выйти ему или нет.

— Мне хотелось поговорить с вами наедине,— сказал он. А между тем по лицу Неонилы было заметно, что у нее уже закипает в пятках обида.— Но скажите, пожалуйста, вы нарочно не спросили у нее о шкатулке?

Я схватился за голову.

— Забыл! Неужели она у нее?

— Нет, у меня. Я храню в ней письма, ответы на письма и...

Ручаюсь, что он хотел сказать: «И стихи». Но удержался.

— ...и другие бумаги.

— Где же она?

— У Ириночки,— ответил Юра, и я догадался, что именно он впервые стал называть ее Ириночкой, а вслед за ним и весь город.

— Сейчас принесу.

Это была высокая шкатулка, внутри покрытая красным лаком, а снаружи — черным. Она искусно складывалась из двух других шкатулок и, раскрываясь, составляла, как это было недаром упомянуто в описи, поверхность, на которую, как на письменный стол, было наклеено зеленое сукно.

— Но в ней ничего нет,— сказал я, заглянув сперва в верхнюю, а потом в нижнюю часть.

— Совершенно верно. Но было.

— Рукопись?

— Да, и очень интересная, по меньшей мере для меня. В жизни Тани Заботкиной были, оказывается, приключения, которые мне и не снились. Я видел Лекаря — такой симпатичный маленький человек. Но представить себе, что

за ним в Немухин прилетела вся его аптека... Словом, много любопытного, хотя кое-что Ночной Сторож, без сомнения, придумал. Скажем, едва ли Солнечные Зайчики могли так долго прожить без воздуха. Все зайцы, как известно, нуждаются в воздухе, а солнечные уж и подавно! Ведь недаром же они старательно прячутся в пасмурную погоду! Но все это, разумеется, мелочи. Лошадь в розовых очках — просто прелесть! О сороках рассказано слишком подробно. Но зато историю о том, как два мальчика держали пари, кто дольше просидит под водой, вообразить, по-моему, невозможно. Вот!

И Юра торжественно протянул мне толстую тетрадь.

— Вам даже не придется переписывать ее, это сделала Ириночка, а у нее разборчивый почерк...

Он хотел продолжать, но тут Ириночка вошла в комнату, и это была минута, когда Юра забыл обо мне, о шкатулке, о том, что он в ней нашел, и даже, без сомнения, о том, что на дворе — день, а не ночь.

Я люблю слово «симпатичный», хотя в наши дни оно почему-то кажется старомодным. Так вот, это слово не просто подходило к Ириночке Синицыной, а, я бы сказал, подбегало. С первого взгляда можно было сказать, что о других она думает больше, чем о себе.

— Ночной Сторож назвал эту историю «Великий Нежелатель Добра Никому»,— сказал Юра.— Но, по-моему, это не очень удачно. Ведь все-таки он желает добра собственной дочке! И потом, завидовать всем — это все-таки другое, чем не желать добра никому. Я назвал бы ее

МНОГО ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ И ОДИН ЗАВИСТНИК

ТАНЯ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АПТЕКУ «ГОЛУБЫЕ ШАРЫ»

Машинистка Треста Зеленых Насаждений стояла у окна, и вдруг — дзынь! — золотое колечко разбило стекло и покатилось под кровать. Это было колечко, которое она потеряла — или думала, что потеряла,— двадцать лет назад, в день своей свадьбы.

Директор Комиссионного Магазина Пал Палыч вернулся из отпуска и нашел на письменном столе золотые очки, которые были украдены у него в те времена, когда он еще не был Директором Комиссионного Магазина.

Они лежали, поблескивая, на прежнем месте — между пепельницей и ножом для бумаги.

В течение добрых двух дней весь город только и говорил об этой загадке. На каждом углу можно было услышать:

— Серебряный подстаканник?..

— Ах, значит, они возвращают не только золотые, но и серебряные вещи?

— Представьте, да! И даже медные, если они были начищены до блеска.

— Поразительно!

— Представьте себе! И в той самой коробочке, из которой она пропала!

— Вздор! Люди не станут добровольно возвращать драгоценные вещи.

— Ну, а кто же тогда?

— Птицы. Профессор Пеночкин утверждает, что это именно птицы, причем не галки, а сороки, или так называемые сороки-воровки...

Эта история началась в тот вечер, когда Таня Заботкина сидела на корточках подле двери и слушала, о чем говорят мама и Главный Городской Врач. У папы было больное сердце — это она знала и прежде. Но она не знала, что Николая Андреевича может спасти только чудо. Так сказал Главный Городской Врач, а ему нельзя не верить, потому что он никогда не ошибается — так, по крайней мере, утверждали его пациенты.

— И все-таки,— сказал Главный Врач,— на вашем месте я попробовал бы заглянуть в аптеку «Голубые Шары».

Он был старенький, в больших зеленых очках; на его толстом носу была бородавка, он трогал ее и говорил: «Дурная привычка».

— Ах, Илья Александрович,— с горечью ответила мама.

— Как угодно. На всякий случай я оставлю рецепт. Аптека на Пятой улице Медвежьей Горы.

И он ушел, грустно потрогав в передней перед зеркалом свою бородавку.

Папа давно уснул, и мама уснула, а Таня все думала и думала: «Что это за аптека «Голубые Шары»?»

И когда в доме стало так тихо, что даже слышно было, как вздохнула и почесала за ухом кошка, Таня взяла рецепт и отправилась в аптеку «Голубые Шары».

Впервые в жизни она шла по улице ночью. На улицах

было не очень темно, скорее темновато. Нужно было пройти весь город — вот это было уже страшно или скорее страшновато. Тане всегда казалось, что даже самое трудное не так уж трудно, если назвать его трудноватым.

Вот и Пятая улица Медвежьей Горы. Только что прошел дождь, и парадные подъезды блестели, точно кто-то нарисовал их тушью на черной глянцевой бумаге. У одного из них, с распахнутой настежь дверью, был такой вид, как будто он говорил: «Заходите, пожалуйста, а там посмотрим». Но именно над этим подъездом горели в окнах большие голубые шары. На одном было написано: «Добро пожаловать», а на другом: «в нашу аптеку».

Маленький длинноносый седой человек в потертом зеленом пиджаке стоял за прилавком.

«Лекарь-Аптекарь»,— подумала Таня.

— Извините. Могу я заказать у вас это лекарство?

— К сожалению, нет.

— Почему?

— Потому что до первого июня чудесами распоряжается Старший Советник по лекарственным травам. Если он разрешит, я приготовлю это лекарство.

Он ушел, и Таня осталась одна.

Вот так аптека! На полочках стояли бутылки — большие, маленькие и самые маленькие. Фарфоровые белочки, присев на задние лапки, притаились между ними. Это тоже были бутылки, но для самых редких лекарств. На матовом стекле вдоль прилавка вспыхивала и гасла надпись: «Антиподлин». Пока Таня раздумывала, что значит это странное слово, дверь открылась, и мальчик, пугливо оглядываясь, вошел в аптеку. Это был Петька Воробьев, тот самый, с которым она познакомилась в пионерском лагере в прошлом году. Но Петька был не похож на себя. Воротник его курточки был поднят, а кепка надвинута до самых ушей.

— Здравствуй, Петя. Вот хорошо, что мы встретились! Теперь мне будет не так страшно возвращаться домой.

— Если тебе страшно,— возразил Петя,— ты можешь купить таблетки от трусости, а мне они не нужны, потому что я ничего не боюсь. Кроме того, я вовсе не Петя.

Петя пришел, чтобы купить таблетки от трусости. Но ему стало стыдно, когда он увидел Таню, и он притворился, что он вовсе не Петя.

— Ах ты, глупый мальчишка,— начала было Таня, но в эту минуту вернулся Лекарь-Аптекарь.

— Советник не разрешил,— еще с порога сказал он.— У него сегодня отвратительное настроение.

— Пожалуйста, верните мне рецепт,— попросила Таня.— Где он живет? Главный Городской Врач сказал, что моего отца может спасти только чудо.

— Ради бога, замолчи,— болезненно морщась, сказал Лекарь-Аптекарь.— У меня больное сердце, мне жаль тебя, а это очень вредно. Надо же, в конце концов, подумать и о себе. Возьми рецепт. Советник живет на Козихинской, три.

ТАНЯ ЗНАКОМИТСЯ С КОСОЛАПЕНЬКОЙ ЛОРОЙ И ПОЛУЧАЕТ КОРОБОЧКУ, НА КОТОРОЙ НАРИСОВАНА ПТИЦА

Дом был обыкновенный, давно не крашенный, скучный. Закутавшись в дырявую шаль, лифтерша сидела у подъезда. Она была похожа на бабу-ягу. Но это была, конечно, не баба-яга, а самая обыкновенная старая бабушка, закутанная в дырявую шаль.

— Девятый этаж,— сказала она сердито.

И Таня не успела опомниться, как лифт взлетел и распахнулся перед дверью, на которой было написано: «Старший Советник». Таня нажала кнопку, и детский голос спросил:

— Кто там?

— Простите, пожалуйста, не могу ли я видеть...

Дверь распахнулась. Беленькая толстенькая девочка стояла в передней.

— А ты действительно хочешь его видеть?

— Конечно.

— Не удивляйся, пожалуйста, что я спрашиваю. Дело в том, что я никому не верю. Мой отец говорит, что верить никому нельзя, а уж своему-то отцу я все-таки должна поверить. Скажи, пожалуйста, ты обедаешь два раза в день?

— Нет.

— А я два,— со вздохом сказала девочка.— Отец, видите ли, беспокоится о моем здоровье. Ешь и ешь! И только смеется, когда я говорю, что это неприлично, когда у девочки нет даже намека на талию. Пойдем, я провожу тебя. Как тебя зовут?

— Таня.

— А меня — Лора.

...Это был человек высокого роста, худощавый, черноглазый, лет сорока. Глаза у него были беспокойные, и левая ноздря время от времени отвратительно раздувалась. Но ведь и у хороших людей бывают плохие привычки! Трогал же каждую минуту бородавку Главный Городской Врач на своем толстом добром носу. Зато Старший Советник улыбался. И можно было назвать эту улыбку добродушной, если бы он не потирал свои длинные белые руки и не втягивал маленькую черную голову в плечи.

— Что я вижу? — сказал он, когда девочки вошли в кабинет. — Дочка еще не спит? И даже привела ко мне свою подругу?

— Не притворяйся, папа! Ты прекрасно знаешь, что у меня нет подруг. Эта девочка пришла к тебе по делу. Ее зовут Таня.

— Здравствуйте. Меня направил к вам заведующий аптекой «Голубые Шары». Будьте добры, разрешите ему приготовить это лекарство.

Почему у Старшего Советника так заблестели глаза? Почему он так страшно вытянул трубочкой губы?

— Боже мой! — закричал он.— Ваш отец заболел! Какое несчастье!

— Разве вы его знаете?

— Еще бы! Я прекрасно знаю его. Много лет тому назад мы жили рядом, на одном дворе. Каждый день мы купались и очень любили нырять. Интересно, помнит ли он меня? Едва ли.

— Наверное, помнит,— вежливо сказала Таня.— Между прочим, он и теперь еще умеет отлично нырять.

— Вот как? — И Старший Советник схватился за сердце.— Лорочка, дружочек, приготовь мне, пожалуйста, прохладную ванну. Кажется, сегодня я опять не усну.

Можно было подумать, что Лоре не хочется выходить из комнаты, хотя не было ничего особенного в том, что отец попросил ее приготовить прохладную ванну.

— Подожди меня, хорошо? — шепнула она Тане и вышла.

— Но скажите, Таня, Городской Врач предупредил вас, что лекарство должны принять сперва вы, а потом уже он?

— Я?

— Да. Лекарство не нужно заказывать. Оно лежит у меня в столе.

И он протянул Тане коробочку, на которой была нарисована птица.

— Спасибо.

Таня взяла коробочку, поблагодарила и вышла. В коридоре она открыла ее. Там лежала пилюля. Она положила ее в рот и проглотила.

Вот тут неизвестно — сразу она превратилась в Сороку или прежде услышала, как Лора, выбежав из ванной, с ужасом крикнула:

— Не глотай!

ПЕТЬКА ПРИНИМАЕТ ТАБЛЕТКИ ОТ ТРУСОСТИ

Как же поступил Петька, когда Таня ушла из аптеки «Голубые Шары»? Он поскорее купил таблетки от трусости и побежал за ней. Ему стало стыдно, что девочка попросила проводить ее, а он, мужчина, невежливо отказался.

На Козихинской было темно, район незнакомый. Таню он не догнал, потому что останавливался на каждом шагу и хватался за карман, в котором лежали таблетки.

Дом номер три опасно поблескивал под луной. Тощая кошка с разбойничьей мордой сидела на тумбе. Лифтерша, выглянувшая из подъезда, была похожа на бабу-ягу. А тут еще сорока вылетела из окна и стала кружиться над ним так низко, что чуть не задела своим раздвоенным длинным хвостом. Это уж было слишком для Петьки. Дрожащей рукой он достал из кармана таблетки и проглотил одну, а потом на всякий случай — вторую. Вот так раз! Все изменилось вокруг него в одно мгновение. Дом номер три показался ему самым обыкновенным облупившимся домом. Кошке он сказал: «Брысь!» А от птицы просто отмахнулся и даже погрозил кулаком.

Разумеется, он не знал, что ей хотелось крикнуть: «Помоги мне, я — Таня!» Увы, теперь она могла только трещать, как сорока!

— Ну-ка, тетя, заведи свой аппарат,— сказал он лифтерше.

И в одно мгновение взлетел на девятый этаж.

— Тебя-то мне и надо,— сказал он, взглянув на медную дощечку, и забарабанил в дверь руками и ногами.

Все люди сердятся, когда их будят, но особенно те, которым с трудом удается уснуть. Рассердился и Старший Советник. Но чем больше он сердился, тем становился вежливее. Такая уж у него была натура — опасная, как полагали его сослуживцы. Он вышел к Петьке, ласково улыбаясь. Можно было подумать, что ему давно хотелось, чтобы этот мальчик разбудил его отчаянным стуком в дверь.

— В чем дело, мой милый?

— Здорово, дядя,— нахально сказал Петька.— Тут к тебе пришла девчонка, передай, что я ее жду.

Советник задумчиво посмотрел на него.

— Иди-ка сюда,— ласково сказал он и провел Петьку в свой кабинет.

В кабинете было много книг: они стояли на полках в красивых переплетах, и у них был укоризненный вид — ведь книги сердятся, когда их не читают.

— Ты любишь читать, мой милый?

Конечно, Петька любил читать. И не только читать, но и рассказывать. Старшему Советнику повезло — он давно искал человека, который прочел бы все эти книги, а потом рассказал ему их содержание. Он усадил Петьку в удобное кресло и подсунул ему «Трех мушкетеров». Петька прочел страницу, другую и забыл обо всем на свете.

ТАНЯ ЗНАКОМИТСЯ С ДОБРОЙ СТАРОЙ ЛОШАДЬЮ

Сорока — нервная птица и не живет в городах. Но Тане, разумеется, не хотелось улетать из родного города — ведь она еще не теряла надежду снова превратиться в девочку с косой, переплетенной голубой ленточкой и красиво уложенной вокруг головы. Но когда она взлетела на дерево и уселась на ветку, покачивая длинным раздвоенным черным хвостом, никому, конечно, не пришло в голову, что это девочка, а не сорока. Первый же мальчишка, который увидел Таню на Воробьевых горах, запустил в нее камнем, закричав:

— Гляди, ребята, сорока!

В Городском саду на нее накинулись галки, а в зоопарке чуть не проглотил гиппопотам за то, что она уселась на его голову, торчавшую из воды, приняв ее по неопытности за камень.

К вечеру, усталая и голодная, Таня залетела на бега. Здесь жили лошади в таких прекрасных просторных стойлах, что она от всей души пожалела, что Старший Советник не превратил ее в лошадь. Среди них были гордые кони, недавно выступавшие на состязаниях и поэтому находившиеся между собой в дурных отношениях; были молодые, с гордо блестевшими глазами. Но Таня залетела в стойло Старой Доброй Лошади, которая таскала вдоль дорожек бочку с водой и получала за это только побои. Таня вздохнула и в ответ услышала глубокий, протяжный вздох.

— Ну что, девочка, плохи наши дела? — сказала ей Лошадь.

— Откуда вы знаете, что я девочка?

— Как же мне тебя не узнать! Я была такой же девочкой, как ты. Меня звали Ниночкой. Я очень любила читать, особенно сказки. У меня были синие ленточки в гриве, я хочу сказать — в косах. Каждое утро я чистила зубы и каждый вечер мыла копыта, я хочу сказать — ноги, в горячей воде. Сколько тебе лет?

— Двенадцать.

— А мне было пятнадцать. Для лошади это много. Вот почему я действительно Старая Лошадь. У меня болят кости, я плохо вижу, а другие лошади только смеются, когда я говорю, что мне нужны очки. Ежеминутно я ломаю руки, я хочу сказать — ноги, при одной мысли, что никогда больше не увижу своего маленького уютного стойла на Восьмеркиной, семь...

— Вы хотите сказать — своей маленькой уютной комнатки, да?

ВЕЛИКИЙ ЗАВИСТНИК

Вы, наверное, заметили, что Старая Лошадь все время сбивалась. Один раз она лягнулась, а между тем речь шла о том, что мама уговаривала ее принять английскую соль. То и дело она говорила: «Я ржала», и Таня не могла понять — она громко смеялась или действительно ржала. Словом, лучше я сам расскажу о Великом Завистнике — лучше для меня и для вас.

Это началось давно, когда на свете еще не было ни Петьки, ни Тани. Два мальчика жили на одном дворе. У одного была черная гладкая маленькая голова, которую

он любил втягивать в плечи, а у другого — русая, на затылке вихор. Каждый день они купались в реке. Раз купались, значит, ныряли. Вот почему Старший Советник спросил Таню, помнит ли еще ее папа о том, как они любили нырять.

Однажды они держали пари, кто дольше просидит под водой. Они глубоко вдохнули воздух и одновременно опустились на дно. «Раз, два, три,— считали они,— четыре, пять, шесть». Сердце билось все медленнее. «Семь, восемь, девять». Больше не было сил. Уф! И они вынырнули на поверхность. Первой показалась маленькая гладкая черная голова, а уже потом — русая, с мокрым вихром на затылке. Черный мальчик проиграл пари.

Потом они выросли, и все, что нравилось одному мальчику, не нравилось другому. Мальчик с русой головой любил бродить по горам. В конце концов он забрался так высоко, что орлы прислали ему золотую медаль. А мальчик с черной головой, спускаясь по лестнице, бледнел от страха.

Первый никогда не думал о себе. Он думал о тех, кого любил, и ему казалось, что это очень просто. А второй думал только о себе. Иногда ему даже хотелось подумать о других, хоть день, хоть час. Но как он ни силился — ничего не получалось.

Потом мальчик с русой головой стал Художником. И оказалось, что он умеет делать чудеса. По крайней мере, так говорили люди, смотревшие на его картины. Мальчик с черной головой тоже научился делать чудеса, например, превращать людей в птиц и животных. Но кому нужны были эти чудеса? По ночам он угрюмо думал: «Кому нужны мои чудеса?» Он томился тоской — ведь завистники всегда томятся, тоскуют.

Он ломал руки, когда видел рыболовов, спокойно сидевших с удочкой над водой. Ему становилось тошно, когда он смотрел на юношей и девушек, которые, раскинув руки, ласточкой падали в воду. Он завидовал всем, кто был моложе его. У него не было друзей, он никого не любил, кроме дочки.

Нельзя сказать, что Великий Завистник не лечился от зависти — каждое воскресенье Лекарь-Аптекарь приносил ему капли. Не помогали!

Иногда он боялся, что зависть пройдет — ведь, кроме зависти, у него в душе была только скука, а от скуки недолго и умереть. Тогда он принимался утешать себя. «Ты

хотел стать великим — и стал,— говорил он себе.— Никто не завидует больше, чем ты. Ты — Великий Завистник. Ты — Великий Нежелатель Добра Никому». Но чем больше он думал о себе, тем чаще вспоминал тот ясный летний день, когда два мальчика сидели под водой и считали: «Раз, два, три»,— тот день, когда он проиграл пари и в его сердце впервые проснулась зависть.

ТАНЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В АПТЕКУ «ГОЛУБЫЕ ШАРЫ»

— На себя я давно махнула рукой,— сказала Старая Лошадь.— Но ты должна надеяться, Таня. И главное — не привыкай к мысли, что ты Сорока. Не гордись своим раздвоенным длинным хвостом! Не трещи! Девочки быстро привыкают к тому, что они сороки, тем более что они вообще, как известно, любят трещать. Если ты увидишь золотые очки или золотое колечко, поскорее зажмурь глаза, потому что сороки воруют все, что блестит. И самое главное — постарайся все-таки заказать лекарство в аптеке «Голубые Шары».

— Спасибо, Старая Добрая Лошадь. Можно мне называть вас Ниночкой?

— Куда уж! — Лошадь шумно вздохнула.— Правда, как девочка я еще ребенок, но зато как лошадь я старый, опытный человек.

— Рецепт остался у Великого Завистника,— стараясь не трещать, сказала Таня.

— Эх, ты! Впрочем, не беда. Я знаю Лекаря-Аптекаря. Он тебе поможет.

Ночь Таня провела в стойле, а утром полетела в аптеку «Голубые Шары». Да, Лошадь была права! Лекарь-Аптекарь с первого взгляда понял, что случилось с Таней.

— Не смей говорить, что этот негодяй превратил тебя в Сороку! — закричал он визгливо.— Не мучайте меня, у меня больное сердце. Дайте мне спокойно умереть.

Но, по-видимому, ему все-таки не хотелось умирать, потому что он взял с полки бутылку и выпил рюмочку, потом — другую.

— Яд! — сказал он с наслаждением.

Это был коньяк, о котором он любил говорить: «Это для меня яд».

— Ужасно, ужасно! — сказал он.— И самое печальное,

что я ничего не могу для тебя сделать, решительно ничего. Не возражать! — крикнул он так громко, что фарфоровые белочки присели на задние лапки от страха.— Во-первых, до пенсии мне осталось только полгода. А во-вторых, ты дочь своего отца, а ведь ему-то именно этот негодяй и завидует больше всех на свете. И подумать только: если бы он просидел под водой хоть на одну секунду дольше, чем твой отец, они бы вынырнули друзьями! Все, что я могу сделать,— это посадить тебя на плечо и отправиться к больным. Сегодня у меня четыре визита.

...С Козихинской на Ордынку, с Ордынки на улицу Островского — маленький, в потертом зеленом пиджаке, в ермолке, лихо сдвинутой на ухо, Лекарь-Аптекарь начал свой обход, а Таня-Сорока сидела у него на плече, стараясь не трещать по-сорочьи.

Один сел в калошу, у другого ушла в пятки душа — а попробуй-ка вернуть ее на старое место! Каждый раз, выходя от больного, он говорил Сороке: «Еще не придумал». Это значило, что он еще не придумал, как ей помочь. Наконец, выйдя от одного простодушного парня, который тяжело пострадал — у него соседка въелась в печенку,— он весело закричал:

— Готово!

Но прежде чем рассказать Тане, что он придумал, Лекарь-Аптекарь вернулся домой, снял ермолку и зеленый пиджак, выпил рюмочку коньяку и сказал с наслаждением:

— Яд!.. Великий Завистник давным-давно лопнул бы от зависти, Таня. Но у него есть пояс, которым он время от времени затягивает свой тощий живот. Например, когда ты сказала, что твой отец до сих пор умеет превосходно нырять, ручаюсь, что Великий Завистник раздулся бы, как воздушный шар, если бы забыл надеть пояс. Нужно стащить у него этот пояс — и баста.

— Стащить?

— Да! Мы сделаем это,— торжественно сказал Лекарь-Аптекарь.— Я тебе ручаюсь, что он лопнет, как мыльный пузырь. А знаешь ли ты, что произойдет, если он лопнет? Ты снова станешь девочкой, Таня. Я приготовлю лекарство по рецепту Главного Городского Врача, и твой отец будет спасен, потому что его может спасти только чудо. А Старая Добрая Лошадь вернется к своим родителям и снова будет носить голубые ленточки — не в гриве, а в косах.

ЛЮБИТЕЛЬ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ИСТОРИЙ РАССКАЗЫВАЕТ ЛОРЕ СКАЗКУ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

А Петька все читал и читал. Когда его окликали, он только спрашивал: «М-м?..» — и снова читал строку за строкой, страницу за страницей. Одно собрание сочинений он прочел и принялся за другое. Можно было надеяться, что он расскажет Великому Завистнику хотя бы кратко, о чем написаны книги, стоявшие в нарядных разноцветных переплетах на полках. А он не рассказывал. Не потому, что не мог, а просто так, не хотелось. Он даже попробовал, но Великий Завистник с таким удовольствием потирал свои длинные белые руки, когда кому-нибудь не везло даже в книгах, что Петька перестал рассказывать и теперь только читал.

В общем, он совсем зачитался бы, если бы не Лора, которая то и дело приходила к нему поболтать.

— Между прочим, отец давно хотел съесть тебя,— сказала она однажды,— но я не позволила.

— Почему?

— Не знаю. Мне приятно смотреть, как ты сидишь и читаешь.

Два раза в неделю она брала уроки у Феи Вежливости и Точности и, вернувшись, показывала Петьке, как она научилась ходить — не боком, а прямо. Легко, как снегурочка, а не тяжело, как медведь. Но Петька только спрашивал: «М-м?..» — и продолжал читать.

Чтобы похудеть, Лора ела теперь не пять раз в день, а только четыре и спала после обеда не два часа, а час двадцать минут. И похудела — правда, не очень. Но Петька все равно не обращал на нее внимания. Она надела на шею ожерелье и, разговаривая, все время играла им, как будто печаянно. Но хоть бы раз Петька взглянул на это хорошенькое ожерелье из цветного стекла!

Оставалось только рассказать ему что-нибудь интереснее, чем эти толстые книги, от которых он не мог оторваться. И она отправилась к Любителю Необыкновенных Историй. Он служил Ночным Сторожем Городского Музея в Немухине и как раз приехал провести отпуск под Москвой.

Лора вошла немножко боком, но вообще почти прямо. Не так легко, как снегурочка, но и не так тяжело, как медведь. Она вежливо поздоровалась и сказала:

— Не можете ли вы рассказать мне какую-нибудь ин-

тересную сказку? Я запомню ее слово в слово, у меня превосходная память.

— Да ради бога! — откладывая в сторону трубку, сказал Любитель Необыкновенных Историй.— Сколько угодно. Грустную или веселую?

— Веселую.

— Отлично.

И он рассказал ей о девочке Красная Шапочка. Вы, конечно, знаете эту историю, дети? Может быть, она не очень веселая, особенно когда волк глотает бабушку, надевает ее чепчик, который ему совсем не идет, и, поджидая Красную Шапочку, ложится в постель. Но зато все кончается хорошо. А ведь это самое главное, особенно когда все начинается плохо.

Лора запомнила ее слово в слово — у нее была превосходная память. Но слова почему-то запомнились ей в обратном порядке. Например, не «Жила да была девочка, которую прозвали Красная Шапочка», «Шапочка Красная, прозвали которую девочка, была да жила». Понятно, что Петька послушал минут пять, а потом засмеялся и сказал:

— Да, здорово это у тебя получается.

И снова принялся за чтение. Теперь, когда Лора приходила к нему, он только лениво смотрел на нее одним глазом и читал себе да читал. Иногда, впрочем, он рисовал на полях чертиков с хвостами, изогнутыми, как вопросительный знак.

ВЕЛИКИЙ ЗАВИСТНИК РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ

Когда у Великого Завистника начиналась бессонница, он завидовал всем, кто спит. Он скрипел зубами, думая о том, что соседи сладко похрапывают с открытыми форточками — кто на боку, а кто на спине. А где уж тут уснешь, если то и дело приходится скрипеть зубами! Он завидовал даже ночным сторожам, но только тем, которые — даром что они были ночные сторожа — все-таки спали.

Все люди стараются уснуть, когда им не спится. Старался и Великий Завистник. Он ведь тоже был как-никак человек. Он считал до тысячи, представлял себе медленно текущую реку или слонов, идущих один за другим, важно переставляя ноги. Ничего не помогало! Он открывал окно и долго ходил по комнате в туфлях и халате — остывал,

чтобы потом сразу бухнуться в постель и заснуть. Остывать удавалось, а заснуть — нет. Может быть, потому он начинал беспокоиться, что слишком долго остывал и теперь еще, не дай бог, простудится. В этот вечер он даже решился слазить на крышу с авоськой — авось удастся словить хоть какой-нибудь сон: ведь над городом по ночам проплывают сны. И поймал, даже не один, а целых четыре. Но, спускаясь с чердака, он выронил авоську, и сны неторопливо выплыли из нее, задумчивые, неясные, похожие на дым от костра в сыром еловом лесу.

Когда не спится, лучше не смотреть на часы. Часы иногда врут. Нельзя, например, сравнить их с зеркалом, которое почти всегда говорит только чистую правду. И все-таки, взглянув на часы, почти всегда можно узнать, далеко ли до утра или близок ли вечер. До утра было еще далеко, и Великий Завистник решил сходить в аптеку «Голубые Шары».

— Извини,— сказал он, постучав в стекло, за которым неясно виднелась маленькая фигурка в халате.— Прошу простить, это я. Как живешь, старина? Ты не спишь?

Ему казалось, что подчиненным, чтобы они его любили, нужно почаще говорить: «Ну как, старина?» и называть их на «ты».

— Здравствуйте. Сейчас открою,— ответил Лекарь-Аптекарь.— Это он,— торопливо прошептал он Сороке.— Тебе нужно спрятаться, Таня. Сюда, сюда!

За прилавком была маленькая комнатка, в которой он готовил лекарства.

— Заходите, пожалуйста.

Он зажег полный свет, и фарфоровые белочки, притаившиеся между пузырьками, стали протирать глаза сонными лапками: они решили, что наступило утро.

— Извини, старина, что так поздно,— сказал, входя, Великий Завистник.— Что-то не спится, черт побери. Решил узнать, как твои делишки, и кстати прихватить у тебя какую-нибудь микстурку, чтобы поскорее уснуть. Нет ли у тебя чего-нибудь новенького, дружище?

— Новенького? Надо подумать.

Великий Завистник устало опустился в кресло. Он вздыхал, и левая ноздря у него не раздувалась, как всегда, а уныло западала.

— А ты молодец, как я посмотрю,— сказал он, глядя, как Лекарь-Аптекарь, быстренько вскарабкавшись по лесенке, сунул свой длинный нос сначала в одну бутылку, а

потом в другую.— Интересно, знаешь ли ты, что такое скука?

— Нет.

— А вот я смертельно скучаю,— сказал Великий Завистник.— Все мне врут, и, кроме дочки, меня никто не любит. А ты думаешь, мне не хочется, чтобы меня любили, старик? Очень хочется, потому что, если подумать, я совсем неплохой человек.

Лекарь-Аптекарь молчал. Он размешивал микстуру стеклянной палочкой и старался не подсыпать в нее крысиного яду.

— Все, что угодно, можно сказать обо мне,— продолжал Великий Завистник.— Я простодушен, нетребователен, терпелив; меня легко обмануть. На днях, например, божья коровка притворилась мертвой, чтобы я ее не убил. И я поверил, как ребенок. И только потом догадался и убил. У меня много недостатков, но уж в зависти меня никто и никогда не смел упрекнуть.

— Готово,— сказал вслух Аптекарь.— Примите, и я ручаюсь, что через полчаса вы прекрасно уснете.

Возможно, что самое главное произошло именно в эту минуту.

Великий Завистник встал и подтянул брюки — он забыл дома свой пояс. Разумеется, он сделал это по возможности незаметно — в присутствии подчиненных неудобно подтягивать брюки. Но у Лекаря-Аптекаря был острый глаз, и, пробормотав: «Извините, пожалуйста», он торопливо прошел в маленькую комнатку за аптекой.

— Таня,— прошептал он одними губами.

Сорока, забившаяся в темный уголок, встрепенулась.

— Лети к нему. Он забыл дома свой пояс. Ты помнишь адрес?

— Да.

Лекарь-Аптекарь распахнул окно.

— Я постараюсь задержать его. Принеси мне пояс. Забудь о том, что ты девочка. Ты — Сорока-воровка.

ТАНЯ И ПЕТЬКА ИЩУТ ПОЯС

Днем Великий Завистник ссорился с дочкой: он хотел превратить Петьку в летучую мышь, а она не хотела. Днем Лора приходила и показывала, как она теперь ловко ставит ножки, когда ходит, и как изящно складывает их, когда сидит. А ночью Петька был один-одинешенек.

Никто не мешал ему читать и читать. Некоторые книги он перелистывал — они были холодные, точно на каждой странице лежала тонкая ледяная корка. Зато от других невозможно было оторваться!

Однажды — это было как раз в ту ночь, когда Великий Завистник отправился в аптеку «Голубые Шары»,— Петька заметил, что он похудел. Это ему понравилось. Плохо только, что штаны стали падать. Он поискал веревочку — не нашел. У Великого Завистника на спинке кровати висел ремешок. Недолго думая, Петька затянулся им и опять принялся за книжку.

Лора сладко похрапывала в своей комнате — устала, повторяя на память уроки вежливости и приличных манер; кошка с разбойничьей мордой шумно метнулась на кухне — поймала мышонка,— и все утихло, ни звука, тишина. Только страница прошелестит — прочитана, до свидания!

Вдруг кто-то постучал в окно. Петька взглянул одним глазом. Ничего особенного — сорока. И он перевернул страницу. Но стук повторился.

— Открой.

«Гм... Странно, сорока, а говорит человеческим голосом. Впрочем, в этом доме лучше не удивляться».

— Открой, ты слышишь? Сию же минуту.

Петька лениво распахнул окно и швырнул в Сороку пустой чернильницей — жаль, не попал!

— Хорош,— влетая в комнату, укоризненно сказала Таня.— Не пускает, да еще и кидается. Дай срок, влетит тебе от меня, глупый мальчишка.

Они принялись искать ремешок. Но, конечно, Петька забыл, что он подтянул им брюки,— ведь это случилось между двумя страницами, из которых одна была интереснее другой! Да и трудно было представить себе, что Великий Завистник носит этот старенький ремешок. Его пояс — так им казалось — должен был состоять из стальных колец, тонких, как паутина.

Нет и нет! Зато в письменном столе Таня нашла рецепт Главного Городского Врача и бережно спрятала его под крыло.

Они искали все время, пока Великий Завистник, зевая, шел домой из аптеки «Голубые Шары». Он задремал в лифте — так сильно подействовала на него микстура. Полусонный, еле передвигая ноги, он вошел в свою комнату, и только тогда Таня с Петькой перестали искать реме-

шок. Полумертвые от страха, они притаились под кроватью, на которую он рухнул, едва стащив с себя пиджак и брюки.

— Надо бежать,— прошептала Таня.

Но пришлось подождать, пока Великий Завистник уснет. Наконец негромкие свисточки послышались в комнате — Великий Завистник всегда сначала посвистывал, а уж потом начинал храпеть. На цыпочках они выбрались в переднюю, оттуда на лестницу — и кубарем с девятого этажа! Кубарем катился Петька. Огорченная, громко вздыхая, повесив клюв, за ним плавно опускалась Сорока.

ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ — ВЕСЕЛЫЕ СНЫ

Он еще посвистывал, как уходящий поезд, а сны уже стояли в очереди, толпились: «Я первый!» — «Нет, я! Позвольте, граждане, вот этот длинный сон может подтвердить, что первый именно я».

Это были не длинные и не скучные, а восхитительные, приснившиеся впервые в жизни, легкие сны! Мальчик, на которого Великий Завистник наступил в прошлом году, явился смеющийся, розовый и сказал, что ему совсем не было больно. Девочка, которую он превратил в Старую Лошадь, долго старалась втиснуться в лифт и наконец, стуча копытами, вскарабкалась на девятый этаж — только для того, чтобы поблагодарить его: с тех пор как она стала лошадью, для нее началась настоящая жизнь. Божья коровка, которую он убил, летала вокруг него, напевая: «Так мне и надо, тра-ля-ля», и когда он спросил ее во сне: «Почему?» — она ответила: «А потому, что нечего было притворяться мертвой».

Да, самое лучшее в мире — это сон, но нет ничего хуже, как проснуться от детского плача. А между тем случилось именно это. Кто-то громко плакал в соседней комнате. Неужели этот уткнувшийся носом в книгу мальчишка?

Вскочив с кровати, Великий Завистник накинул халат, распахнул дверь... Плакала Лора. Она сидела на полу среди разбросанных книг; в руках у нее было длинное сорочье перо, и она плакала так громко, что у Великого Завистника защемило сердце: он очень любил свою дочь.

— Что случилось? — крикнул он с ужасом.

— Он ушел.

— Ушел? Это прекрасно...— начал было Великий Завистник и подпрыгнул, потому что Лора больно ущипнула его за лодыжку.— Ай! Почему ты плачешь, мое бедное дорогое дитя? Ты жалеешь, что я не успел превратить его в летучую мышь?

Вместо ответа Лора легла и припялась бить об пол ногами.

— Хочу, хочу, хочу,— кричала она,— хочу, чтобы он вернулся!

Она колотила своими толстенькими косолапенькими ножками так сильно, что жильцы восьмого этажа поднялись на девятый, чтобы почтительно спросить, не пожаловаться ли им в домоуправление.

— Он вернется, обещаю тебе! Даю честное благородное слово.

— Я не верю! — кричала Лора.— Ты нечестный, неблагородный. Ты сам говорил, что никому нельзя верить.

— Но как раз в данном случае можно! — в отчаянии кричал Великий Завистник.— Не забывай, что я твой отец. Успокойся, я тебя умоляю. Откуда у тебя это перо?

— А-а-а! Я хочу, чтобы он сидел в кресле и читал. Я хочу, чтобы он спрашивал «м-м?..» и смотрел на меня одним глазом!

— Хорошо, хорошо, он вернется.

Похолодев, он отнял у Лоры перо. Оно было сорочье, а сорочье перо могла выронить только сорока.

ВЕЛИКИЙ ЗАВИСТНИК НЕ НАХОДИТ СВОЙ ПОЯС

«Враги! — уныло думал он, грызя ногти и втягивая маленькую черную голову в плечи.— Мне завидуют, это ясно. Я на виду, мне сорок лет, а я уже Старший Советник. Я доверчивый, а доверчивым всегда плохо. Вот пригрел этого мальчишку, а он ушел, даже не сказав спасибо...»

«Будем рассуждать спокойно: Сорока прилетела не за мальчишкой, а за рецептом. Она еще надеется заказать лекарство в аптеке «Голубые Шары». Но Аптекарь — мой друг! Я всегда относился к нему снисходительно... Тем хуже! Во всяком случае, для меня».

«...Я запутался,— думал он через час, пугаясь и холодея.— Мне грозит опасность. Вот что нужно сделать прежде всего: подумать не о себе. Это освежает».

Ему всегда было трудно думать не о себе — и, главное, неинтересно. Но все-таки он подумал:

«Нет, Лекарь-Аптекарь не посмеет приготовить лекарство без моего разрешения. Ведь он знает, что до первого июня я распоряжаюсь чудесами. И Художник умрет».

Улыбаясь, Великий Завистник потер длинные белые руки.

«Да, но его отнесут во Дворец Изящных Искусств. Духовой оркестр будет играть над его гробом похоронный марш, и не час или два, а целый день или, может быть, сутки. Самые уважаемые в городе люди,— думал он с отчаянием, чувствуя, как зависть просыпается в сердце,— будут сменяться в почетном карауле у гроба».

Это была подходящая минута, чтобы надеть ремешок, и Великий Завистник протянул руку — помнится, он повесил его на спинку кровати. Ремешка не было. Он обшарил платяной шкаф,— не забыл ли он ремешок в старых брюках? — вывернул карманы, обыскал письменный стол. Он разбудил дочку и пожалел об этом, потому что, едва открыв глаза, она залилась слезами. Он засунул в мусоропровод свою длинную белую руку, и рука поползла все ниже — в восьмой, седьмой, шестой, пятый этаж. Нет и нет! Вытянув губы в длинную страшную трубочку, бормоча: «Ах так, миленькие мои! Значит, так? Хорошо же!», он вернулся в свою комнату.

СТАРАЯ ЛОШАДЬ ДЕЛИКАТНО СТУЧИТСЯ В АПТЕКУ «ГОЛУБЫЕ ШАРЫ»

Лекарь-Аптекарь сразу же понял, что Таня не принесла ему пояс.

— Не смей говорить, что ты не нашла его! — закричал он, схватившись за сердце.— Все погибло, если ты его не нашла. Он догадается, что это была ты, а если он догадается...

Сороки не плачут или плачут редко. Но Таня еще совсем недавно была девочкой, и нет ничего удивительного в том, что она разревелась.

— Не сметь! — визгливо закричал Лекарь-Аптекарь.— Ты промочишь пиджак (Таня сидела на его плече), я простужусь, а мне теперь некогда болеть. Что это еще за мальчишка?

Мальчишка, стоявший у двери с виноватым видом, был Петька, и Лекарь-Аптекарь не хватался бы так часто за сердце, если бы он знал, что на Петьке был старенький, потертый ремешок из обыкновенной кожи.

— Мало с тобой хлопот! Теперь еще придется возиться с этим трусишкой. У меня больное сердце. Дайте мне спокойно умереть.

Но, по-видимому, ему не хотелось умирать, потому что он выпил рюмочку коньяку, а потом, немножко подумав, вторую.

— Яд,— сказал он с наслаждением.— Давай сюда рецепт, глупая девчонка. Он догадается, что это была ты, и меня, конечно, уволят, если я приготовлю лекарство для твоего отца. А мне до пенсии осталось полгода. Боже мой, боже мой! Всю-то жизнь я старался не делать ничего хорошего людям, и никогда у меня ничего не получалось, никогда! И вот, пожалуйста, опять! Ну ладно, куда ни шло! В последний раз. Умереть мне на этом месте, если я еще когда-нибудь сделаю хорошее людям... Почему ты так похудел, мальчик? Ты голоден? Возьми бутерброд. Ешь! Я тебе говорю, ешь! Ох, беда мне с вами.

Он ворчал и сморкался в огромный зеленый платок, хотя, как известно, все аптекари в мире стараются не сморкаться, приготовляя лекарство. Но он сморкался, и моргал, и даже раза два одобрительно хрюкнул, когда стало ясно, что для Таниного отца он приготовил не лекарство, а настоящее чудо. Плохо было только, что вместо одного пузырька он нечаянно приготовил два, а за два ему могло попасть ровно вдвое.

— Возьми, Таня.

Сорока осторожно взяла пузырек, на котором было написано: «Живая вода».

— Так. А второй мы спрячем. Не дай бог, пригодится. Счастливого пути. Живо! — закричал он и затопал ногами.— А то я еще передумаю! Ох, как вы мне все надоели.

И Таня улетела — вовремя, потому что позвонил телефон, и Лекарь-Аптекарь услышал голос, который действительно мог заставить его передумать.

— Как дела, старина? — спросил Великий Завистник.— Я хочу поблагодарить тебя за микстуру. Спал, как ребенок. Здорово это у тебя получилось!

— Пожалуйста, очень рад.

— Ты вообще имей в виду, что я к тебе отношусь хорошо. Вот сейчас, например, с удовольствием потрепал бы

тебя по плечу, честное слово. Ты ведь, кажется, любишь птиц?

— Птиц? Нет.

— Понятно. Кстати, тут на днях к тебе не залетала Сорока?

— Нет. А что?

— Понимаешь... просыпаюсь, а на полу сорочье перо. Уронила. Ну, ты меня знаешь! Захотелось вернуть. Ищет, думаю, огорчается птица. Значит, не залетала?

— Нет.

— Тем лучше. До свидания.

Они одновременно положили трубки и зашагали из угла в угол: Великий Завистник — зловеще бодаясь маленькой черной головкой, а Лекарь-Аптекарь — в отчаянии хватаясь за свой длинный, сразу похудевший нос.

Они шагали, думая друг о друге. Мысли Великого Завистника летели в аптеку, а мысли Лекаря-Аптекаря — прямехонько на Козихинскую, три,— и нет ничего удивительного в том, что они столкнулись по дороге. Раздался треск, не очень сильный, но все же испугавший Старую Лошадь, тащившую бочку с водой вдоль Медвежьей Горы. Ей давно хотелось узнать, заказала ли Таня лекарство, и заодно, если удастся, купить у Лекаря-Аптекаря очки. Купить, правда, было не на что.

«Но может быть,— думала она,— я сумею оказать ему какую-нибудь услугу? Например, для микстур и настоек нужна вода. А в моей бочке она как раз очень вкусная и сколько угодно».

«...Да, без очков трудно жить,— думала она грустно.— Особенно когда даже подруги норовят стащить твое сено из-под самого носа. Впрочем, какие они мне подруги? Разве они носили когда-нибудь ленточки в косах? Разве их награждали когда-нибудь почетной грамотой, как меня, когда я перешла в третий класс? Кто танцевал в школе лучше, чем я? Кто пел, как соловей: «И-го-го, и-го-го!»?»

Ей показалось, что она встала на цыпочки и запела, а на самом деле она подняла хвост и заржала. Лекарь-Аптекарь, все еще шагавший из угла в угол, прислушался с беспокойством.

Трах! Аптечная посуда зазвенела в ответ, а фарфоровые белочки привстали, насторожив уши.

Трах! Это, конечно, была Старая Лошадь. Ей казалось, что она стучит деликатно, чуть слышно.

ЖИВАЯ ВОДА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СИРЕНЕВЫЙ КУСТ

Живая вода плескалась в пузырьке. Таня крепко сжимала его в своем черном изогнутом клюве. Еще несколько взмахов — и дома! Вот и знакомая крыша показалась вдали. На трубах сидели воробьи и вдруг все разом шумно вспорхнули, должно быть, испугались большой черно-белой птицы, которая несла что-то непонятное в клюве. А ну взорвется или еще что-нибудь! Мальчишки запускали воздушного змея на Воробьевых горах. Они тоже, конечно, заметили Таню, тем более что подул ветер и воздушный змей поплыл к ней навстречу. Он был страшный, рогатый, с красным языком. Любая сорока закричала бы: «Караул!» Но Таня не закричала — ведь она могла выронить пузырек! Зажмурив глаза, она приближалась к змею. Поздороваться с ним и обогнуть — это был бы лучший выход из положения. Но и для этого нужно было открыть клюв, а она сжимала его все крепче.

— Сорока-воровка!

— Гляди, ребята! Что-то стащила!

Один камень больно ударил Таню в плечо, другой оцарапал ногу, а третий... третий разбил пузырек! Тонкая, засверкавшая на солнце нить протянулась между землей и небом. Это пролилась живая вода, и там, где она упала, вырос такой красивый сиреневый куст, что Ученый Садовод Башлыков немедленно написал о нем книгу под названием «Чудо на Воробьевых горах».

Расстроенная, измученная, с подбитым крылом, Таня полетела обратно в аптеку. Она помнила, что Лекарь-Аптекарь приготовил два пузырька живой воды. Какая удача! Но на куске картона, висевшем между Голубыми Шарами, было написано: «Хотите, верьте, хотите, нет — аптека закрыта». Почерк был Петькин, и никто другой не нарисовал бы в уголке чертика с хвостом, изогнутым, как вопросительный знак.

Да, аптека была закрыта, и Таня, взлетев на антенну, с которой была видна почти вся Москва, принялась ждать — что еще могла она сделать?

Прошел час, другой, третий. Начался дождь. Таня промокла до последнего перышка — и это было прекрасно, потому что она боялась уснуть. Но дождь перестал, и она уснула. Солнце поднялось; когда она открыла глаза, подъезды сверкали после дождя, точно нарисованные мелом на

белой глянцевой бумаге, а кусок картона с надписью попрежнему висел между Голубыми Шарами. Лекарь-Аптекарь не вернулся. Но куда же в таком случае делся Петька?

...В отвратительном настроении Таня спряталась в самой густой листве. Все представлялось ей в черном свете, даже солнце, на которое, как все сороки, она могла смотреть не мигая. Голубое небо казалось ей серым, зеленые листья — рыжевато-грязными, а птица, сидевшая на соседнем дереве, самой обыкновенной скучной вороной.

— Добрый вечер,— вдруг сказала птица.

— Добрый вечер,— ответила Таня.— Представьте себе, я приняла вас за ворону.

— Нет, я Сорока. Ворона, если вы имеете в виду Белую Ворону, приходится мне тетей. Вы живете в городе?

— Да. А вы?

— Я предпочитаю деревню. Здесь слишком шумно. Какое хорошенькое у вас это перо с хохолком!

— Ну что вы, ничего особенного. Вот сегодня ночью я потеряла перо. До сих пор не могу прийти в себя. Белое с черной отделкой.

— Что вы говорите! И не нашли?

— Нет. Ужасно жалко. Что это у вас на ноге? Неужели колечко? Бирюза?

— Да. И у меня еще есть бирюзовые сережки. А вот брошку никак не подберу.

— А это колечко вы тоже купили в Комиссионном?

— Купила? Зачем? Стащила.

Они потрещали еще немного, а потом Сорока пригласила Таню к себе в Лихоборы.

— Я живу у тети,— объяснила она.— Она будет очень рада. Лететь недалеко, всего сто километров.

«Осторожно, Таня. Помни, что девочки быстро привыкают к тому, что они сороки, тем более что они вообще любят потрещать. Ты девочка, ты не сорока». Можно было подумать, что Старая Добрая Лошадь была тут как тут — так ясно услышала Таня ее грустный предостерегающий голос. Но она устала и была голодна. В конце концов, что за беда, если она проведет денек с этой веселой Сорокой?

— К сожалению, мне необходимо найти Лекаря-Аптекаря,— сказала она.— Он ушел и не вернулся. Я прождала его целую ночь.

— Ну и что же! Тетя скажет вам, куда он ушел. Вы знаете, какие они умные, эти вороны.

Таня задумалась.

— Кракешак,— сказала она наконец.

На чистейшем сорочьем языке это значило: «Я согласна».

Пришлось сделать порядочный крюк, но, улетая из города, не могла же она не заглянуть домой хоть на минутку!

Окно папиной комнаты было распахнуто настежь, он рисовал, лежа в постели, а мама сидела подле него с книгой в руках. У нее было грустное лицо. Она, без сомнения, волновалась за Таню. Но почему-то ей стало легче, когда Сорока, приветливо кивая, пролетела мимо окна.

ЛЕКАРЬ-АПТЕКАРЬ ПРОЩАЕТСЯ СО СВОЕЙ АПТЕКОЙ, А СТАРАЯ ДОБРАЯ ЛОШАДЬ НАДЕВАЕТ ОЧКИ

Что же значила странная надпись на картоне, висевшем между Голубыми Шарами: «Хотите, верьте, хотите, нет — аптека закрыта»? Не стоит ломать себе голову над этой загадкой: Лекарь-Аптекарь испугался. А когда человек пугается, он бежит.

«Нужно сделать вид, что меня нет,— подумал он, поговорив с Великим Завистником по телефону.— А когда человека нет, его нельзя уволить, потому что нельзя уволить того, кого нет. Прекрасная мысль! Но ведь очень трудно сделать вид, что меня нет, когда я тут как тут, в своей ермолке, в зеленом пиджаке, со своими порошками и микстурами, в которых никто не может разобраться, кроме меня. Значит, нужно убежать. Куда?»

И он решил отправиться к своему приятелю Башлыкову, Ученому Садоводу, который, как об этом сообщали газеты, прекрасно разбирается в цветах и некоторых насекомых. Можно было рассчитывать, что так же хорошо он разбирается в некоторых людях, таких, например, как Лекарь-Аптекарь. Итак, решено!

Он собрался было вызвать такси, но именно в эту минуту — трах! — постучалась Старая Лошадь.

— Вот кстати-то! — закричал он.— Надеюсь, ты не очень занята и сможешь отвезти меня к Ученому Садоводу?

— Конечно, могу! — с восторгом сказала Лошадь.

Это был выезд, на который стоило посмотреть! Отправляясь в дорогу, Лекарь-Аптекарь надел пальто, тоже зеленое — у него была слабость к этому цвету,— и сменил ермолку на широкополую шляпу, из-под которой грустно торчал его озабоченный нос. Через плечо он надел дорожную сумку, в которой звенели банки и склянки. Он уселся на передке, чтобы за спиной уютно плескалась вода, и все поглядывал по сторонам — не летит ли Сорока? Петька вскарабкался на бочку.

Что касается Лошади... О, это был один из лучших дней ее жизни! Когда Лекарь-Аптекарь укладывался, она попросила его подарить ей очки. Конечно, если бы у него было время, он подобрал бы для нее очки по глазам. Но он очень торопился и нечаянно подарил Розовые Очки, через которые весь мир кажется веселым, счастливым.

Теперь она была в этих очках, выглядевших немного странно на ее бархатном добром носу. Первые два-три километра она шла осторожно — привыкала. Но, как только город с его сверкающими автомобильными фарами остался позади, она пустилась вскачь, приплясывая и напевая.

Как все искренние, простодушные люди, она пела обо всем, что встречалось по дороге. Но встречалось как раз не то, что она видела. Или, вернее сказать, видела она совсем не то, что встречалось. Каменщики в серых фартуках строили дом, а ей казалось, что они не в серых фартуках, а в голубых и что кирпичи сами летят им в руки; мальчишки плелись в школу, а ей казалось, что они бегут со всех ног, чтобы поспеть к началу занятий. Это было даже опасно, потому что за городом рабочие чинили мост, а ей показалось, что они его уже починили, и водовозная бочка с пассажирами едва не угодила в канаву.

Ленивая Девчонка лежала на берегу этой канавы, подложив под голову учебник арифметики и выставив на солнце голые ноги.

— Скажите, пожалуйста, как проехать к Ученому Садоводу? — спросил ее Лекарь-Аптекарь.

— Не скажу.

— Почему?

— Лень.

— Но ведь ты уже сказала целых три слова? — с интересом спросил Лекарь-Аптекарь.

— Да. А адрес не скажу. Он длинный.

— Редкий случай,— определил Лекарь-Аптекарь, лю-

бивший редкие случаи и думавший, что, кроме него, никто с ними справиться не может.— Возьми, девочка.

Он протянул ей коробочку с порошками.

— Принимай перед школой.

— Не возьму.

— Почему?

— Лень.

— Тебе лень принять лекарство от лени?

— Да.

— Понятно. Держи ее, Петя! — сказал, рассердившись, Лекарь-Аптекарь.— Ну-ка. Вот так!

И он всыпал в рот девочки три порошка сразу.

Да, это было сильное средство! Достаточно сказать, что с этой минуты никто больше не называл Ленивую Девчонку ленивой. Ее называли как угодно — злой, невежливой, глупой, неблагодарной, капризной, но ленивой — никогда! Как встрепанная вскочила она на ноги и прежде всего отбарабанила адрес Ученого Садовода:

— Поселок Лихоборы, улица Заячья Капуста, дом семью два — четырнадцать, квартира трижды два — шесть.

Ей не терпелось поскорее выучить таблицу умножения.

— Спасибо,— сказал Лекарь-Аптекарь.— А как проехать в поселок Лихоборы?

— До поворота — прямо, девятью девять — восемьдесят один,— ответила бывшая Ленивая Девчонка,— а потом налево.

И все-таки, если бы не Застенчивый Кролик, они не добрались бы до Ученого Садовода. Дело в том, что Старая Лошадь побежала к повороту не прямо, а криво (потому что в Розовых Очках все кривое казалось ей прямым), а потом повернула не налево, а направо.

Вот тогда-то из грядки капустного поля и выглянул Кролик! Он выглянул и спрятался, а ушки остались торчать. Потом снова выглянул и спрятался, а ушки остались... Но тут его окликнул Лекарь-Аптекарь.

Это был обыкновенный Кролик, отличавшийся от других, еще более обыкновенных, тем, что никак не мог сказать одной молоденькой Крольчихе: «Будьте моей женой».

Иногда он говорил: «Будьте...», иногда ему даже удавалось сказать: «моей», но тут он умолкал, краснея, и ей оставалось только огорченно шевелить ушами.

«Неизвестно,— думала она.— Может быть, он хочет сказать: «Будьте моей сестрой»?

Опустив глазки, Кролик стоял перед Лекарем-Аптекарем и от смущения не мог выговорить ни слова.

— Ага, понятно,— добродушно сказал Лекарь-Аптекарь.— Ничего особенного. Сильнейшая застенчивость. Проходит с годами. Две капли на сахар три раза в день. Только не перебарщивать. У меня был случай, когда один застенчивый юноша вроде вас выпил сразу весь пузырек и превратился в нахала.

И он протянул Кролику пузырек и пипетку.

— Дядя Аптекарь! — закричал Петька.— Что вы, честное слово! Откуда у него сахар? Он же кролик.

— Пожалуй,— согласился Лекарь-Аптекарь.— Но это лекарство можно принимать и с водой. Сейчас мы это сделаем. Петя, нацеди стаканчик. Ну, братец Кролик, смелее.

Кролик выпил лекарство.

— Спасибо,— сказал он чуть слышно.— Вы заблудились,— добавил он немного погромче.— К Ученому Садоводу — не направо, а налево,— сказал он обыкновенным голосом.— Он живет в зеленом домике под черепичной крышей! — заорал он, по-видимому, совершенно забыв, что минуту назад от смущения не мог выговорить ни слова.— Извините, я тороплюсь.

И со всех ног побежал искать Крольчиху, чтобы сказать ей: «Будьте моей женой».

И все-таки они с большим трудом нашли дом Ученого Садовода Башлыкова. Дело в том, что дом был очень маленький и зеленый, а сад — очень большой и тоже зеленый. Найти зеленое в зеленом трудно, особенно если первое зеленое — маленькое, а второе — большое.

Но еще труднее оказалось найти самого Башлыкова. Петька обегал все дорожки, пока не наткнулся на худенького старичка в широкополой шляпе, который сидел на корточках и с озабоченным лицом прислушивался к разговору между Тюльпаном и Розой.

— Невозможно, невозможно,— говорил Тюльпан.— Подумать только, за десять дней ни одного дождя! Ты побледнела.

— В конце концов эта жара погубит нас,— отвечала Роза.— Ты просто не представляешь себе, как мне хочется пить.

— Где же твоя роса?

— Ее выпили пчелы.

Да, стояла сильная жара. Анютины глазки вот-вот готовы были закрыться навсегда, левкои лежали в обмороке, и только канны гордо подставляли солнцу свои огненно-красные крылья.

Вот почему Башлыков так обрадовался, увидев за калиткой Старую Лошадь, которая, по-видимому,— он подпрыгнул от радости — привезла целую бочку чистой прохладной воды. На передке сидел старичок в длинном зеленом пальто и широкополой шляпе.

«Ага, понимаю,— подумал Башлыков.— Это новая водовозная форма».

— Добро пожаловать,— сказал он.— Вы приехали вовремя. Позвольте прежде всего поблагодарить вас от имени моего сада, который положительно умирает от жажды.

ГУСЬ-ОБМАНЩИК

«Нет, Лекарь-Аптекарь не решится приготовить лекарство для Таниного отца,— думал Великий Завистник.— Как-никак я все-таки часто называю его «старина». Бывают, конечно, подлецы! К ним относишься хорошо, а они возьмут и устроят гадость. Ну, этот-то нет! Полгода до пенсии. Да и поговорил я с ним как-то ловко: и пригрозил, и приласкал. А что, если все-таки приготовит? Что, если Художник поправится? Страшно подумать!

...Бог с ним, с поясом,— думал он уныло.— Пропал и пропал. Пора мне уже отвыкать от него. Жизнь научила меня завидовать, а по природе-то я же добряк! Я готов все отдать первому встречному. Вот сейчас, например: последнюю рубашку готов снять с себя, только бы Художник скончался».

С тех пор как пояс пропал, он не читал газет. Зачем? Могут напечатать, что награжден кто-нибудь, чего доброго, или что дела вообще идут хорошо. Нет уж, бог с ними! Но радио он иногда все-таки слушал.

И вот однажды в последних известиях сообщили, что на днях в Большом Зале Мастеров открывается выставка. Это было бы еще полбеды. Но на этой выставке все картины принадлежали художнику Николаю Андреевичу Заботкину, Таниному отцу. Вот это уже была настоящая подлость! Мало того, на выставке — Великий Завистник почувствовал, что ему нечем дышать,— будет присутствовать сам Художник, выздоровевший после тяжелой болезни.

Возможно, что Великий Завистник тут же свалился бы в сильнейшем сердечном припадке, если бы не раздался звонок. Кто-то пришел к нему, и, наскоро проглотив микстуру от зависти, Великий Завистник подошел к двери:

— Кто там?

— Га-га.

Это был Гусь, тот самый, о котором говорили: «Хорош Гусь». Он был обманщик, но глупый, и ему удавалось обмануть только тех, кто был еще глупее, чем он.

Великий Завистник посылал его разузнать, куда убежал Лекарь-Аптекарь.

— Ах, это ты, старина? Как дела?

— Я нашел их,— торжественно сказал Гусь.— Они скрываются в поселке Лихоборы, в доме Ученого Садовода.

— Ах так! Отлично!

— Отлично, да не совсем. Вы их там не найдете.

— Почему?

— Потому что вчера расцвели тополя.

— Ну и что же?

— Пух от тополей летает, и каждая пушинка немедленно сообщит Лекарю-Аптекарю о вашем приближении. Так приказал Ученый Садовод, а его даже столетние дубы не смеют ослушаться, не то что какой-то там пух. Тут нужна хитрость. Например, я надену платочек и пойду к ним с лукошком продавать грибы. А вы спрячетесь под грибы. Вам ведь ничего не стоит. Или иначе: накинуть на домик сеть, чтобы они все попались, а потом вынимать по очереди Лекаря-Аптекаря, Лошадь и Петьку.

Великий Завистник поморщился: он не любил дураков.

— Да, это мысль,—сказал он.— Но понимаешь, старина, возня. Уж если плести сеть, она мне для других дел пригодится. Кстати, ты не заметил случайно, не валяется ли там где-нибудь ремешок? Ну, просто такой старенький ремешок с пряжкой?

— Видел. Он на Петьке.

— Что?!

— То, что вы слышите. А зачем вам ремешок? Я лично предпочитаю подтяжки.

— Конечно, конечно,— волнуясь, сказал Великий Завистник.— Значит, так: прежде всего нужно выбрать ветреный день. Пух легко уносится ветром. Если ветер дует

северный, а ты явишься тоже с севера, они тебя не заметят. Во-вторых, надо надеть не платочек, а бантик на шею — в бантике у тебя представительный вид. Ты войдешь, вежливо поздороваешься и скажешь: «Не могу ли я видеть Лекаря-Аптекаря из аптеки «Голубые Шары»?» Он спросит: «А что?» — «К вам едет знаменитый астроном».— «Зачем?» — «Соринка попала ему в глаз, и теперь он не может отличить Большую Медведицу от Малой. Не будете ли вы добры принять его?» А вместо астронома приеду я. Понятно?

А нужно вам сказать, что Лора была в соседней комнате и слышала этот разговор. Она сидела на Петькином стуле и читала Петькину книгу, ту самую, которую он не успел дочитать. На полях она рисовала чертиков, и чертики получались совсем как Петькины — с длинными изогнутыми хвостами. А чтение не получалось. Может быть, потому, что Петьке было интересно, что будет дальше, а ей все равно.

Когда Гусь уходил, она догнала его на лестнице и попросила передать Петьке записку. Записка была коротенькая: «Берегись».

Она волновалась: а вдруг Гусь не возьмет? Но Гусь взял. Может быть, если бы он умел читать, записка мигом оказалась бы в руках Великого Завистника. Он не умел. Ему и в голову не пришло, какую неприятность может причинить ему эта записка.

...И нужно же было, чтобы именно в этот день с Крайнего Севера прилетел Северный Ветер! Раздувая щеки, он принялся за работу — срывать крыши, ломать деревья, раскачивать дома, свистеть в дымоходах. Тополиный пух он в одно мгновение унес туда, где даже и не растут тополя. И Гусь, приодевшийся, в отглаженных брюках, в новеньких подтяжках, с черным бантиком на шее, никем не замеченный, пришел к Ученому Садоводу.

Все были дома. Лекарь-Аптекарь, Ученый Садовод и Петька пили чай на открытой веранде, а Лошадь бродила вокруг, пощипывая траву, которая казалась ей сладкой как сахар.

— Здравствуйте,— вежливо сказал Гусь.

— Здравствуйте. Милости просим.

— Благодарю вас.

И Гусь рассказал Лекарю-Аптекарю о знаменитом астрономе, которому в глаз попала соринка. Кое-что он напутал. Но Башлыков все-таки понял.

— Пусть приезжает,— сказал он.— Конечно, астроному нужны глаза.

Еще не было случая, чтобы он отказал больному.

— Благодарю вас,— сказал Гусь и откланялся, шаркнув ножками в отглаженных брюках.

Но тут он вспомнил о записке, которую Лора просила передать Петьке.

— Виноват, мне бы хотелось поговорить с мальчиком,— сказал он.— У меня к нему поручение.

Петька соскочил с веранды, и они отошли в сторону.

— Выкладывай! — сказал он.

Гусь вытащил из-под крыла записку. Вот тут-то и произошла неприятность, о которой Гусь непременно догадался бы, будь он хоть немного умнее. Петька прочел записку и, пробормотав: «Ага, понятно», схватил его за горло.

— Предательство! — закричал он Лекарю-Аптекарю.— Великий Завистник подослал к нам этого шпиона. Надо удирать.

ТАНЯ ИЩЕТ ЛЕКАРЯ-АПТЕКАРЯ, И БЫВШИЙ ЗАСТЕНЧИВЫЙ КРОЛИК СОВЕТУЕТ ЕЙ ЗАГЛЯНУТЬ К УЧЕНОМУ САДОВОДУ

К сожалению, Старая Лошадь была права: девочки быстро привыкают к мысли, что они сороки. Привыкла и Таня. По-сорочьи она говорила теперь лучше, чем по-человечьи. Нельзя сказать, чтобы она так уж гордилась своим раздвоенным длинным хвостом, однако поглядывала на него не без удовольствия, распустив на солнце, чтобы каждое перышко отливало золотым блеском.

Она жила у Белой Вороны, симпатичной женщины, к сожалению, сильно пополневшей под старость. Впрочем, она держалась мужественно.

— Надо бороться,— говорила она и, полетав над Березовой Рощей, спрашивала Таню: — Ну как, похудела?

Как известно, самое верное средство, чтобы похудеть,— стоять на одной ноге после обеда. И она стояла, долго, с терпеливой улыбкой, завидуя цаплям, которые полжизни стоят на одной ноге, не думая о том, как это трудно.

Первое время все сороки казались Тане на одно лицо, и Белая Ворона посоветовала ей прежде всего научиться отличать себя от других.

— Ну, а отличив себя от других,— говорила она назидательно,— не так уж и трудно научиться отличать других от себя.

Действительно, оказалось, что это нетрудно. Одни ходили, покачивая хвостом, как дрозды, а другие — как трясогузки; одни любили душиться дубовым, а другие — березовым соком; одни красили ресницы пыльцой от бабочек, а другие — самой обыкновенной пылью, настоянной на воде. Зато трещали они все без исключения.

— А вы знаете, что...

Так начинался любой разговор, а потом следовала какая-нибудь новость — без новостей сороки жить не могли.

— А вы знаете, что в соседнем лесу уже никто вообще не носит узеньких перьев?

Или:

— А вы слышали, что на Туманную Поляну прилетала испанская Голубая Сорока? Оперение — чудо!

Белая Ворона пообещала Тане найти Лекаря-Аптекаря.

— О человеке, который носит зеленую ермолку,— сказала она,— без сомнения, ходит множество сплетен и слухов. А если он еще к тому же и холост...

— Он старенький. Полгода до пенсии.

— Ну и что же? Тем более.

И действительно, не прошло двух-трех дней, как сороки принесли на своих хвостах интересную новость: обыкновенный Кролик, отличавшийся от других тем, что он не мог сказать одной молодой Крольчихе: «Будьте моей женой», вдруг осмелел, сказал и женился. Кто же вылечил его от застенчивости? Маленький длинноносый человечек, но не в ермолке, а в шляпе.

— Ну и что же! — радостно сказала Таня.— В дороге он сменил ермолку на шляпу.

Она полетела к бывшему застенчивому Кролику, и он вышел к ней с женой и детьми — их было у него уже трое.

— Застенчивость — это не что иное, как отсутствие воспитания,— сказал он.— Надеюсь, мы с женой сумеем внушить это детям. Да, Лекарь-Аптекарь спрашивал меня, как проехать к Ученому Садоводу. И я показал дорогу, хотя тогда был еще очень застенчив. Вы как, по воздуху или пешком? Лучше по воздуху. Черепичная крыша.

— Спасибо. До свидания.

— Счастливого пути. Дети, что нужно сказать?

— Счастливого пути,— хором сказали крольчата.

ЛЕКАРЬ-АПТЕКАРЬ, ПЕТЬКА И СТАРАЯ ЛОШАДЬ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В НЕМУХИН, А ЗА НИМИ — И САМА АПТЕКА «ГОЛУБЫЕ ШАРЫ»

Между тем выезд, на который стоило посмотреть, превратился в выезд, на который невозможно было досыта насмотреться. Прощаясь, Башлыков украсил Старую Лошадь розами, и теперь она стала похожа на пряничного доброго льва, которого хотелось съесть,— так она была мила и красива. В шляпе Лекаря-Аптекаря тоже торчала роза, но бледно-желтая, чайная, называющаяся так потому, что она была привезена из Китая. А китайский чай, как известно, так хорош, что его пьют без сахара — во всяком случае, сами китайцы. Петька, который, как все мальчишки, презирал цветы, все-таки обвил водовозную бочку цветущим голубым плющом и приколол к своей курточке несколько анютиных глазок. Словом, выезд утопал в цветах, и было бы очень хорошо, если бы пассажиры (или хотя бы Лошадь) знали, куда они едут. Гусь-предатель, которого они захватили с собой, даже спросил Петьку:

— Скажите, пожалуйста, куда вы изволите ехать?

Он стал очень вежлив после того, как этот мальчик чуть не свернул ему шею. Но хотя Петька и сказал отрывисто: «Куда надо», никто не мог ответить на этот вопрос.

— Прямо или направо? — спросила Лошадь, когда они добрались до перекрестка, на котором скучал, повесив голову, длинный белый столб-указатель.

«Немухин — 600 метров» — было написано на стрелке, показывающей прямо. «Лихоборы — тоже 600» — было написано на другой, показывающей направо.

— Айда в Немухин! — закричал Петька.

Лекарь-Аптекарь строго посмотрел на него и сказал Лошади:

— Прямо.

На ночлег пришлось остановиться в поле. Лекарь-Аптекарь завалился на боковую, а Петька стал рассматривать его банки и склянки. Одну, в которой что-то поблескивало, он откупорил, просто чтобы понюхать,— и Солнечные Зайчики стали выскакивать из бутылки, веселые, разноцветные, с отогнутыми разноцветными ушками. Одни скользнули в темное, ночное небо, другие побежали по дороге, а третьи, прыгая и кувыркаясь, спрятались в траве.

На бутылке было написано: «Солнечные Зайчики. От плохого настроения. Выпускать по одному».

Ну вот! А он небось выпустил сразу штук сорок. И Петька поскорее заткнул бутылку — испугался, как бы ему не попало.

Наутро они приехали в городок Немухин и сняли комнату у Молодого Портного, который целыми днями сидел, поджав ноги, и шил пиджаки, жилеты и брюки. Вечерами, чтобы размять ноги, он катался — летом на роликах, а зимой на коньках. На роликах он катался лучше всех в Немухине, а на коньках едва ли не лучше всех в Советском Союзе. Если бы не музыка, он, может быть, стал бы даже чемпионом — так ловко он выписывал на льду имя девушки, на которой собирался жениться.

— Не можете ли вы вылечить меня от любви к музыке? — попросил он Лекаря-Аптекаря.— Дело в том, что на катке каждый вечер играет оркестр, а я так люблю музыку, что забываю о своих фигурах. Однажды, например, я заслушался и вместо трех с половиной сальто в воздухе сделал только три. Ну, куда это годится!

С такой удивительной болезнью Лекарь-Аптекарь встретился впервые. Любовь к деньгам, или так называемую скупость, он лечил. А вот любовь к музыке... Он обещал подумать.

В общем, если бы не Гусь, который все время боялся, что его съедят, в Немухине жилось бы прекрасно. Гусь начинал ныть с утра:

— А вы меня не съедите?

— Не съедим,— отвечали ему.— Но только потому, что гусятина у тебя невкусная, старая. А то съели бы, потому что ты — предатель.

— Ну и что же? Подумаешь! Ну и предатель! Тогда отпустите. Меня дома заждались.

— А домой нельзя.

— Почему?

— Потому что ты скажешь Великому Завистнику, что мы в Немухине. И он такое с нами устроит, только держись!

Гусь успокаивался, но наутро опять начиналось:

— А вы меня не съедите?

В общем, все было бы хорошо, если бы аптека не соскучилась по своему Аптекарю.

Соскучились бутылки, большие, маленькие и самые маленькие. Соскучились Голубые Шары, годами слушавшие

бормотание своего хозяина, который разговаривал с ними, как с живыми людьми. Порошки пересохли и пожелтели. На микстурах появилась плесень. И хотя многие врачи в настоящее время утверждают, что плесень тоже лекарство, никто еще не пробовал лечиться ею от зависти или лени.

Но больше всех, без сомнения, соскучились белочки. Беспокойно двигая своими пушистыми хвостами, они всё прислушивались — не скрипит ли дверь, не пришел ли хозяин?

Именно они-то и начали этот перелет — по-видимому, единственный в истории аптек всего мира. Присев на задние лапки, они прыгнули в маленькую комнатку за аптекой, а оттуда в открытую форточку, ту самую, через которую вылетела Сорока.

Как они догадались, что Лекарь-Аптекарь скрывается в Немухине, осталось неизвестным. Так или иначе, белочки выпрыгнули и полетели — ведь они прекрасно умеют летать. За ними помчались к своему хозяину порошки, таблетки, микстуры, травы, пилюли, коробочки, пузырьки, и среди них тот, на котором было написано «Живая вода». И, наконец, последними неторопливо поднялись в воздух Голубые Шары — левый, на котором было написано: «Добро пожаловать», и правый, на котором было написано: «в нашу аптеку».

Все это произошло очень быстро — Молодой Портной не успел опомниться, как его мастерская превратилась в аптеку: порошки, немного перемешавшиеся дорогой, расположились на своих местах, микстуры и настойки выстроились рядами. И хотя в мастерской было тесновато, зато на длинном портняжном столе — куда просторнее, чем на вертящихся этажерках. Голубые Шары по старой привычке удобно устроились на окнах. Висевший между ними кусок картона тоже перебрался в Немухин, но теперь Петька переделал надпись: «Хотите, верьте, хотите, нет — аптека открыта».

ТАНЯ НАХОДИТ ЛЕКАРЯ-АПТЕКАРЯ

Трудно было представить себе, что худенький старичок, поливавший левкои из старой, заржавленной лейки, и есть знаменитый Ученый Садовод Башлыков, о котором писали, что он прекрасно разбирается в цветах и даже до-

гадывается об их мыслях и чувствах. Но к сорокам он относился, без сомнения, плохо, потому что едва Таня показалась на дороге, как он нахлобучил на себя шляпу, поднял плечи и замер — изобразил пугало, очевидно совершенно забыв о том, что как раз пугало-то и должно изображать человека.

— Простите,— робко начала Таня.— Я не трону ваши цветы, а червяк мне попался только один, да и то полудохлый. Я ищу Лекаря-Аптекаря. Мне сказали, что он остановился у вас.

— Ах, боже мой! Не напоминайте мне о нем,— сказал Башлыков со вздохом.— Вы знаете это чувство? Человек уезжает, и вдруг оказывается, что жить без него невозможно. Мои цветы так соскучились по нему, что приходится поливать их по три раза в день. Сохнут!

— Где же он?

— Не знаю. Он очень торопился. Я боюсь за него,— тревожно сказал Ученый Садовод.— Мне кажется, что он просто-напросто удирал от кого-то.

Что могла сказать бедная Таня? Она поблагодарила и улетела.

Так она и не нашла бы Лекаря-Аптекаря, если бы в поле под Немухином не наткнулась на Солнечных Зайчиков, которых Петька выпустил из бутылки. Они еще прыгали, скользили в траве, прятались друг от друга. Заигрались! Ведь они были зайчики, а не взрослые зайцы.

— Скажите, пожалуйста, не видели ли вы Лошадь в очках? — спросила их Таня.

— Конечно, видели! — ответил самый пушистый Зайчик с самыми длинными разноцветными ушками.— Мы сидели в бутылке, бутылка лежала в сумке, а сумка висела на плече Лекаря-Аптекаря. Лекарь-Аптекарь сидел на передке за водовозной бочкой, а бочку тащила Лошадь в очках. Мы ехали в Немухин. И приехали бы, если бы Петька не выпустил нас из бутылки.

Сороки, как известно, летают медленно и даже вообще больше любят ходить, чем летать. Но Таня полетела в Немухин, как ласточка, а быстрее ласточек летают только стрижи. Вот и Немухин! Вот и аптека «Голубые Шары»! Вот и Лекарь-Аптекарь! Она опустилась на его плечо и сказала:

— Здра...

На «вствуйте» у нее не хватило дыхания...

Художник Заботкин не беспокоился о дочке. Он был уверен, что она отправилась с пионерским отрядом в далекий поход — так ему сказала Мария Павловна, Танина мама. Странно было только, что не зашла проститься. Но мама сказала, что ей не хотелось будить отца, а это было уже вовсе не странно.

По-видимому, вскоре он должен был умереть — по крайней мере, так утверждали врачи, разумеется, когда они думали, что он их не слышит. Но ему все казалось: а вдруг — нет?

— Там видно будет,— говорил себе Николай Андреевич и работал.

Он писал портрет своей жены, Марии Павловны, и его друзья в один голос утверждали, что этот портрет мог рассказать всю ее жизнь. Каждая морщинка говорила свое, и, хотя их было уже довольно много, художнику казалось, что двух-трех все-таки еще не хватает.

— Сюда бы еще одну, маленькую,— говорил он, смеясь.— И сюда. А без третьей я, так уж и быть, обойдусь.

И вот однажды, когда Мария Павловна пришла, чтобы пожелать ему доброго утра, он заметил, что на ее лице появилась как раз та морщинка, которая была нужна, чтобы закончить портрет.

— Вот теперь все стало на место,— сказал он и поскорее принялся за работу.

Он не знал, что новая морщинка появилась потому, что мама беспокоилась за Таню, от которой не было ни слуху ни духу.

Чтобы закончить «Портрет жены художника» — так называлась картина,— нужно было только несколько дней. И оказалось, что именно эти несколько дней прожить совсем нелегко. Но он старался, а ведь когда очень стараешься, даже невозможное становится возможным. Он работал, а когда работаешь, некогда умирать, потому что, чтобы умереть, тоже нужно время.

— Да, эта морщинка чертовски идет тебе,— устало сказал он жене, когда кисть в конце концов все-таки выпала из руки.— Никогда еще ты не была так красива.

Союз художников объявил, что Первого мая откроется выставка Николая Андреевича, и до сих пор он все развешивал свои картины — разумеется, в воображении. А теперь перестал.

— Завещаю вам пореже трогать бородавку на вашем толстом носу,— сказал он Главному Городскому Врачу.—

В конце концов это ей надоест, она сбежит от вас, а без бородавки, имейте в виду, ни один пациент вас не узнает.

Он еще шутил!

— Пожалуй, «Портрет жены художника» придется назвать портретом его вдовы,— сказал он друзьям.

Это тоже была еще шутка.

С каждым часом ему становилось все хуже.

— Может быть, мне станет легче от клюквы? — спрашивал он жену.— Или от ежевики?..

— А не попробовать ли нам черничного киселя? — спрашивал он, когда не помогли ежевика и клюква.

У Николая Андреевича было так много учеников и друзей, что когда Смерть вошла в комнату, она должна была проталкиваться сквозь толпу, чтобы добраться до его постели.

— Извините,— говорила она вежливо,— я вас не толкнула? Не будете ли вы любезны посторониться? Благодарю вас.

Друзья расступались неохотно, и она опоздала — не надолго, всего лишь на несколько минут. Но этого было достаточно: черно-белая птица с раздвоенным длинным хвостом мелькнула за окнами, и в открытую форточку влетел пузырек, на котором было написано: «Живая вода».

— А, наконец-то! — сказал Главный Городской Врач.— Ну-ка, дайте мне столовую ложку.

Смерть еще проталкивалась, но уже не так решительно, как прежде.

— Виновата,— говорила она слабеющим голосом.— Посторонитесь, господа. Что же это, в самом деле, такое?

— Боюсь, что вы опоздали, сударыня,— сказал ей Городской Врач.— Если не ошибаюсь, вам здесь нечего делать.

Это было именно так.

Танин папа выпил ложку живой воды, и Смерть остановилась, хотя была уже в двух шагах от постели. Он выпил вторую, и она попятилась назад. Он выпил третью, и Смерть вышла из комнаты. Она спускалась по лестнице с достоинством, как и полагается почтенной особе, привыкшей к тому, что в конце концов она берет свое, хотя подчас и приходится подождать денек или годик.

Таня вернулась в Лихоборы — что еще могла она сделать? С каждым днем она все больше привыкала к мысли, что она не девочка, а сорока. В общем, сороки понравились ей.

«Симпатичные, в сущности, люди, то есть птицы,— думала она.— Правда, не очень умны, зато доверчивы, а ведь и это немало».

Плохо было только одно: они воровали все, что блестело. Почти в каждом гнезде лежали золотые и серебряные колечки, цветные стеклышки, которыми девочки играют в классы, брошки, серьги и запонки. Это было неприятно. Даже Белая Ворона, гордившаяся тем, что она — ворона, время от времени возвращалась домой с какой-нибудь хорошенькой блестящей вещичкой. И Таня просто не могла понять, как такая почтенная, всеми уважаемая женщина может спокойно принимать гостей в украденных сережках.

— Извините, тетя,— однажды сказала ей Таня.— Но я не понимаю, неужели приятно воровать?

Белая Ворона неодобрительно пожала плечами.

— В тебе еще говорит бывшая честная девочка,— проворчала она.— Нет, моя милочка, воровать надо. Понятно? На то ты и Сорока-воровка.

С этим нельзя было не согласиться. И все-таки, пролетая мимо всего, что блестело, Таня крепко зажмуривала глаза. Только на солнце она не боялась смотреть.

«Ведь солнце все равно невозможно украсть,— думала она,— даже если бы очень захотелось».

И она вспомнила историю о том, как одна молодая сорока решила украсть — конечно, не солнце, а маленькую хорошенькую звездочку, на которую она с детства не могла насмотреться. Родители убеждали ее отказаться от этой неразумной затеи.

— Известно, что черт пытался украсть луну,— поучительно говорили они,— и то у него ничего не вышло. Подумай только! Самый настоящий черт, с хвостом и рогами.

— У меня тоже есть хвост,— беззаботно отвечала сорока.

Но хвост не помог ей, когда она отправилась в путь. Она летела день и ночь, а до звездочки было все так же далеко. Она решила вернуться, но по дороге ей встретился

кречет, который, по-видимому, съел ее, потому что она не вернулась.

Это была грустная история, доказавшая, кстати сказать, что воровать опасно. Но, к сожалению, она ничему не научила сорок, хотя о девушке, которая решила похитить звезду, было написано прекрасное стихотворение.

И вдруг распространился слух, что немухинские сороки решили вернуть украденные вещи.

— Никогда не поверю,— сказала Белая Ворона.— Скорее пчелы перестанут жалить.

Но слух повторился — и тогда Танина подруга решила слетать в Немухин. Вернувшись, она рассказала... Это было поразительно, то, что она рассказала. Своими глазами она видела сороку, которая своими ушами слышала, как другая сорока рассказывала, что она видела серебряное колечко, которое ее дальняя родственница вернула какой-то девочке Маше. Почему? Это был вопрос, перед которым в этот день в глубоком раздумье остановились все лихоборские сороки. Ответ был неожиданный: потому что девочка плакала и сорока ее пожалела.

Конечно, этот ответ придумала Таня. Более того, именно она шепнула первой попавшейся сплетнице, что немухинские сороки решили вернуть украденные вещи.

— Как, вы еще не вернули золотые очки Директору Комиссионного Магазина? — спросила она.— Дорогая, вы отстали от моды.

Мода — вот словечко, которое мигом облетело все сорочьи гнезда. Кому же охота отставать от моды? Сразу же появилось множество сплетен — сороки не могли жить без сплетен.

— Говорят, что сама Черная Лофорина вернула супруге бывшего Министра Двора бриллиантовую брошь, которую она стащила в тысяча девятьсот девятом году.

— А вы слышали, что в заброшенном гнезде дикой сороки нашли изумруд из короны японской императрицы?

Сережки, браслеты, цветные стеклышки, медные пуговицы от старинных солдатских мундиров, копейки, запонки, кукольные глазки вернулись на свои места или иногда — на чужие. Это, впрочем, не имеет значения. Если без них столько лет обходились люди, без них могли обойтись и сороки.

Вот как произошло событие, о котором заговорил весь город. Вот откуда взялось золотое колечко, которое машинистка Треста Зеленых Насаждений потеряла двадцать

лет тому назад, в день своей свадьбы. Вот каким образом Пал Палыч, Директор Комиссионного Магазина, нашел на столе золотые очки, которые были украдены у него в те времена, когда он еще не был Директором Комиссионного Магазина.

ВЕЛИКИЙ ЗАВИСТНИК НАДЕВАЕТ САПОГИ-СКОРОХОДЫ

Итак, все было бы хорошо, если бы в последних известиях не сообщили о том, что аптека открыта.

«В Немухине,— сказал диктор,— неожиданно открылась аптека».

— Что же здесь плохого? — скажете вы.— И почему так расстроился Лекарь-Аптекарь?

Он расстроился потому, что диктор сказал, что аптека оборудована всем необходимым и в том числе Голубыми Шарами. А если Шарами, стало быть, Великий Завистник догадается (или уже догадался), где искать Лекаря-Аптекаря, Петьку и Старую Лошадь. А если он догадается...

Самолеты в Немухин не ходят, а нужно было спешить, и Великий Завистник вытащил из чулана Сапоги-Скороходы. Они валялись среди старого хлама много лет, но механизм еще действовал, если его основательно смазать. Плохо было только то, что за ним увязалась Лора.

— Я знаю, я все знаю! — кричала она.— Ты думаешь, я не слышала, что тебе сказал Гусь?

— Он сказал «га-га»! — кричал в ответ Великий Завистник.— Клянусь тебе, больше ни слова!

— Он сказал, что видел на Пете твой ремешок.

— Ну и что же? Подумаешь!

— Нет, не подумаешь! Теперь ты съешь Петю. Я знаю, превратишь в какую-нибудь гадость и съешь!

— Ничего подобного, и не подумаю! Действительно, охота была! Успокойся, я тебя умоляю.

— Не успокоюсь!

И она действительно не успокоилась, так что пришлось, к сожалению, взять ее с собой. Это было неразумно — прежде всего потому, что для Лоры нашлись только Тапочки-Скороходы, которые все время сваливались с ее косолапеньких ножек.

В первый раз они свалились на лестнице — левая на седьмом этаже, правая на третьем, так что Великому Завистнику пришлось дать своим Сапогам задний ход.

Потом слетела только правая Тапочка. Это случилось, когда Лора шагала через Москву-реку и левая нога была уже на том берегу, а правая еще на этом.

— Мы опоздаем, они опять убегут! — кричал в отчаянии Великий Завистник.— Я не съем его, даю честное благородное слово! Останься, я тебя умоляю!

— Ни за что!

— Хочешь, условимся? Я вежливо попрошу у него ремешок, и только, если он не отдаст...

— А-а-а!

Лора заплакала так горько, что пришлось вернуться за Тапочкой и заодно подвязать ее старым шнурком от ботинок.

Между тем они могли не торопиться, потому что ни Лекарь-Аптекарь, ни Петька, ни тем более Старая Лошадь не собирались бежать.

Правда, когда диктор сказал «оборудована Голубыми Шарами», Лекарь-Аптекарь, схватившись за голову, крикнул Петьке: «Запрягай!» — и принялся укладывать банки и склянки. Но, выйдя во двор в своем длинном зеленом пальто, с сумкой на боку, в шляпе, из-под которой решительно торчал его озабоченный нос, он увидел, что Петька, сняв с себя ремешок, подвязывает его к упряжи вместо лопнувшей уздечки.

— Откуда у тебя этот ремешок? — визгливо закричал Лекарь-Аптекарь.

— Тпру-у-у!.. А что?

— Я тебя спрашиваю, откуда...

— Видите ли, в чем дело, дядя Аптекарь,— смущенно начал Петька.— Я его взял... Ну там, знаете... на Козихинской, три.

Дрожащей рукой Лекарь-Аптекарь взял ремешок и засмеялся.

— И ты молчал, глупый мальчишка? Ты носил этот ремешок и молчал?

— Видите ли, дяденька, он валялся... то есть он висел на спинке кровати. Ну, я и подумал...

— Молчи! Теперь он в наших руках!

«Теперь они в моих руках!» — думал, вытягивая губы в страшную длинную трубочку, Великий Завистник.

До Немухина осталось всего полкилометра, и он снял Сапоги, чтобы не перешагнуть маленький город.

Мрачный, втянув маленькую черную голову в плечи, он появился перед аптекой «Голубые Шары» и хотя был немного смешон — босой, с Сапогами-Скороходами, висящими за спиной,— но и страшен. Так что все одновременно и улыбнулись, и задрожали.

Он появился неожиданно. Но Лекарь-Аптекарь все-таки успел придумать прекрасный план: закрыть все окна и молчать, а когда он подойдет поближе, выставить плакат: «У нас все хорошо». А когда подойдет еще поближе — второй плакат: «Мы превосходно спим». Еще поближе — третий: «У Заботкина́ — успех», еще поближе — кричать по очереди, что у всех все хорошо, а у него — плохо.

В общем, план удался, но не сразу, потому что Великий Завистник сперва притворился добрым, как всегда, когда ему угрожала опасность.

— Мало ли у меня аптекарей,— сказал он как будто самому себе, но достаточно громко, чтобы его услышали в доме.— Один убежал — и бог с ним! Пускай отдохнет, тем более он прекрасно знает, что до первого июня чудеса в моем распоряжении.

Петька выставил в окно первый плакат.

— Ну и что же? Очень рад,— сказал Великий Завистник.— И у меня все прекрасно.

Петька выставил второй плакат: «Мы превосходно спим», и Великий Завистник слегка́ побледнел. Как известно, превосходно спят те, у кого чистая совесть, а уж чистой-то совести, во всяком случае, позавидовать стоит.

Он закрыл глаза, чтобы не прочитать третий плакат, но из любопытства все-таки приоткрыл их — и схватился за сердце.

— Вот как? У Николая Андреевича успех? — спросил он, весело улыбаясь.— А мне что за дело? Кстати, хотелось бы поговорить с тобой, Лекарь-Аптекарь. Как ты вообще? Как делишки?

— Да-с, успех! — собравшись с духом, закричал Лекарь-Аптекарь.— Надо читать газеты! За «Портрет жены» он получил Большую Золотую Медаль. Пройдет тысяча лет, а люди все еще будут смотреть на его картину. Кстати, он и не думал умирать.

— Вот как?

— Да-с. Вчера купался. Ныряет, как рыба! Что, завидно?

Великий Завистник неловко усмехнулся:

— Ничуть.

— Счастливых много! — крикнул Молодой Портной.— Я, например, влюблен и на днях собираюсь жениться!

И они наперебой стали кричать ему о том, что все хорошо. А так как он был Великий Нежелатель Добра Никому, зависть, которой было полно его сердце, выплеснулась с такой силой, что он даже почувствовал ее горечь во рту.

— Папочка, пойдем домой,— испуганно взглянув на него, прошептала Лора.

Теперь кричали все, даже Гусь, который перекинулся к Лекарю-Аптекарю — просто на всякий случай.

— Твои чудеса никому не нужны! У нас есть свои, почище!

— Всё к лучшему!

— Что, завидно? Потолстел, негодяй!

— Подожди, еще не такое услышишь!

И он действительно потолстел. Пиджак уже трещал по всем швам, от жилета отлетели пуговицы. Посреди двора стоял толстяк на тонких ногах, с маленькой, втянутой в плечи головкой.

— Ох! — простонал он.— Пояс! Верните мне пояс!

— Обойдешься подтяжками! — крикнул Гусь.— Странно, дался ему этот пояс!

Лекарь-Аптекарь засмеялся.

— Я разрезал твой пояс большими портняжными ножницами на мелкие кусочки,— сказал он.

— Не верю!

Он хотел уничтожить их взглядом, но сил уже не было, и только дверь, на которую он мельком взглянул, с грохотом сорвалась с петель.

— Не может быть,— прошептал он.— Не может быть, что все это правда! Счастливых нет! Всё — плохо и будет хуже и хуже! Портной женится и будет несчастен! Лошадь останется лошадью! Из мальчишки вырастет негодяй! Заботкин умрет! Я не лопну! Ах!

Не следует думать, что по нему пошли трещины, как по холодному стакану, когда в него нальют горячую воду. Скорее он стал похож на воздушный шар, из которого выпустили воздух. Лицо его сморщилось, потемнело. Губы вытянулись, но уже не страшной, а беспомощной, жалкой трубочкой.

И Лора увела его, потому что она была хорошая дочка, и папа, даже лопнувший от злости, все-таки остается папой.

Ну, а дальше все пошло именно так, как предсказал Лекарь-Аптекарь.

Старая Добрая Лошадь сразу же превратилась в симпатичную добрую девочку, правда с конским хвостом на голове. Но это было даже кстати, потому что вскоре выяснилось, что многие ее подруги по классу носят точно такой же лошадиный хвостик. Таня... Но о том, что случилось с Таней, нужно рассказать немного подробнее.

Вот уже несколько дней, как лихоборские сороки готовились к событию, о котором, чуть дыша от волнения, трещали с утра до вечера не только лихоборские сороки: впервые за все время существования птиц на земле открывалась сорочья школа. Причем занятия решено было начать с поговорки: «Не все то золото, что блестит». На ее изучение отводилось почти полгода. Естественно, что во всех гнездах чистились перышки, шились наряды — ведь теперь, когда сороки перестали воровать, украсить себя было довольно трудно.

— Нет, нет, вы ошибаетесь. Спину и плечи теперь носят бледно-голубые, а головку — золотисто-черную.

— Милая моя, это вы ошибаетесь. Спинку — розовую, плечи — белые с голубыми чешуйками, а ножки — красненькие.

— Ну уж, только не красненькие! На открытие школы нужно прийти в чем-нибудь строгом.

Да, это был большой день для всех лихоборских сорок. Но в особенности для Тани, потому что никто иной, как именно она, была назначена директором школы.

Серьезная, застенчивая, держась скромно, но с достоинством, она прилетела на поляну, и ребята, трещавшие наперебой, почтительно замолчали.

— Итак, дети...— начала Таня.

Но больше она ничего не успела сказать, потому что в эту минуту в далеком Немухине Великий Завистник лопнул от зависти и все его чудеса потеряли силу. Перед детьми (и родителями, облепившими все кусты) появилась девочка, Таня Заботкина, одетая и причесанная точно так же, как в ту ночь, когда она отправилась в аптеку «Голубые Шары».

Через час она уже садилась в поезд, а сороки провожали ее. Их было так много, что один местный Любитель Природы даже написал об этом в газету. Его особенно поразило, что, улетая, они покачивали крыльями, как самолеты,— он не знал, что они прощались с Таней.

— Шакерак! — высунувшись в окно, крикнула им Таня.

Это значило: «Будьте счастливы!»

— Шакерак маргольф! — отвечали сороки.

Это значило: «До свидания, мы тебя не забудем!»

Прошел месяц, за ним другой. Наступила осень. А осенью, как известно, ребята начинают понемногу забывать о том, что случилось летом. Забыла и Таня. Петька, которого она пригласила на день своего рождения, тоже забыл.

Он был уже не трусишка, как прежде, а храбрый мальчик, успевший — это было видно по его носу — испытать в жизни немало.

Конечно, Таня пригласила не только его, но и Ниночку, и Лекаря-Аптекаря, и косолапенькую Лору, которая научилась теперь ходить легко, как снегурочка, или, во всяком случае, не так тяжело, как медведь.

Дети говорили о своих делах, а взрослые — о своих.

И вдруг Солнечные Зайчики побежали по комнате — веселые, разноцветные, с коротенькими розовыми хвостами.

Одни спрятались среди стаканов на столе, другие, кувыркаясь и прыгая, побежали вдоль стен. А самый маленький уселся на носу Лекаря-Аптекаря, отогнув разноцветные ушки.

Это Петька откупорил бутылку с Солнечными Зайчиками — разумеется, просто из озорства, потому что у всех и так было превосходное настроение.

Но, может быть, Солнечные Зайчики выскочили не из бутылки? Может быть, по улице пронесли зеркало? Или в доме напротив распахнули все окна?

Так или иначе, все кончается хорошо. А ведь это самое главное, особенно если все начинается плохо.

— Конечно, все, что касается сорок, не может пригодиться для моего Путеводителя,— сказал дядя Костя.— Но то, что случилось с Аптекарем и его аптекой — помилуйте, да это же бесценный материал, который может украсить раздел моего Путеводителя «Знаменитые здания». Ручаюсь, что ни одна аптека в СССР не может похвастаться такой историей. Порошки, пилюли, банки и склянки, скучая по своему хозяину, летят за ним в другой город без ведома и разрешения Начальника Аптекоуправления! Какова привязанность! Однако есть неясность. Николай Андреевич был известным художником и жил в Москве. Почему он переехал в Немухин? Очевидно, Нил Сократович об этом не знал.

— А вы знаете?

— Да. Во-первых, потому что Мария Павловна коренная немухинка и, когда ей предложили должность Директора Института Красоты, отказаться она была просто не в силах. А во-вторых, потому, что Николаю Андреевичу после болезни доктора запретили жить в больших городах. Живопись он не бросил, но Главному Архитектору города Немухина и без живописи хватает дела. Так или иначе, кое-что мне пригодится. Я, кстати, успел уже написать первую фразу: «Время основания Немухина история точно еще не установила; по-видимому, оно затерялось в седой глубине веков». Ну, как?

— Отлично.

— «И только легенды, дошедшие до нас,— продолжал дядя Костя,— говорят, что он был основан в двадцатом веке».

— Превосходно!

— А вот с картой беда! К Путеводителю надо приложить карту, а у меня, как на грех, еще в школе по географии были двойки и тройки.

Я взглянул на карту, которую начертил дядя Костя, и подумал, что для Путеводителя она все-таки едва ли может пригодиться. Площадь Фигурного Катанья, которая называлась так, потому что зимой на ней устраивался каток, он переименовал в Площадь Бальных Танцев на Льду. Прямой переулок в Не Очень Прямой.

Я объяснил ему, что переименование улиц — обязанность Горсовета и хотя похвально, что дядя Костя взял

это на себя, однако карта, приложенная к Путеводителю, должна соответствовать действительности, а не воображению.

— Жаль,— со вздохом сказал дядя Костя.— Ну, что же! Тогда придется попросить Павла Степановича. Ведь он, как учитель географии, в этом деле, как говорится, дока.

— Без сомнения!

— Так, может быть, заглянем к нему?

Гроссмейстер был занят, когда мы пришли: выслушивал ежа, у которого было больное сердце.

— Н-да,— задумчиво сказал он.— Сердечная недостаточность. Вам сколько лет?

Еж показал лапкой сперва пять, а потом еще три.

— Восемь? Немало. Надо почаще отдыхать, мой милый.

Еж послушно пошевелил коротким хвостиком и ушел, а дядя Костя развернул перед Павлом Степановичем свою карту.

Кстати, рассказывая о Гроссмейстере, я совершенно забыл упомянуть, что он был человеком удивительно вежливым — не случайно, например, он обратился к ежу на «вы». Лицо его осталось совершенно спокойным, когда он рассматривал карту — без сомнения, он боялся, что даже добродушная улыбка обидела бы дядю Костю.

— Я попрошу своих десятиклассников начертить карту Немухина,— сказал он,— и самой удачной мы воспользуемся для Путеводителя. Идет?

И в эту минуту... Трудно даже сказать, что случилось в эту минуту! На первый взгляд ничего не случилось. Радио было включено, и, когда мы вошли, передавалась музыка. А теперь музыка прекратилась и звучный женский голос сказал: «Приятное известие! Журнал «Новости науки и техники» вместо очередной корреспонденции напечатал сказку «Песочные Часы», подписанную Н. Кто. Это можно понять как «Никто» или «Некто». Мы подозреваем, однако, что таинственный «Некто» или «Никто» знаком немухинцам и что они порадуются вместе с нами».

Забегая вперед, я должен заметить, что эта заметка произвела сильное впечатление в городе — не было дома, в котором ее не прочитали бы вслух. Теперь редко употребляется слово «фурор», то есть шумное, публичное

одобрение. Так вот, заметка произвела фурор, причем, обсуждая ее, немухинцы делились радостными предположениями, хотя для радости не было, казалось бы, никаких оснований. Разговоры вертелись вокруг загадочного вопроса: «он» или «не он». Одни утверждали, что это «он», поскольку «он» подчас подписывался «Никто». А другие — что это «не он», поскольку иногда под его корреспонденциями стояла подпись «Некто».

Но был в городе один человек, который не только огорчился, услышав по радио эту заметку, но перестал спать и даже провел целый день в постели с холодным мокрым полотенцем на лбу. Это был — вы не поверите — Павел Степанович Неломахин. Куда делась его невозмутимость, спокойствие, трезвый, рассудительный ум? В старом халате он, ничего не делая, бродил по квартире. И это началось именно в тот день, когда мы советовались с ним насчет карты Немухина.

Услышав радио, он немедленно побежал в газетный киоск, держа в руках свежий номер «Новостей науки и техники». Должно быть, он уже успел просмотреть его, потому что выбежал из дома одним человеком, а вернулся совершенно другим — мрачным, с остановившимся взглядом.

И в киоске, и в книжном магазине все номера журнала были разобраны, но, подходя к гостинице, я встретил Петю Воробьева, который шел, читая журнал на ходу и натыкаясь на прохожих. Я спросил его, кто, по его мнению, напечатал сказку, и он ответил, не задумываясь:

— Конечно, Нил Сократович.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что мы с Танькой Заботкиной когда-то — сто лет тому назад — все это ему рассказали. Хотите прочесть?

— Еще бы!

И, вернувшись к себе, я прочел сказку, которая называлась

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

В пионерском лагере появился новый воспитатель. Ничего особенного, обыкновенный воспитатель! Большая черная борода придавала ему странный вид, потому что

она была большая, а он маленький. Но дело было не в бороде!

В этом пионерском лагере был один мальчик. Его звали Петька. Потом там была одна девочка. Ее звали Таня. Все говорили ей, что она храбрая, и это ей очень нравилось. Кроме того, она любила смотреться в зеркало и хотя каждый раз находила там только себя, а все-таки смотрела и смотрела.

А Петька был трус. Ему говорили, что он трус, но он отвечал, что зато он умный. И верно: он был умный и замечал то, что другой и храбрый не заметит.

И вот однажды он заметил, что новый воспитатель каждое утро встает очень добрый, а к вечеру становится очень злой.

Это было удивительно! Утром ты хоть что у него попроси — никогда не откажет! К обеду он был уже довольно сердитый, а после мертвого часа только гладил свою бороду и не говорил ни слова. А уж вечером!.. Лучше к нему не подходи! Он сверкал глазами и рычал.

Ребята пользовались тем, что по утрам он добрый. В реке сидели часа по два, стреляли из рогатки, дергали девочек за косы. Каждый делал, что ему нравилось. Зато уж после обеда — нет! Все ходили смирные, вежливые и только прислушивались, не рычит ли где-нибудь «Борода» — так его прозвали.

Ребята, которые любили ябедничать, ходили к нему именно вечером, перед сном. Но он обыкновенно откладывал свое решение на завтра, а утром вставал уже добрый-предобрый. И объяснял им, что ябедничать неблагородно.

Это была загадка! Но это была еще не вся загадка, а только половина.

Петька очень любил читать; должно быть, поэтому он и был такой умный. Он повадился читать, когда другие ребята еще спали.

И вот однажды, проснувшись рано утром, он вспомнил, что оставил свою книгу в читальне. Читальня была рядом с комнатой Бороды, и, когда Петька пробегал мимо, он подумал: «Интересно, какой Борода во сне?» Кстати, дверь в его комнату была открыта не очень, а как раз, чтобы заглянуть. Петька подошел на цыпочках и заглянул.

Знаете, что он увидел? Борода стоял на голове! Пожалуй, можно было подумать, что это утренняя зарядка.

Борода постоял немного, а потом вздохнул и сел на кровать. Он сидел очень грустный и все вздыхал. А потом — раз! И снова стал на голову, да так ловко, точно это было для него совершенно то же самое, что стоять на ногах. Это действительно была загадка!

Петька решил, что Борода прежде был клоуном или акробатом. Но зачем же ему теперь-то стоять на голове, да еще рано утром, когда на него никто не смотрит? И почему он вздыхал и грустно качал головой?

Петька думал, думал, и хотя он был очень умный, но все-таки ничего не понимал. На всякий случай он никому не рассказал, что новый воспитатель стоял на голове,— это была тайна! Но потом не выдержал и рассказал Тане.

Таня сперва не поверила.

— Врешь,— сказала она.

Она стала хохотать и украдкой посмотрела на себя в зеркальце: ей было интересно, какая она, когда смеется.

— А тебе это не приснилось?

— Нет.

— Будто не приснилось, а на самом деле приснилось.

Но Петька дал честное слово, и тогда она поверила, что это не сон.

Нужно вам сказать, что Таня очень любила нового воспитателя, даром что он был такой странный. Ей даже нравилась его борода. Он часто рассказывал Тане разные истории, и Таня готова была слушать их с утра до ночи.

И вот на другое утро — весь дом еще спал — Петька и Таня встретились у читальни и на цыпочках пошли к Бороде. Но дверь была закрыта, и они только услышали, как Борода вздыхает.

А нужно вам сказать, что окно этой комнаты выходило на балкон, и, если влезть по столбу, можно было увидеть, стоит Борода на голове или нет. Петька струсил, а Таня полезла. Она влезла и посмотрела на себя в зеркальце, чтобы узнать, не очень ли она растрепалась. Потом на цыпочках подошла к окну да так и ахнула: Борода стоял на голове!

Тут уж и Петька не выдержал. Хотя он был трус, но любопытный, а потом ему нужно было сказать Тане: «Ага, я тебе говорил!» Вот влез и он, и они стали смотреть в окно и шептаться.

Конечно, они не знали, что это окно открывалось внутрь. И когда Петька и Таня налегли на него и стали шептаться, оно вдруг распахнулось. Раз! — и ребята хлоп-

нулись прямо к ногам Бороды, то есть не к ногам, а к голове, потому что он стоял на голове. Если бы такая история произошла вечером или после тихого часа, несдобровать бы тогда Тане и Петьке! Но Борода, как известно, по утрам бывал добрый-предобрый! Поэтому он встал на ноги и только спросил ребят, не очень ли они ушиблись.

Петька был ни жив ни мертв. А Таня даже вынула зеркальце, чтобы посмотреть, не потеряла ли она бантик, пока летела.

— Ну что ж, ребята,— грустно сказал Борода,— я мог бы, конечно, сказать вам, что доктор прописал мне стоять на голове по утрам. Но не надо врать. Вот моя история.

Когда я был маленьким мальчиком — таким, как ты, Петя,— я был очень невежлив. Никогда, вставая из-за стола, я не говорил маме «спасибо», а когда мне желали спокойной ночи, только показывал язык и смеялся. Никогда я вовремя не являлся к столу, и нужно было тысячу раз звать меня, пока я наконец отзывался. В тетрадях у меня была такая грязь, что мне самому было неприятно. Но раз уж я был невежливый, не стоило следить и за чистотой в тетрадях. Мама говорила: «Вежливость и аккуратность!» Я был невежливый — стало быть, и неаккуратный.

Никогда я не знал, который час, и часы казались мне самой ненужной вещью на свете. Ведь и без часов известно, когда хочется есть! А когда хочется спать, разве без часов не известно?

И вот однажды к моей няне (у нас в доме много лет жила старая няня) пришла в гости одна старушка.

Только она вошла, как сразу стало видно, какая она чистенькая и аккуратная. На голове у нее был чистенький платочек, а на носу очки в светлой оправе. В руках она держала чистенькую палочку, и вообще она была, должно быть, самая чистенькая и аккуратная старушка на свете.

Вот она пришла и поставила палочку в угол. Очки она сняла и положила на стол. Платочек тоже сняла и положила себе на колени.

Конечно, теперь бы мне понравилась такая старушка. Но тогда она мне почему-то ужасно не понравилась. Поэтому, когда она вежливо сказала мне: «Доброе утро, мальчик!» — я показал ей язык и ушел.

И вот что я сделал, ребята! Я потихоньку вернулся,

залез под стол и стащил у старушки платочек. Мало того, я стащил у нее из-под носа очки. Потом я надел очки, повязался платочком, вылез из-под стола и стал ходить, сгорбившись и опираясь на старушкину палку.

Конечно, это было очень плохо. Но мне показалось, что старушка не так уж обиделась на меня. Она только спросила, всегда ли я такой невежливый, а я вместо ответа опять показал ей язык.

«Слушай, мальчик,— сказала она, уходя.— Я не могу научить тебя вежливости. Но зато я могу научить тебя точности, а от точности до вежливости, как известно, только один шаг. Не бойся, я не превращу тебя в Стенные Часы, хотя и стоило бы, потому что Стенные Часы — это самая вежливая и точная вещь в мире. Никогда они не болтают лишнего и только знай себе делают свое дело. Но мне жаль тебя. Ведь Стенные Часы всегда висят на стене, а это скучно. Лучше я превращу тебя в Песочные Часы».

Конечно, если бы я знал, кто эта старушка, я бы не стал показывать ей язык. Это была Фея Вежливости и Аккуратности — недаром она была в таком чистеньком платочке, с такими чистенькими очками на носу...

И вот она ушла, а я превратился в Песочные Часы. Конечно, я не стал настоящими Песочными Часами. Вот у меня, например, борода, а где же видна у Песочных Часов борода! Но я стал совсем как часы. Я стал самым точным человеком на свете. А от точности до вежливости, как известно, только один шаг.

Наверное, вы хотите спросить меня, ребята: «Тогда почему же вы такой грустный?» Потому что самого главного Фея Вежливости и Аккуратности мне не сказала. Она не сказала, что каждое утро мне придется стоять на голове, потому что за сутки песок пересыпается вниз, а ведь когда в Песочных Часах песок пересыпается вниз, их нужно перевернуть вверх ногами. Она не сказала, что по утрам, когда Часы в порядке, я буду добрым-предобрым, а чем ближе к вечеру, тем буду становиться все злее. Вот почему я такой грустный, ребята! Мне совсем не хочется быть злым, ведь на самом деле я действительно добрый. Мне совсем не хочется каждое утро стоять на голове. В мои годы это неприлично и глупо. Я даже отрастил себе длинную бороду, чтобы не было видно, что я такой грустный. Но мало помогает мне борода!

Конечно, ребята слушали его с большим интересом.

Петька смотрел ему прямо в рот, а Таня ни разу не взглянула в зеркальце, хотя было бы очень интересно узнать, какая она, когда слушает историю о Песочных Часах.

— А если найти эту Фею,— сказала она,— и попросить, чтобы она снова сделала вас человеком?

— Да, это можно сделать, конечно,— сказал Борода.— Если тебе меня действительно жаль.

— Очень,— сказала Таня.— Мне вас очень жаль, честное слово. Тем более если бы вы были мальчик, как Петька... А воспитателю стоять на голове неудобно.

Петька тоже сказал, что да, жаль, и тогда Борода дал им адрес Феи Вежливости и Аккуратности и попросил их похлопотать за него.

Сказано — сделано! Но Петька вдруг испугался. Он сам не знал, вежливый он или невежливый. А вдруг Фее Вежливости и Аккуратности захочется и его во что-нибудь превратить?

И Таня отправилась к Фее одна...

Это была самая чистенькая комната в мире! На чистом полу лежали разноцветные чистые половики. Окна были так чисто вымыты, что даже нельзя было определить, где кончается стекло и начинается воздух. На чистом подоконнике стояла герань, и каждый листик так и блестел.

В одном углу висела клетка с попугаем, и у него был такой вид, как будто он каждое утро моется мылом. А в другом — висели ходики. Что это были за чудные ходики! Они не говорили ничего лишнего, а только «тик-так», но это значило: «Вы хотите узнать, который час? Пожалуйста».

Сама Фея сидела у стола и пила черный кофе.

— Здравствуйте! — сказала ей Таня.

И поклонилась так вежливо, как только могла. При этом она посмотрела в зеркальце, чтобы узнать, как это у нее получилось.

— Ну что же, Таня,— сказала Фея,— я ведь знаю, зачем ты пришла. Но нет, нет! Это очень противный мальчишка.

— Он уже давно не мальчишка,— сказала Таня.— У него длинная черная борода.

— Для меня он еще мальчишка,— сказала Фея.— Нет, пожалуйста, не проси за него! Я не могу забыть, как он стащил мои очки и платочек и как передразнивал меня,

сгорбившись и опираясь на палку. Надеюсь, что с тех пор он довольно часто обо мне вспоминает.

Таня подумала, что с этой старой тетушкой нужно быть очень вежливой, и на всякий случай поклонилась ей снова. При этом она снова посмотрела в зеркальце, чтобы узнать, как это у нее получилось.

— А может быть, вы все-таки расколдовали бы его? — попросила она.— Мы его очень любим, особенно по утрам. Если в лагере узнают, что ему приходится стоять на голове, над ним станут смеяться. Я его так жалею...

— Ах, ты его жалеешь? — заворчала Фея.— Это другое дело. Это первое условие для того, чтобы я простила. Но под силу ли тебе второе условие?

— Какое же?

— Ты должна отказаться от того, что тебе нравится больше всего на свете.— И Фея показала на зеркальце, которое Таня как раз вынула из кармана, чтобы узнать, как она выглядит, когда разговаривает с Феей.— Ты не должна смотреться в зеркало ровно год и один день.

Вот тебе раз! Этого Таня не ожидала. Целый год не смотреться в зеркало? Как же быть? Завтра в пионерском лагере прощальный бал, и Таня как раз собиралась надеть новое платье, то самое, которое она хотела надеть целое лето.

— Это очень неудобно,— сказала она.— Например, утром, когда заплетаешь косы. Как же без зеркала? Ведь я тогда буду растрепанная, и вам самой это не понравится.

— Как хочешь,— сказала Фея.

Таня задумалась.

«Конечно, это ужасно. Ведь, по правде говоря, я смотрюсь в зеркальце каждую минуту, а тут здравствуйте! Целый год да еще целый день! Но ведь мне это все-таки легче, чем бедному Бороде каждое утро стоять вверх ногами».

— Я согласна,— сказала она.— Вот мое зеркальце. Я приду за ним через год.

— И через день,— проворчала Фея.

И вот Таня вернулась в лагерь. По дороге она старалась не смотреться даже в лужи, которые попадались ей навстречу. Она не должна была видеть себя ровно год и день. Ох, это очень долго! Но раз она решила, значит, так и будет.

Конечно, Петьке она рассказала, в чем дело, а больше никому, потому что хотя была и храбрая, но все-таки побаивалась, что девчонки возьмут да и подсунут зеркальце — и тогда все пропало! А Петька не подсунет.

— Интересно, а если ты увидишь себя во сне? — спросил он.

— Во сне не считается.

— А если ты во сне посмотришься в зеркальце?

— Тоже не считается.

Бороде она просто сказала, что Фея расколдует его через год и день. Он обрадовался, но не очень, потому что не очень поверил.

И вот для Тани начались трудные дни. Пока она жила в лагере, еще можно было кое-как обходиться без зеркала. Она попросила Петьку:

— Будь моим зеркалом!

И он смотрел на нее и говорил, например: «Кривой пробор», или: «Бант завязан косо». Он замечал даже то, что самой Тане в голову не приходило. Кроме того, он уважал ее за сильную волю, хотя и считал, что год не смотреться в зеркало — это просто ерунда. Он, например, хоть бы и два не смотрелся!

Но вот кончилось лето, и Таня вернулась домой.

— Что с тобой, Таня? — спросила ее мама, когда она вернулась.— Ты, наверное, ела черничный пирог?

— Ах, это потому, что перед отъездом я не видела Петьки,— отвечала Таня.

Она совсем забыла, что мама ничего не знает об этой истории. Но Тане не хотелось рассказывать: а вдруг ничего не выйдет?

Да, это была не шутка! День проходил за днем, и Таня даже забыла, какая она, а прежде думала, что хорошенькая. Теперь случалось, что она воображала себя красавицей, а сама сидела с чернильной кляксой на лбу! А иногда, наоборот, она казалась себе настоящим уродом, а сама была как раз хорошенькая — румяная, с толстой косой, с блестящими глазами.

Но все это пустяки в сравнении с тем, что случилось во Дворце пионеров.

В городе, где жила Таня, должен был открыться Дворец пионеров. Это был превосходный Дворец! В одной комнате стоял капитанский мостик, и можно было кричать в рупор: «Стоп! Задний ход!» В кают-компании ребята играли в шахматы, а в мастерских учились делать

игрушки — не какие-нибудь, а самые настоящие. Игрушечный мастер в черной круглой шапочке говорил ребятам: «Это так», или: «Это не так». В зеркальном зале были зеркальные стены и, куда ни взглянешь, все было из зеркального стекла — столы, стулья и даже гвоздики, на которых в зеркальных рамах висели картины. Зеркала отражались в зеркалах — и зал казался бесконечным.

Целый год ребята ждали этого дня, многие должны были выступить и показать свое искусство. Скрипачи по целым часам не расставались со скрипками, так что даже их родители должны были время от времени закладывать уши ватой. Художники ходили перемазанные красками. Танцоры упражнялись с утра до вечера, и среди них — Таня.

Как она готовилась к этому дню! Ленточки, которые заплетают в косы, она гладила восемь раз — ей все хотелось, чтобы в косах они остались такими же гладкими, как на гладильной доске. Танец, который Таня должна была исполнить, она каждую ночь танцевала во сне.

И вот наступил торжественный день. Скрипачи в последний раз взялись за свои скрипки, и родители вынули вату из ушей, чтобы послушать их менуэты и вальсы. Таня в последний раз протанцевала свой танец. Пора! И все побежали во Дворец пионеров.

Кого же Таня встретила у подъезда? Петьку.

Конечно, она сказала ему:

— Будь моим зеркалом!

Он осмотрел ее со всех сторон и сказал, что все хорошо, только нос как картошка. Но Таня так волновалась, что ему не попало.

Был здесь и Борода. Открытие было назначено на двенадцать часов утра, и он поэтому был еще добрый. Его посадили в первом ряду, потому что нельзя же человека с такой длинной прекрасной бородой посадить во втором или третьем. Он сидел и с нетерпением ждал, когда выступит Таня.

И вот скрипачи исполнили свои вальсы и менуэты, а художники показали, как чудесно они умеют рисовать, и Главный Распорядитель с большим голубым бантом на груди прибежал и крикнул:

— Таня!

— Таня! Таня! На сцену! — закричали ребята.

— Сейчас будет танцевать Таня,— с удовольствием сказал Борода.— Но где же она?

В самом деле, где же она? В самом темном уголке она сидела и плакала, закрыв лицо руками.

— Я не буду танцевать,— сказала она Главному Распорядителю.— Я не знала, что мне придется танцевать в зеркальном зале.

— Что за глупости! — сказал Главный Распорядитель.— Ведь это очень красиво! Ты увидишь себя сразу в сотне зеркал. Неужели тебе это не нравится? Первый раз в жизни встречаю такую девочку!

— Таня, ты обещала — значит, должна! — сказали ребята.

Это было совершенно верно: она обещала — значит, должна. И никому она не могла объяснить, в чем дело, только Петьке! Но Петька в это время стоял на капитанском мостике и говорил в рупор: «Стоп! Задний ход!»

— Хорошо,— сказала Таня,— я буду танцевать.

Она была в легком белом платье, таком легком, чистом и белом, что сама Фея Вежливости и Аккуратности, которая так любила чистоту, осталась бы им довольна.

Прекрасная девочка! На этом все сошлись, едва она появилась на сцене. «Однако посмотрим,— сказали все про себя,— как она будет танцевать».

Конечно, она очень хорошо танцевала, особенно когда можно было кружиться на одном месте, или кланяться, приседая, или красиво разводить руками. Но странно: когда нужно было бежать через сцену, она останавливалась на полдороге и вдруг поворачивала назад. Она танцевала, как будто сцена была совсем маленькая, а нужно вам сказать, что сцена была очень большая и высокая, как и полагается во Дворце пионеров.

— Да, недурно,— сказали все.— Но, к сожалению, не очень, не очень! Она танцует неуверенно. Она как будто чего-то боится!

И только Борода находил, что Таня танцует прекрасно.

— Да, но посмотрите, как странно она протягивает руки перед собой, когда бежит через сцену,— возразили ему.— Она боится упасть. Нет, эта девочка, пожалуй, никогда не научится хорошо танцевать.

Эти слова как будто донеслись до Тани. Она понеслась по сцене — ведь в зеркальном зале было много ее друзей и знакомых и ей очень хотелось, чтобы они увидели, как

хорошо она умеет танцевать. Больше она ничего не боялась, во всяком случае, никто больше не мог сказать, что она чего-то боится.

И во всем огромном зеркальном зале только один человек все понимал! Как же он волновался за Таню! Это был Петька.

«Вот так девочка!» — сказал он про себя и решил, что непременно нужно будет стать таким же храбрым, как Таня.

«Ох, только бы поскорее кончился этот танец!» — думал он, но музыка все играла, а раз музыка играла, Таня, понятно, должна была танцевать.

И она танцевала все смелее и смелее. Все ближе подбегала она к самому краю сцены, и каждый раз у Петьки замирало сердце.

«Ну, музыка, кончайся,— говорил он про себя, но музыка все не кончалась.— Ну, миленькая, скорее»,— все говорил он, но музыка знай себе играла да играла.

— Смотрите-ка, да ведь эта девочка прекрасно танцует! — сказали все.

— Ага, я вам говорил! — сказал Борода.

А в это время Таня, кружась и кружась, все приближалась к самому краю сцены. Ах! И она упала.

Вы не можете себе представить, какой переполох поднялся в зале, когда, еще кружась в воздухе, она упала со сцены! Все испугались, закричали, бросились к ней и испугались еще больше, когда увидели, что она лежит с закрытыми глазами. Борода в отчаянии стоял перед ней на коленях. Он боялся, что она умерла.

— Доктора, доктора! — кричал он.

Но громче всех кричал, разумеется, Петька.

— Она танцевала с закрытыми глазами! — кричал он.— Она обещала не смотреться в зеркало ровно год и день, а прошло еще только полгода! Не беда, что у нее закрыты глаза! В соседней комнате она их откроет!

Совершенно верно! В соседней комнате Таня открыла глаза.

— Ох, как я плохо танцевала,— сказала она.

И все засмеялись, потому что она танцевала прекрасно.

Пожалуй, на этом можно было бы окончить Сказку о Песочных Часах. Да нет, нельзя! Потому что на другой день сама Фея Вежливости и Аккуратности пришла к Тане в гости.

Она пришла в чистеньком платочке, а на носу у нее

были очки в светлой оправе. Свою палочку она поставила в угол, а очки сняла и положила на стол.

— Ну, здравствуй, Таня! — сказала она.

И Таня поклонилась ей так вежливо, как только могла. При этом она подумала: «Интересно, а как это у меня получилось?»

— Ты исполнила свое обещание, Таня,— сказала ей Фея.— Хотя прошло еще только полгода и полдня, но ты отлично вела себя за эти полдня и полгода. Что ж, придется мне расколдовать этого противного мальчишку.

— Спасибо, тетя Фея,— сказала Таня.

— Да, придется расколдовать его,— с сожалением повторила Фея,— хотя он вел себя тогда очень плохо. Надеюсь, с тех пор он чему-нибудь научился.

— О да! — сказала Таня.— С тех пор он стал очень вежливым и аккуратным. И потом, он уже давно не мальчишка. Он такой почтенный дядя, с длинной черной бородой!

— Для меня он еще мальчишка,— возразила Фея.— Ладно, будь по-твоему. Вот тебе твое зеркальце. Возьми его! И помни, что в зеркальце не следует смотреться слишком часто.

С этими словами Фея вернула Тане ее зеркальце и исчезла.

И Таня осталась вдвоем со своим зеркальцем.

— Ну-ка, посмотрим,— сказала она себе.

Из зеркальца на нее смотрела все та же Таня, но теперь она была решительная и серьезная, как и полагается девочке, которая умеет держать свое слово.

Конечно, вы хотите узнать, ребята, что теперь поделывает Борода? Фея расколдовала его, так что теперь он уже нисколько не похож на Песочные Часы — ни внутри, ни снаружи. Больше он не стоит по утрам на голове. Но по вечерам он еще иногда бывает злой, и, когда его спрашивают: «Что с вами? Почему вы такой злой?» — он вежливо отвечает: «Не беспокойтесь, пожалуйста, это привычка».

Обсуждаем шестую сказку: «Кто же подумает, что это были вы!»

Мрачное лицо Павла Степановича с остановившимся взглядом ежеминутно вспоминалось мне, пока я читал эту сказку. Что могло его так огорчить? Правда, немного

странным казалось, что он собрал в своем доме целую коллекцию песочных часов. Целую коллекцию, в то время как в сказке упоминалось только об одном экземпляре!

Зайти к нему и спросить: «Павел Степанович, что вас так огорчило?» Пожалуй, это было неудобно по отношению к такому уважаемому человеку. Но мне повезло: Тюпа вывихнул лапу, гоняясь за мухой. Мария Павловна торопилась в Институт Красоты и попросила меня отнести к Гроссмейстеру жалобно мяукавшего кота.

Вот тогда-то я и нашел Павла Степановича в халате, с непричесанной бородкой, еще не изменившегося до неузнаваемости, но уже непохожего на себя...

С Тюпой он обошелся просто: сильно дернул его за лапку, а когда кот оглушительно заорал, не теряя времени, влил в его открытый рот валерианку.

— Павел Степанович,— сказал я, поблагодарив его и собираясь уходить,— позвольте спросить вас: что с вами? Может быть, мне удалось бы чем-нибудь вам помочь?

Он тяжело вздохнул:

— Чем вы можете помочь человеку, которого опозорили на весь Советский Союз?

— Вас опозорили? Кто же?

Он взял со стула журнал.

— Читали?

— Да. И что же?

— А то, что на меня теперь будут показывать пальцами. И смеяться.

— Над вами? Вы хотите сказать...

Я замолчал. Неужели он и был тот мальчик, который так невежливо обошелся с Феей Вежливости и Аккуратности и должен был стоять на голове годами? Неужели, если бы Таня не решилась похлопотать за него, он и теперь по утрам радовал бы всех своей вежливостью, а по вечерам рычал, сверкая глазами?

— Да, да,— сказал он, как будто угадав мои мысли.— Все это случилось со мной. Очевидно, Петька и Таня рассказали эту историю Нилу Сократовичу, и он теперь, через девять... нет, десять лет...

— Помилуйте, Павел Степанович, да кто же подумает, что это были вы? Разве вы работали воспитателем в пионерском лагере?

— Работал,— мрачно подтвердил Павел Степанович.

— Ну так что! Ведь не только вашей фамилии там нет, но даже не назван город. Читателю и в голову не

придет, что все это произошло в Немухине! Нарочно указано, что воспитателем был маленький человек. А вы — среднего роста. У него была такая большая борода, что ребята его так и звали. А она у вас маленькая.

— Была большая.

— Мальчик и девочка названы только по именам, а ведь мало ли на свете Таней и Петей? В Немухинском Дворце пионеров, конечно, есть зеркала, но в Концертном Зале их нет и никогда не бывало.

Павел Степанович слушал меня, и мне показалось, что лицо его посветлело.

— Вы думаете? — неуверенно спросил он.

— Более чем уверен. И все это не случайно. Так что вы напрасно рассердились на Нила Сократовича. Он написал эту историю как бы в духе народных сказок. Вспомните, как они обычно начинаются: «В некотором царстве, в некотором государстве». Так поступил и он. Нет, нет! Вы напрасно огорчились! Посмотрите на себя: ведь вас за два дня просто не узнать стало!

Павел Степанович взглянул в зеркало и снова вздохнул.

— Так вы полагаете, это не беда? — с надеждой спросил он.

— Глубоко убежден. Вот скажите, после того, как весь Немухин прочел эту сказку, вы с кем-нибудь говорили?

— Директор школы звонил. Справлялся о здоровье. Многие звонили.

— И что же? Вы заметили, что они над вами смеются?

— Нет. Но насчет сказки спрашивают.

— Спрашивают, потому что всем хочется, чтобы этот «Никто» или «Некто» оказался Нилом Сократовичем.

— Да какие же могут быть сомнения?

Он помолчал.

— Значит, вы считаете...

— Я считаю, что вы должны принять ванну, причесаться, одеться и навеки забыть, что когда-то вам приходилось каждое утро стоять на голове.

Мы простились, но я вернулся с порога:

— Извините, Павел Степанович. Но теперь, когда вы успокоились, могу я вас спросить: зачем вы постоянно держите перед глазами Песочные Часы? Ведь они должны напоминать...

— Вот для того и держу, чтобы напоминали,— сурово

ответил он.— Ведь это только кажется, что я такой уж вежливый и аккуратный. А на самом деле я очень часто с трудом сдерживаюсь, чтобы не сказать кому-нибудь дерзость. Особенно по вечерам. Что поделаешь! Дурная привычка!

А седьмую нашли!

Если бы дядя Костя не убедил Горсовет, что Музею до зарезу нужен ночной сторож, возможно, что немухинцы не заговорили бы о возвращении Нила Сократовича в Немухин — они просто не могли вообразить на его месте другого человека. Между тем они заговорили. Более того: сестрам Фетяска снова приснился сон: они своими глазами увидели Нила Сократовича, который, закинув плащ на левое плечо, стоял на палубе фрегата. Но позвольте! Как известно, два уважаемых гражданина держали пари, что Немухинку можно перейти на ходулях. Как же мог поместиться в ее берегах фрегат, трехмачтовый парусный корабль. Однако сестры Фетяска утверждали, что поместился, и, как нарочно, через несколько дней в город прибыли землечерпательные машины. Горсовет давно решил углубить русло, расширить берега — словом, сделать Немухинку судоходной рекой. И тогда решительно весь город, до последнего человека, поверил, что сон в руку и что Нил Сократович вернется не иначе, как на фрегате.

Замечали ли вы, что общее желание — если, конечно, ему не мешать, постепенно превращается в уверенность, а уверенность — в исполнение желания. Так вот эта необъяснимая уверенность заставила дядю Костю отказать сперва одному кандидату, который надеялся получить место ночного сторожа, а потом другому, несмотря на то, что они были достойные уважения люди. Но поступить вопреки общему желанию он не мог, тем более что Горсовет, решая вопрос об увеличении штата Музея, как бы воочию видел в этой должности Нила Сократовича, и никого другого.

...О слухах говорят, что они ползут, но этот слух полетел, как подхваченный ветром. Он летел горизонтально — из одной улицы в другую, но в то же время и вертикально — от первого этажа до самой крыши, где голуби и галки прислушивались к нему с интересом.

Сперва разговоры в городе сравнительно медленно вертелись вокруг возвращения Ночного Сторожа. Но когда Горсовет принял постановление, они стали вертеться быстро и вдруг остановились, сосредоточившись на вопросе: «Когда?»

На дворе стоял уже октябрь, и было решено, что Нил Сократович — если сон действительно в руку — вернется не позже конца месяца. Случалось, что в конце ноября Немухинка уже замерзала. Потом откуда-то появилась дата, и, так как это была действительно дата, то есть календарное число, отмечающее (или не отмечающее) событие, к концу ноября в Немухин стали съезжаться те, кому хотелось встретить Нила Сократовича и вместе с ним порадоваться его возвращению.

Из поселка Любителей Свежего Воздуха приехали Фея Музыки со своим Кузнецом, прихватив большой букет из осенних цветов. Приехал Петя Воробьев из Москвы, где он учился в Университете, и Таня Заботкина тоже из Москвы, где она училась в Консерватории. Пришел из Березовой Рощи Леший Трофим Пантелеевич, который от застенчивости не мог вымолвить ни слова и только время от времени понюхивал табачок. Прилетела откуда-то из Сибири Настенька, не забывшая, что в детстве она была Снегурочкой. На пристани она стояла под зонтиком — был ясный солнечный день. На пристани? Да, вообразите, именно на пристани, недавно построенной Николаем Андреевичем и, по общему мнению, украсившей город. На пристани, потому что Ночной Сторож телеграфировал, что вернется — правда, не на фрегате, но на яхте, принадлежавшей Тулупову, Директору Института Вечного Льда. В годы своих странствий Нил Сократович познакомился и подружился с ним.

Что касается коренных немухинцев — нечего и говорить: здесь были все — начиная с Трубочного Мастера и кончая Славиком Заботкиным, который учился уже в третьем классе. Словом, на берегу собрался почти весь город — хорошо, что Николай Андреевич размахнулся и построил настоящий Речной Вокзал. В плане будущего Путеводителя дяди Кости этот Вокзал был уже указан как одно из самых красивых зданий. Среди взрослых было много детей — они рассчитывали, без сомнения, что, едва ступив на берег, Нил Сократович расскажет им новую сказку. Стоит заметить, что они угадали. Но не будем забегать вперед!

По радио было сообщено, что яхта находится па расстоянии двух кабельтовых — диктор, бывший боцман, любил морские выражения,— иными словами, вот-вот должна появиться за поворотом. Пристань заволновалась, а оркестранты Музыкальной Школы приставили к губам мундштуки своих корнетов и кларнетов. Еще семь, шесть, пять минут — и ясно послышалось дыхание ветра, осторожно выгибающего паруса показавшейся яхты. Да, сестры Фетяска ошиблись во сне. Это была небольшая стройная яхта, ничем не напоминавшая ни фрегат, ни образ фрегата, мелькнувший в сознании тех, кто слушал концерт Варвары Андреевны во Дворце пионеров. Не торопясь, яхта приблизилась к пристани, и все увидели Ночного Сторожа точно таким, каким он изобразил себя на оборотной стороне карты Индийского океана. Впрочем, он похудел. Огромный, озорной, самолюбивый нос стал острее, длиннее, упрямые губы, казалось, еще более внятно говорили: «Я — это я и прошу вас с этим считаться». Но добрые глаза еще подобрели, хотя это было почти невозможно, и он по-детски рассмеялся, услышав музыку и увидев на пристани друзей, о которых он рассказал в своих сказках. Но, рассмеявшись, он тут же заплакал — все-таки это было трогательно, что его пришли встретить все немухинцы от мала до велика. И хотя оркестр играл очень громко, толпа заглушала его криками:

— Добро пожаловать!

— Куда вы пропали?

— Почему вы похудели?

— Не плачьте, а то и мы заплачем!

Утирая слезы кончиком истрепавшегося в странствиях плаща, он крикнул в ответ:

— Чудаки! Неужели вы не понимаете, что иногда и от радости плачут?

Потом, стараясь показать, что он хотя и постарел, но не очень, лихо прыгнул с борта на пристань. А вслед за ним прошел по мостику скромный высокий белокурый молодой человек с большими, удивленными глазами. Кое-кто знал или узнал его, и даже не кое-кто, а Таня, Петя и Трубочный Мастер — недаром же они переглянулись, спросив друг друга: «Неужели?»

Впрочем, через несколько минут все узнали, кто этот молодой человек, потому что Нил Сократович обнял его за плечи и сказал:

— А вот это, прошу любить и жаловать, Леня Карасkин, в прошлом «Летающий мальчик», а в настоящем — отличник летной подмосковной школы.

И он запел старческим, но еще сильным голосом:

Все станет понятным и круглым, как шар,
Когда мы заглянем в пустой самовар!

Никто, кроме дяди Кости и меня, не понял этих загадочных слов. Да и мы не очень-то поняли! Откуда он знает, что самовар — единственный предмет, который нам не удалось найти? Угадал?

Что же случилось после того, как Ночной Сторож был так торжéственно встречен немухинцами?

Большая толпа разошлась, а маленькая, состоявшая из тех, о которых он рассказал в своих сказках, вместе с ним отправилась к Заботкиным — ведь у них была большая квартира и они могли принять много гостей. Но по дороге Нил Сократович заглянул к Пал Палычу в Комиссионный Магазин и вышел с большим медно-красным самоваром в руках.

И снова никто ничего не понял, кроме меня и дяди Кости. Мы одновременно хлопнули себя по лбу и спросили: «Как же случилось, что, спросив Пал Палыча о шкатулке, фрегате, пушечке и деревянном телефоне, мы забыли о самоваре? Но тут же мы с дядей Костей успокоились: «Конечно, потому, что самовар не музейная вещь».

Казалось бы, неожиданная покупка Нила Сократовича предвещала чай, но сестры Фетяска сварили свой знаменитый турецкий кофе, не забыв произнести над ним мусульманское заклинание. Божественный аромат распространился по дому, и те, кто читал «Тысячу и одну ночь», почувствовали себя во дворце царя Шахрияра.

Все надеялись, что Ночной Сторож расскажет о том, где он бродил так долго и так далеко, но, как коренной немухинец, он прежде всего стал расспрашивать о городских делах: когда построили новую пристань и кто строил — без сомнения, Заботкин? Как идут дела у Пекаря, который стал Директором Пекарни, и правда ли, что за хлебом с хрустящей корочкой прилетают японцы? Как раз накануне десятиклассники кончили рисовать рельефную карту города, и она была показана Нилу Сократовичу, который против ожидания стал придираться к каждому новому зданию. Для одного черепичная крыша была,

по его мнению, тяжела, в другом подъезд скособочился, в третьем окна были узковаты.

На робкий вопрос дяди Кости — почему, уходя из города, он не оставил свои сказки Трубочному Мастеру или Заботкиным, он ответил просто и даже проще простого:

— Так интереснее.

И на это ни один из нас ничего не мог возразить.

Конечно, всем хотелось спросить, почему, вернувшись в Немухин, он прежде всего купил старый самовар — для тех, кто не видел обруча на обороте карты Индийского океана, это действительно показалось непонятным поступком. Но еще непонятнее было то, что, лукаво подмигнув сперва мне, а потом дяде Косте, он спросил:

— А седьмую нашли?

«Значит, он знает о том, как мы искали его сказки»,— подумали мы с дядей Костей.

И действительно, он знал решительно все: во-первых, спрятанное или потерянное всегда ищут, а иногда находят; во-вторых, как признались сестры Фетяска, они постоянно писали Нилу Сократовичу на адрес «Новостей науки» — ведь он оставался корреспондентом, хотя одновременно работал то егерем в заповеднике, то бакенщиком на реке, то помощником режиссера в Детском театре.

— К сожалению, не нашли! — ответил дядя Костя. У него был виноватый вид.

Возможно, что Нил Сократович пробормотал: «Шляпы!» А может быть, и не пробормотал, а просто схватил самовар и перевернул его вверх ногами. Раз! И конфорка слетела. Два! И за конфоркой — крышка! А за крышкой — как живые, разбежались по всей столовой исписанные знакомым почерком страницы. Мы аккуратно сложили их, и тогда Ночной Сторож попросил, чтобы седьмую сказку прочитал Леня Караскин.

— Конечно, это могли бы сделать Таня, или Петя, или Трубочный Мастер, или даже Господин Главный Ветер, если бы он соблаговолил заглянуть в Немухин,— сказал он.— Но Леня — главный герой этой правдивой истории, и ее должен прочитать именно он.

Леня застенчиво отказался, и тогда Ночной Сторож, уткнувшись своим длинным носом в рукопись — он был близорук, но из упрямства не носил очки,— откашлялся и начал:

ЛЕТАЮЩИЙ МАЛЬЧИК

«ЛЕТАЮЩИЕ МАЛЬЧИКИ! ВЗДОР!»

В газете «Немухинский голос» появилось объявление: «Для строительства воздушного замка требуются летающие мальчики».

Немухинцы прочитали его с удовольствием: это значило, без сомнений, что в городке будет строиться воздушный замок. Не поверил этому только Петька Воробьев, который случайно знал, что воздушный замок можно построить только в воображении. Потом он подумал о себе — летающий ли он мальчик? И решил, что едва ли. Правда, ему случалось летать во сне, и он решил, что в объявлении пропущены два слова: «Для строительства воздушного замка требуются мальчики, летающие во сне». Это было бы строго научно: мальчики, летающие во сне, приглашались построить замок в воображении. Но в редакции «Немухинского голоса» ему сказали, что он не годится. «Тут нужен не сон,— сказали ему,— а практический подход к делу».

На другой день это объявление повторилось по радио с настоятельным предупреждением, что речь идет не о девочках, а именно о мальчиках, а еще через два-три дня в Немухин приехал корреспондент центральной газеты, которому поручили написать статью «Летающие мальчики? Странно!». Корреспондент обежал Немухин, заглянул на хлебный завод и застрял на футбольном матче между мухинцами и немухинцами, кончившемся вничью. Вернувшись в Москву, он написал две статьи. Одна называлась «Летающие мальчики? Вздор!». А в другой он упомянул, что у немухинцев, атаковавших ворота противника, положительно вырастали крылья.

И объявление, хотя оно еще несколько раз повторилось по радио, стали забывать. Не забыл его только Петька, который, никому в этом не признаваясь, непременно хотел стать космонавтом или по меньшей мере верхолазом.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

День был жаркий, и гонять по Немухину на велосипеде не хотелось, тем более что Петька и так не слезал с седла целое утро. Пожалуй, он погонял бы ворон, но на

днях он узнал, что «гонять ворон» — это значит «бить баклуши». Весь Немухин бил баклуши в этот утомительный августовский день. Собаки сидели, высунув языки и скоро дыша, а люди плелись по Нескорой, отдуваясь и обмахиваясь газетой. Только из трубы Пекарни валил дым. Но и дым валил как-то лениво.

Скучища! Можно было, правда, заглянуть к Таньке, но даже здесь, на дворе у Воробьевых, было слышно, как Танька пиликает на скрипке — она училась в Музыкальной Школе.

Оставалось только глазеть на забор, и Петька заметил, что если глядеть научно, то есть внимательно следя за собой, не уснешь, а ненаучно — уснешь. Однако уснуть не удалось, потому что через забор перелетела шляпа. Как будто выбирая, где приземлиться, она покружилась в воздухе и неторопливо уселась у Петькиных ног.

Шляпа была мягкая, велюровая, зеленая, с перышком, но мужская. Петька заметил все это сразу, потому что у него был натренированный взгляд. Но больше он ничего не успел заметить, потому что вслед за шляпой через забор перелетел нескладный коротенький человек с нескладными руками и ногами и ничего не выражающим прямоугольным лицом.

— Простите, если не ошибаюсь, вы тот известный мальчик, которого все зовут Воробей с Сердцем Льва? — спросил он, улыбаясь.

Петька отвечал, что иногда его действительно так называют, но это ошибка, потому что у него сердце как сердце.

— Сразу видно, что вы воплощенная скромность! Но скажите, пожалуйста, почему вы не удивились, увидав меня перелетающим через забор?

Петька сказал, что он не удивился потому, что еще в прошлом году дал себе слово ничему не удивляться. Насчет воплощенной скромности он промолчал.

Незнакомец снял плащ и оказался в поношенном зеленом мундире с высоким воротником и в узких брюках с зеленым же кантом.

— Между прочим, я летаю потому, что я из Летандии. Есть, вы знаете, такой островок. Не Исландия, не Лапландия, а именно Летандия. В географии говорится, что это остров ветряных мельниц и парусных лодок. Вздор! Это остров неслыханной красоты, парусных лодок и ветряных мельниц. Более того, это остров, на котором посто-

янно слышится музыка. Ветер играет на эоловой арфе.

Петька не удивился, что ветер умеет играть. Но насчет эоловой арфы он все-таки спросил, потому что был почти уверен в том, что никто не знает, что такое эолова арфа.

— Музыкальный инструмент, на котором может играть только ветер! И когда он играет, все приходит в движение: крылья ветряных мельниц начинают кружиться, а цветные паруса на лодках надуваются и трепещут.

— А в Летандии все умеют летать? — спросил Петька.— Или только начальство?

— Почти все. Летают по делам, иногда в гости. А под парусами ходят для отдыха, для развлечения. Вообще жизнь веселая, необыкновенная. Каждый год устраиваются, например, маскарады. Все переодеваются, ходят в масках, играют, танцуют, поют.

Он говорил, улыбаясь, но глаза оставались неподвижными на прямоугольном, ничего не выражавшем лице.

— Значит, если бы мне удалось попасть в Летандию, я бы тоже научился летать?

— Без сомнения. Но прежде надо бы, пожалуй, взять два-три урока.

Можно было подумать, что нет ничего проще, как найти в Немухине человека, который научил бы Петьку летать.

— Жаль, что у меня нет времени. Я, понимаешь, Смотритель Маяка и не могу отлучиться надолго. Маяк в Летандии старинный, на керосине, и каждые три-четыре часа керосин приходится подливать. Но тут у вас живет один мальчик, который, пожалуй, может тебя научить, потому что сам он летает прекрасно.

— А где он живет?

— Вот этого-то я как раз и не знаю,— сказал Смотритель Маяка.— Но, может быть, тебе удастся его найти? Его зовут Леон Караскин, а по-русски, я думаю, просто Леня Караскин. Только не говори ему, пожалуйста, что его разыскивал Смотритель Маяка из Летандии. Отношения у нас превосходные, но на всякий случай лучше не говорить. А когда ты его найдешь, пожалуйста, напиши мне открыточку: «Летандия. Смотрителю Маяка. Нашел. Воробей с Сердцем Льва». Или даже просто: «Воробей». Я догадаюсь.

— Ну что ж,— сказал Петька,— попробуем.

Незнакомец поднял шляпу и задумчиво повертел ее в руках.

— Я бы принял тебя в Летандии, как самого дорогого гостя.— Он засмеялся, а потом вздохнул, и Петька сделал наблюдение, что он смеется, когда нет ничего смешного, и вздыхает, когда для этого нет никаких оснований.— Я устроил бы в твою честь маскарад. Самый большой колокол на Площади Розы Ветров встретил бы тебя торжественным звоном. Я зажег бы для тебя самый сильный тройной маячный огонь: белый переходил бы в красный, а красный — в изумрудно-зеленый. Ты опустился бы под эскортом семнадцати девочек из самых знатных семей, и сам Господин Главный Ветер принял бы тебя в своем Дворце, конечно, если бы у него оказалось время.

— Ну, что вы,— сказал польщенный Петька.— Зачем же такой шурум-бурум? Как вы говорите? Леня Караскин? Ладно, попробуем. А теперь покажите, пожалуйста, как это у вас получается? Крыльев у вас ведь, кажется, нету?

Незнакомец застегнул плащ, надел шляпу и протянул Петьке руку. Рука у него была тоже прямоугольная, и, когда он плавно поднялся в воздух и скрылся за пожарной каланчой, которую немухинцы давно решили переделать в телевизионную башню, Петька решил, что он похож на летающие пифагоровы штаны — теорема, которую на днях он с блеском доказал на уроке геометрии, получив первую и единственную в жизни пятерку.

ЛЕНЯ КАРАСКИН

Во всех школах всех Воробьевых зовут просто Воробьями. Что касается Петькиного прозвища, оно как раз не очень подходило к нему, потому что он, как это ни грустно, был трусоват. Но с другой стороны, он был храбро трусоват, потому что однажды, собравшись с духом, пошел к Старому Трубочному Мастеру, умнейшему человеку, с которым иногда советовался сам Президент Столичной Палаты Мер и Весов.

Старик молча выслушал его, хлопнул по плечу и сказал:

— Трус никогда не сознался бы в том, что он трус. Ты не трус, а Воробей с Сердцем Льва. Ясно?

В тот же день Петька прыгнул в Немухинку с вышки,

на которую еще вчера даже боялся смотреть. Львиное Сердце ушло у него при этом в пятки. На школьном дворе он подрался с семиклассником, который был выше его на голову и вдвое сильнее, а в воскресенье на глазах у Тани Заботкиной спрыгнул, держа зонтик в руках, с крыши сарая. Зонтик, к счастью, остался цел.

Кстати сказать, он спрыгнул как бы между прочим: вертел, вертел зонтик в руках, а потом — раз! — и спрыгнул. Но на самом деле это было сделано потому, что ему хотелось, чтобы Таня больше не сомневалась в том, что у него львиное сердце.

Короче говоря, совершенно ясно, что едва только Смотритель растаял в воздухе за пожарной каланчой, Петька со всех ног побежал к Тане.

Она еще играла — пришлось подождать. Потом пришлось еще подождать, пока она укладывала скрипку в футляр, а ноты в нотную папку. Таня была очень аккуратная и не умела, как Петька, делать два или даже три дела сразу. Но вот он дождался наконец и выпалил все сразу — Смотритель Маяка, Летандия, эолова арфа, Леня Караскин. Она слушала его, устроившись в кресле с ногами, и была такая хорошенькая, что Петьке снова захотелось спрыгнуть ради нее с крыши сарая.

Потом она подумала и сказала:

— Реникса.

Это было ее любимое слово. Оно означало: «Чепуха». И действительно, если прочитать «чепуха» по-английски или даже на худой конец по-французски, получалось «реникса». Но насчет эоловой арфы она призадумалась. Дело в том, что ни в одном городе Советского Союза по ночам никогда не бывает так тихо, как в Немухине. Это объясняется тем, что вежливые немухинские собаки очень уважают своих хозяев и, чтобы не разбудить их, лают шепотом, а громко только с восьми утра, когда пора идти на работу. Тут уж они, конечно, отыгрываются за ночь!

Электричка тоже старается не очень шуметь. С колесами, понятно, ничего не поделаешь, но гудит она осторожно, негромко.

И вот в этой особенной, прославившей Немухин тишине Таня, просыпаясь иногда среди ночи, слышала какие-то странные, особенные, удивительно нежные звуки. Кто-то перебирал струны, но так легко, как будто не касался их пальцами, а просто дул на них то сильно, то слабо.

Известно, что каждый предмет отбрасывает тень. «Это тени звуков, но не дневные,— думала Таня,— а ночные, лунные, то мягкие, то отчетливо резкие, точно па струны дует добрый человек, который иногда скучает или сердится».

— Может быть, кто-нибудь в Немухине играет на эоловой арфе?

С девчонками лучше было не спорить, но немухинец, играющий, как ветер, на эоловой арфе,— это была, конечно, реникса, и Петька вместо ответа только подумал, что Таня заважничала, поступив в Музыкальную Школу.

— А ты не можешь разбудить меня, когда услышишь эти странные звуки? — попросил он.

Таня засмеялась. Она прекрасно знала, что Петьку можно разбудить, только окатив его ведром холодной воды. Тогда он просыпался с криком «Убью!», что было невежливо и опасно. Но все же они условились: ведро с водой он обещал каждый вечер ставить подле сеновала — он спал на сеновале,— а вместо «Убью!» кричать «Зашибу!», что было все-таки не так опасно.

Прошла неделя, другая. Дни были еще жаркие, а ночи — прохладные, и в городе наступила такая тишина, что было слышно, как рвется под легким ветерком первая сентябрьская паутинка. И вот в такую-то бесшумную ночь Таня, проснувшись, услышала... Трудно объяснить, что она услышала, потому что это были не звуки, а как бы полузабытые воспоминания, незаметно переходившие одно в другое.

И хотя Таня условилась разбудить Петьку, она полежала еще немного, думая о том, как трепещут листья осины, как зеленый поблескивающий лиственный дым окружает березу и как ровно, важно и плоско качаются на своих длинных черепках молодые кленовые листья.

Потом эти звуки стали влажными, точно по дороге к ней они окунулись в речку, и Таня вспомнила, как она с одной девочкой проплыла поздним вечером по серебряной дорожке, которую по Немухинке проложила луна. Но потом пришлось все-таки встать и, пройдя босиком на цыпочках через комнату, в которой еле слышно похрапывала мама, спуститься на Нескорую.

Она жила в начале этой улицы, а Петька — в конце. Ведро с холодной водой стояло, как было условлено, у сеновала, и она, недолго думая, выкатила его на Петьку.

Интересно, что на этот раз Петька мог обойтись и без холодной воды: он не спал, зачитался. На сеновале было строго запрещено зажигать огонь, и он читал при свете карманного фонарика очень интересную книгу, которую, как сказала ему библиотекарша, ему полагалось прочитать через три или даже четыре года. Впрочем, он не очень огорчился, получив неожиданный холодный душ: во-первых, потому что его окатила Таня, а во-вторых, потому что на книгу не попало ни капли. Он только встряхнулся, как собака, и спросил:

— Бежим?

Они вышли на Нескорую и побежали. Таня знала, куда они бегут. Что касается Петьки... «Ага, слышу!» — говорил он, когда где-нибудь во дворе шепотом тявкала собака. «Давай, давай»,— говорил он, когда Таня вдруг поворачивала то направо, то налево.

В конце концов они остановились у домика, принадлежавшего тому самому Трубочному Мастеру, который назвал Петьку Воробьем с Сердцем Льва. Тут уж даже Петька, который не мог отличить музыкальной ноты от удара палкой по забору, услышал мелодию, которую невидимый музыкант играл на невидимом инструменте. Правда, она не напомнила ему ни серебряной дорожки вдоль Немухинки, ни плавного раскачивания кленовых листьев. Пожалуй, так мог бы скулить в клетушке щенок. Но щенок едва ли был способен на такие сложные — как сказала Таня — пассажи.

Калитка была гостеприимно приоткрыта, они вошли крадучись. На дворе спали куры, зарывшись в песок. Собаки не было, но котенок, сидевший у крыльца, промяукал вопросительно и даже с оттенком угрозы. Они обошли дом и, подняв головы, увидели чердачное окно, в котором смутно белело что-то худенькое, мигом исчезнувшее — это был худенький мальчик в белой рубашке, который, увидев Таню и Петьку, как-то странно, болезненно вскрикнул. Но еще более странным было то, что на чердачном окне, которое открывалось наружу, были натянуты струны. Стекло было выбито или выставлено, и струны, тени которых сломились под углом на стене, еще дрожали, как будто их только что касалась чья-то рука.

Впоследствии, когда Петька изучил Всемирную историю, он установил, что на земном шаре действительно существует инструмент, называемый эолова арфа. Это обык-

новенный деревянный ящик, в котором натянуты струны — от восьми до двенадцати. Его вешают на дерево, как скворечник, и ветер играет на нем, когда ему больше нечего делать. Эол, оказывается, был повелитель ветров, отец шести сыновей и стольких же дочерей, которые вели веселую жизнь в царском дворце. Это было давно и, по-видимому, не имело никакого отношения к худенькому мальчику, который — это было видно с первого взгляда — жил в доме Трубочного Мастера очень скромно и тихо.

Мальчик выглянул из окошка, спрятался, но, когда Таня ласково спросила: «Скажи, пожалуйста, как называется твой удивительный инструмент?» — снова выглянул и долго молча смотрел на нее большими, испуганными глазами.

Возможно, что если бы Петька, который мысленно уже видел себя в Летандии, спросил: «А ты случайно не Леня Караскин?» — он даже не вышел бы к ним. Но Петька удержался, не спросил,— и мальчик как-то незаметно оказался подле них на дворе, такой худенький, с острым носиком, с грустным, падавшим на глаза беленьким хохолком и в таких залатанных штанах, что Тане захотелось заплакать.

Сразу стало ясно, что с ним надо говорить очень вежливо, может быть, даже на «вы». Но чтобы он не обиделся, Таня все-таки обратилась к нему на «ты».

— Дело в том, что я учусь в Музыкальной Школе,— сказала она.— Но среди множества инструментов, на которых играют мои коллеги, я не видела ни одного, который напоминал бы твое окошко.

Она нарочно сказала «коллеги», а не ребята, потому что ей было интересно, знает ли этот мальчик такое интересное иностранное слово.

— О, в этом нет ничего поражающего слух или воображение,— тихо ответил мальчик.— И ваши уважаемые преподаватели и коллеги, без сомнения, лишь улыбнулись бы, увидев чердачное окно, на которое я от скуки натянул струны.

«Ого!» — подумала Таня. А Петька, который любил короткие энергичные фразы, подумал сперва: «Эк его!», а потом с уважением: «Лихо!»

— Но играть так искусно от скуки, мне кажется, почти невозможно?

Мальчик вздохнул.

— Играет ветер,— сказал он.— А я ему аккомпанирую. В той стране, откуда я прилетел, почти в каждом чердачном окне натянуты струны. Мне захотелось поступить точно так же, потому что я очень скучаю по своей стране, хотя в то же время я, к сожалению, ее от души ненавижу.

Это был такой вежливый разговор, что Петька, конечно, молчал как рыба. Но в том, что сказал Леня Караскин (Петька не сомневался в том, что это был именно он), Петька заметил противоречие, которое все-таки заставило его открыть рот.

— Как же ты можешь скучать по стране, которую ты ненавидишь? — спросил он.

Мальчик снова вздохнул, и на этот раз так глубоко, что одна из струн эоловой арфы ответила ему еле слышным звоном.

— Я родился в Летандии,— начал он.— Это остров, о котором в любой географии можно прочесть, что он ничем не напоминает ни Исландию, ни Лапландию. Но нигде не указано, что жители острова умеют летать. Казалось бы, что может быть веселее, чем летать? Однако эта редкая способность уже почти никому не нужна. Летают до крайности редко, да и то по делам.

Очевидно, это было принято в Летандии — говорить так вежливо и длинно, точно читая по книжке. Но Петьку заинтересовало другое.

— Так Летандия — крепость? — спросил он.

— О да! Весь остров — крепость, в которую можно проникнуть только по мосту, висящему на железных цепях. Везде камень, куда ни бросишь взгляд,— с отвращением сказал худенький мальчик.— В гавани — парусные лодки, с которых ветер давно сорвал паруса. Ветряные мельницы не машут крыльями, даже когда начинается шторм. А маяк! У меня нет ни отца, ни матери. Смотритель Маяка взял меня к себе на воспитание, а это человек, который всю жизнь провел в полном одиночестве, доказывая самому себе, что люди не нужны друг другу и что я, например, нужен только для того, чтобы подливать керосин в маячную лампу. Подумайте не торопясь и скажите, что может быть страшнее? Каждое утро он говорил мне: «Поступай сообразно своим обязанностям». После обеда: «Никогда не обнаруживай своих чувств». А вечером: «Нет ничего надежнее прямого угла». Короче говоря, я просто умер бы от меланхолии, если бы однажды не собрался с силами, вспомнив, что я умею летать.

— И улетел?

— Улетел!

— Вот это да! — сказал с восторгом Петька.

Они разговаривали бы до утра, если бы Старый Трубочный Мастер, который просыпался раньше всех в Немухине, не вышел на крыльцо, протирая глаза. Он только сказал:

— Кыш!

И они разлетелись.

СТОИТ ПОДУМАТЬ

Таня с утра ушла в свою Музыкальную Школу, а Петька — в свою немузыкальную, из которой он после третьего урока удрал. Две Летандии представились, как сказал бы Леня Караскин, его воображению. Та, которую нарисовал Смотритель Маяка,— нарядная, веселая. Маскарады, ветряные мельницы, лодки под цветными парусами. Главный Ветер, который принимает его, как видного представителя города Немухина и, наконец, эскорт — семнадцать летающих девочек из самых знатных семей. Заглянув в словарь иностранных слов, Петька, кстати сказать, выяснил, что эскорт означал «конвой» или «прикрытие». Но все равно приятно было опуститься на Площадь Розы Ветров под конвоем семнадцати девочек из знатных семей.

Но была, оказывается, еще и другая Летандия, в которой все умеют, но никому неохота летать. Скучная, заброшенная крепость, построенная пятьсот или шестьсот лет назад, где нет ни радио, ни стадиона и где парусные лодки пришвартованы в гавани на вечной стоянке. О стадионе он специально спросил у Лени.

Словом, сравнивая одну Летандию с другой, Петька подумал о том, что слетать туда все-таки интересно. Но как? В первом разговоре он не решился попросить Леню дать ему два-три урока. Через несколько дней он снова отправился к Лене, и тут состоялся очень важный женско-мужской разговор, потому что вдвоем они говорили минут пять, а потом к ним присоединилась Таня.

— Значит, ты улетел потому, что тебе стало скучно? — спросила она.

— О да. Ведь скука бывает разная: легкая, тяжелая. У меня она была смертная. Я чувствовал, что скоро умру,

а что может быть скучнее, чем умереть от скуки. Но была и другая, не менее серьезная причина. Я перестал поступать, сообразуясь со своими обязанностями, а Смотритель, сообразуясь со своими, стал меня бить. И кончилось тем, что, собравшись с силами, я сказал ему, что он коварен, отвратительно прямоуголен, жесток и заслуживает сурового наказания за жестокое обращение с детьми.

— А он? — спросили в один голос Таня и Петя.

— Он на трое суток запер меня наедине с маячной лампой, и я не задохнулся от запаха керосина только потому, что в Летандии очень плохой керосин. Почти все керосинщики — лицемеры, подливающие в керосин много воды. Я зажег тройной проблесковый огонь, чтобы все корабли, приближаясь к Летандии, далеко обходили эту скучную крепость. Потом я немного поплакал, написал на стене Маяка: «Прости» — и улетел.

С точки зрения Петьки, мальчишка, который сознается в том, что он плакал,— это уже не мальчишка, а девчонка или ни то, ни другое.

Но Таня, по-видимому, поняла Леню совершенно иначе.

— Конечно, трудно расстаться с родиной, какова бы там она ни была,— мягко сказала она.— Но ты действительно надеешься, что он может тебя простить?

«Как бы не так!» — подумал Петька, вспомнив коротенькую злобную фигуру Смотрителя с его ничего не выражавшим лицом.

— Нет, это было обыкновенной вежливостью,— ответил Леня.— Просто в Летандии вместо «прощай» говорят «прости».

— Ну, братцы, значит, так,— сказал Петька, которому не терпелось научиться летать.— Что же мы, товарищи, будем делать?

Конечно, прежде всего надо было сказать Лене, кто поместил в «Немухинском голосе» странное объявление о строительстве воздушного замка, кто вслед за шляпой перелетел через забор к Воробьевым, кто, подъезжая к Петьке, приглашал его в Летандию, если он найдет мальчика, умеющего летать. Но так прямо и выложить все это худенькому, вежливому, нервному Лене?

Заранее было условлено, что начнет Таня — сперва что-нибудь о воздухе вообще или о воздушном опылении, кото-

рое они недавно проходили по ботанике. Потом, что между Мухином и Немухином, говорят, скоро начнут ходить вертолеты. Потом... Словом, все было бы в порядке, если бы Петька вдруг не заговорил о книге — той самой, которую, по мнению библиотекарши, он должен был прочитать через три или четыре года.

— Я ее даже захватил с собой, но не всю, потому что она очень толстая. Там две девчонки сперва разговаривают о том, какая чудная ночь, а потом одна садится на корточки и подхватывает себя под коленки. Причем совершенно ясно,— сказал он по слогам,— что она рас-счи-ты-ва-ет взле-теть.

Таня нахмурилась, и Петька догадался, что забежал вперед, хотя был убежден, что девчонка была, в общем, на верном пути.

— А ведь правда, это вышло удачно, что мы нашли тебя по звукам эоловой арфы? — мягко заметила Таня.— С другой стороны, ты все-таки иностранец? Может быть, в Летандии недовольны тем, что ты улетел?

Леня погрустнел.

— Да. Но ведь я почти ничем не отличаюсь от других обыкновенных немухинских мальчиков, правда? Старый Трубочный Мастер устроил меня в школу, и, в общем, я хорошо учусь, хотя некоторые учителя утверждают, что я говорю слишком сложно. Учитель литературы, например, заметил однажды, что так говорят в шестьдесят с лишним лет. Но, вы знаете, это просто потому, что я постарел очень рано. Пройдет! Я, например, уже научился говорить, как другие: «Вот это да!», или: «А мне до лампочки!» Хотя совершенно не понимаю, что это значит.

Он вздохнул.

— Конечно, труднее всего не скучать по Летандии, которую я ненавижу. Но я не хочу, ни за что не хочу возвращаться! И вас я прошу — если вы считаете меня своим другом — никому не говорить, что я умею летать. Может быть, для вас не составит труда дать мне клятву, чтобы я был совершенно спокоен?

— Клянусь!

— Клянусь!

— Впрочем, если бы даже мы рассказали кому-нибудь, что ты умеешь летать,— прибавила Таня,— все равно нам бы никто не поверил. А теперь, понимаешь, нам надо сообщить тебе одну неприятную новость. Дело в том, что тебя разыскивает один человек.

— В зеленом мундире,— брякнул Петька.— Он просил написать ему, когда я тебя найду. Но фигу я ему напишу! Кроме того, он говорил, что ты можешь научить меня летать. Как ты вообще смотришь на это дело?

Если бы кому-нибудь пришло в голову изобразить Леню в эту минуту, вполне достаточно было бы побледневшего носика, беленького хохолка, печально упавшего на лоб, и двух огромных, добрых, испуганных глаз.

— Это Смотритель Маяка! И я уверен, что он давно нашел бы меня, если бы мог отлучиться надолго. Он не может, потому что надо подливать керосин в маячную лампу. Но никто не захочет заменить его, потому что в Летандии, где все надоели друг другу, он надоел всем больше всех.

ТАЙНА ПОЛЕТА

Теперь стало совершенно ясно, как должен вести себя Леня Караскин: так, чтобы никто не мог догадаться, что он умеет летать. Больше того, надо было вести себя так, чтобы каждый, взглянув на Леню, сказал себе мысленно: «Вот парень, который в лучшем случае умеет прыгать через скакалку, как любая девчонка, и, уж конечно, никогда не сумеет взлететь». Но все это было только полдела. Надо было помочь Лене помолодеть, то есть научить его разговаривать, как полагается в одиннадцать лет, а не в шестьдесят с лишком.

За эту работу взялся Петька, и надо сказать, что она у него пошла, хотя и не без затруднений.

— Как бы ты сказал, например, если бы немухинцы сыграли с мухинцами не вничью, а, скажем, пять — один?

Леня подумал.

— Я бы сказал, что усилия немухинцев увенчались заслуженным успехом.

— Вот видишь! А надо сказать просто: «Блеск!» А если бы они проиграли?

Леня снова подумал.

— Ну, может быть... «Не принимайте слишком близко к сердцу этого огорчения. Продолжайте работать, и я уверен, что в ближайшем будущем вас ожидает удача».

— Та-ак,— сказал с отвращением Петька.— А я бы сказал покороче: «Эх вы, сапоги!» Пойдем дальше. Если ты прощаешься с кем-нибудь, что надо, по-твоему, сказать?

— Позвольте пожелать вам всего самого лучшего.

— Ну вот! А надо сказать просто: «Пока!», или в лучшем случае: «Привет бабушке, не забудь полить фикус». Если ты, например, сидишь над задачкой полчаса и не можешь ее решить, что надо сделать?

— Ничего. Сидеть, пока не решишь.

— Надо сказать: «Муть!» А потом можно, конечно, и посидеть, но лучше списать ее у кого-нибудь на уроке. Ну, и так далее. Запиши, с непривычки тебе, возможно, трудно запомнить. Ну, пока!

— Пока!

И Петька ушел.

Словом, дела шли недурно — и в школе, и дома. В школе Леня Караскин был самым незаметным из самых незаметных учеников шестого «Б» класса. А дома Трубочный Мастер иногда сердился и даже кричал на него, но только потому, что, по его убеждению, каждый мастер своего дела непременно должен уметь кричать и сердиться. На Леню он сердился для практики, чтобы не забыть, а на деле был одним из самых добрых людей в Немухине.

Леня залетел к нему случайно. Он очень устал от долгого полета и почти без сил нырнул в первое попавшееся чердачное окошко.

— «Муть!», «Пока!», «Привет бабушке»,— твердил по утрам старательный Леня.— «Эх вы, сапоги!», «Блеск!».

Но не все было так хорошо, как могло показаться с первого взгляда. Незаметно Леня становился заметным — и вовсе не потому, что умел летать: Петя и Таня сдержали слово. Он становился заметным потому, что никому и ни в чем не мог отказать. Каждый день кто-нибудь просил у него карандаш, ластик, линейку — конечно, в долг,— но кому же придет в голову вернуть взятую в долг линейку? Хуже было, когда у него просили одиннадцать копеек на эскимо. Тогда он оставался без завтрака, и Трубочный Мастер кричал на него уже не для практики, а всерьез и усаживал за целую миску картошки.

Он как раз сидел над этой миской, размышляя, как бы обмануть его и съесть половину миски, когда зазвонил пожарный колокол и весь город побежал смотреть пожар — в Немухине любят смотреть пожары. Горела пожарная каланча. Дежурный успел ударить в колокол несколько раз, а потом скатился по лестнице вниз. У него обгорели

усы, и в толпе, мигом окружившей его, многие справедливо заметили, что усы вырастут, а каланчу придется отстроить.

И вдруг... Впрочем, об этом надо рассказать по порядку.

Пожарник удрал, но вокруг деревянной, окруженной перилами вышки метался рыженький нежный комок. Это был, без сомнения, котенок Трубочного Мастера, который каким-то образом попал на каланчу и теперь то вскакивал на перила, то становился на задние лапки, а передние складывал вместе, как человечек.

Наконец, потеряв надежду, он совсем уже собрался прыгнуть вниз и, без сомнения, разбился бы насмерть, потому что это был котенок, а не кошка, которая с любой высоты падает непременно на лапы. Но котенок не прыгнул. Его остановило предчувствие. Из огромной толпы, окружившей в некотором отдалении горевшую каланчу, вылетел худенький мальчик и плавно направился к изумленному котенку.

Изумлен был, разумеется, не только котенок. Немухинцы утверждали впоследствии, что мальчик летел не как птица, а именно как мальчик, небрежно засунув руки в карманы. Приблизившись к вышке, он сказал: «Кис-кис», и котенок прыгнул к нему, зажмурив глаза. Замечено было также, что мальчик, опустившись на землю, как бы пролился сквозь нее, то есть немедленно и бесследно исчез.

Все это произошло так неожиданно и скоро, что иные немухинцы стали даже утверждать, что ничего не было — каланча не горела, котенок почудился, а мальчик не взлетал, потому что это противоречит законам природы. Однако тот самый журналист, который написал статью «Летающие мальчики? Вздор!», немедленно приехал в Немухин и, опросив множество свидетелей, напечатал в центральной газете длинный подвал, в котором доказывал, что если летающие тарелочки — вздор, то летающие мальчики, по-видимому, действительно существуют в природе.

В общем, все были довольны. Немухинцы — тем, что наконец сгорела деревянная, старомодная вышка, на месте которой никто не мешал теперь построить телевизионную башню, а Старый Трубочный Мастер — тем, что прославился не чей-нибудь, а именно его котенок. Недоволен был только Леня. Более того, на него напала такая тоска, что он совершенно перестал заниматься и схватил по ботанике

двойку. Все, чему его научил Петька, он начисто забыл и стал говорить даже еще сложнее, чем прежде.

— У меня угнетенное состояние духа,— сказал он Тане и Петьке,— вызванное непредвиденным происшествием, которое может повлечь за собой другое происшествие, еще более непредвиденное и нежелательное во всех отношениях.

Он хотел сказать, что ему не надо было спасать котенка, потому что теперь все узнали, что он умеет летать.

— К сожалению, на этот раз я действительно должен поступить сообразно обстоятельствам,— продолжал он,— потому что Смотрителя Маяка можно ожидать в Немухине каждую минуту. Вот почему я решил открыть вам тайну полета. Кто знает, может быть, вам придется помочь мне, а для этого необходимо научиться летать.

Разговор происходил поздно вечером, и весь город спал, по возможности, вежливо, то есть не храпя и не вскакивая без причины во сне.

— Однажды ты упомянул, Петя, о девочке, которой хотелось взлететь?

— Ну, как же. «Так бы вот села на корточки и подхватила себя под коленки».

Петя давно выучил эту страницу наизусть.

— Была ли в ту ночь полная луна?

— Нет,— честно сознался Петька.— «Почти полная на светлом, почти беззвездном небе».

— Зажмурилась ли она, когда села на корточки, подхватив себя под коленки?

— Тоже нет.

— А надо было крепко зажмуриться,— сказал Леня.— Кроме того, она, без сомнения, не знала, что надо сказать, крепко зажмурившись и подхватив себя под коленки.

Вечер был ясный, на дворе светло, и когда худенький, беленький Леня, в накинутом на плечи пальтишке, переделанном из пиджака Трубочного Мастера, сел на корточки и закрыл глаза, Таню даже немного затошнило от волнения, а Петьку — от любопытства.

— «Господин Главный Ветер и прочая, и прочая, и прочая, ты слышишь меня? — прошептал Леня.— Пошли мне попутный, не встречный, не поперечный. Пошли мне не косой и не боковой. В тучах не заблудиться, в облаках не растеряться, под солнышком не растаять, до утра доле-

теть». А потом,— уже своим, обыкновенным голосом сказал Леня,— надо встать, открыть глаза, и все пойдет как по маслу, то есть, я хочу сказать, именно так, как происходит в природе. Лететь, кстати сказать, можно не только при полной луне, но и в полдень, когда солнце в зените. Махать руками, как крыльями, не надо. Бояться или думать, что это чудо, не следует и даже опасно. Но если захочется опуститься, вот тогда как раз и надо подумать, что это чудо. Но подумать вежливо, в осмотрительных выражениях. Например: «А не странно ли, в самом деле, что я летаю, как птица, вместо того чтобы ходить по земле?» Вы понимаете, ребята, вообще-то говоря, ведь это действительно настоящее чудо. Но чудеса самолюбивы, обидчивы. Как только им перестают верить, они перестают действовать. Ведь это тоже совершенно естественно, правда?

Если бы ребята не были так увлечены разговором, они бы заметили, что какой-то странный ветерок бродил по Немухину в ту бесшумную лунную ночь. Вот он заглянул в один двор, пошарил в сарае, пробрался в курятник и смертельно напугал кур, подув на них сзади, как это делают хозяйки, размышляя, стоит ли их покупать.

Вот заглянул в другой, обежал флигелек, осторожно залетел в слуховое окошко. Можно было подумать, что этот ветерок искал кого-то в Немухине или даже, что он, не зная адреса, догадывался, где живет тот, кого он искал.

— Конечно, жители Летандии летают в любое время дня и ночи без обращения к Господину Главному Ветру,— продолжал Леня.— Но иностранцы — ведь в Летандии вы, как это ни странно, сразу же станете иностранцами — могут летать, только зная тайну полета.

Ребята разговаривали тихо, и ветерок, бродивший по Немухину, может быть, не услышал бы их, если бы Петька не спросил громким голосом:

— Значит, если о чудесах подумать невежливо, они тебя так брякнут о землю, что, пожалуй, и костей не соберешь?

Не знаю, случалось ли вам замечать, как сильный шторм в густом лесу подчас валит деревья не всплошную, а точно по выбору, переламывая, как спички, столетние сосны? Нечто подобное произошло в эту минуту. Легкий ветерок вдруг превратился в вихрь. Все закружилось во дворе Трубочного Мастера, двери распахнулись, забор с

треском упал, сарай мигом превратился в груду переломанных досок. Дом уцелел, слегка перекосившись, но крышу унесло в Мухин, откуда ее наутро пришлось перегонять через речку с помощью самоходной баржи.

Но самое грустное, самое неожиданное и, по-видимому, непоправимое заключалось в том, что Леня Караскин пропал. Осталась только эолова арфа на чердачном окне, и она еще звенела так пронзительно-грустно, как будто без конца повторяла: «Прости».

Где же Леня? Таня поднялась на чердак, Трубочный Мастер бегал по двору, котенок жалобно мяукал. И только Петька, опустив голову, стоял на крыльце, думая о том, что теперь-то он наконец сумеет доказать, что у него действительно львиное сердце. Он своими глазами видел мелькнувшего в улетающем вихре коротконогого Смотрителя Маяка, похожего на пифагоровы штаны. В центре квадрата, построенного на гипотенузе, сидел, сжавшись и втянув голову в плечи, бледный, худенький, перепуганный Леня.

ВОРОБЕЙ С СЕРДЦЕМ ЛЬВА

Лене случалось видеть цветные сны, и теперь он иногда думал, что самый милый из его цветных снов — это Немухин с его Нескорой улицей, с его светлой речкой, в которой стайками ходили пескари, с его пожарной каланчой, которая была так хороша, пока не сгорела. И зачем только он пожалел котенка? Но жалеть о том, что он пожалел котенка, Леня не мог.

«Судьба»,— грустно думал он, просыпаясь, и Немухин исчезал, как сон, потому что и цветной сон в конце концов исчезает. Надо было вставать и действовать «сообразно своим обязанностям», как приказывал ему Смотритель. В этот день обязанности заключались в том, что он должен был идти за керосином в город. На набережной, перед воротами крепости, керосинщик уже трубил, извещая Летандию о своем появлении.

От Наблюдательной вышки, где спал в эту ночь Леня, он должен был спуститься вниз по длиннейшей винтовой лестнице Маяка, а потом, гремя бидонами, почти две мили бежать по уложенному булыжниками молу. Куда проще было бы в пять минут слетать к керосинщику и обратно! Но подобно тому, как жители приморских городов

не любят купаться, в Летандии принято было летать только по важным делам или — в редких случаях — в гости.

Хвост был уже длинный, когда, запыхавшись, Леня добрался до керосинщика и уселся на каменные плиты,— и надо сказать, что это был не совсем обыкновенный хвост. Почти никому не нужен был керосин, и многие пришли только потому, что на этом месте и в этот час каждое утро покупали керосин их отцы и деды. В Летандии были сильны традиции, а традиции, как известно, в некоторых странах переходят из поколения в поколение.

Керосину, слава богу, хватило и для Лени, и он поплелся дальше, не думая о том, как хороша была Летандия в этот нежаркий октябрьский день. Красно-рыжие черепичные крыши были похожи на остроугольные ступени, не спеша поднимавшиеся в гору,— они и были ступенями для Господина Главного Ветра. Его сквозной, открытый со всех сторон дворец стоял на высокой желто-зелено-красной горе, и крепость, по стенам которой можно было бродить целый день, казалась оттуда цветной мозаичной трапецией, вставленной между синевой моря и неба. Но эта трапеция, если спуститься вниз, превращалась в старинный городок с узкими улицами, переходящими в лестницы, и с лестницами, ведущими в пятисотлетние храмы. В центре города была площадь, уложенная гладкими плитами. Над самым старинным из храмов висел прозрачный колокол, светившийся по ночам таинственным зеленым светом.

Короче говоря, на каждом шагу было что-нибудь необыкновенное, а ведь если необыкновенное видеть каждый день, оно начинает казаться таким обыкновенным, что ничего обыкновеннее просто невозможно себе представить. Вот почему Леня не заметил даже, что из каждого дома слышались звуки камертона — это настраивались эоловы арфы, а у кого не было настоящих эоловых арф, те натягивали потуже бельевые веревки, переброшенные через улицу от одного дома к другому.

Все это означало, что на острове ждут возвращения Господина Главного Ветра, потому что, возвращаясь, он с незапамятных времен играл на всех эоловых арфах одновременно.

Но Лене было не до музыки. Он тащился по городу, ничего не видя и не слыша. Купить надо было еще немало. Ему хотелось сэкономить на табаке для Смотрителя, чтобы

купить хоть немного хлебных крошек — он тайком кормил хлебными крошками чаек. Но табак подорожал, и чайки остались без крошек.

С грустью думал он о том, что в Немухине все давным-давно забыли его: забыл котенок, которого он как-никак спас, забыл Старый Трубочный Мастер, забыла Нескорая улица, по которой он каждое утро бежал в свою школу, забыла школа, а в школе забыли Таня и Петя.

Но он ошибался: никто в Немухине его не забыл.

Еще в сентябре появилась статья, в которой было сказано, что все без исключения немухинцы решительно протестуют против насильственного исчезновения при подозрительных обстоятельствах одного из лучших учеников шестого «Б» класса, недавно проявившего мужество перед лицом смертельной опасности, грозившей одному легкомысленному котенку.

В других номерах были краткие сообщения о создании комиссии по спасению Лени Караскина.

Наконец, под шапкой «Вылетели» было напечатано следующее сообщение:

> Сегодня, 25 сентября, на розыски пропавшего без вести шестиклассника Л. К. отправилась экспедиция в составе:
>
> 1) С. Т. М., корреспондент «Немухинского голоса» (руководитель).
>
> 2) П., по прозвищу «Воробей с Сердцем Льва».
>
> 3) Т.— ученица шестого класса Музыкальной Школы (скрипка).
>
> По некоторым соображениям пункт назначения, имена участников и материальная сторона экспедиции остаются в полном секрете.

Материальная сторона заключалась главным образом в том, что Старый Трубочный Мастер взял не только фотоаппарат, но и радиопередатчик, Таня — свою скрипку, а Петька — котенка.

Вот как обстояли дела, когда, расстроенный тем, что ему не удалось купить хлебных крошек для чаек, Леня спускался к молу по лестнице со своими бидонами, отдыхая чуть ли не на каждой ступеньке. И вдруг он почувствовал, что один из бидонов стал полегче: не пролил ли он керосин? Нет, все в порядке! Но вот полегче стал другой, и, обернувшись, он увидел подхвативших бидоны Таню и Петю. Немного поодаль с достоинством шел Старый Тру-

бочный Мастер, у которого был вид настоящего спецкорреспондента, с его фото- и радиоаппаратами, висевшими крест-накрест на широкой груди. Аппараты тут же были пущены в ход, и первое сообщение гласило:

Обнаружен в неприглядном виде. Обдумываются меры немедленного восстановления здоровья.

Решено было, никому не показываясь в городе, скрыться до ночи в Лениной каморке, дождаться полнолуния и улететь. Но как попасть на Маяк? Смотритель может увидеть их на узкой полоске мола.

Они торопливо пробежали по молу, хотя Леня сказал, что Смотритель никогда не смотрит в сторону Летандии.

«Зачем же,— однажды заметил он,— смотреть на то, что никогда и ни при каких обстоятельствах измениться не может?»

Бочки с запасом пресной воды стояли вдоль стен подвала на случай, если буря отрежет Маяк от земли. В углу были сложены отслужившие свой век маячные лампы. Отсюда по железной винтовой лестнице они поднялись до первой смотровой площадки, на которую выходила комната Лени. Подниматься дальше было опасно, потому что Смотритель мог услышать шаги, и вообще пора было отдохнуть и перекусить после полета. По этому поводу в Немухин полетела вторая радиограмма:

Перекусываем.

У хозяина не оказалось ничего, кроме краюхи хлеба и отвратительной настойки из ягод шиповника, которую Смотритель считал полезной для детей нежного здоровья, и Трубочный Мастер, вытащив из заплечного мешка колбасу, лук и яйца, прибавил через несколько минут к своей радиограмме:

Аппетит превосходный.

Но аппетит аппетитом, а ведь пора было подумать о том, чтобы успешно решить поставленную перед экспедицией задачу — то есть вернуть Леню Караскина в шестой «Б» класс Немухинской средней школы.

Вообще говоря, размышлять особенно долго было нечего, а надо было добраться до открытого места и, совер-

шив все, что полагается для благополучного перелета, вернуться в Немухин.

Открытое место было под боком — из комнаты Лени легко было шагнуть на площадку, находившуюся примерно метрах в тридцати над морем.

Но прежде надо было:

1) Разбудить Смотрителя, потому что Маяк нельзя было оставлять без присмотра.

2) Подлить керосин.

Это, разумеется, должен был сделать Леня, а его спасители на всякий случай должны были спрятаться кто куда.

В Лениной комнате была ниша, где хранились отслужившие свою службу канаты и брезентовый плащ, который он надевал, выходя на вышку в дурную погоду. Он спрятал друзей в эту нишу, закрыл дверь и ушел.

Котенок мгновенно уснул, Трубочный Мастер занялся своими аппаратами, а Таня с Петей стали болтать о полете, который, как это ни странно, ничуть не показался им чудом.

— Ух, а мне было страшно, когда я поднялась,— сказала Таня,— у меня шнурок развязался на туфле, и я не знала: если это все-таки чудо, можно, например, завязать его, то есть сделать самую обыкновенную вещь?

— Мне тоже было страшно, да как! А здорово мы заблудились в облаках! — с восторгом сказал Петька.— И какие они смешные, верно? Перистые, как перья, а кучевые совершенно как стадо баранов! Так и кажется, что сейчас услышишь: «мэ-э, мэ-э».

Только что Трубочный Мастер успел передать по радио:

Подзаправились, обмениваемся впечатлениями, отдыхаем,—

как вернулся взволнованный Леня.

— Насилу разбудил,— сказал он.— И к сожалению, он проснулся в очень дурном настроении. Левый сапог он надел на правую ногу, а правый — на левую и рассердился, когда я обратил внимание на эту ошибку. Трижды он пересчитал деньги, оставшиеся от покупки керосина. Он велел мне начистить мелом пуговицы на его парадном мундире — это значит, что с минуты на минуту надо ждать возвращения Господина Главного Ветра. Словом, надо лететь. Через четверть часа солнце будет в зените.

Несколько минут все же пришлось потерять, потому что Трубочный Мастер должен был дать радиограмму:

Вылетаем,—

а Петька — осколком кирпича вывести на стене: «Привет бабушке, не забудьте полить фикус». В полном снаряжении они вышли на смотровую площадку — и вдруг нежная, слабо-порывистая, напоминающая широкие, летящие шаги музыка окружила их таким плотным кольцом, что они не могли бы, кажется, двинуть ни рукой, ни ногой. Это эоловы арфы возвестили о приближении Господина Главного Ветра. Он пролетел над Маяком так быстро, что Петька увидел лишь его желтые развевающиеся волосы и длинные ноги в клетчатых брюках.

— Ровно двенадцать,— шепотом напомнил Леня.

Они присели на корточки, крепко обхватили себя под коленками. Но зажмуриться — увы — не пришлось, потому что Смотритель Маяка в ярко-зеленом мундире, на котором блестели ярко начищенные пуговицы, в новых брюках с зеленым кантом неожиданно появился на смотровой площадке.

— Вы арестованы,— сказал он ровным, ничего не выражающим голосом.— Более того, я доложу Господину Главному Ветру о вашей незаконной попытке похитить коренного жителя Летандии.

Он не успел договорить, Петька вскочил и произнес слова, которые впоследствии были признаны почти историческими, потому что еще никто не произносил их в таком рискованном положении. Он сказал: «Как бы не так!» — и с тридцатиметровой высоты кинулся в море.

«ЧТО ПРОШЛО — ТО ПРОШЛО»

Господин Главный Ветер неизменно возвращался из своих путешествий с какой-нибудь новой затеей.

На этот раз он был увлечен мыслью, которая никого не заставила задуматься в Летандии, потому что все знали, что через несколько дней он забудет о ней.

Она была выражена в четырех словах: «Что прошло — то прошло». И в объявлениях, наклеенных на стенах, эти слова разъяснялись: «Прошлого не вернуть, как бы уж там ни стараться. Да и стоит ли? Ведь кто-то уже доказал, что время необратимо!»

Таким образом, нельзя было сказать, что Господин Главный Ветер не заботился о Летандии. В других странах

он вел себя гораздо хуже: засыпал песком города, обрушивал на морские пристани волны высотой с Эверест, топил корабли, устраивал обвалы в горах и очень любил доводить людей до нервного расстройства. Как настоящий разбойник, он скрывался под сотней имен и прозвищ — Сирокко, Суховей, Самум. Он обрушивался на целые континенты, и теперь уже никто не верил, что некогда у него была строгая мать, которую он уважал и любил. Об этом легко судить по известной колыбельной песне:

Спи, дитя мое, усни!
Сладкий сон к себе мани:
В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.

Улетел орел домой;
Солнце скрылось под водой,
Ветер, после трех ночей,
Мчится к матери своей.

Ветра спрашивает мать:
«Где изволил пропадать?
Али звезды воевал?
Али волны все гонял?»

«Не гонял я волн морских,
Звезд не трогал золотых;
Я дитя оберегал,
Колыбелочку качал!»

Разумеется, эта песня была строго запрещена в Летандии. Еще бы! Кто посмел бы предположить, что Господин Главный Ветер занимался такими пустяками и даже был, строго говоря, обыкновенной няней?

Ходили слухи, что в одной из самых старинных рукописей, которые давным-давно никто не читал, рассказывалось о том, что под Летандией сохранились пещеры, где добровольно или по принуждению оставалось навсегда все забытое Господином Главным Ветром или то, что он хотел забыть.

«Там течет подземная река,— шептали друг другу жители Летандии,— а в ней, представьте, водятся пещерные рыбы, которые могут жить только в темноте. Там застыл в воздухе теплый солнечный дождь, который не согласился стать холодным и косым, несмотря на приказ Господина Главного Ветра».

Но самый странный слух, которому почти невозможно было поверить, заключался в том, что Господин Главный Ветер в конце концов рассердился на свою мать за ее со-

веты и наставления и решил, как это часто бывает с подрастающими детьми, жить своим умом. Более того, он заключил ее в одну из подземных пещер и забыл о ней на целое тысячелетие.

Короче говоря, Господин Главный Ветер был очень неблагодарный, честолюбивый и беспощадный господин.

Он не любил, например, когда жители Летандии начинали думать о себе, а не только о нем. Он был хвастлив — возвращаясь, он собирал всех жителей острова на Площадь Розы Ветров и долго рассказывал им о своих подвигах, почти всегда неприятных. Его не то что боялись, но побаивались, тем более что у него была дурная привычка: если собеседник не соглашался с ним, он вдруг ставил его вверх ногами.

«ВСЕ БУДЕТ ТИП-ТОП»

Петька, слетевший в море, как он полагал, «ласточкой», на деле шлепнулся, как мешок с картошкой. Зато в его ушах еще слышался испуганно-восторженный возглас Тани. Он выплыл, хотя его чуть не схватила за ногу какая-то глубоководная рыба. На берегу он подсох, отдышался и привел себя в порядок — неудобно было все-таки являться в таком виде к Господину Главному Ветру. Камни на берегу успели нагреться, и с помощью одного из них он сделал на потрепанных штанах заметную складку.

Никто не помешал ему войти в крепость по мосту, висевшему на заржавленных цепях. Над мостом была натянута парусина, и на парусине крупно написано: «Что прошло — то прошло». Он поднялся по лестнице на площадь; старинные дома стояли, тесно прижавшись друг к другу; редкие, узкие, темные улочки пугливо убегали направо и налево. «Что прошло — то прошло» — было написано почти на каждом доме — где аккуратно, а где и небрежно. Кое-где висели объявления, и Петька прочел одно из них, подозревая, что в нем сообщается о непрошеных гостях из Немухина. «Нет! Прошлого не вернуть!» — говорилось в объявлении. «Старина интересна лишь тем, кто ее не видел, а не тем, кому она надоела. Вот почему все неведомое или неизвестное отныне приветствуется в Летандии. Новости будут отмечены нижеследующими словами Господина Главного Ветра: «Спасибо», «Большое спасибо!» и «Весьма благодарен».

Небезопасно было идти напрямик через город. Петя решил обогнуть крепостные стены и действительно не встретил почти никого. Старая женщина, на которой было много юбок, выглядывающих лесенкой одна над другой, гнала осла по пыльной дороге. Непохоже было, что она умеет летать. Скорее Петька мог бы сказать это об осле, который весело поигрывал ушами. Двое мальчишек гоняли мяч под крепостной стеной так лениво, что тот, который посылал мяч, успел бы, кажется, вздремнуть, пока мяч возвращался обратно. Короче говоря, у всех без исключения, кого он встретил, был сонный, скучающий и одновременно чем-то озабоченный вид. Об этих летающих людях можно было сказать, что даже и на земле они стоят не очень-то твердо. Одеты они были старомодно, хотя и не очень. Но вот из-за линии черепичных крыш показался летевший по воздуху толстяк с портфелем, в белой рубашке и в сиреневом модном костюме. Но и у толстяка, может быть потому, что он летел по важному делу, был озабоченный и даже несколько испуганный вид.

Не было ничего проще, как, обогнув крепостную стену, подняться на желто-зелено-рыжую гору, с которой Дворец Господина Главного Ветра был виден как на ладони. Но едва Петька спустился в неглубокую впадину между горами, как легкий толчок сбил его с ног.

«Споткнулся»,— подумал он и, вскочив, побежал вверх по тропинке. Хлоп — и он снова упал. Что за чудеса! И ведь вокруг не было ни души, только легкий ветерок катился навстречу ему, поднимая легкую пыль, а когда Петька падал,торопливо скрывался в кустарнике, которым густо заросли горы.

Нельзя сказать, что Петька быстро разгадал эту загадку. Он разгадал ее после того, как раз десять скатился то с одного, то с другого холма, разорвал брюки и больно ушиб коленку. Телохранители Главного Ветра — вот кто были эти ветерки, сбивавшие его с ног.

Нужно было что-то придумать, и, привалившись к желтому кленовому кусту, Петька стал изучать необычайный факт как с научной, так и с практической точки зрения. И без сомнения, он изучил бы его, если бы не заснул, едва успев подумать, что он здорово «сел в муку», что означало на языке шестого «Б» класса Немухинской средней школы, что он попал в безвыходное положение.

Солнце уже клонилось к закату, на желто-зелено-рыжие горы падали, уютно устраиваясь, длинные вечерние

тени, когда Петька открыл глаза и зевнул. Он увидел кленовый куст, под которым он спал,— это было естественно. Вдоль куста шагали чьи-то ноги в клетчатых штанах — и здесь не было ничего заслуживающего внимания! Но когда Петька, вскочив, высоко закинул голову и увидел того, кому они принадлежали, он был поражен.

Это был еще моложавый, длинноногий человек, с пушистыми, разлетающимися, желтыми волосами и очень смешным лицом. Щеки его были похожи на два розовых воздушных шара, толстые губы как будто нарочно устроены, чтобы дуть, нос — коротенький, вздернутый, дерзкий, а глаза — жестокие, насмешливые и озорные. Роста он был такого, что даже если бы Петька встал на цыпочки, ему едва ли удалось бы дотянуться до украшенного серебром кожаного пояса, на котором висел охотничий нож.

— Извините,— вежливо сказал незнакомец,— если не ошибаюсь, я был невольной причиной вашего пробуждения. Позвольте узнать, с кем я имею честь...

— Воробей с Сердцем Льва,— пробормотал Петька.

Человек в клетчатых штанах засмеялся. И смех у него был насмешливый, озорной и жестокий.

— Насколько я могу судить, не будучи специалистом,— заметил он,— это крайне редкое, почти не встречающееся в природе соединение. Разрешите же представиться и мне: Главный Ветер.

По мнению знатоков архитектуры, Дворец Господина Главного Ветра представлял собой одно из самых изящных зданий в мире. Его оригинальность заключалась в том, что никакого здания, в сущности, не было.

На вершине крутой горы, среди кустов лаванды, напоминавших испуганных, круглых, спрятавших головку под крылья, темно-фиолетовых птиц, стояли четыре колонны, над которыми Петька не заметил крыши. Но крыша все-таки, очевидно, была или, по меньшей мере, появлялась в дождливые дни. В этом странном Дворце все появлялось или исчезало по желанию Господина Главного Ветра. Войдя вместе с Петькой во Дворец, он сказал: «Садитесь, пожалуйста!» — хотя вокруг не было ни кресел, ни стульев.

Что было делать? Петька решительно сел, не сомневаясь, что сейчас он шлепнется на пол, и не только не шлепнулся, но оказался в очень удобном, хотя и еле заметном

воздушном кресле. Все это были, разумеется, ветерки с их бесконечными превращениями. «Отличная вещь»,— подумал, устраиваясь, Петька. И решил, что, вернувшись в Немухин, он непременно поставит вопрос о практическом использовании почти незаметного движения воздуха. Но где? На Мебельной Фабрике или в Аэродинамическом Институте?

Это был очень содержательный разговор. Главный Ветер, как и полагается хозяину, спросил прежде всего: было ли оказано господину Воробью с Сердцем Льва должное гостеприимство?

Петька сказал, что было, и даже поблагодарил. Он чувствовал, что с Главным Ветром надо держаться дипломатически, то есть думать одно, а говорить другое.

— Может быть, вам нетрудно рассказать мне о своем впечатлении от Летандии? — спросил Главный Ветер.

Петька ответил, что впечатление хорошее, но что ему лично больше всего понравился парусиновый плакат у входа в крепость, на котором написано: «Что прошло — то прошло».

— Хорошая идея,— одобрительно сказал он.

Короче говоря, до сих пор все шло превосходно, и Петька уже подумывал, как бы подъехать к Господину Главному Ветру с просьбой пустить Леню в Немухин, когда хозяин спросил как будто невзначай:

— Кстати, как вы попали в Летандию? Морем?

Надо было ответить дипломатически: «Да, морем». Но тогда Господин Главный ветер не задумался бы, пожалуй, отправить их и обратно морем...

И Петька рассказал, как Леня Караскин научил немухинцев летать,— и рассказал с подробностями, которые, по-видимому, не очень понравились Господину Главному Ветру. У него вдруг изменился цвет глаз — из ярко-голубых они стали ядовито-зелеными.

Разговор был бы еще содержательнее, если бы Петька не переходил время от времени на язык шестого «Б» класса.

— Ну тогда все будет тип-топ! — закричал он, когда Главный Ветер сказал, что Леня получит командировку в Немухин для окончания школы.

А Главный Ветер решил, что Петьке захотелось потопать ногами. Но и слово «потопать» они понимали каждый по-своему, потому что, когда Петька сказал: «Ну, теперь я потопаю», Главный Ветер меньше всего ожидал, что его

собеседник, не прощаясь, выскочит из Дворца и со всех ног побежит вниз по тропинке.

Впрочем, далеко он не убежал.

— Виноват, мы еще не договорились,— сказал ему вслед Главный Ветер, и Петька, сам не понимая, как это случилось, вновь оказался перед ним.— Скажите, пожалуйста, а как у вас в Немухине относятся к выдаче государственной тайны?

Петька ответил, что насчет тайны Господин Главный Ветер может не беспокоиться, потому что они с Таней дали честное пионерское слово, а Старый Трубочный Мастер — почетное честное пионерское, потому что он почетный пионер.

— Могила,— значительно сказал он.— Кроме того, ведь у вас же на каждом шагу написано: что прошло — то прошло! А ведь то, что мы узнали от Лени, уже давно прошло. Верно?

— О да! Без сомнения,— улыбаясь, сказал Главный Ветер.— Словом, ты можешь сказать своим друзьям, что им ничто не угрожает.

На этот раз телохранители не помешали Пете спуститься вниз по тропинке.

Главный Ветер молча смотрел ему вслед. Нельзя сказать, что у него в эту минуту было приятное лицо. Он сложил толстые губы и уже совсем собрался, кажется, дунуть — тогда Петька, без сомнения, оказался бы где-нибудь в пустыне Сахара. Но Главный Ветер только сильно раздул щеки. И этого вполне было достаточно, чтобы все флюгера на всех крышах крепости одновременно повернулись к нему.

— Свод законов, том сто восьмой, пункт четвертый,— сказал он.— Как нежелательных иностранцев провести по городу с завязанными глазами. Пункт пятый: сбросить в море со скалы Великий Утюг.

«ВЫЛЕТ ВОЗМОЖЕН, НО НЕВОЗМОЖЕН»

Когда Смотритель принялся писать секретнейший рапорт, его со всех сторон окружили дурные предчувствия. Надо было как-то уговорить их убраться или просто махнуть на них рукой, а это было совсем нелегко, потому что ради торжественного дня возвращения Главного Ветра он надел тесный, застегивавшийся на добрую сотню пуговиц

парадный мундир, мешавший ему размахивать руками. Но один раз махнуть все-таки удалось, и он с удовольствием углубился в свой рапорт.

Он начал его с истории Лени Караскина, оставшегося сиротой и спасенного им от голодной смерти.

«Находясь под беспрестанным нравственным присмотром и в более чем благополучном материальном положении, он тем не менее стал скучать,— с возмущением писал Смотритель,— и внезапно, без необходимого письменного уведомления, на которое немедленно последовал бы отрицательный ответ, улетел в город Немухин».

Он писал долго, неторопливо, с наслаждением. Он прекрасно понимал, что Леня очень нужен ему, но остановиться или — страшно подумать — простить его, Смотритель уже не мог. Это была бы неблагонадежная, кривобокая и, уж во всяком случае, непрямоугольная мысль.

Он так увлекся, что не заметил, как морское пространство, освещенное Маяком на добрых пять-шесть миль, превратилось в самое обыкновенное, не освещенное Маяком морское пространство. Маяк погас! Случалось, что он мигал, коптел — в докеросиновые времена, когда в лампу заливали тюлений жир или лампадное масло. Но погаснуть? За последние пятьсот лет это случилось впервые!

Первая мысль Смотрителя была все о том же Лене: конечно, этот проклятый мальчишка нарочно не залил керосин, намереваясь снова улететь в Немухин. Вторая — тоже о Лене: сидя под ключом в своей каморке, каким же образом он мог залить керосин? Третья, на первый взгляд, о мундире, а по сути дела — снова о Лене. Для того чтобы заправить лампу, необходимо было переодеться, а попробуйте-ка расстегнуть сотню пуговиц на парадном мундире? Короче говоря, оставив незаконченный рапорт на столе, Смотритель вскочил и побежал за Леней.

...Нельзя сказать, что день был проведен немухинцами бесцельно или лениво. Старый Трубочный Мастер дал две радиограммы. Одна была короткая:

Воробей доказал, что у него сердце льва.
Положение осложнилось.

Вторая — немного длиннее:

Настроение бодрое. Запас продовольствия на три дня.
Вылет возможен, но невозможен.

Последняя загадочная фраза объяснялась просто. Дверь на смотровую площадку осталась открытой и, дождавшись полнолуния, они могли улететь. Но без Петьки они улететь не могли, а от него не было ни слуху ни духу.

Они очень беспокоились о нем, и Таня даже всплакнула. Леня, пригорюнившись, сидел на груде морских канатов и только безнадежно разводил руками, когда чайки вопросительно заглядывали в окно, надеясь на хлебные крошки. Но после того как Старый Трубочный Мастер разъяснил, что настроение должно соответствовать радиограмме, начинавшейся словами: «Настроение бодрое», Таня и Леня действительно приободрились, тем более что Немухину, да еще по радио, неудобно было соврать.

Таня занялась своей скрипкой, Леня геометрией — предусмотрительный Петька, улетая из Немухина, захватил для него учебник,— когда дверь распахнулась и вбежал Смотритель, зеленый, как его парадный мундир. Зубы у него стучали, и он заставил себя открыть рот лишь после того, как Трубочный Мастер сдвинул очки на лоб и сказал:

— Ну-с?

— Извините, я, кажется, помешал? Но дело в том, что маячная лампа, в которую никто,— он злобно посмотрел на Леню,— не позаботился своевременно залить керосин, погасла, что случилось впервые за последние пятьсот — шестьсот лет.

— Так-с,— сказал Трубочный Мастер.— И что же?

— Между тем именно сегодня в честь возвращения Господина Главного Ветра я должен был зажечь тройной бело-красно-изумрудный огонь. Короче говоря, мне грозят серьезные служебные неприятности. Я прошу вас на время забыть о наших неудачно сложившихся отношениях и помочь мне зажечь маячную лампу. Должен предупредить, что вскоре вам снова придется вспомнить о них, в особенности если вы попытаетесь бежать, после того как окажете мне эту услугу. Наружная дверь Маяка заперта, а ключ надежно спрятан в моем парадном мундире.

— Понятно,— кратко ответил Трубочный Мастер.— Пошли.

Нельзя сказать, что, вытачивая и обкуривая трубки, считавшиеся лучшими в Немухине и во всем мире, он был знатоком маячных ламп, построенных пятьсот лет тому назад. Но недаром к нему иногда приезжал за советом сам Президент Столичной Палаты Мер и Весов. Короче говоря,

не прошло и получаса, как тройной бело-красно-изумрудный огонь вспыхнул на башне, осветив морское пространство не на пять, а на добрых шесть с половиной миль. Более того, Трубочный Мастер наладил двухударный колокол, который должен был заменять Маяк во время тумана.

Радиограмма, которую вскоре принял Немухин, была немного хвастлива:

Оказал услугу Морскому Министерству.
Необходимость дипломатического вмешательства,
по-видимому, отпала.

Если бы он не был так занят починкой маячной лампы, в которую надо было вставить новый пухлый, тяжелый фитиль, он, без сомнения, заметил бы, как задрожал Леня, когда лампа, вспыхнув, осветила сперва спящий город, а потом задремавшее море.

Он задрожал, потому что увидел неподвижные флюгера и понял, что это значит.

В его жизни уже была минута, когда он вдруг почувствовал, что и у него сердце... Конечно, не льва, но уж, во всяком случае, львенка: нашел же он в себе силу, чтобы на глазах целого города подлететь к пожарной каланче, чтобы спасти глупого маленького кота, который чуть не сгорел? Теперь Леня должен был спасти друзей — целую экспедицию, смело прилетевшую к нему на помощь.

— Вы понимаете, сущность дела,— солидно объяснял Смотритель,— заключается в том, что приток воздуха между светильниками должен сопровождаться полным сгоранием керосина.

Работая, он должен был все-таки снять мундир, и ни он, ни Трубочный Мастер не заметили, как Леня вытащил из мундира ключ от наружных ворот маячной башни.

— А полное сгорание керосина,— продолжал Смотритель,— зависит от силы притока воздуха между светильниками. Как правило, он утраивается для получения тройного огня.

Минута была удачная, и она могла не повториться. Более того, минута была такая удачная, что она не могла повториться: Смотритель вышел на смотровую площадку, чтобы взглянуть, нет ли отклонений между переходами белого огня в красный, а красного в изумрудный. Он был так увлечен, что ничего не понял, когда Леня, подойдя к нему очень близко, сказал дрожащим голосом:

— Прошу меня извинить, но для меня и моих друзей это единственный выход.

И он сильно толкнул Смотрителя, который с тридцатиметровой высоты вылетел в освещенное воздушное пространство. Тут только он догадался, что произошло нечто кривобокое и, во всяком случае, непрямоугольное, тем более что его секретнейший рапорт остался лежать на столе.

— Ты что, ошалел? — спросил изумившийся Старый Трубочный Мастер.

Леня торопливо захлопнул дверь на смотровую площадку.

— Мы должны защищаться,— сказал он.— Все флюгера в городе повернулись в сторону Дворца. Это означает: «Повинуемся». А «Повинуемся» означает «Казнь».

За пыльным круглым окном был виден грузно летавший вокруг башни Смотритель. Он был похож на бабочку в полосе света, падающего из окошечка будки на экран в летнем кино.

— Мундир, мой мундир! — кричал он, крутясь за окном и в отчаянии поднимая короткие руки.

Громкий стук донесся снизу. Кто-то ногами молотил в наружную дверь Маяка.

Трубочный Мастер не торопясь, аккуратно сложил мундир и швырнул его в форточку. Леня кинулся вниз.

— Кто там?

Это был Воробей с Сердцем Льва, веселый, встрепанный, в разорванных штанах и в рубашке, от которой остались только лохмотья.

— Блеск! — сказал он, еле дыша.— Главный Ветер разрешил тебе улететь в Немухин. Мировой парень! Фу-у! Устал! Найдется полопать?

ЗАГАДКИ

Загадок было не очень много, однако по меньшей мере две, и почти невероятно, что Леня решил их с помощью двух слов — на каждую по слову. Первая: почему, пообещав Воробью отпустить Леню в Немухин, Господин Главный Ветер немедленно отменил свое решение? И вторая: неужели он не понимает, что немухинцы не выдадут своих и что его ожидают серьезные неприятности в международном масштабе? Два слова, которыми Леня решил обе загадки, были: «легкомыслие и вероломство».

— Надо бежать,— сказал он.— Надо скрыться туда, где он нас никогда не найдет.

Никто не нашел бы их, если бы им удалось проникнуть в пещеры. Леня, который часто бродил по берегу моря, знал, что в скалах, между которыми стоял Маяк, есть глубокая расщелина, которая ведет в эти пещеры. Однако, к его удивлению, немухинцы не собирались ни бежать, ни скрываться. Трубочный Мастер послал радиограмму:

Воробей вернулся с хорошими известиями, которые оказались плохими. Дальнейшие сообщения могут последовать через неопределенный срок. В случае радиограммы, начинающейся словами «Всем, всем, всем», немедленно вылетайте на помощь.

В маячной башне кое-где, очевидно, были трещины, потому что в одну из них пробрался ветерок, веселое дыхание которого сразу почувствовалось в Лениной каморке. Но нельзя назвать особенно веселыми слова, которые размеренно и четко послышались одновременно с этим дыханием:

— Господин Главный Ветер приказывает вам немедленно явиться к нему.

— От имени города Немухина,— не задумываясь, ответил Старый Трубочный Мастер,— передайте вашему господину, что, если ему угодно увидеться с нами...

Он не успел договорить, как Маяк задрожал от самой скалы, на которой он стоял, до заметавшейся в ужасе маячной лампы. Железный вихрь ударил в него, и он качнулся направо и налево, как гигантская кегля.

— Бегите вниз! — закричал Леня.— Торопитесь, Главный Ветер в гневе номер один. Может быть, мы еще успеем спуститься.

Они бросились вниз по лестнице, едва успев захватить: Таня — скрипку, Трубочный Мастер — свои аппараты, а Петька — котенка, когда второй удар обрушился на Маяк. Тысячи воздушных кристаллов, тяжелых, как пушечные ядра, осадили его со всех сторон.

— Сюда, скорее, скорее! — говорил Леня.— За мной! Теперь он в гневе номер два. Торопитесь!

Трубочный Мастер зажег карманный фонарик, осветивший узкую темную расщелину, в которую они скользнули по грубо вырубленным ступеням. Еще несколько минут, и они были ниже уровня моря. Но и здесь был слышен третий удар, не раскатившийся, а прошелестевший долго,

медленно, неотвратимо. А вслед за ним до немухинцев донесся глубокий старческий вздох. Это вздохнул Маяк.

Когда Старый Трубочный Мастер, который шел со своим фонариком впереди, оглянулся, он увидел, что худенькое лицо Лени было мокро от слез.

«ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»

Узкий проход поворачивал то под прямым, то под косым углом, опускаясь и поднимаясь. Теперь слабому свету фонарика отвечали камни-самоцветы, вспыхнувшие здесь и там в неровностях скользких, постепенно расширявшихся стен.

Здесь была тишина, устоявшаяся столетиями и как будто насупившаяся, помрачневшая, заметив, что ее осмеливаются нарушить. Потом стал слышен отдаленный, убегающий шум подземной реки, успокоившей их, может быть, потому, что в тишине, напоминавшей о смерти, она одна двигалась, струилась, убегала. Но вскоре к мирному глуховатому шуму воды стал примешиваться другой; свистящий, натыкающийся на стены разгневанный шум, и хотя Леня ничего не сказал, все поняли, что Главный Ветер гонится за ними. Они ускорили шаг.

Узкий каменный коридор, по которому они шли, вдруг повернул в пещеру со страшно поблескивающими стенами, почти пустую. В этой дикой, выщербленной пустоте лежали груды камней, на которые торопившиеся немухинцы не обратили внимания. Но если бы они остановились хоть на минуту, они подумали бы, что эти камни отдаленно напоминают людей, стоящих вверх ногами. Среди них были грузные, пожилые, а были тонкие, как юноши, как будто нарисованные одной ломаной, изящной чертой.

Кто знает, может быть, это и были люди, некогда не согласившиеся с Господином Главным Ветром,— ведь тех, кто не соглашался с ним, он любил ставить вверх ногами...

Налетающий на стены свистящий шум с каждой минутой становился слышнее, и немухинцы, не оглядываясь, пробежали вторую пещеру. Впрочем, она была не так странна и страшна, как первая, но и тут было на что посмотреть. Прозрачные стрелы дождя свисали с потолка, не достигая земли. Это был теплый прямой дождь, не согласившийся с Главным Ветром, который требовал, чтобы он

стал холодным и косым, и который в наказание был навсегда заключен и забыт.

Но вот немухинцы достигли третьей пещеры, светившейся одиноким фосфорическим блеском.

Это был каменный сад, по которому пробегала и снова уходила под скалы река.

Деревья и растения, отказавшиеся стать другими, окаменели здесь, сплетаясь и поддерживая друг друга. И в этом саду, который не казался мертвым, потому что он был все-таки садом, под веткой каменного дуба, на обломке скалы, сидела старуха с гордо откинутой головой и неподвижными, как сама неподвижность, глазами. И если бы немухинцы, убегая из пещеры, оглянулись на нее, они заметили бы, что эти глаза задумчиво проводили их с почти не изменившимся, но ласковым выражением. Опираясь на посох, крепко сжимая его побелевшими пальцами, она сидела в длинном платье, каменные складки которого переходили в складки скалы.

Теперь догоняющий, раздраженный, с размаху ударяющий о стены шум был заглушен струящимся шумом подземной воды. Но Главный Ветер был близко, и хотя Леня надеялся, что, пройдя пещеры, можно добраться до берега и спрятаться вдали от Маяка в заброшенном доке, чем длиннее становился путь, тем короче становилась надежда.

Снова загорелся впереди слабый фонарик Старого Мастера — и они шли и шли, почти падая от усталости, по острым камням. Они не знали, что Главный Ветер пролетел первую и вторую пещеры, ворвался в третью — и остановился как вкопанный, услышав усталый, но твердый голос, который произнес только одно слово:

— Сын.

О легкомысленных людях говорят, что у них ветер в голове. Представьте же себе, какой ветер поднялся в голове Господина Главного Ветра, когда он увидел свою мать, о которой ни разу не вспомнил за тысячу лет.

— Что ты здесь делаешь, мама? — с изумлением спросил он.

— Нам надо поговорить. Я ненадолго задержу тебя. Год или два, ведь это немного?

— Пожалуйста, мама. Но я не понимаю... Почему ты не напомнила о себе?

— У меня не было времени. Я думала о тебе. Тебя благословляли моряки, у тебя были сотни ласковых прозвищ.

Ты вертел крылья мельниц, помогая жить миллионам людей. Ты вмешался в несправедливую войну и разметал Великую Армаду. Ты был одной из самых разумных мыслей природы. И вот теперь ты гонишься за детьми, которые пытаются спасти своего товарища от смерти?

Она говорила, он нетерпеливо слушал, но его глаза, которые только что были ярко-зелеными от бешенства, стали медленно голубеть.

— Знаешь, почему этот мальчик убежал от тебя? Потому что ты лишил свою страну воображения. Когда ты в молодости переставлял звезды, чтобы пошутить над людьми, которые думали, что они делают открытия, боже мой, ведь можно было ожидать, что из тебя получится Ветер с воображением!

Он улыбнулся.

— Я очень скучаю, мама.

— Вот видишь! А сколько раз я говорила тебе, что нет ничего опаснее скуки! От скуки до жестокости — один шаг.

Трудно сказать, что происходило в эти минуты в душе Господина Главного Ветра, хотя бы потому, что неизвестно, есть ли у него душа. Но ведь говорят же: «Ветер улегся», или даже: «Ветер упал».

— Прости меня, мама,— сказал он.— Вернись ко мне! Ты станешь жить в моем Дворце, воздушном, пустом и веселом. В нем ничего нет, кроме легких ветерков, которые будут исполнять каждое твое приказание. Тысячу лет я буду просить у тебя прощения за то, что я забыл о тебе на тысячу лет.

Она покачала головой.

— Нет. Мне здесь хорошо. Тишина. Я не скучаю. Жизнь шумит здесь подземной рекой. Она обегает весь мир и возвращается ко мне с новостями. Впрочем, у меня к тебе просьба: освободи теплый дождь, он устал. Пускай он поднимется в небо и прольется на землю.

Осталось неизвестным, сколько времени продолжался этот разговор. Однако под утро Господин Главный Ветер был уже у себя и занимался делами, потому что, когда полуживые от усталости немухинцы добрались наконец до берега моря, Леня радостно закричал:

— Флюгера!

Утро было еще даже не утро, а последний краешек ночи, и казалось, что сонная крепость, едва проснувшись, зевает, крепко протирая глаза. Рыже-красные черепичные

крыши матово поблескивали под первыми солнечными лучами. А флюгера? Играя с ветерками, они весело вертелись во все стороны, а это означало, что даже в тысячелетних, легкомысленных и жестоких разбойниках родная мать иногда способна разбудить совесть.

СТРАННОСТИ, СКАЗКИ И СНЫ

Приглашая Воробья в Летандию, Смотритель обещал, что в его честь будет устроен маскарад, на Маяке будет гореть тройной огонь и самый большой колокол на Площади Розы Ветров встретит его торжественным звоном. Как ни странно, но именно это и произошло, когда немухинцы вместе с Леней собрались в обратный путь.

Маскарада, правда, не было, но маячный огонь далеко освещал темно-розовое пространство неба и моря.

Еще утром в окно Лениной каморки влетел свиток, начинавшийся, как и полагается, длинным титулом: «Мы, Господин Главный Ветер и прочая, и прочая, и прочая» — кончавшийся словом: «Согласен». Правда, по ошибке Леня Караскин был назван «Каскин-Караскин», но это, разумеется, не имело значения.

Смотритель, который был очень любезен, снова надел парадный мундир и даже произнес маленькую речь о том, как будет скучать по Лене не только он, но самый Маяк и в особенности маячная лампа.

Семнадцать девочек из самых знатных семей поднялись в воздух, провожая немухинцев,— все, как одна, в нарядных платьях с такими крылатыми, разноцветными бантами за спиной, что их можно было принять за вертолеты, если бы вертолеты, в свою очередь, не были похожи на огромных, безобразных шмелей. Но торжественные проводы немухинцев остались в истории Летандии по другой, не менее серьезной причине.

Все эоловы арфы одновременно сыграли им прощальный морской сигнал: «Счастливого плавания и достижений», и аккорды, как бы превратившиеся в живой, звучащий воздух, окружили их и летели вместе с ними, как белые треугольники журавлей.

Девочки со своими бантами давно остались позади, скрылся Маяк. Сама Летандия с ее странностями начинала казаться сном или сказкой. Вот уже показался вда-

леке и Немухин с его будущей телевизионной башней в лесах.

Крошечные фигурки на площади взволнованно размахивали руками, толпа становилась все больше. Экспедицию встречали представители общественных организаций и, разумеется, средняя школа в полном составе.

Но аккорды эоловых арф еще не оставляли немухинцев, как будто решив проводить их до самого дома. Правда, их не слышал Старый Трубочный Мастер, мысленно готовивший скромную речь. Их не слышал Воробей с Сердцем Льва, который не мог отличить музыку от обыкновенного шума. И Леня не слышал их, думая о том, что он, без сомнения, здорово отстал по алгебре и геометрии и что придется как следует налечь на эти предметы.

Зато Таня не только слышала, но даже видела эти аккорды. Для нее они складывались в изящные фигуры, рисующие соединение лунной ночи, тишины, теплого неба и холодно искрящейся поверхности моря.

Вполне возможно, что она и теперь еще слышит и видит их — ведь о музыке нельзя сказать: «Что прошло — то прошло».

Во всяком случае, именно о ней говорят:

— Таня Заботкина? Ну как же! Это та самая знаменитая скрипачка, которая в детстве слышала музыку эоловых арф.

На финишной прямой

Поезжайте в Немухин! Вас встретят как долгожданного гостя. Даже если вы приехали в командировку или в отпуск, вас непременно постараются уговорить остаться в городе навсегда.

Можете мне не поверить, но меня-то как раз уговаривать не пришлось. Из гостиницы я переехал к сестрам Фетяска, и они научили меня варить кофе по-турецки и раскладывать пасьянс «Наполеон» — один из самых трудных в мире.

Каждое утро на завтрак у них подается хлеб с хрустящей корочкой, и он мне так нравится, что я чуть было не написал сказку под названием: «Вкус немухинского хлеба, или Седьмое чудо света».

После завтрака я помогаю дяде Косте писать его Путеводитель, и мы уже далеко продвинулись от исторического

замечания о том, что «город основан в XX веке». Музей неузнаваем. Все пропавшие вещи вернулись, как будто они никогда не были проданы или украдены — только старинную пушечку Неонила отдала по решению суда.

Зимой я хожу на лыжах в березовую рощу, и если случайно встречаю Трофима Пантелеевича, мы толкуем о погоде, о городских, а подчас и международных делах — ведь он не какой-нибудь дремучий, а довольно образованный леший. Летом я купаюсь в Немухинке, и, хотя здешней воде далеко до Ропотамо, в которой каждая прозрачная струя лепечет что-то другое еще более прозрачной струе, я после купанья чувствую себя бодрым и стараюсь придумать или даже написать новую сказку.

Всю жизнь меня не оставляла бессонница, но в Немухине я спал бы не просыпаясь, если бы каждую ночь, обходя город, Нил Сократович не стучал по медной кастрюле старой барабанной палкой. Тук-тук-тук! — слышите вы сквозь сон, и одновременно до вас доносится скрипучий, старческий ворчливый голос: «Спите спокойно! Ничего особенного не случилось!»

Музейный Сторож, как истый немухинец, охраняет родной город, в котором все-таки кое-что случается вопреки его уверениям: на днях, например, молодая елочка, закутанная в снег и похожая на старую бабу в салопе, вообразила себя старой бабой и, явившись в город, потребовала, чтобы ей назначили пенсию.

Кстати сказать, Лекарь-Аптекарь предполагает, что возгласы Нила Сократовича и стук его барабанной палки действуют как снотворное, потому что, убедившись, что в городе все спокойно, немухинцы спят еще крепче, чем прежде.

В хорошую погоду, весной и осенью, когда не очень жарко, я иду пешком в Поселок Любителей Свежего Воздуха — надо же осведомиться, как живется Фее Музыки и не забыла ли она, что не только видит, но и слышит цвета.

Башлыкова недавно избрали почетным членом Академии Наук, и его книга «Снежная красавица» лежит на письменном столе каждого ученого садовода. Он по-прежнему играет на виолончели, но изучает теперь не испанский, а португальский язык. Пенсию он получает персональную, но его друзья и знакомые знают, что о ней нельзя упоминать, и вместо слова «пенсия» говорят, как

некогда Петька, другие слова: «пенсне», «пентюх» или «пенка».

Что касается других немухинцев, то и они не забывают родной город. Новый Концертный зал, который построил Николай Андреевич, всегда полон — иголке некуда упасть,— когда приезжает на гастроли его знаменитая дочка.

Леня Караскин, пролетая над городом, не забывает покачать крыльями, приветствуя своих друзей и знакомых.

Петька работает на судостроительном заводе — когда-нибудь по глубоководной Немухинке пройдет пароход, построенный по его проекту.

Словом, все заняты делом. Отдыхает только шариковая ручка, которой я написал эту книгу. И то верно! Пора отдохнуть!

1940—1979

Художник неизвестен.— Впервые в журнале «Звезда», № 8, 1931.

Исполнение желаний.— Впервые в журнале «Литературный современник», № 1—4, 6—8, 11, 1934, с подзаголовком «Часть первая. Трубачевский»; в журнале «Литературный современник», № 1—4, 6, 7, 1936, с подзаголовком «Книга вторая».

Ночной Сторож, или Семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в тысяча девятьсот неизвестном году.— В настоящем виде печатается впервые. Написана на основе семи публиковавшихся ранее сказок: «Сын стекольщика» — впервые в журнале «Пионер», № 6, 7, 1979; «Немухинские музыканты» — впервые в кн. «Сказки». М., «Детская литература», 1971; «Легкие шаги» — впервые в журнале «Москва», № 8, 1963; «Сильвант» — впервые в журнале «Октябрь», № 1, 1980, под названием «Рисунок»; «Много хороших людей и один Завистник» — впервые в журнале «Пионер», № 2, 3, 1960; «Песочные Часы» — впервые в журнале «Костер», № 1, 1941, «Летающий мальчик» — впервые в журнале «Пионер», № 2, 3, 1969.

СОДЕРЖАНИЕ

ХУДОЖНИК НЕИЗВЕСТЕН (Роман) 7

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ (Роман) 109

НОЧНОЙ СТОРОЖ, ИЛИ СЕМЬ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ, РАССКАЗАННЫХ В ГОРОДЕ НЕМУХИНЕ В ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ НЕИЗВЕСТНОМ ГОДУ (Повесть) 383

Каверин В. А.

К13 Собрание сочинений. В 8-ми т.— М.: Худож. лит., 1980-.

Т. 2. Художник неизвестен: Роман; Исполнение желаний: Роман; Ночной Сторож: Повесть. 1981. 622 с.

В том включены романы «Художник неизвестен», «Исполнение желаний», а также повесть «Ночной Сторож, или Семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в тысяча девятьсот неизвестном году», написанная на основе семи публиковавшихся ранее сказок.

К $\frac{70302\text{-}151}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200 Р2

БЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ
ТОМ ВТОРОЙ

Редактор
О. Новикова
Художественный редактор
Е. Ененко
Технический редактор
Е. Полонская
Корректоры
Г. Киселева и
О. Наренкова

ИБ № 2157
Сдано в набор 19.08.80. Подписано к печати А06717 от 06.02.81. Формат 84×108 1/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 32,76 усл. печ. л. 32,76 усл. кр.-отт. 34,384 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-372. Заказ № 2013. Цена 2 р. 50 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», ГСП, 107882, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

2р. 50к.